Борис
3
Можаев


Борис
МОЖАЕВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



Москва
«Художественная литература»
1990



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ПОВЕСТИ

МУЖИКИ И БАБЫ

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ



Москва
«Художественная литература»
1990

ББК 84Р7
М74

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

$М\frac{4702010201-044}{028(01)-90}$ подписное

ISBN 5-280-01049-9 (Т. 3)
ISBN 5-280-00793-5

Повести

ЖИВОЙ

1

Федору Фомичу Кузькину, прозванному на селе «Живым», пришлось уйти из колхоза на Фролов день. Уж так повелось у них в семье — все несчастья выпадали как раз на Фролов день. Или кто из предков сильно согрешил в этот праздничный день, или двор стоял на худом месте, кто его знает. Но не везло Живому больше всего именно в этот престольный праздник. «Вам село сменить надо, милок,— посоветовал как-то Живому дед Филат.— Вы люди пришлые... не того престолу, стало быть. Бог-то и забывает вас в этот день. А сатана тут как тут, крутит, значит, свою карусель-от...»

Но Живой и не думал менять село. В Прудках он родился и вырос. Пришлым-то был его дед. Он лапти хорошо плел, а под Прудками лутошки — пропасть. Дед лапти плел, бабка онучи ткала, продавали... Так и скопили деньжат, срубили себе избу-семиаршинку, в которой и поныне жил Фомич. И расставаться с этой избой Живому было никак невозможно по причине «отсутствия всякого подъема», как он сам говаривал. Зажитка не имел. Отец его и дядья, может, и поднялись бы на ноги, кабы не этот проклятый Фролов день.

Было их три брата: Фома, Николаха и Емеля. С весны отходили они в город, были холодными сапожниками. Хорошо зарабатывали. Однажды на Фролов день сели гулять: подвесили к потолку четверть водки и лили из нее в глиняные кружки. За выпивкой стали горячиться: Николаха запросил у Фомы бабушкин надел земли, доставшийся ей от какого-то бездетного дяди. У Николахи семья была большая, а у Фомы всего один ребенок. Но так как бабушка жила у Фомы, она ему и надел этот отказала. «Зачем тебе чужая земля — ты и свою не

обрабатываешь... Отдай!» Ну, слово за слово — и сцепились. А Николаха был такой силы, что упаси господь. Бывало, они с Емелей ездили на реку за колодником. Навалят воз под дугу. Сани завязнут — Николаха распряжет и скажет: «Пусть лошадь померзнет, тады она лучше повезет». Свяжет оглобли чересседельником и сам впряжется. «Ты, Емеля, пошатай сани, а то я с места не возьму». Емеля шатает, а Николаха как упрется лаптями, аж оглобли трещат. Уж коли стронет с места, то и везет до самых Прудков, а лошадь сзади идет.

Так вот они и сцепились, значит, с Фомой. Николаха тиснул его разок и положил на скамью. Тот и притих. Потом с неделю полежал и помер. Так и остался Федор Фомич сиротой. Поначалу, правда, им с матерью Емеля помогал. Да недолго.

Николаха выдавал старшую дочь. Свадьба была как раз на Фролов день. И здесь братья опять погорячились: заспорили, кто больше выпьет? Николаха выпил шестнадцать тонких стаканов. Емеля — пятнадцать. На шестнадцатом стакане свалился под стол и помер.

Это все большие несчастья. Но случались на Фролов день беды и помельче. В двадцать четвертом году Живой, тогда еще подросток, убил свою лошадь. Прежде на Фролов день в Прудках кропили лошадей и объявлялись по такому случаю скачки. Призы ставились: то ведро водки, то баран, то стан колес — мужики миром покупали. Обгонялись на прогоне — широкой неезжалой дороге, по ней обычно скот гоняли на пастбища к лесу. А в тот год как раз на прогоне столбы телеграфные поставили. И были они еще не в привычку.

Фомич стал обгоняться на паре — соседскую лошадь кропить, пристегнул. «Одна отставать станет, другая подтянет»,— подумал еще.

Разогнал он свою пару шибко, в азарт вошел — порода уже сказывалась в нем. А с хитрецой гнал: из порядка вывел своих лошадей, да на обочину. Здесь, мол, никто не помешает. И наддал. И как уж перед ним столб вырос, совсем объяснить не мог. Только помнит — летит он прямехонько в столб. И свернуть уж никак невозможно, потому что свой Буланец влево забирает, а соседский Пегач вправо тянет... Перетянул все-таки Пегач. Буланец ударился лбом в столб, а Фомич — кувырком через голову. Когда очнулся, Буланец лежал возле столба уже бездыханный...

Все это вспоминал теперь Фомич, сидя у окошка. В избе было непривычно безлюдно. Ребята ушли в школу, младшие вместе с соседскими табунились на улице — босоногие, а иные и без штанов. Хотя ветерок по-осеннему был свеж, им ничто... Хозяйка перед домом провевала на ватоле гречиху.

Гречиху привезли сегодня с колхозного тока — шестьдесят два килограмма. И это весь заработок на семь ртов? Чем же их кормить целый год?

Вчера вечером председатель сказал: «Пшеницу не ждите — еще и с государством не хватит рассчитаться...» А рожь давно уж свезли, да на семена оставили. Картошки тоже не жди — вымокла. Оно, конечно, кто в поле работал, тот и себя не забывал. Опять же на лугах мужики сеном подразжились, да и бабам кое-что перепало. А Живой работал вроде бы экспедитором колхозным — все в разъездах: то мешки добывал, то кадки, то сбрую, то телеги... Мало ли нужд в хозяйстве? Писали ему по два, а то и по три трудодня. По трудодням-то вроде бы и ничего — вместе с женой выколотил восемьсот сорок палочек. А заработал шестьдесят два килограмма гречихи... Как жить? «Чудно́ теперь платят,— думал Фомич.— Раньше хоть поровну всем давали на трудодень... А теперь — бригадиру оклад больше тысячи, учетчикам да заведующим всяким опять деньги дают, а которые в поле ходят или вот, как я, на посылках,— этим шиш. Кто чего сам достанет...»

Он и раньше догадывался, что трудодень пустым будет, хотел махнуть из экспедиторов куда-нибудь к хлебу поближе. Но — прохлопал ушами, прособирался... А теперь уж поздно — все пусто. И аж до нового урожая ничем особенно не разживешься.

Да ведь оно, если с другой стороны посмотреть, не больно и взяли бы его на прибыльную работу: там сила нужна, ловкость. А у него на правой руке два пальца от войны осталось. Не ладонь, а клешня. Конечно, приспособиться-то можно бы... Хоть на подвозке зерна. А там в обед принесешь в рубахе да вечером в карманах. Все-таки поддержка. А теперь чем жить? Своей скотины — одна коза. Что делать? Выходит, один-разъединственный выход — уходить из колхоза.

Трудная для Живого пора пришла с новым председателем Гузёнковым. В прошлом году объединили их колхоз с соседним, правление перевели в Свистуново, а

председателя прислали нового, из района. Был он человеком важным, внушительных размеров и знаменитым на весь район. Кажется, все районные конторы по очереди возглавлял. Гузёнков — и председателем райпотребсоюза был, и заведующим заготскота, и даже директором комбината бытового обслуживания. Величали его Михаилом Михайловичем... И все позабыли, что когда-то его звали в Тиханове попросту Мишкой Монтером. Откуда он взялся — никто не знал.

В тридцать втором году старую паровую мельницу, чадившую посреди Тиханова, переделали в электростанцию. Ничто не изменилось во внешнем облике грязного кирпичного здания, похожего на большую кладовую, только железная труба над крышей стала потолще и повыше. И вместо частого попукивания да тяжкого сопения мукомольного паровика теперь из этой кладовой раздавались отрывистые, резкие звуки: «Хх-тяп! хх-тяп!» Словно кто-то там дрова колол да с хрипотцой «хакал». И в такт этому редкому «хх-тяп!» вспыхивали и тускнели на селе электролампочки. А на улицах Тиханова появился в замасленной тяжелой кепке Мишка Монтер. Вскоре его выдвинули в райком комсомола как редкостного в Тиханове представителя рабочего класса. И постепенно Мишка Монтер испарился... Через два года на месте электростанции снова заработал старый мукомольный паровик. А Михаил Михайлович Гузёнков прочно утвердился на руководящей линии.

Случай свел их с Фомичом в первые же дни председательства Гузёнкова. Конечно, виноват во всем Живой, а точнее — язык его.

Гузёнков первым делом решил ввести в колхозе твердые оклады всем руководящим работникам, учетчикам, животноводам. И — чтоб сразу почуяли дисциплину — вызывал всех по одному в кабинет и «выдержку давал»: садиться не приглашал, но сам сидел и подолгу расспрашивал.

А прудковские как пришли в Свистуново гурьбой, так скопом и ввалились в кабинет к Гузёнкову, расселись кто на стульях, кто прямо на корточках вдоль стен. Привыкли при Фильке Самоченкове... Гузёнков долго разглядывал их с любопытством, потом как ахнет ладонью по столу:

— Вы что, в свинарник пришли или в кабинет к председателю? Марш отсюда! И заходить строго по одному... По вызову.

Выходили от него хмурые и бросали недовольно собравшимся возле крыльца правления:

— Сам сидит, а тебя столбом держит... Начальник!

— А все почему? Потому как под порогом академию кончал,— съязвил Живой.— По коридорам прошел, а в класс не пустили. Под порогом в мусоре копался да ума-разума набирался. Оттого и сердитый.

Кто-то донес Гузёнкову. Он и взъелся — не дал Живому оклада, на трудоднях оставил. Да еще приказал бухгалтерии: за каждую поездку отчет особый на экспедитора составлять и подавать ему, председателю. «Смотри, чертов сын! Зенки вылупишь, а не поймаешь»,— думал в сердцах Фомич. Он и раньше не крал — учен. Законы вон какие! Кому сидеть в тюрьме хочется? Деньги не рожь: концы как ни прячь, а видны. Корнеич у них дошлый счетовод — любую бумажку насквозь видит.

Хотел было Живой на ферму учетчиком уйти. Опять не пустил Гузёнков: там повольготнее и прибыльнее — оклад! Словом, обложил председатель Живого, как борзятник русака. Сколько ни беги, а конец один — выдохнешься и упадешь...

И опять — уйти из колхоза, а чего делать? Ехать на сторону, на заработки ежели — не подымешься. Да и не пустят. Здесь просить подходящую работу, за деньги чтоб? Но у кого просить? И кто даст? Коли уж уйдешь из колхоза, то и просить не у кого. А коли останешься, все равно до точки дойдешь. Вот и выходит: куда ни кинь — все клин. И опять выпало на Фролов день. «Значит, судьба меня пытает»,— думал Живой.

И он окончательно решил уйти из колхоза. Неправда, где-нибудь, да устроится! А когда решился, стало ему и немного легче и как бы веселее. «Судьба мне опять поставила точку на Фролов день, а я ей — запятую, запятую...» Он даже встал и потянулся было к балалайке, хотел сыграть «Хаз-Булат удалой». Но вовремя вспомнил: сосед из района приехал. Как бы не ушел в луга. Пойти надо... Может, угостит по случаю праздника.

2

Угощение вышло в самый аккурат. Хозяин, Андрей Спиридонович Кириллов, по-уличному просто Андрюша, только заправился перед лугами и теперь прилаживал возле порога деревяшку к своей культе. А на столе

стоял граненый графинчик мутновато-синей самогонки, да рядом в тарелке был нарезан пирог с калиной.

По тому, какую привязывал Андрюша деревяшку к своей культе, Живой сразу определил: косить собирается. У Андрюши было две деревяшки — одну он называл «ложей», вторую — «ступицей». Ложа — деревяшка отполированная с длинным плоским поручнем, похожим на гладильную доску,— под самое бедро подходила эта доска. Андрюша пристегивал ее двумя ремнями к бедру, а на конец важно опирался рукой. Эту ложу Андрюша надевал на работу в райфо или когда просто прогуляться хотел. Теперь ложа стояла возле порога, а пристегивал Андрюша ступицу — деревяшку коротенькую, с медным кольцом на конце. На этой ступице Андрюша мог и косить, и пахать, и даже приплясывать.

Андрюша жил и работал в районе, а к матери приезжал помочь по хозяйству. Ей выделили из колхоза гектар с четверью лугов за сданного телка. Выдавали, правда, за телят, чего останется от покоса. Но и то благо. Иначе — своди коров со двора.

— Сено косить собираешься, Андрей Спиридонович? — спросил участливо Фомич, поздоровавшись.

— Угадал,— ответил тот.— А ты чего не на работе?

— А я уж отработал вчистую... То есть на общественную обязанность рукой махнул.

— Проходи к столу, сосед,— пригласила его тетка Матрена, сутулая, но еще крепкая старуха — мать Андрюши.— Выпей с праздником-то.

— За ваше доброе здоровье, как говорится.— Живой прошел к столу, налил себе сам полный стакан, выпил, отломил кусок пирога, понюхал и стал закусывать.

Пирог был горьковат, поторопилась с калиной-то тетка Матрена. А от самогонки шибало жженой резиной. Но Фомич выпил с удовольствием и уплетал за обе щеки, продолжая рассказывать, как он решился махнуть рукой на общественную обязанность.

Андрюша наконец приладил свою деревяшку, притопнул ею, словно сапогом, да еще шуточку завернул:

— Хорошо тому живется, у кого одна нога: и портка его не рвется, и не просит сапога.

Андрюша был тяжел телом, и когда шел, то половицы жалобно поскрипывали. «А что, ему и в самом деле

хорошо живется»,— думал Живой, глядя на Андрюшину красную шею, на всю его мощную фигуру, перетянутую поперек живота широким командирским ремнем.

— А ты твердого задания не боишься?— спросил Андрюша, присаживаясь к столу.

— Чего у меня брать-то? Шоболо́в охапку?!— Фомич шмыгнул на табурете и хмыкнул.— Да и не слыхать теперь, чтоб твердое задание давали.

— А ну как и вышлют?

— А там есть советская власть?

— Там комендатура.

— Ну так я помощником коменданта буду...

— Чего ж ты хочешь?

— Мне бы работенку такую, как у тебя. Телом я сохну, подобреть хочется. Вроде тебя.

Андрюша засмеялся, и грудь его даже затряслась:

— Куда уж тебе! Ты погляди-ка на себя...

Живой перед Андрюшей был — что старый мерин перед битюгом. Андрюша был весь белый, с широкой блестящей лысиной, с розовым крупным лицом. А Фомич — аспидно-желтый до черноты, со впалыми щеками, костлявый, черноусый, черноволосый и оттого казавшийся еще более худым. Он и в самом деле смахивал на заморенную в работе лошадь. И мослы у него выпирали в плечах и на спине как-то буграми, по-лошадиному. Одни только карие глаза были бойкие, молодые и впрямь живые.

— Я инвалид гражданской войны, а ты Отечественной... Разница!— говорил, усмехаясь, Андрюша.— Я до войны устраивался. Тогда на инвалидов дефицит был. Наш брат в цене ходил.

Андрюша разлил остаток самогона по стаканам. Выпили.

— Что же ты будешь делать?— спросил он Фомича.

— Да вот сел я ноне и задумался. Куда ни кинь — все клин. Хлеба нет. Одежка-обувка у ребятни поизносилась. Купить — денег нет. Как жить? Вроде бы один выход: живым в могилу лечь, как поется в песне. Нет, стой!— думаю. Есть выход! Подойдет базар — пойду я, куплю себе корову, а денег под расписку возьму. Молоко ноне почем? По три рубля за литр. Ежели продавать в день по шесть литров, дак и то за пять месяцев я корову-то оправдаю. Возвращу, значит, деньги сполна. А коров я определять очень даже умею. Первым делом надо посмот-

реть, как у нее шерсть вьется. Ежели развилок начинается на холке, значит, меж молок ходит до четырех недель. А ежели развилок на спине, более семи недель до отела гуляет. Дрянь корова, лодырь! Потом колодец прощупать надо — ямка такая есть меж утробы и грудей, в конце жилы, значит. Ежели палец большой по сгиб погрузнет — пуд молока в день даст. Ну еще на хвост погляжу — на кончике самом размахни шерсть: ежели серка есть, масляная корова! Сутки постоит молоко — клади медный пятак, не потонет. Вот какую корову я себе выберу!

— Так за чем же дело стало? — улыбался Андрюша.

— Да дело-то за сущим пустяком. Теперь денег надо мне взаймы попросить, тыщи три. Решил я начать с соседей, с тебя то есть. Дай мне тыщу с возвратом на полгода? А я тебе — расписку... По правилу составлю.

Андрюша оглушительно захохотал:

— Да тебя и впрямь не тужа мать родила. Ну ж ты, Живой, дьявол! Ох, уморил совсем! А я было уши развесил...

— Нет у вас ко мне никакого понимания,— со вздохом и прискорбием сказал Живой.

— Слушай, пошли со мной сено косить! Я тебе положу по рублю за сотку... Вот тебе и заработок. Да еще дам пуд пшена. Как, согласна, мать? — обернулся Андрюша к старухе.

— А что ж, и больно хорошо! — отозвалась от печки тетка Матрена.— Я, чай, и то подумала, нанять бы кого. А сам-то поезжай в район. Своих дел у тебя по горло.

И Живому, и Андрюше сделка пришлась по душе. Они хлопнули по рукам и отправились в луга. Кроме кос и брусков, Андрюша прихватил пол-литра, а Фомич ружье.

— Вечерком с устатку выпьем на покосе,— сказал Андрюша.

Луга были далеко. Покос за телят выделяли за Лукой — длиннющим, затейливо изогнутым озером-старицей. Когда-то там были наилучшие луга, и не раз из-за них прудковские мужики дрались с заречными — бреховскими мужиками. А теперь эти луга заросли кустарником-лутошкой да калиной на буграх и ольхами в низинах. А там, где и оставалась трава, стояли вразброс одинокие дубки. Трактор туда не пустишь — ножи у косилок порвет. Косами выкашивать колхоз не успевал. Вот и отдавали их колхозникам за сданных телят.

Дорога туда вела вдоль реки Прокоши, петлявшей

затейливо туда-сюда, будто из озорства. Пологие песчаные берега, заросшие на гривах красноталом, шиповником и черной смородиной, перемежались голыми, иссиня-сизыми глинистыми крутоярами, похожими издали на неровно срезанный толстенный конопляный жмых.

У Кузякова яра Андрюша и Живой сели отдохнуть. Припекало. Прохладный с утра ветерок окончательно стих, и густое, еще по-летнему вязкое марево колыхалось над приречными талами, над свежей сочной зеленью отавы, над буровато-желтыми приземистыми стогами. Отсюда, с высокого берега, дальние заречные стога выглядели неестественно маленькими, похожими на кочки. А широкие речные плесы, светлые, словно открытые напоказ, казалось, еще шире разлились. Просторная, в яркой, нарядной зелени равнина будто еще далее раздвинулась до самой синей каемки леса, чистый, зеленовато-холодного оттенка небосвод еще выше поднялся, во всем была какая-то щедрость и мощь. Но бурые, прибитые дождями стога вызывали грустное чувство. А может быть, невесело было еще и оттого, что во всем просторном небе висел один-единственный коршун и свистел протяжно, с переливами: «Фью-ютьи и-и-и рлю-рлю-рлю!» Казалось, что коршун дразнил кого-то и подсмеивался.

— Эх, природа-мать! — вздохнул Живой.— Ты вот что скажи: отчего земля добра, а человек так жаден?

— Ты про что это? — Андрюша сидел у самого обрыва, свесив свою ступицу, и бросал в воду глиняные комья.

— Да хоть про Кузяков яр. Ты знаешь, какие тут сомы живут? Страсть! А взять — не возьмешь! Был единственный человек, кто умел их брать,— Кузяк. Да и тот помер. И вот уж какой жадности был человек — помирал, а секрета своего не открыл. Так и унес в могилу, чтоб ему ни дна ни покрышки.

— А ты пробовал, выпытывал у него?

— Не однова! Не открылся... Да что мне? Сыну своему родному секрета не выдал! Я ему и шахи чинил, и самогонку ставил... Нет! А чего пожалел, спрашивается? Хоть бы из уважения к моему многодетству открылся. Знал бы я его секрет... Э-ге! Мне бы теперь ни один колхоз не страшен был. Поймал бы сома пуда на четыре — и живи не тужи.

— А я ловил с ним сомов один раз,— сказал Андрюша.

— Да ну! Это с какой же стати он пошел с тобой?

— Я ему по налоговой части услугу одну оказал,— уклончиво ответил Андрюша и, хитро прищурившись, спросил: — Ты знаешь, как насадку делать на квок?

— Еще бы! Я и в книжке читал... Все по частям уяснил.

— На чем ракушечье мясо жаришь?

— На постном масле.

— А какой ниткой перевязываешь приманку?

— Обыкновенной...— Фомич подумал и добавил: — Шерстяной.

— Запомни!.. Нитка должна быть чисто льняная.

— Эх, черт! Это он тебе сказал?

— Да.

— Ну, а дальше? — Живой так и впился глазами в Андрюшу.— Сомов-то вызывали?

— Вызывали... С самого дна поднялись. Кругами пошли возле лодки. Один прямо на весло лег.

— И здоров был?

— Голова с конное ведро...

— Эк, дьявол! Как же он его брал? Ты мне скажи, как он приманку подавал? Вот об чем ни в одной книжке не сказано.

— Руку опустил в воду по локоть. Подержал немного, а потом говорит: мол, сытый сом... Не сосет, а выплевывает.

— Ах ты, мать честная! — Живой хлопнул досадливо себя по коленкам.— Это он тебе глаза отвел. Нет! Разве Кузяк расскажет? Это ж не человек — колода!

Утки вышли из-за кривуна внезапно; держались они, хоронясь от коршуна, близко к воде, так что Живой бил по ним как бы сверху. Две утки кувырком полетели прямо в воду, а третья потянула от косяка в сторону к тому берегу. Вдруг она пронзительно закрякала, и тотчас же в нее ударил коршун, будто треснула сухая палка,— так сильно щелкнул ее, даже перья полетели... И понес низко, скрылся за тальниковыми зарослями, как за угол дома завернул.

— Вот подлец,— сказал Живой вслед коршуну.— Такие вот и живут. Видал, как взял? Будто все так и надо... Для него я только и старался, подстрелил утку.— Фомич долго смотрел туда, вытягивая шею.— Эх, маненько переплыть-то не на чем! А то бы я ему показал, как на чужое зариться.

Достав уток, Живой засуетился:

— Может быть, не станем откладывать до вечера? А ну-ка утки пропадут?! Давай-ка уж сварим их, и того... выпьем! Все-таки нынче Фролов день. А уж выкосить — я тебе выкошу один.

Андрюша поколебался только для приличия, самого-то уж размаривала давешняя самогонка.

— Ну что ж, накину тебе еще тридцатку,— согласился он.

— Уток-то у нас две, а бутылочка одна. Чуешь, что получится? Закуски много, а водки не хватит. Давай-ка эту тридцатку мне сейчас. И я как бы от себя поставлю, угощу тебя... Магарыч, х-хе!

— Как хочешь.— Андрюша вынул из кармана бумажник и протянул Живому тридцатирублевку.

— А ты разводи костер. Я в момент обернусь. Тут не более трех километров, до Прудков-то. Не более. А насчет лугов не беспокойся. Так выкошу, что гривенник за десять шагов увидишь. Вот оказия! Кажись, впервой подфартило мне на Фролов день.

И Живой радостно засеменил в Прудки.

3

Весть о появившемся в Прудках вольном косце мгновенно разнеслась по селу. Доярки, занятые по горло на ферме, бывало, нанимали пришлых косцов — то демобилизованных солдат, то шабашников. А тут свой объявился. И к Фомичу повалили с заказами, больше все доярки — горькие вдовы. У кого не было пшена, обещали дать картошку или рожь — Фомич все принимал. Сперва брал задаток и, чтоб другой работу его не перехватил, обкашивал деляну заказчика, выстригал рядок на окраине, как шерсть на овце,— метку ставил и шел дальше. «Теперь кто и наймется, со мной будет дело иметь. Так-то оно спокойнее»,— рассуждал Фомич.

А соперники у него нашлись. Первым притопал дед Филат. Ранним утром, когда еще роса дымилась возле кустарников, не успев как следует осесть на траву, Фомич встретил его на делянке Маришки Бритой. Дед сидел на охапке сена возле выкошенной Фомичом метки. Из-за голенища его кирзового сапога торчала деревянная ручка смолянки. Над головой на дубовом суку висела коса.

— Ты чего, дядь Филат, ночевал тут, что ли? — спросил Фомич.

— А хоть бы и ночевал... Я, Федька, сна лишен начисто. Мне что ночь, что день — все едино.

— И лежал бы себе на печи. Зачем сюда пришел?

— Делянка-то моей племянницы, Маришки.

— Ну и что?

— Как что?! Косить пришел.

— Ты что, только очнулся? Она ж мне ее сдала. Где ж ты был раньше?

— Где я был — не твово ума дело. И не пытай меня, Федька. Молод ишо. А косить будем вместях. И деньги поделим. Не то у меня и портки латать нечем. Да куфайку справить надо к холодам-от.

— Ты, чай, дядь Филат, на четвереньках косить-то станешь, — усмехнулся Живой.

— Шшанок! — побагровел дед Филат. — Передом пойдешь — пятки подрежу.

Дед Филат был сух, погибист, с жиденькой и сквозной бороденкой, с мелкими конопушками на простынно-белом морщинистом лице. Когда он сердился или смеялся, у него было одно и то же выражение странно растянутых в каком-то застывшем оскале губ. Кто видел этот оскал впервой, тому казалось, что дед Филат беззвучно плачет. Жил он один, два сына погибли в войну, старуху схоронил уже после... Пенсии не получал, потому как был колхозником, и сыновья были когда-то колхозниками. Перебивался дед Филат кое-как: зимой салазки мастерил, а летом корзины плел да сети, больше все однокрылые шахи, или «кулики», как называли их в Прудках. Сети он сам дубил соком плакун-травы.

— Против моих сетей ваш капрон — что камыш перед лозняком, — говаривал дед Филат. — Палка скорее изопреет, а сети мои будут стоять.

И хотя дед Филат еще и не видывал этот самый капрон, а только слыхал про него, сети его могли бы и в самом деле посостязаться с капроновыми — служили они долго, и брали их хорошо.

Но нынешним летом велась борьба с браконьерами и лодырями. Каждое село выявляло своих лодырей. Нагрянули и к деду Филату. Приехала подвода из района с двумя представителями. Привел их свой — Пашка Воронин, прудковский бригадир. Нагрузили целую телегу этих шахов. И нитки забрали подчистую...

— В колхозе надо работать, а не тунеядствовать,— назидательно говорил деду Филату незнакомый представитель в фуражке с дубовыми листьями.

Дед Филат услужливо крутился возле телеги, помогал увязывать сети.

— Мотри, Пашка, кабы на ухабе не тряхнуло; под колесо попадет кулик — кольца поломает,— наказывал он бригадиру.

— Чудак! — усмехнулся начальник в фуражке с дубовыми листьями.— Что мы, покупаем у тебя сети, что ли? Или на хранение везем? Мы ж конфискуем... Понимаешь?

— Отчего же не понимать? Везите, везите,— деревянно бормотал дед и долго смотрел вслед телеге из-под ладони, оскалившись — то ли плакал, то ли смеялся.

Фомич понимал, в каком положении оказался дед Филат, и теперь находился в трудном раздумье. Оно бы надо поделиться с дедом, коли по-людски поступать. Да ведь и себя жалко. Там своих ртов полна изба: каждое утро разевают — дай! А кто ему, Фомичу, даст? Он сел возле деда, закурил.

— У тебя, дядь Филат, смолянка-то, поди, с единоличной поры осталась? — Живой вытянул насмоленную дощечку из-под голенища деда Филата.— Их уж, никак, лет двадцать не продают?

Смолянка была черная, целенькая, как новая.

— Перед войной старшой привез мне две штуки со стороны,— сказал дед Филат.— Одну-то я исшоркал.

— Ну-к, я попробую! — Живой упер в носок такого же расшлепанного, как у деда Филата, кирзового сапога кончик косы и стал точить неровное жало.

«Вжить, вжить, вжить...» — звонко отдалось на другом берегу озера. Потом Фомич поставил косу на окосье и, задирая кадык, наточил конец.

— Хорошо! Бруском точить, что ни говори, не сручно. Коса у меня зараза: два раза махнешь — и садится. У тебя, поди, еще венская? — Фомич с завистью посмотрел на источенную, узенькую, как змейка, косу деда Филата.

— На ней два кляйма! — важно сказал дед Филат.

С минуту молчали, глядели за озеро на почерневшие от дождя стога...

— Ну и лето было! Сено в стогах гниет,— сказал Фомич.

— Какие это стога! Это ометы, а не стога. Три

хороших навильника — вот и весь стог. Их дождем прошибает. А сверху преют, и поддоннику много остается. Сажа́ют их ноне там, завтра тут... тьфу! — Дед плюнул, бросил окурок и затоптал его сапогом.— Все луга испятнали. Раньше, бывало, стог поставим — на десяти подводах не увезешь. Вот это стога стояли... Выше дубьев! И всегда на одном месте.

— Это верно,— подтвердил Фомич.— Поначалу меня в колхозе, в нашей бригаде то есть, вершить стога ставили.

— Какой из тебя вершитель! Ты еще сморчком был. Лучше попа Василия у нас в Прудках никто не вершил. И одонья он клал сам. Все снопы клал гузом вниз. Скирду к скирде, бывало, выведет — стоят, как зализанные. Год простоят — и ничего с ними не сделается. Мастер был.

— Да-а... Мы его с Воронком брали. Он — председатель комбеда, я — секретарь сельсовета... «Власть, говорит, пришла, матушка. Собирайся!» — «Нет, говорим, только тебя, отец Василий, одного до сельсовета».— «А там уж ждут нас обоих»,— говорит поп. И точно. Там уж уполномоченные ждали его, из района приехали. Все знал. Пронзительного ума был человек.

— Промзель, это точно,— согласился дед Филат.— Ну, посидели, Федька, и будет...

Дед Филат встал, скинул с себя драную фуфайку, снял с дерева косу.

— Значит, передом пойду, как договорились.

— Это где ж мы с тобой договаривались? — Живой разинул рот от удивления.

Но дед будто и не слыхал... Коротко ударил с угла раза два косой, закосил рядок и пошел вдоль деляны.

Косил он неожиданно легко, с подсадом, и аккуратно выкладывал траву.

«Вот те и напарник незваный пришел. Ну что ж с ним делать? За рубаху его не оттащишь,— думал Фомич.— Ему ведь тоже кормиться надо».

Живой было резко пошел за дедом, но по его захвату, как нарочно, рос густой рябинник и торчало много высоких порыжелых кочетков. Трава перестоялась, а рябинник так и вовсе у корней был что твоя проволока, аж коса звенела. Того и гляди, пятку порвешь. Разов десять махнешь, а там уж коса не берет, мусатит траву — и шабаш. Фомич поминутно останавливался, вынимал брусок и точил косу. А дед Филат без остановок

все смолит и смолит, аж рубаха пузырится — вон куда ушел!

«И что за коса у него? — думал Фомич.— Прямо змея. И дед еще при силе... жилистый! Это он на вид такой: дунешь — упадет. А гляди ты, как уписывает. Оно, пожалуй, кстати, что помощник сыскался. Не то вон намедни выкосил Андрюшину делянy — время согребать да в стога метать, а с кем? Дуню не посадишь на стог — не свершит. Самому придется и навивать, и вершить, и утаптывать. Належаешься со стога да на стог так, что язык высунешь. А деда посажу — и за милую душу. У него и вилы хорошие есть — четырехрогие, стоговые. Теперь таких не купишь».

Когда Фомич закончил свой рядок, дед Филат уже отдышался.

— Ну что, Федька, ешь тебя лапоть! Али я не говорил тебе, что пятки порежу?

Дед Филат сидел с открытым ртом, как гусенок в жаркий полдень, на груди и на спине его синяя облезлая рубаха потемнела от пота.

— Коса у тебя — золото! — сказал Фомич, вытирая рукавом пот.— На всем рядке ни одной заточки. Ей-богу, не поверил бы, кабы кто сказал.

— Я в прежние годы с этой косой, Федька, пол-России выкашивал. И на Дон ходил, и на Кубань, ажно до самых Капказских гор. Наши рязанские косцы высоко ценились. Бывало, приду к хохлам на базар, где они косцов нанимали, напишу на лапте: пятьдесят копеек — и спать ложусь. Кому нужно — бери. Меньше ни в какую. Не согласен — и точка!

Косили с передышкой долго, пока солнце под уклон не пошло. И только тогда, перед уходом домой, дед Филат признался:

— Я ведь наперехват к тебе пришел, Федька.

— А кто ж еще хотел? — насторожился Фомич.

— Спиряк Воронок...

— Чего ему не хватает? — нахмурился Фомич.— Всё хапом норовит.

— Вчерась я ходил на скотный двор. Он вертится, как бес хромоногий. Подмигивает мне: «Пойдем, говорит, калым с Фомичом делить на покосе».

— Я ему поделю! Окосьем по зубам,— кипятился Фомич.

— А если, говорю, он несогласный? Тогда что? Тогда,

говорит он, председателю донесу. Ни мне, мол, ни ему.

— Испугал председателем!

— Мотри, ноне вечером он к тебе нагрянет.

— И на порог не пущу блинохвата,— сказал Фомич.

4

Но вечером, уже при свете, Спиряк без стука прошмыгнул в избу к Живому. Было ему уже далеко за шестьдесят, а он все еще ходил в Спиряках. Ну, Воронком еще звали. А ведь в былые времена должности хорошие занимал! Да и теперь, хоть и работал скотником на ферме, но, поскольку приходился старшим братом прудковскому бригадиру, силу Спиряк имел большую. В его облике было что-то барсучье: вытянутое вперед тупоносое лицо с черными усами и белой бородкой, скошенный низкий лобик и плотно лежащая, словно зализанная, седая щетина коротких волос. И в повадке Спиряка было тоже нечто барсучье — в избу войдет, как в нору юркнет. Не услышишь... Встанет у порога и крутит головой, словно принюхивается. И кланяется так, будто голову протягивает, того и гляди — укусит.

— Добрый вечер, хозяева! Хлеб-соль вам.

Фомич с Авдотьей ели пшенную кашу; дети нахлебались в первую смену, уже отвалили от стола и копошились тут же, на полу.

— Проходите в избу, раз уж вошли,— сказала хозяйка.— Чего стоять у порога? За постой деньги не платят.

Фомич промолчал.

Спиряк сел в передний угол и бесцеремонно заглядывал в чашку.

— Никак, пшенная каша? А я пашано на блины пускаю.

— У нас не то что на блины, на кашу нет его, пашана-то,— сказала Авдотья.

Фомич отложил ложку, глянул круто на Спиряка.

— Ты чего в ревизоры лезешь? Довольно и того, что твой брат обирает колхоз.

— Ну, брат мой по пуду пашана со двора не собирает. Это у нас раньше только поп Василий огребал по стольку,— едко ухмыльнулся в бороду Спиряк Воронок.

— Да вы с Пашкой и мертвых обираете!

— Это что еще за мертвых?
— Памятники с могил потаскали... Тот на фундамент, а ты на подвал.
— То церковные памятники... с крестами. Камень, и больше ничего. А то — пашано. Да еще по пуду.
— Вы возами везете! — крикнул Фомич.
— Эка хватил! Непойманный — не вор. Мы по закону живем,— продолжал усмехаться Спиряк.— А коли прав человек — он спокоен. Не шуми. Ну, чего волнуешься? Какой я тебе ревизор?.. Авдотья,— сказал Спиряк иным тоном.— Ну-ка, выйди на двор да детишек забери. Нам потолковать надо.
Авдотья, десять лет проработавшая на ферме в ту пору, когда Спиряк Воронок был еще заведующим, привыкла выполнять его приказы автоматически, как старая кавалерийская лошадь выполняет давно заученную команду. И Спиряк уже не начальник, а сам водовоз, и Авдотья не доярка, а давно уж домоседка с вечно опухшими, искривленными какой-то непонятной болезнью пальцами, но все ж приказ сработал: она встала из-за стола и торопливо повязала платок.
— Ты куда? — Фомич хмуро кивнул на скамью.— Садись! Какие у меня могут быть с ним секреты?
Но детей он все-таки выпроводил.
— Гуляйте! — подталкивал Фомич ребятишек в спины, тихо шлепал по затылкам — кроме пятерых своих, в избе играли еще двое соседских.
Когда ребятишки, гулко протопав сенями, выскочили на крыльцо, Фомич сказал:
— Нечего и начинать. Бесполезный разговор.
— Кто ж тебя упредил? Филат, должно быть?
— Кулик на болоте.
— Я ведь вот к чему разговор веду, Авдотья.— Спиряк нарочно обращался теперь к хозяйке.— В каждом деле разумный оборот должен быть. А он не понимает.
— Вижу, какой тебе оборот нужен... Где что плохо лежит — у тебя брюхо болит,— зло сказал Фомич.— Но здесь не отколется.
— Вчера братана встретил,— глядя на Авдотью, сказал Спиряк.— Он говорит: мол, Фомичу самовольный покос запретим. А за то, что на работу не ходит, оштрафуем.
— Господи, что ж это будет, Федя?

— Тебя не спрашивают... Молчи! — цыкнул на жену Фомич.

— А я Пашке говорю,— мягко продолжал Спиряк Воронок,— Фомич многодетный, ему тоже кормиться надо. А на покос выделим ему напарника и оформим это вроде как общественную нагрузку. И все будет по закону.

— Эх ты, обдирала, мать твою...— Фомич длинно и заковыристо выругался.

— Ну вот, я ему выход подсказываю, а он меня к эдакой матери шлет.— Спиряк Воронок смотрел на Авдотью, словно Фомича тут и не было.

— Ладно, передай Пашке — я деда Филата беру в напарники,— сказал Фомич.

Воронок дернулся, словно его током ударило, и пошел в открытую:

— Косить будешь со мной и делить все пополам... Понял? Или...

— Иди ты... Я с тобой еще раньше наработался.

— А что раньше? Мой комбед на хорошей заметке был.

— Ты скольких туда отправил? Ваську Салыгу, к примеру, за что?

— Он лошадьми торговал.

— Не торговал, а больше менял, как цыган. Доменялся до того, что с одной кобылой заморенной остался... Я зна-а-аю за что...— Фомич остервенело погрозил пальцем.— Ты боялся, кабы он тебя не выдал.

— В чем?

— Бреховских лошадей в двадцать седьмом году не вы с Лысым угнали? А Страшной их в Касимове сбыл.

— Это вы по своему примеру судите,— невозмутимо и вежливо сказал Спиряк Воронок.— Петру Лизунину кто отпускную дал? Ты! Уж, поди, не задаром?

— Зато ты, как Лизунин сбежал, все сундуки его подчистил. Небось еще до сих пор не износил лизунинские холстины? А я не жалею, что отпустил его. Он вон где! В Горьком пристанью заведует. И дети у него в инженерах да врачах. А у тебя один сын, да и тот в тюрьме сидит за воровство.

Спиряк Воронок покрылся багровыми пятнами, встал, зло нахлобучил по самые брови кепку:

— Ты и раньше был подкулачником... Обманом в секретари сельсовета проник. А теперь ты — тунеядец. Мы еще подведем тебя под закон. Подведем!..

Он вышел, не прощаясь, сильно хлопнув дверью.

— Что ж теперь будет, Федя?—жалобно спросила Авдотья.

— Ничего... Бог не выдаст—свинья не съест.

Фомич понимал, что его короткому благополучию скоро придет конец. «Но как бы там ни было—отступать не буду. Некуда отступать»,—думал он.

На другой день к обеду, когда Фомич с дедом Филатом докашивали деляну Маришки Бритой, на высоком противоположном берегу озера появились дрожки председателя колхоза. Сам приехал—Михаил Михайлыч Гузёнков. Он привязал серого в яблоках рысака возле прибрежной липы и с минуту молча разглядывал косарей, словно впервые в жизни видел их. Фомич и дед Филат тоже стояли на берегу и разглядывали председателя; над камышовыми зарослями торчали их головы на тощих журавлиных шеях, как горшки на кольях. А председатель высился на липовой горе, широко расставив толстые, в желтых хромовых сапогах ноги, сложив руки крест-накрест на выпирающем животе, обтянутом расшитой белой рубахой, в белом парусиновом картузе. Ниже, в воде, такой же мощный председатель стоял ногами кверху на картузе, и казалось, он-то, этот нижний, отраженный в воде, и есть настоящий—стоит на голове и держит на себе липовую гору.

— Ну, чего уставились? Давайте сюда!—поманили пальцем оба председателя.

— Нам и тут хорошо,—сказал дед Филат.

— Чего там делать?—отозвался и Фомич.

— Идите, идите... Я вам растолкую, чего делать,— мирно уговаривал их Михаил Михайлович.

— Ты на лошади, ты и езжай сюда,—сказал Фомич.

— Буду я еще из-за вас, бездельников, жеребца гонять.

— Ну и валяй своей дорогой, раз мы бездельники... А нам некогда языки чесать.—Живой вскинул косу на плечо и пошел прочь.

За ним подался и дед Филат.

— Куда!—рявкнул Гузёнков так, что рысак вскинул голову и мелко засеменил передними ногами.—Стой, говорю!

— Ну, чего орешь?—Фомич остановился.

Дед Филат нырнул в кусты.

— Ты кто, колхозник или анархист?— распалялся Гузёнков.

— Я некто.

— Как это «некто»?— опешил председатель.

— Из колхоза пятый день как ушел. В разбойники еще не приняли... Кто ж я такой?

— Ты чего это кренделя выписываешь? Почему на работу не ходишь?

— Ты сколько получаешь? Две с половиной тыщи? Дай мне третью часть, тогда я пойду в колхоз работать.

— Брось придуриваться! Добром говорю.

— Ежели хочешь по-сурьезному говорить со мной, езжай сюда. Сядем под кустом и потолкуем. А кричать на меня с горы не надо. Я на горе-то всяких начальников видел. Еще поболе тебя.

— Ишь ты какой храбрый! Значит, от работы отказываешься?

— А чего я здесь делаю? Смолю, что ли, или дрыхну?

— Комедию ломаешь. Вот вызовем тебя на правление, посмотрим, каким ты голосом там запоешь.

— Ни на какое правление я не пойду! Я уже сказал тебе — из колхоза я ушел. Насовсем ушел!

— Не-ет, голубчик! Так просто из колхоза не уходят. Мы тебя вычистим, дадим твердое задание и выбросим из села вместе с потрохами. Чтоб другим неповадно было... Понял?

— Понял, чем мужик бабу донял,— усмехнулся Фомич.— А избу-то мою, чай, под контору пустишь? Все ж таки я буду вроде раскулаченного.

— Посмеешься у меня!..— Председатель рывком отвязал рысака, сел на дрожки и, откидываясь на вожжах, покатил вдоль озера.

По тому, как, скаля зубы, закидывал голову терзаемый удилами рысак, по каменной неподвижности налитого кровью стриженого затылка председателя можно было заключить, что уехал он в великом гневе.

— Ну, Федька, таперь держись,— сказал дед Филат, из-под ладони провожая строгого председателя.

5

Изба Фомича стала подаваться как-то враз. Вроде бы еще в прошлом году стояла исправной, а нонешней весной, когда Фомич откидывал высокий, почти до окон

завалинок, он вдруг заметил, что нижние венцы выпучило, словно изнутри их кто-то выпирал.

— Обрюхатела изба-то. Впору хоть ремнем ее подпоясывай,— невесело доложил он хозяйке.

А к осени сильно просела почерневшая от времени и копоти матица, и по ночам в ветреную погоду, когда тоскливо подвывало в трубе, матица сухо поскрипывала, словно кряхтела натужно.

— Федя, подопри ты матицу,— жаловалась в такую пору Авдотья.— Прихлобучит нас вместе с ребятами. Не выползешь.

Спала она с детьми на печи, а Фомич — на деревянной кровати, если ее можно было назвать кроватью. Длиной она была не более полутора метров, хотя и занимала весь простенок, до самой двери. Дальше нельзя — некуда! Изба-то семиаршинка... На такой кровати не вытянешься.

По ночам рядом с кроватью он ставил табуретку и протягивал на нее ноги.

— Жить захочешь — научишься изворачиваться,— любил приговаривать Фомич.

После встречи с председателем у озера Фомича вызывали в правление колхоза на центральную усадьбу в соседнее село Свистуново. Но Фомич не пошел. Там решили заглазно — исключить его из колхоза и утвердить это решение на общем собрании. Утвердили. А колхозникам запретили сдавать Кузькину свои телячьи деляны лугов для выкашивания. Так была нарушена неожиданная статья дохода Живого. Но Фомич посмеивался:

— Ничего, Дуня! Вот теперь я начну избу ухетовать. Спасибо им, хоть от работы меня освободили.

Жизнь не больно баловала Фомича. Детство трудное — сиротское. В юности не успел как следует погулять, как его и оженили. Повезли венчать. Как ехали — в тулупах,— так и вошли в церковь. На Фомиче старый отцовский тулуп тащился полами по ступеням паперти, а воротник и вовсе упрятал его голову так, что одна шапка выглядывала. «Пудоросток, как есть пудоросток,— сокрушенно вздыхала мать, идя за ним вслед,— невестка и то, кажись, поболе его будет».

А священник, встретив эту робкую, прижавшуюся в углу свадебную процессию, спросил весело:

— А где жених-то, чады мои?

Кроме Фомича, из мужиков был еще только отец

Дуняши — мужчина рослый, с окладистой седой бородой. Пришедшие поглазеть сдавленно прыскали и прикрывались ладонями, будто крестились. Мать толкнула тихонько Фомича в спину:

— Ен, батюшка, только на вид пудоросток, а так парень живой.

Поп громко засмеялся:

— И наречен был Живым?

— Живым, батюшка, живым,— ляпнула с перепугу старуха под общий уже несдержанный хохот.

— Если живой, значит, подрастет,— бодро сказал поп.

С тех пор и прозвали Фомича Живым...

А после свадьбы он и в самом деле подрос, на работе вытянулся. Год вместе с молодой женой батрачили они у свистуновского маслобойщика, а потом купили корову с лошадью и зажили своим хозяйством. Эти первые годы после женитьбы были затяжной и веселой погоней за достатком.

— Мы тройкой везли,— говаривал Фомич, вспоминая об этом времени.— Лыска коренником шла, а мы с Дуней — пристяжными.

Эх, Дуня, Дуня! Это теперь ты стала на вздохи скорой да на слезы слабой... А раньше, как зяблик, от зари и до зари колокольчиком заливалась, веселей тебя не сыскать...

Удивляли они прудковцев тем, что на втором и на третьем году замужества всё еще ходили по весенним вечерам на припевки. Собиралась молодежь на красной горке возле церковной ограды. Фомич приходил с хромкой на плече. Дуня в желтых румынках, в цветном платочке да в безрукавной продувной кофточке. Живой, бывало, приглядится к гармонисту, своему ли, чужому ли, все равно. Снимет гармонь — ухо к мехам... Да как ахнет! И голос в голос угадывал — так вольется. И две гармони играют, как одна. А Дуня только того и ждет, ее не надо упрашивать. Как бы нехотя снимет платок, лениво поведет плечами и пойдет по кругу с притопом, только дробь от каблуков горохом сыплется:

Гармонист, гармонист, тоненькая шейка!
Я спляшу тебе страданье — играй хорошенько.

А с лавочки глуховатым мягким баритоном отзывался Живой:

Ты залетка-залетуха,
Полети ко мне, как муха...

— Вот живые, черти! — ворчали на завалинках бабы.— Детей уж пора нянчить, а они всё еще ухажерятся.

— До женитьбы не успели, теперь отгуляем. Мы свое возьмем,— отвечал Фомич.

И на работе в колхозе, и в первые годы на воскресниках Дуня отличалась. Бывало, пойдет бороздой за сохой картошку сажать — от сохи не отстанет. Идет, как на привязи — мелким шажком, корзина на груди, а руки так и порхают от корзины да в борозду. Только корзины поспевай нагружать. Ребятишки на погляд сбегались, когда она сажала картошку. Ни одна ни девка, ни баба по всему колхозу не смогла бы угнаться за ней в борозде. Недаром и ее прозвали Живой. Была она смолоду, как и Фомич, смугла лицом, с быстрыми, серыми, глубоко посаженными глазами. За то ее мать Фомича, острая на язык старуха, прозвала «долбленые глаза». Потом пошли дети с такими же серыми «долблеными» глазами. И так уж получилось — вся тяжесть по домашнему хозяйству, «по поению-кормлению», как говорил Фомич, легла на Авдотью. Сам он скоро отошел от колхозных дел, поскольку получил продвижение «на руководящую линию», потому как был из батраков, бедняцкого происхождения.

Это батрацкое прошлое не только не принесло удачи Фомичу, но даже совсем наоборот,— можно сказать, сыграло с ним злую шутку.

В первые годы безбедной жизни в колхозе, когда выдавали еще по двенадцать пудов на едока, Фомича направили в сельсовет секретарствовать. Платили самую малость — сапог яловых не справишь. А кирзовых еще не продавали, делать пока не научились. Потом и вовсе худо стало: в Прудках сельсовет закрыли, и Фомич стал работать в Свистуновском сельсовете. Каждое утро и вечер пять верст по лугам туда-сюда бегал.

«Я теперь, как дергач,— говорил Фомич,— тот своим ходом на зимовку бегает, а я — на работу. Только вот еще крякать не научился».— «Зима подойдет — небось закрякаешь,— отзывалась старуха.— Одеть-то нечего. Пеньжак вот ветхий, хорошенько дунь в него — разлетится, как сорочье гнездо».— «Счастье, мать, не в пеньжаке».— А в чем?» — «Кто его знает».

Фомич и в самом деле не знал, в чем счастье. Когда

был маленьким, думал: счастье — это большой дом с хорошим садом, как у попа Василия, откуда пахнет летом сиренью да яблоками, а зимой блинами. Стал подрастать, думал: счастье — это жениться на Дуняшке. Но не успел еще как следует помечтать, а его уж и оженили. Потом он мечтал заработать много денег, накупить лошадей, коров, построить большой двор, совсем как у Лизунина... Но тут колхоз пришел. А в колхозе какое оно, счастье! Богатство не в чести. Революционная дисциплина и работа, чтоб всем было хорошо. Ладно! И такое счастье может быть. Но, работая секретарем сельсовета, Фомич знал, что год от году со всех колхозов берут поставок все больше и больше, а колхозы слабеют. Мало того, поначалу всем колхозникам хлеба давали столько, чтобы голоду не замечалось. На едоков, значит. А приработок шел тому больше, кто работал лучше. А теперь бригадирам, да трактористам, да учетчикам всяким платят много, а кому и совсем чепуху. Как же может быть в таком колхозе всем хорошо? И вспоминались ему слова Лизунина: «Колхоз это вот что такое: хитрый наживется, красивый налюбится, а дурак навалтузится». Пусть это неправда! Но ведь неправдой оказалось и то, во что верил Фомич, когда шел в колхоз: «Сделаем так, чтобы всем жилось хорошо». Выходит, и в колхозе счастья для него нет.

В тридцать пятом году Фомича послали как выдвиженца на двухгодичные курсы младших юристов. Однако не прошло и года, как всех недоучившихся курсантов стали направлять председателями в колхозы. Фомича направили в лесной колхоз мещерской полосы. Всю жизнь Фомич хозяйствовал на черноземе да на лугах. И что у него за хозяйство было? Земли — свинья на рыле больше унесет. А здесь колхоз, да еще лесной... К этому времени Фомич стал кое-что понимать — тот председатель хорош, который и начальство подкрепит сверхплановой поставкой, и колхозников сумеет накормить. А для этого великая изворотливость нужна. И главное — крепкая основа хозяйства: либо земля сильная, либо промысел какой доходный. Тогда еще можно продержаться. Но поехал Фомич в тот мещерский колхоз, поглядел: земля — подзол да болота. Зима подойдет — мужики обушок за пояс и пошли в отход. Своя земля и раньше не кормила. Чего же Фомич там сотворит? На чем развернется? А ведь осень подойдет — сдай хлеб государству и

мужикам выдай. Это какая же изворотливость, какая голова нужна? Нет, здесь он не потянет. И Фомич наотрез отказался идти в председатели. Тогда его исключили из партии, отчислили с курсов, и приехал он в Прудки с подмоченной репутацией, как «скрытый элемент и саботажник».

А вскоре и беда пришла. В тридцать седьмом году по случаю первых выборов в Верховный Совет был большой митинг в районе. Приезжал сам депутат — финансовый нарком. Мужики, съехавшиеся со всех сел по случаю базарного дня, густо запрудили площадь, в центре которой на дощатой трибуне стоял депутат, и зорко подмечали, что росту нарком был с Ваню Бородина, самого высокого мужика из Свистунова, что шапка была на наркоме бобровая, а папиросы он курил «эдакие вот, по сковороднику».

После митинга обещали выкинуть на лотки белые булки. Но булок этих оказалось мало, и когда подошла очередь Фомича, продажа кончилась. Фомич прочел вслух вывеску над ларьком: «Потребсоюз» и сказал: «Нет, это потрёпсоюз». Вокруг поднялся смех. Тогда к Фомичу подошел представитель рика и сказал: «Попрошу пройти со мной». На лбу у него не было написано, что он эдакий представитель, и Фомич послал его подальше. Представитель взял Фомича за воротник полушубка... Живой в драке был мужик отчаянный. Он захватил руку этого представителя, нырнул ему под мышку и кинул его так через себя, что у того аж калоши с хромовых сапог послетали. Раздались тревожные свистки, и Фомича забрали.

Судила его тройка «за антисоветскую пропаганду», да еще в «период подготовки к выборам». Припомнили все: и «скрытый элемент», и саботаж, то есть отказ от председательства, и исключение из партии. И отправили на пять лет в тюрьму по «линии врага народа».

Но Живой и в тюрьме не застрял. В тридцать девятом, в финскую войну, многие из заключенных подавали заявления в добровольцы.

Фомич тоже написал. Дело его пересматривали и освободили. Но пока заседали комиссии, пока ходили туда-сюда запросы: «Был или не был в лишенцах?», «Выступал ли против коллективизации?» и прочее — пока освобождали его, финская война окончилась.

Однако повоевать успел Фомич вдоволь в большую войну...

Принес он с войны орден Славы и две медали, да клешню вместо правой руки.

И откуда же знать Живому — есть ли на свете счастье? И какое оно? Перебирая дни и годы своей жизни, он сортировал их, как тальниковые прутья для корзины: те, что побольше, поважнее,— на стояки шли, помельче — в плетенку. Отброса вроде бы и не было — все деньки истрачены на дело. Теперь вот стали говорить, что счастье есть труд. Если это правда, тогда Фомич самый что ни на есть счастливейший человек на свете. В любую, самую трудную пору своей жизни он находил себе подходящее дело.

Вот и теперь по ночам Фомич на себе приволок из-за Луки несколько дубовых бревешек, подправил нижние подопревшие венцы и, главное, сделал подпорку под матицу — пусть хоть хозяйка спит спокойно.

Вместе с холодами постучала в избу Живого и тревога — пришла повестка: явиться в райисполком на «предмет исключения».

6

День выдался слякотный: с утра пошел мокрый снег вперемешку с дождем. Промерзшая накануне земля осклизла и налипала на подошвы. Фомич осмотрел свои ветхие кирзовые сапоги и решил привязать резиновые подошвы сыромятными ремнями: дорога до Тиханова дальняя — десять километров. В такую пору немудрено и подошвы на дороге оставить. Фуфайку он подпоясал солдатским ремнем — все потеплее будет. А поверх, от дождя, накинул на себя широкий травяной мешок. Вот и плащ! Да еще с капюшоном, и шлык на макушке. Как буденовка.

— Ну, я пошел! — появился он на пороге.

Как увидела его Авдотья в таком походном облачении, так и заголосила:

— И на кого же ты нас спокидаешь, малых да старых? Кормилец ты наш ненаглядный! Ох же ты злая долюшка наша... По миру итить сиротинушкам!

— Ты что вопишь, дуреха? Я тебе кто — покойник?

— Ой, Федя, милый, заберут тебя и посадят... Голо-

вушка моя горькая! Что я буду делать с ними, малолетними? — Авдотья сидела за столом облокотясь и, торопливо причитая, пронзительно взвизгивала.

Меньшой, Шурка, зарылся в материнские колени и тоже заревел.

— Глупой ты стала, Дуня...— как можно мягче сказал Фомич.— Ныне не тридцатые годы, а пятьдесят третий. Разница! Теперь не больно-то побалуешься... Вон самого Берию посадили. А ты плачешь!.. Смеяться надо.

И, махнув рукой на квёлость своей хозяйки, Живой ушел из дому. «Ну, что теперь преподнесет мне Семен Мотяков?» — думал он по дороге.

Председатель райисполкома Мотяков был годком Фомичу. В одно время они когда-то выдвигались — Мотяков работал председателем сельсовета в Самодуровке. Потом вместе на юридических курсах учились. В одно время их направили и работать председателями колхозов. Только Фомич тогда отказался от своего поста, а Мотяков пошел в гору...

Живой понимал, что с Мотяковым шутки плохи: тот еще раньше лихо закручивал, а после войны, окончив в области какие-то курсы, и вовсе грозой района стал. Его любимое выражение: «Рога ломать будем! Враз и навсегда...» — знал каждый колхозный бригадир.

«Ну и что? У меня и рогов-то нету. Все уже обломано... Поскольку я комолый, мне и бояться нечего»,— бодрился Фомич.

На исполкоме он решил держаться с вызовом. «Для меня теперь чем хуже, тем лучше. Ну, вышлют. Эка невидаль! На казенный счет прокачусь. А там и кормить хоть баландой, да будут».

Вымокшим, продрогшим до костей пришел Живой в Тиханово. Рик размещался в двухэтажном кирпичном доме посреди райцентра.

Живой как был в мешке, так и вошел в приемную.

— Кто меня тут вызывал?

— Вы что, на скотный двор пришли? — набросилась на него молоденькая секретарша.— Снимите сейчас же мешок! Да не сюда. За дверь его вынесите! С него прямо ручьями течет... Вынесите!

Живой снял мешок, но с места не двинулся.

— А ну-ка его кто унесет оттуда? У меня это, может, последний мешок...

— Да кому он здесь нужен? Ступайте! Чего встали у порога?

Живой было двинулся к двери председателя.

— Ага! Вы еще туда с мешком пройдите... Вот они обрадуются.— Секретарша встала из-за стола и энергично выпроводила Живого за дверь.— Бестолковый народ! Целую лужу оставил. Я вам что, уборщица?

Через минуту Живой вошел без мешка, но текло с него не меньше.

— Вы что, в пруду купались, что ли?

— Ага, рыбу ловил бреднем. А потом думаю: дай-ка обогреюсь в рике. У вас вон и мебель мягкая.

На этот раз секретарша и встать не успела, как Живой бесцеремонно прошел к столу и плюхнулся на диван.

— Во! В самый раз...

— Вы... Вы к кому?

— К Мотякову на исполком.

— Вы из Прудков? Кузькин?

— Ен самый...

— Да где же вы шатаетесь?! — словно очнулась она и набросилась на Живого с новой силой: — Встань! Его ждут целый час руководители, а он где-то дурака валяет.

Не слушая объяснений Фомича, она быстро скрылась за дверями и тотчас вышла обратно:

— Живо ступай! Ишь расселся.

Живой вошел в кабинет. На председательском месте сидел сам Мотяков, возле стола стоял секретарь райкома Демин в темно-синем бостоновом костюме. Члены исполкома, среди которых Живой узнал Гузёнкова, да председателя соседнего колхоза Петю Долгого, да главврача районной больницы Умняшкина, сидели вдоль стен и курили. Видать, что исполком уже кончился,— за длинным столом лежали исписанные листки бумаги, валялись карандаши.

— Вот он, явился наконец, ненаглядный! Извольте радоваться.— Мотяков сверкал стальными зубами, поглядывая на Фомича исподлобья.

Демин кивнул Живому на стул, но не успел Фомич и присесть, как Мотяков остановил его окриком:

— Куда! Ничего, постоишь... Не на чай пригласили небось.— Мотяков встал из-за стола; на нем были защитный френч и синие командирские галифе. Засунув руки в карманы, он петухом обошел вокруг Фомича и съязвил: — Курица мокрая... Еще бунтовать вздумал.

— А у вас здесь что, насест? Если вы кур собираете,— сказал Живой.

— Поговори у меня! — крикнул опять Мотяков и, подойдя к Демину, что-то зашептал ему на ухо.

Демин был высок и тощ, поэтому Мотяков тянулся на цыпочках, и его короткий широкий нос смешно задирался кверху.

«Как обнюхивает»,— подумал, глядя на Мотякова, Фомич и усмехнулся.

Демин кивнул Мотякову маленькой сухой головой, Мотяков подошел к столу и застучал костяшками пальцев:

— Начнем! Тимошкин, на место!

Кругленький проворный секретарь райисполкома Тимошкин с желтым, как репа, лицом присел к столу по правую руку от Мотякова и с готовностью уставился на него своими выпуклыми рачьими глазами. Демин отошел к стенке и присел рядом с другими членами исполкома.

— Гузёнков, давай, докладывай,— сказал Мотяков.

Михаил Михайлыч встал, расставил ноги в сапожищах, словно опробовал половицы,— выдержат ли? — вынул листок из блокнота и начал, поглядывая на Мотякова.

— Значит, после сентябрьского Пленума вся страна, можно сказать, напрягает усилие в деле подъема сельского хозяйства. Каждый колхозник должен самоотверженным трудом своим откликнуться на исторические решения Пленума. Но есть еще у нас иные-протчие элементы, которые в рабочее время ходят по лугам с ружьем и уток стреляют. Мало того, они подбивают на всякие противозаконные сделки неустойчивых женщин на ферме, которые по причине занятости не могут сами выкашивать телячьи делянки. И косят вместо них, а взамен берут пшеном и деньгами. Куда такое дело годится? Это ж возврат к единоличному строю... Мы не потерпим, чтобы нетрудовой элемент Кузькин разлагал наш колхоз. Либо пусть работает в колхозе, либо пусть уходит с нашей территории. Просим исполком утвердить решение нашего колхозного собрания об исключении Кузькина Федора Фомича.

Гузёнков сел, а Мотяков злорадно посмотрел на Фомича:

— Ну, что теперь скажешь? Небось оправдываться начнешь?

— А чего мне оправдываться? Я не краду и не на казенных харчах живу,— сказал Фомич.

— Поговори у меня! — крикнул Мотяков.

— Дак вы меня зачем вызывали? Чтоб я молчал? Тогда нечего меня и спрашивать. Решайте как знаете.

— Да уж не спросим у тебя совета. Обломаем рога-то враз и навсегда.— Мотяков засмеялся, обнажив свои стальные зубы.

— Товарищ Кузькин, почему вы отказываетесь работать в колхозе? — вежливо спросил Демин тихим хрипловатым голосом.

Длинные белые пальцы он сцепил на колене и смотрел на Живого, слегка откинувшись назад.

— Я, товарищ Демин, от работы не отказываюсь. Цельный год проработал и получил из колхоза по двадцать одному грамму гречихи в день на рыло. А в колхозном инкубаторе по сорок граммов дают чистого пшена цыпленку.

— Скажи ты, какой мудрый! Развел тут высшую математику...— сказал Мотяков.— А я тебе политику напомню: работать надо было лучше. Понял? Распустились! Небось год назад и не пикнул бы. Права́ захотел. А я тебе обязанности напомню.

Демин обернулся к Мотякову и сказал тихо, будто извиняясь:

— Товарищ Мотяков, с этими методами кончать надо. С ними вы далеко не уедете.

— Уедем! — крикнул Мотяков.

Демин как бы от удивления вскинул голову и сказал иным тоном:

— Товарищ Мотяков!

— Ну, ну...— Мотяков что-то невнятное пробормотал себе под нос и уткнулся в стол.

— Так, значит, вы отказываетесь работать? — опять ровным голосом спросил Демин Кузькина.

— Я, товарищ Демин, работать не отказываюсь. Я только бесплатно не хочу работать. У меня пять человек детей, и сам я инвалид Отечественной войны.

— Видали! Он себе зарплату требует... Вот комиссар из «Красного лаптя»,— засмеялся опять Мотяков.— Ты сначала урожай хороший вырасти, а потом деньги проси. Дармоед!

— А ты что за урожай вырастил? — спросил, озлобясь, Живой.— Или ты не жнешь, не сеешь, а только карман подставляешь?!

— Поговори у меня! — стукнул кулаком по столу Мотяков.

— Семен Иванович! Да успокойтесь, в конце концов.— Демин опять пристально, с выдержкой посмотрел на Мотякова.

Тот надулся и затих.

— Но ведь, товарищ Кузькин, не вы же один состоите в колхозе, и тем не менее вы один отказывались работать! — сказал Демин.

— Странный вопрос! — ответил Фомич.— А если я, к примеру, помирать не хочу? Или вы тоже скажете: не ты первый, не ты последний?

— Разумно,— усмехнулся Демин.— Но, товарищ Кузькин, надо же сообща болеть за свой колхоз.

— Мы болеем,— ответил Кузькин.— Да болезнь-то у нас разная. У меня брюхо сводит, а вот у Гузёнкова голова с похмелья трещит.

— Давай без выпадов! Тоже критик нашелся,— не выдержал опять Мотяков.

— Но, товарищ Кузькин, почему у вас такой плохой колхоз? Кто же виноват?

— Война виновата,— сказал Мотяков.

Кузькин пристально, подражая Демину, поглядел на него:

— Война-то виновата...— и обернувшись к секретарю: — Вы, товарищ Демин, знаете, как у нас картошку потравили?

— Какую? — очнулся Гузёнков.

— Семенную!

— Ну, ну? — заинтересованно подался Демин.

— Перебирали ее, перебирали — пошли на обед. Вернулись, а ее три коровы пожирают — хранилище проломили, прямо с неба сошли... Бока вó разнесло.

— Как же так? — Демин глянул на Гузёнкова.

Тот весь напыжился и только головой мотнул.

— Его работа,— сказал Кузькин.— Нагородили чурку на палку... Он плотников привозил. Премиальные платил им, быка съели. А хранилище слепили — свинья носом разворотит.

— А что потом с картошкой? — спросил Демин.

— Гузёнков сказал: всю картошку перевезти в подвал к Воронину, к нашему бригадиру. Весна подошла — а Пашка Воронин и говорит: нету картошки, вся померзла.

— А вы писали куда-нибудь, в районные инстанции?

— Писал. А что толку? Писать в нашу районную инстанцию — это одно и то же, что на луну плевать.

— Кому это ты писал? — поднял голову Мотяков.

— Тебе, например.

— Мне? Не помню.— Он обернулся к Тимошкину: — Тимошкин, было?

— Не поступало,— выпалил тот.

— А это что? Не твоя подпись? — Кузькин вынул из кармана открытку и сунул ее Тимошкину.— У меня письмо с муд... уведомлением. Знаю, с кем дело имею.

Тимошкин покосился на открытку:

— Мою подпись надо еще документально доказать. А может быть, это подделка?

— А ну-ка? — Демин подошел к столу и взял открытку.— Товарищ Мотяков, в этом деле разобраться надо.

— Это само собой... Разберемся. Кто письмо потерял, кто факты извратил... Виноватых накажем.

Скрипнула дверь, вошла секретарша:

— Товарищ Демин, вас к телефону. Из обкома звонят.

— Хорошо!

Секретарша ушла.

Демин положил открытку перед Мотяковым.

— Так разберитесь,— и вышел.

— Чего с ним говорить! — махнул рукой Гузёнков.— Известный элемент... отпетый.

— В тридцатом году я колхоз создавал, а вы, товарищ Гузёнков, на готовенькое приехали. Еще неизвестно, чем вы-то занимались в тридцатом году.

— Мы тебя вызвали не отчитываться перед тобой! — оборвал Живого Мотяков.— А мозги тебе вправить враз и навсегда. Понял? Будешь в колхозе работать?!

— Бесплатно работать не стану.

— А что вы, собственно, хотите? — спросил Умняшкин.

— Выдайте мне паспорт. Я устроюсь на работу.

— Мы тебе не паспорт, а волчий билет выпишем,— сказал Мотяков.— Выйди в приемную! Когда надо — позовем.

Живой вышел.

— Ну, что с ним делать? — спросил Умняшкин, грузный немолодой человек с лицом сумрачным, усталым, с тем выражением наступленной серьезности, которое бывает у много проработавших сельских врачей.

— Дадим ему твердое задание... в виде двойного налога,— сказал Мотяков.— А там видно будет.

— Но ведь налоги отменены! — возразил Умняшкин.

— Это с колхозников. А поскольку его из колхоза исключили, значит, он вроде единоличника теперь.

— И мясо с него, и шерсть, и яйца... все поставки двойные! — подхватил Тимошкин.

— Ну, как? — обернулся Мотяков к членам исполкома.

— Не то,— сказал председатель бреховского колхоза Звонарев, прозванный за свой огромный рост Петей Долгим.— На трудодни ему не заплатили. Надо искать выход. Положение трудное.

— Все ясно, как дважды два — четыре.— Мотяков даже ладонью прихлопнул.— Исключить из колхоза — и твердое задание ему враз и навсегда.

— А я бы отпустил его,— возразил Петя Долгий.— И надо помочь устроиться.

— Это называется либерализмом,— сказал Мотяков.— Если мы станем пособничать лодырям и летунам — все колхозы развалим. Сегодня один уйдет, завтра другой... А работать кто станет?

— У нас не уходят,— сказал Петя Долгий.

— Дак у тебя колхоз на ногах стоит, а у Гузёнкова на четвереньках... Разница! Ты диалектику не понимаешь, враз и навсегда.

— Правильно, Семен Иванович! — подхватил Тимошкин.— На Кузькине пример воспитания надо показать... неповадности то есть. Двойные поставки с него и мяса, и шерсти.

— Лихо, лихо,— сказал Умняшкин.— Тогда уж и две шкуры с него берите.

— А что? — отозвался Мотяков.— По обязательным поставкам положено было сдавать шкуру. Пусть сдает две. Тимошкин, пиши!

— Но ведь он же инвалид третьей группы,— сказал Умняшкин.— Вы хоть это учтите.

— Подумаешь, трех пальцев не хватает,— усмехнулся Мотяков.— Ты не смотри, что он такой — на заморенного кобеля смахивает. Он еще нас с тобой переживет. Ставим на голосование: кто за исключение, прошу поднять руки!

Мотяков, Гузёнков, Тимошкин проголосовали за исключение. Умняшк н и Петя Долгий против.

— Большинство за,— торжествующе отметил Мотяков.

— Х-хе, большинство... в один голос,— усмехнулся Петя Долгий.

— Один голос, да мой,— Мотяков поднял палец кверху.— Сравнил тоже — мой голос и твой голос,— и крикнул в дверь: — Позвать Кузькина!

Живой на этот раз вошел с мешком в руках. Мотяков подозрительно поглядел на мешок:

— Поди, поросят тащил в мешке?

— Ага... Поторопился. Не то вы все равно отберете.

— Поговори еще! Я отобью у тебя охоту. Враз и навсегда. Дай сюда протокол! — Мотяков взял листок у Тимошкина и зачитал: — «В связи с исключением из колхоза Кузькина Федора Фомича, проживающего в селе Прудки, Тихановского района, числить на положении единоличного сектора, а потому обложить двойным налогом, то есть считая налог с приусадебного хозяйства размером 0,25 га, отмененный последним постановлением правительства, умноженным на два. А именно, подлежит сдавать в месячный срок Кузькину Федору Фомичу тысячу семьсот рублей, восемьдесят восемь кг мяса, сто пятьдесят яиц, шесть кг шерсти или две шкуры».

— Семен Иванович, дайте-ка, я ему еще впишу сорок четыре кубометра дров. Пускай заготовляет,— потянулся к председателю Тимошкин.

— Ты сам их и заготовишь,— сказал Фомич.— У тебя хохоталка-то вон какая. С похмелья не упишешь.

Тимошкин криво передернул ртом:

— Может, обойдемся без оскорблениев? Не то ведь и за личность придется отвечать.

— Ага... Я и в тридцатых за тебя отвечал. А твой отец в лавке колбасой торговал.

— Вопросы имеются? — спросил Фомича Мотяков.

— Интересуюсь, мне по частям сдавать или все враз? — Фомич невинно глядел на Мотякова.

Тот важно, официальным тоном сказал:

— Хоть сейчас вези...

— Все?

— Все, все!

— Деньги я внесу... Все до копеечки. Из застрехи выну. И мясо сдам — телушку на базаре куплю. Яйца тоже сдам... Но вот насчет шкуры сделайте снисхождение. Одну шкуру я нашел.

— Где нашел одну, там и другую найдешь,— сказал Мотяков.

— Ну, себя-то я обдеру, а жену не позволят. У нас равноправие.

Кто-то из заседателей прыснул. Умняшкин закрылся ладонью — только глаза одни видны, и те от смеха слезились тоже. Петя Долгий заклевал носом и как-то утробно закурлыкал. А Мотяков рявкнул, побагровев, и грохнул кулаком об стол так, что Тимошкин подпрыгнул от испуга.

— Вон отсюда! Враз и навсегда...

На улице все так же моросил дождь с мокрым снегом пополам. Фомич накинул на голову мешок и побрел по грязной улице. На душе у него было тошно, весь запас бодрости и сарказма он израсходовал в кабинете Мотякова. И теперь впору хоть ложись посреди дороги в грязь и реви. Выпить бы, да в кармане ни гроша...

На краю Тиханова, напротив бывшей церкви, а теперь зерносклада, стоял на отшибе обшитый тесом, когда-то утопавший в саду попов дом. В жаркий день, выходя из Тиханова, здесь у колодца обычно приостанавливались прохожие, напивались впрок. Фомич вдруг почувствовал усталость и дрожь в коленках. «Черт, как будто мешки таскал... Вот так исполком». Он прислонился к творилам колодца, поглядел на попов дом. «Вот и исповедальня. Надо зайти»,— решил Фомич.

В поповом доме теперь помещался райфо. В крайнем боковом кабинете сидел Андрюша, прямо из-под стола высунув свою деревянную ложу, считал на счетах.

— Здорово, сосед! — весело приветствовал он Фомича.— Ты что такой мокрый да бледный? Как будто черти на тебе ездили?

— Черти и есть.— Фомич присел на обитый черной клеенкой диван и перевел, словно после длительной пробежки, дух.— Вот исповедоваться к тебе пришел. Ты же в поповом дому сидишь.

И Фомич рассказал все, что было на исполкоме. Андрюша долго озабоченно молчал, перебирая костяшки на счетах.

— Вот что сделай — возьми бумагу от них с этим твердым заданием. Ружье спрячь, козу продай. А велосипед оставь. Он у тебя все равно старый. Пускай что-нибудь да конфискуют. Потом подашь жалобу. И обязательно достань справку в колхозе — сколько ты там выработал за год трудодней.

— Да кто мне ее даст?

— Схитрить надо. Изловчиться.

— А не вышлют меня?

— Могут и выслать, по статье тридцать пятой — без определенной работы, как бродягу.

— А инвалидов не высылают?

— Инвалидов нет. Но у тебя же третья группа. Должен еще работать.

— А я что, от работы отказываюсь? Пусть выдают паспорт — устроюсь.

Андрюша только руками развел:

— Сие от нас не зависит. Ты вот что запомни — придут к тебе имущество описывать, веди себя тише воды, ниже травы. Понял? Задираться начнут — не вздумай грубить. Сразу загремишь. Пусть берут, что хотят. Только помалкивай. Это заруби себе на носу!

7

Комиссия нагрянула после праздников, по снегу. Фомич успел и козу продать, и ружье припрятать. Ружье он обернул промасленными тряпками и засунул в застреху на дворе. Старый пензенский велосипед, еще довоенный, облупленный, как запаршивевшая лошадь, стоял в сенях, прямо перед дверью: «Вот он я! Хотите — берите, хотите — нет».

Комиссия была из пяти человек — во главе инспектор райфинотдела по свистуновскому кусту Настя Протасова — большеносая, стареющая дева по прозвищу Рябуха, за нею бригадир Пашка Воронин да еще трое депутатов Совета — здоровенные трактористы из Свистунова. «Эти на случай, если я брыкаться начну»,— подумал Фомич. Он юркнул в чулан и притворился спящим.

— Можно к вам? — послышался в дверях Настин голос.

— Проходите,— сказала Авдотья.

— Здравствуйте,— разноголосо донеслось от порога.— А где хозяин?

— Вон, в чулане на лавке.

Настя приоткрыла занавеску:

— Ты что, ай заболел?

— Мне болеть не положено. Ведь я Живой! — Фомич встал с лавки.

За столом расселись трактористы и Пашка Воронин.

— Извиняйте, гости дорогие! Угощать-потчевать вас нечем,— сказал Фомич.— До вашего прихода были и блины, и канки, а теперь остались одни лихоманки... Что ж вы не предупредили, что придете?

Трактористы дружно засмеялись. А Настя набросилась на Фомича:

— Что ты комедию ломаешь? Ты лучше скажи, когда налог думаешь вносить?

— А мне, Настя, думать никак невозможно. За нас думает начальство. А нам — только вперед! Назад ходу нет. За меня вон Пашка Воронин думает.

Трактористы снова засмеялись, а Пашка нахмурил желтые косматые брови и угрожающе сказал:

— Мы пришли не побасенки твои слушать. Понял?

— И тебе, Федор Фомич, не стыдно? — пошла в наступление Настя.— Такой лоб, и не работаешь! Вон бабы и то целыми днями с фермы не уходят. А ты на лавке дрыхнешь.

— Это ж просто симулянт! — подстегнул ее Пашка.

— Да он хуже! Тунеядец и протчий элемент, которые раньше в паразитах ходили.

Настя и Пашка точно старались друг перед другом раззадорить Фомича. Он мигом смекнул, в чем дело; сел на табуретку, скрестил руки на груди и эдаким смиренным голосом произнес:

— Эх, Настя... И ты, Паша! Понапрасну вы свое красноречие расходуете. Я стал человеком религиозным. Это я раньше не верил ни в бога, ни в черта, ни в кочергу. Ты мне слово — я тебе десять в ответ; ты меня — царап, я тебя — по уху. А теперь я прочел в Евангелии: ударь меня в правую щеку — я подставлю левую. Так что кляните меня, как хотите, и берите, что хотите.

— Кто тебя предупредил? — простодушно спросила Настя.

— А черный ворон в лесу. Ходил я ноне с утра за дровами. Смотрю, сидит на дубу: «Ка-рр! Придут к тебе Настя с Пашкой в гости, смотри не обижай их».

— Чего болтовню его слушать! Давайте опись составлять,— сказал раздраженно Пашка.

Настя вынула из портфеля протокольную книжечку.

— Где твое ружье? — спросил Пашка.

— Продал.

— Не ври. Спрятал, наверное?

— Ищите.

Пашка Воронин разогнулся во весь свой длиннющий рост, посмотрел на печь, пошарил за трубой, потом вышел в сени.

— Возьми лестницу, на чердак слазь! — сказала ему Настя.

— Чего там лестницу! У него не чердак, а шесток. Рукой достанешь.

Воронин и в самом деле приподнялся на цыпочках, вытягивая шею, как журавель.

— Ты смотри, избу не развали, жираф! — сказал Фомич.— Не то придется тебе новый сруб ставить.

— Я б те срубил клетку, как для обезьяны. Да в зверинец бы тебя, лодыря, отправил.

Фомич вдруг вспомнил, как Пашкин брат Воронок так же вот шнырял по лизунинской избе после бегства хозяина. Накануне Воронок приказал Фомичу вписать Нестеру Лизунину в твердое задание один центнер семян моркови: «И чтоб в двадцать четыре часа рассчитался!» Воронок был председателем сельсовета. Его указ — закон для секретаря. Фомич и вписал. А к вечеру зашел Нестер: «Федор, ты знаешь, на сколько хватит этих семян моркови?» — «На сколько?» — «На весь район!.. Где ж я столько возьму?» Тогда-то Фомич и выдал отпускную Нестеру Лизунину, а ночью тот смылся со всей семьей.

Фомич смотрел теперь на Пашку, а в глазах у него стоял старший Воронок тех дней. «И что за порода нахальная такая! Хлебом их не корми. Дай только покомандовать. Или что отобрать. И ведь с лица совсем не схожие — один рыжий, долговязый, с длинной лошадиной мордой, второй коренаст, черен был в молодости, как жук навозный. А хватка у обоих мертвая. Видать, в отца пошли... Того всё по этапам гоняли — первый вор был в округе...»

Пашка спрыгнул со стены, отряхнул рукава от пыли.

— Ну, что там? — спросила Настя.

— Глина да пыль. У него там и мякины-то нет. Сожрал, что ли?

— Домовому скормил. Он у меня цельный год на одной мякине сидит.

Трактористы опять дружно, как по команде, засмеялись.

— Где добро-то храните? — спросила Настя Авдотью.

— Да рази ты не видишь? У меня его, добра-то,

навалом. Что на печи, что на кровати,— ответил опять Фомич.

— Ты не валяй дурака. Где сундук?

— Под кроватью.

Пашка вытащил из-под кровати зеленый, окованный полосовым железом сундук — Авдотьино приданое.

— Смотри! — сказал он Насте, а сам деликатно отошел к столу и подсел к трактористам.

Настя откинула крышку, и вдруг Фомич заметил среди старого тряпья Дунин кошелек с шишечками. «Мать ты моя родная! Там же козья выручка — три сотни рублей! Все богатство». У Фомича дух захватило, когда он увидел, что Настя цопнула кошелек и открыла шишечки. Первая мысль была — выхватить у нее кошелек. А потом? Эти же волкодавы задушат его. Он вспомнил наставление Андрюши: «Не груби! Пусть что хотят, то и берут». Фомич аж зубами скрипнул от досады и отошел подальше от греха.

— Дуня! — позвала Настя.— Иди-ка сюда.

Подошла от печи хозяйка.

— Смотри-ка! — потянула ее к сундучку Настя.— Это облигации. В тряпье хранить их не след.— И она сунула в руку оторопевшей Авдотье кошелек с деньгами.

— Ах ты, батюшки мои! Как это ребяты не добрались до них,— запричитала Авдотья.— Федя, ты, что ль, их бросил сюда? — Между тем она торопливо упрятала кошелек за пазуху.

— Ты все валишь на меня, растереха! — нарочито строго проворчал Фомич, а на душе у него отлегло: «Ай да Настенка, ай да Рябуха! Совесть какая! Гляди-ка ты. А еще в старых девках числится...»

— Да тут и описывать нечего — одни шоболы,— сказала Настя от сундука.— Коза-то цела?

— Давно уж и поминки справили,— ответил Фомич.

— Чего ж тогда брать?

— Возьмем велосипед,— сказал Пашка.

Настя вписала в квиток велосипед и ткнула Фомичу:

— На, подпиши!

Фомич поставил подпись. Потом в сенях вручил Насте велосипед и продекламировал:

— Эх! Что ты ржешь, мой конь ретивый? Послужил ты мне правдой верною. Теперь отдохни и мне отдых дашь.

Настя передала Пашке облупленный Фомичов велосипед, и комиссия в полном составе отбыла.

— Федя, продадут теперь твой велосипед,— вздохнула Авдотья, взглядом провожая из окна эту процессию.

— Не бойся, мать. Хорошие люди не купят. А плохие и взяли бы, да денег пожалеют. Они задарма привыкли все брать. А велосипед мне приведут... Кто брал его, тот и приведет...

На другой день Фомич сходил в Свистуново в правление колхоза и сказал счетоводу:

— Корнеич, что-то на меня наваливается беда за бедой. Прямо дух не успеваю переводить.

— А что такое?

— Да глядя на вас, и райсобес озорует. Говорят, что, мол, у тебя минимума трудодней не выработано. А потому — половину пенсии с тебя удержим.

— Ну, это они против закона.

— Поди попробуй втолкуй им. Ты мне напиши справку — сколько я трудодней за год выработал.

— Это можно.

Корнеич выписал Фомичу справку «в том, что он со своей семьей выработал за год 840 трудодней». И печать приложил.

Фомич тщательно прочел ее, сложил вчетверо и удовлетворенно сказал:

— Ну, теперь вы, голубчики, попались у меня. Я эту справку не в собес отправлю, а в ЦК пошлю.

— Ну-ка дай сюда! — грозно поднялся Корнеич, но Фомич выкинул ему под самый нос кукиш:

— А этого не хотел! Так и передай Гузёнкову.

— Я скажу, что ты выманил ее обманом.

— Привет! — махнул Фомич малахаем.— Приятного разговора с Михал Михалычем.

Придя домой, Фомич вырвал из тетради двойной лист и на весь разворот начертил химическими чернилами круг. По этому ободу он вывел большими буквами: «Заколдованный круг Тихановского райисполкома». А в центре круга написал: «Я, Федор Фомич Кузькин, исключен из колхоза за то, что выработал 840 трудодней и получил на всю свою ораву из семи человек 62 килограмма гречихи вместе с воробьиным пометом. Спрашивается: как жить?» К этому чертежу Фомич приложил справку о выработке трудодней и жалобу, в которой изложил, как его исключали, как выдали «твердое задание» и потом отбирали велосипед. Жалобу начал он «издаля». «Подходят выборы. Советский народ радуется: будет выбирать

родное правительство. А моя семья и голосовать не пойдет...» Все эти сочинения Фомич запечатал в конверт, написал адрес обкома, на имя самого первого секретаря Лаврухина, и пешком сходил на станцию Пугасово за сорок километров. Там опустил конверт в почтовый ящик на вокзале — «здесь не догадаются проверить». И, довольный собственной хитростью, выпил за успех — взял кружку пива, сто пятьдесят граммов водки, смешал все, и получился преотличный ерш.

8

О том, что жалоба сработала, Фомич догадался по тому, как нежданно-негаданно зашел однажды под вечер Пашка Воронин и, не разгибаясь в дверях, через порог сказал:

— Забери свой велосипед. Он в сельсовете стоит, в Свистунове.

— Я не имею права,— скромно ответил Фомич.— Кто его брал, тот пусть и приведет.

— Как же, приведут. На моркошкино заговенье.— Пашка хлопнул дверью и ушел.

— Ну, мать, теперь жди гостей повыше,— изрек глубокомысленный Фомич.

Через день пополудни они нагрянули. Один совсем молоденький, востроносый, простовато одетый — полушубок черной дубки, на ногах черные чесанки с калошами. На втором было темно-синее пальто с серым каракулевым воротником и такая же высокая — гоголем — шапка. И телом второй был из себя посолиднее, с белым мягким лицом, и смотрел уважительно. Вошли, вежливо поздоровались, сняли шапки, обмели у порога ноги и только потом прошли к столу.

— Вы писали жалобу? — спросил Фомича тот, что посолиднее.

— Не знаю,— Фомич выжидающе поглядывал на них.

Авдотья замерла возле печки с ухватом в руках — чугун с картошкой выдвигала, чтоб немного остыл к обеду.

— Мы представители обкома,— сказал младший.

— Не знаю,— Фомич и ухом не повел.

— А-а, понятно! — улыбнулся востроносый.— Федор Иванович, покажите ему бумаги.

Тот, что посолиднее, вынул из бокового кармана конверт с бумагами и протянул Фомичу. Живой взял конверт, проверил бумаги — все писано им, но ответил опять уклончиво:

— Не знаю... Кто такие будете?

— Да вы, товарищ Кузькин, воробей стреляный! — засмеялся опять востроносый.— Вот наши документы.— Он протянул Фомичу свое обкомовское удостоверение, за ним последовал и солидный.

Фомич, не торопясь, прочел удостоверения и только потом предложил сесть к столу.

Вошли ребята — сразу втроем — с сумками в руках и, не глядя, кто и что за столом, заголосили от порога:

— Мам, обедать!

— Да погодите вы, оглашенные. Не успели еще порог переступить. Как грачи. Не видите — люди за столом.

— Нет, нет, кормите! — быстро встал из-за стола молодой.— Мы посидим, подождем.

Фомич вынес из чулана лавку и усадил обкомовцев.

Авдотья налила чашку жидкого гречневого супа и поставила в алюминиевой тарелке очищенную, мелкую, как горох, картошку. Ребята бесцеремонно осматривали гостей и только потом проходили к столу. Ели они молча, дружно и быстро, как вперегонки играли. Вместо хлеба ели картошку, макали ее в соль и отправляли в рот. Опустошив алюминиевую тарелку, выхлебав чашку супа, они полезли на печь.

— А что ж вы им второе не подали? — спросил Авдотью солидный.

— Все тут было,— ответил Фомич.— В чашке, значит, первое, а в люменевой тарелке второе.

— Мам, а что было на второе? — спросил от порога меньшой Шурка.

— На второе кресты,— ответила Авдотья.

— Перекрестись, да на боковую. Так, что ли? — солидный с улыбкой смотрел на Фомича.

Фомич принял шутку:

— Да живот потуже подтяни.

— Кажется, вы уж и так на последнюю дырку затянулись,— сказал солидный.

— Есть еще запас, есть,— отшучивался Фомич, похлопывая себя по животу.

Солидный вопросительно поглядел на молодого, а тот, еле заметно подмигнув Фомичу, улыбаясь, сказал:

— А вы покажите-ка нам свои запасы.— И солидному: — Начнем с подпола, Федор Иванович.

— Да, конечно. Посмотреть надо.— Солидный встал и начал расстегиваться.

Фомич принял его тяжелое пальто и положил на кровать.

— Вы бы лучше повесили,— сказал солидный, с опаской поглядывая на кровать, на ветхое лоскутное одеяло.

— Да у нас на вешалке шобольй-то больше,— сказал Фомич.— Как хотите! Я повешу.

Но солидный, увидев на вешалке драную Фомичову фуфайку да обтрепанные ребячьи пиджаки, поспешно остановил его:

— Нет-нет. Пусть там лежит. Я ведь ни о чем таком не подумал.

Востроносый, растягивая во все лицо подвижные смешливые губы, похлопывал дружески хозяйку по плечу:

— Ничего, ничего. Уладится.— Свой полушубок он кинул рядом с пальто на койку.— Айда в подпол! — Он сам открыл половицы и первым же спрыгнул.— Посветить чего не найдется?

Фомич подал ему зажженную лампу.

— Ну как, Федор Иванович, спуститесь? — спрашивал он из подпола.

— Да, да.— На Федоре Ивановиче был хороший черный костюм и ботинки. Он осторожно оперся о половицы.— Да тут глубоко! Без парашюта не обойдешься. А ну-ка мне точку опоры!

— Сейчас табуретку поставлю.— Фомич подал им табуретку.

Федор Иванович спустился в подпол, и они с минуту оглядывали небольшую кучу мелкой картошки.

— Это что у вас, расходная картошка? — спросил Федор Иванович.

— Вся тут,— ответил Фомич.

Они молча вылезли.

— Кладовая у вас есть?

— Нет.

— Это что ж, весь запас продуктов? — Федор Иванович ткнул рукой вниз.

— Вон еще кадка с капустой в сенях стоит.

Они вышли в сени.

— Как же вы живете? — спросил Федор Иванович растерянно.

— Вот так и живем,— ответил Фомич.

— Я же говорил вам — типичный перегиб,— сказал востроносый.— Мотяковщина!

Федор Иванович как-то посерел, и лицо его вроде бы вытянулось. Не сказав ни слова, он возвратился в избу, быстро оделся и попрощался с хозяйкой, глядя себе под ноги:

— Извините за беспокойство. Постараемся помочь. А вы пройдемте с нами,— сказал он Фомичу.

Возле бригадировой избы стоял «газик».

— Садитесь! — Федор Иванович пропустил Фомича на заднее сиденье вместе с востроносым и приказал шоферу: — Посигналь!

На звук сигнала выбежал из дому Пашка Воронин. Федор Иванович кивнул ему:

— Садитесь...

Пашка влез тоже на заднее сиденье, притиснулся к Фомичу, и поехали. Свернули в Свистуново. Остановились возле правления.

— Пошли! — Федор Иванович вошел первым.

В правлении Гузёнкова не оказалось. Лысый Корнеич высунулся из дверей бухгалтерии и сказал услужливо:

— Посидите! Я сбегаю за Гузёнковым. Мигом обернусь.

— Не надо! — остановил его Федор Иванович.— Вы кто здесь?

— Счетовод.

— И отлично! Вам Кузькин знаком?

— Так точно! — по-военному ответил Корнеич.

— Завтра Кузькину лошадь выделите. Он в райком поедет.

Корнеич передернул усами и с недоумением глядел то на приезжего начальника, то на стоявшего за ним Пашку Воронина. Наконец осторожно возразил:

— Я, конечно дело, передам Михаил Михайлычу. Только это, товарищ начальник, лодырь.— И поспешил добавить: — Правление, значит, определило его таким способом.

— А это что? — Федор Иванович показал справку.— Кто ее выдавал? Правление?

Корнеич только глянул и рявкнул:

— Так точно! Я то есть. Но, позвольте сказать, товарищ начальник, эту справку он взял обманом.

— Как обманом?

— Он у меня выпросил ее для райсобеса.

— Это не важно, для кого. Верно, что он выработал столько трудодней?

— Это уж точно! — Корнеич по-прежнему стоял навытяжку, и его тяжелые, в крупных синих жилах кулаки доставали почти до колен.

— Так вот, завтра же дать Кузькину лошадь. А вы приезжайте в райком к девяти часам,— обернулся он к Фомичу.

— Товарищ начальник, я лучше пешком пойду,— сказал Фомич.

— Почему?

— Боюсь, замерзну в дороге-то. Мороз вон какой. А моя одежка что твои кружева — спереди дунет, сзади вылетит.

— Хорошо. Дайте ему с подводой и тулуп,— сказал Федор Иванович.

— Сделаем! — рявкнул Корнеич.

— А вы,— обернулся Федор Иванович к Пашке Воронину,— сегодня же возвратите Кузькину велосипед. Он у вас где хранится?

— В сельсовете.

— Вот так.— Федор Иванович, не прощаясь, вышел из правления.

Фомич выбежал за ним.

— Садитесь! — сказал Фомичу Федор Иванович.— Подвезем вас до дому. Да смотрите, завтра вовремя приезжайте. И непременно на лошади.

А поздно вечером Пашка Воронин привел велосипед; он оставил машину на крыльце и постучал в окно. Когда Фомич вышел, его и след простыл.

9

Фомич лошадь все-таки не взял — хлопотно больно: надо идти в Свистуново, глаза мозолить в правлении, потом отгонять ее туда же и топать обратно пешком почти пять верст. Что за корысть? Кабы она на дворе стояла, лошадь-то, или хотя бы в Прудках. А то сбегай в Свистуново туда и обратно — ровно столько же в один конец и до Тиханова будет. И без тулупа нельзя ехать — замерзнешь. А с тулупом еще больше хлопот: не

занесешь его в райком, и в санях оставить боязно. А ну-ка кто украдет? Тогда и вовсе не расплатишься.

Утречком по морозцу он легкой рысцой трусил без передышки до Тиханова — мороз подгонял лучше любого кнута.

«Чудна́я у нас жизнь пошла,— думал Фомич по дороге.— На все Прудки оставили трех лошадей — одну Пашке Воронину, двух для фермы воду подвозить. А мужики и бабы добирайся как знаешь. Ни тебе автобусов, ни машин. В больницу захотел — иди сперва в Свистуново в правление, выпроси лошадь, если дадут — поезжай. А куда-нибудь на станцию, или на базар, или в район — и не проси. У Гузёнкова своя машина, у Пашки лошадь и мотоциклет, а у колхозника — шагалки. Бывало, свой автомобиль на дворе стоял — запрягай и езжай, куда захочешь. Хоть по делу, хоть в гости. А то и так просто по селу покататься, выпимши, к примеру, больно хорошо. И ребятам повозиться с лошадью — одно удовольствие. Там в ночное сгонять, в лес съездить. Красота! А теперь они, как бродяги, цельными днями без дела по лугам слоняются. А ведь раньше в зимнюю пору последний человек пеш ходил в Тиханово. Вон Зюзя-конокрад. Да и то, когда подфартит, и на чужом, бывало, проедет...»

В Тихановском райкоме Живого встретила заведующая райсобесом Варвара Цыплакова.

— Зайдем ко мне, Федор Фомич,— пригласила она любезно и поплыла впереди, загораживая собой почти весь коридор.

Время было раннее, в райкоме — пусто.

Фомич удивлен был и ее вежливым обхождением, и таким неожиданным приглашением. Обычно, когда пенсионеры собирались в райсобесе и чересчур шумно толклись возле окошечка кассы, она громовым голосом кричала из соседней комнаты на кассира:

— Егор, уйми своих иждивенцев! Не то всех вас выгоню на мороз.

А теперь она сама открывает перед Фомичом дверь — райсобес был рядом с райкомом — и пропускает его впереди себя.

— Проходите, проходите, Федор Фомич.

Было всего лишь половина девятого, Фомич не торопился. Он сел поудобнее на клеенчатый диван. «Уж коли ты вежливость несусветную проявляешь,— подумал он,—

то и я тебя отпотчую». Он достал кисет, свернул «козью ножку» толщиной с большой палец и зачадил кольцами в сторону начальства крепчайшим табачным дымом.

— Я давно еще хотела с тобой, товарищ Кузькин, все поговорить. Кх-а, кх-а! Да ведь ты не заходишь. На дороге тебя не словишь. Кх-а, кх-а! Да что у тебя за табак? Аж слезу вышибает.

— А ты нюхни, Варвара Петровна, своего,— сказал Фомич, подмигивая.— И все пройдет. Клин клином вышибают. У тебя, чай, покрепче моего будет.

Варвара Петровна нюхала табак. Но эту свою слабость она скрывала от посетителей.

— Да я ведь просто так, балуюсь иногда. Да уж ладно! За компанию, пожалуй, нюхну.— Варвара Петровна, смущенно улыбаясь, достала из стола большую круглую пудреницу с черным лебедем на крышке, насыпала оттуда на большой палец щепоть нюхательного табаку и сунула сначала в одну ноздрю, потом в другую. Потом она как-то тихо и тоненько запищала, закрыла глаза ладонью, все больше выпячивая нижнюю губу, судорожно глотая воздух, и вдруг как рявкнет! Фомич даже вздрогнул, поперхнулся дымом и тоже закашлялся.

— А-а-апчхи! Чхи! Хи-и-и! Ой, батюшки мои!— говорила, улыбаясь и вытирая слезы, вся красная, словно утреннее солнышко, Варвара Петровна.

— Кха! Кх-а! Кх-и-и! Черт те подери!— выругался Фомич, сморкаясь и вытирая слезы за компанию с Варварой Петровной.

— Ах, грех мне с вами, Федор Фомич!— Варвара Петровна спрятала наконец пудреницу с лебедем и сразу приступила к делу:— Ведешь ты себя прямо гордецом, товарищ Кузькин. Ведь нуждаешься?

— Да как сказать,— уклончиво ответил Фомич,— с какой стороны то есть...

— В том-то и дело. Нет чтобы зайти ко мне, поговорить, заявление написать. А то приходится все за вас делать. Ведь я одна, а вас, пенсионеров, не перечтешь.

— Мы на тебя не в обиде,— на всякий случай ввернул Фомич.

— То-то и оно-то. Сказано — стучащему да откроется. А вас надо мордой тыкать в дверь, как кутят. Сами-то небось не подойдете. Да уж ладно. Чего там манежить!— Варвара Петровна открыла серую папку, взяла сверху деньги и протянула Живому.— Здесь пятьсот рублей.

Бери! Единовременное пособие. И вот тут в ведомости распишись.

Фомич взял деньги и стал медленно пересчитывать их. Пока он считал деньги, мысли его лихорадочно работали: «Кабы мне тут не продешевить? Ежели она вписала эти пятьсот рублей в ведомость, то они никуда от меня не уйдут. Но брать ли их сейчас — вот вопрос. Я ее не просил об этом. Значит, начальство нажало... И что ж получится? Не успели еще мое дело разобрать, а я уже пятьсот рублей взял. Значит, все подумают, что я эту кашу заварил из-за денег. Э-э, нет! Так не пойдет...»

Фомич аккуратно сложил деньги, пристукнул пачкой по ладони:

— Да, верно. Тут пятьсот рублей.— И положил их обратно на стол.

— Это тебе. Пособие, говорю. Бери и расписывайся.— Варвара Петровна, улыбаясь, протягивала ведомость.

— Как же я их возьму? Я не писал, не хлопотал. И вот тебе раз! Бери деньги! Какие деньги? Откуда?

— Я ж тебе говорю — помощь, пособие!

— Пособие обсудить надо. Вот если на бюро райкома решат, тогда другое дело.— Фомич направился к двери и у порога сказал, обернувшись: — А за вашу заботу, Варвара Петровна, спасибо!

Оторопевшая Варвара Петровна только глазами хлопала.

В райкоме в комнате дежурного уже толпился народ. Вчерашнего Фомичова гостя — востроносого, в черном полушубке — окружили несколько председателей колхозов, среди которых был и Гузёнков.

— Товарищ Крылышкин, а в наш район будут направлять тридцатитысячников? — спрашивали востроносого.

— Бюро еще не собиралось. Но, по-моему, будут.

— В какие колхозы?

— Кого, товарищ Крылышкин?

— Этого я не могу сказать.

— А вы сами не думаете в колхоз?

— Не думать надо, а решаться,— ответил востроносый.

— Во-во! Думает знаешь кто? Гы, гы...

— Товарищ Крылышкин, давайте ко мне! Нам зоотехник нужен позарез.

— Голова! Он вместо тебя сядет... Столкнет!

— А я подвинусь. На одном стуле усидим.

— С тобой усидишь! У тебя сиделка-то шире кресла. Ха, ха!

— Федор Иванович идет! — крикнул от стола дежурный, и шумный кружок председателей мигом рассыпался и затих.

По лестнице тяжело поднимался Федор Иванович. Шапку он держал в руках, и только теперь Живой заметил — сквозь редкие зализанные волосы у Федора Ивановича просвечивала большая розовая лысина. Рядом с ним шел Демин, а сзади в своем военном френче и в сапогах твердо печатал шаги Мотяков. Выражение лица у него было такое, с каким начальник караула обходит посты: кто бы ни взглянул на него сейчас, сразу понял бы — все эти шумные председатели приумолкли при появлении его, Мотякова, а не какого-нибудь Федора Ивановича.

— Здравствуйте, Федор Иванович! — между тем раздалось со всех сторон.

И Федор Иванович любезно отвечал всем:

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! — и улыбался при этом.

Глядя на него, все вокруг тоже улыбались, и Фомич, сам не зная почему, тоже улыбался.

— Здравствуйте, товарищ Кузькин! — Федор Иванович протянул руку Живому, и Фомич безо всякой робости пожал эту мягкую, теплую руку.

— На лошади приехали? — спросил Федор Иванович.

— Никак нет! — ответил Живой, как вчерашний Корнеич, вытягиваясь по стойке «смирно».

— Почему? Не дали? — Федор Иванович строго посмотрел на Гузёнкова.

— Холодно, Федор Иванович,— ответил Фомич, впервые называя по имени-отчеству вчерашнего гостя.

— А тулуп?

— Так ведь тулуп в райком не внесешь. А в санях оставишь — сопрут. Тогда Гузёнков с меня и третью шкуру спустит. Две-то Мотяков спустил.

Федор Иванович рассмеялся, его дружно поддержали остальные.

— Мотяков, вот так показали тебе кузькину мать,— сквозь смех говорил Федор Иванович.— Ты сапоги-то свои сшил случаем не из шкуры Кузькина?

— Его шкура на кирзовые сапоги и то не годится,— мрачно сострил Мотяков, а сам так поглядел на Живого, будто хотел сказать: «Ужо погоди, я тебе покажу такую кузькину мать, что слезами красными обольешься».

Федор Иванович вынул из кармана бумагу и показал ее Мотякову:

— Кто писал это твердое задание?

— Тимошкин,— по-солдатски ответил Мотяков.

— А кто подписывал?

Мотяков с минуту разглядывал свою подпись и выдавил наконец:

— Я.

— Так вот за это твердое задание мы с тебя штаны спустим,— и деловым тоном приказал Демину, кинув на Живого: — Сперва решим с ним.

— Проходите, товарищ Кузькин!

Демин пропустил Фомича в свой кабинет.

Народу ввалилось много, все расселись вдоль стен. «Как в шеренгу вытянулись»,— подумал Живой. Ему приказали остаться у торца длинного стола, покрытого зеленым сукном. На противоположном конце на секретарское кресло сел Федор Иванович, рядом с ним — Демин. Мотяков теперь пристроился на отшибе, и Фомич глядел на него как бы с вызовом даже.

— Ну, докладывайте, Гузёнков, что у вас с Кузькиным? — сказал Федор Иванович.

Михаил Михайлович шумно откашлялся и, не сходя с места, стоя, сказал:

— Исключили мы его как протчего элемента... Потому что не работал.

— Как не работал? А восемьсот сорок трудодней за что ему начислили? — спросил Федор Иванович.

— Так это он на сшибачках был,— ответит Гузёнков.

— Вы что там, в колхозе, в городки играете? Какие еще такие сшибачки? — повысил голос Федор Иванович.

— Ну, вроде за экспедитора он был. Где мешкотару достать какую, лес отгрузить. Или там сбрую, запчасти купить,— сбивчиво отвечал Гузёнков.— Вот за это и писали. Много написали. Недоглядел.

— Он что же, плохо работал? Не умел достать? — спросил Федор Иванович.

— Насчет этого, чтоб достать чего, он оборотистый.

— Та-ак! А что вы требовали, Кузькин? — посмотрел на Живого Федор Иванович.

— Поскольку не обеспечили мою семью питанием в колхозе, просил я паспорт. Чтоб, значит, на стороне устроиться. За деньги работать то есть.

— Понятно! А вы что?—спросил Федор Иванович Гузёнкова.

— Отказали... поскольку нельзя. А за невыход на работу исключили из колхоза.

— Он вам нужен в колхозе или нет?

— Если не работает, зачем нам такой тунеядец?

— Эх вы, председатель! Такого человека выбрасывать. Сами говорите, все добывал он для колхоза. И честный, видать. Иной половину вашего оборота прикарманил бы. И жил бы — кум королю, сват министру. Ведь при деньгах был! А у этого изба, как у той бабы-яги, что на болоте живет,— свинья рылом разворотит. Дети разуты-раздеты. Самому есть нечего. А колхоз чем ему помог? Ты сам-то хоть бывал у него дома?

Гузёнков сделался кумачовым и выдавил наконец:

— Не был.

— Видали, какой фон-барон! Некогда, поди? Или авторитет свой председательский уронить боишься? Я вот из области нашел время — заходил к нему. А ты нет... Как это можно понять?

Гузёнков, пламенея всем своим объемистым лицом, тягостно молчал.

— Ты сколько получаешь пенсии по инвалидности?— спросил Фомича Федор Иванович.

— Сто двадцать рублей.

— Да, не разживешься.

— Райсобес давал ему в помощь пятьсот рублей... так отказался! — заявил, усмехаясь, Мотяков.— Видать, мало?

— Как отказался? Почему?—спросил Федор Иванович.

— Такая помощь нужна тем инвалидам, которые на карачках ползают. А у меня руки, ноги имеются. Я прошу работу, чтобы с зарплатой. И потом, чудно́ вы пособие выдаете,— Фомич обернулся к Мотякову.— За двадцать минут до бюро заманили меня в райсобес и суют деньги. На, мол, успокойся! Я что, нищий, что ли?

— Вон оно что! — протянул с усмешкой Федор Иванович.— А вы народ, Мотяков, оперативный. Вот что! — стукнул он карандашом по столу.— Хитрить нечего. Не смогли удержать Кузькина в колхозе. Отпустить! А вам, Гузёнков, и вам, Мотяков, впишем по выговору. Дабы

впредь разбазаривать колхозные кадры неповадно было. Заботиться о людях надо. Жизнь улучшать. Пора отвыкать от старых методов — с кулаком да с палкой. Вы вон у кого учитесь с кадрами работать,— он кивнул в сторону Пети Долгого,— у Петра Ермолаевича.

— Звонарев тоже хорош,— сказал Мотяков.— Кукурузу отказался на лугах сеять.

— Почему? — спросил Федор Иванович.

— Места низкие — вымокает,— ответил Петя Долгий.

— У тебя вымокает, а у Гузёнкова нет? — спросил Мотяков.

— Наоборот — у Гузёнкова вымокает, а я не сеял.

— Вы что же, Мотяков, норму Звонарева Гузёнкову передали? По кукурузе? — спросил, улыбаясь, Федор Иванович.

— Вроде того... А он у Гузёнкова кадры переманывает.

— Ого!.. Смотри, Гузёнков, распустишь колхоз — сам пойдешь рядовым работать. Не то к Звонареву в бригадиры.

— В бригадирах не нуждаемся,— отозвался Звонарев.— Вот дояром могу взять.

Все так и грохнули, а Гузёнков напыжился и смиренно потупил взор.

— Ну, хватит! Давайте решать с Кузькиным. Куда его устраивать? — сказал Федор Иванович, вытирая проступившие от смеха слезы.

— Дадим ему паспорт, пусть едет в город,— сказал Демин.

— Ехать не могу,— ответил Фомич.

— Почему?

— По причине отсутствия всякого подъема.

— Это что еще за прудковская политэкономия? — спросил Федор Иванович.

— Это не политэкономия, а тоска зеленая. У меня пять человек детей, да один еще в армии. А богатства мои сами видели. Спрашивается, смогу я подняться с такой оравой?

— Настрогал этих детей косой десяток,— пробурчал Мотяков.

— Дак ведь бог создал человека, а рогов на строгалку не посадил. Вот я и строгаю,— живо возразил Фомич.

Федор Иванович опять громко захохотал, за ним все остальные.

— А ты, Кузькин, перец! Тебя бы в денщики к старому генералу... Анекдоты рассказывать.

— Так у нас в Прудках живет один полковник в отставке. Да он вроде бы занят. Там Гузёнков и днюет, и ночует,— сказал Живой.

И все снова захохотали.

— Ну ладно, хватит! — сказал Федор Иванович, вынимая платок и утираясь.— Решайте, решайте! Быстрее.

— Может быть, на пресспункте устроим его охранником? — спросил Мотяков Демина.

— Но там же есть Елкин,— сказал кто-то.— Бреховский.

— Его убирать надо,— мрачно сказал Мотяков.— Родственники за границей объявились.

— Какие еще родственники? — спросил Демин.

— Сын. В Америке оказался. А он уж и поминки по нему справил.

— С этим торопиться не следует,— сказал Демин.

— Я возьму его к себе,— поднялся худой и нескладный Звонарев, председатель соседнего с Прудками заречного колхоза.— Мне как раз нужен на зиму лесник, заготовленный лес охранять. Плата деньгами и хлебом.

— Пойдете? — спросил Живого Федор Иванович.

— Пойду. Только пусть Гузёнков даст мне отпускную, справку выпишет. А я паспорт получу.

— Подожди там. После совещания сделаем,— сказал Гузёнков.

Совещание затянулось до самого вечера. И когда Фомич пришел наконец с долгожданной отпускной справкой, его встретила в сенях сияющая Авдотья:

— Иди-ка, Федя, иди в избу!

Посреди избы при ослепительно ярком, как показалось Фомичу, электрическом свете лежали вповалку два мешка муки и три мешка картошки, а поверху на этих мешках еще два узла. Фомич потрогал мешки и определил на ощупь, что мука была сухая, а картошка крупная. Потом он развязал узлы и по-хозяйски осмотрел вещи: всего было три детские фуфайки, три серые школьные гимнастерки, три пары ботинок на резиновой подошве и три новенькие серые школьные фуражки.

— А это уж ни к чему! — взял он фуражки.— По весне-то можно и без них обойтись. Лучше бы шапки положили.

10

До самого половодья Фомич жил без заботы; муки хватило почти на всю зиму, картошки он подкупил, так что и на семена осталось. Авдотья даже поросенка завела. Фомич справил детишкам и себе валенки, полушубок купил, малахай собачий. В лес ходил с ружьем, как часовой на пост.

Как-то в марте его окликнул с завалинки дед Филат — на солнышке грелся:

— Федька, никак, ты? Подь сюда!

Фомич подошел, поздоровались.

— А я гляжу, что за бурлак идет? Иль кто со стороны приехал? — Дед Филат прищуркой смотрел на Фомича.— Ишь ты как разоделся.

— Я теперь вольный казак... вроде лесничего,— похвастался Живой.

— Слыхал, слыхал.— Дед Филат поймал его за полу рыжего полушубка, помял пальцами овчину.— Мягкий. Казенный, поди?

— Сам справил. А ты как живешь, дядь Филат?

— Да ничего. Пензию вот хлопочу. Намедни в Свистуново ходил, в сельсовет. Председатель говорит: «Уходи из колхоза. Тады мы тебя как беспризорного оформим. По восемьдесят пять рублев в месяц». Хочу уйтить из колхоза. Как думаешь, пустят?

— Отпустят. Хлопочи! Меня вот отпустили.— Он вскинул ружье и пошел.

Но недолго Фомич щеголял с ружьем за плечами. С наступлением полой воды кончилась и его лесная карьера. Остатки заготовленного леса увезли по апрельскому хрусткому снегу.

— Что ж мне теперь делать? — спросил он Петю Долгого.— Не итить же назад к Гузёнкову!

— Переходи ко мне в колхоз. Все-таки у нас за единички не работают. Голодным сидеть не будешь.

— А жить где? Ты же мне не поставишь избу?

— Это уж на общих основаниях.

— Ну конечно,— согласился Фомич.— Был бы я какой-нибудь ценный специалист, тогда другое дело. А то что? Из ружья палить либо хвосты коровам крутить каждый умеет. Колхозники не позволят строить дом такому специалисту.

— Пока будешь в Прудки ходить ночевать.

— До Прудков восемь верст! Да через реку... Ночью еще утонешь. Нет уж, спасибо и за приглашение.— Живой совсем нос повесил.— Гузёнков теперь слопает меня.

— Погоди! — задержал его Петя Долгий.— Раскидухинская ГЭС по полой воде лес к нам забросит. Колхозам на столбы. На весь район. Пойдешь охранять этот лес?

— Пойду!

— Подожди минутку! — Петя Долгий стал накручивать телефон.— Брехово? Раскидуху дай! А? Раскидуха? Начальника попрошу! Товарищ Кошкин? Здорово! Звонарев. Да, да. Слушай, ты нашел охранника на лес? Нет? Так я тебе подыскал. Вольнонаемного, говоришь? А он и есть такой. Нет, нет, не колхозник. Ну и гоже. Что? Из Прудков. Как раз там и базу намечаем делать. Дороги к Прудкам? Нормальные. Как везде. А? Ну и гоже.

Петя Долгий положил трубку.

— С тебя пол-литра,— пошутил он.— Ступай на Раскидуху, оформляйся в охранники. Лес пригонят по реке под самые Прудки. Работа к тебе на дом прет. Давай! — Петя Долгий сунул на прощание свою лапу и пожелал Фомичу удачи.— Да смотри не проворонь. Поторапливайся!

На лугах снег почти весь растаял, огромные лужи талой воды медленно стекали в бочаги и озера, вспучивая старый, ноздреватый, изъеденный солнцем лед. «На озерах еще не опускался лед,— думал Фомич,— значит, и река, наверно, держит. Пройду!»

В Прудки возвращался он с легким сердцем — опять ему подфартило. «До самого жнитва теперь очень даже проживем. А там новый хлеб поспеет. Воробей и тот кричит в тую пору — семь жен прокормлю! Главное — весну перебиться».

Весной пришла ему на помощь река. Милая сердцу Прокоша! Уж сколько раз она выручала его из беды в самую голодную пору. В сорок шестом году зимовать пошли без корки хлеба. Картошка и та не уродилась. Скот порезали... Казалось бы, тут и конец придет Живому. Ан нет! Наплели они с дедом Филатом сетей, прорубили лунки во льду и всю Прокошу перегородили; и колотушками деревянными били по льду и ботали — пугали рыбу. Шла плохо. Но тут впервой спустили в Оку какую-то химическую отраву. Рыба вся подалась в Проко-

шу. В каждой ячее по штуке торчало. Хоть и припахивала рыба керосином, но ели всем селом за милую душу.

А в тридцать третьем с первесны и рыбы не было... Такой голод был, будто уж и рыба вся вымерла или в землю зарылась. Но и тут Прокоша спасла прудковцев; в затонах ее густо растет мудорезник. Камыш не камыш, трава не трава, не то листья, не то стебли торчат из воды, как пики треугольные. Сунешься с бреднем в воду — промежности царапает, оттого и название имеет. Сплошное неудобство от этой травы вроде бы. И вдруг — на тебе! Старики открыли, что этот мудорезник корни питательные имеет. И вот все малые и старые усеяли берега затонов и заводей, дергали эти черные волосатые коренья, намывали целые корзины, потом сушили на крышах, толкли в ступах и пекли пышки. Ничего, есть можно... вроде бы хлебом пахнет.

И вот опять Прокоша ему работенку подкинула. «Рублей четыреста положат — и проживем»,— думал Фомич. Оно еще то хорошо, что с весны в прудковский магазин стали привозить из района печеный хлеб. Привозили его, правда, один раз в неделю и давали по две буханки на двор. Но и то подспорье. К этим буханкам да еще картофельных пышек напекут — и довольна ребятня. «Теперь жить можно,— твердил про себя Фомич.— Гневаться на судьбу тоже нельзя».

К Прокоше он подошел у Богоявленского перевоза. Лед поднялся на реке и стал теперь вровень с берегами. На берегу лежал черный, неуклюжий, как огромный утюг, дощатый паром. Под его широченное брюхо приплескивала вода. Рядом, в затишке под паромом, сидел у костра паромщик, сухой носатый старик в брезентовом плаще поверх фуфайки. В округе он известен был под именем Иван Веселый. На костре в котелке булькала вода, варилась картошка.

— Унесет водой твой ковчег-то! — сказал, присаживаясь к огню, Фомич.

— Унесет,— согласился Иван Веселый.— Они, целуй их в донышко, на тракторе хотели утащить паром с осени. Пригнали волокушу, вытащили его на берег... А погрузить не смогли. Так и бросили его тут на берегу.

— А ты что, здесь живешь, что ли? — Фомич привстал, заглянул в паром — там весь трюм, до верхней палубы, был забит сеном.

— Паром стерегу. Не то по большой воде унесет его

ажно в Оку. Им-то что! Сварганят новую колоду — привезут, бросят в реку... и валяй, Иван! А мне на нем работать. Может, новый-то не сручный будет? Пупок надорвешь. А им что?

— А уж этот у тебя сручный...— усмехнулся Живой.— Прямо амбар.

— Ну не скажи! Он легкий на ходу. Я его один до Брехова догоняю.

— Еще бы! Паром в село пригонишь, а сено к себе на двор свезешь... У тебя губа не дура.

— Это я сам нагреб сено-то. Места от стогов остались. Подстилка...

— Подстилка! — Фомич вытащил из трюма клок мелкого ароматного сена.— Эту подстилку хоть в чай заваривай. Тут воза два будет.

— А ты не суй свой нос, куда не надоть! — окрысился Иван Веселый.— Ты лес охраняешь? Ну и охраняй. А луга идут по другой статье.

— Это я к примеру,— сказал Фомич и невесело добавил: — Я уж и в лесу боле не охранник.

— Ах кончился контрахт?

— Кончился, Иван, кончился.

Живой подошел к реке.

— Как думаешь, Иван, на этой неделе тронется лед?

— Тронется! Ноне ночью суршало у берегов. Отодрало лед-то. Теперь не ноне завтра пойдет, целуй его в донышко.

— Дай-ка мне вон ту жердину! — Фомич взял с парома легкую еловую жердь, кинул наземь.

— Зачем тебе? — Иван Веселый, задрав кадык, с недоумением смотрел на Живого.

— На ту сторону перейтить.

— Да ты что, в уме? Целуй тебя в донышко! Такие забереги разлились, что озера. Потонешь.

— Вынырну. Я, брат, давно уж одеревенелый. Такие не тонут. Дай вон еще ту доску! — Он взял с палубы еще широкую доску, пошел к реке.

— Стой, живая пятница! — крикнул Иван Веселый.

— Ну?

— Ступай по берегу! Возле Прудков полынья большая. Покличь, може, оттуда лодку принесут. Переедешь тогда.

— А если не принесут? Кто меня там услышит? Теперь на реке и собаки не встретишь.

— Ну, подожди денек-другой. Лед тронется — я тебя перевезу на ту сторону на пароме.

— Мне ждать некогда.

Фомич кинул через разлившийся заберег доску: одним концом она оперлась о берег, вторым чуть накрыла край ноздреватого льда.

— Ну, господи, бласлави! — Он потихоньку пошел по доске, опираясь на шест.

Доска захлюпала по воде и стала медленно погружаться. Фомич мелким частым поскоком, разбрызгивая воду, бросился на лед. Но вдруг край льдины, на который опиралась доска, обломился. Фомич одной ногой провалился по колено в воду и с маху, оттолкнувшись шестом, бросился животом на льдину.

— Ах ты, живая пятница, целуй тебя в донышко! — ругался с берега Иван Веселый.

Фомич снял сапог, вылил воду, перемотал портянку и пошел дальше с шестом и с доской в руках. Лед на середине реки был крепкий. Фомич обходил только лужи — боялся провалиться в прорубь. А на другом берегу лед подходил к самому приплеску. Фомич даже доской не пользовался: разбежался, повис на шесте — и там.

На другой день утром рано он был уже на Раскидухинской ГЭС, стоявшей на слиянии Прокоши с Петлявкой. Почти сорок верст отмахал за сутки Живой. Пришел как нельзя кстати — утром на Раскидухе тронулся лед, а пополудни начали вязать плоты — готовить лес к перегону в Прудки.

А еще через три дня, лишь Фомич оформился охранником Раскидухинской ГЭС, пузатый, черный, как жук, катеришко поволок три большущих звена бревенчатого плота по Прокоше. Впрочем, Прокоши уже не было,— вокруг, куда ни хватал глаз, стояло море разливанное. Ни тебе излучин, ни берегов. Хочешь — плыви по реке, а захочешь — валяй напрямки по лугам, по кустарникам. Речные берега заметны были только по торчащим из воды верхушкам прибрежных тальников да по редким створным знакам, белым и красным, как оброненные платочки в этом океане. И ни пароходов навстречу, ни лодок... Только ветер да волны. И посреди этого раздолья сидит Фомич и варит кулеш. Хорошо! И Фомич даже жалеет, что так пустынна сейчас речная дорога, что скрылись берега под водой,— нет на них ни одиноких

подвод, ни рыбацких палаток, ни шалашей косцов; а то бы на него глазели из-под ладоней да покрикивали: «Эй, Фомич! Скинь бревешко!» Кричите... Как же, скину! Фомич и в ус не дует — сидит у всех на виду и ест кулеш.

Катеришко утробно храпит, фыркает, как лошадь, и тянет на длинном тросе плоты. Фомич, поужинав, зарывается в сено и спит в палатке, как бог. Палатку ему дали в конторе, а сено уж он сам раздобыл.

Спит Фомич и видит счастливый сон: будто плывет он по Волге на большом белом пароходе и стоит на самом верху, в стеклянной будке, где штурвальное колесо. И смотрит не как-нибудь, а в бинокль. «Кто там на берегу? Что за народ собрамшись?» — спрашивает он вахтенного. А тот кричит ему в матюгальник: «Прудки подошли, товарищ капитан».— «Что еще за Прудки такие?» — строго спрашивает Фомич, будто и не слыхал в жизни такого слова. «На пароход просятся! — кричит вахтенный с нижней палубы.— Причаливать ай нет?» — «Скажи им, которые норму трудодней не выполнили, не посадим! — кричит Фомич вахтенному.— Я сам проверять буду. Причаливай!» «Чуф-чуф-чуф!» — зафыркал пароход и дал гудок. Только вместо гудка заревела сирена: мм-мо-о-о! «Вроде бы корова мычит,— подумал Фомич.— Гудок, наверное, заржавел. Надо приказать, чтобы почистили». И вот Фомич сходит по трапу в белом кителе, в белой фуражке, и бинокль висит на шее. А гудок все ревет и ревет — мм-мо-о-о! «Да заткните вы ему глотку!» — приказывает Фомич вахтенному. Ему очень хочется услышать, что скажут прудковские мужики, увидев его в капитанской форме. А вахтенный вдруг как закричит в матюгальник: «Фоми-и-и-ич!» И такое ругательское загнул, что Живой очнулся. Слышит — ревет сирена на катере, а на корме стоит старшина и вопит в матюгальник:

— Фоми-и-ич! Ты что, подох там, что ли?

Фомич вылез из палатки.

— В чем дело?

— У тебя что, зенки повылазили? Видишь, к Прудкам подходим!

Только тут Фомич очухался ото сна,— прямо перед катером на берегу виднелись родные Прудки; тополиная гора, где раньше стояла церковь, а теперь крытая жестью старая изба Лизунина, перевезенная туда под клуб; дальше — ветлы над соломенными крышами поредевших

прудковских изб, а чуть на отшибе — белокаменные корпуса колхозного коровника под красивой шиферной кровлей, набранной в разноцветную шашку. Перед серыми прудковскими избами, соломенными дворами да плетневыми заборами белостенные коровники высились дворцами.

Катер уже вошел в старицу, на берегу которой стояли Прудки. Еще на базе Фомичу приказали причалить плоты в старице возле клуба. «Потом пришлем трактор и выкатаем бревна на берег,— сказал начальник.— Только причаливай крепче. Смотри, чтоб не унесло в реку!»

На тополиную горку народу вышло куда меньше, чем видел Фомич во сне,— больше все старухи да ребятишки. Правда, появился было Пашка Воронин, но, разглядев, кто плывет, ушел в клуб. Там у него была будка с телефоном. «Ну, теперь, поди, званивает самому Гузёнкову,— думал не без удовольствия Фомич.— Мол, так и так — Кузькин плоты гонит. Что прикажете с ним делать? «Он теперь неподвластный»,— скажет Гузёнков и матом заругается. Ругайся себе на здоровье. А мне наплевать»,— думал Фомич и смотрел на горку.

Там среди ребятни он увидел и своих; все они бегали вокруг тополей и кричали:

— Пароход! Пароход!

Когда плоты подтянули к берегу, Фомич привязал крайнюю секцию веревкой к тополю и важно, как петух, поднялся на гору. Но всю эту торжественную минуту испортила Марфа Назаркина.

— Ты, Федька, ровно корову привязал на лугу,— прошамкала она.— Мотри, кабы ребятёшки не угнали твои плоты.

— Кто сунется — башку оторву! — сердито и громко сказал Фомич, но командиру катера как бы между прочим заметил: — Оно, если по правилам, конечно, мертвяки надо бы зарыть да цинковым тросом плоты причалить.

— А вода спадет — они у тебя, что ж, на горе повиснут? — Катерник был сердит за утреннюю побудку и презрительно фыркал в свои рыжие прокуренные усы.

— Может, палатку оставишь мне? Для служебной надобности? — сказал Фомич.

— Дрыхнуть, что ли? И в избе отоспишься...

Катерник запустил свою сирену — она опять протяжно и долго мычала, потом захрапел дизель, забулькала вода

под кормой, и катер, описав большую дугу, уплыл, растворился в мутных волнах Прокоши.

А Живой шел домой через все село, как с победой — ружье за спиной, котелок в руках: перед ним вприпрыжку неслись табунком его чада и, завидев свою избу, еще издали кричали:

— Ма-ам, папка кулеш привез!

11

В ночь накануне Первого мая разыгрался сильный ветер. Фомич был на плотах. Волны стали захлестывать бортовые бревна, вода пошла поверху, бревна осклизли. Потом возле берега начало будто покручивать, и секции полезли друг на дружку. Живой пытался было привязать их к тополям, но веревки то провисали качелями, то натягивались и лопались со свистом, как струны. Фомич понял, что здесь, под горой, плоты ему не удержать в эту бурную ночь. Надо было срочно перегонять их в тихое место. Но перегонять в такую пору было страшновато, да и не управиться одному. Проще всего — вытянуть бы плоты немного на берег, а вода успокоится — снова спустить. Но для этого трактор нужен. Фомич вспомнил, что целый день урчал трактор на ферме, навоз выволакивал. Надо попросить.

Он прибежал к Пашке Воронину, торопливо постучал в окно. Тот вышел на крыльцо, позевывая, увидев Фомича, в избу не пригласил.

— Тебе чего?

— Слушай, дай ты мне трактор на часок — плоты посадить на мель. Не то угонит их в реку. Вишь, какой ветер разгулялся!

— Это как же так? Дать трактор за здорово живешь! Кому? На что?

— То есть как на что? Плоты спасти! Столбы-то не мне на избу, колхозам на освещение...

— Ну так что? Трактор-то не мой, голова, а метэзсовский! У него тракторист есть. А там еще и председатель. Как Михаил Михайлович решит. Иди к нему.

— Да куда я пойду в такую пору от плотов! — взмолился Фомич.— Позвони ему!

— Тебе надо, ты и звони,— лениво отозвался Пашка, поворачивая к Фомичу свою длинную спину.

— Да по чем я звонить буду? На столб телефонный лезть мне, что ли?

— А мое какое дело?

— Ну, паразит! — озверел Фомич. — Свидетелй соберу сейчас. Пусть все узнают, что ты отказался государственное имущество спасать. Судить будут тебя, стервеца.

— Ты не стерви, а то я те ахну по кумполу, сразу по-другому зазвонишь, — ответил Пашка спокойным тоном. — Я тебе сказал, что тракторами не распоряжаюсь. Хочешь — бери мою лошадь.

— Да на что она мне! Звони Гузёнкову! Слышишь, не тяни.

Пашка ничего не ответил и скрылся в черном дверном проеме. Через минуту он вышел одетым.

В клубной телефонной будке Пашка долго накручивал ручку, пока ему не ответили.

— Вы что там, сдохли все, что ли? — выругался он. — Квартиру Гузёнкова мне. Михаил Михайлович? Я — Воронин. Тут плоты ветром угоняет. Да. Кузькин просит трактор, чтоб на мель их вытянуть. Как быть? У нас тут на ферме остался один на ночь. Что? Да. А? Да. Понятно.

Пашка Воронин положил трубку и, весело усмехаясь, с минуту глядел на Фомича.

— Ну, что? — не выдержал Фомич.

— Он спросил меня: кто за плоты отвечает, Кузькин? Да, говорю. Так вот, пусть эти плоты хоть сейчас сгорят все до единого, он и пальцем не шевельнет. Понял?

— Понял, — медленно выговорил Фомич и вдруг почувствовал, как у него руки от злости задрожали, и ему захотелось ударить в нахальное, смеющееся Пашкино лицо... Или нет! Взять бы сейчас промеж пальцев длинный Пашкин нос, сжать бы его, как клещами, и набок повернуть.

— Я вам это припомню, — сказал Фомич и выбежал из клуба.

На улице темь — глаз коли. Мелкий острый дождь больно сек лицо, хлестко, как дробью, бил в гулкий задубеневший полушубок. «Надо позвать мужиков, — думал Фомич, — попытаться вывести плоты в затон, к Святому озеру. Там затишок. Но кто пойдет в такую пору?»

Он остановился возле дома Васьки Котенка, сельского пастуха, еще не женатого парня. «Ежели того уговорить, он хоть в огонь пойдет», — думал Фомич и знал, что сло-

во на Ваську действует так же, как и на колхозного быка.

Васька хоть и получил прозвище Котенок, но ленив был, как настоящий старый кот. По лени своей он в деревне остался. Пришел из армии, мать говорит ему: «Васька, поезжай в Горький. Там половина Прудков на пароходах ходит».— «Кого я там не видал». Предлагали ему идти на курсы механизаторов. «Да кого я там не видал»,— отвечал свое Васька. Устроился он стадо гонять, три года прошло, а Васька все никак кнута не может сплести. «Да когда его плести! Летом пасти коров надо... А зимой чего стараться? Может, и не придется больше коров гонять?» Так и ходил он впереди стада с палкой.

Была у Васьки еще одна слабость — любил выпить. Фомич на этой слабости и решил сыграть.

На грохот в дверь долго никто не отвечал. Потом в окне появилась круглая Васькина физиономия:

— Кого надо?

— Васька, это я. Выйди на минуту!

— Никак, ты, дядь Федя?! Чего тебе?

— Собирайся скорей! Работенка есть.— Фомич боялся, как бы Васька окна не закрыл. Тогда его не дозовешься.

— Какая еще работа в такую пору? — Васька и окна не закрывал, и не проявлял особого интереса.

— Начальник ГЭС звонил мне. Приказал плоты перегнать к Святому озеру. Полсотни на рыло обещает,— соврал Фомич.

— Ну, так завтра и перегоним. Где начальник-то?

— Да начальник там. На станции. А мне наказал расчет произвесть.

— У тебя что за деньги? В твоем кармане — вошь на аркане.

Васька взялся за оконную створку, намереваясь прихлопнуть ее перед носом Фомича.

— Да ты обожди, обожди! — поймал его за руку Фомич.— Он мне наказал после работы литру водки поставить.

Васька чуть подался вперед:

— А не врешь?

— Ну ты что? Начальник велел. Приказ начальника — закон для подчиненного. Сам знаешь — служил в армии.

— Обожди маленько,— коротко сказал Васька и захлопнул окно.

— Ну, слава те господи! Одного уговорил,— об-

легченно вздохнул Фомич.— Еще кого? Хотя бы по человеку на секцию...

Через минуту Васька вышел, застегиваясь на ходу.

— Дядь Федь, а еще кого не надо?

— Одного бы человечка не мешало.

— Обожди маленько.— Васька перебежал через дорогу и постучался к Губановым: — Гринь, выйди-ка!

Вышел тот самый тракторист, которого пытался заполучить Фомич у председателя. Перекинувшись двумя словами, Васька с Гринькой подошли к Фомичу.

— Дядь Федь, а трактором нельзя оттащить плоты по берегу? — спросил Васька.

— Можно попробовать,— безразличным тоном сказал Фомич.— Мне все равно.

— Мы сейчас сбегаем заведем трактор и в момент пригоним,— сказал Гринька.

— Только через село не гоните,— остановил их Фомич.— Нечего народ булгачить. Давайте по берегу.

— А нам все равно. Пошли! — И Гринька с Васькой исчезли в темноте.

«Видать, бог-то есть,— думал, ухмыляясь, Фомич.— Вон он как все рассудил. Не хотели мне тракториста дать, чтоб подтянуть плоты... Так теперь я их за версту отведу, к Святому озеру. И не то что на мель — на сухо вытяну».

К утру все три плота лежали на пологой отмели Святого озера возле самых коровников. Фомич ликовал: только теперь он понял, что там, в конторе, дали промашку — распорядились причалить возле клубного крутояра. Спала бы вода, их еще пришлось бы вытаскивать трактором из озера. Месяц работы. Да трактор надо гнать за тридцать километров. А здесь они — вода спадет — на сухом месте. И подъезды к ним хорошие. Подгоняй любую машину, нагружай и вези, куда хочешь. «Выходит, я не одну тыщу сэкономил. Может, еще и премию отхвачу. И все за литру водки! Вот тебе и полая вода...»

Половодье в Прудках — пора веселого отдыха и кратковременной дармовой добычи. Ребятишки день-деньской кричат, как грачи, на тополиной горке — кто в городки играет, кто в лапту, и на шармака, и в ездушки: проиграешь — вези соперника на своей спине от кона и до кона. Старухи спозаранок выползают на завалинки и долго греются на солнце, из-под ладони смотрят, как

переливается в солнечном блеске желтовато-мутная неоглядная вода. «И куда она вся деется?» — «Вода-то?» — «Ну!» — «Сказывают, в море».— «А у моря что ж, ай дна нет?» — «В пропасть уходит...» — «Ах, ба-атюшки мои!»

Старики в такую пору не судачат; вместе с мужиками, которые на технике не заняты, шныряют они в лодках по лугам — подбирают плывущие бревна, спиливают сухостой, грузят в лодки, а тяжеленные коряжины буксируют на веревках. В хозяйстве все пригодится... Мало какое добро выносит полая вода; иной в лодке везет бревна, а в руках ружье держит: того и гляди, утка вылетит из-за леса или заяц подвернется на каком-либо незатопленном островке. Приберут. Прудковские жалости не имут.

В такую пору по мутной вольной воде начинает биться лещ, сазан, щука. Возле кустарников, у берегов скрывшихся под водой бочажин ставят великое множество двукрылых шахов и однокрылых куликов, горловины затонов и стариц перекрывают сетями. А у кого нет лодок, те бродят вдоль берегов с закидухой — квадратной сетью на конце длинной оструганной жерди. Всякому своя работа. И редкий прудковский мужик откажет заезжему любителю свежей рыбки из какого-нибудь суходольного Тиханова. «Бери, сколько хочешь. По десятке за кило».— «А дешевле нельзя?» — «Пашано нонче почем? То-то и оно. Дешевле нам нельзя. За счет природы только и выезжаем».

Полая вода была в этом году высокая, под самую ферму подошла, и неподалеку от коровников стоящие хранилища с семенным картофелем потекли. Пришлось срочно перебирать весь картофель. Гузёнков приказал согнать на хранилища все Прудки и сам прикатил на «газике». По домам ходил Пашка Воронин, созывая людей.

Фомич после утренней рыбалки сидел на крыльце и читал газету, когда остановился перед ним Воронин.

— Председатель приказал всем идти на овощехранилище. И тебе тоже идти с семьей... картошку перебирать. Понял?

Фомич, не отрываясь от газеты, спросил:

— А кто отвечает за эту семенную картошку? Гузёнков?

— Да, сам председатель. И приказ его.

— Тогда передай ему — пусть вся эта картошка потонет. Я и пальцем не шевельну.

— Я передам. Но смотри, не пришлось бы пожалеть. Мы тебя еще снимем.

— Руки коротки!

— Посмотрим.

Когда Пашка передал Гузёнкову эти слова, председатель так гаркнул возле хранилища, что Фомич на крыльце услыхал:

— Выгоню!

Авдотья перепугалась и огородом, потихоньку от Фомича, ушла на овощехранилище. Но Фомич был не из пугливых, к тому же он ждал от своего начальника какой ни на есть похвалы. И она пришла.

Только спала полая вода, как с Раскидухи позвонили в Прудки. За Фомичом сбегал избач Минька Сладенький, малорослый паренек с тяжелой головой, болтающейся на тонкой шее, как колда́й на це́пе. «Давай к телефону, срочно!» — только и выдохнул он на Фомичовом складе. Фомич взял у Сладенького ключ от избы-читальни, как эстафетную палочку, и побежал через выгон.

— Как там у вас, сухо? — спросил в трубку начальник ГЭС.

— Очень даже,— выпалил, переводя дух, Фомич.— Ребятишки в лапту играют.

— Плоты целы?

— Все цело, до единого бревнышка.

— Завтра пошлем вам трактор, бревна таскать.

— Не надо трактора. Бревна на берегу.

— Как так на берегу? Кто их вытащил?

— Я.

— По щучьему велению, что ли?

— Приезжайте, посмотрите. А только бревна лежат на сухом берегу,— скромно ответил Фомич.

— А подъезд к ним есть?

— Очень даже. У самой фермы лежат.

— А ты нас не разыгрываешь? Смотри! После обеда приедем.

Белый катер начальника летел по реке, как рыбничек,— крылья водяные вразлет, нос поверху. Того и гляди, оторвется от воды и взлетит над берегом. Фомич поджидал его на высоком Кузяковом яру. Он снял кепку и размахивал ею над головой, как пчел отпугивал. Его заметили с реки, катер свернул к берегу и с ходу вылез брюхом на песчаную отмель. Фомич сбежал вниз.

В катере было трое: начальник — щеголевато одетый

молодой человек в темных очках, моторист в кожаной куртке и в настоящей морской фуражке с крабом и толстый, с портфелем, завскладом, который сдавал Фомичу лес по накладной.

— Ну, где твои плоты?—спросил начальник, здороваясь.

Фомич провел их до Святого озера, где на зеленой травке лежали все три плота. Дорога и в самом деле проходила мимо бревен всего в каких-нибудь двадцати шагах.

— Смотри-ка, да лучше этого места и желать нельзя!—воскликнул начальник.—Что ж это мы не смекнули? А?

— Это озеро соединяется с рекой только при очень высокой воде,—сказал завскладом.—Откуда знать, что вода будет такой большой?

— А ты как сообразил?—спросил начальник Фомича.—Почему перегнал плоты сюда?

— Буря была. Их там и затормошило.

— Ишь ты! Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но все равно ты молодец. Ты нам больше трех тысяч сэкономил. Мы тебя тоже наградим месячным окладом. Пупынин! Ну-ка, дай портфель!

Толстяк подал начальнику портфель, тот раскрыл его, вынул деньги и отсчитал Фомичу четыреста восемьдесят пять рублей.

— Держи!

Потом любезно взял Фомича под руку.

— А много ты посулил заплатить за перегон плотов?

— Сотню рублей. И от себя литру водки поставил.

— Ах ты, купец Иголкин!—засмеялся начальник.—Спаиваешь рабочий люд? Ладно уж, оплатим тебе и эту литровку. Только впредь у меня смотри, эти купеческие замашки брось. Прокопыч!—обернулся он опять к толстяку с портфелем.—Давай сюда разнарядку!

Тот вынул из портфеля ведомость с гербовой печатью. Начальник вручил ее Фомичу:

— Вот по этой разнарядке будешь выдавать колхозам лес. Кубатуру считать умеешь?

— А чего ж мудреного!

— Ах ты, мудрено-ядрено! Да ты в самом деле молодец. Кто говорил, что он не справится?!

Фомич с вызовом поглядел на толстяка с портфелем.

— Я только в том смысле, что нам кладовщика девать некуда,— пробурчал толстяк.

— А он чем не кладовщик? Значит, будешь у нас теперь за кладовщика, временно. А там посмотрим. По этой накладной и выдавай лес. Под роспись, разумеется. Тут сказано, кому сколько столбов. Кому каких распорок, пасынков. Действуй! — Начальник пожал Фомичу руку и шутливо ткнул в бок: — Успеха тебе, купец Иголкин.

12

Фомич долго изучал ведомость — кому сколько отпустить бревен; на каждый колхоз отвел по тетрадочной странице, а потом раз десять замерял каждое бревно — выводил кубатуру. Еще на юридических курсах Фомич познакомился с хитрой наукой гонометрией, как он ее назвал. Всю гонометрию осилить он не успел, но высчитывать кубатуру бревен, определять сено в стогах или солому в скирдах — это он научился. Число бревен в плотах было такое же, как и в ведомости указано, а вот кубатура чуток завышена. Объегорил его толстобрюхий зав ровно на пять кубометров. Но так как колхозам отпускать положено не просто кубометры, а столбы, то есть поштучно, то Фомич не тужил: в таком деле растекутся эти пять кубометров и не заметишь как.

Вот-вот должны подъехать машины из колхозов, и Фомич тогда будет нарасхват, в самый почет войдет. «Федор Фомич, отпусти, пожалуйста!»; «Федор Фомич, попрямее каких нельзя?» — «А кривые куда? — строго скажет Фомич.— Андрюше на костыли, что ли?» Нет, одним почтением Фомича не разжалобишь; в деле он человек серьезный и спуску от него не жди.

В разгар самых деловых мечтаний Фомича нежданно-негаданно прикатил на «газике» Тимошкин — в белой расшитой рубашке, в белых парусиновых туфлях, в соломенной шляпе — как гусь, важно выхаживал он возле бревен, потом потребовал от Фомича разнарядку. Фомич знал, что Тимошкина повысили,— теперь он стал заместителем Мотякова. Начальство! Фомич вынул из кармана гимнастерки разнарядку и подал. Тимошкин пробежал по ней своими круглыми желтыми глазами и сказал:

— Чудненько! Значит, весь этот лес передай по акту согласно данного документа. Сегодня же.

— Сдать за день! — удивился Фомич.— Здесь более трехсот кубов. За месяц не увезешь.

— Это вас не касается. Вы сдавайте по акту все сразу. Другому человеку. Мы сами найдем охранника за трудодни. Понял? Лес наш.

— Дай сюда! — Фомич выхватил из рук Тимошкина разнарядку, спрятал в карман и зашпилил его булавкой.— Вот когда получите лес от меня под расписку, тогда он будет ваш. А пока лес мой!

— Твой лес? Ишь ты, частный элемент нашелся. Посмотрите на него! — Тимошкин указывал на Фомича коротким толстым пальцем и спрашивал своего шофера: — Видал, чирей какой? Кто будет деньги за этот лес платить? Мы! — Тимошкин подошел ближе к Фомичу.— А тебе платить не желаем. Понял! Уходи! Сдавай лес общим актом.

— Не сдам!

— То есть как не сдашь? А мы отберем? Колхозы будут приезжать и брать лес по нашему указанию.

— Попробуйте только! У меня вон два ствола...— Фомич кивнул на прислоненное к бревнам ружье.— Кто сунется — уложу на месте.

— А за разбой знаешь что бывает?

— Я охраняю государственное имущество. Кто меня поставил, тот и снимет.

— Так мы же договорились с начальником ГЭС, голова два уха.

— Этого не может быть! — опешил Фомич.

— Пошли к телефону!

Тимошкин покатился вперед, за ним — ружье наперевес — понуро шел Фомич.

— Ты чего мне в спину целишь? — обернулся Тимошкин.— Я тебе кто? Арестованный? Иди рядом! И пушку закинь за спину.

В клубе возле телефонной будки сидели верхом на скамье Пашка Воронин и свистуновский киномеханик и резались в шашки.

— Сидите, сидите! — царственным жестом успокоил их Тимошкин.

Впрочем, они и не думали вставать, только посмотрели на него исподлобья.

— Мне позвонить надо,— сказал Тимошкин.

— Звоните,— кивнул на телефон Пашка и снова склонился над доской.

— Почта? Дайте мне Тиханово! Это Тиханово? А? Тимошкин говорит. Соедини-ка меня с гидростанцией. Начальника, да! Прямым проводом, да. Товарищ Кошкин? А! Тимошкин говорит. Мы тут забираем лес. В Прудках, в Прудках. А Кузькин в колхоз пойдет! Ну, как договаривались. Хорошо, передам ему. До свидания!— Тимошкин положил трубку.— Ну вот, начальник не возражает,— сказал он Фомичу и чуть не замурлыкал от удовольствия.— Сдавай по акту лес и топай в колхоз на работу.

При этих словах Пашка и киномеханик вскинули, как по команде, головы и уставились на Тимошкина.

Фомичу показался этот телефонный разговор подозрительным: и то, как больно скоро соединили Тимошкина с Раскидухой, и этот прямой провод... И главное — так просто и нахально выгоняли его, Фомича. А тот приезд начальника что ж тогда значил? Смеются они, что ли, над ним? Да неужели его начальник такой двуличный человек?

— Ну-ка, отойди в сторону! — Фомич оттер Тимошкина и снял трубку: — Свистуново? Нюра, это Кузькин говорит. Мне бы вызвать Раскидуху. Начальника.

— Долго ждать придется, дядя Федя,— ответила телефонистка.

— Вот те раз! Только же давали Раскидуху!

— Это не через меня. Может, через Тиханово.

— Давай, как знаешь. Все равно буду ждать.

Фомич припал к трубке и долго слушал монотонный, вялый голос телефонистки: «Аллё-у-у! Самодуровка, Самодуровка! Аллё-у-у! Брехово!.. Аллё-у-у!.. Аллё-у-у!» И Фомичу чудилось, будто это лепечет на лесной опушке птичка-сплюшка: «Сплю-у-у, сплю-у-у. Брехово!.. Сплю-у-у, сплю-у-у».

Наконец Брехово ответило, и телефонистка оживилась:

— Брехово! Дайте Раскидуху! А? Начальника соедините?..

И вот в трубке послышался знакомый голос начальника ГЭС:

— Слушаю!

— Это Кузькин говорит, из Прудков!

— В чем дело? Колхозы приезжают за лесом?

— Еще нет. Мне передали из райисполкома, будто вы вместе с ними решили меня с работы того...— У Фомича

пересохло в горле, он глотнул слюну и наконец произнес: — Снять.

— Со мной говорил вчера Мотяков,— ответил, помолчав, начальник.— Видите ли, товарищ Кузькин, вы, оказывается, колхозник. А нам не разрешается принимать колхозников на работу, да еще без согласия колхоза. Вот Мотяков и жаловался, что я колхозников у него переманиваю.

— Да я же отпущен из колхоза. У меня есть и справка, и паспорт! — крикнул Фомич.

Пашка с киномехаником давно уже отложили свою игру и теперь с напряжением слушали этот разговор.

— Меня же отпустили, понимаете, отпустили! — Фомич изо всех сил дул в трубку.

— Да вы не волнуйтесь, товарищ Кузькин,— ответил наконец далекий начальник.— Я ведь не сказал, что мы вас снимаем. При всех условиях работайте до конца. А там видно будет.

— А сейчас вы тут ни с кем не говорили? — поглядывая на Тимошкина, осторожно как бы спросил Фомич.

— Где это тут? У тебя или у меня?

— По телефону из Тихановского района сейчас никто с вами не говорил?

— Нет. А что?

— Да тут передо мной стоит один тип.— Фомич теперь жег глазами Тимошкина.— Прохвост в соломенной шляпе. А еще руксостав!..

Пашка и киномеханик, начиная понимать, в чем суть дела, выжидательно улыбались и нахально смотрели на Тимошкина. Тот снял шляпу и отер взмокший лоб.

— А что такое? — спрашивал начальник Фомича.

— Говорит, будто вы приказали меня выгнать. А лес по общему акту сдать ему.

— Что за чепуха! Не слушайте вы никого. Работайте, товарищ Кузькин.

— Вы бы с ним поговорили. Он тут вот передо мной стоит. Я ему сейчас трубку передам.— Фомич сунул Тимошкину трубку, но тот шарахнулся от нее, как от горящей головешки, и в дверь.

А вслед ему оглушительно хохотали Пашка с киномехаником.

На другой день с утра понаехали из колхозов и на лошадях, и на машинах, выстроились у фермы табором.

Каждый к себе тянет — поскорее бы нагрузиться. Все — Фомич да Фомич! А что Фомич! На четырех ногах, что ли? И так совсем закрутился...

Сначала решил отпустить подводы из дальних колхозов. Уже нагрузились было хохловские, осталось подсчитать кубатуру да подписи поставить, как прибежала плачущая Авдотья. У Фомича сердце так и екнуло:

— Что случилось? Ай с ребятами что?

— Федя, хлеб нам не дают в магазине.

— Как так не дают?

Был вторник — хлебный день, и Фомич не понимал, почему не дают.

— Продавец говорит, район запретил. Сам Мотяков звонил: не давать Кузькину хлеба...— Авдотья утирала слезы концом пестрого платка, повязанного углом.— Чем же мы теперь кормить свою ораву станем? Ой, господи!

— Да не реви ты! Разберемся — уладим.

Фомич сказал хохловским колхозникам, уже нагрузившим подводы:

— Подождите уезжать! Я сейчас обернусь! — И побежал через выгон к магазину.

Возле древней кирпичной кладовой с отъехавшей задней стенкой, из расщелин которой тянулись тонкие кривые березки, толпилось человек пятнадцать — все больще баб да старух,— хлебная очередь. А в полуразваленной кладовой — наследство попа Василия — размещался прудковский магазин.

— Что это еще за новости на старом месте? — спросил Фомич, входя в темное помещение.

— Я не виноватая,— сказала продавщица Шурка Кадыкова.— Гузёнков приезжал... Говорит, райисполком запретил продавать тебе хлеб... Мотяков! Уж не знаю почему.

— А чего ж тут не знать? — Бабка Марфа зло сверкнула глазками из-под рябенького, в горошинку, платка.— Он наш, хлеб-от, колхозный.

— И то правда... Много до него охотников развелось...

— Они ноне не жнут, не сеют...— загалдели в толпе.

— Ваш хлеб в поле остался,— обернулся Фомич к очереди.— А этот вам господь бог посылает, вроде манну небесную.

— Так мы ж отрабатываем за этот хлеб-от...

— А я что, груши околачиваю? — Фомич махнул рукой. «Да что это я с бабами сцепился?» — подумал.

Он побежал в клуб, попросил соединить его с Мотяковым.

— Чего надо? — недовольно спросил тот, услыхав голос Кузькина:

— Почему мне хлеб запретили продавать?

— Этот хлеб для колхозников привозят. А вы не только в колхозе не работаете, но даже помогать отказались.

— Так я же работаю в Раскидухинской ГЭС?!

— Ну и поезжайте на Раскидуху за хлебом.— Мотяков положил трубку.

— Ах ты, сукин сын! Ну погоди. Еще посмотрим, кто в убытке останется.

Фомич дозвонился до начальника ГЭС и доложил ему о хлебном запрете.

— Я не могу лес отпускать, товарищ начальник. Поеду за хлебом в Пугасово.

— Правильно! Не давай им лесу, если они такие мерзавцы. Заворачивай все подводы и машины. И вот что. В Пугасове есть корреспондент областной газеты. Заезжай к нему. Он сидит в редакции «Колхозной жизни». А я позвоню ему, предупрежу. А если что не выйдет, давай ко мне.

На свой лесной склад Фомич возвратился злым и решител ным.

— Разгружай подводы! — крикнул он еще издали хохловским колхозникам.

— Да ты что, в себе? Мы еще по-темному выехали из дому, а к ночи еле доберемся назад. И с пустыми руками?!

— А если бы вы встали с пустым брюхом, день проторчали тут и пошли бы спать с пустым брюхом? Это каково?

— А мы тут при чем? — окружили Фомича шоферы и возчики.— Чего ты нам-то войну объявляешь?

— А со мной без объявления начали войну,— сказал Фомич.— Не я начинал, не я и отвечать буду. Езжайте к Мотякову. Раз они так — и мы эдак.

— Ты уж нас-то пожалей. Нагрузились ведь...— упрашивали Фомича хохловские колхозники.

— А меня кто жалеет? У вас дети есть? Вот ужин подойдет, они придут к матери: «Дай хлеба! А она скажет им: «Ложитесь не емши. Отец хлеба не принес, ему некогда. Он целый день хохловских мужиков жалел». Так, что ли?

Хохловские мужики, ругая и Фомича, и Мотякова, а пуще всего некое мифическое начальство, пошли к своим подводам.

— Ладно уж! — остановил их Фомич.— Давайте накладную, подпишу.

Высокий, сутулый, обросший седой щетиной, как сухостой лишайником, хохловский бригадир протянул Фомичу накладную. Фомич подложил под нее тетрадь и подписал на коленке.

— Спасибо! — Хохловский бригадир спрятал накладную и сказал: — У нас тут есть хлеб, с собой брали. Возьми ребятишкам.

— Да вы что! Вам самим топать до ночи.— Фомич замотал руками и головой.— Я, чай, найду хлеба-то. А вы, ребята, не сердитесь,— сказал он шоферам.— Я, может, обернусь к вечеру. Хотите, ждите.

— Ничего, мы ведь тоже не свое горючее жгем.

Фомич отдал Авдотье ружье.

— Останешься за меня тут.

— А ты куда, Федя? — спросила Авдотья, принимая ружье.

— За кудыкины горы! Правду пойду искать.— Фомич, видя, как вытянулось Авдотьино лицо, все-таки пояснил: — В Пугасово пойду за хлебом.

— Да туда не дойдешь и дотемна! — ахнула Авдотья.

— Авось люди добрые подвезут,— сказал Фомич, поглядывая на столпившихся шоферов.

Наконец один скуластый плотный паренек в военной гимнастерке подошел к Фомичу и взял его за плечо:

— Ладно, отец... Поехали с нами. Под самое Пугасово подбросим. Не сидеть же ребятишкам голодными.

Авдотья вдруг сгребла платок с головы, уткнулась в него и глухо зарыдала; ее острые, худые плечи под выцветшей и застиранной — не то голубой, не то серой — кофтой то поднимались кверху, то опускались.

— Хватит, мать, хватит... При людях-то постыдись! — говорил Фомич, оглаживая ее плечи.

— Я си-ичас, си-ичас,— торопливо, виновато произносила она и снова всхлипывала.— Мне и того еще досаднее, что свои же бабы из очереди выгнали...

Через час Фомич был уже в Пугасове... Первым делом он зашел в хлебный магазин, наложил полмешка хлеба и только после этого разыскал корреспондента.

Его встретил очень моложавый, но уже седой, с высокими залысинами, приветливый, начинающий полнеть мужчина.

— Я уже в курсе, в курсе,— остановил он Фомича, когда тот начал рассказывать.— Я сейчас позвоню Мотякову. Но у меня к вам просьба — помогайте колхозу.

— Я же на работе нахожусь.

— А вы после работы, по вечерам.

— По вечерам я отдыхаю, потому что ночью опять работа — лес охраняю.

— Понятно, понятно... Но все-таки обещайте, что вы будете помогать колхозу.— Корреспондент говорил, улыбаясь, и получалось так, что он и сам будто не верил в эту помощь, а говорил просто для порядка.

«Это у них вроде игры,— подумал Фомич.— Как у солдат: назовешь пароль — проходи, куда хочешь, а не назовешь — не пустят».

— А почему мне никто не приходит помогать? — спросил Фомич.

У корреспондента поползли брови кверху, и он как-то обиженно надул губы:

— Странный вопрос! Ведь вы же не колхоз?

— А почему все должны помогать колхозу? Раньше ведь никто мужикам не помогал. А они сеяли, пахали, убирали — все вовремя.

— Вы говорите не на тему, товарищ, как вас, простите? Федькин?

— Нет, Кузькин.

— Ну, так вот, товарищ Кузькин, вы обещаете помогать колхозу или нет? — Корреспондент глядел теперь строго, и на лице его не было и тени давешней улыбки.

«Да от него, как от попа, не отвяжешься,— подумал Фомич.— Кабы чего хуже не было».

— Пока я на работе, никак не могу... Вот опосля — тогда другое дело... Посмотрим то есть. Отчего ж не помочь? — дипломатично ответил Фомич.

— Вот и хорошо! — обрадовался корреспондент.— А теперь выйдите на минуту, я по телефону поговорю.

Фомич вышел из кабинета, а дверь чуток не прикрыл, прислонился к косяку и стал прислушиваться.

— Товарищ Мотяков, запрет снимите... Советую! Да, да. Не то он до самого Лаврухина дойдет. У него дети... Да, да! Сигнал поступил с места. Рабочий класс! Ну, тем не менее...— доносилось из кабинета.

А потом вышел сам корреспондент, пожал Фомичу руку и пожелал счастливого возвращения.

— Поезжайте. Хлеб вам будут давать.

Фомич еще до вечера успел приехать в Тиханово и сразу прошел в кабинет к Мотякову. На этот раз даже сердитая секретарша не задержала его. А Мотяков как стоял у окна, так и не обернулся, будто не Фомич вошел в кабинет, а муха влетела.

— Что ж вы теперь прикажете? Продавать мне хлеб или как?—спросил Фомич от порога.

— Будут вам продавать.

— Выпишите мне бумагу. На слово ноне нельзя верить.

— Тимошкин пришлет. Можете ехать домой.

— А с чем я поеду? Там дети голодные ждут меня.

— Ступайте вниз, в нашем ларьке возьмете буханку.

— Да мне чего с этой буханкой делать? По ломтику разделить? В ленинградскую блокаду и то больше хлеба давали на нос.

— Ну, возьмите, сколько хотите,—процедил Мотяков, но все-таки не обернулся, только руки его назади в кулаки сжались.

— Это коленкор другой.—Фомич даже улыбнулся на прощание.—Спокойной вам ночи...

В райкомовском ларьке стояли три женщины; одна из них—в красной, котелком, шляпе, в зеленой, вязанной из шерсти заграничной кофте—была жена Мотякова. Фомич сразу узнал ее, но не подал вида и, так же как Мотяков на него, так и он, не глядя на жену, сказал Настёнке Рощиной, продавщице:

— Ну и начальник у вас, Настёнка! Просто гад.

— Какой начальник, дядя Федя?—Она была свистуновской и знала Фомича.

— Да Мотяков! Дай бог ему сто лет жить, а двести на карачках ползать.

— Что такое?—испуганно спросила Настёнка, а посетительницы притихли, и только жена Мотякова—Фомич видел краем глаза—сделалась пунцовой, красней своей шляпы.

— Какой гад такие приказы давал, чтобы детей не кормить? А этот паразит приказал моим детям хлеба не давать.

Жена Мотякова вышла, хлопнув дверью, а Настёнка замахала на Фомича руками:

— Да ведь это жена Мотякова была, дядя Федя!

— Вот пускай она и доложит своему, какого об нем мнения народ.

— Ты уж молчи, молчи,— сказала Настёнка,— не то свяжут с тобой вместе...

— А ты не бойся! Сказано, нам терять нечего.

13

Накануне цветения яблонь, в самую пору посадки картошки, на склад к Фомичу зашел Пашка Воронин — на нем были новые хромовые сапожки и белая рубашка с откладным воротником. Пашка грыз семечки; по растрепанному рыжему чубу, по красному носу и осоловевшим глазам Фомич сразу догадался, что Пашка выпимши. Дело было вечернее, на бревнышках сидели, грелись дед Филат, Васька Котенок, только что пригнавший стадо, да четверо михеевских колхозников, с ночевой приехавших за столбами с дальней заречной стороны. Сидели, трепались, больше все Фомич старался.

Пашка сел на конец бревна и усмехнулся:

— Пришел Фомичу помогать, а то у него от работы, поди, задница заболела.

— И-ех! Вот это дал! — заржал Васька, закидывая голову, как жеребенок.

— А ты, Паша, горло-то вовремя прополоскал,— ответил Фомич.— Мне в помощь собака очень даже нужна. Лес охранять...

Теперь смеялись и михеевские мужики, и даже дед Филат заливался мелким клекочущим смешком.

«Уж коли ты на испыток пошел,— подумал Фомич,— так давай потягаемся! Посмотрим, кто кого».

— Собака тебе будет мешать,— сказал, кисло улыбаясь, Пашка.— Одному-то дрыхнуть сподручнее.

— Э-э, нет! Я не один... Я здесь в трех лицах: бог отец, бог сын и бог дух святой.

— Это что-то мудрено,— сказал Пашка.

— Почему это? Бог отец — это я сам, бог сын — мой старшой помощник... Весь в меня! А бог дух святой — это моя смекалка, которая всегда верх берет над нечистой силой.

— Над какой это еще нечистой силой? — спросил Пашка.

— А над тобой да над Гузёнковым.

— И-и-е-х! Вот это дает! — запрокидывал свое красное, обветренное лицо Васька.

— Ай да Фоми-ич, крой тебя лаптем! — хватались за животы михеевские колхозники.

— И за что только такому брехуну деньги платят,— зло сказал Пашка.

— И в самом деле! — подхватил Фомич.— Зачем мне деньги? Воды у меня сколько хочешь, рыбы — тоже вон целое озеро! И воздух бесплатный... Да еще бригадир бесплатно развлекать приходит. Отчего и не поразвлечься с начальством? Мне вот вспомнилось, как у нас в колхозе повышали зарплату...— Фомич достал кисет, стал скручивать «козью ножку», вкось поглядывая на Пашку.

Котенок, ожидая новую смешную историю, подался вперед, дед Филат сидел, сгорбившись, обхватив колено, и не то беззвучно смеялся, не то так просто разинул рот, а михеевские колхозники с любопытством поглядывали на Пашку. «Ну и как? Терпишь еще?» — словно написано было на их лицах.

— Так вот, значит, собрался на правление весь актив. Встает агроном и говорит: «Товарищи, мы должны повысить зарплату нашему председателю. Все ж таки мы план по хлебосдаче перевыполнили. Кто больше всех старался? Он! Мы без председателя, как слепые, и заблудиться могли бы. Он — вожак!» — «Правильно! — сказал бухгалтер.— Я за то, чтобы надбавить председателю еще одну тыщу рублей. Объявляю голосование: кто против?» Все за. Ладно. Тогда встает председатель и говорит: «Но, товарищи, я же не один старался. В первую очередь и агронома надо отметить. Он за полями присматривал. Кабы не агроном, поля травой позарастали бы. Предлагаю повысить ему оклад на пятьсот рублей. Согласны? Голосуем. Кто против? Никто... Хорошо!» — «Но, товарищи,— поднялся бухгалтер.— Мы ведь выполнили план и по сдаче молока. Надо повысить оклад и зоотехнику. Кабы не он, коровы недоеными ходили бы». Хорошо! Повысили и зоотехнику. «А бухгалтеру? — встает зоотехник.— Он весь расчет у нас ведет... Дебёт-скребёт. А кто нам зарплату выдает? Опять же он. Кабы не он, мы и денег не имели бы. Надо и бухгалтеру повысить». Ладно, и бухгалтеру повысили. «А бригадиру? — сказал агроном.— Кто на работу колхозников организует? Бригадир. Если не он, и работать никто не станет. Повысить

надо и бригадиру...» Хорошо, повысили. «Товарищи, нельзя обижать и моего шофера,— сказал председатель.— Если он будет плохо меня возить, мы плана не выполним. Надо повысить и ему». Повысили. «А мне?— сказал животновод.— Я на случном пункте стою. Если б не моя работа, и телят не было бы. А откуда молоко тогда взялось бы?» — «И правильно,— сказали все.— Как же мы животновода позабыли? И ему надо повысить оклад».— «А мне?» — спросила Матрена. «А тебе за что?» — «Как за что? Я работаю, навоз вывожу».— «Ну и работай. Вывози не три воза, а двадцать возов на день. Вот и получишь пуд хлеба да десять рублей. Больше всех... Какой же тебе еще оклад нужен?» Ладно, пошла Матрена навоз возить. Отвезла воз, другой... На третьем возу лошадь стала. «Но!» Стоит. «Но!» Ни с места. Она взяла шелугу да хлясть ей по боку! Лошадь на другой бок упала. Вот и навозилась. Пошла на конный двор: «Запрягите мне вон ту, крепкую лошадь».— «Эту нельзя,— отвечает ей конюх.— На ней Пашка-бригадир ездит». Подходит весна, а навоз не вывезен. «Опять всю зиму дурака валяли!— ругается председатель.— Ну ж, я вас проучу!» Вызывает он бульдозер из метээс... Тот выволок весь навоз с фермы и деньги Матренины все забрал. «Вон куда ваша зарплата ушла,— сказал председатель Матрене.— Работать надо было лучше». Напилась Матрена с горя самогонки... Утром на работу итить — она с печки не слезет... Но тут приходит за ней бригадир...

— Довольно!— крикнул Пашка и встал.— Не твои поганые речи антиколхозные слушать, я пришел сказать... передать приказ председателя — завтра на твоем огороде колхоз посеет просо!

— Как это так?— встал и Фомич.— Я на своем огороде пока еще хозяин.

— Был! А в прошлом году тебя исключили на собрании и усадьбы лишили. Вот об этом я тебя и предупреждаю. Это решение правления колхоза, понял? Огород больше не твой... Вот так!— Пашка под конец рассмеялся в лицо Фомичу:— Ну, что ж ты не веселишься? Развлекай теперь своих приятелей...

И пошел прочь.

— Вот так сказка с присказкой!— сказал Фомич, почесывая затылок.— Что ж мне теперь делать? Как думаешь, дядь Филат, отберут они огород?

— Они все могут. Вот у Митьки Губанова отобрали...

Губанов работал бакенщиком, огород у него отрезали под самое крыльцо, так он потихоньку на Луневском острове вспахал. Но Луневский остров принадлежал пароходству... Кто туда пустит Фомича?

— Ведь я ж теперь рабочий класс. Мне пятнадцать сотых положено. А уж закон я найду. До суда дойду...

— Э-э, Федька! Пока суд да дело, а они возьмут на твоем огороде и просо посеют,— сказал дед Филат.— Вот кабы ты раньше их картошку посадил, тады другой оборот.

— А на ком пахать? На бабе, что ли? К ним теперь за лошадью и не подступись.

Молчавшие до сих пор михеевские переглянулись, и ветхий, почти как дед Филат, старичок в черном мелескиновом пиджачке, из-под которого на ладонь выползал подол серой застиранной рубахи, сказал Фомичу:

— На ком пахать! О голубь! Вон четыре лошади. За ночь вспашем и посадим... только соху тащи.

— А что, Федька! — подхватил дед Филат.— Бери у меня соху и валяй. Подфасонишь им в самый раз.

— У нее, поди, и сошники отопрели,— сказал Фомич.

— Шшанок! А я на чем сажаю? — вскинул бороденку дед Филат.

Соха и в самом деле оказалась крепкой. «И что за дед такой припасливый? — удивился Фомич, оглядывая Филатово хозяйство.— Еле ноги, кажись, волочит, а двор покрыт, изба проконопачена... И даже курушка в сенях квохчет».

Вместе с михеевским стариком Фомич притащил к себе в огород соху, впрягли в нее лошадь... И пошла работа. Пахали впересменку — одна лошадь устанет, вторую перепрягали. А потом выползла вся Фомичева ребятня с хозяйкой во главе, и к одиннадцати часам ночи — уже по-темному — посадили всю картошку.

— Вот это по-стахановски,— сказал Фомич, вытирая подолом рубахи пот с лица.— Что значит работа на обчественных началах. Пошли отдыхать.

Авдотья сходила к соседке, матери Андрюши, принесла две бутылки самогонки; поставили чугун картошки на стол, михеевские свиного сала нарезали. И сразу повеселело на душе. Фомич сначала плеснул чуток самогонки на блюдце и поджег — высокое синеватое пламя заметалось над блюдцем.

— Горит, как карасин! — торжественно произнес Фомич. — Тут на совесть сработано.

Михеевский старик понюхал из горлышка.

— Да она вродь бы и пахнет карасином.

— Ты что! Самогонка сахарная. Андрюша из района привозит сахар.

Свесив с печки голову, поглядывая на мигающее синеватое пламя на блюдце, самый младший — Санька — вдруг запел частушку:

Нынче сахару не стало — самогоночку варим;
Из кила кило выходит, вся до капельки горит.

Михеевские засмеялись. Старичок отрезал ломтик пресной пышки, положил на нее кусочек сала и подал на печь:

— Ешь, внучек, ешь.

— Ма-ам, дай и нам! — С печи сразу свесилось еще три головы.

— Вот я вас сейчас мутовкой по лбу! — крикнула Авдотья от стола.

Но ласковый старичок разрезал всю пышку и подал ребятам:

— Ешьтя, ешьтя... Мы едим, а они что? Ай нелюди? В Писании сказано: дети — цветы нашей жизни.

— Нет уж, по такой жизни и дети не в радость, — вздохнула Авдотья, протирая стаканы. — Хоть бы и не было их вовсе.

— Ну не скажите, — возразил старичок. — Какая бы ни была жизня, а пройдет — и плохая, и хорошая. Главное — что человек по себе оставит... Ибо сказано в Писании: негоже человеку быть едину. Не то помрешь — и помянуть некому будет.

— Ноне и поминать-то негде. Церкву развалили, и бог, знать, улетел от нас, — сказала Авдотья.

— Ну не говорите! Бог в нас самих, — поднял палец старичок. — Ибо сказано: бог — наше терпенье.

— Оно ведь, терпенье-то, больно разное, — сказал Фомич, наливая самогонку в стаканы. — И кошка на печи терпит, и собака под забором тоже терпит. Ежели бог — терпение, так почему он такой неодинаковый?

— Это уж кому что предназначено, — важно заметил старичок. — У каждой божьей твари свои радости есть.

Так и человек; писано — не завидуй! Ищи в себе остов радости и блаженства.

— А мы уж и так дожили — что на нас, то и при нас... Ищи не ищи... Кто нам в чем поможет? — сказала свое Авдотья.

— Ты, мать, не туда поехала. Это он про меня сказал: ежели человек веру в себя потерял, ему и бог не поможет. Так я вас понимаю? — спросил Фомич старичка.

— Истинная правда! Потому как в Писании сказано: самый большой грех — уныние.

— Будет уж проповедовать... отец Сергей,— сказал с легкой заминкой один из михеевцев — Иван Павлович, как звали его.

Он был примерно годком Фомичу, такой же чернявый, сухой, с морщинистой шеей.

— Есть хочется! Да и выпить не грех.— Иван Павлович кивнул на самогонку.— Небось выдохнется.

Остальные михеевцы были совсем еще молоденькими пареньками,— видать, и в армии еще не служили.

— Ну, поехали! — Фомич поднял стакан.

Чокнулись. Пили медленно, тянули сквозь губы, будто не самогонку пили, а закваску, кривились так, что глаза в морщинах скрывались: наконец, выпив, шумно выдыхали воздух и нюхали хлеб.

— Кряпка́!

— Да, кряпка-а...

— Господь помилуй!

— Ты что ж, попом работаешь, что ли? — спросил Фомич старика.

— Священником,— кивнул сухонькой головой отец Сергей.

— А что ж у тебя волоса-то не длинные?

Волосы у отца Сергея были не то седые, не то белесые — реденькие и короткие.

— Так он еще у нас молодой поп-то,— сказал Иван Павлович.— Недавний.

— Поп — и за бревнами приехал... Этого я чегой-то не понимаю,— сказал Фомич.

— Он вроде бы еще неутвержденный,— сказал Иван Павлович.— Настоящий поп озоровать стал. Будто в алтаре напился допьяна. Старухи взбунтовались и прогнали его. А наш отец Сергей плотником работал. Да псаломщиком был. Вот его и попросили, призвали, значит, миром. Служит... А председатель его от работы в

колхозе не освобождает. Ты, мол, еще не настоящий поп...

— Это ему нагрузка,— сказал осмелевший после выпивки один из парней и прыснул.— Вроде художественной самодеятельности.

— Васька!—цыкнул на него Иван Павлович.

А отец Сергей смиренно заметил:

— Трудимся поелико возможно...

После второго стакана Фомич снял балалайку. Гармошки-то давно уж не было. Авдотья продала ее, когда Фомич еще в тюрьме сидел,— две посылки ему справила на гармонь-то.

Фомич ударил по струнам и подмигнул Авдотье:

— Ну-ка, Дуня, где наши семнадцать лет?

Раскрасневшаяся, помолодевшая Авдотья подбоченилась, повела плечами и голосисто запела:

Сыграй, Федя, сыграй, милый,
Страданьице с переливом!

И Фомич тотчас же ответил ей припевкой:

Вспомни, милка, вспомни, стерва,
Как гуляли с тобой сперва!

Михеевские дружно засмеялись, и Иван Павлович выкрикнул:

— Ну-ка, давай камаринскую!

Фомич быстро переладил струны на новый строй, заскользил пальцами по грифу, и одна струна стала тоненько и жалобно выводить прерывистую, словно спотыкающуюся мелодию.

— Хорошо начал! Издаля...— сказал Иван Павлович.

Он вышел на середину избы, поднял кверху палец, стал отщелкивать пальцем такт и притопывать ногой.

— А теперь чуть живее!—И запел жидким, но приятным баритончиком:—А-а-ах ты су-у-укин сын камаринский мужик... Живее!—опять крикнул Иван Павлович, быстро согнулся, прихлопывая себя по коленкам и стуча ногами.

— И-эх-ма!—Фомич ударил по струнам еще звонче, смешно задергался, затряс головой, торопливо приговаривая:

У-он по улице по нашенской бежит,
Ды-он бежит-бежит-навертывает,
Его судорогой подергивает...

Фомич еще более зачастил и перешел на «барыню».

— Упы-уп, упы-уп! — покрикивал Иван Павлович, подпрыгивая и шлепая ладонями по голяшкам сапог, потом присел и легко, поскоком, пошел по избе, пронзительно посвистывая.

— Ах, тюх тях-тю, да самовар в дягтю,— припевая, ерзал на скамье Фомич, сам готовый сорваться в пляс.

— У-у-ф ты! — выпрямившись, сказал Иван Павлович, судорожно глотая воздух, и тяжело плюхнулся на скамью.

— От так! Знай наших!..

— Ай да Павлыч, ай да верток! — говорила Авдотья.— Вы с моим-то два сапога пара.

А потом хором тихонько с подголоском пели:

За высокой тюремной стеною
Молодой арестант помирал...
Он, склонившись на грудь головою,
Потихоньку молитву читал...

Отец Сергей выводил тоненьким дрожащим тенорком, запрокидывая голову, и в его светлых, как бусинки, глазках стояли слезы...

14

На другой день Пашка Воронин доложил председателю:

— Кузькин самовольно посадил картошку на огороде.

— А кто пахал ему?

— Чужих нанимал. Говорят, обманом подпоил.

— Ну, теперь он у меня будет землю кушать. Я научу его, как советские законы уважать,— сказал Гузёнков.

Он тут же позвонил Мотякову, расписал, как Федор Кузькин захватил самовольно землю под огород и посадил картошку. «И гулянку по такому случаю устроил». Мотяков приказал составить акт, вызвать агента из управления сельского хозяйства и заготовок, подписать и направить акт в прокуратуру.

— Судить будем! Показательным судом. Отобьем охоту бегать из колхоза. Враз и навсегда!

А еще через день из прокуратуры пришла повестка — рассыльный из сельсовета принес и выдал Живому под расписку. В ней тот приглашался в вежливой форме прибыть в тихановскую прокуратуру, а в случае неявки, сообщалось, «вышепоименованный гражданин будет доставлен органами милиции».

«Вышепоименованный гражданин», разумеется, явился сам. Сначала он зашел в рик, к председателю. Но Мотяков отказался принять его, послал к Тимошкину.

— А-а, товарищ Кузькин! Привет, привет. Чем могу помочь? — Тимошкин сидел за столом добродушный, приветливый, и его круглые желтые глаза сияли, как надраенные медные пуговицы.

— Не за помощью к вам пришел,— хмуро сказал Фомич.— Очень интересно знать: законы соблюдаются в нашей стране ай нет?

— В нашей стране, товарищ Кузькин, законы написаны для трудового народа, а не для тунеядцев. А тех, кто нарушает законы, призывает к порядку советская прокуратура.

— Это мне очень даже понятно. Только поясните мне — по какому такому закону у рабочего отбирают огород?

— У какого это рабочего?

— У меня, к примеру.

— Вот это ловко повернул! Видали, какой элемент нашелся? — Тимошкин как бы обращался к кому-то третьему за поддержкой, хотя в кабинете, кроме их двоих, никого не было.— Вам огород как рабочему никто, товарищ Кузькин, не давал. Поэтому отбирать его у вас никак невозможно. Все обстоит по-другому: это вы самовольно захватили колхозную землю под огород. За что и привлекаетесь к уголовной ответственности.

— Да мне ж положено как рабочему иметь пятнадцать соток. А в моем огороде всего четырнадцать. Чего ж вам еще?

— А то, товарищ Кузькин, что в Прудках у нас государственной земли нет. Там вся земля колхозная. И дать вам земли под огород в Прудках мы никак не можем.

— Это как вас можно понимать? — Фомич обалдело смотрел на Тимошкина.

— У нас такая земля есть, только под Гордеевом. Там можем дать вам огород. Хотите — берите.

— Вы что, издеваетесь?— Фомич даже встал от негодования.— Гордеево от Прудков за двадцать пять километров! Я что ж, летать на огород должен?

— Не хотите, не берите.— Тимошкин был невозмутим.— А в Прудках огород сдайте.

— Огород мой! И никому я его не отдам.— Фомич пошел к дверям.

— Отберем судом. А тебя посадим,— сказал вслед ему, не повышая голоса, Тимошкин.

В прокуратуре встретил Фомича младший юрист Фатеев — в белом кителе, в погонах со звездочкой, черные волосы приглажены, расчесаны на пробор да еще блестят — одеколоном обрызнуты. Он пробежал глазами повестку и сказал весело:

— Вас-то я и жду! Проходите в кабинет!

Младший юрист провел Фомича в кабинет с надписью на белой двери «Следователь», усадил на диван, сам сел напротив за стол и все глядел на него, улыбаясь, будто желаннее гостя, чем Фомич, для этого следователя теперь и не было никого на всем белом свете.

«Прямо как на блины пригласил,— думал Фомич, глядя на свежее, смеющееся лицо следователя.— Чем он только угостит меня? Вот вопрос...»

Младший юрист считал себя человеком воспитанным; он долго служил в политотделе МТС, а теперь учился в областном désinstitute на заочном отделении. Несмотря на свои сорок лет, он все еще был худощав, подтянут, играл на аккордеоне и пел частушки собственного сочинения на смотрах художественной самодеятельности. Один раз даже в области сыграл. Он полагал, что главное для юриста — это соблюдать вежливость.

— Смелый вы человек, товарищ Кузькин,— говорил, все ярче улыбаясь, младший юрист.— Я просто восхищаюсь вами.

— А чего мной восхищаться? Одет я вроде бы нормально, а не какой-нибудь ряженый.— Фомич посмотрел на свой рябенький, сильно мятый пиджачок, на черную косоворотку.— Чего тут смешного?

— Да нет, вы меня не так поняли! — воскликнул Фатеев.— Я не смеюсь над вами... Просто я хотел сказать, как же это вы набрались смелости захватить колхозную землю? Против коллектива пошли... Один против всего села! Вот что.

— Да что я, на кулачки против села пошел, что ли? И ничего я не захватывал. Огород мой.

— Огород колхозный... но вы его захватили и теперь считаете своим,— радостно подсказал младший юрист.

— Как так захватил? Еще дед мой пахал его. Мать с отцом сад рассадили. Я уж порубил яблони. Распахал его сразу после войны... под картошку.

— Интересное у вас мнение! Значит, вы считаете, что земля у нас по наследству передается? А революция была в нашей стране?

— Была.

— Вот именно, товарищ Кузькин. Революция уничтожила в нашей стране право собственности на землю. И вы это отлично понимаете, только уклоняетесь от ответственности некоей игрой. Не выйдет, товарищ Кузькин! Я сам люблю играть, только в свободное от работы время.

— Так в чем же вы меня обвиняете?

— Вы обвиняетесь в самовольном захвате колхозной земли. Колхозное собрание лишило вас права пользоваться огородом... Когда исключали из колхоза. Это вам известно?

— Нет. Я не был на колхозном собрании.

— А чем вы можете подтвердить это показание?

— Дак что ж, на собрании колхозном зарубки, что ли, каждый оставляет на стене? Кабы зарубки оставляли, я сказал бы — моей там нет.

— Но есть свидетельские показания, что вы там были. Вам известны такие граждане? — Фатеев вынул из папки бумажку и прочел: — Назаркин Матвей Корнеевич, счетовод колхоза, заместитель председателя Степушкин, бригадир Воронин — все они показывают, что вы присутствовали на собрании.

— Ну, ежели они показывают, пускай они и отвечают.

— Интересно рассуждаете, товарищ Кузькин! Значит, не вы виноваты в самовольном захвате колхозной земли, а колхозное руководство?

— А если они врут, тогда как?

— А бригадир Воронин предупреждал вас? — быстро спросил Фатеев.

— У бригадира нет такого права, чтоб огород у меня отбирать,— ответил, помедлив, Фомич.

— То-то и оно. Кто врет — выяснит народный суд. У нас все по науке. Вы еще вот на какой вопрос ответьте: откуда вы взяли лошадь для посадки картошки?

— Приехали за столбами люди добрые да помогли мне — вспахали огород.

— А вы предупреждали, что огород самовольно вами захвачен? Из какого они колхоза?

Фомичу вдруг стало тоскливо до тошноты, он молчал и устало смотрел мимо следователя в окно; полотняные шторки слегка шевелил врывающийся в открытую форточку ветерок, за шторкой на подоконнике стояли в горшочках, обернутые белой бумагой, ярко-красные цветы-сережки. «Интересно, кто их поливает? Поди, сам этот чистоплюй?» — некстати подумал Фомич.

— Вы понимаете, что сделали этих людей соучастниками вашего преступления? — доносился откуда-то сбоку голос следователя.— Или вы попросту обманули их? Из какого они колхоза?

«Интересно, кто меня судить будет? Старый судья или молодой?» — думал свое Фомич.

— Товарищ Кузькин, вы меня слышите?

— Я сам не знаю, из какого они колхоза. Не спрашивал,— встряхнулся наконец Фомич.

— В таком случае вина ваша усугубляется. Посидите!

Следователь вынул из зеленого пластмассового футляра очки и долго писал, мучительно сводя на переносице черные брови. Потом неожиданно спросил:

— Как ваша фамилия?

— Дак вы же знаете.

— Пожалуйста, отвечайте на вопросы!

И Фомич отвечал: как его фамилия, имя, отчество, и какого года рождения, и в каком селе проживает... Наконец следователь бросил свое: «Посидите!» — закрыл ящик стола и вышел с двумя исписанными листками.

Затем через дощатую перегородку отчетливо донесся его голос: «Обвинительное заключение». Фомич вздрогнул и стал прислушиваться. Следователь читал монотонно, повторяя особо важные обороты. За ним, захлебываясь от поспешности, стучала машинка: «...по делу обвинения Кузькина Федора Фомича по ст. 90 УК РСФСР...»

Далее следователь диктовал, кто такой он, Кузькин, и где живет, и кем был. Фомич эту часть плохо слушал и все думал: «Кто меня будет судить, молодой судья или старый?»

«...Игнорируя установленный порядок получения в пользование земли, считая приусадебный участок своей

вотчиной,— читал следователь,— Кузькин вышеозначенную площадь земли захватил самовольно.

Кроме того, без разрешения руководства колхоза Кузькин обманом достал лошадь из колхоза для вспашки огорода, не выдавая имен своих сообщников...»

«Ежели старый судья Карпушкин возьмет меня в оборот, тогда беда,— думал Фомич.— Ему что конь, что кобыла: команда была — значит, садись. А ежели молодой судить станет, может, и оклемаюсь. Этот совсем недавно из школы. У него, поди, закон еще из головы не выветрился...»

«...Привлеченный следствием в качестве обвиняемого по настоящему делу Кузькин виновным в предъявленном ему обвинении себя не признал и ничего существенного в свое оправдание не показал. Его утверждение о том, что ему не было известно о решении общего собрания колхозников, не нашло своего подтверждения по материалам дела...»

Фатеев вернулся все таким же приветливым, улыбающимся, как будто бы они сейчас, после подписания этих бумажек, пойдут вместе с Фомичом в чайную выпить.

Фомич внимательно читал и протокол допроса, и обвинительное заключение.

«...На основании ст. 21 Закона о судоустройстве СССР данное дело подлежит рассмотрению в нарсуде Тихановского района».

Затем шла подпись: «И. о. прокурора младший юрист А. Фатеев».

— Судить вас будут прямо в Прудках. Выездной сессией,— любезно сообщил Фатеев.

— Вот хорошо! — усмехнулся Фомич.— Все лишний раз ходить не надо. Спасибо хоть в этом уважили.

— Да я еще не знаю, как мне с вами быть. Отпускать ли до суда или взять под стражу? — Младший юрист озабоченно смотрел на Фомича.

— Куда ни сажайте, а все равно с вашим делом выйдет пятнадцатикопеечная панихида.

— Это что еще за панихида?

— Присказка есть такая. Перепил поп. Наутро головы не поднять, а тут старуха пришла: «Батюшка, отслужи панихиду!» — «Панихида бывает разная,— отвечает ей с печки поп.— И за пять рублей, и за рупь, и за пятнадцать копеек. Да хрен ли в ней толку!»

— Туманно...

— На суде прояснится... Ну, так мне итить или вы меня проводите?

— Ладно уж, изберем простую меру пресечения. Вот, подпишите подписку о невыезде.— Фатеев подал бумажку.

Фомич прочитал, что девятого июня состоится суд над ним и до этого момента он никуда не выедет с места жительства. Потом расписался.

— А кто судить меня станет? Карпушкин?

— Не знаю.— Фатеев взял подписку.— Можете быть свободны в означенных пределах.

Суд над Живым состоялся вечером, чтобы колхозников с работы не отрывать. На маленькой клубной сцене поставили столы, накрытые красным полотном, а чуть сбоку, возле сцены,— скамью для подсудимого. Фомич посадил на нее свою ребятню, а по краям сел сам с Авдотьей. Бойкие, смышленые ребятишки с серыми, глубоко посаженными глазами весело болтали ногами и с интересом разглядывали судей за красным столом.

— А вы зачем детей привели? — спросил Живого судья, молоденький белобрысый паренек в клетчатом пиджаке и узеньком галстуке.— Мы не детей твоих судить собрались, а тебя.

— Дети больше моего по колхозной земле бегают,— сказал Фомич,— значит, они больше и виноватые. Пусть смолоду привыкают к законам.

Фомич надел старую, замызганную гимнастерку и нацепил на нее орден Славы и две медали. Медали он натер золой, и они теперь горели, как золотые.

Авдотья сидела прямо, как аршин проглотила, тяжело опустив на колени свои толстые, узловатые, искривленные пальцы.

— А что у вас с руками...— Судья запнулся, не смог произнести привычное слово «подсудимая» и после паузы сказал: — Хозяйка?

— Коров доила... Знать, застудила или так что,— ответила, краснея, Авдотья.

— Она что, дояркой у вас работала? — спросил судья, обращаясь к председателю, сидевшему в первом ряду.

— Не знаю,— ответил Гузёнков.

— Три года назад,— пояснил Фомич.

— Ясно!

Судья встал и огласил состав суда. Со сцены откуда-то вынырнул милиционер и встал за скамьей Фомича.

— Отвода к составу суда не имеется у вас, подсудимый? — спросил судья.

— Нет,— ответил Живой.

Из народных заседателей были старый учитель-химик из свистуновской семилетки по прозвищу Ащдваэс да заведущая районной чайной Степанида Силкина, пожилая, но все еще мощная чернокосая красавица, постоянный член президиума всех районных заседаний.

Обвинительное заключение читал и. о. прокурора младший юрист Фатеев. На нем был белоснежный китель, погоны и темно-синие с зеленым кантом брюки. Читал он, как и полагалось, с трибуны, установленной напротив скамьи подсудимого. Трибуну по такому случаю привезли из свистуновского клуба и обшили ее тоже красной материей.

Читал Фатеев с выражением или, как говорят в Прудках, с нажимом, и когда упоминал статьи Уголовного кодекса, то приостанавливался и смотрел в многолюдный зал. В это время становилось особенно тихо. По его словам получалось так, что Кузькин хоть и числился раньше колхозником, но склонность к тунеядству не давала ему «возможности полноценно трудиться на благо нашей Родины». И что теперь он попросту стал антиобщественным элементом, поскольку объявил себя рабочим, а постоянно нигде не работает. И в связи с этим дошел до самовольного захвата колхозной земли и обмана руководства.

— Я требую,— сказал Фатеев в заключение,— изолировать Кузькина от общества как разлагающийся элемент и за совершенное преступление, выразившееся в самовольном захвате колхозной земли, вынести Кузькину строгое наказание — год исправительно-трудовых работ с отбыванием в местах заключения.

В первом ряду захлопали, но особенной поддержки в зале не было, и эти жидкие хлопки вскоре затихли, потонули в дружном кашле, шарканье, шушуканье. Гром грянул, и теперь зал оживленно загудел.

Судья сказал:

— В связи с тем, что подсудимый от защитника отказался и решил вести защиту сам, предоставляется ему слово.

Фомич встал, посмотрел было на трибуну, но ему

никто не предложил пройти и встать за нее; он потоптался нерешительно на месте, не зная, на кого же ему смотреть — в зал или на судью, к кому обращаться с речью-то. Так и не решив этого сложного вопроса, он встал вполоборота, так что справа от него был судья, а слева — зал.

— Товарищи граждане! В нашей Советской Конституции записано: владеть землей имеем право, но паразиты никогда. И в песне, в «Интернационале», об этом поется. Спрашивается: кто я такой? Здесь выступал прокурор и назвал меня тунеядцем, вроде паразита, значит. Я землю пахал, советскую власть строил, воевал на фронте.— Фомич как бы нечаянно провел культей по медалям, и они глухо звякнули.— Инвалидом остался... Всю жизнь на своих галчат спину гну, кормлю их. Как бы там ни шло, а побираться они не ходят по дворам. Так? — спрашивал он, повернувшись к залу.

— Так. А то что же?

— Ноне не больно подадут.

— Это не прежние времена...— неожиданно загалдели в зале.

— Выходит, я не паразит-тунеядец? — спросил опять Фомич.

— Нищих ноне нет! — выкрикнул женский голос.— Чего зря молоть?

В зале засмеялись, зашикали. Судья позвонил колокольчиком.

— Гражданин Кузькин! Подсудимому не разрешается обращаться с вопросами в зал.

— А мне больше и спрашивать нечего. Люди сказали, кто я такой. Теперь — судите.— Фомич сел.

— Подсудимый Кузькин, вам известно было решение общего колхозного собрания, на котором вас лишили права пользоваться огородом? — спросил судья.

— Нет, товарищ судья.

— Отвечайте: гражданин судья.

— Пусть гражданин... Какая разница,— согласился Фомич.

— Вы были на том общем собрании?

— Не был.

— Садитесь!.. Свидетель Назаркин Матвей Корнеевич!

— Я, гражданин судья! — вскочил из первого ряда Корнеич и вытянул по швам свои огромные кулачищи.

— Надо говорить: товарищ судья.

— Слушаюсь!

— Вы показали, что Кузькин присутствовал на том собрании?

— Так точно! — живо подтвердил Корнеич.

— Слушай, Корнеич! Ты чего это на себя наговариваешь? — набросился на него Фомич.— Ты знаешь, что бывает за ложное показание? Гражданин судья, предупредите его, что за ложное показание два года тюрьмы дают по статье. Я тебя посажу на эту самую скамью! — Фомич указал на свое место.

— Да, за ложное показание дается два года заключения,— строго сказал судья.— Свидетель Назаркин, я предупреждаю вас.

Корнеич часто заморгал глазами и переступил с ноги на ногу, как притомившаяся лошадь.

— Повторяю вопрос... Свидетель Назаркин, был обвиняемый Кузькин на общем колхозном собрании двадцатого сентября прошлого года?

— Да вроде был...— Корнеич виновато поглядел в сторону председателя, но тут же вскинул голову к судье.

— А точнее?

Корнеич покрутил головой, точно хотел вылезти из широкого ворота темной толстовки...

— Да я уж не помню,— наконец произнес он, глядя себе под ноги.

Гузёнков выдавил какой-то рычащий звук и сердито посмотрел на Корнеича.

— Садитесь! — сказал судья.— Свидетель Степушкин!

Поднялся с первой скамьи заместитель Гузёнкова, седовласый, с бурой, изрытой глубокими морщинами шеей, свистуновский колхозник, вечный заместитель председателя.

— Вы подтверждаете, что Кузькин был на общем колхозном собрании двадцатого сентября?

Степушкин глядел куда-то в потолок, на лбу его появились такие же бурые, как на шее, борозды.

— Кажется, был,— произнес наконец Степушкин.

— Был или нет?

— Да вроде бы...

— Вы что, в прятки с судом играть решили? — Судья повысил голос.

— Не помню.— Степушкин сел.

— Кто извещал Кузькина о решении собрания? — спросил судья, глядя на председателя.

Гузёнков ответил, не вставая:

— Бригадир передавал мой приказ.

Встал Пашка Воронин.

— Да, я предупредил Кузькина. Он сидел на лесном складе, как раз под вечер. Я подошел к нему, посидел еще рядом. Потом сказал, чтобы он не сажал картошку на огороде, потому что огород не его, а колхозный.

— Подсудимый Кузькин, было такое предупреждение?

— В точности было! — сказал Фомич.

— Чего ж еще надо? — крикнул Гузёнков.

— Но, гражданин судья, дозвольте слово сказать? — обратился к судье Фомич.

— Пожалуйста.

— Воронин почти каждый день меня стращал: то говорил, что меня вышлют. Потом грозился посадить в тюрьму. А потом огород отобрать. Мало ли чего он говорил. Я уж и верить перестал. А ведь решение общего собрания — это же закон. Так я понимаю, гражданин судья?

— Правильно!

— Значит, законное постановление и передавать надо под расписку, документом. Выписать это решение на бумаге, прислать мне. Я бы прочел, расписался. Закон!

— Правильно! Под расписку не вручалось решение собрания Кузькину? — спросил судья Гузёнкова.

— Нет, — ответил, краснея, Гузёнков.

Теперь все смотрели на него. А Фомич еще и добавил:

— А стращать словами-то у нас мастера...

Когда суд удалился на совещание, Гузёнков встал и, тяжело грохая сапогами, ушел из клуба. За ним подался и Пашка Воронин. А Корнеич и Степушкин понуро сидели на опустевшей скамье, боясь оглянуться в зал. Там шумно гомонили, отпуская крепкие шутки в адрес незадачливых свидетелей. Всем было ясно, что Фомич выиграл дело. И когда судья зачитал оправдательный приговор, кто-то крикнул на весь зал:

— Он из воды сухим выйдет! Живой — он и есть живой...

15

В конце июня, только лишь успели колхозы развезти лес от Фомича, как позвонил начальник электростанции:

— Кузькин, не спишь там?

— Гуси не дают. Развели их ноне, как саранчу. Мясопоставки отменили. Вот они и орут от радости на все Прудки.

— Ну, я тебе тихую работу нашел, подальше от гусей. Пойдешь на пристань?

— Это на какую такую пристань?

— На Прокоше поставят, недалеко от Прудков.

— А что мне там делать?

— Всё! И командовать, и подметать. И шкипер, и подчищала. В одном лице будешь. Совместишь?

— Можно попробовать.

— Тогда завтра же давай на речной участок. Он тут, возле нас.

Пугасовский участок пароходства малых рек стоял возле Раскидухи, сразу за шлюзом, где перегороженная Прокоша разливалась на полкилометра, что Ока. Весь участок состоял из двух бревенчатых амбаров, отведенных под склады, пятистенной избы, в которой размещались магазин и буфет, и двух дебаркадеров. К одному дебаркадеру приставали речные катера-трамвайчики, а во втором располагалась контора участка.

Начальник участка, черноволосый приземистый чуваш с необычным для здешних мест именем — Садок Парфентьевич, встретил Фомича по-деловому:

— Работа хорошая, но денег мало, учты! Всего четыреста восемьдесят пять рублей.

— А мне больше и не надо, — сказал Фомич.

— Платим только до декабря. Зимой денег не даем. Учты!

— А я корзины буду плесть.

— Делай, что хочешь. Зимой ты меня не касайся.

— Перезимую! — весело сказал Фомич.

— Устройство дебаркадера знаешь?

— А как же! Значит, внизу трюм, а поверху палуба. На ней устроены...

— Хватит! — остановил его Садок Парфентьевич. — Если тонуть станет дебаркадер, что будешь делать?

— Первым делом в трюм посмотреть. Ежели там вода, значит, откачать надо.

— На мель надо сажать. Учты!

— Это уж само собой,— быстро согласился Фомич.— Мы раньше в Прудках сами баржи делали. Значит, ребра ставили, по ним обшивка. Вот тебе и трюм...

— Хорошо! Завтра поезжай в Тютюнино, получай дебаркадер. Но учты! Он течет.

— Приведем! — бодро сказал Фомич.

До Тютюнина было километров сорок. Ехал туда Живой на речном трамвайчике, и бесплатно — впервые в жизни. И оттого ему все очень нравилось на этом пароходике — сидишь под открытым небом на белой скамеечке, как в саду где-нибудь в городе Горьком... В Пугасове нет таких удобных скамеечек, это уж точно... Надоест тебе на солнышке греться — пожалуйста вниз. Тут скамейки длиннее. Положить мешок под голову, растянешься — и валяй храпака до самого Тютюнина. «Теперь и вовсе жить можно,— думал Фомич.— Не привезут, к примеру, хлеб в Прудки, а я на трамвайчик — и в Раскидуху. Туда-сюда обернулся, глядишь — и день прошел. И вроде бы на службе».

Дебаркадер для Прудков оказался самой обыкновенной баржей, какие строили раньше прудковские мужики, только на палубе вместо будки стояла шкиперская конторка в два окна да навес для пассажиров с четырьмя скамейками и столиком. Скамейки были такие же аккуратные и белые, как на речном трамвайчике, а в шкиперской стояла круглая чугунная буржуйка, шкафчик белый, как в аптеке, столик и топчан. «Да тут прямо курорт!» — подумал Фомич. Только вот беда: в трюме воды по самые копани, отчего дебаркадер притулился к бережку и брюхом лежал на песчаном дне.

— Как же я его доведу? — спросил Фомич, растерянно глядя на капитана трамвайчика.

— Жди меня обратным рейсом. Я камерон привезу.

— Это что еще за камерон?

— Эх ты, шкипер! А не знаешь, что такое камерон. Насос!

Камерон привезли только вечером. Фомич всю ночь не сомкнул глаз — воду откачивал, и когда в пять часов утра подошел к нему с буксирным тросом трамвайчик, дебаркадер легко покачивался на волнах. «Весь наружу вылез из воды... Того и гляди, улетит»,— радостно думал Фомич.

На участок возвратились к восьми часам, как раз и начальство пришло на работу.

— Ну, пойдем теперь в контору... Оформляться! — сказал Живому капитан трамвайчика, бойкий симпатичный паренек, одетый по всей строгости: китель синий, пуговицы надраены, блестят, как золотые.

Он привел Фомича в диспетчерскую и весело сказал строгой женщине в мужской фуражке с крабом:

— Мария, вот тебе новый шкипер тютюнинского кунгаса.

Женщина резко вскинула голову, и ее рыжие длинные кудри, выбивавшиеся из-под фуражки, заколыхались, как причальные концы канатов.

— Не потопишь пристань? — спросила она Живого.

— Ну, как можно! Ведь государственное имущество...

— Ишь ты какой идейный! — усмехнулась женщина в фуражке. — Ну тогда посиди — я выпишу тебе путевку.

«А почему же не посидеть? — думал радостно Фомич. — Когда по делу, и посидеть не грех. Тут тепло и мухи не кусают». И диспетчерша ему понравилась. «Хоть и держится строго, а так на вид ничего из себя дамочка, представительная».

Потом Фомича «оформлял» председатель месткома, он же и начальник отдела кадров. И здесь Живому все понравилось. Кабинетик был хоть и маленький, но чистенький — все белилами выкрашено, везде шторки да скатерочки без помарки, видать, только из стирки. Прямо не кабинет, а лазаретик игрушечный.

Начальник отдела кадров был сутулый старичок, но все еще подвижный, в белом, хорошо отутюженном кителе и с такой же белой, словно свежевыстиранной бородкой.

«Вот бы и мне такой кителек получить, — думал Фомич, — да фуражку с крабом. Хотел бы я тогда с Мотяковым повстречаться».

Старичок завел на Фомича «дело» из картонной папки, анкету заполнил. А потом выдал Живому настоящую трудовую книжку и руку пожал.

— Желаю успешно трудиться.

Фомич совсем осмелел и спросил:

— А как насчет кителя с фуражкой? Они за казенный счет идут? Или по первому году не положено?

— У нас матросам и шкиперам обмундирование не дают.

— Ну да. И так хорошо,— согласился Фомич.

Потом чуть не вприпрыжку на склад бегал — получал цепи, причальные канаты, постель с двумя простынями, кастрюлю, чайник, котелок, миски. Целое хозяйство.

И когда наконец промычала долгожданная сирена, катер отвалил от берега и потащил на буксире дебаркадер, Живой даже перекрестился — кажется, впервые в жизни.

Пристань поставили недалеко от Кузякова яра, среди лугового раздолья. И потекла она, неторопливая, как Прокоша, спокойная шкиперская жизнь. «До зимы-то хоть душой отойду. А там видно будет»,— думал Фомич.

Он не запомнил еще такого доброго, мягкого лета. Дожди шли как по заказу, затяжные и обильные с весны, но редкие грозовые в горячую сенокосную пору и в страду. Словно там на небесах появился наконец строгий разумный хозяин, которые поглядывал на землю и грозно ворчал: «Кто там волынит с уборкой? А ну-ка я его подстегну!» Залежалось сено в валках, глядишь — и туча сюда заворачивает, погромыхивает так, что земля вздрагивает. Едет турус на колесах! Но сечет дождем недолго, а только так, для острастки, чтоб лишку не спали.

Бреховские на том берегу Прокоши хорошо работали, дружно. Про них так говорили: «Эти четвертинку на пятерых выпьют и на другой день еще оставят». Народ там жил мастеровой, потомки знаменитых плотников. Артельный народ. И на трудодни хорошо получали, и зимой еще в отходе подрабатывали.

В луга выезжали они всем селом, шалаши ставили на речном берегу возле самых коровьих станов, к молоку поближе. И жили две-три недели широко, весело; на прибрежных дубках да липах висели румяные свиные окорока, в огромных черных котлах варилось сразу по полбарана, а на речном дне вдоль берега стояли, омываемые холодными родниковыми струями, цистерны с молоком. Потяни за веревку — и пей, сколько хочешь, пока спина не захолодает.

А прудковские ходили в луга пехом; пока соберутся, дойдут — солнце уже на жару гонит. Сядут полдневать — из реки кружками воду черпают да прихлебывают с хлебцем. А с другого берега бреховские кричат им, дразнят: «Э, родима, хлябай, хлябай,— вон ишо виднеется!» Рассказывали, что две прудковские бабы взяли в луга на двоих одно яйцо сырое. Сели полдневать — яйцо

разбили да вылили с краю в озеро (посуды не было). Ветерок подул — яичные блестки по озеру и поплыли. Вот одна другую и подстегивает: «Родима, хлябай, хлябай,— вон ишо виднеется».

— Скаредники! — кричат через реку и отбиваются прудковские.— Расскажите, как четвертинку на пятерых распили?

Но разве бреховских переругаешь?

Под вечер запахи свежего бараньего супа и преющей на углях пшенной каши, плывущие с того берега, особенно тревожили Живого. И пристань его, как на грех, стояла напротив бреховского лугового стана. Случалось, правда, что и Фомича приглашали.

Как-то раз вылез напротив пристани из «газика» Петя Долгий и с минуту смотрел на пристань, прикрываясь ладонью от солнца.

— Это ты, что ли, капитанишь, Кузькин?

— Ен самый! — крикнул Фомич.

— Плыви сюда! — махнул рукой Петя Долгий.— Отметим твое продвижение.

У Живого в садке плескались три подлещика, да язь, да стерлядка. Так что и он приехал не с пустыми руками.

И не раз еще победный дух от стерляжьей ухи, исходивший от пристани, забирал в плен привередливые к запахам носы бреховских кашеваров.

— Эй, рыбак! Хочешь баранины за рыбу? А? Кило на кило...— кричали они.

— Шиш на шиш менять — только время терять! — отвечал Живой.

— А чего ж тебе еще?

— Котел каши вези в придачу.

В такие вечера Фомичу казалось, что жизнь изменяется вроде бы к лучшему. И народ оживел, отмяк в это лето. Шутка ли сказать, поставки всякие, налоги отменили. Первое лето не носили молоко по вечерам на сливные пункты, не разбавляли его водой, не химичили. Завел корову — молока пей, не хочу! И мясо не надо сдавать, и шерсть...

Живой опять козу купил. А поросенок вырос с большую прожорливую свинью. Авдотья всю крапиву на задах сжала и все парила для этой ненасытной скотины, а Фомич в полдни, когда пристань его закрывалась, ездил на ту сторону реки, на бреховский берег, собирал в кустах дикие яблоки.

Рано утром и к вечеру на пристани собирался народ из ближних и дальних сел — встречали гостей из города. Приезжали отпускники с Волги, из Горького, а больше все дзержинские. Еще в тридцатые годы, в пору коллективизации, половина Прудков переселилась туда, в бывший Растяпин,— заводы строили. Уходили в лаптях с мешками за спиной... А теперь приезжали с фибровыми чемоданами, с рюкзаками, полными булок, с длинными связками белых сушек, в два-три ряда, как ожерелья, свисавшими с плеч.

— Севодни хорошо у нас с хлебом стало,— говорили приезжие.— Хочешь булок, хочешь кренделей бери. И очередей нет. Жить можно.

— А у нас травы ноне хорошие,— говорили прудковские.— Раз косой махнешь — копна. Людей не хватает. Бают, будто из города обратно переселять начнут в деревню.

— Но-но! Дураков теперь нет,— отвечали приезжие.

— А ежели по указу. Небось приедешь.

— Это где ж такие законы писаны, чтоб рабочего человека ущемлять? — встревал в разговор и Фомич.

В спорах он занимал теперь сторону городских. И когда спрашивал его кто-нибудь из приезжих: «Как живешь?» — Фомич отвечал обстоятельно:

— Я теперь начисто пролетариат стал... Так что жизнь рабочего класса известная.

А плохо ли, хорошо ли он теперь жил, Фомич, по совести сказать, и сам не знал. Главное — спокойно.

Но по ночам ему часто снился один и тот же неприятный сон: будто возле пристани на берегу собиралось много мешочников — сидели молча, свесив с берега ноги в лаптях, тощие мешки за спинами. «Вы чего ж там сидите? — спрашивал их Фомич.— Идите сюда, на пристань!» — «Оттуда, пожалуй, взашей прогонят,— отвечали.— А ты чего там? Давай лучше к нам!» — «Никто вас не тронет. Я здесь и есть главный начальник».— «Кто тебя знает,— отвечали мешочники.— Вроде бы ты не похож на начальника... Заманишь, поди. Нет, мы уж лучше здесь посидим. А там боязно...»

— Это тебя, Федька, нужда к себе зовет,— растолковал дед Филат Фомичов сон.— Вот зима подойдет, намытаришься ишо.

16

Как ни далекой казалась зима, как ни хотелось забыть о ней, а пришла. Сначала порыжели и стали облетать липовые рощи, потом как-то внезапно свернулись и опали почерневшие листья тальников; и зеленый мягкий противоположный берег сразу покраснел, ощетинился голыми прутьями краснотала.

На песчаных косах Прокоши больше не цвикали, не бегали вперегонки тонконогие вертлявые трясогузки, не плескались на перекатах жереха, не будили на заре Живого своими пронзительными криками «перевези! перевези!» кулики-перевозчики. И пассажиры приходили все реже и реже. Скучно стало на Прокоше.

А накануне Октябрьских праздников, когда вдоль по берегам уже позванивала на Прокоше хрупкая игольчатая шуга, пришел буксирный катер и увел дебаркадер. Фомич возвращался с участка уже по первой пороше. Вот она и зима.

Весь ноябрь Живой плел корзины, но брали их плохо и за полцены. Сезон прошел — картошка убрана в подполы да в хранилища, за грибами не пойдешь по снегу... Кому зимой нужны корзины?

Как-то на базаре в Тиханове Живого с корзинами встретил Петя Долгий:

— Чего ты эти кругляши вяжешь? Хочешь заработать, плети кошевки для розвальней. Хоть полсотни давай — все возьму.

Для санных кошевок прут нужен длинный, первосортный. Особенно на стояки. Поблизости хороший прут весь вырезали. У Живого была примечена одна тальниковая заросль на берегу укромного бочага, возле Богоявленского перевоза. Но он ждал, когда проложат через Прокошу санный путь; идти без дороги туда по мягкому снегу да еще без лыж трудно и небезопасно — провалиться в какое-нибудь болото можно.

Но тут пришло письмо от старшего сына: «Отслужил. Еду домой!» Вот и расходы новые... Надо встретить сына по-людски, погулять! Отдохнуть дать парню хоть с месяц. Не гнать же на работу на другой день. «Пока он приедет, я кошевки три-четыре сплету да загоню их Пете Долгому. Вот и деньги»,— решил Фомич.

На другой день с утра он стал собираться: затянул потуже свой полушубок, обушок за ремень заткнул да

резак, веревку в карман положил, прутья в пучки связывать.

— Ну, мать, я пошел.

— Не ходил бы ноне, Федя. Видишь, поземка гуляет и небо со стороны Прокоши вроде бы замывает. Кабы метель не разыгралась.

Живой поглядел в окно — и правда, вроде бы краешек неба за Прокошей синел.

— Это не беда — ветер туда дует, разгонит. Эх, мать, где наша не пропадала! — Фомич похлопал себя по тощему животу.— Я ноне непродуваемый.

До Кузякова яра Фомич дошел быстро; тут, на открытом месте, хоть и гулял ветер да густо несло поземку, но снег не задерживался: по луговым увалам, рыжим от незанесенной отавы, он летел и летел к Прокоше, забивая в низинах частую щетину тальника и вытягиваясь на крутоярах в острые козырьки сугробов.

За Лукой, меж зарослей кустарников, было потише, но идти зато труднее — снег по колена. Фомич петлял больше все по увалам, боясь в низине провалиться в какое-нибудь плохо замерзшее болото. К Богоявленскому перевозу пришел он только к обеду. На берегах Прокоши было пусто — на этот раз черный неуклюжий паром Ивана Веселого увели по осенней воде.

Прокоша у берегов замерзла, и только посредине дымилась широкая черная полоса полыньи. Фомич вынул из-за пояса топор, подошел к берегу и грохнул обухом по льду.

— Гоу-ук! — округло и протяжно отдалось на другом берегу.

По льду лучами разошлись длинные трещины; а там, где ударил топор, белое пятно медленно темнело от проступившей снизу воды.

— Слабый лед,— сказал Фомич.— Придется итить берегом.

Он вышел на открытый косогор и удивился неожиданно сильному ветру. Пока Живой петлял вдоль кустарников по затишкам, направление ветра изменилось — теперь он дул с того берега Прокоши. А там, над темной стеной бреховского леса, козырьком, наплывая, нахлобучивала сизое стылое небо иссиня-черная туча.

— Откуда ее вынесло? — опять вслух сказал Фомич.

Ему стало зябко; легкий холодок передернул его и

застыл, затаился где-то промеж лопаток. «А не повернуть ли?» — невольно подумал Живой.

Но идти до прутьев было уже недалеко; тот небольшой бочаг с тальниковой зарослью примыкал почти к берегу реки. Собственно, это был в недалеком прошлом затончик,. отделенный теперь от реки песчаной отмелью.

Бочаг хорошо замерз. И Живой резал тальниковые прутья прямо со льда. Прутья были все одинаковой толщины, длинные, как на подбор, гибкие, но прочные...

— Хоть узлы вяжи из них, хоть кружева плети,— радовался Фомич.— Как шелковые... Тут, ей-богу, на четыре кошевки хватит.

Он рубил без роздыха до тех пор, пока не запарился. Потом сбросил с себя полушубок и, несмотря на пронзительный ветер, работал в одной рубахе, не чувствуя холода. Когда он уже связывал прутья в пучки, повалил хлопьями снег, замело, закрутило, и не поймешь, откуда больше летит, сверху или снизу. В двух шагах ничего не видно.

Живой взвалил наперевес на плечо два огромных пучка ивовых прутьев и чуть не присел от неожиданной тяжести. Потом обтерпелся — вроде ничего. Идти можно.

Свернул к реке. «Теперь вдоль реки придется топать до самого Кузякова яра, а может, до Прудковского затона,— подумал Фомич.— Иначе заплутаешься». Идти вдоль Прокоши — значит, сделать большой крюк, особенно за Богоявленским перевозом, где Прокоша выписывает петлю за петлей. Но что делать? Иного выхода нет.

Он спустился с высокого берега реки. Здесь было вроде потише, хоть ветер не свистел с такой заполошной силой. Однако спуск к воде был крутой, ноги скользили. И топать по косогору, да еще с пучками из прутьев, никак невозможно. Фомич опять достал топор и три раза стукнул по прибрежному льду. Но каждый раз появлялись трещины и просачивалась вода. Ступить на такой лед, идти по нему Фомич опять не решился. Пришлось вылезать на берег.

На высоких крутоярах ветер завывал в прутьях, хлопая полами полушубка, и так внезапно и сильно толкал в бок, что Фомич оступался и, как пьяный, шарахался в сторону. Он держался на значительном расстоянии от берега, боясь свалиться.

В низинах, под прикрытием кустарников, было поти-

ше, но сильно крутило; снег набивался в нос, в глаза и даже забивался за воротник, таял, и редкие холодные струйки ползли по спине. Сугробы Фомич переходил вброд, погружаясь в снег, как в воду, по пояс. Вскоре штаны его выше валенок намокли, потом задубенели от ветра и мороза и густо покрылись налипшим и промерзшим снегом. «Что твои бинты»,— подумал Фомич невесело. Бедра были мокрые, поначалу мерзли и саднили, потом притерпелось. «Эх, теперь бы стеганые штаны, да потолще!..— мечтал Фомич.— Я бы и на снегу переночевал. А в этих топай и паром грейся».

Он шел, пригнувшись, избочась, отворачивая от ветра лицо, тяжело и низко, почти до снега опустив руки. Пучки прутьев он привязал теперь за спину, перехватив спереди плечи и грудь веревками. Они глубоко врезались в полушубок, сдавливали грудь, резали плечи, отчего руки его немели и по пальцам бегали мурашки. Иногда он останавливался возле большого сугроба, опрокидывался в снег на спину и лежал, закрыв глаза, раскинув руки, до тех пор, пока снова не мог пошевелить затекшими и застывшими пальцами. Он вставал и шел до нового изнеможения, опять валился на спину, чтобы отдышаться и снова идти дальше.

Уже в сумерках подошел он к Кузякову яру. Здесь он решил распроститься с Прокошей, повернуть на Прудки и держаться прямо по ветру. Над яром дымились острые козырьки сугробов... Фомич слишком поздно смекнул, что берег под этими сугробами может быть обманчив. Он брел теперь, как утомленная лошадь, опустив голову и не глядя по сторонам. Поэтому поначалу удивился даже, когда качнулась перед глазами обнажившаяся черная кромка берега и огромный сугроб с гулом полетел в пропасть, увлекая за собой Фомича. Он стукнулся о что-то твердое ногой, перевернулся несколько раз и упал на спину. Минут пять он пролежал без движения, и ему даже приятно было оттого, как отходили ноющие натертые плечи и затекшие пальцы, только правая нога почему-то горела сильно, будто бы кто приложил к ней раскаленный кирпич. Наконец Фомич медленно опрокинулся на бок, потом попытался встать. Яркая, как молния, вспышка словно ослепила Фомича, и острая, пронзительная боль повалила его снова на спину. Он слегка застонал и потянулся рукой к правой ноге. Что с ней? Сломал или вывихнул? Но сквозь валенок трудно было что-либо

прощупать, а пошевелить ступней он не мог, нога ниже колена не слушалась.

Фомич решил добираться ползком. Сначала он хотел было отвязать и бросить пучки прутьев, но как только подумал о том, что из них выйдет четыре превосходных санных кошевки, которые он загонит Пете Долгому по восемьдесят рублей каждую, то это намерение — бросить прутья — показалось ему невероятным.

«Прутья первосортные брошу... Триста двадцать рублей из кармана выкинуть? Это ж рехнуться надо,— думал Фомич.— Вон дядя Николаха колодник отсюда на себе возил возами. А я прутьев не донесу! Да что я, иль не Кузькиной породы? Ну ж нет, батеньки мои, не дождетесь от меня такой подачки...»

Фомич, сцепив от боли зубы, выполз на берег и так, на четвереньках, с пучками прутьев за спиной, двинулся по ветру. Вскоре он потерял свои сшитые из старой шинели рукавицы и загребал снег побелевшими голыми пальцами. Холода он теперь не чувствовал вовсе, и боли в ноге тоже не было. Он плохо соображал, куда ползет, в каком направлении. Но зато хорошо знал, что на спину теперь переворачиваться нельзя, боялся, что силы не хватит, чтобы снова встать на четвереньки. И на бок боялся лечь, чтобы не уснуть. Теперь он и отдыхал все в том же положении — на четвереньках, уткнувшись носом в снег. Кругом была ночь, бушевал снег, выл ветер, а он все полз и полз, каким-то необъяснимым волчьим чутьем выбирая именно то единственно верное направление, где в снежной коловерти потонули Прудки.

Нашли его ночью возле фермы. Головой он уткнулся в ворота, ползти дальше некуда. Думали, замерз...

Очнулся Фомич в больнице. Рядом с койкой сидела Авдотья с красными от слез глазами. Он посмотрел на забинтованные руки, ноги и сразу все вспомнил.

— Прутья-то целы? — спросил он.

— Целы, целы,— печально ответила Авдотья.

— Володька не приехал еще?

— Нынче телеграмма от него пришла. Завтра сам будет.

— Хорошо...— Фомич немного подумал и сказал: — Передай ему, пусть сам сплетет кошевки. Да смотрите не продешевите!.. Меньше восьмидесяти рублей за кошевку не брать... Кошевки будут первый сорт.

17

Больше месяца провалялся Живой в больнице — пока лодыжка под лубком не сраслась. Появился в Прудках веселым, все шутил:

— Говорят, что бядро полгода срастается. Эх, не повезло мне! Кабы не лодыжку, а бядро поломал — вот лафа... До весны пролежал бы на дармовых харчах.

— Ты, Федька, и впрямь телом вроде б подобрел,— встретил его дед Филат.— Только с лица красен, как рак ошпаренный.

— Это я шкуру к весне меняю. Надоело в старой ходить. Ты бы, дядь Филат, поползал по снегу. Глядишь, и помолодел бы вроде меня.

— Говорят, у тебя и ногтев на пальцах нету. Сошли на нет?

— А мне что их, лаком красить да на поглядку выставлять, ногти-то? Доктор говорит, от них зараза одна. Главное — пальцы целы.

Он показывал всем свою чудом уцелевшую клешню и шевелил пальцами.

— Владеют. Есть ишо чем ухватиться. Жить можно.

С первесны подался на сторону старший сын Владимир. Уехал в Сормово на стройку. Пришлось снаряжать его в дорогу. С пустыми руками не отпустишь. И одежонку какую ни то надо — не в одном же обмундировании ходить ему. Покряхтел Фомич, но делать нечего. Зарезал свинью — отвез на базар. Отвез и мечту свою о корове.

— Поезжай, сын, устраивай себе жизнь. А об нас не беспокойся.

На остаток денег Живой накупил картошки.

— Вот и нам радость, мать. Теперь до лета хватит. Значит, не помрем.

До лета Фомич не дотянул. В мае, в голодную пору межвременья, он вспомнил про Варвару Цыплакову и решил сходить в райсобес, пособия попросить.

И вдруг пришла в Прудки невероятная весть — Тихановский район закрыли. Не так чтобы закрыли — и все тут. Разъяснили, что район перестал быть рентабельным, то есть народ поразъехался, колхозы объединились да укрупнились — и район, значит, укрупнять надо. Назрело! Оно, может, и разумно, со стороны глядя, сказать: «Эко вы, милые, размахнулись — сорок две конторы на

десять колхозов держите. Сократитесь!» Но тихановцы-то не хотели сокращаться; тихановцы продолжали думать, что район у них, как район, и все есть для района: конторы больше размещались в двухэтажных домах — и новых, и бывших кулацких, улицы булыжником мощены, а от чайной до клуба дощатый тротуар проложен... Чем хуже иных прочих? Но поди ты... Проснулись утром тихановцы — нет района. Ни одной вывески на домах: ни райтопа, ни раймага, ни райисполкома... Как жить?

Фомич, услыхав об этом, даже взгрустнул:

— В Пугасово не больно сбегаешь... И Варвары Цыплаковой там уж нет.

А более всего тихановцев возмутило то, что в их белокаменный двухэтажный райком привезли инвалидов и престарелых. «Дожили! Районом были — стали богадельней». Рынок на тихановском выгоне опустел, дома в цене пали... Даже забитые окна появились.

И началось в Тиханове великое брожение: начальство, которое со специальностью было, разъезжалось по своим ведомствам — банковские да почтовые в Пугасово переехали, а милиция, юристы — те даже в область подались. Демина отозвали в обком, Тимошкин в сельпо продавцом устроился, а для Мотякова места не находилось. Пугасовский председатель рика наотрез отказался брать его в заместители; сказал, что мне, мол, и своих выдвиженцев девать некуда. Специальности у Мотякова никакой не было, хлеб давно уж и позабыл, как пашут. Да ведь и не пошлешь его из председателей прямо в борозду. А хозяйственной должности или по кадровой части пока ничего не находилось. И Мотяков без дела ходил по лугам — рыбу ловил. Однажды Фомич встретился с ним.

Как-то под вечер раскинул Фомич свои донки под Кузяковым яром — стерлядей половить. Наживу добывал тут же: сняв штаны, зашел в воду и острым жестяным черпаком выковыривал из-под воды илистый синевато-серый грунт, в котором прятались куколки мотыля.

На самом яру остановилась черная заграничная машина. Фомич сразу узнал ее. «Зять полковника Агашина! Знать, из Москвы приехали», — подумал он.

Но из машины вылез сам Агашин, грузный бритоголовый старик с красным мясистым носом и маленькими под нахохленными рыжими бровями серыми глазками.

— Здорово, Федор! — сказал полковник с крутояра.— Живой?

— Живой! А чего нам не жить? Воды сколько хочешь, в ней рыба — выбирай на вкус. Птица поверху летает всякая,— весело отвечал Фомич.— А вы когда приехали?

Полковник был старше Фомича лет на десять, среди односельчан это заметная возрастная разница, поэтому Фомич обращался к Агашину почтительно, с детства привык еще. Тот приезжал, бывало, в деревню козырем. Красный командир! И даже старики величали его по имени-отчеству — Михал Николав.

— Вчера приехал,— гудел сверху полковник.— Я тут не один... Давай и ты к нам!

Фомич привстал из воды, прикрыв срам обеими руками, и сказал так просто, для приличия:

— Вас самих, поди, много?

— Давай-давай! У нас тут сетишки есть. Бредешок закинем в Луке. Ты знаешь здесь хорошие местечки.

— С бредешком, конечно, можно было бы пройтись. И сети хорошо бы закинуть. Да уж и не знаю... запрещено! — в нерешительности стоял Фомич.

— Давай-давай! С нами тут власть, правда бывшая! — засмеялся полковник.

— Да вам что смотреть на власть? Вы сели да поехали, а мне тут жить...— Но Фомич уже без лишних проволочек, не то еще передумают насчет приглашения, вылез из воды, надел штаны и в момент взобрался на берег.

— Ого, ты как козел еще прыгаешь,— сказал полковник и подвел Фомича к машине.— Полезай!

Фомич влез в машину и очутился на одном сиденье рядом с Мотяковым.

— Здравствуйте! — сказал Фомич, обращаясь как бы ко всем сразу.

— Привет! — сказал зять полковника.

А Мотяков промолчал.

Зять полковника сидел за рулем; это был еще молодой человек, но уже полный, круглолицый и очень приветливый. Фомич знаком был с ним и знал, что работает Роберт Иванович во Внешторге, побывал не раз в самой Америке и привез оттуда эту самую машину под названием «форд». Изнутри в машине сиденья были обшиты настоящей кожей, хорошо выделанной и простеженной на манер фуфайки; а поверху, над головой, и не поймешь,

чем было обтянуто,— не то шелк твердый (Фомич потрогал пальцами, он впервые сидел в такой машине), не то клеенка какая-то красная, вся в мелких пупырышках. А возле заднего окошечка валялись журналы в ярких картинках: все девки в темных очках, а на теле голо: два маленьких лоскута, так, с Фомичову ладонь, чтоб срам прикрыть. «А темные очки надели от стыда, должно быть»,— подумал Фомич.

— Нравится?—спросил Роберт Иванович.

— Да как сказать... Красиво, но как-то неуютно. Замарать боишься,— ответил Фомич.

— Хо-хо-хо!—оглушительно засмеялся полковник.

Подъехали к озеру. Из багажника вынули две сети капроновые. Фомич слыхал про такие сети, но не видел еще и теперь с интересом разглядывал—нитки были желтоватые, крученые и очень тонкие.

— Больно тонкие нитки!.. Не порвется?

— А ты возми, порви!—сказал полковник.— Бери! Ну?—Полковник всунул в руки Фомичу сеть.— Тяни! Тяни, тяни!..

Фомич сильно натянул ячею, так что нитки в пальцы врезались.

— Кряпка!—восхищенно произнес он.

Бредень был тоже хорош, хоть и не капроновый, но новенький, ячея мелкая и мотня большая—сом попадет, не вырвется. Бредень вытащили из машины, на спинках лежал.

— Неужто и бредень из Москвы везли?—спросил Фомич.

— Бредень его,— кивнул полковник на Мотякова.

Впервые за послевоенные годы Фомич видел Мотякова в обыкновенной белой рубахе с закатанными рукавами и не в галифе, а в простых серых брюках. И оказалось, что он не дюжее его, Фомича, так же худ и мосласт. И даже его широкий и ноздрястый нос, обычно грозно поднятый кверху, теперь казался смешной нашлепкой.

— Это что ж, ваш бредень или бывший риковский?— спросил Фомич Мотякова.

— Мой. А что?

— Дак ведь ты сам запрещал ловить бреднем? Зачем же его держал?

— Ты болтай поменьше! Вон делай, что заставляют.

Фомич с полковником разматывали сети.

— Что, Семен, не нравится критика снизу?—спросил

полковник Мотякова.— Привыкай, брат... Теперь дело к демократии идет.

— Чтобы критиковать — тоже надо образование иметь, не то что наши дураки да лодыри.— Мотяков зло сплюнул и стал раскатывать бредень.

— Насчет образования это ты верно сказал, Семен! — осмелел Фомич.— Помнишь, у нас на курсах был учитель по *гонометрии*? Он, бывало, говорил нам: запомните — образование положит конец неразумному усердию.

— А вы вместе учились? — спросил, улыбаясь, полковник.

— Вместе академию кончали. Разве не заметно по усердию Мотякова? — сказал Фомич.

— Прохвост! — Мотяков взвалил бредень и потащил его к воде.

Полковник спросил:

— Федор, у тебя, наверное, здесь где-нибудь лодочка припрятана или ботничок? А то у нас надувная лодка, возиться не хочется.

— Есть! Как же без ботника? Я сейчас...

Фомич встал и пошел вдоль берега. Ботничок он хранил в камышовых зарослях. В том же тайнике у него лежали весла, банки с запасом червей, двукрылые шахи, связанные дедом Филатом, удочки. Фомич взял ботало — железную воронку, надетую на конец тонкого шеста, длинное двухлопастное весло и прыгнул в ботник...

Сети ставил Фомич с ботника — всю Луку перегородил. Потом долго ботал — пугал рыбу то с одной стороны сетей, то с другой. Полковник с высокого берега давал указания:

— Бултыхни-ка вон у того куста! Во-во... А теперь от камышей зайди! Там что-то бухало... Щука, наверно.

Фомич вскидывал шест кверху жестяным раструбом и с маху бил, погружая его в воду.

«У-у-угг! У-у-угг!» — утробно разносилось по озеру.

— Хорошо! Вот как их! — отзывался с берега полковник.— А теперь вон из той заводи... Лупи их по мокрому месту!

Мотяков с Робертом Ивановичем растянули бредень, но после одного заброда махнули рукой. Берега были приглубые, и в трех метрах с головкой было, а там, где мелко, травы много: сусак да водяная зараза... Ноги не

протащишь, не то что бредня. Бросив свой бредень, они, голые по пояс, сидели теперь на берегу и смотрели, как Фомич поднимал в ботничок сети.

Попались две небольшие, по локоть, щуки, судачок на кило и крупный, как хлебная лопата, лещ.

— А этот лежебока как сюда втюрился? — говорил Фомич, выпутывая из сетей леща.— Спросонья, должно быть, метнулся. Испугался! Так-то по трусости и в котел угодил, дурья башка.

Уха получилась отменная — духовитая, мутновато-белая, как раз «рыбацкого колеру», как сказал Фомич. Он кинул в нее три крупных луковицы да дикого укропцу покрошил.

Рыбу вынул, положил на дощечку и посолил щедро крупной, как стеклянные бусы, солью. Полковник протянул было ему пачку мелкой белой соли. Но Фомич отставил ее:

— Этой солью только кисель солить или кашу манную.

Свою крупную соль достал он из загашника — в мешочке хранилась, а потом еще в круглой старинной баночке из-под ландрина.

— Соль для рыбы — что перец для мяса,— сказал Фомич наставительно.— А без них что мясо, что рыба — трава травой.

— И откуда вам такую соль привозят? Как стекло давленое,— сказал Роберт Иванович.

— А мы сами ее давим. Из коровьего лизунца.

— Из чего?

— Лизунец коровий... Соль такая, камнями. Ее возле фермы бросают коровам для лизания. И в магазине такую же, камнями, продают.

— И вы едите такую соль? — Роберт Иванович покачал головой.

Полковник задел деревянной ложкой дымящуюся уху и, причмокивая, медленно спил.

— Ну, Федор, «Националь» перед тобой — что осел перед донским скакуном...

— Само собой,— охотно подтвердил Фомич, хотя и не понял, что такое «Националь».

— Этой ухой и маршала не грех потчевать,— восторгался полковник.— Роберт, ну-ка вынь-ка две баночки!

«А зачем тут баночки? — подумал Фомич.— Что в них

может быть хорошего? Теперь бы водочки с литровку — коленкор другой».

Роберт Иванович полез в рюкзак (Фомич искоса поглядывал за ним).

Фомичу хотелось еще чем-нибудь порадовать полковника, он сказал:

— Чайку захочется после рыбки. Я вам сейчас такой колер заварю, что писать можно.

Он срезал в кустах несколько стеблей у самого корня шиповника, нарвал цвета ежевики да наломал веток черной смородины с зелеными ягодами и все это положил в ведро, зачерпнул воды из озера и повесил чай варить.

— А не отравишь своим зельем-то? — спросил полковник.

— Помрешь — ни один профессор не определит отчего. Вот заварю — за ухо не оттащишь... Пока мы с рыбой покончим, и чай подойдет.

Расстелили плащ-палатку под развесистым, как шатер, дубом; в центре поставили дымящийся котел ухи, рыбу на доске и коньяк... Фомич как чай отхлебывал — и приговаривал:

— Лекарственная штука... Теперь бы по вечерам его принимать от простуды. И тогда лет до ста прожить можно.

Роберт Иванович сидел, прислонясь спиной к дубу, все смотрел с крутояра на тот берег и восклицал:

— Ну что за прелесть! Что за виды! Весь мир, кажется, объездил, а такой вот милой, скромной красоты не видывал.

Смотреть отсюда, с высокого берега, и впрямь было приятно: далеко, у горизонта, куда хватал глаз, синели в этот вечерний час мягкие округлые липовые рощицы, а сразу за озером одинокие темные дубки забрели по колено в пестрое от цветов разнотравье и застыли в раздумье, будто дорогу потеряли и теперь не знают, как выйти к лесу. Застыли, смирились со своим одиночеством. Целый день куда-то рвавшиеся за ветром, буйствовавшие травы тоже затихли. И камыши, уставшие склоняться день-деньской, над водой шуметь, тоже выпрямились, стали выше, отраженные в спокойной прозрачной воде. Все в этот час в природе было согласным, покорным и, знать, оттого трогательно-грустным. Ни ветерка, ни дуновения. И даже птицы, казалось, понимали, что

громко кричать неприлично; где-то на том берегу торопливо лопотал свое «спать пора!» перепел, да из ближних кустов тоненько позванивала овсяночка: «Вези сено да не тряси-и-и! Вези сено да не тряси-и-и...»

Фомичу от этой тихой красоты стало хорошо и грустно, и он сказал со вздохом:

— И зачем живет человек на свете, спрашивается? Красотой полюбоваться... Добро в себе найти и другим добро сделать... На радость чтобы. А мы рычим друг на друга, как звери. Тьфу! — Он достал свой кисет, но поглядывал на коробку «Казбека», лежавшую возле полковника.

— Не красотой любоваться, а работать надо. Враз и навсегда! — сказал Мотяков.

— А ты чего же не работаешь? — Фомич свернул было цигарку, но потом сунул ее в кисет и потянулся за папиросами.

— Пожалуйста, пожалуйста! — подал коробку полковник.

— Это не твоего ума дело,— ответил Мотяков.

— То-то оно и есть... Вам, Михал Николав, не приходилось видеть, как курушка над утятами командывает? — обернулся Фомич к полковнику.

— Вроде бы у нас в Прудках раньше сами утки сидели на яйцах,— ответил полковник.

— То раньше! А теперь и утки пошли привередливыми. Яйца нанесет, а садиться не хочет. Вот вместо нее курушку и сажают. Та поглупее! — Живой затянулся, пустил дым кольцами, что твой пароход.— Так вот, выведет эта курушка цыплят на выгон и квохчет перед ними, хорохорится, хвост распускает. Все приказывает на своем курином языке — делай то, а не это. Но вот дойдут вместе до озера, утята — в воду и поплыли. А курушка на берегу квохчет. Оказывается, плавать-то она и не умеет. А все командовала — делай то, а не это. Так вот и у нас начальники иные. Сидит на посту, распоряжается — делай так-то и эдак. Командует! А снимут — куда посылать? Он, оказывается, работать-то не умеет.

— Ты на кого это намекаешь? — спросил, багровея, Мотяков.

— Да будет тебе, Семен! Шутки надо понимать,— сказал полковник.

Фомич и ухом не повел.

— Кому надо, тот поймет. А для того, кто не понял, я

еще один анекдот расскажу. Это по вашей части, Роберт Иванович.

Тот курил, заслонясь ладонью, и беззвучно смеялся.

— Ты мне ответишь за свои антисоветские анекдоты враз и навсегда! — перебил его Мотяков.

— Это не антисоветские, а против разжалованных вроде тебя,— сказал Фомич.

— Ты что, в озере купаться захотел? — привстал Мотяков.

— Я те не утенок... Смотри, сам не окажись там вроде той курушки, которой охолонуть надо! — Фомич тоже привстал на колено.

— Ну ладно, ладно! — Полковник взял их за плечи.— Здесь пьют, шутят... А кто хочет счеты сводить, мы наградим того штафной.

— А не боишься? — спросил Фомича полковник.— Вдруг Мотяков опять вашим начальником станет?

— Его песенка спета,— сказал Фомич и, помолчав, добавил: — А мне терять нечего, окромя своих мозолистых рук.

— Как нечего? А пристань? Должность!

— Я от этой должности нонешней зимой на одной картошке выехал. Кабы не картошка, ноги протянул бы. При этой должности, Михал Николав, хороший корень в земле надо иметь. А у меня все, что на мне, то и при мне. Яко наг, яко благ, яко нет ничего.

— Тогда иди в колхоз... Пускай корни в землю.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Это что еще за грехи?

— Смолоду нагрешил. Одного на сторону свалил, а пятеро при мне.

— Ну, это ты брось... Главное, нос не вешать.— Полковник поднял розовый колпачок коньяка: — За непотопляемый прудковский броненосец и его славного шкипера Федора Фомича Кузькина!..

18

Однажды хмурым июньским днем к прудковской пристани причалил катер. Забрав пассажиров, капитан сказал Фомичу:

— Вот тебе буксирный трос. Зачаливай свою пристань и руби концы... Приказано доставить твой сундук на участок.

— Это как понимать? — растерянно спросил Фомич.

— Как хочешь, так и понимай.— Капитан был стар и неразговорчив.

— По причине ремонта или как? — допытывался Фомич.— Может, ликвидация?

— В конторе скажут.

Весь путь до Раскидухи Живой метался по своей пристани, как заяц по островку, отрезанный половодьем. В голову лезли всякие тревожные мысли насчет ликвидации, но он гнал их, цеплялся за ремонт... «Да что я, в самом деле, ремонта испугался? Ну, постою недельки две на участке, проконопачусь... Только и делов. А может, и новый дебаркадер дадут? Теперь техника вон как в гору пошла. У меня ж не дебаркадер — и впрямь сундук старый. Одной воды из него выливаешь ведер сто за день. Я что, насос-камерон?»

Вспомнил Живой, как еще прошлой осенью писал в контору заявление, чтобы починили дебаркадер либо матроса еще назначили, «потому как одному отбоя от воды нет, а семью свою держать на откачке задаром не имеем полного права...». Садок Парфентьевич ответил коротко: «Просмолим». Но не прошло и месяца с весны, как дебаркадер снова потек.

«Поди, совесть сказалась у них. Комиссия осмотрит, а там, глядишь, Дуню проведу к себе матросом. И заживем...»

Напоследок Фомич написал карандашом на тетрадном листе новое заявление насчет ремонта. Может, пригодится?

В контору вошел он вроде бы успокоенный.

— Меня что, в ремонт определили? — спросил он рыжую диспетчершу.

— Заместитель по кадрам все вам объяснит,— ответила она уклончиво.

— Это кто ж такой? Владимир Валерианович?

— Нового прислали. Он в кабинете Садока Парфентьевича.

Из диспетчерской дверь вела в кабинет начальника.

— Ну-ка я спрошу! — Фомич взялся за дверную ручку.

— Погодите! — строго сказала диспетчерша.— Что, не слышите? Он же занят.

Из кабинета доносились голоса. Дверь была тонкая, фанерная. Живой подался ухом к филенке, прислушался.

— Я вам говорю — план выполнять надо, план! Инте-

ресы государства! А вы мне про детей да про варево...— раздраженно произносил вроде бы знакомый голос.

Другой звучал глухо, просительно:

— А семьи наши в чем виноватые?

— Да кто вас просил с собой их брать? Здесь что, производство или детский сад? А! Колхоз?

Знакомый голос, знакомый голос! Живой даже на дверь слегка надавил, но она предательски скрипнула.

— Товарищ Кузькин, ступайте на берег.— Диспетчерша встала и выпроводила Фомича за дверь.— Когда надо — позовем.

Делать нечего. Живой вышел на берег.

Неподалеку от конторского дебаркадера стояли две большие деревянные баржи. Возле барж сидели две бабы в фуфайках да мужик, небритый, седой, в резиновых сапогах и брезентовой куртке. «Видать, матросы с баржи»,— сообразил Фомич.

— Вы чего, как цыгане, расположились? — спросил он, подсаживаясь к мужику и вынимая кисет.

— Да уволили... Без предупреждениев,— ответил матрос, закуривая Фомичовой махорки.

— Как так?

— Да вот так...— Матрос длинно выругался.— Начальник новый появился.

— А Садок Парфентьевич?

— В отпуск ушел. Остался за него заместитель по кадрам. Нового прислали... Такая щетина, что не говорит, не смотрит.

— Вот оно что! — Фомич теперь понял, почему его в кабинет не пустили.— До порядку, видать, охочий. Меня тоже вот с места сорвал. Пристань моя чем-то не понравилась. Во-он она стоит! — Фомич кивнул на свой дебаркадер, причаленный к берегу.— Из Прудков сняли.

— Ликвидируют?

— Ну, этот номер у них не пройдет. Мы тоже законы знаем.— Фомич сплюнул в воду.— А вы откуда?

— Из-под Елатьмы.

— Дальние!

— Не говори. Мы дрова на барках возили. А тут на Петлявке камень где-то не успели вывезти. План, что ли, не выполняют. Он и задержал наши баржи. «Выгружайся!» — «Как так?» — «А вот так. За камнем пойдут ваши баржи».— «А мы?» — «Неделю посидите на берегу. Ничего с вами не случится». Вот и сидим. И домой ехать — за

сто верст киселя хлебать. И тут несладко. Ребятишки...

— Да, этот храбрец, видать, из выдвиженцев,— сказал Фомич.— Я к нему было сунулся — и на порог не пустил. Через дверь поговорили... В нашем районе был один такой. Сапог сапогом, а войдешь к нему в кабинет — и не глядит. Сам, паразит, сидит, а тебя стоять заставляет. А все почему? Потому как академию под порогом кончал. Вот и этот заместитель по кадрам, видать, такой же академик...

Матрос толкнул Фомича локтем в бок. Фомич обернулся и застыл. Перед ним стоял в синем кителе, в фуражке с крабом Мотяков. По тому, что был он в сопровождении Владимира Валериановича и дюжего парня в резиновых сапогах и в фуфайке,— видать, второго матроса с баржи,— Живой сразу догадался, что новый заместитель по кадрам и есть не кто иной, как сам Мотяков.

Он не крикнул на Фомича, не обругал его — только повел ноздрями, как бы принюхиваясь, и ушел, так ничего не сказав.

— Ну, теперь он сядет на тебя верхом,— сказал матрос в брезентовой куртке.

Фомич только плюнул и кинул окурок в Прокошу...

С тяжелым сердцем шел он теперь в контору. Мотяков на этот раз не заставил его ждать за дверями. Он кивнул Фомичу на стул у стены, сам прошелся несколько раз по кабинету, знакомо заложив руки в карманы. Наконец сел за стол и еще долго смотрел на Живого, будто впервые видел его.

— Я хочу, чтобы вы нас правильно поняли, товарищ Кузькин,— сказал он, миролюбиво и очень даже любезно глядя на Фомича.— В Прудки ваш дебаркадер не пойдет.

— А куда же он пойдет? — У Живого в момент взмокла вся спина.

— На Петлявку, в Высокое. Будет стоять там под общежитие грузчиков. Отправляйтесь завтра же.

— А в Прудки кто пойдет?

— В Прудках пристань сокращаем в целях экономии.

— А пассажиры как же?

— Там пассажиров-то два человека в день. Один убыток.

— Вон вы как рассуждаете! А ежели на Север двух человек посылают? Им и самолеты дают, и шиколату с мармеладом на цельный год. А наши чем хуже их?

— Ты мне политграмоту не читай, враз и навсегда... У нас план — сократить две пристани. Экономия. Понял?

— На двух шкиперах много не сэкономишь.

— По нашему участку — да. А по всей стране? Сколько таких участков? Может, сто тысяч? Вот и подсчитай.

— Насчет остальных я не знаю. Только мне в Высокое никак нельзя итить. Я весь оклад там проем. А чего семье пошлю?

— Не хотите — увольняйтесь.

Живой вдруг вспомнил про заявление насчет ремонта, вынул из бокового кармана, в бумажнике хранилось.

— Поскольку дебаркадер мой худой, вода натекает за ночь по самые копани, в Высокое мне итить одному никак нельзя. Там семьи у меня нет, которая помогала бы отливать воду. Либо матроса мне назначайте, либо жену мою матросом проводите. Прошу не отказать в просьбе.— Живой положил заявление на стол перед Мотяковым.

Тот прочел и пронзительно уставился на Живого:

— Ты с кем это думал, один?

— Один.

— Вот и поезжай один в Высокое. И не дури.

— Не могу... Дебаркадер течет. По самые копани вода. Идите посмотрите.

— Ты ее нарочно напустил.

— Я вас не понимаю. Как так нарочно? Поясните! Вы человек при должности.

— Я знаю. Я все знаю, враз и навсегда! — Мотяков погрозил пальцем.— Выводишь на берег и заливаешь воду.

— Это как же? Через борт ведрами? — Живой иронически глядел на Мотякова.

Тот понял, что хватил через край, но продолжал напирать:

— А по-всякому... Ты мастер отлынивать от работы. Я тебя знаю.

— Ага! — Живой мотнул головой.— Есть такая притча о гулящей свекрови и честной снохе. Свекровь подгуливала в молодости и не верила снохе, что та мужу верность соблюдает. И сына учила: ты побей ее, может, откроется. Так и вы.

— Поговори у меня! — Мотяков не так сильно, как бывало в рике, но все же ладонью прихлопнул по столу.— Захочешь работать, сам качать будешь.

— Я вам что, камерон? У меня на руке вон только два пальца. Я инвалид войны. Давайте мне матроса!

— Да пойми, голова два уха! Сокращение у нас. Либо иди в Высокое, либо увольняйся, враз и навсегда.

Вышел Фомич от Мотякова как во хмелю, аж в сторону шибало. Зашел в ларек.

— Валя, дай-ка мне поллитру перцовочки.

— Ты чего нос повесил, дядя Федя?

— Небось повесишь...— Фомич только рукой махнул.— Вся жизнь моя к закату пошла...

Возле ларька встретил его небритый матрос в брезентовой куртке.

— Ну, что он тебе сказал?

— В Высокое посылает. А мне жить на два дома никак нельзя. Всего четыреста восемьдесят пять рублей. Чего их делить? Ну и беда свалилась...— Фомич сокрушенно качал головой.

— Да брось ты, чудак-человек! Руки-ноги имеешь, и голова на плечах! Проживешь! Ноне не прежние времена. Пошли к нам! У нас ужин варится. Как раз и выпьем.

На берегу Прокоши на месте бывших куч тряпья стоял брезентовый балаган. Перед ним вовсю горел костер. Дым, сбиваемый ветром, сваливал под крутой берег и медленно расползался над рекой. На треноге кипел, бушевал котел с варевом. Бабы расстилали перед балаганом мешки, клали на них хлеб, чашки, ложки. Босоногие ребятишки с визгом носились вокруг костра.

— Тише вы, оглашенные! Смотрите, в огонь не свалитесь... Тогда и жрать не получите! — шумели на них бабы.

Второй матрос, тот, что был у Мотякова, теперь в одной рубахе с закатанными рукавами, босой, красный от огня, помешивал в котле, поминутно черпал деревянной ложкой, сильно дул в нее и громко схлебывал горячее варево.

— Бог на помочь! — сказал Живой, подходя.

— Ужинать с нами,— отозвались бабы.

— Кулеш с пылу с жару... Выставляй бутылок пару! — сказал матрос от костра, косясь на отдутый карман Живого.

— Сдваивай! — Живой поставил на мешковину перцовку.

— Дельно! Маня, принеси бутылочку! — сказал матрос от костра.

Давеча, издаля, он показался Фомичу совсем молодым. Теперь кепки на нем не было — во всю его голову раздалась широкая лысина, по которой жиденько кудрявился рыжеватый пушок. Он снял котел с дымящимся кулешом и крикнул:

— Навались, пока видно, чтоб другим было завидно!

Разлили кулеш — мужикам в одну чашку, бабам и ребятишкам — в другую. Появилась еще бутылка, заткнутая тряпичным кляпом. Самогонку цедили сквозь губы, морщились, крякали. Она была хороша.

— Неужто сами производите? — спросил Фомич.

— А чего ж мудреного,— сказал небритый.

— Аппарат нужен.

— Мой аппарат — вон блюдце да тарелка. Только сахару подкладывай,— хитро подмигнул небритый.

— С таким аппаратом вам ветер в спину. И дождь не страшен,— улыбнулся Живой.— Мой табачок по такому же рецепту сработан. Ну-кася!

Он вынул кисет и пустил его по кругу. Закурили.

— Дождь теперь в самый раз под траву,— сказал, помолчав, старик.

— Да, сена́ ноне будут добрые,— подтвердил лысый.

— Все равно половина лугов пропадет. Выкашивать не успевают,— сказал Фомич.

— Нет, у нас в прошлом годе все выскоблили. Косили и старики, и бабы — третью часть накошенного сена колхозникам давали.

— У нас до этого не дошло. Все жмутся... Эх, хозяева! — вздохнул Фомич.

— Нужда заставит — дойдут,— сказал лысый.

— Дак по нужде-то давно уж пора дойтить.

— Те, которые с головой, ноне от нужды уходят,— сказал старик.— Наши вон исхитрились лук на гародах ро́стить. Государству сдаст — и то по два рубля семьдесят копеек за кило. Вот и деньги!

— Теперь еще и ссуды под корову дают. А в ином колхозе и телку бери,— подхватил лысый.

— Да, это я слыхал... В Брехове у нас дают. Там председатель сильный. Петя Долгий, мой друг-приятель,— соврал Живой.— Он все зовет меня. А вы, случаем, не думаете в колхоз вернуться?

— У нас не горит,— ответил старик.— Обождем малость, посмотрим, что выйдет. Осенью, правда, приезжа-

ем домой на помощь. Картошку копаем в колхозе исполу. На зиму запасаем и себе, и свиньям.

— Это хорошо! А сенца раздобыть — и корову завести можно. Ежели ссуду дают под корову, почему б и не взять? — спрашивал, оживляясь, Фомич.— Я ведь мастак по коровам был. Очень даже умею выбрать корову. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть ветвится. Ежели развилок начинается на холке, меж молок ходит до четырех недель... Добрая корова! Потом колодец пощупать... меж утробы и грудей. Большой палец по сгиб погрузнет — пуд молока в день даст... А что? Вот возьму и подамся к Пете Долгому. Чем в Высокое за полста верст, лучше в Брехово. Побегаю сначала с работы в Прудки. Это ничего. Мне не впервой. Я на ходу легкий. Зато корову получу...

Фомич жадно затягивается табаком, улыбается. Он думает о том, как ловко проведет Мотякова; как придет в контору и выкинет ему кукиш: «Ты меня в Высокое хотел загнать... На-кась, выкуси!..» Голова его кружится от хмеля. Ему и в самом деле хорошо и весело.

— По нонешним временам везде жить можно,— сказал старик.

— Это верно,— соглашается Фомич.— Теперь жить можно.

* * *

Записал я эту историю в деревне Прудки со слов самого Федора Фомича Кузькина в 1956 году. Записал да отложил в сторону.

Как-то, перебирая свои старые бумаги, наткнулся я на эту тетрадь. История мне показалась занятной. Я съездил в Прудки, дал прочесть ее Федору Фомичу, и поныне здравствующему, чтоб он исправил, если что не так.

— В точности получилось,— сказал Федор Фомич.— Только конец неинтересный. Хочешь расскажу, что дальше? Дальше полегше пошло...

Попытался было я продолжить рассказ, да не заладилось. А потом догадался: тут уж новые времена начинаются, новая история. А та — кончилась.

— Точно так,— подтвердил Федор Фомич.— Да ты не горюй. Напишешь еще. Моей жизни на целый роман хватит...

1964—1965

ИСТОРИЯ СЕЛА БРЁХОВА, ПИСАННАЯ ПЕТРОМ АФАНАСИЕВИЧЕМ БУЛКИНЫМ

На лествице, по которой разум человеческий нисходить долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.

А. Радищев

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Однажды Петр Афанасиевич Булкин, с которым я был хорошо знаком, попросил меня отвезти его рукопись в какой-нибудь толстый журнал. Выбор пал на Ивана Боборыкина, редактора популярного журнала «Красное семя».

— Кем он доводится тому Боборыкину, который написал про Китай-город? — спросил Петр Афанасиевич.

— Кажется, внуком,— ответил я.

— Тогда ему отдайте. Эти не подведут — наши люди. Хорошей фамилии.

Однако знаменитый критик наш огорчил Петра Афанасиевича. Он написал ему:

«Дорогой тов. Булкин! Вам еще рано браться за перо: Вы человек необразованный. Рекомендую поступить в народный университет, активно посещать лекции по литературе и искусству. Во-первых, Вы пишете только о том, что прошло, а нам нужно про сегодняшний день. Во-вторых, у Вас нет ни сюжета, ни характеров, ни языка. И по мысли путано, народ не примет такую книгу и не поймет. Вот Вы, например, пишете — «гепат». А ведь

такого слова нет в природе. Есть слово «гомеопат». И т. д. и т. п.

На что Петр Афанасиевич ответил ему длинным письмом, в котором не трудно заметить и ум, и находчивость, и литературную осведомленность. Вот отрывок из этого письма:

«Многоуважаемый тов. Бобофыкин!

Не стану спорить насчет образования, а также насчет того, нужно Ваше образование писателю или нет. Я, например, видел писателей (в Брёхово к нам приезжали), которые говорят «етта» и «булхактер», а нужно говорить «это» и «булгахтер». Ну и что? А пишут они, между прочим, не хуже Вашего. И Вы их сами печатаете. Или Вы упрекаете меня насчет отсутствия сюжета? А знаете ли Вы такого знаменитого современного писателя Владилена Золотушкина? Между прочим, он занимательно доказал, что его фамилия происходит не от золотухи — детской болезни, а от золотых приисков, которые хотели открыть в их деревне на речке Пискаревке, потому что нашли золотой самородок в помете гуся. Правда, когда капнули в городе на этот самородок кислотой, он зашипел и оказался стертой медной бляшкой. А ведь про это книга написана, да еще какая. Вы ее читали? У нее есть сюжет? Нет. И не нужен. Золотушкин доказал, что сюжет — пережиток прошлого.

А таперика возьмем слово «гепат». Вы пишете, якобы правильно будет «гомеопат». Может, у Вас так и говорят. Не спорю. Но давайте посмотрим, от чего произошло это слово? Ясно же, от аптеки, из которой гепат выписывает свои лекарства. А из какой аптеки он выписывает? Только из гепатической. То есть из той, которая стоит у Вас, в Москве, на Колхозной площади. Неужели Вы не слыхали? Мы в Брёхове и то знаем про эту аптеку. Даже мой брат Леванид туда ездил за лекарством. Вот таперика и объясните мне — что такое грамотность и как ее следует понимать.

Очень странный вопрос Вы мне задали и насчет того, про какой день писать: про вчерашний или про сегодняшний? Интересно, как же я мог написать про сегодняшний день, когда он еще не прошел? Во-первых, надо подождать, пока он пройдет, и посмотреть — что из этого получится. Во-вторых, надо еще написать... А на это потратишь не один только день и, может, не один год...

Даже Владилен Золотушкин не успевает написать про сегодняшний день. Недаром читают его и говорят: «А-а! Это уже было...»

Увы, дорогой читатель! Этот интересный спор так и не окончился: Петра Афанасиевича не стало. Прошлой зимой поехали они вместе с братом за сеном в луга. Дорога дальняя... Наняли шофера-левака из соседней ЛМС, взяли водки и поехали на ночь глядя. На беду разыгрался ветер, перемело дорогу... Они и застряли, до лугов не добравшись. Куда идти в такую пору?! Выпили водки и уснули. Петр Афанасиевич прямо в кузове, а шофер с Леонидом в кабине. Утром нашли их... те, что в кабине, обморозили руки да ноги, а Петр Афанасиевич замерз до смерти. Вот и пришлось мне брать на себя все хлопоты по изданию его рукописи. Я ее почти не тронул, только добавил кое-где знаков препинания. При всем моем уважении к Ивану Боборыкину, я не могу согласиться с его приговором: «Эту книгу народ не примет и не поймет». Примет ли, нет ли—не знаю. Но что поймет—уж в этом я уверен.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Вчера мы ходили с председателем колхоза Звонаревым Петром Ермолаевичем, прозванным в селе Петей Долгим, в новую школу. Такая она большая, столько в ней всяких перегородок—заблудиться можно. Входим в одну комнату—на каждом столе лампочка под цветным колпаком, как гриб торчит. Полы серым матерьялом покрыты, под названием линолим. Идешь по нему—а каблуки шлеп-шлеп, как по воде, только брызг нету. А вдоль стен все книжные шкафы стоят.

— Что ж это за комната такая?—спрашиваю.

— Это читальный зал,—отвечает Петя Долгий.

«Эх, брат родной! Таперика,—думаю,—и помирать здесь буду». Люблю я книжки читать. В одной книжке про одно написано, в другой—про другое. И все-то они разные. Хорошая книжка всегда писана с секретом, как ларец потайной. Чтобы открыть секрет, голову на плечах иметь надо, а не вареную тыкву. Оглядываю это я книжные шкафы и говорю Петру Ермолаевичу:

— Веришь или нет, но моя жена Маруська ни одной книжки не прочла.

— А какое у нее образование? — спрашивает он.

— Да никакого. Ни бум-бум.

— Как же она станет читать, если неграмотная? Она не может,— сказал Петя Долгий.

А я отвечаю:

— Не то беда, что не может, а то, что не вникает. Я многое чего не мог, да вник. И никто меня не учил. А таперика вот и книги читаю, и сочинять умею.

У меня даже стихотворение в районной газете напечатали про Седьмое ноября:

С деревьев листья падают,
И дождь, как из ведра.
Но нас погода радует —
Мы вышли изутра́.

Я человек заслуженный — персональный пенсионер. Мне платят шестьдесят рублей областной пенсии. И по случаю праздника Петя Долгий пригласил меня выступить перед школьниками — как мы раньше жили и как сейчас живем.

— Товарищи пионеры! — сказал я.— Строй раньше был угнетенный... В школу не ходили, уровень свой не повышали. Я сам только две зимы учился. Да как учился? Снег поглубже выпадет — дома сижу. Валенок не было — одни опорки. А в опорках куда итить по глубокому снегу? Но сейчас, товарищи пионеры, чего не жить? Мы живем лучше, чем при коммунизме. Лечат бесплатно и учат вас бесплатно. И все равно общество не должно стоять на месте. Оно движется вперед, как земля вертится. Но я вам, товарищи пионеры, не то хотел сказать. Надо слушаться мать с отцом. Не то вы совсем разучитесь, как моя Валька. Только бы она пудрилась да наводилась...

Речь моя всем очень понравилась, а Петя Долгий сказал:

— Может быть, ты, Петр Афанасиевич, станешь в школе работать?

— Кем работать?

— Да вроде завхозом... Ночью охранять здание, а днем за порядком следить — звонки вовремя давать. Мы тебе от колхоза положим зарплату — пятьдесят рублей в месяц.

— И за лошадью мне смотреть?

— Для этого у нас конюх имеется. А ваша солидность нужна здесь для порядка.

А что ж, думаю, для порядка надо постараться. И деньги хорошие. К моей пенсии да еще пятьдесят рублей — жить можно. Отчего ж не пойти? Все равно я по ночам не сплю, как сыч корабишинский. (Корабишино — это у нас лесное село, я про него потом напишу.)

И согласился. Достал из сундука белый китель из чесучи, который носил, когда еще председателем колхоза был, брюки диагоналевые, темно-синие галифе, сапожки опойковые... Шляпу свою соломенную достал. Встал, как на вахту. И не то что ученики, учителя замирали передо мной. А завроно, старушка Сёмкина, сослепу за военрука меня приняла.

— А вы,— говорит,— товарищ подполковник, почему не на уроке?

— А я на часах,— отвечаю.

Поднес к ее уху звонок да как ахну. Она и присела...

Я этот разговор к чему веду? А к тому, что с той работы все и началось. Днем между звонками подремлю малость, а ночь подойдет — не могу заснуть, и шабаш! Хоть глаза выколи. Дома от нечего делать с Маруськой поругаешься. А здесь тишина... Ну, прямо вши от скуки дохнут. И книжки-то из рук вываливаются, потому что мысли одолевают. «А что,— думаю,— дай-ка я про наше село Брёхово книжку напишу. Ведь другие пишут. А я чем хуже?» Был со мной на охоте один писатель. Разговорились — а он не знает, что такое дерево, которым сено в возах утягивают. Я ему:

— Как же это вы пишете книжки про деревню, а сами не знаете, что такое дерево?

— Ну,— говорит,— деревья бывают разные: и дуб, и ясень, и осина... Всех не упомнишь.

— То дерево на корню,— отвечаю,— а это в деле. Разница! Без этого дерева сена не привезешь. Оно у каждого народа по-своему называется. У нас одно дерево, а вон татары называют его бастрык. Татарин и то знает, а вы не знаете. А еще книжки про мужиков пишете.

Может быть, я чего и не учту по художественному уровню, пусть уж критики на меня не обижаются. Но зато я не перепутаю дерева на корню с деревом в деле. А историй про село Брёхово я знаю много. Начну-ка я их записывать. Как ночь, так история. Ну, точен в точен как в книжке про тысячу и одну сказку. Только я сам себе и царевна и персидский шах.

ПОЧЕМУ НАШЕ СЕЛО НАЗЫВАЕТСЯ БРЁХОВО?

История для села — это одно и то же, что автобиография для человека. Как человеку нужна автобиография для службы, так и селу для колхозного строительства, для районных справок, донесений, так и далее нужна история. Но сказать по правде, настоящая история села Брёхова началась только при советской власти. А до революции какая была история? Одни пьянки по религиозным праздникам, да по будничным дням работа. И потом другое надо учесть — ни сельсовета, ни колхоза не было. Какая же могла быть общая история у села? Никакой общей истории быть не могло, потому что село было разбито на единоличные хозяйства. А если писать про отдельные хозяйства, то получится несколько отдельных историй, ну вроде рассказок. И больше ничего — никакой политики. А настоящая история всегда с политикой связана. Это надо уяснить каждому со школьной скамьи.

Таперика надо написать — почему наше село называется Брёхово? Если вы бывали в наших местах, то заметили, наверное, хоть из Прудков, хоть из Корабишина, хоть из Самодуровки брёховский бугор. Старики рассказывают, что раньше, может, лет двести, а может, и триста тому назад съезжались сюда баре на охоту. На самом угоре стояла псарня помещика Брюхатова и псари его жили. Вот от этих псарей и пошло наше село. А Филипп Самоченков рассказывал мне, якобы в жены им привозили дворовых девок из Самодуровки; которую, значит, обрюхатит барин или кто из его помощников, присылают в Брёхово. Но наперед заставят ее липу посадить, а потом уж за псаря замуж выдают. Так и выросла под Брёховом целая липовая роща. И название она имеет — Приблудная.

Село наше большое, торговое. Раньше к нам на базар приезжали из райцентра Тиханова и даже из города Пугасова. И все улицы нашего села по-базарному назывались: Сенная, Конная, Горшечная, так и далее. А в годы нэпа было два трактира, три чайных, две булочных, одна колбасная да двенадцать лавок. Все это исходило от нашего бескультурья. Таперика от этого наследия прошлого не осталось и следа. Есть у нас клуб, магазин, школа-десятилетка. А все улицы называются по-современному: Пролетарская, Максима Горького, имени

Луначарского,— последняя сокращенно называется «Имначас». Но это для неофициальных разговоров.

Есть у нас еще пережиток от старого прошлого — село с селом ругается. Например, корабишинских мы зовем талагаями, а они нас — каменными сдобами. Ругательское слово «талагай» ничего не означает по-русски. Узнал я от заезжего писателя (который не мог отличить дерево на корню от дерева в деле), якобы талагай — слово латышское, вроде бы по-нашему означает странник, далеко зашедший. Пожалуй, в этом есть правда. Почему? А потому что в Корабишине, по старому говоря, жила литва некрещеная. Будто их какой-то князь в карты проиграл и перевезли их к нам в лес. Доказательством нерусского происхождения служит еще и то, что у корабишинских избы строились без сеней — прямо к избе шел впритык лапас, то есть крыша двора. Они даже квашню с квасом держали на дворе. Еще мы их дразнили за это:

— Акулька, что там булькает?

— Сивый мерин в квашню с... (многоточие означает непечатное слово).

А прудковских, например, прозывали козозвонами. У энтих коза в набат ударила...

Паслась она в церковной ограде. А веревка с пожарного колокола свисала очень низко и привязывалась к березе. Кто увидит пожар — подходи и дергай за веревку, звони — собирай народ. Ну, коза рогом и зацепилась за веревку... Дернула головой — «Дон»! Она в сторону — опять: «Дон!» Она с перепугу метаться,— то туда, то сюда... а на колокольне: «Дон! Дон! Дон!» Набат! Все село и сбежалось на потеху... С тех пор их и прозвали козозвонами. Оно прозвище-то вроде бы и случайное, а причинность все ж таки имеет. Народ прудковский непутевый, пустозвонный...

А почему нас прозвали «каменными сдобами»? Раньше у нас на базаре тихановские торговали черепенниками, а наши, брёховские, пышками да самодельными пряниками. Вот они-то и назывались сдобами.

— Черепенники с пылу, с жару! Ай, черепенники! — кричали тихановские.

А наши, брёховские, им вперебой:

— Сдобы, сдобы! Купи сдобы!..

Какой-то озорник купил одну сдобу, будто зубами ее не раскусил. Зашел он сзади да как шарахнет по спине торговку этой сдобой. Она еле дух перевела:

— Ой! Явол! Кой-то мне по спине каменюгой заехал. Чуть ребро не перешиб.

— Это не каменюгой, а твоей сдобой...

С тех пор и прозвали нас «каменными сдобами».

Но это все приметы старого прошлого. А таперика мы имеем самодеятельный хор и частушки собственного производства. На районном смотре так и объявляют:

— Выступает брёховский хор со своими частушками. Музыка Глуховой, слова Хамова (это наши сочинители).

Колхоз у нас хороший. Петр Ермолаевич Звонарев, последний председатель, авторитетом пользуется,— народный депутат, Герой Социалистического Труда. А первый председатель нашего колхоза Филипп Самоченков работает таперика у меня, то есть конюхом при школе. Я тоже был в свое время председателем, но об этом расскажу потом.

А народ у нас трудовой, артельный. Работает дружно. Но уж коли кто сопрет бочку или, допустим, фару отломает на комбайне из озорства — убей не допытаешься. Корабишинские, те наоборот — один цыпленка украдет на курятнике, а пятеро донесут на него. И, между прочим, воруют у них поболе нашего. А у нас с доносчиками строго поступают,— на сенокосе надевают котел на голову и бьют в него палками, пока тот не оглохнет. Мы, говорят, народ музыкальный. Пусть запомнит нашу музыку. Озорники! Недаром у нас каждый на селе прозвище имеет. А Иван Косой даже стих про это написал. Еще в двадцать девятом году на сходе в бывшем трактире огласил:

— А таперика я вам,— говорит,— проповедь прочту.

И пошел... подряд по всему селу:

— Клеща Дранкин, Пихтиряй Назаркин, Кабан Луговой, Карась Большой, Михаил Тырчек, Тимофей Сверчёк, Алексей Кривой и Андрей Простой... так и далее.

«Простой» — это не фамилия, а прозвище. Так зовут у нас всех дурачков. Кстати, Андрюша Простой, по фамилии Гвоздиков, недавно погиб при следующих обстоятельствах: шел он из Мыса Доброй Надежды (это название одного из наших сел), крепко набрамшись. Там был козырный праздник Ильин день, по-старому Престол. Андрюша знал наперечет, в каком селе какой престольный праздник. И уж обязательно посетит.

Значит, посетил он... напился. Надавали ему кусков: одна сума у него спереди висит, это для кусков пирога,

другая — сзади, та для хлеба. Идет он, бывало, с праздника враскачку,— какая сума перетянет, туда и упадет. Или на спину опрокинется, или носом запашет. Тут же и заснет, прямо на дороге. Шел он, значит, на Ильин день и заснул на дороге.

А в этот самый час, под вечер, ехал Васька Бондарь в Свистуново на тракторе за водкой. У них, в Корабишине, магазин не работал. А был он тоже выпимши. И черт его понес на обочину...

На суде он говорил: по траве вроде бы помягче ехать.

— Едем мы,— говорит,— с Иваном выпимши. Вдруг — стук! Тряхнуло вроде нас... Что такое? Иль на бревно наехали? Посмотрели — а это, оказывается, Андрюша...

Ну и переехали его.

Извиняюсь, я отошел в сторону. Значит, я сказал, что каждый у нас на селе прозвище имеет. И все с умыслом. Дранкиным дали, к примеру, прозвище — «клещи». За жадность и скупердяйство. Мишка Тырчек и Тимошка Сверчёк — эти еще по комсомолии отличились. Моими секретарями были. Бывало, вызовет нас Филипп Самоченков и скажет: «А ну, комса, давай на боевое задание...» Мы и даем.

Да, пишу я эти строки, а сам думаю: приказал бы таперика Самоченков Тырчку да Сверчку. Тырчек целой областью заворачивает, а Сверчёк по торговле большой начальник. За границей бывает и по месяцу там живет и более. Вот тебе и комса! Комса — по-старому значит — комсомольцы. И вот что поразительно — способности к загранице у Тимофея выявились еще в те годы. Все он книжки иностранные читал и песни пел заграничные: «Плыви, моя гондола, озарена луной. Раздайся бар каролы над сонною волной...»

Гондола — это лодка по-итальянски, а «бар каролы» — это по-русски значит — «звон гитары раздавайся». Я думаю: таперика вы и сами догадались — карола это есть гитара.

Между прочим, мое прозвище на селе было Дюдюн.

ПРО САМОГО СЕБЯ

Сел я про самого себя сочинять и задумался... До чего же моя жизнь удивительная! Вот я все над своей Маруськой смеюсь — темнота! А сам-то я каким был?

Таперика я — персональный пенсионер, иногда парторга замещаю. Людей уму-разуму учу, сочиняю. А раньше? Верите или нет — до двадцати лет ни разу в городе не был. Железной дороги не видал. Да что город? Часов настоящих и то не видел. Ну смотрел на ходики в сельсовете. Дак там все просто: время подойдет — выглянет кукушка и прокукует, сколько часов. Только считай. А вот настоящих часов, с римскими цифрами не видел. И читать по ним не умел.

Иным хоть на раскулачивании повезло — и на часы насмотрелись, и кольцы золотые видели. А нам кулаки захудалые попались: псаломщик, да Васютка Мокрая, родственница барина Корнеева, да мельник Галактионов. У псаломщика в избе хоть шаром покати — один самовар отобрали. Пока несли,— у него дудка отвалилась. У Васютки Мокрой отобрали три корзины рюмок разноцветных да тарелок. А часы, говорит, в починку свезла, в Пугасово. У мельника не токмо что часов, порток крепких не было. Скотины полон двор да одиннадцать человек детворы. Они стаканы и те пококали — одни кружки жестяные...

Так и не увидел я часов до самой армии. Из-за этого со мной очень забавная история приключилась. Я вам расскажу ее, а вы сами судите — кем я был и кем стал. Но для соблюдения формы сперва напишу свою автобиографию, то есть кто такие мать и отец.

Зовут меня Петром Афанасиевичем Булкиным. В моей служебной автобиографии записано, что я сын пострадавшего, убитого контрреволюционерами в 1919 году.

Сказать по правде, Булкин Афанасий не отец мне, а отчим. И никакой он не пострадавший. Нанялись они с приятелем гнать скот из Касимова в Пугасово. В дороге бутылью череп сшибли купцу. Взяли деньги, наган. Но их разоблачили и отправили в ссылку на бессрочную каторгу. Мать вышла замуж за другого и против закона прижила с ним меня и брата моего Леванида. Таперика, моего отца взяли на германскую войну, и там он пропал без вести. А после революции возвратился Булкин Афанасий, забрал жену с обоими детьми. Озоровать начал — пил да насильничал. Его и кокнули... Время было неспокойное, поди разберись — кто?

Остались мы одни с матерью,— хата в три окна да лошаденка. Я в работники пошел, пас коней, а брат мой Леванид — баранов.

Писать про эту жизнь неинтересно: материал бедный. Потом вступил в комсомол, стал активность проявлять: неграмотность ликвидировал свою и чужую... И вот, за эту активность, взяли меня в Красную Армию. А председатель Брёховского колхоза Филипп Самоченков выдал мне по такому случаю премию: десять холстин, пять полотенцев с петухами да три разноцветных поневы.

Ну вот, гонят нас в Пугасово, на станцию. А я все думаю: «Что же есть такое железная дорога? Это должно быть жестью все устлано. Едешь по ней, а грязи нет». Пригнали нас на станцию — нет никакой жести. Смотрю я — что-то ползет к нам. Ящики не ящики, и на телегу не похожи. Но на колесах... Останавливается перед нами — двери настежь.

— Погружайся! — кричат.

А это, оказывается, товарняк. Залезли мы — и опять вроде бы поезда нет никакого. А что-то на избу похоже: полати, скамейки. Мы залезли на полати, расположились... и уснули.

Просыпаемся ночью. Что такое? Перекидывает нас с боку на бок, как на ухабах. Все скрипит, грохочет... Кто-то как заорет:

— Едем! Едем!!!

Мы к окну. Поглядели — дорога узкая, а рядом глубокий ров. И всем боязно стало: а ну-ка да опрокинет?

Но ничего... Доехали благополучно. Куда-то за Киев увезли нас. На киевском вокзале мне еще показали на часы:

— Смотри, Петро, какие часы! Стрелка за штаны заденет — повиснешь.

Я смотрел, смотрел и ничего не понял. Какие-то палки по кругу раскиданы, да две больших стрелки посредине.

Ну, ладно. Приняли меня в кавалерийскую школу. Получил коня... И вот надо же такому случиться — экземой заболел, и место самое неподходящее, в промежности, извиняюсь.

Пришел я в лазарет, а лепком смотрит эдак подозрительно и спрашивает:

— Ты что, за кобылой, что ли, ухаживаешь?

— Нет,— отвечаю,— у меня конь.

— Ко-онь! — передразнил он меня.— Ах ты поросенок паршивый.

Сел за стол, записал чего-то в книгу и говорит мне:

— Тебе, голубчик, в госпиталь надо ехать, в Днепро-

петровск. Приедешь на вокзал, там спросишь трамвай номер четыре. Он тебя довезет прямо до госпиталя. Вот тебе пятачок на трамвай.

Сижу я на политзанятиях и думаю: «Ну, как я поеду? А вдруг меня там посадят, как заразного?..»

Название болезни я не мог никак запомнить. «Ежели меня так далеко отсылают,— думаю,— значит, зараза опасная. У нас в Брёхове однажды застрелили лошадь с сибирской язвой и закопали за селом. А что, ежели у меня такая страшная болезнь?..»

Вдруг приходит в класс посыльный и кричит:

— Булкин!

— Ен самый...

— Надо отвечать — «Я»! В штаб вызывают.

И повел меня впереди, как под конвоем. Что делать? Надо идти. Иду и думаю: «За что?»

Входим в какой-то кирпичный дом. Он открывает дверь и в кабинет меня швырь. Осмотрелся я — нет ни решеток, ни охраны с винтовками. Сидит за столом молоденький красноармеец и спрашивает, эдак улыбаясь:

— Вам чего, товарищ красноармеец?

— Не знаю. Меня привели сюда.

— Как ваша фамилия?

— Булкин.

— А-а! Вот ваши документы. Получайте и езжайте в Днепропетровск.

— А кто охранять меня будет?

— Один поедете.

Ну, значит, не страшно. Зараза невелика.

Дал он мне целую пачку всяких бумажек и говорит:

— Запомните, поезд отходит сегодня, в двенадцать часов ночи. Вот билет.

Я поужинал. Хлеб и сахар завязал в узелок, да в карман. И пошел на вокзал. «Ну, когда,— думаю,— будут они, эти двенадцать часов?»

Пришел на вокзал — стемнелось. Спрашиваю дежурного:

— Сколько времени?

— А вон часы.

Он показал на стенные часы. Смотрю — такие же, как и на киевском вокзале,— круглые, только палочки и стрелки поменьше. Потоптался я возле них, поморгал глазами — и пошел на перрон. Там стоял какой-то поезд.

Думаю, спросить надо — куда идет. Забыл название города, в который мне ехать. Выну командировку, подойду к фонарю, прочту — Днепропетровск. От фонаря отойду — опять позабуду. Ладно, вошел в вагон. Он и поехал... Смотрю я — темно, и ни одного человека. Куда едем?.. Прошел в другой вагон — никого. В третий — пусто. Что такое? Неужели меня одного везут?

Идет вожатая с фонарем, я к ней:

— Гражданочка, скажите, куда я еду?

— А вам куда надо?

— Не знаю.

— Как не знаешь?! — Она посветила мне в лицо и эдак строго: — Билет есть?

— Тут он, в кармане... Да в темноте не видно.

Ну, прочла она и говорит:

— Правильно, в Днепропетровск. Только в Хмельницке пересадка будет. Смотри мимо не прокати.

Доехали до Хмельницка. Слез, спрашиваю:

— Когда поезд на Днепропетровск?

— В девять часов.

Подошел к часам, смотрю и думаю: «Ну, когда они будут, эти девять часов?» Тут, спасибо, муж с женой оказались. Такие вежливые, и все промеж себя: «Ту-ту-ту...» Я их спрашиваю:

— Когда поезд на Днепропетровск?

— В девять часов.

— Это я знаю, но когда?

Они переглянулись и с опаской чуть отступили от меня.

— А вы кто такой? Чей будете?

— Я брёховский.

Они опять переглянулись.

— Куда же вы едете?

— В Днепропетровск.

— Как же вы без продуктов едете?

— Да у меня есть... Вот! — я вынул из кармана узелок с хлебом-сахаром и показал им.

Они засмеялись.

— А сколько времени тебе ехать, ты знаешь?

— Нет.

— Двое суток.

— Ох, беда! — я только головой покачал.

— А деньги есть у тебя? Документы?

— Денег только пятачок. А документы есть.

Я протянул им все свои бумажки. Они прочли и говорят:

— Голова, у тебя же здесь и аттестат продовольственный. На два дня продукты выписаны. Надо было получить.

— Где?

— На складе.

— Ох, беда!

Ну что делать! Дали они мне хлебца да селедочки. Сахарок вынул. Поел я, попил чайку, залез на верхнюю полку в вагоне и двое суток проспал.

Просыпаюсь — смотрю в окно: станция Днепро. Ого, это ж моя остановка! Вскочил я, натянул сапоги и выбежал из вагона. На станции вынул из кармана свое командировочное, читаю: «Днепропетровск». Вроде бы не соответствует. Спрашиваю дежурного в красной фуражке:

— Днепро значит по-русски Днепропетровск, что ли?

— Нет. Днепропетровск на том берегу реки.

Я глядь — а поезд уже тронулся. Я бежать... Еле догнал последний вагон. Прыгнул, да нога сорвалась. Чуть под поезд не угодил.

Ну, ладно. Таперика, приехал я в Днепропетровск вечером. Вокзал высокий да красивый — век такого не видывал. А на часах под цифрами всякие зверюшки бронзовые блестят. Стою, смотрю. Кто-то сзади спросил:

— Чего засмотрелся? Сыграть хочешь?

Оборачиваюсь — парень. Кепчонка на затылке, папироска в зубах. Веселый да приветливый. Ну, прямо как из той песни: «покоритель сердец чернобровый красавец Андрюшка...», в которого влюбилась Катя-пастушка.

— Часы,— говорю,— интересные.

— А ты что, под часами свидание назначил?

— Я приезжий. Мне в госпиталь надо. В восемь часов утра.

— Ну и что?

— Да вот хочу отгадать — под какими зверюшками будут стрелки, когда мне идти надо.

— Ваня, милый! Ты по часам не понимаешь? — засмеялся парень.

Хоть и стыдно мне было, но я все же признался.

— Только я не Ваня, а Петя.

— Это ничего! — он меня хлопнул по плечу.— А когда тебе надо идти?

— В восемь часов утра.

— Ну, я тебе подскажу завтра. Откуда ты?

Я рассказал. Он все восторгался:

— Какая у тебя форма красивая!.. Особенно фуражка... И шинель по фасону. Эх, мне бы поступить в Красную Армию, да не знаю, как это делается.

— Очень просто,— говорю,— подавай заявление, и тебя примут. Ты сын трудового народа?

— Само собой, потомственный пролетарий.

И так мы с ним разговорились... Просто друзьями стали. Лег я спать на скамью — он меня еще шинелью накрыл.

— Спи,— говорит,— когда надо, разбужу.

Проснулся я — светло, утро. Смотрю — дружка моего нигде нет. И ни шинели на мне, ни фуражки. Туда-сюда бегаю, спрашиваю. Нет нигде...

— А сколько времени?

— Семь часов,— ответил дежурный.

Брат родной! Надо в госпиталь. Вышел я на площадь — и четвертый номер трамвая как раз стоит. Ну и хорошо! Вспомнил я, что лепком наказывал: садись, трамвай довезет тебя прямо до госпиталя.

Ехал я ехал в этом трамвае, все жду, когда остановится он окончательно и госпиталь будет. Но он все идет да идет: народ кто сходит, кто входит. А я все сижу да сижу. Смотрю в окошко: эге, опять вокзал! Тут ко мне подходит вагоновожатая и спрашивает:

— Красноармеец, тебе куда надо?

— В госпиталь.

— Так что ж вы мне не сказали? Я бы вас высадила где нужно.

Ну ладно. Нашел я этот госпиталь. Подхожу — ворота, за воротами будка. Смотрю — звонок, кнопочка белая. Ну кто меня учил, где я слыхал до этого, что надо нажимать на кнопку? Таперика я вам сказать не могу. Только тогда я нажал на кнопку. Жму — никто не выходит. Опять нажму... Тишина.

Что такое? Заглянул я за ворота — оказывается, будка пустая и даже разваленная сзади. Брат родной!..

Подхожу к большим дверям. Там опять кнопка от звонка. Нажал я — слышу, бегут сверху. Только гул от ступеней. Появляется дежурный в военной форме:

— Тебе кого?

— Мне в госпиталь.

— Приемный покой с той стороны,— он махнул рукой.

Пошел я на ту сторону. Смотрю — дверь открыта и ступеньки ведут куда-то вниз. Шел я по ним, шел. Открываю еще одну дверь. Что такое? Днем электрический свет горит. Печь огромная топится, жаром от нее так и пышет. А передо мной чумазая харя — только одни зубы видны.

— Тебе чего? — спрашивает.

— Да мне в госпиталь на лечение...

— Ложись вон туда,— кивает он на кучу угля,— я те лопатой вылечу.

— Тьфу ты, напастье!..

Поднялся я наверх из этого ада, сел у порога на корточки и сижу. Думаю: провались ты все пропадом. Дальше никуда не пойду.

Вдруг сестра выходит:

— Вы куда?

Встал, доложил.

— А что у тебя за болезнь?

Я замялся... позабыл опять:

— Какой-то вроде бы назём.

Она засмеялась:

— Эх ты, назём! Давай документы — разберемся.

Полез я в брючный карман, а там ни документов, ни пятачка. Обчистил меня тот друг на вокзале... Пришлось мою часть запрашивать. Мороки было... И все из-за часов получилось.

Тут может возникнуть вопрос: как же так, лепком дал мне пятачок на трамвай, а я вспомнил об нем только в госпитале? Признаюсь чистосердечно — позабыл купить билет.

Вот и судите таперика, кем я был. Между прочим, через два года я как школу окончил, меня наградили именными часами за джигитовку. В тую пору я солнце на турнике крутил. На окружных смотрах меня показывали. Сказано: терпение и труд все перетрут.

ПРО МАНОЛИСА ГЛЕЗОСА

Тут кстати сделать отступ от истории. Вчера у нас было колхозное собрание об оказании поддержки Манолису Глезосу. И что же выяснилось? Некоторые колхозни-

ки далеко еще не понимают разницы между положением международным и чисто внутренним. Так что нам рано почивать на лаврах и ослаблять идейно-воспитательную работу. Потому что трубадуры мирового империализма не дремлют.

Сидим, таперика, мы в клубе, проводим колхозное собрание в поддержку Манолиса Глезоса. Я доклад делаю (парторг товарищ Голованчиков в Москву уехал за паклей — теще дом строит), а Петя Долгий все какие-то бумажки пишет. Хоть он и хорошим председателем числится, а привычки руководящей так и не выработал. Ну сами посудите,— на сцене сидим, стол красным материалом покрыт, а он свиные кормушки считает (это я потом поглядел) — сколько давать сенной муки, куда свиней ставить, куда поросят...

— Товарищи! — говорю я.— Разбойничья политика мирового империализма под руководством Соединенных Штатов, то есть Америки, повсюду дает себя знать. Им мало того, что горят от напалма, иными словами от бомбежек, вьетнамские города и деревни, им мало крови патриота черной Африки Патриса Лумумбы... Таперика они добираются и до Манолиса Глезоса. Таперика им подавай и Грецию...

Ну, шире — дале.

Кончил я доклад, а Петя Долгий оторвался от своих кормушек и спрашивает:

— Вопросы имеются?

— Есть вопрос! — встал плотник Федулеев Макар.— Я вот насчет карнизов и флинтусов. Надо все ж таки разобраться. Будет решение или нет?

Я ему со всей строгостью:

— Товарищ Федулеев, мы тут вопрос решаем, а вы с карнизами и флинтусами...

— Дак что ж, карнизы не нужны, что ли? Без них тоже дом не стоит.

— Это понятно. Но мы сейчас собрались о Манолисе Глезосе поговорить.

— Да вы ж его знаете, а мы нет. Зачем тогда нас пригласили сюда?

— А затем и пригласили, чтобы решить — выступим со всей определенностью в защиту Манолиса Глезоса.

Тогда крикнул кто-то из зала:

— Это мы решили уже в докладе. Теперь давайте насчет карнизов решим!

Я повернулся к председателю вроде бы за поддержкой. А он прикрылся бумажным листком и прыскает в него. Я его решил перед людьми вывести и говорю:

— Смешного тут ничего нет. Слово имеет председатель товарищ Звонарев.

А он убрал листок из-под носа и как ни в чем не бывало сказал:

— Ну что ж, товарищи, давайте решим насчет карнизов. Кто хочет сказать?

Встал тот же Федулеев и пошел:

— Что ж у нас получается? И за карнизы и за флинтуса платят одинаково. Но ты прибей сначала карниз, а потом прибей флинтус. Карниз, он наверху. Во-первых, подставку надо какую ни на есть — или бочку, к примеру, или ящик какой-нибудь. Залезь на него да бороду кверху тяни. А прибьешь — потом ишшо перестановку этой самой бочки сделай. Да со стороны погляди — не косо ли? А теперь возьмем флинтус. На колено припал, стукнул молотком — и вся недолга. Потому как он внизу. Дак разве ж можно все равнять? Так нельзя. Это дело решить надо.

Федулеев сел, а я сказал:

— Хорошо, решим на общем собрании в другой раз.

— Нет, давай сейчас! — закричали из зала.

Тут поднялся Петя Долгий и сказал:

— За карнизы будем платить вдвое больше. Согласны?

— Согласны! — весь зал проголосовал.

Я опять говорю:

— Товарищи, у кого есть слово про Манолиса Глезоса?

— У меня имеется,— встал Якуша Воробьев.— Я, товарищи колхозники, предлагаю поддержать Манолиса Глезоса. Потому как я сам сидел — знаю, каково там. И ежели можно скостить ему срок, давайте попросим. Отчего ж не попросить?

Я что предлагаю — пусть мои два пуда пшеницы, которые я в прошлом году внес на помощь Вьетнаму, перешлют Манолису Глезосу. А то ведь их во Вьетнам так и не отправили. Чего они в колхозной кладовой валяются?

Тут встала Маришка Дранкина, наша кладовщица, и задала ему вопрос:

— Дак ты же их забрал в прошлом году!

— Это когда я их забирал? Когда?

— Вот тебе и раз! А кто их за помол Галактионову отдал? Кто?

— Я их отдавал?

— Но ты же велел отдать Галактионову!

— За помол?

— Да, за помол.

— Да как он помолол? Разве ж это помолол? Изжевал и плюнул. За такой помол с него еще взять надо, а не ему платить...

Все засмеялись. А я постучал о графин карандашом и строго сказал:

— Товарищи, мы должны говорить на политическую тему, насчет соблюдения прав и Конституции. Про закон! Вот об этом кто хочет — пожалуйста...

Встал Иван Дранкин, Маришкин тесть:

— Вы вот что скажите, закон у нас будет или нет?

— Какой закон?

— Известно какой... насчет скотины.

— Ну, при чем тут скотина?

— Как это при чем? Вчера корова Шабыкина зашла ко мне на двор и два центнера картошки съела.

— Не ври! Два центнера не съест — лопнет! — крикнул кто-то из зала.

— Дак в том-то и дело, что слопала. Бока во как разнесло, — Дранкин показал руками. — Прямо бочка.

— А что ты с ней исделал? — крикнул Шабыкин.

— Я взял да и пырнул ее в это самое обжорство... В бок то есть...

— Прошу записать это показание! — крикнул опять Шабыкин.

— А ты погоди! Отвечать за свою корову сам станешь, — обернулся к нему Дранкин, и потом — снова в президиум: — Дак что ж получилось? Шабыкин забрал мою корову и не отдает. Вот я и спрашиваю: закон у нас будет или нет?

Я обернулся к Пете Долгому, а он опять в бумаги прыскает. Молодой, опыта воспитательной работы у него нет. Ведет себя, как в школе, когда ученик чепуху несет. А тут еще встает кладовщица Маришка Дранкина и про свое:

— А с семенами когда решат? У нас они, что рожь, что пшеница, что ячмень, — все заодно числятся.

— Товарищи, это ж вопросы чисто внутреннего про-

тиворечия. А мы решаем в международном плане. Понимать же надо...

И тут, скажу вам, мое замечание так сильно подействовало, что даже все Дранкины замолчали. А я еще добил Маришку:

— Сядь! Не до семян. Давайте сначала с политикой разберемся. Выполним указание районного комитета.

Проголосовали мы. Приняли резолюцию в поддержку Манолиса Глезоса, а я про себя подумал и решил: «Непременно надо съездить до районного комитету и попросить, чтобы у нас прочли лекцию о разнице внутренних противоречий и международных. Или хотя бы мне поручили доклад сделать. Нельзя ослаблять воспитательную работу с массами».

ФИЛИПП САМОЧЕНКОВ — ПЕРВЫЙ БРЁХОВСКИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Описание жителей начну с Филиппа Самоченкова,— во-первых, он живет с краю, во-вторых, он был первым председателем колхоза. И наружность у него занимательная: худой, погибистый, с наклоном вперед, вроде бы кто его в спину толкает. И ходит с наклоном, ногами семенит, словно гонится за кем. Окликнешь его — он ответит, но остановится не сразу, пробежит еще несколько шагов, потом уж свернет к тебе. Будто бы пружина в нем какая работает; заведет ее и мчится прямиком. Оттого он, видать, и худой всю жизнь. А должности занимал хорошие. Другой бы на его месте и живот нажил бы и загривок. Филипп же тощ, как уклейка по весне. Не знаю, на чем и штаны у него держатся. Всей и славы — один нос большой, хоть локтем меряй.

Поскольку Филипп личность историческая, не могу не сказать еще несколько слов про историю. Раньше вся история строилась на классовой борьбе. А таперика нам говорят: нет ни классов, ни врагов народа. Но, во-первых, куда же они все подевались? А во-вторых, если нет ни классов, ни врагов народа, то, значит, нет и борьбы. На чем же тогда строится история? Вот вам вопрос-закорюка. Ведь не станете же вы отрицать историю, товарищи примиренцы.

А между прочим, чего это я за других беспокоюсь. Мне историю есть на чем писать. Борьбы на моем веку было хоть отбавляй.

Начал я вот писать про Филиппа Самоченкова и задумался: почему меня народ любит, а его нет? И знаете что я вам отвечу: Филипп Самоченков имел в руководящей работе азарт, или, как говорят у нас в Брёхове,— зарасть; он все любил доводить до точки, а я всегда запятую ставил — и сам прохлаждался, и другим передохнуть давал. И пил он как бы с остервенением, будто не водку давил, а врага народа. Оттого и вся жизнь у него скособочилась. А мне много пить нельзя. Потому как выражение лица у меня меняется, перед подчиненными неудобно. Хотя при случае, конечно, я могу в этом деле потягаться и с самим Филиппом Самоченковым.

В лесном селе Корабишине начали раскулачивать на год раньше, то есть в одна тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Скорее всего за укрывательство хлеба, излишков то есть, всех бывших кулаков выслали на лесозаготовки. Дак ведь вот какой народ,— они и там за два-три года разбогатели. Их, значит, опролетаризировали, сняли с них запрет. Они и зажили опять по-богатому. Пришлось их вторично искоренять. Осталось от них в двадцать восьмом году много скота. Время было летнее. Куда его девать? Вот и решили создать в Корабишине коммуну, и весь кулацкий скот ей передали. А председателем послали туда Филиппа Самоченкова.

Тут и развернулся наш Филипп. Первым делом, говорит, надо накормить коммунаров. И лозунг выкинул: «Ешь от пуза». Потому как сытый человек команду лучше слушает. И в работе он усерднее. А от голодного одна злоба да грызня. Ну, ладно. Стали есть коммунары вволю и на работу весело пошли — столовую построили, силосную башню. Но на беду Самоченкова от кулаков осталось много ульев. И не успел он толком оглядеться, как мед растащили на медовуху да самогон. И такая пьянь пошла, такое воровство, что просто невозможно. Тащили улья, поросят, овец, свиней и даже до коров дошли. Всю зиму охотился Самоченков на воров. Однажды напал на компанию — сидят ночью на кулацкой заимке, пьют и песни играют. Он было к ним,— один из тех вылетел на коне из заплота да на Филиппа. «Стопчу, паразит!» Филипп и ахнул из ружья. Тот упал. Раненый... Пасечник оказался.

И перекинули Филиппа обратно в Брёхово. Тут и у нас назревали события — кого надо раскулачить, кого высылать. Одним словом, черновая работа по строитель-

ству фундамента нового общества. Самоченков хорошо старался — задание сверху выполнял до конца. Даже псаломщика раскулачил. Отобрали мы у того служителя культа, как я уже писал, самовар без дудки, а у волгарей-отходников — по мешку вяленой воблы и по ведру селедки.

Он же и церковь нашу ликвидировал. Создали колхоз,— хватились свинарник строить — кирпича нет. Тут Самоченков и говорит: «А церковь на что стоит? Давайте ее ликвидируем, а из кирпича свинарник построим». Дак его поп на церковной площади проклял. «Кто,— говорит,— из церкви свинарник сделает, того бог в свинью превратит». Попа самого ликвидировали, а Самоченкова судили за перегиб. Вызвали на суд человек тридцать — все свидетели. Тут и псаломщик был, и волгари-отходники, и Васютка Мокрая... Тот кричит — лошадь отобрали, тот — корову, этот — заем силком навязали. Заклевали Филиппа. Судья спрашивает его:

— С какой целью ты это делал, Филипп Самоченков?

— Гражданин судья,— отвечает Филипп,— хотите верьте, хотите нет, но делал я это без цели. Одно мое усердие, и больше ничего...

Дали ему два года по 109 статье за злоупотребления и еще два года по статье 110 за дискредитацию советской власти и отправили в Святоглебский монастырь, где сидели кулаки. Они его на первой же прогулке до полусмерти избили. Он в милицию: «Что вы делаете? Они же убьют меня до смерти...» И взяли Филиппа конюхом в милицию, а дочь его, глухая Полька, ходила к нему овес воровать. За это воровство его на лесозаготовки отправили. Но в тридцать пятом году товарищ Сталин подписал закон: которые сидят по статьям 109 и 110 — освободить.

Вернулся Филипп, реабилитировали его, а работы руководящей не дают. Он два года на салотопке отработал с Андрюшей Гвоздиковым, с тем самым, который посреди дороги уснул на Ильин день, отчего и был задавлен. И тут на счастье Филиппа в Корабишине выявился заговор — многих врагов народа посадили, в том числе и председателя колхоза. Кого взамен послать? Чистого пролетария в районе не было. Кто из беднейшего слоя крестьян отвечал в тот исторический момент всем требованиям текущей политики? Тот, кто проявил свое усердие по искоренению. Вспомнили опять про Филиппа

Самоченкова. Он в ту пору жил на краю Брёхова в своей двухоконной избенке и, кроме Польки глухой да пестрого кобелька Марсика, так ничего и не нажил. И послали его обратно в Корабишино, председателем колхоза...

Как он там руководил, я не знаю. Только после войны его сняли за полный развал и из партии исключили. Вернулся он в Брёхово, отодрал забитые окна, вселил в свою избенку Польку глухую, а сам подался в касимовские каменоломни, подальше от стыда, и с глаз долой...

Но камень долбить — не в салотопке работать. Надоело ему с непривычки. Зашел в исполком разведать насчет низовой руководящей. «Виноват,— говорит,— во всем виноват я сам».— «В чем?» — «Да в том, что из партии меня исключили, в Корабишине».— «А их решение не утвердили».— «Что ж мне теперь делать?» — «Поезжай в Брёхово заместителем председателя колхоза». Приехал. А председатель взял да помер и оставил весь колхоз опять на Филиппа Самоченкова. Время было такое, что с колхоза все требовалось: и зерно, и лес, и тягло. Только поспевай поставлять. По части поставок Филипп Самоченков даже в передовые вышел. Выйти-то вышел, а удержаться не смог. Резервы иссякли... Тут его опять начали молотить: склоняли, как вредителя сняли, судить хотели...

Прислали меня на его место. Приехал со мной секретарь райкома. Уж он его ругал, ругал — до самого утра: «Ну, что с тобой делать?» — «Ваше слово — закон»,— отвечает Филипп. «Ладно, отдам тебя в райисполком. Устраивайся, как хочешь».— «Нет уж,— отвечает Самоченков,— никуда я больше не пойду. А то меня райисполком в милицию передаст. Однова я уж там побывал...»

Так и остался в Брёхове, конюхом при школе.

Занял я его место председателя и думаю: «Дай-ка посмотрю его дела — уясню, в чем тут собака зарыта». У меня правило такое — если хочешь разобраться в человеке, посмотри его анкету, ибо сказано: анкета — зеркало души нашей. А ежели еще и протоколы от тебя остались, весь твой опыт перейдет в потомство, в историю то есть. Таперика говорят: слово не воробей — вылетит, не поймаешь. А зачем его ловить? Ты его лучше внеси в протокол, да в дело подшей, да в сейф упрячь, и никуда оно не денется.

Стал я читать протоколы Самоченкова, папку заявле-

ний, резолюций его — и все сразу понял: Филипп не хозяйственник, он был руководителем чистой воды. То есть в любом деле он прежде всего держал руководящую линию. Идею! Держался, как говорится, на одном энтузиазме.

К примеру, приведу один протокол заседания колхозного правления.

«Повестка дня:

Выполнение плана уборочной кампании.

По первому вопросу выступили:

тов. Глухов Н. (бригадир первой бригады), который доложил — ход сеноуборки идет очень медленно. Во-первых, колхозники разъехались по домам; во-вторых, сенокосилки поломались. И нет запчастей. Хлеб жнут и не молотят, потому что — сырой.

тов. Свиненков (бригадир второй бригады) сказал — сено сейчас не косим, потому что поломался трактор и запчастей нет. Ржи сжали очень мало, потому как сорная — комбайн забивает.

тов. Дементьев Н. (бригадир третьей бригады): сеноуборка идет очень медленно, потому что плохой выход на работу. Окромя того еще люди не идут в подчинение. Хлеб не молотим — молотилка поломалась и потому что сырой. А на тракторе пальцы посыпались и нет запасных.

Выступили:

тов. Самоченков (председатель). Товарищи, разве колхозники не знают, что мы должны получить хлеб на трудодни? А почему же хлеб не молотим? Это же наш хлеб. Неужели еще не дошло до сознания колхозников, что мы должны добиться культурной и зажиточной жизни? Взять, товарищи, такой вопрос... Есть колхозники, которые не имеют ни одного грамма хлеба и сидят, не работают. Эти люди ничего не понимают и стоят только за свою собственность, а за общественность не борятся. Товарищи, таких людей надо критиковать и лишать их сена и тягла. А ведь я, товарищи, всем бригадирам задание выдал. И что же?

Возьмем бригадира Дементьева,— не жнет, не косит, а лошадь в разъезде — все на пасеке, где заведена агульная пьянка. А Дементьев вместо того, чтобы накосить и заскирдовать, дает дутые сводки, чем самым обманывает общественное животноводство колхоза и в целом госу-

дарство. И хуже того — заскирдованный хлеб не проверяет, может, его весь скоту стравили.

Что же имеется на сегодняшний день? План сеноуборки провалили и по хлебу тоже. А причина провала зависит только от руководителей. Где трудовая дисциплина в бригаде Дементьева? Нет ее. Взять также руководителей Глухова и Свиненкова. Они только подставляют в руководстве правлению ногу и занимаются пьянкой. Я считаю, что правление колхоза сегодня вынесет конкретные решения таким безответственным лицам.

Постановили:

Бригадиров тт. Глухова, Свиненкова и Дементьева предупредить».

Как видим из этого протокола, Филипп не разбирал, почему хлеб сырой или там комбайн поломан? Весь упор он делал на сознательность, на горячее руководящее слово. Хорошо умел говорить Самоченков, ничего не скажешь. Но гибкости у него не хватало. Посудите сами. Вот заявление от Сысоева Петра Семеновича:

«Прошу рассмотреть мое заявление в том, что я по болезни заколол свою корову. Выдайте мне стельную телку за мясо...»

Резолюция Самоченкова: «Просьбу отказать».

«Прошу разобрать мое заявление в том, что мой муж взят в ФЗО, а я осталась ни при чем. Я хочу ехать к нему, и он хочет. Прошу отпустить из колхоза. К сему Сморчкова Клавдия».

«Просьбу отказать».

«У меня есть три несделанных овчины. Прошу исделать их. Хамов».

«Дать взамен две овчины из брака. Самоченков».

«Прошу освободить меня от работы счетоводом ввиду моей малограмотности и моего здоровья, а именно — плохого зрения и внутренней болезни. Н. Сморчков».

«Просьбу отказать. Самоченков».

«Прошу правление колхоза «Восход» разобрать мое заявление, отпустить меня из колхоза, как зашел я добровольно и выхожу добровольно. Я теперь живу в деревне Сшиби-Колпачек и имею семейное положение. К сему Дементьев В.»

«Просьбу отказать».

Насчет резолюции вы можете подумать, будто бы Филипп Самоченков человек бесчувственный и якобы ему никого не жаль. Это неправильно. Секрет в том, что он выбрал просто линию такую, направление то есть — держать на отказ, и больше ничего. А может, ему установка такая была спущена, и он жал до нового поворота. В том, что Филипп Самоченков человек был не злой, можете убедиться из книги колхозных актов. Приведу, к примеру, несколько актов сряду, чтобы не подумали — нарочно подбирал.

«Акт составлен ниже в следующем, в том, что сего числа Мелантьев Савелий Иванович повез допризывников. Вместо того чтобы везти своих людей, он посадил чужих, а своих двух — Дементьева А. и Дементьева В. оставил дома, из-за которых пришлось гнать лошадь. В чем и составлен настоящий акт».

«Мелантьева предупредить. Самоченков».

«Акт составлен ниже в следующем, в том, что сего числа, то есть 28/II-49 г., транспортеры Черепенников Иван и Глухов Матвей, не спрашиваясь никого, пришли ночью на конный двор, запрягли лошадей и уехали себе за дровами. А корма коровам подвозить некому. Весь день коровы мычали...»

«Транспортеров предупредить. Самоченков».

Как видите, и в этих резолюциях видна линия. Из чего мы можем смело заключить — Филипп Самоченков любил направление и никогда его не менял. Но эта ошибка исходит отнюдь не из душевных качеств, потому что душевные качества подвержены всяческим колебаниям и даже изменениям. А тут линия, направление то есть, и никаких отклонений. Стало быть, у него был такой руководящий постанов. А перед руководящим постановом и наука и медицина бессильны. Потому что каким он даден человеку, таким и останется до гроба.

Как-то разговорились мы с Филиппом после уроков (он навоз вывозил со школьного двора), я его и спрашиваю:

— Ну, ты уяснил или нет, почему так медленно вел колхоз к изобилию?

А он мне:

— Дак ведь по неизведанному пути шел...

И оба мы глубоко задумались.

СКОЛЬКО МОЖЕТ ВЫПИТЬ ПАРАМОН?

Все ж таки тянуть одну историю и читать ее подряд — скучно. История, она история и есть... дело прошлое, как говорится. Поэтому ее надо с современностью увязывать. И смотреть на нее с высоты нынешнего пройденного пути, как с забора, можно сказать.

Ведь в чем ее интерес? В том, что мы идем вперед, а она как бы отдаляется. Значит, изображая прошлое, подчеркни современные достижения. И более того, даже недостатки наши должны подчеркивать исторический прогресс.

Вот взять хоть пьянку. Раньше кто пил у нас в Брёхове? Мельник, потому как за помол брал батман — мукой и деньгами. А кто вне очереди хотел помолоть — поллитру ставил. Пил еще плотник Юрусов, да сапожник Митя — немой. Энти каждый день дули. Остальные выпивали только по праздникам. А таперика что? Таперика пьют, можно сказать, поголовно все. Если посмотреть на это как на мораль, то можно и осудить. А с исторической стороны ежели подойти? Это же достижение. Потому что пьют, когда есть, что пить. Небось в войну не пили. И когда страну поднимали, тоже не до питья было. Не токмо что пить, на поглядку зерна-то не оставляли. Все под метелочку забирали из колхоза. Значит, пьянка — это верный признак исторического прогресса, то есть улучшения материальных условий. К примеру, приведу того же Филиппа Самоченкова. Когда он хорошо жил, тогда и пил. А таперика в рот не берет. Но однако ж тут есть и загадка человеческого характера: почему во все времена пил Парамон Дранкин? И сколько вообще он может выпить? На этот вопрос никто не ответит, даже сам Парамон.

Однажды пригласил я его к себе домой свинью зарезать. Не успели мы как следует освежевать ее, как хозяйка моя, Маруська, несет уж поллитровку. Увидел этот снаряд Парамон и говорит, как бы с досадой:

— А-а! Ее не перепьешь...

Он закурил и размечтался.

— Мне,— говорит,— Петр Афанасиевич, есть что вспомнить: попил я вволю. И только один вопрос меня беспокоит: сколько можно выпить ее с одного захода?

— Для такого испытания случай подходящий нужен,— отвечаю.— Это все равно как петь со сцены; одно

дело, когда народу полный зал, а другое — когда скамьи голые стоят. Так и тут, ежели на спор специально, много не выпьешь. А и выпьешь — впрок не пойдет. Вон Мишка Кабан выпил десять тонких стаканов, на одиннадцатом упал и хрипом изошел. А на свадьбе я, бывало, и по двенадцать стаканов выпивал. Да еще пьешь! Может, и больше выпьешь, но всегда под конец водки не хватает. Так что всему делу голова — случай.

— Да в том-то и досада, что был со мной такой случай однова. Был, да я им не попользовался. До сих пор жалею.

И Парамон рассказал мне про этот печальный случай.

— Работали мы с Сенькой Курманом заготовителями от сельпа. Дело было под праздник, накануне зимней Миколы. Снег повалил — ну ни зги не видать. А мы как раз барана купили, на заготовительный пункт везти. Но как его туда переправишь? Дорогу перемело. На лошади поедешь — с пути собьешься, замерзнешь. Это теперь машины есть, а раньше? Сидим мы под вечер в сторожке — деревянной будке, возле сельповского магазина. И баран с нами. Сидим и думаем... «Семен,— говорю.— Ведь он у нас подохнет. Или хуже того — весом скинет. Убытки понесем. Куда в такую пору за кормом итить? Давай его зарежем?»

«Давай, сейчас и до дома не дойдешь. Вон какая метет».

Пока я растапливал печку, пока за водой на реку сбегал, Семен успел разделать его.

«Гусек с потрохами бабам отдадим,— говорит он,— задок сварим, сами съедим, а передок для отчетности оставим».

Вот сидим, варим... А снег все идет и идет. Эх, теперь хотя бы поллитровку достать, думаем. Такая у нас закуска варится...

Но денег нет, да и Полька Луговая, наш продавец, в район уехала. Сидим, сочиняем — как бы водки достать. Семен говорит, если денег нет — бей на уважение. Потому как уважение человеку сделать — ничего не стоит, зато отыгрыш большой: и в долг могут поверить, и так, задарма дадут. Вот я, говорит, «Георгия» еще в тую войну получил. А сказать из-за чего? По совести признаться, исключительно за подхалимаж.

Сидим мы вот эдак, балясы точим. И вдруг как засветит нам сквозь ставни. И машина вроде бы послыша-

лась. Выбегаем — так и есть. Машина в самые ворота уперлась. Кузов гружен выше кабины, и одни только ящики, а сквозь щели между досками горлышки бутылочные видны. Брезент ветром сорвало и треплет, вроде портянки на веревке.

«Что за село?» — спрашивает шофер из кабины.

А я, веришь или нет, смотрю на эти ящики с вином и вроде бы замлел от переживания.

Но Сенька мой бесом вертится возле шофера: «Да не все ли тебе равно, мил человек, какое село. Дело теперь не в селе, а в тепле. Вылезай-ка, обогрейся. У нас и печурка топится, и казан кипит».

Вошли мы в сторожку. У шофера так ноздри и заиграли: «А вроде бы чем-то пахнет у вас?»

«Едой да выпивкой,— подмигивал Семен.— Откуда ты едешь?»

«Из Пугасова в Ермишь».

«А угодил в Брёхово».

«Скажи ты на милость! Ведь никуда не сворачивал. И как я здесь очутился?»

«Черти завлекли. Мы то есть»,— сказал Семен.

Снял он казан с бараниной да крышечкой эдак поигрывает, чтобы дух на шофера шел.

«Садись,— говорим,— с нами повечеряешь».

Тот не выдержал: «Обождите, ребята, я сейчас обернусь».

И несет поллитровку. Ну как тут верующим не сделаешься? Ведь бывает же — ты не успел как следует помечтать о ней, а она сама к тебе в руки идет. Вы скажете, колдовство? Нет, Сенькина обходительность, подхалимаж то есть, и больше ничего.

Разлили мы водку на три части. Шофер говорит: «Мне пить нельзя. Ехать надо в Ермишь».

«Да куда ты сейчас поедешь? Разве от такого добра едут»,— сказал Сенька, вываливая мясо из казана.

У нашего шофера аж дух захватило. Он говорит: «По такой закуске стыдно давить одну бутылку на троих».

Пошел он, принес еще бутылочку. Мы и ту распечатали и заместо супа выпили, а мясом заедали.

«Где две, там и третья»,— сказал шофер и еще бутылочку принес.

«Что ж,— говорю,— Семен, у нас получается? Водки много, а закуски нет. Давай заваривать и другую часть барана».

Сбегал я опять на реку, воды принес... Наварили мяса. Разлили и эту бутылочку, выпили.

«Что ж это у нас получается? — говорит Семен.— Водка кончилась, а закуски много».

Принес шофер еще бутылочку, распили.

«Ну, теперь,— говорит,— я поеду, ребята».

Встал он от казана и на своих ногах дошел до порога. Значит, доедет! Правда, в дверях его качнуло. Он притолоку на плече вынес и упал в снег.

«Семен,— говорю,— давай супом отливать его».

Принес Сенька кружку супу, мы ее в рот шоферу влили. Отошел. А Семен ему в руки теплый сверток мяса сует.

«На,— говорит,— в дороге собьешься, все погреешься от нечего делать».

«Ребята,— говорит шофер,— век вашей доброты не забуду. Возьмите на память ящик водки».

А я себе думаю: ну, мы возьмем, а если с тобой что случится? Люди видели, как ты заезжал. Значит, украли, скажут. А там и нас потащат. Нет, так не пойдет.

«Легко сказать — возьми,— отвечаю.— А с какой стати эдак сразу ящик водки?»

«А с той самой, что она у меня лишняя. Мне ящик на бой положено. А боя нет».

«На бой оно, конечно, положено,— думаю себе.— Но ты сел да уехал. А ежели, в случае чего, ко мне придут...»

Оно и то беда — посоветоваться не с кем. Сенька уже в сугроб запахал носом. Какой он советчик? И взяло верх надо мной сумление. Отказался я от ящика. Но два поллитра в карман сунул.

Утянул я воз брезентом, затолкал шофера в кабину. Лег он на баранку и поехал.

Берусь за Семена; трясу, поднимаю, а он как ватный, отпущу — падает.

«Семен,— говорю,— пошли опохмеляться».

Тут он один глаз открыл:

«А не врешь? Дай пощупать?!»

Сунул я ему бутылку в руку, он ее пощупал и, веришь или нет,— сам встал! Распили мы с ним эти бутылки и тут же уснули.

И вот с той поры где бы я ни ходил, какую бы радость ни переживал, а палец у меня нет-нет да и дергает: что бы тогда было, кабы мы с Семеном энтот ящик опрокинули? И не мне бы обижаться на свою судьбу. Ведь попил...

Однова в столовой четыре бутылки красного опрокинул — и чувствую: что-то ноги отяжелели.

«Что такое? С красного и каблуки прилипли к полу?»

А мне приятель: «Это ж зубровка. На ней бык!»

А я черт ее знал, что она с быком. Зубровка она, зубровка и есть. Но я вот все думаю: что бы со мной тогда было, кабы мы опрокинули ящик вдвоем с Семеном?

Тут Парамон крутит головой и начинает вслух переживать досаду, выражаясь нецензурными словами. А я все думаю: вот что значит русский человек — все на свете забывает... и собственный день рождения, и когда женился, и когда ранили (Парамон два ранения имеет и контузию одну, как сказал поэт), а вот где и когда подфартило насчет выпивки — этого он по гроб жизни не забудет. Да что там говорить! Я себя возьму: самый интересный момент в моей жизни — это день, когда я выпил ящик шампанского. Но об этом в другой раз.

КАК Я ВЫДВИНУЛСЯ

Таперика я расскажу вам про свое выдвижение, то есть как из деревенского парня сделался руководителем.

Главное, чтобы выдвинуться, надо иметь трудовую автобиографию. И характер должен соответствовать. Автобиографию мою вы все знаете, а характером я никогда не страдал. Под течение не попадал, то есть уклонистом не был. Ежели председатель колхоза выгонял на работу, я шел, не уклонялся.

Когда я возвратился из армии, у нас на коровах пахали. Кто довел колхоз до такого состояния, я уже не скажу. Или Филипп Самоченков, которого посадили, или сосланные кулаки-вредители, или голод тридцать третьего года. А может быть, и стихийное вредительство — масса тогда еще несознательной была, активность проявляла. Это сейчас никого не раскачаешь: оставь скирду хлеба посреди поля — сгниет, никто и снопа не возьмет. А раньше колоски тащили. Правда, вот ежели сено оставишь, это уж и сейчас сопрут, потому как скотину хлебом не прокормишь. Горючее тоже свиснут. Хоть бочку оставь — увезут. Потому как интересно. А хлеб ноне можно и в магазине купить. К нему интерес пропал. Ну, возьми снопы, обмолоти их,— а зерна куда девать? На

всю округу одна мельница осталась. Дак сразу определят, откуда зерно. Разве что курей кормить? А для курей много ли надо? Для курей можно и в кармане натаскать чистенькое зерно, прямо с тока, из-под веялки. И никто тебя обыскивать не станет. Это раньше обыскивали, так по ночам воровали и снопы, и колоски, и полову. Словом, жить таперика стало легче.

А тогда на коровах пахали. У колхозников забирали личных коров на посевную. А бабы прибегали на пашню коров своих доить. Снимешь с нее постромки — у нее холка набита, кровь течет. Баба плачет — отдай корову! Но кто же ее отдаст? До конца посевной — ни-ни... На общественных началах пахали. Тут с желанием каждого нельзя считаться. Тут надо держать прежде всего общественный интерес, а потом уже личный. Эту заповедь мне вдолбил еще Филипп Самоченков. И я крепко держался ее — ни одной коровы не отпустил с посевной. Пусть она хоть на коленках ползет по борозде. Я строгим бригадиром был. И первым отсеялся. А те, которые характер не выдерживали,— пораспустили коров и с севом не управились. Их и начальство бьет, и бабы ругают: половину коров они придержали! А я кончил — и враз всех отпустил. Ну что, говорю, бабы-дуры? Кто прав? И что вашим коровам сделалось? На ногах не стоят?! Ничего, дома отлежатся. Главное — управились к сроку.

Меня за эту ударную посевную послали на тракториста учиться. Это и было мое первое выдвижение, которое заслужил я собственным путем.

А через полгода окончил я курсы трактористов, получил новенький ХТЗ и поехал в лесное село Корабишино. Пригнал я трактор — все село на поглядку сбежалось. Я сижу на своей железной тарелке с дырками, за руль держусь и сам себе нравлюсь. Сапожки на мне новенькие, рубаха красная пузырем дуется, и физиономия от удовольствия круглая...

Да, пожил я в первых трактористах. У меня целый штат был: водовоз, заправщик, учетчик и персональный повар — Паша Самохина. Казан мяса в день съедал! Подгоню, бывало, трактор на обед к стану — котел кипит, а Паша моя на нарах прохлаждается. Я стащу ее с нар, оттопчу возле казана, потом уж за обед принимаюсь.

И вот она, на мою беду, забеременела. Может, я виноват, а может, и нет. Ведь у меня целый штат был. Я на пашню — они вокруг казана. Особенно учетчик Максик

возле нее увивался. Он ее и научил показания давать по-культурному. На суде я отказываюсь, а она говорит:

— Ну, как же, Петя? А помнишь, как ты меня возле казана приобщал? А в Касьяновой балке?

Ну, так и далее. Таперика, присудили мне алименты, а я не плачу. Вызывает прокурор,— я тебя, говорит, такой-сякой, посажу! Отдай деньги сегодня же!

Ладно. Зашел я к Паше, отсчитал ей сто восемьдесят рублей — вот тебе за целый год. Проверь, говорю. Она пересчитала. Верно? — спрашиваю. Верно. Ну-к дай сюда! Вырвал я у нее деньги и — в боковой карман к себе положил, да еще прихлопнул. Тут они надежней лежать будут, говорю. Когда тебе понадобятся — отдам.

Опять меня к следователю... Брат родной! Сходил я к бабке Макарьевне, которая роды у нее принимала, и подговорил ее:

— Ты скажи следователю, что при родах она Максика называла. А я тебе за это мылом заплачу.

Надо сказать, что с мылом в ту пору плохо было. А мне по квитанциям много выдавали его, якобы на помывку. Но я сроду с мылом не мылся, залезу в пруд — окунусь да песочком руки потру, и порядок. Мыла этого скопилось у меня — девать некуда. Ну, бабка Макарьевна ради такого добра не токмо что на Максика, на Иисуса Христа донос напишет. Отомстил я Максику за культурное приобщение... И следователя совсем запутал. Тянул он, тянул это дело, пока его самого вместе с прокурором в тюрьму не посадили, вроде вредители оказались. А меня в МТС перевели.

Тут взялся я сам за личное дело этого Максика и говорю:

— Учетчик при МТС — первый под туп к руководящей работе. А у вас, товарищ Максик, на автобиографии пятно с Пашей Самохиной. Либо вы его ликвидируете, либо мы поставим вопрос о вашем персональном деле.

Бегал он бегал к бабке Макарьевне, да и завербовался на торф в Шатуру. А потом и Паша Самохина подалась за ним. Дальнейшая их судьба мне неизвестна.

А меня перед самой войной директором районного маслозавода поставили, и переселился я в Тиханово. Тут, надо сказать, я оформился по всем линиям внутренним и по внешности — принял свой окончательный вид. Мое брёховское прозвище — Дюдюн — позабыли. Зато в Тиханове меня прозвали Центнером.

Внешность для руководителя — одно и то же, что сбруя для рысака. Какая у него резвость, это еще надо посмотреть. Зато бляшки на шлее все видят,— тренчики с серебряными оконечниками висят по струнке, вожжи с медными кольцами, обороть с чернью по серебру... Да что там говорить! Птицу, как говорится, видно по полету. Так вот и я. Справил себе первым делом френч защитного цвета, брюки галифе из темно-синей диганали. И шляпу соломенную...

Не только что в районе все руководители признавали меня за своего... В армию призвали — и там из великого множества голых да бритых меня отметили. Прибыли в гарнизон.

— А вы по какой линии служили? — спрашивает меня подполковник в распределителе.

— По хозяйственной,— отвечаю.

— Так вот, Петр Афанасиевич, будьте добры, примите команду над этой публикой.

А потом меня старшиной хозвзвода определили. Я на походной кухне ездил, что на твоей тачанке. Бывало, не токмо пешие, танки дорогу уступали.

Только один-разъединственный раз моя руководящая внешность дала осечку. Ранило меня в пах. Ни одной ногой пошевельнуть не могу. Лежу это я, смотрю — наклоняются двое. «Ну, подняли, что ли ча?» Пыхтели они, пыхтели, один из них и говорит:

— Вот боров! Пока его донесешь — ожеребишься.

— В нем пудов сто будет... ей-богу, правда.

— Давай лучше вон того подберем, тощего.

— Дак тот рядовой, а это старшина.

— А хрен с ним! Жрать поменьше надо. Теперь пусть лежит — лошадь ждет.

Так и оставили меня во чистом поле боя. Лежу я, в небо смотрю. Язык не ворочается, а мысли трезвые, и руки владают. Потрогаю промежность — кровью залито. «Эх,— думаю,— отлетела моя граната! Отстрелялся...»

И когда я очнулся в госпитале, первым делом спросил у доктора:

— Как там моя промежность? Прополку не сделали? Не охолостили?

— Бурьян твой,— говорит,— в порядке. Еще постоит.

Ну, значит, жить можно. Вернулся я домой и — опять на свой завод, директором. Поправился я, и дела пошли на лад. Да и как им не идти? Маслозавод — не колхоз. Не

я им сдаю, а они мне. И отчитываются они передо мной. Председатели мне молоко везут, а я им обрат, творог. И они же мне спасибо говорят. Ну конечно, за спасибо я творог не давал. Я брал взамен мясом, и хлебом, и медом. Кто что мог... Ну, чего мне было не жить?

И на тебе! Наступил пятидесятый год, стали колхозы объединять. Вызывают меня в райком. Тогда еще первым секретарем был Семен Мотяков. У него не пошалишь.

— Булкин,— говорит,— сдавай завод!

— Как так сдавай? За что? В чем я провинился?

— На повышение пойдешь. В Брёхово, председателем объединенного колхоза.

— Дак там Филипп Самоченков.

— Он и колхоз развалил, и сам запил.

Брат родной! Что тут делать? Я прямо сна лишился и ослеп от переживаний. В больницу ходил... Но у Мотякова один ответ:

— Ты самулянт! В колхоз не хочешь итить? Ты что, против линии главного управления? Да я тебя знаешь куда... в монастырь упрячу! В Святоглебский!!

Ну, словом, взяли меня за шкирку, избрали на бюро председателем и повезли в область на утверждение. Мотяков стоит за дверью, а я у секретаря заикаюсь:

— Не потяну я... По причине своего незнания.

— Откуда он взялся такой непонятливый?—спрашивает секретарь.

Кто-то за столом из комиссии говорит:

— С маслозавода. Директором работал.

— Ах, вон оно что! Привык там, на маслозаводе, масло жрать. А в колхоз не хочет? Исключить его из партии!

Тут Мотяков не выдержал, вошел в кабинет и прямо от дверей:

— Так точно, товарищи! Масло он любит жрать. Вон как округлился. Только насчет исключения давайте повременим. Мы доведем его до сознания.

Поехали обратно домой—он меня все матом, из души в душу. Всю дорогу крыл. Что делать? Согласился я.

А Маруська мне говорит:

— Ну, чего ты нос повесил? Не горюй! Если тебя посадят, я вернусь в свою избу. Не будем продавать ее.

Заколотили мы окна и переехали в Брёхово. Распрощался я с райцентром навсегда. Не повезло.

КОНИ ВОРОНЫЕ

Таперика, сказать вам откровенно, напрасно я боялся председательской должности. Пронесло меня благополучно... И более того — жил я, скажу вам, лучше, чем на маслозаводе.

Оклад у меня две тысячи рублей, своей скотины полон двор: двадцать овец, две свиньи, корова, подтелок. Маруська у меня не дремала. Да и я при операциях состоял. Себя не обносил.

А кони у меня были... Звери! Ну, как в той песне поется: «Устелю свои сани коврами, в гривы конские ленты вплету...» Вороные, как смоль. И подбор весь черный с красным поддоном — потники, кошмы, попоны... У коренника на хомуте воркуны серебряные. Ездил только на тугих вожжах. Запряжем, бывало, с первыми петухами...

— Сашка,— говорю,— быть по-темному в Тиханове!

— Есть по-темному!

Лихой у меня был кучер. Сядет он в передок, на одно колено, второй валенок по воле летит, как у того мотоциклиста. Я в тулуп черной дубки залезу да в задок завалюсь, полостью прикроюсь от ископыти.

Эй, царя возили!

И — гайда! Только нас и видели.

По петухам определялись... Первые петухи в Брёхове кричат, вторых настигали в Богоявленском, а третьих, рассветных, в Тиханове. Тридцать пять верст за час пролетали. До Богоявленского перевоза цугом едем — дорога узкая, переметы... А как за реку выедем — впристяжку, и по накатной столбовой... Только стаканчики на столбах мелькают.

Однажды из-за этих коней попал я в переделку.

Вызывают меня после посевной в район. Куда семена дел? Почему изреженные всходы? Так и далее... Уполминзаг приезжал ко мне и навонял. Энтот был обособленный, никому не подчинялся. И силу большую имел, захочет — все выгребет, до зернышка. Шныряет, бывало, по сусекам, а ты ходишь за ним и молчишь.

Ну, ладно. Оделся я чистенько: сапожки хромовые, китель из желтой чесучи, шляпу соломенную набекрень. Полетели!

Доезжаем до перевоза — стоп! Шофер знакомый с Выселок.

— Ты куда?

— В район.

— И я в район.

Стакнулись мы с ним. Он вынул поллитровку.

— Давай,— говорит,— для начала эту распечатаем да речной водичкой запьем, освежимся. А уж в районе подкрепимся по-настоящему.

Раздавили мы эту бутылку на троих, я и говорю Сашке:

— Ну, чего ты в Тиханово поедешь? Оставайся с конями здесь, а я в кабине проедусь.

Сели мы в машину — поехали. Вот тебе до Свистунова не дотянули — стоп наша машина. Раза три выстрельнула, будто наклестка треснула на телеге, и остановилась. Что такое?

— Это,— говорит,— свеча подгорела. Сейчас сообразим.

Открыл мой шофер капот, уткнулся в мотор, как в колодец — один зад наружу — и притих. Уж я ждал, ждал,— а он все не шевелится.

— Да ты что, в самом деле, смеешься надо мной? Я на совещание тороплюсь, а ты меня фотографировать? Некогда мне на твою сиделку любоваться.

— Сейчас, сейчас...

Тут он забегал вокруг машины; забежит спереди — посмотрит, посмотрит, хлопнет по ляжкам руками, как кочет крыльями, назад побежит — опять смотрит.

— Ну, что такое?

— Не могу,— говорит,— определить.

Потом успокоился, сел в кабину и эдак, даже с радостью, говорит:

— Уяснил наконец.

— Ну?

— Бензин весь кончился.

Брат родной! Куда мне деваться? Назад бежать, к лошадям — и за час не добежишь. Вперед идти — пятнадцать километров — до обеда не дотопаешь. А совещание уже открылось по времени.

— Ну,— говорю,— душегубец ты проклятый! Что ты таперика мне присоветуешь?

— У меня травка в кузове. Ложись, Афанасеич. Попутная машина пойдет — я тебя крикну. А я,— говорит,— за рулем, вздремну. Дело привычное.

Какое тут спать! Я как представлю заседание бюро

районного комитета и выступление товарища Мотякова, нашего докладчика,— у меня прямо вши от страха мрут. Но что делать?

Встал, как суслик, возле дороги, стою — жду. Впору хоть засвистеть от досады. И вот — катит грузовик. В кабине рядом с шофером женщина, а в кузове стол и корова. Останавливаю:

— Дайте бензину!

— У самих еле-еле до Тиханова доехать.

— Возьмите тогда меня с собой?

— Пожалуйста, но только в кузов.

Я и полез к столу да к корове. Уселся на стол, за рога ухватился — поехали! Едем, а пыль, пыль на дороге — ну, прямо коровы не видать. Меня так разукрасило, что китель из желтого в серый превратился. А на лице одни глаза остались.

И явился я на бюро в таком виде. Эк, меня и взял в оборот Семен Мотяков. К тому времени его понизили до заведующего райзо. Но силу имел он большую.

— Вот он, полюбуйтесь! Мельник с помола... И семена израсходовал, и на членов бюро наплевал.

— Я,— говорю,— в кузове ехал на попутной.

— Нас дело не касается. Телефонограмму получил — изволь явиться вовремя.

И закатили мне строгача. Зашел я в столовую (раньше в Тиханове столовая с райкомом одним ходом сообщалась, вроде туннеля), выпил разведенного спирта — меня и хмель не берет. Доехал на попутной до перевоза — смотрю, Сашка здесь и кони мои тут, на приколе травку щиплют. Встречает меня друг, объездчик луговой, однорукий Ленька Заливаев. И ружье на плече, и собака при нем, и две утки висят на поясе. Он хоть и об одной левой руке остался, но бьет только влет, да так, что ты с обеими руками и ружья не успеешь вскинуть, а он уже с левого ствола вторую утку добивает.

— Ты чего,— говорит,— такой снулый? Или жара уморила?

— Я побывал в такой печке, где мозги запекают. Так что меня,— говорю,— жара не снаружи, а изнутри мучает.

— А против этого лекарство имеется,— подмигивает Ленька.— Клин клином вышибают. А у меня и закуска соответствует,— он приподнял уток.

— Что ж,— говорю,— Сашка, запрягай! В Богоявленском полечимся.

— Там карантин объявлен,— говорит Сашка.— Нас не выпустят оттуда.

— А зачем туда ехать? Я сейчас обернусь,— сказал Ленька однорукий.— Здесь и расположимся. На вольном воздухе.

— А ты знаешь, сколько ее принести надо?— спрашиваю я Леньку.

— Дак прикинем...

— Все равно просчитаешься. Когда человек имеет сурьезные намерения, сроду не определишь — сколько ее понадобится. Поедем к ней сами.

Приезжаем в столовую — нет водки. Мы в магазин — нет! Только одно шампанское... Ну, что делать? Бери, говорят, кисленькое. Дак от нее только утробу раздувает, а до головы она не достигает — вся крепость газом выходит. А Ленька мне в ответ замечание:

— Мы ее,— говорит,— заткнем, утробу-то. И забушует, как в хорошей бочке.

Ладно, взяли кисленького или сладенького, я уж не упомнил. По гранате на брата... Пробки в потолок — бах, бах! Прямо как стрельба по уткам — и дымок с конца ствола вьется. Выпили... Ни в одном глазу. Взяли еще по одной... Не берет! Тогда я вошел в магазин — дверь на крючок и говорю Лельке, продавщице:

— Пиши фактуру, на магазин брёховский. Там рассчитаемся.

— Какую фактуру, Петр Афанасиевич?

— Ящик шампанского,— говорю.

Выписала. Я накладную в карман, ящик внесли в столовую речного пароходства, поставили под стол — и пошла стрельба.

Сорок бутылок выпили! И сами пили, и другим давали. Ежели, к примеру, понравится нам компания за столом, мы в них выстрелим пробками, а бутылки им на стол. Пейте, ребята, за счастливую колхозную жизнь! А Ленька однорукий все в буфетчицу метил, стервец. Попадет в нее пробкой — бутылку вина отдает. Она все: хи-хи-хи да ха-ха-ха! А бутылку за бутылкой под прилавок прячет.

Одно неудобство есть в употреблении шампанского,— иной раз дымок за пробкой вьется, а иной — такой водомет выхлестнет, что все рожи нам пообливало. Вышли мы из столовой, что из твоей бани. Лошади только дорогу почуяли — и понесли.

— Петр Афанасиевич! — кричит Сашка.— Впереди шламбалка.

— Преодолеть шламбалку! — приказываю.

Сашка встал во весь рост, шевельнул вожжами:

— Эй, царя возили!

А Ленька однорукий на колено поднялся, выхватил бутылку шампанского из кармана:

— Сейчас я этих коновалов,— кивает на часовых,— гранатой накрою.

А я откинулся на спинку в тарантасе и думаю весело: «Ну попробуй таперика задержи нас...»

— Э, ходи! Шагай, милые! Прочь с дороги!..

Помню, как хряснула шламбалка, бутылка зазвенела — это Ленька в сторожевое ружье угодил. Чего-то ветеринары кричали. А мы, соколики-чижики, как по воздуху пошли.

Ехали-ехали... Я хвать за голову — кепки на мне нет. Очнулся — оказывается, уже светает. Мы спим в тарантасе, а кони в овсах пасутся.

Явился я наутро в свой магазин, подаю накладную и говорю:

— Сдаю фактуру — ящик шампанского.

— Пожалуйста, заносите, Петр Афанасиевич.

— А я уже занес... К себе в живот. Ну ничего, Яков Иванович медом рассчитается.

Яков Иванович — это бухгалтер колхоза. Тонкий человек был. Так вел бумаги, что не одна ревизия с носом уходила. Хоть полколхоза растащи, все оправдает.

А за то, что я шламбалку поломал, мне строгача дали. Второй выговор за день заработал. Но нет худа без добра. Коней моих арестовали на сорок суток ветеринары. Так что и для меня наступил отдых — больше месяца в район ни ногой. Меня и по телефону, и депешей вызывают. Не еду! Не имею права. Арестованы лошади! А ветеринар не следователь, ему не прикажешь отпустить арестованного. По скотине закон строже соблюдается.

МОЙ БРАТ ЛЕВАНИД

Как вы уже знаете, мой брат Леванид работал когда-то ветеринаром. Потом его перевели в Корабишино санитаром. Но так как фельдшера там не было, то Леванид лечил всех — и скотину и людей. Лечил он ото

всяких болезней чистым дегтем. Каждому больному прописывал по чайной ложке три раза в день.

— Ну, таперика пей и жди полтора года,— говорил он.— Болезнь изнутри выходить будет.

И вот что удивительно — многим помогало. К нему и сейчас ходят за советом. Намедни сижу у него, выпиваем. Приходит соседка, у нее девочка болеет, не то экзема, не то лишай.

— Хочу Ленку везти на курорт и боюсь,— говорит.

— Тогда не вези,— отвечает Леванид.

— Дак ведь он, курорт, все ж таки наружу вызовет болезнь.

— А может, он вовнутрь загонит? Еще глубже... Тогда как?

Соседка вроде бы в сумление вошла:

— Доктор сказал, вези, а гепат — не ездий.

— Гепат, он все знает.

И не поехала. Послал ее Леванид в Корабишино, к своей бывшей сотруднице по ветеринарному пункту бабке Кочабарихе. Та наговорила на конопляном масле, ну и что-то подмешала туда... И все болячки как рукой сняло.

Леванид живет таперика на персональной пенсии. Ему тоже платят шестьдесят пять рублей, но только по военной линии. Он ушел воевать командиром отделения, а возвратился командиром батлиона. Между нами говоря, он чуточку привирает. До батлионного он не дослужился, но командиром роты был... Это уж точно. От войны у него осталось ранение в голову. На самом темени выбита кость, и такая ямина образовалась — яйцо куриное уложишь. Точно говорю! Леванид, когда выпьет, разойдется, то размахнет кудри, поставит темя и кричит:

— Не веришь, что у меня полголовы нету? На, клади яйцо!

Я клал неоднова. Держится яйцо!

— Леванид,— говорю,— как же ты при своем офицерском звании не добился в госпиталях, чтобы заделали тебе эту пробоину?

— А-а! У нас доктора ненормальные. Лежал я в Грозном. Хирург мне и говорит: «Давай вырежем у тебя ребро да заделаем костью голову».

— А ты что?

— Отказался.

— Почему?

— Вот чудак! Как же без ребра-то жить?

Вы, может быть, посмеетесь? Но давайте так рассуждать. В нашем крестьянском деле ребра важнее головы. Пойдешь косить — при густой траве ребро за ребро заходит, потому как весь упор делается на ребра. А ежели у тебя ребра нет, какая может быть устойчивость? И какой из тебя косец?

Между прочим, мой брат Леванид до сих пор стога мечет и косит в колхозе во главе пенсионеров.

И в общественной жизни участие проявляет: металлолом собирает, пионерам рассказывает насчет проклятого прошлого, вопросы задает на лекциях о международном положении, так и далее.

А в день двадцатилетия победы в Тиханове он брёховским отрядом ветеранов командовал. Объявили, таперика, девятого мая парад: «Которые с медалями и орденами — в район на парад!» Прибегает Сенька Курман в правление и говорит:

— Товарищ председатель, а вот как мне быть? Медаль оторвалась, а эта самая висит?! — Он показал на приколотую к пиджаку колодку.

— Документы на медаль есть? — спрашивает Петя Долгий.

— Какие документы? У меня паспорта и то нет.

Просто смех!.. Между прочим, с последней наградой моего брата Леванида тоже получилась забавная история. Но тут надо отступ сделать.

Прошлой осенью произошел затор по мясу. Скота много развели, а девать его некуда. В заготскот, государству — не берут: мясокомбинаты перегружены. На рынок везти — не продашь. Трава выгорела, сена не заготовили. Кто же купит корову в зиму? Вот Феня, жена Леванида, и говорит моему брату:

— Давай продадим корову-то, а телочку купим. Уж больно она здорова. Это ж не корова, а прямо Саранпал. Она сожрет нас в зиму-то.

Ну, Леванид и в заготскот, и в район... мыкался, мыкался да ни с чем и вернулся. В тую пору брёховские сочинители Глухова и Хамов частушку пустили по народу:

С коровенкой бабка Таня
Ходит осень без ума;
Ей с района отвечают:
Мясо, бабка, ешь сама.

И вдруг приходит разнарядка на брёховский сельсовет: «Принять двух коров».

Ну, Леванид в сельсовет. Ходы знакомые. И авторитет у него все ж таки имеется. Отвоевал он одну разверстку. Несет домой в нутряном кармане, что твою путевку на курорт.

Ладно, пригоняют они по этой разверстке свою корову в заготскот. А им говорят:

— От своих мы не принимаем коров. Надо прививку против ящура сделать да две недели выдержки дать.

Сделали они прививку. Проходит две недели — пригоняют опять в заготскот. А им и говорят:

— У нас прием закрыт. Исчерпали, значит. Гоните свою корову на базу в Пугасово.

Батюшки мои. За сорок верст киселя хлебать. Но делать нечего. Повязали они веревку корове на рога, буханку хлеба под полу и пошли. Один за веревку тянет, второй подгоняет. Целый день пихтярили. Вот тебе, пригоняют на базу, а им и говорят:

— Где ж вы раньше были? У нас уж партия того... уклепонтована. Пригоняйте в конце месяца.

Ладно, приходит конец месяца, сложились они втроем, наняли грузовик, потому как снег уже выпал. Загнали они коров в кузов, а борта у него низкие. Вот тебе тронулся грузовик — коровы в рев да через борта повыпрыгивали. Леванидова корова упала на голову и рог сломала. Что тут делать, головушка горькая? Бегали они бегали, нашли военную машину с высокими бортами. Договорились. Только собрались коров грузить — является рассыльный: «Дядя Леонтий, тебя в сельсовет вызывают». — «Зачем?» — «Не знаю, а только наказывали — срочно явиться».

Приходит Леванид в сельсовет, а там сидит подполковник:

— Вы Булкин Леонид Афанасиевич?

— Я самый. В чем дело?

— У меня, — говорит, — награды ваши. Двадцать три года разыскивали вас насчет вручения орденов. И вот наконец вы нашлись.

— Да я сроду не скрывался нигде, — отвечает Леванид.

— Вас никто не подозревает. Только бумаги ваши долго ходили. Значит, вы награждаетесь орденом Отече-

ственной войны первой степени и орденом Красной Звезды.

— Спасибо,— говорит Леванид.

— Надо отвечать — служу Советскому Союзу!

— Да я уж позабыл. Служба моя теперь вокруг бабы да коровы. Давайте ордена!

— Оба нельзя. Тут одна неувязка. Ваше отчество Афанасиевич?

— Так точно.

— Вот видите. А здесь в одном документе записано Афанасиевич, а в другом Аффониевич.

— Так, может быть, это не я?

— По всему видать, вы. И год рождения ваш, и место рождения... только отчество Аффониевич? Этот орден Красной Звезды мы отправим обратно в Москву и сопроводиловку пошлем, где укажем, что вы не Аффониевич, а Афанасиевич. Там исправят и пришлют обратно. Вы согласны?

— Согласен. Мне можно идти?

— А второй орден! Этот мы вам вручим.

— Ну, давайте! — Леванид протянул руку.

— Так просто из рук в руки орден нельзя передавать. Надо представителей власти собрать. Торжественную обстановку сделать. Тогда и вручим вам этот орден.

— Да мне некогда ждать торжественной обстановки,— говорит Леванид.— Мне корову надо грузить.

— Корову можно отложить.

— Никак нельзя. Два месяца ждал.

— Ну как же нам быть? И мне надо в район ехать... Тогда вот что! — придумал подполковник.— Накройте стол красной скатертью, над этим столом я вручу вам и орден и руку пожму.

Наш председатель сельсовета Топырин достал из сундука красный материал с лозунгом, расстелил обратной стороной на столе, и подполковник вручил Леваниду орден.

Пришел я к нему на другой день — орден на столе.

— Ты чего это достал его? — спрашиваю.— Любуешься?

— Испытание проводил. Я все думал, что орден первой степени из золота сделан. Но вот рассмотрел его, покусал... Простой металл.

И он стал рассказывать мне, как сдавали корову, и

сколько она скинула в живом весе за последние два месяца:

— Была корова, как печь. А пока сдали ее, мослы выщелкнулись.

ПРО МОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

Трудовая автобиография советского человека иной раз осложняется личной жизнью. То есть ежели вы, к примеру, выпимши поскандалили, стекла повыбили или кому-нибудь по шее заехали, а то, может, на стороне зазнобу завели и в свободное от работы время уклоняетесь от исполнения семейных обязанностей — все это и называется личной жизнью. Личная жизнь разбирается на партийном бюро, а ежели вы беспартийный, то на правлении колхоза или на товарищеском суде. Из чего следует, что личная жизнь есть язва на теле общества, то есть пережиток.

Заболел я ей, можно сказать, случайно. И ведь горя не было б, кабы я свою Маруську не любил. Она хотя и скандальная у меня особа, но хозяйство держит исправно, напоит тебя и накормит вовремя, и спать уложит. Так что Маруську я не променяю ни на какую личную жизнь. А повело меня на уклонение от семейных обязанностей, должно быть, с устатку. Весна выдалась трудной...

Сижу это я в кабинете один, в сумерках. И вот тебе заявляется пасечница с дальней корабишенской пасеки и подает мне акт. Читаю: «Акт составлен ниже в следующем, в том, что вчера при свете приехали ко мне на пасеку начальник охраны Хамов Леонтий с братом Михаилом и стали якобы проверять меня на сомнительные ульи. Леонтий ходил по ставу и хлестал по ульям кнутом насчет выявления сомнительного улья. Якобы один нашел. Открыли его, мед взяли и бросили раскрытым. А другие пчелы набросились и уничтожили весь рой...»

Читаю и смотрю я не столько на бумагу, сколько на саму пасечницу,— в хромовых сапожках она, икры голенищами обтянуты, как резиночками — не ноги, а прямо калачи ситные. Фуфайка зеленая распахнута, и кофточка розовая на груди с просветом, аж лямки лифчика видны. Волосы в пучке на затылке, что твоя копна высится, брови черные с росчерком, как крылья от серпочка...

Брат родной! У меня аж во рту пересохло и в ушах зажухало: «Жух, жух, жух!» И вспомнил я, как в армии на турнике солнце крутил... Плечи расправил, смотрю на нее, как одурелый. А она стоит, избочась, да прутиком о голяшки сапог хлысть, хлысть. И повело меня на уклонение...

— Катерина Ивановна,— говорю,— какое же у вас мнение о председателе, то есть обо мне? Разве можно вам стоять в моем присутствии? Это было бы неуважение с моей стороны. Садитесь на диван.

А она мне якобы сквозь смех:

— А может быть, мне скучно одной-то на диване сидеть?

— Это вы,— говорю,— напрасно сумлеваетесь. Со мной вам скучно не будет.

— Ну, шире — дале...

Муж у нее в бригадирах ходил — квелый мужичонка: ноги сухие и длинные, как палки в штанах, нос картошкой, глазки маленькие и кепка по самые уши, как на чучеле огородном. А бегал — на лошади не догонишь. Его и прозвали Дергуном...

Первым делом я отправил его на лесозаготовки — с глаз подальше. А сам пересел в седло, чтобы без свидетелей...

Бывалочи вечерком подтяну подпруги — и гайда! Седельце у меня было в серебряном окладе, лука низкая — сотню верст скачи — не притомишься. Только на опушке леса покажусь — она уж тут как тут, ждет меня моя касаточка. Я ее одной рукой с земли приподнимал и прямо в седло, к себе на колени. И везу куда хочу.

В омшанике мы сеновал устроили — постель под самой крышей на сене духовитом, да под пологом. Разденемся, бывало, донага, нырнем под полог, как в твою речную волну, и всю ночь челюпкаемся. Я, говорит, за то тебя люблю, Петя, что после ночки с тобой я день-деньской пластом валяюсь. Да и я ее любил, признаться,— в передовые пчеловоды вывел, часами ручными наградил и Почетной грамотой.

Все бы оно хорошо... Да беды не предвидишь, от нее не уйдешь, как от районного начальства. Вот звонят мне из района:

— Никуда не уезжай — к вам уполномоченный.

Значит, готовь лагун меду. Послал я за медовухой к Дуньке Сивой, сижу в правлении, жду.

Приехал, оказывается, корреспондент с фотоаппаратом — передовиков фотографировать. Тут я думаю: порадую-ка свою Катерину Ивановну. Сфотографирует он ее и в районную газету поместит. Парню этому я верил — не раз выпивали. Опростали мы с ним вдвоем лагун медовухи и поехали к Катюше на пасеку.

У нее было много платьев — в сундуке лежали, в омшанике. Принарядится, соображаю я, в самый раз будет.

Так и есть. Обрадовалась она... Медовухи нам поставила, а сама то в одно платье оденется, то в другое. Выйдет перед нами — прямо краля бубен! То шеей лебедя выгнет, то ручкой... Ну, меня и разожгло:

— Давай, Катюша, изобразим картину у шатра!

У нас в омшанике ковер висел, масляными красками писанный: в красный шатер несет персидскую царевну Стенька Разин. На ней ночная рубашка с кружевами, так что грудь голая видна, а на Стеньке алые шаровары и пояс голубой. Ковер этот я ей преподнес,— на мед выменял, в Пугасове на базаре.

Она тоже запьянела... Вынесли мы полог из омшаника, растянули его на лугу, полу одну приподняли, так чтобы постель там была видна. Разделась она до рубашки — груди, как у той царевны персидской, в стороны торчат. И я все с себя снял. В одних подштанниках остался. А шарфом газовым пупок повязал. Чем не Стенька Разин?

Поднял я ее на руки, она меня за шею обняла, и говорим:

— Таперика фотографируй!

Он нас по-всякому сфотографировал: и перед шатром, и в шатре, якобы она лежит на подушках и руки ко мне протягивает, а я вроде бы наклоняюсь над ней. И как она платье снимала, и как мы на постели лежим... Ну, так и далее. Хорошо время провели, весело.

Тут как раз прислали нам новую автомашину. Повез я молоко в район и заехал в редакцию к тому другу-корреспонденту. Он мне дал целую пачку этих фотографий под названием «Стенька Разин и персидская царевна». Я сунул их в карман, и на радостях мы во всех ларьках заправлялись. Домой приехал, еще стакан тяпнул и уснул.

А у меня мужики собрались, новую машину обмывали. Яков Иванович, бухгалтер, хватился — папиросы кончились. Он, чудак, и полез ко мне в карман за куревом. Я

дрых на кровати. Ну и вытащил он всю эту пачку фотографий. Маруська увидела — и на него:

— Ты куда полез? Чего вытащил? А ну-ка, дай сюда!

Как увидела она это изображение, и тут же при всех устроила мне представление из татарского побоища. Мои мужики от страха поразбежались...

Утром проснулся я — что такое? Не могу шею повернуть, и шабаш! Правый глаз затек, и губа выше носа вздулась...

— Вставай, Степан Разин, атаман донской!

Маруська сидит за столом в новом платье, платочек на плечи накинула газовый. Дурная примета — ежели она с утра принарядилась, значит, быть скандалу. Силюсь вспомнить: что я вчера натворил по пьянке? Или стекла побил, или на столб наехали? Чую что-то неладное, но вида не подаю. Спрашиваю:

— Ты чего вырядилась? По какому такому празднику?

— Решила верующей стать,— говорит.— Вот к исповеданию приготовилась.

И голосок у нее такой вкрадчивый, и губы поджимает. А это уж бывает перед тем, как тарелки в ход пустить. Да что ж я такое натворил?

— Садись, Петя, садись. Может, и ты причаститься хочешь?

Сажусь да поглядываю: чем ты меня только причащать будешь? А она все тянет:

— Может, опохмелиться хочешь?

Стопку поднесла, выпил...

— Ты, случаем, не заезжал вчера к Дроздовым на машине?

— К каким Дроздовым?

— На пасеку, в Корабишино?

— С какой стати?

— Будто ты у них прихватил что-то.

Ну, думаю, начинается моя личная жизнь. Уж не потому ли пострадала моя физиономия? Но чтобы там ни было, а личную жизнь сперва-наперво надо отрицать. Я изобразил обиженный вид.

— Ты меня,— говорю,— за вора выдаешь. Я чужих вещей не беру.

— Да не вор, Петя, а разбойник... Стенька Разин!

— Мне твоя игра в казаки-разбойники вовсе не понятна.

— Неужели? Ну-ка вспомни, зачем туда ездил?

— Я там быть не бывал... Ну, может, до войны еще. По совести говоря, я и дорогу позабыл туда.

— Вот оно что! Значит, ты еще в довоенную пору фотографировался.

Тут она вынула из кармана мои фотокарточки, где я в подштанниках Стеньку Разина изображал, и спрашивает:

— Узнаешь?

— В первый раз вижу,— и даже физиономию отвернул, будто меня это вовсе не касается.

Тут я допустил грубую тактическую ошибку,— потерял противника из поля обзора. У нее под столом была заготовлена тяжелая глиняная миска. Вот этой миской она меня и накрыла с левого фланга, прямо по уху...

Очнулся я на полу. Лежу весь мокрый — водой меня окатила, холодной, прямо из колодца. Приподнял я голову — у меня под носом догорает вся эта знаменитая история про Стеньку Разина и персидскую царевну. Кучка пепла ото всех моих фотографий.

Но Катин муж, Дергун, поступил коварнее. Налил он лагун меду и заявился в райцентр к фотографу-корреспонденту. «Вот вам Петр Афанасиевич медку прислал. Очень ему ваши фотокарточки понравились. Он просил еще прислать, если можете».— «Да поищите вон в куче на столе». Дергун сам выбрал, какие поинтереснее. И отнес их в райком вместе с заявлением: «О том, как председатель сожительствует с моей женой, а меня сослал на лесозаготовки...»

И вызвал Семен Мотяков меня на бюро. А у меня еще не зажили на лице следы домашнего разногласия. Явился я, а Семен Мотяков говорит:

— Вот он, Стенька Разин без порток... Его и спрашивать нечего. Вся личная жизнь у него на физиономии отпечатана.

Начальство не жена. Здесь тактика огульного отрицания успеха не приносит. То есть тебя просто не слушают. Поэтому я все перевел на производственные отношения.

— Какая там личная жизнь! Это я с лучшим пчеловодом общался без задней мысли.

— Поговори у меня! Не то я из тебя вышибу и задние и передние мысли. Пригласите потерпевшую,— приказал Мотяков.

И вошла она... Платье розовое, туфли на каблучках, и даже этот самый радикуль в руке, наподобие сумки

портмане, то есть большой кошелек с шишечками. Стоит и покачивает радикулем.

— Я вас,— говорит,— слушаю, Семен Иванович.

Мотяков даже крякнул от такого обхождения:

— У вас никаких притензиев нет к этому гражданину?—и указывает на меня.

— Какие могут быть претензии!—Катюша так и заулыбалась.— Мы с ним просто представления разыгрывали... Как на сцене.

— Это вы правильно,— сказал Мотяков вроде бы тоже с улыбкой.— А насчет производства зайдите ко мне в кабинет, после бюро.

— С большим даже удовольствием...

Мне дали строгача, а Катюшу перевели через неделю в райцентр, продавцом поставили. Дергуна же ее послали в Пугасово, экспедитором на базу. Встретил я его как-то потом в Пугасове, в столовой. Он пьян в дымину.

— Вот ты и донес на меня,— говорю.— Но что ты выгадал? То был на лесозаготовках за пятнадцать верст, а теперь тебя за сорок пять километров отправили.

— Не в том,— говорит,— беда, Петр Афанасиевич. Просто меня чужая личная жизнь заела.

КТО ТАКИЕ ОППОРТУНИСТЫ?

Сидим мы как-то вечером на бревнах—я, Филипп Самоченков и Петя Долгий—все три председателя. Решили Самоченкову дом новый построить, всем колхозом. Ну, и пригласил он выпить. Отказываться неудобно. Выпили, разговорились.

— Когда человек стареет, мозги у него разжижаются,— сказал Филипп.

Петя Долгий засмеялся, а я спросил:

— Ты кого это имеешь в виду?

— Так, к слову пришлось. Старость моя, и больше ничего. Я крепкий на слезу был человек. А вот когда постановление вышло—дом мне построить, не вытерпел. Потекло у меня из обоих глаз... Семена Мотякова вспомнил.

— Где он теперь?—спросил Петя Долгий.

— В Касимове, на речной пристани грузчиком работает,— ответил Филипп.

— Да он вроде бы кадрами заведовал?

— Сняли за пьянку,— сказал я.— Намедни в Касимов приехал. Сошел с пристани. Глядь — Мотяков! Лошадь его с повозкой завязла. Он орет на всю набережную и лупит ее чем ни попади. И вот ведь какой дьявол — все промеж ушей норовит ударить.

— Самая притчина,— сказал Филипп.— Он и раньше в точку метил. Сколько лет я при нем отработал! Семен Иванович, говорю, мне бы дом построить. А он: «Тебе казенный обеспечен на старости лет. Все равно проворуешься». Да разве ж я с целью обогащения работал? Я, бывалочи, только и смотрел за тем, как бы линию держать.

— А как ты ее понимаешь, эту линию? — спросил Петя Долгий.

— Да когда мне было понимать ее? — Филипп даже удивился.— Жизнь не на понятии строилась. И занят был я по горло. Ты вот с утра выехал в район, а в обед глядишь — дома. После обеда спрашиваешь: «Где Петр Ермолаевич?» Говорят — в район уехал. А к вечеру опять по колхозу бегаешь. Я ж, бывало, поеду с утра, отзаседаю там, возвращаюсь на другой день, а тут уж телефонограмма — обратно вызывают. «Сашка, перепрягай лошадей! Поехали...» Один вопрос заострили, второй ставят. И ты, бывало, идешь от вопроса к вопросу, как по столбовой дороге. Тут и понимать нечего. Только линию держи. Когда меня поставили председателем, я испугался: «Что я буду делать? Я же малограмотный!» — «Не бойся, за тебя все решат». И верно, сообща решалось. Ты как ноне премиальные выдаешь? Кто перевыполнит норму на косьбе, к примеру, или на пахоте — получай три рубля. Кто на согребании — два рубля. «Сашка, расплатись!» Сашка вынет ведомость и тут же, опираясь на «Волгу», запишет и деньги выдаст. А раньше? Хочешь премию выдать — проведи сначала через правление, потом на исполком вынеси, потом в райкоме утверди. А потом уж акт вручения — соберут весь колхоз, представитель приедет и вручит Почетную грамоту.

Петя Долгий засмеялся, а я сказал:

— Ты, Филипп, путаешь практику с теорией.

— Да нет. Это я к тому говорю, что жизнь у нас ноне пошла вроде бы самотеком.

— Это верно,— сказал я.— Раньше постанов был строже. Бывало, Семен Мотяков соберет нас всех и задаст вопрос: «Ну, что культивируется на сегодняшний пери-

уд?» Допустим, наступление на клевера. Или глубокая весновспашка... Значит, кто пашет мельче, чем на двадцать два сантиметра, тот — оппортунист.

Петя Долгий только посмеивается да головой крутит.

— Тебе смешно,— сказал Филипп,— а я за этот оппортунизм чуть билетом не поплатился. И все через политзанятия. Бывало, Покров день подойдет, и политзанятия открываются. Что за манера? Тут перепьются все, по улице ныряют, в грязи челюпкаются, а они — политзанятия. Да мало того. Ему еще вопросы задавай. А вопросов не будет, значит, не усвоил.

— Меня за эти вопросы тоже таскали,— ввернул я.— Провели мы вот так же первое политзанятие, не то на Покров, не то на Миколу. «Вопросы имеются?» Встал Парамон и говорит: «Мне надо бы знать, крепостное право отменено?» — «Понятно... Еще вопросы?» Лектор посмотрел на нас мрачно. Все молчат. «Крепостное право было отменено в одна тысяча восемьсот шестьдесят первом году. Понятно?» — «Понятно...» Уехал он. А на другой день уполномоченный заявляется: «Товарищ Булкин, что у вас тут за крепостное право открылось?» — «Извиняюсь, говорю, у нас высшая фаза, то есть в коммунизим идем полным ходом».— «А провокационные вопросы почему задаете?» — «Чистое недоразумение, говорю, потому как мы каждый год политзанятия начинали изучать с крепостного права. А инструктор сам перепутал, с другого периуда начал. Потому и спросили...» Ну, лагушок выпили и мирно разъехались.

— Ты дешево отделался,— сказал Филипп.— У меня оборот другой вышел. Как раз накануне Покрова дня приехал инструктор из районного комитета. «Где парторг?» — «Теще за дровами уехал».— «Тогда собирай ты людей. Мы, говорит, вкратце пройдем главу». Вкратце так вкратце. Послал я техничку школьную, сам пошел по избам. Пособирали всех кого нашли — и коммунистов и беспартийных. Думаю — сойдет. Ладно. Расселись, а ночь уж на дворе. Он — в свою тетрадь, а мужики храпака задают. Уж он читал нам читал — часа два. Потом и говорит: «Вопросы имеются?» Ну какие вопросы на Покров день? Кто очнулся,— сидит, в пол смотрит, кто зевает. Думаю, надо задать вопрос, а то еще скажет — не на уровне. Поднял я руку и спрашиваю: «А кто такие оппортунисты?» Он с минуту посмотрел на меня строго, вроде бы впервые видит, и сказал якобы про себя:

«Хорошо». И записал что-то в тетрадь. Потом спрашивает: «Еще будут вопросы?» Ну кто ж ему задаст еще? Ежели он меня записал в тетрадь, то и другого запишет. А потом вызовут — отчитывайся. Все молчат. «Ладно, говорит, два часа читал я вам про оппортунистов, а вы еще вопросы задавать!.. Хорошо». Захлопнул тетрадь и уехал. Вот тебе через день вызывают меня в райком. Я спрашиваю бухгалтера Якова Ивановича: «Может, какие данные требовали?»

«Нет, говорит, данных никаких. Приказ явиться лично».

Ну, думаю, беда. Без данных вызывают, да еще лично, значит, не к добру.

Везет меня Сашка, а я от озноба зуб на зуб не попадаю. Выпил в Богоявленском, думал, согреюсь. Нет! Трясет, как в лихорадке. Ну за что меня вызывают? По дороге все передумал. И верите — раз пять преступником себя почуял. Может, думаю, за то, что хлеб в скирдах погнил? А может, потому, что льны посеял на нове в низине и они вымокли? Ну, черт его знает...

Приехали в Тиханово поздно. Известное дело — постояльцы. Мясо привезли, меду. Хозяин поллитру поставил. Ты пьешь, и хмель тебя не берет. И сон не в сон.

На другой день утречком подхожу к райкому — пустынно. Никто больше не идет. Не то что председателей — собаки не видать. Ну, беда! Зашел я в приемную. Вот тебе — милиционер Тузиков передо мной... Стоит, как на часах. У меня так все и оборвалось. Дурная примета. Милиционера заранее вызвали. Я потоптался и вроде бы не то спрашиваю, не то извиняюсь:

— Меня вызывали?

— Ежели вызывали, заходи.

И не смотрит на меня. Стучу в дверь — никто не отвечает. Открываю — а там еще одна. Эх, думаю, совсем спятил. Позабыл, что у них перед кабинетом промежуток, вроде предбанника. Это, наверно, для того устроено, чтобы дух перевести.

Вхожу в кабинет:

— Здравия желаем!

— Садитесь.

Сел. Смотрю — народа никого, одни они. Листок бумаги перед каждым. Только карандашами шуршат. А сам Мотяков без сапогов, в одних носках ходит и плюет.

Как это называется? Ну, что я в школу намедни привозил для плевания... Вроде табуреток?

— Урны,— подсказал Петя Долгий.

— Вот-вот. У него в кабинете их две стояло — одна в том углу, другая в этом. Он ходит, значит, в носках от одной к другой и плюет.

Беда, думаю. Кабы он хотел что сказать, уже сказал бы. А тут замышляет. И такое, что и высказать не хочет. Ходил он ходил, и вдруг ни с того ни с сего:

— Ты почему провокационные вопросы задаешь?

Я так и обомлел:

— Кому, Семен Иванович, задавал я провокацию?

— Ты не прикидывайся дураком! Кто спрашивал нашего инструктора про оппортунистов?

— Дак ведь это я для поддержания порядка.

Тут все как загогочут. А Мотяков подошел ко мне и рявкнул:

— Комедию ломать! Я отобью у тебя охоту дурачиться враз и навсегда. Ты что, не знаешь, кто такие оппортунисты?

Я аж привскочил:

— Знаю, товарищи члены бюро районного комитета, знаю.

Все опять засмеялись, а меня обида взяла:

— Товарищи, не считайте меня за дурака.

— Ты давай сам не придуривайся. Ну, говори, зачем задавал вопрос? — Мотяков стоит передо мной и на носках покачивается.

А второй секретарь Сёмкин, такой кучерявенький и очень уж шустрый, говорит:

— Семен Иванович, ей-богу, он это без цели. Позвольте, я ему вопрос задам?

— Задавай.

— Скажите, Филипп Самоченков, кто такие оппортунисты?

И все снова захохотали.

— Дак все мы с вами и есть оппортунисты,— отвечаю.

— Как? И я оппортунист? — Мотяков аж голову вскинул кверху, а все остальные притихли.

— Нет, вы, Семен Иванович, не оппортунист. А мы все оппортунисты.

— Почему?

— Потому как планы мы не выполняем.

И все снова захохотали.

— Дурак,— говорит Мотяков.— Оппортунизм — это течение. Понял, враз и навсегда?

Ну, думаю, пропал. Ежели под течение определили меня — конец. Я знал, что в партии какое-то течение было... Стою я, будто в рот воды набрал. А они смеются. Даже Мотяков прыснул два раза.

— Ладно,— говорит,— потешил. Ты почему хлеб не сдаешь?

— Дак ничего нет, Семен Иванович. Окромя проса.

— Сколько проса у тебя?

— Да пудов шестнадцать осталось. Товарищи члены районного бюро, не сумлевайтесь! Завтра же всю сдам...

Все опять засмеялись. И Мотяков не удержался: «Га, га, га! Ну, Самоченков, запомнишь ты оппортунизм. А просо чтоб завтра же было на ссыпном пункте».

Так я и откупился от оппортунизма просом.

Ну, посмеялись мы. А Петя Долгий и спрашивает:

— В самом деле, кто же такие оппортунисты?

— А кто их знает,— сказал Филипп.— Может быть, это тунеядцы, которых выселяют теперь в отдаленные места.

— Нет,— сказал я.— Оппортунисты это люди, которые не выдерживают руководящей линии. И поэтому за ними нужно следить.

— Ай да Булкин! — ск зал Петя Долгий.— Рано тебя на пенсию отправили. Ты еще пригодился бы кое-где.

— А что ж? Все может быть... И пригожусь еще...

О РАЗБОЙНИКАХ, О ХУЛИГАНСТВЕ И О ТОМ, КАК ВСЕ ЭТО ИЗМЕНИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ

У Матвея Кадушкина, садовника из деревни Малые Бочаги, на стене висит карта европейской части Советского Союза,— карта перекрещена черным карандашом; и как раз на пересечении линий жирный кружочек выведен. Это и есть Малые Бочаги. Пуп Земли. Тридцать верст до Брёхова и пять километров до Тиханова. Значит, наш район есть центральный, выставленный как бы напоказ. Поэтому раньше у нас было много бродяг, богомольцев, всяких калек, перехожих и воров. Рассказывают, якобы царь с царицей пеш прошли по нашему району (раньше — уезду), в Саров богу молиться ходили. Первых мы перевели начисто, уничтожили то есть, а

воровство еще осталось, как пережиток прошлого. И более того, оно усилилось хулиганством. Тут есть объяснение причины: наш народ раньше имел притеснение от помещиков и заезжей буржуазии, купцов то есть. Поэтому много было разбойников.

Возле деревни Желудево у нас городок есть — старинная крепость с насыпными валами. Все говорят, что там разбойник Кудеяр жил со своей шайкой. А на реке Прокоше даже целые разбойные села были,— это Слезнёво и Богомолово. Между ними река сильно сужается, перекаты идут. Вот на этих перекатах и работали разбойнички — купцов встречали. Те, бывало, подходят к верхнему селу Слезнёву — слезы льют. Проскользнут благополучно через перекаты, выйдут на простор к Богомолову — богу молятся. Тут уж не опасно — на лодке не догонишь.

Петя Долгий якобы в книжке читал: пуще всех разбойничали в нашем крае бабы. Мы даже поспорили с ним, потому как таперика, по моим наблюдениям, бабы, то есть женщины по-современному, работают, а мужики пьянствуют и хулиганят. Но Петя Долгий показал мне книгу тамбовского буржуазного историка Дубасова. И я прочел, будто и вправду бабы раньше разбойничали.

Один случай я даже переписал, чтобы вы сами смогли убедиться. Некий дворянин Веденяпин, проезжая из Елатьмы в свое имение Зуево, остановился у одной вдовы, тоже дворянки. И вот что пишет буржуазный историк со слов того дворянина Веденяпина. Беру в кавычки: «В то число, в полночь, к оной вдове приехала воровски М. А. Еталычева с людьми своими и со крестьяны из Матки, с попом Семеном Акимовым да церковником Силою Семеновым, и, связав меня, били смертно и топтали, и деньги 70 рублей моих отняли, и лошадь, мерина гнедова, отняли ж».

Или вот еще исторический пример (это я выписал из районной газеты соседнего города Кадома): «Кадомский купец Заливаев набрал шайку разбойников и ночью напал в городе на дом купца Лытина. Вооруженные ружьями и кистенями разбойники вырубили сенные двери и ворвались в дом. Причем растлили двух девиц и на рассвете вернулись благополучно домой...» — так и далее.

Тут мы скажем — эге! Разбой-то разбоем, но он классовый характер носит. Порождение антагонизма то есть. Я

хочу сказать — окраска у него была непримиримая. У нас же таперика если и случается драка, то только промеж себя и то по пьянке. Безо всякого антагонизма, по чистой дурости, можно сказать. А воровство бывает чаще всего из общественной кладовой накопления. И тут без антагонизма обходится дело. Случаются, конечно, и обострения, и даже судят. Особенно после указа насчет хулиганства и усиления борьбы с ним. Дак без этого тоже нельзя. Сами посудите. Взять хоть такой случай...

В прошлом годе только что район у нас открыли (на десять лет закрывали нас); пришел я в Тиханово насчет пензии. Поселился в доме приезжих. Дежурила как раз Агафья Ивановна. «Здорово!» — «Здорово!» — «Как вы, да как я... Давненько, мол, не виделись». Я, бывало, в бытность председателя повозил ей и кур, и гусей, и меду... Дело прошлое, как говорится.

— Жизнь к нам вернулась,— говорит Агафья Ивановна.— В магазинах и хлеб и сахар появился. Чего теперь не жить? Одно вот плохо — выбрали меня в судебные заседатели. И каждый день все заседаем.

— Чего вы там заседаете? Или вам делать нечего?

— Дак все судим. По новому указу за хулиганство. Вчера Валерку Клокова засудили. Шофера из Провотарова.

— За что?

— Колхозное собрание разогнал.

— Там же Иван Свиненков в председателях.

— В нем-то вся и притчина. Его раньше из потребсоюза в председатели к ним назначили. Ну! Когда район закрывали... А теперь открыли район — колхозники и говорят: «Забирайте его обратно». Но кому он нужен? Он же работает у них, а живет в Тиханове. И заместителя себе тихановского назначил. И тащат за компанию из Провотарова. Колхозники роптали, роптали. Да кто их слушает? А тут как раз отчетное собрание. Народ собрался возле правления, и председатель со своим заместителем тут. Вот тебе, подъезжает на самосвале Валерка, пьяный. Встал он на крыле и говорит колхозникам: «Чего вы по углам все шепчетесь? Вяжите Свиненкова да его заместителя и ко мне в кузов бросайте. Я их в Тиханово на свалку отвезу».

Все засмеялись. А Свиненков крикнул: «Взять его!» Бросился к нему заместитель. А Валерка в кузов. Там у него поленья лежали. Заместитель на колесо. Валерка его

хлоп поленом по голове. Тот с ног. Этот выпрыгнул из кузова — на него председатель сельсовета. Валерий выхватил из кабины насос... и того успокоил. Свиненков убежал. А Валерка залез на кабинку, как на трибуну, и говорит: «Собрание закрывается». Ну, посмеялись да разошлись. А этому вчера три года дали. Плакал-то... Трое детей осталось.

— Пусть поплачет,— говорю.— Тут потакать нельзя. Острастка — большое дело. Иначе диктатура ослабнет.

— Дак ведь и я не против,— сказала Агафья Ивановна.— Мы вот сегодня опять судим.

— Кого?

— С кирпичного завода. На трубу лазили.

— На какую трубу?

— Да на заводскую. Вон она торчит, как чертов перст.

Я поглядел в окно — как раз труба напротив была... высоченная!

— В ней,— говорю,— метров пятьдесят будет.

— Пятьдесят четыре метра.

— Зачем же они лазили?

— На спор. После работы Ванька Салазкин говорит: «Эй, вы, сосунки! Вот я сейчас залезу на трубу и куфайку на громоотвод повешу. Ежели кто из вас сымет, ставлю поллитру водки. А не сымете — с вас литр». Бригадир было не пускал его. Да он мотанул того: «Не твое дело!» Ну, залез он, повесил на громоотвод куфайку... Вон видишь, он еще отогнут в сторону.

Я посмотрел в окно — громоотвод и в самом деле отогнут был.

— Кто же снял куфайку?

— Витька Бузинов. Подумаешь, говорит, дерьма собачьего! Куфайку повесил на громоотвод. Взял он гармошку, ремень через плечо и полез. Залез на трубу, снял куфайку. Еще покрутил ей над головой и бросил. Потом сел на край трубы, страданье сыграл: «Ты, залетка, залетуха, полети ко мне, как муха». Потом и гармошку бросил. Встал, походил по краю трубы... Еще кепочкой помахал. Стал слезать — ухватился за крайнюю скобу, она вместе с кирпичом и вывалилась. Он и полетел.

— Разбился?

— Нет, жив... Вот сегодня судить будем.

— За что же? За то, что упал?

— Да судить не Витьку, а Ваньку Салазкина. Того,

который куфайку вешал. Бригадира ударил. Руку поднял.

— Ну, за это следует,— говорю.— Руку подымать нельзя.

Пошел я на кирпичный завод; надо проверить, думаю. Что за чудо? Пятьдесят четыре метра пролетел человек и не разбился.

Подхожу. Они все сидят возле красного уголка, суда ждут. А судья-то в Рязани застрял.

— Чего ж вы,— говорю,— на трубу лазаете?

— А чего ж делать? Работа ноне в пять часов кончается.

— А культурно-массовые мероприятия,— говорю.

— Это чего? «Козла», что ли, забивать? Итак руки все отколотили.

— Как же это он не разбился?—спрашиваю.— Святой, что ли?

— У нас там, возле трубы, навес, крытый шифером. Над мотором для подкачки тяги. Он и угодил на этот навес. Навес с прокатом. Вдребезги разбился. Витька пробил крышу да угодил на сетку металлическую—каркас над электромотором... И сетку погнул.

— И долго лежал?

— Да ну!.. Сам встал. До больницы дошел. Вроде бы в больнице дня два кровью помочился. А так ничего.

— Где же он сейчас?

— В чайной водку пьет.

Осмотрел я и навес пробитый, и сетку металлическую—как зыбка прогнулась... Пришел в чайную. Там Свиненков как раз сидел, председатель из Провотарова. «Привет!»—«Привет». Сели, взяли бутылку «райкомовской» (это перцовку у нас так называют), разлили. Я ему рассказываю про чудо на трубе, а он мне:

— Вон,— говорит,— он, герой! Витька Бузинов.

Тот ходит и в самом деле героем—свитер на нем в полоску, да еще шарф пестрый поверху. У одного стола выпьет, к другому садится.

— Витя, давай к нам!—позвал его Свиненков.

Он подходит, берет мою стопку—и в рот.

— Привет,— говорит,— Свиненкову!

А мне руку подает, как тот космонавт:

— Виктор Бузинов.

Я тоже называюсь:

— Булкин Петр Афанасиевич, из Брёхова.

— О-о! — ахнул он. — Уже туда пошло.

— Витя, — спрашиваю его, — долго ты летел с трубы?

— Долго.

— Успел что-нибудь подумать?

— Успел.

— О чем же ты думал, когда летел?

Он выпил еще и говорит:

— Лечу я с трубы и думаю: вот дьявол! Опять дома будет неприятность...

Как видите, все здесь сводится к чисто домашним неприятностям. Никакой непримиримости тут нет. Ну самое большое — это недоразумение в масштабах колхоза, как было в случае со Свиненковым и шофером из Провотарова. Опять-таки чисто местное противоречие. В самом деле — все встало на свои места: и председатель работает, и его заместитель. И колхозники, то есть общество, не страдает от такого хулиганства. А ежели общество не страдает, то, значит, никакого антагонизма в нем нет. Дурость одна, и больше ничего.

КАК МЕНЯ СУДИТЬ ХОТЕЛИ

Погорел я на мелочи — обиделся на меня Семен Мотяков через заведующую райздравотделом Степаниду Пятову.

Женщина она была образованная и потому в любой мороз ходила не в валенках, а в белых ботиках, которые натирала мелом или зубным порошком. Однажды в предвыборную кампанию поехали они по району для встречи с избирателями.

Позвонили нам из района. Мы вышли встречать их всем колхозом. Стали вдоль дороги на краю села, ждем-пождем, а их все нет. Уже стемнелось. Мужики спор завели; одни говорят — депутат едет, а другие — кандидат. А Парамон Дранкин говорит: «Дурачки! Ни то, ни другое... А едет к нам депутат в кандидаты».

Наконец показались... На паре едут, с колокольцами. И песняка наяривают — пьяные. Мы: «Ура! Ура!» — и шапки вверх бросаем. А они галопом мимо нас... Свернули к моему дому. Бегу.

Маруська моя уже печь растопила и возле огня ноги Степаниде растирает. Говорит, с пару зашлись. И ботики ее тут же валяются, как деревянные колодки. Мотяков

ходит по горнице босой, депутата нет, а Смирнов, агитатор, на стол облокотился и вроде бы заснул.

— Петька! — говорит мне Мотяков.— Народ собрал?

— Дак вы же сами видели. Мимо проехали.

— Это на случай проезда... А для политической беседы?

— Все пошли в клуб.

— Хорошо. Потормоши нашего агитатора. Веди его к народу...

Я только тронул его за плечо — он встал, как по команде.

— В каком направлении идти? — говорит, а сам за стул держится.

— Может, отложим на утро? — спрашиваю Мотякова.

— Веди! Он человек привычный.

И в самом деле привычный... Пока вел его до клуба, он висел на мне. Но как только увидел трибуну на сцене — сразу воспрянул, оттолкнул меня, сам дошел, обнял ее обеими руками и заговорил, будто с перерыва вернулся:

— Товарищи! Как мы все с вами знаем — наши достижения налицо...

Ну, шире — дале. Рассказал о росте благосостояния народа, о происках международных агентов империализма, и про двенадцать держав, которые шли на нас в гражданскую войну, и про внутреннюю контрреволюцию на колхозном фронте, и про путь к изобилию. Словом, все этапы исторического развития отметил. И заздравием кончил за кого следует. Все честь честью...

Что значит — была верная руководящая линия! Даже ребенок знал, с чего начинать надо и чем кончать. И на каких этапах остановиться... то есть все перечислить по порядку... Вот что главное. А таперика некоторые говорят, что, мол, в любом выступлении главное, якобы, есть внутреннее содержание. Но позвольте задать вопрос: что важнее, порядок или внутреннее содержание? Конечно же порядок, потому что он задается враз и навсегда и спускается он сверху. За ним можно следить, его удобно контролировать. А как ты проконтролируешь внутреннее содержание? Во-первых, его сочиняют все, кому не лень, а во-вторых, оно бывает разное. Поэтому я и говорю: надо иметь что-нибудь одно — либо порядок и дисциплину, либо внутреннее содержание. Но еще неизвестно, куда оно приведет. Вот так.

Таперика возвратились мы домой с агитатором. Я еще Якова Ивановича с собой прихватил — бухгалтера. Пельменей много наделала Маруська, и водки всем хватит. Пей, по случаю народного гуляния.

Приходим ко мне домой — за столом одна Маруська.

— В чем дело? Где остальные?

— Они в горнице, обогреваются...

Я шасть в дверь. Брат родной! Семен Иванович ее приобщает прямо в кровати. Остолбенели мы все на пороге, язык не поворачивается. А Семен Иванович эдак, через плечо:

— Ты что, провокации в собственном доме устраиваешь?

— Пельмени готовы...

— Да подавись ты своими пельменями. Закрой дверь!

Я прикрыл дверь, а в горнице завозились. Ну, будет буря. Мой бухгалтер выпил стакан водки, утерся — и только его видели. Агитатор захрапел на диване, а мы с Маруськой сидим друг перед дружкой, нос к носу, как две кукушки на старинных часах — в пору только закуковать.

Наконец выходят они одетые из горницы. Степанида сняла свои ботики с печки и стала надевать их. Потянет, потянет, да как топнет ногой вроде бы на меня и на Маруську. Мы только вздрагиваем.

— Скажи, чтоб запрягали,— приказал мне Мотяков.

Я кликнул кучера — он в соседней избе расположился. Тот в момент запряг. Входит с ним. Мотяков и не глядит на меня.

— Лошади готовы?

— Так точно,— отвечаю.

Он покосился на Смирнова. Тот храпит в обе ноздри.

— Утром привезешь его на своих лошадях в Свистуново... А насчет горницы не вздумай трепаться. Язык отрежу!

И уехал. Встал наутро мой агитатор и спрашивает:

— Ну, когда мы встречу проведем с народом?

— Дак вы уже,— говорю,— выступили.

— Когда?

— Вчера вечером.

— Да ну? Убей — не помню. И что же я говорил?

— Хорошую речь произнесли. Точь-в-точь как по бумажке.

— А что я, сидел?

— Нет,— говорю,— за трибуну держались.

— Ну, спасибо, Булкин. Хорошо у тебя служба поставлена.

Мне бы, дураку, промолчать, а я обрадовался этой похвале и говорю:

— Вы бы это Семену Ивановичу сказали, а то он остался недоволен. Уехали по служебным надобностям.

— Что ему, водки не хватило?

— Потревожили его ночью... Петухи поют, собаки лают. Деревня!

— Ничего... Я все улажу.

Вот тебе, неделя не прошла — вызывает меня Мотяков. Сидит в кабинете один и руки не подал. Я было на стул присел, возле двери. Он поманил меня пальцем:

— Подойди-ка к столу. Хочу на тебя посмотреть.

Подхожу, смотрю ему на стол; перед ним лежит разнарядка на заготовку леса по колхозам. Он меня распекает, а я ту разнарядку читаю — кому сколько кубов запланировано.

— Я еще понимал бы,— говорит,— ошибся, допустим. Подглядел чужую личную жизнь. Но чтобы агитатора в курс дела вводить! Этого я тебе никогда не прощу.

Отчитывал, отчитывал, потом и говорит:

— Ступай к председателю райисполкома на совещание. А я подумаю насчет твоего поведения. Как с тобой поступить.

Заест он меня таперика, думаю. Иду в райисполком, а самому и в голову ничего не лезет. Какое тут совещание, ежели Семен Мотяков тебя за штаны взял. Кабы по миру не пустил в чем мать родила?

Ну, собрались мы, все председатели. Глядь — и сам Семен Иванович идет, в руках держит тую самую разнарядку. Садится он за стол рядом с председателем райисполкома и говорит:

— Товарищи руководители колхозов! Мы вас пригласили посоветоваться. На совесть вашу, значит... Кто сколько может заготовить и вывезти лесу? Сами понимаете, обстановка требует. Соседи взяли высокие обязательства. Неужели мы отстанем?

Значит, выколачивать высокий процент решили. Вроде бы как добровольно... Перекрыть контрольную цифру, что у них в разнарядке. Надо бы мне промолчать, а я ляпнул не подумавши:

— Дак у вас же есть разнарядка... Там все расписано.

Мотяков аж подпрыгнул:

— Кто тебя уполномочил выступать за райком партии? Ты кто такой? Тебя допустили к священному столу секретаря райкома, а ты бумаги на нем читать?! Не дозрел ты еще до руководителя...

И дали мне строгача. А потом уполномоченные зачастили. Первым нагрянул к нам секретарь по животноводству. Целый лагун медовухи выпил. Красный сделался, глаза выпучил и все приглядывается — за что бы зацепиться. Идет, ноги в стороны расставляет, вроде бы у него промежность распирает. А навстречу по селу конюх наш на жеребце едет, все с галопа осаживает того на рысь... Тут секретарь и зацепился.

— Кто дал право ездить на производителе? — спрашивает меня.

— Это не езда, а проминка.

— Кто же проминку делает галопом?

— Где же ты видишь галоп? Это рысь!

— Не рысь, а галоп!

— Может, иноходь тоже галоп?..

Ну, шире — дале. Заходим в кабинет — он на меня:

— Тебе, — говорит, — не токомо что людей — производителя доверять нельзя. Сдавай дела!

Ну, меня и взорвало — я тоже лагун выпил. Хватаю свою печать, обмочил ее чернилами и шлеп ему в будку:

— На, руководи!..

Щеки у него пухлые и потные. Печать моя смазалась, и потекло ручьями по щекам.

— Ах, так! — он схватил чернильницу — да в меня.

Я ей на лету ладонь подставил — все брызги опять в него. Он хватает телефонную трубку и прокурору:

— Прошу, — говорит, — арестовать Булкина. Он руку поднял на районную инстанцию, на меня то есть.

А тот его и спрашивает: на бюро, мол, разбирали? Нет? Тогда обождем...

И вот вызывают меня на бюро. Я нарочно надел тот самый китель, в котором сражался с секретарем по животноводству, — когда он запустил в меня чернильницей — рукав у меня залило.

— Как же, — говорю, — так выходит? Я его якобы избил чернильницей, а чернила на меня полетели?

— А кто тебе дал право ставить служебную печать на руководящее лицо? — спрашивает Мотяков.

Я было насчет производителя заикнулся, но меня и слушать не хотят. «Тут, — говорит Мотяков, — дело не в

жеребце, а в политике... Дать ему строгача!» И записали мне двенадцатый по счету выговор. А про себя они постановили — проверить мою черную кассу и отдать меня под суд. Но кто не имел в тую пору черной кассы?

Накануне этого бюро авария у нас случилась. Дали нам за молоко новый ГАЗ-51. А шофера нет. Тут как раз из армии пришел племянник Сморчкова, счетовода нашего. У меня, говорит, есть права. Вызвали мы его на правление и решили ему дать новую машину. Оказалось, что эти права он где-то спер и подделал. Поехал он на другой день в город и врезался в МАЗ. Звонят мне оттуда — выезжай, забирай свою телегу! Едем с Сашкой на конях в область. Двести километров за сутки покрыли. Являюсь в рембазу. «Выпиши, говорят, наряд».— «Когда машину исправите?» — «Через полгода».— «Брат родной?! А на чем урожай вывозить?» — «Это дело нас не касается...» — «Поедем, Сашка, в Пугасово...»

Взяли мы бочку меду, мешок муки. Ходы знакомые... Заехали сначала в Тиханово, по фляге меду — литров по сорок завезли начальнику милиции Змееву и прокурору Абрамкину. Приняли... Ну, значит, тормоза поставлены. Таперика газуй до поворота — шламбалка открыта.

Заехали мы на Пугасовскую автобазу, показали кому надо свое добро... Ну, что ты? За это самое не токмо что машину починить — кишки тебе новые поставят. Через неделю загудела моя машина, только куры разлетаются с дороги.

А мед и муку списали мы по черной кассе, якобы за ремонт. Вот на эту свежую раструску они и побежали, как мыши...

Приезжает ко мне не кто иной, как сам начальник милиции Змеев:

— Петр Афанасиевич, я к тебе на случай выявления хулиганства. Братья Хамовы с Дранкиными подрались.

— Чего их выявлять? Забирай и тех и других. Все они виноватые.

— Так-то оно так, но мы все ж таки власть. Нельзя забирать огульно. Надо выявлять по очереди.

— Ну, выявляйте.

Поселился он у меня. Пьет, ест, на улицу глаз не кажет. А мне не жалко. Живи! Чего у меня не хватало? Одних баранов было двадцать штук, да две свиньи. Пей, Змеев, ешь! И я вроде бы ничего не замечаю. А он нет-нет да и сходит в бухгалтерию. Выбрал там докумен-

ты насчет меда и муки и уехал. А на прощание сказал Якову Ивановичу: «Смотри у меня, Булкину ни слова. Не то вместе с ним загремишь».

Но Яков Иванович напился у меня и все рассказал. «Подлец я, говорит, иуда-предатель. И хуже того — сотрудник. Привлек он меня на свою сторону. Хочешь — мне сейчас плюй в рожу, хочешь погоди. Но все равно я тебя уважаю...» Признается он, а сам плачет. Перепили мы.

На другой день поехал я в район. Захожу в магазин — Змеев как раз там:

— Здорово! Ты где остановился?

— У приятеля.

— Нет уж, давай ко мне. Располагайся, как дома.

— Это где? — спрашиваю.— В камере, что ли?

Он и остолбенел.

— Спасибо,— говорю,— Змеев, что не побрезговал моей хлеб-солью.— И пошел прочь.

А он мне вслед:

— Ты вот как заговорил... Ну, погоди, ты у меня запоешь по-другому.

Не успел я до своих дойти, как догоняет меня наш милиционер Тузиков:

— Петр Афанасиевич, срочно в кабинет Змеева.

Прихожу. Он с улыбочкой приглашает к столу, на «вы», якобы незнакомого. Сажусь.

— Прокурор приказал арестовать вас насчет кражи и следствия.

— Вам,— говорю,— виднее. Вы — люди при исполнении обязанностей.

— Напишите, товарищ Булкин, объяснение. Куда вы бочку меда дели?

Я написал — сто двадцать литров на ремонт ушло, сорок литров начальник милиции взял, тов. Змеев, а сорок литров прокурор Абрамкин. И подаю ему тоже с улыбочкой; обращаюсь на «вы», якобы незнакомы.

— Здесь, товарищ начальник, все расписано.

Он прочел и ногтем свою фамилию подчеркнул:

— А это зачем? Сними мою фамилию. Я же к тебе по душевной откровенности, вроде бы предупреждаю тебя.

— Спасибо за вашу заботу, а вычеркнуть не могу.

— Это еще доказать надо. Я у вас не брал.

— Точно,— говорю.— Я вам лично не давал. Брала ваша жена от моего кучера. Мы порядок тоже знаем.

— Шельма! А ежели я тебя посажу?

— На то вы и состоите при исполнении обязанностей.

Так он меня обнюхивал, обнюхивал, а взять боялся. Но тут случилась история — на место Мотякова прислали нового секретаря Демина. А я попал под кампанию: кто из председателей не окончил ЦПШ, ШКМ или хотя бы ШКШ — увольнялись. Новый секретарь Демин привез в Брёхово нового председателя Петю Долгого. А мое увольнение пошло в зачет — растраченный мед покрыло.

Сноска: читателям, которые не знают, что такое ЦПШ, ШКМ, ШКШ, объясню: ЦПШ — есть сокращенно церковно-приходская школа; ШКМ — школа крестьянской молодежи, а ШКШ значит школа кройки и шитья.

ПЕТЯ ДОЛГИЙ

Я все логически себе воображаю: почему Петя Долгий поднял колхоз? На этот вопрос ответил мой брат Леванид. Дурак, говорит, тот коммунист, кто хочет построить коммунизм своими собственными руками. Надо строить его сообща, в том числе и руками врагов. И вот я логически себе воображаю: у нас есть руководители, которые не токмо что врагов не приобщают к строительству светлого будущего, но даже мужикам не доверяют. Да что мужикам! Отцу родному не доверит.

Помню, на другой день, как меня сняли, Петя Долгий сказал:

— Петр Афанасиевич, может, ты за ферму возьмешься?

— Пустое дело,— говорю.— Там никто не работает.

— А ты попроси.

— Да я уж просил.

— Кого?

— Всех.

— Ну с кем вы говорили персонально? К кому ходили?

— Да по совести сказать, ни к кому. Я ведь их и так, паразитов, знаю — не пойдут.

— Вам, товарищ Булкин, надо идти не по руководящей линии, а по командной. Переходите в сельсовет, пока не поздно. Не то еще посадят.

И верно. Тут как раз ходили слухи, будто на меня снова материал написали. И ведь помог же мне устроиться председателем сельсовета. А иной пустил бы меня по линии врага народа.

Я прошу не путать врага обыкновенного с врагом народа. Враг обыкновенный временно недопонимает наших преимуществ, вроде бы заблуждается. Его надо перевоспитывать и привлекать к работе. Враг же народа все понимает. Находится он в нашей среде и вредит от своего бессилия. Его надо изобличать, изолировать от общества и привлекать к суровой ответственности, то есть репрессировать в тюрьму.

Таперика опишу вам Петю Долгого. Человек он еще молодой, но женатый, детей имеет. А на должность заступил совсем юнцом — и тридцати годов не было. Но росту здоровенного, через иную лошадь перешагнет. Кулаки что кувалды. А с лица смирен, белобрысенький, вроде бы подслеповатый — все прищуркой смотрит.

Приехал к нам с одним чемоданом, как тот студент — в белом костюме и в босоножках. Поселил я его к старухе Бухрячихе. Спрашиваю ее через недельку:

— Ну, как, баб Васюта, не пьет новый председатель-то?

— Не пьет, кормилец, не пьет. Я уж ему и лагушок ставила, и самогоночки... В рот не взял. Только вот ходит в подштанниках. И ботинки на нем с боков худые — на одних ремешках держатся. А намедни спрашивает: «Бабушка, трусов у вас в магазине не продают?» — «Нет, говорю, до такой срамоты еще не доходили».— «Как же мне быть? Белья-то я не взял с собой». А я ему вроде бы со смехом: «У меня есть Ванюшкины кальсоны. На». И он принял... Надел, а они ему по колено. Долгий, как столб телеграфный.

С той поры и прозвали его Петей Долгим. И пошло гулять по селу:

— Вот так председатель! В Ванюшкиных кальсонах ходит.

— Поизносился, бедный, в дороге-то.

— Зато у нас оперится. Должность прибыльная.

— Мужики, не верьте ему. Он хитрит. Деньги у него есть. Он вроде бы из этих тридцатитысячников. Ведь как-никак, а тридцать тысяч ему сунули для чего-то.

— Известно для чего... завлекать нас начнет на работу этими тысячами.

И вот он первым делом объявил:

— С нового года станем платить не трудоднями, а деньгами.

А ему Корней Иванович Назаркин:

— У бога новых годов много...

А Петя Долгий свое:

— С января колхозники переходят на зарплату. Каждый месяц аванс будете получать.

Собрание проводили в школе; народу привалило полным-полно — и в классе, и в коридоре, и на крыльце.

— А если дохода не будет, чем заплатите? — спросил Парамон.

— Свиноферму продадим — а заплатим,— ответил Петя Долгий.— Буря пшеницу положит, вода кукурузу зальет, но ваша зарплата будут стоять... как у рабочего класса.

— А как быть с минимом? — спросили его.

— А миним,— говорит,— отменяется.

Тут ему окончательно не поверили. Посмеиваются мужики. У нас ведь как было с трудоднями? Установлен миним в сто тридцать пять трудодней. Ты его отработал — и делай что хочешь. Можно, к примеру, на лесозаготовки идти или кирпич бить в Тиханово. Но ежели у тебя минима нет, ты вроде бы в зависимости: во-первых, никуда на заработки не пустят; во-вторых, могут обложить двойным налогом в размере одна тысяча семьсот рублей, как единоличника. Раньше брали налог с коровы, с овцы, даже с козы шерсть брали. Хоть и нет на козе шерсти, но отдай. Где хошь бери. Чего посеял, с каждой сотки — опять налог. А ежели минима нет — все в двойном размере. Вот мужики и смеются: «Как же так? Ежели ты отменишь миним, все на сторону уйдут».

А ежели он платить станет и в самом деле? Но чем? Денег на текущем счете ни копейки — одни долги. А что и появляется, все идет в погашение или в неделимый фонд, государству то есть.

— Я вам вот что скажу, мужики,— подмигивал Корней Иванович,— те тридцать тысяч, что ему дали в городе, он пустит в оборот. Половину из них он, поди, уж проездил да проел. А половину нам отдаст. Кто его проверит? Потом сядет да уедет. А у нас коров поведут. Нет, денег этих брать нельзя.

Упорный был старик этот, Корней Иванович. Когда в январе и в самом деле платить стали на трудодни, он сперва послал в правление внука своего, Максимку:

— Сходи-ка, сходи... Да посмотри, чем платят. Може, облигациями?

Но вопрос с закорюкой в том, как Петя Долгий

изловчился? Откровенно сказать вам — ни за что не поверите.

А дело было так. На нашей лесопилке заготовлены были доски на новый свинарник. Вот эти доски он и пустил в оборот. Вызвал пильщиков и говорит:

— Распилите мне все эти доски на штакетник.

Ваша команда — наше исполнение... Распилили. Вот тебе, он по радио объявление делает.

— Кому нужен штакетник, приходите в контору, покупайте за наличный расчет.

И народ валом повалил в правление. Огороды, пожалуй, с единоличной поры не огораживались, потому что равнение держали на общественный сектор. Пока мы темпы давали, бабы поразвели коз: рога и копыта есть, а молока нет. Скотина эта нахальная и очень зловредная насчет огородов. Собака в дыру не проскочит, а эта пролезет. Дуры бабы! Не учли такого оборота. Сами же потом плакались.

Вот бабы и слетелись в правление за штакетником, как куры на просо. И такой гвалт устроили — прямо друг на дружку лезут, давятся. Боялись, что всем не хватит. Тут к ним вышел Петя Долгий и говорит:

— Успокойтесь, дорогие хозяюшки! Штакетнику всем хватит. А ежели вы хотите иметь новые заборы, записывайтесь в очередь у Якова Ивановича. Мы создадим бригаду строителей и все ваши огороды по шнурочку огородим. Деньги вносить сразу, по пятерке за погонный метр.

Бригаду такую создать — плевое дело. Кто не охоч до своих же огородов?

Петя Долгий сам разбивку сделал; не успел как следует проверить, — глядь — приезжает «газик». Уполномоченный из райкома!

— Хорош председатель! — кричит из кабинки.— Предвыборная кампания, а он огороды городить. Наглядной агитацией заниматься надо.

А Петя Долгий ему:

— Вот я и занимаюсь наглядной агитацией.

— Нет! Это мы тебе покажем наглядную агитацию... на бюро!

— Это когда еще будет, а я вам сейчас покажу.

Петя Долгий пошел к машине и указал своей пятерней на околицу:

— Вон, видишь дорогу! Ну и катись, пока не поздно.

— Я приехал на помощь! — кричит уполномоченный.

— Тогда вылезай из машины, бери молоток, гвозди и прибивай штакетник.

— Вы что, издеваться? Ладно!..

Нашего уполномоченного только и видели.

— Ну, Петр Ермолаевич,— говорят ему мужики,— за этот самый забор они вас и упрячут.

— Вот и давайте поскорее огородимся. Навались, пока видно, чтоб другим было завидно! — посмеивается Петя Долгий.

И огородился! А к концу месяца колхозники деньги внесли за ограду. Он этими деньгами с ними же расплатился.

— Что это выходит, мужики? — говорит Корней Иванович.— Он нашим салом нам же по сусалам.

И скажи ты на милость! Пошли в феврале колхозники на работу... Интерес появился. А более все оттого, что хотелось знать — как же он вывернется вдругорядь. Подошел конец месяца, он вызывает бухгалтера:

— Яков Иванович, сколько у нас дохода поступило за молоко и мясо?

— Тысяч сто тридцать.

— Поезжайте в банк и все их снимите.

— Как — все? Для чего?

— Зарплату будем выдавать колхозникам...

— Все деньги на зарплату? А неделимый фонд?

— Осенью у нас денег будет много, тогда и в неделимый фонд отчислим. А пока он может подождать.

— Хорошо... Но надо бы согласовать.

— Соберем собрание и согласуем...

— Да нет! Надо с районом.

— Яков Иванович, мы сами хозяева.

— Слушаюсь...

И на этот раз вышло. Но когда весной Петя Долгий до свинофермы добрался, тут уж приехал Семен Иванович Мотяков. Актив собрали, и сцепились они с Петей Долгим.

— Авторитет себе дешевый зарабатываешь! — кричал Мотяков.— Подачки бросил колхозникам... Как же, зарплату выдал! Все это идет от теоретической беспечности.

А Петя Долгий с улыбкой:

— Правильно! И Маркс был беспечный человек. Он еще сказал: «Если производителю не дать всего необходимого для жизни, он все равно добудет это иными путями».

Мотяков только головой мотнул и продолжал свое:

— Нам ли заигрывать с колхозниками? Зарплатой трясти перед носом? Период агитации за колхозы давно окончен. Работать надо, враз и навсегда!

— Вот мы и работаем,— отвечает Петя Долгий.

— Нет, вы развалом занимаетесь! Свиноферму распродаете.

— Зато укрепляем молочную ферму. У меня луга заливные, а вы мне свиней суете. Зачем?

— Затем, что они в плане. А план есть государственное задание,— напирал Мотяков.

— План составляете вы, а вы еще не государство.

— Зато я смогу запретить вашу антигосударственную практику! — Мотяков выпил стакан воды, взял свой портфель и уехал.

Думали, на этот раз снимут нашего Петю Долгого. Но тут посевная приспичила, народ на работу валит — колхоз передом идет...

Как тут снимать председателя! Ладно, строгача ему дали. Авось, мол, одумается.

А он опять за свое. «Хлебороб, говорит, у хлеба живет. Так пусть он о хлебе не думает. Дадим ему хлеба вволю!»

И вот решили на правлении: ежели ты имеешь двадцать три выхода в месяц, то кроме заработанных денег дадут тебе по пуду хлеба на едока по государственной цене, то есть почти даром. А ежели ты вдова, то хлеб на всех твоих едоков идет бесплатно. Куда с добром! Повеселел народ. Прямо не работа пошла, а песня с пляской. Сочинять стали: музыка Глуховой, слова Хамова, так и далее.

Но не успел еще урожай созреть, нам — бац! Из района новое задание — сдать три плана. Брат родной! Восемнадцать тысяч центнеров! Мы подсчитали: выходит тютелька в тютельку — сколько уберем, столько и сдадим. Под метелочку. Петя Долгий уперся: половину, говорит, сдам, а остальное колхозникам и на семена. Тут я должен сказать, он проявил политическую безграмотность. Настоящий коммунист как должен поступать? Ты за колхозников переживай, а государству все отдай сполна, что потребуют. И правильно ему Мотяков сказал: «Ты колхозников ставишь на первое место, а государство на второе. Отстраним!»

Приехали в колхоз трое, во главе с Мотяковым:

— Собери массу! Говорить будем.

Ладно, собрались на собрание...

— Товарищи! — выступает Мотяков.— Вы знаете, что все мы переживаем очередную трудность... Засуху и недород.

— Она, засуха-то, больно чудная,— говорят мужики.— Вон через дорогу, в Прудках, засушило, а у нас нет. Вроде бы одна небесная канцелярия над нами.

— Небо одно, да молитвы другие,— крикнули с места, и все засмеялись.

— Товарищи, не будем ссылаться на объективные трудности. У вас уродилось лучше, вы и должны пример показать. Откликнемся на призыв партии — сдадим нашему государству двадцать тысяч центнеров!

А кто-то из зала:

— Зачем двадцать тысяч? Давайте сдадим тридцать! Вот это по-нашему.

— Правильно! — Мотяков аж руками потер.— Не то некоторые маловеры и скептики отказываются,— он покосился на Петю Долгого.— Ничего, трудовой народ поставит их на место, враз и навсегда.

А Петя Долгий как бы ни в чем не бывало подымается и говорит:

— Ну что ж, товарищи колхозники, давайте считать — что у нас уродилось.

Считали хором — все поля наперечет знали, а Мотяков записывал. Считали, считали,— и двадцати тысяч не набрали.

— Извините,— говорят Мотякову,— чего не можем, того не можем. Сами вы считали.

— Вы что? Посмешище из меня делать! — рявкнул Мотяков.— Не советую:

Вышел с собрания, не попрощавшись. А на другой день вызвали на бюро Петю Долгого. И навалились на него сообща:

— Что?! Народ настраивать? Да это ж саботаж! Проси прощения! На колени!

А Петя Долгий:

— На колени перед вами становятся те, которые работать не умеют, да еще бездипломники. А я академию окончил. Для меня работа всегда найдется.

Резолюцию вынесли — снять! Но будто бы первый секретарь Демин заступился: «Без колхозного собрания не имеем права». У нас, говорит, эта самая — демократия.

Ладно... Демократия демократией, но все ж таки привезли с собой на колхозное собрание и прокурора и начальника милиции. И даже милиционер Тузиков приехал. Правда, в зал его не пустили — он у входа стоял.

Мотяков сел в президиум. По правую руку посадил с собой начальника милиции Змеева, по левую — прокурора Абрамкина.

— Ну, кто говорить будет?

Тут ему устроили нашу брёховскую канитель. Как-то я уже писал,— народ у нас дружный. Ежели сопрут чего — убей — не допытаешься... Мотяков, значит, требует обсуждать Петю Долгого, а конюх наш Матвей Глухов встал и говорит:

— Я вот насчет сбруи хочу сказать. Что ж это получается? Потник весь изопрел, а за тобой его числят, как новый. Он не токмо что в упряжку, на подшивку валенок и то не годится.

Мотяков горячится:

— Вы мне бросьте эти прелые потники, враз и навсегда! О руководстве говорить надо.

— Дак и я про то же самое. Ведь сколько наш председатель одних прелых потников списал! А таперика возьмем старые хомуты. У иного не токмо что обшивка, клещи раскололись... А мы председателя менять...

Ну, шире — дале. Такую чепуху все понесли, будто сговорились. До полночи мололи. Абрамкин и Змеев не выдержали, шепчут Мотякову: «Ставь на голосование, не то мы все с голоду подохнем».

Я тоже в президиуме сидел. А чего тут голосовать? Итак ясно — все за Петю Долгого. И соперника не было — я наотрез отказался. Легко было после Фильки Самоченкова идти. А после Пети Долгого, ну-ка сунься! Опозорят... Ворота дегтем вымажут, не то по пьянке котел на голову наденут. Народ у нас отчаянный. Так Мотяков и уехал ни с чем.

А осенью колхоз наш в передовики вышел,— больше всех зерна сдал. И убрался раньше всех. Тут уж Петя Долгий силу взял, круто пошел вверх. Оно, может быть, и его осадили бы, когда кукурузу толкали да луга распахивали. Но почему-то район закрыли; Мотякова пустили по речным кадрам, а нас в Пугасово отдали.

И оказались мы на отшибе. Кому на счастье, а кому и в горе. Колхоз наш таперика круглый миллионер. Хотя, по совести сказать, во многом и не по правилу хозяйство

ведется. Но у председателя авторитет, он две машины легковых имеет и в депутаты вышел. Ему просто не укажешь...

А меня лишили последней руководящей должности с окладом. Укрупнили сельсовет, прислали нового председателя из города. Окончательно перестали ценить у нас местные кадры. Варяги в моду вошли.

На этом исторический эпизод моих писаний оканчивается. Колхоз встал на ноги. Для него всякая история кончилась. Потому как история есть борьба. Она перешла в другую область. История таперика вся кроется в идеологической борьбе на литературном фронте. Все это нам надо хорошенько уяснить и проявлять бдительность.

О ТОМ, КАК НАДО НАВЕСТИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Хоть я и написал в самом начале, что жить мы стали хорошо, даже лучше, чем при коммунизме, а все ж таки порядок окончательный наводить надо. И наводить его надо как во внутреннем плане, так и в международном.

Мы не должны забывать, что все человеческое общество делится на классы, то есть на сторонников и на противников труда. Классы-сторонники осознают жестокую необходимость труда, а классы-противники предпочитают свалить эту жестокую необходимость на плечи своих же собственных соседей. И вот в связи с таким разделением общества на классы мы видим очередное противоречие природы; таперика каждый человек любит свободу в своих личных действиях, то есть независимость, самостоятельность, так и далее. С точки зрения отдельного человека свобода действий может быть даже идеалом. А ежели взглянуть на этот идеал с общественной точки зрения, то мы увидим в нем величайшее зло. Ибо верно подмечено — и вор любит свободу. Ну, дай ты свободу каждому. И что же получится? Во-первых, разбегутся; во-вторых, уедут туда, где лучше жить... Более того, несознательные элементы даже за границу подадутся. А кто же тогда будет работать на полях? Вот и выходит — сила человечества состоит в единстве всех действий, а независимость отдельных членов общества, их свобода действий ведет к анархии. Поэтому мы должны крепить единство наших рядов и строить светлое будущее не

только теоретически, но и практически. Давайте же подойдем к этому делу организованно: выделим такое местечко и начнем строить город будущего строго по науке. Вот и подсчитаем на этом примере — во что обойдется нам всеобщее строительство. И начнем привлекать народ. Законно!

После постройки этого города мы могли бы показать воочию, как выглядит человек будущего. Стали бы возить туда все иностранные делегации, чтобы и они наконец поняли преимущества нашего строя. Я со своей стороны предлагаю построить такой город на нашем брёховском бугре. Очень красивое место, и видно далеко.

Такой город будет вроде бы маяком, по которому можно выверять линию главного направления. А то что у нас порой получается? Чем лучше мы живем, тем все более отклоняемся. Возьмем хотя бы такой факт: все колхозы ждут очереди на дефицитные стройматериалы: на шифер, на цемент, на железо, на машины, так и далее. А наш председатель Петя Долгий, пользуясь своим авторитетом и связями, достал все это на стороне. Он построил вне очереди механизированную ферму на шестьсот голов, дождевальные установки провел на тысяче га. Да мало того, он проложил у себя в колхозе асфальтированную дорогу.

Давайте разберемся с государственной точки зрения — хорошо это или плохо? Дороги с твердым покрытием должны прокладываться в первую очередь там, где больше ездят; сначала — дороги областного значения, потом районного и в последнюю очередь местного. А Петя Долгий нашел шибаев-грузин, которые продали ему битум, и все сделал наоборот. Вот вам пример мещанского, местнического, националистического подхода к строительству светлого будущего.

Жить для того, чтобы навести окончательный порядок на земле, то есть превратить этот ад в земной рай для сторонников труда — вот цель моей жизни.

Но на нашем пути стоят всякие дельцы, националисты, маловеры и скептики, то есть ревизионисты, которые пытаются выделить свое «я» из нашего общего «мы». С ними мы должны решительно бороться на два фронта, ибо они не только наши враги, но и враги своего народа, стало быть, враги и для самих себя.

1968

ПОЛТОРА КВАДРАТНЫХ МЕТРА

Повесть-шутка в четырнадцати частях с эпилогом и сновидением

ГЛАВА I

Павел Семенович Полубояринов, зубной техник и член домкома, проснувшись поутру, не смог выйти из своей квартиры: под их дверью спал пьяный сосед Чижёнок. А дверь открывалась в коридор.

— Марья, Марья!—позвал Павел Семенович.

— Чего тебе?—Мария Ивановна откликнулась не сразу; по хриплому еще спросонья голосу, по недовольному тону и встречному вопросу Павел Семенович понял, что звать ее не надо было—обругает.

— Так я,—смиренно ответит Павел Семенович.

— Таком не отделаешься. Разбудил—отвечай!

— Чижёнок опять под нашей дверью спит.

— Черт с ним. Проспится да встанет.

— Дак я, это самое... Горшок на дворе позабыл. А приспичило—мочи нет.

— Сходи в окно.

— Развиднело же! Ты что, ай не видишь!

На койке жалобно застонали пружины, потом отозвался Марьин голос:

— Ох ты господи! И в самом деле вставать пора.

Она свесила с кровати толстые, в синих бугристых венах ноги, развела в стороны мощные, борцовские руки и так зычно зевнула, что Павел Семенович вздрогнул.

Он стоял возле двери в одних трусах, мелко перебирая сухими жилистыми ногами. Одна нога была у него перебита в голени, вся исполосована застарело красными рубцами и заметно короче другой.

— Ну, чего ты камаринскую танцуешь?—сказала недовольно Мария Ивановна.—Толкни дверь!

— Пробовал... Он головой ее припер.

Мария Ивановна подошла к двери.

— А ну-ка!

Она с ходу двинула плечом дверь — в коридоре звонко бухнуло, словно там кто-то стукнул мутовкой в пустую деревянную чашку. Потом раздалось рычание, которое перешло в затяжной мат. Наконец оттуда спросили:

— Кого надо?

— Прочь от двери, пьяница! — крикнула Мария Ивановна.

В ответ донеслось протяжное пение, похожее скорее на мычание подавившейся коровы:

Мы плевать на тех хотели,
Кто нас пьяницей назвал:
На свои мы деньги пили,
Нам никто их не давал...

— Ну и дурак, — сказала Мария Ивановна.

— А вы катитесь все к эдакой матери!..

— А вот мы вызовем милицию. Тогда запоешь другим голосом.

— Плевать мне на милицию. Я лежу на своей территории.

— Дак нам выйти надо, — жалобно сказал Павел Семенович.

— Хочешь выйти — открывай дверь к себе. А ко мне не смей... Расшибу!

— Володя, она же в одну сторону открывается, дверь-то. В коридор... Ты бы встал, — мягко упрашивал Чижёнка Павел Семенович, высовывая нос в притвор.

— Я те встану...

— Дак выйти надо.

— А мне плевать. Раньше надо было думать. — И опять заревел: — В ос-тррра-а-ввах охотник целый день гуля-а-а-ает. Если неудача, сам себя руга-а-а-ет...

— Ну, что теперь делать? — жалобно вопрошал Павел Семенович, обернувшись к Марии Ивановне.

— У тебя всегда так: приспичит — что делать? Давно бы надо дверь перенести дальше в коридор да растворять ее в квартиру... чтоб ни от кого не зависеть. Долго ли до греха? А вдруг пожар? Что ж, мы с тобой и будем в окна нырять?

— Куда ж деваться?

— Вот, вот... Начни еще утешать меня.

— Дак выхода нет.

— И это не выход. Ну, что ты вытащишь в окно? Ответь! Да и ноги переломаешь. Вон оно на какой высоте... Прямо не дом, а скворечня.

Мария Ивановна растворила окно и посмотрела вниз, как будто и в самом деле хотела выпрыгнуть. До земли было далеко. Сначала стена рубленая — шесть венцов. И куда столько клали? Четырех венцов вполне хватило бы. А там еще фундамент не меньше метра. Вот и ныряй туда. Оступишься — дров наломаешь...

— Дурак был этот хозяин, чистый дурак. Провизор, одним словом.

Эдакой фразой обычно заканчивалась всякая размолвка, вызванная неудобством квартиры. Дом, в котором жили Полубояриновы, в стародавние годы принадлежал какому-то провизору. Никто толком не знал, чем занимался этот провизор, но все понимали, что слово это нехорошее, ругательское, сродни «эксплуататору». В одно время это прозвище прилепилось к самому Павлу Семеновичу за его ученость и некоторую заносчивость. И каково же было удивление, когда доктор Долбежов, самый старый в их поликлинике, пояснил Павлу Семеновичу, что провизор есть аптекарь. А в прежние годы жить по-провизорски считалось — подлаживаться при известной бедности под хороший тон. Ну, вроде бы со свиным рылом лезть в калашный ряд. Однако же ничего обидного в этом Павел Семенович не видел, на прозвище свое никак не отзывался, и оно вскоре отлетело само по себе, как шелуха с присохшей болячки.

Старый провизорский дом когда-то был разделен на четыре части и заселен новыми жильцами, отчего и появилось известное неудобство. Во-первых, новые перегородки пропускали шум на чужую жилую площадь. Во-вторых, общий коридор мешал. Куда бы ты ни шел, а его не минуешь. Он был узкий, длинный да еще с загогулиной в виде глаголя. В нем обязательно на что-нибудь наткнешься — либо головой стукнешься о корыто, либо кошке хвост отдавишь, а то и помойное ведро сшибешь. А в последнее время самый тупик «глаголя» — двухметровый отросток, который вел в квартиру к Полубояриновым,— самовольно захватил сосед Чижёнок. По ночам, когда он возвращался выпивши, Зинка не открывала ему дверь. «Ступай туда, где пил».— «Врешь, баба! На работу пойдешь — откроешь. Уж я на тебе отосплюсь... Расшибу!»

Чижёнок ложился щекой на кепку и засыпал как убитый, загородив собой проход сразу в две квартиры. На счастье, у Зинки дверь открывалась в комнату. Она спокойно перешагивала спящего мужа и уходила на работу. А у Полубояриновых дверь открывалась в коридор...

Они бы рады повернуть ее, чтобы открывать в комнату, но притолока мешала — дымоход от соседней печки, значит, чтобы открывать дверь внутрь, надо отнести ее метра на полтора по коридору, то есть захватить полтора метра общей территории. А на это нужно было решение горсовета.

— Павло! Садись сейчас же, пиши заявление насчет двери,— сказала Мария Ивановна.— Ну-ка да Миша с Бертой приедут? Срамота! В уборную не выскочишь. А ведь Берта как-никак бывшая гражданка ГДР. Так и напиши в заявлении: здесь, мол, пахнет иностранным осложнением.

— Не знаю, как насчет иностранного осложнения, а у меня оно вот-вот появится,— отозвался Павел Семенович, перебегая от двери к окну.

— Чего ж ты тянешь? — уже с опаской глядя на пол, сказала Мария Ивановна.— В окно!

— Господи благослови! — Павел Семенович, втягивая воздух, как бы всхлипывая, стал вылезать в окно.

ГЛАВА II

Сноха Берта — хороший козырь, но пойти с него надо умеючи. В такой игре один раз продешевишь — и все карты биты. Жди нового захода. Когда он еще подвернется.

Правда, в последнее время Чижёнок ночевал в коридоре часто и матерился на весь дом. Но кто поручится, что его опять не посадят? Каждый год по осени он шел в тюрьму за «мелкое воровство». А по весне возвращался в Рожнов. «Мне,— говорит,— осенью скучно. Тянет меня в теплые страны. Оттого и ворую».

И в самом деле, посадят его — прощай переноска двери. Надо поторапливаться: осень уже на дворе. Так думал Павел Семенович, идя к домоуправу Фунтиковой.

Екатерина Тимофеевна встретила его приветливо; за свою долгую службу она хорошо усвоила главную запо-

ведь просветителя — культура обхождения есть первый признак руководящего работника. И внешность свою она держала в порядке: красила в льняной цвет седеющие волосы, взбивала их коком на лбу, а на затылке стригла. Отчего в свои пятьдесят пять лет выглядела еще молодо.

— Вам, Екатерина Тимофеевна, только бы на портретах сниматься,— говорил ей плотник Судаков.— Весь постанов у вас представительный: и глаз бойкий и лицо круглое.

Бывало время, снималась и на портретах... в свою бытность председательницей колхоза. На всю область гремела. Смелая была... Любые обязательства брала с ходу, как хорошая скаковая лошадь берет барьеры. В районе появилась знаменитая шеренга сестер-председательниц. Колхоз Фунтиковой гремел. Бойкие глаза Катьки, как звали ее в те поры, вызывающе глядели с настенных плакатов и обязательств: «Ну, чего задумался? — спрашивали они.— Крой за нами! Не пропадешь».

В областной газете ее упоминали рядом с самим товарищем Овсовым, председателем Рожновского райисполкома. Бритоголовый, могучего сложения, диагоналевая гимнастерка, ремень командирский поперек живота. Есть на что поглядеть. А как он любил порядок и обхождение! Собирается, бывало, бюро — пожарник в медной каске в дверях стоит. Ждут... Появится Овсов в коридоре — пожарник как рявкнет:

— Внимание! Товарищ Овсов идет...

Все встанут, так и замрут.

— Вольно, товарищи! Садитесь. Вставать вовсе не обязательно. Мы же не в армии,— говаривал Овсов, улыбаясь.

И красоту ценил... Когда в колхозе Фунтиковой обнаружился волюнтаризм, то есть всех телочек порезали на мясозаготовки, Овсов перевел ее на культурный сектор. «Мы,— говорит,— ценим кадры по обхождению. Тут наша Катерина всем взяла — один ее вид вызывает культурное поведение».

Овсов же и погубил Фунтикову. Однажды через область проезжало на южное море высокое лицо. На границе области к нему в вагон сели секретарь обкома по заготовкам с председателем облисполкома. По дороге до Рожнова они выпросили у того лица две автоколонны из Москвы на уборочную. Вышли из вагона в Рожнове довольные. Овсов принял их по-братски. Пир закатил в

совхозном саду. Фунтикову выделил им для сопровождения. Говорят, что в автомобиле она села прямо на колени к самому председателю. Куда они уехали, неизвестно. Только наутро председатель позвонил в райком и спросил: «Ничего я не поломал по пьянке?» — «Все,— говорят,— в порядке»,— «Тогда вот что... Поблагодарите Фунтикову», Ну, Овсов взял да и вынес ей в приказе благодарность за «культурное обслуживание». Ее и подняли на смех. Медаль, говорят, ей надо за бытовые услуги. Было там обслуживание или нет, никто не знает. Но когда сняли Овсова за «перегиб в области животноводства», припомнили и Фунтиковой это «культурное обслуживание» — понизили ее до управдома.

Павел Семенович знавал и раньше Фунтикову: еще в бытность свою председательницей она попросила Павла Семеновича убрать ей щербину в передних зубах, из-за которой она слегка шепелявила. Павел Семенович надел ей коронку из червонного золота на здоровый зуб. За что Екатерина Тимофеевна привезла ему флягу гречишного меда пуда на три. И теперь, входя в ее кабинет, Павел Семенович пытался определить, помнит она о содеянном добре или нет?

Екатерина Тимофеевна сама вышла из-за стола, подала руку лодочкой, хоть целуй. Улыбка во весь рот, так что золотой зуб виден... И Павел Семенович решил — помнит.

— Зачем пожаловали, дорогой и уважаемый Павел Семенович? Садитесь, садитесь! — Она пристукнула своей ручкой о подлокотник дивана.

Павел Семенович тоже улыбался вовсю, а сам думал: издаля начать или с ходу пускать Берту? Уж больно она ласковая, эдак с улыбкой погладит по плечу и в два счета откажет.

— Как поживаем? На что жалуемся? — распевала из-за своего стола Екатерина Тимофеевна.

— В нашем деле спокойствие прежде всего,— начал издаля Павел Семенович.— Сами понимаете, работа моя кропотливая. Зубы — детали мелкие.

— Ну, как же, Павел Семенович! Не то важно, какая деталь, а важно, где она находится. Зубы у всех на виду, их не спрячешь. Их в порядке держать надо. Оттого и работа ваша почетная.

— Так-то оно так,— смиренно согласился Павел Семенович.— Но ответьте мне чистосердечно: можно в моем рабочем положении нервничать?

— Нельзя, Павел Семенович, категорически вам говорю.

— А я покой потерял за последние дни.

— Что за беда случилась?

— Вы знаете нашего соседа Чижёнка?

— Ну?!

— Он почти каждую ночь в пьяном виде ложится под нашими дверями. И не только что на работу, в уборную, простите за выражение, выйти не можем. Дверь-то у нас открывается в коридор!

— Так мы его оштрафуем.

— Не поможет. Он пьет на чужие деньги.

— Ну, вызовем на товарищеский суд.

— А!.. Его товарищи в тюрьме сидят. Что ему этот суд?

— Что же вы предлагаете?

— Я прошу дверь нам переставить так, чтобы она открывалась внутрь квартиры. Тогда мы будем просто перешагивать через него. И вся недолга.

— Так это пожалуйста.

— Вот и спасибо. Значит, чтобы дверь открывалась внутрь, надо перенести ее по коридору метра на полтора.

— Как то есть перенести? Прихватить полтора метра общей территории?

— Иначе ее не откроешь внутрь — притолока мешает, дымоход от соседки слева.

— Павел Семенович, вы же человек образованный и культурный.— Екатерина Тимофеевна как бы пристукнула ручкой по столу, что выражало обычно ее крайнюю досаду.— Захватить общую площадь без согласия жильцов — это значит нарушить закон.

— Я не против закона. Но сами подумайте — вы тоже человек с образованием и культуру знаете... Ответьте на такой вопрос: что будет, если ко мне в гости приедет сноха Берта? Ведь она как-никак бывшая гражданка ГДР! А ей нельзя будет выйти по утрам из дома, извиняюсь, по нужде. Эдак мы с вами попадем в международное положение.

— Международного положения, конечно, допускать нельзя,— задумалась Екатерина Тимофеевна.— Иначе скажут, у нас все взаимно обусловано.

— Вот именно... Взаимно обусловано! — радостно подхватил Павел Семенович.— Как же, мол, они живут в своем Рожнове, если у них все взаимно обусловано?

— Чему вы удивляетесь, Павел Семенович! — горестно покачала головой Фунтикова.— Или мало на нас клевещут иностранные корреспонденты?

— Ну все ж таки в круговой поруке нас еще не обвиняли.

— Э-э, была бы шея, а ярлык повесят. Ладно уж... Поскольку положение у вас исключительное, я сама поговорю на исполкоме. Заявление написали?

— А как же! — Павел Семенович поспешно достал из кармана вчетверо сложенный тетрадный листок.

— Когда приедет ваша сноха?

— Ждем к осени.

— Постараемся решить оперативно,— и Екатерина Тимофеевна подала на прощание руку все так же лодочкой, пальчики вместе.

ГЛАВА III

Когда Чижёнок не пил, он работал дворником, подметал центральную площадь Рожнова. Впрочем, площадь в городе была только одна и дворник один. Подметал он ее по теплу, а в холода дворника сажали в тюрьму и площадь заносило снегом.

В Рожнове к такому дворницкому сезону привыкли и место за Чижёнком сохранялось уже несколько лет. Да и смешно было бы нанимать на зиму нового дворника. Что делать? Обметать ступеньки да подъезды? Или дорожки мести в сквере, куда уж никто не ходил? А дорогу и стоянку перед Домом Советов расчищал бульдозер: трактор «Беларусь» приспособили.

Чижёнок на трезвую голову вставал рано, еще до свету, брал метлу, грабли, ведро поганое и уходил. Весь свой инструмент он прятал в кустах акации за Доской почета, а сам возвращался домой и, воровато озираясь, влезал в окно к соседке Елене Александровне. Она тихо и томно вскрикивала как бы со сна: «Ах, как ты меня напугал...» Но окна не запирала. «Думаю, не воры ли?» — «А я и есть вор»,— ухмылялся Чижёнок, снимая сапоги. «Ну, Воля, не вульгарничай!»

Елена Александровна работала в редакции местной газеты корректором и любила переиначивать имена. Своего покойного мужа Соломона, старого, немощного

бухгалтера больницы, она звала по-литературному — Мисюсь; Володьку Чижёнка — Волей; старуху Урожайкину, хмурую, как старообрядческая икона,— Матерью Марией. В свои пятьдесят лет она все еще обожала стихи и романсы, красила ногти, губы и даже веки. Когда она напевала «Наш уголок я убрала цветами...», то запрокидывала голову и прикрывала глаза; синие веки на ее белом рыхлом лице, растянутые страдальчески углами книзу губы делали ее похожей на воскресающего покойника. Ей посвящал стихи самый интеллигентный пенсионер Рожнова, бывший директор областного Дома народного творчества Аленкин. Но промеж них, говорят, пробежала черная кошка. Аленкин как-то осунулся, скупил весь пантокрин в аптеке и до самых холодов обтирался на дворе холодной водой и бегал в одних трусах по лесу.

В эту трудную пору одиночества и размолвки переступил порог покоев Елены Александровны Володька Чижёнок. Сказать точнее, не порог, а подоконник.

Чижёнок шел своей дорогой на работу. Вдруг растворилось окно и что-то упало с подоконника. Время было предрассветное, поди разбери, что там белеется. Чижёнок прошел бы мимо, кабы его не окликнули: «Воля, помогите мне поднять!»

Елена Александровна свесилась в окно; у нее были распущены волосы, обнажены плечи. Чижёнок подошел, поднял это что-то белое... Это оказался широкий пояс со шнурками и какими-то жесткими пластиночками. И пахло от него духами...

— Что это у меня упало? — спросила Елена Александровна.

— Вроде бы купальник... Но какой-то жесткий.

— Это же корсет.

— Куда его надевают?

— А вот сюда... Смотри!

Елена Александровна наложила корсет на ночную рубашку чуть пониже груди.

— А шнурки зачем? — спросил Чижёнок.

— Смешной ты, Воля... Их завязывают.

— Где?

— Вот здесь...

— А ну-ка! — Чижёнок ухватился за подоконник — прием знакомый — и в момент оказался в доме.

Так они сблизились...

Елена Александровна потихоньку пела ему и читала стихи. Чижёнок молчал.

— Ты не любишь стихи?

— Нет.

— Это потому, что ты не умеешь их сочинять.

— Нет, умею. Я однажды в тюрьме сочинил стишок.

— Про что?

— Про наш город.

— Прочти, пожалуйста!

Чижёнок помедлил немного, потом сказал:

— Рожнов — город окружной. Для народа он нужной. Здесь куда хошь можно пойтить, чего хошь можно купить. Рожнов — город лучший в мире по великой по Сибири...

Елена Александровна засмеялась:

— Какие это стихи! Это бессмыслица.

— Почему?

— Мы же не в Сибири живем.

— Ну и что?

— При чем же здесь Сибирь?

— Захотелось про Сибирь сочинить, вот и сочинил.

— Чепуха! Неправда! Вот ты говоришь: здесь чего хошь можно купить. Это где, в Рожнове-то?

— Дак я не говорю. Это ж я сочинил стихи. Одно дело, что в жизни, а другое — в стихах.

— Надо, чтобы все соответствовало.

— Зачем? И так скучно.

Елена Александровна сама не знала, зачем нужно, чтобы в стихах было все, как в жизни, и больше об этом с Чижёнком не говорила.

Уходил он от нее в дверь. Как только Зинка скрывалась за оградой, Чижёнок выходил, будто из своей квартиры — благо двери были рядом,— шел на зады и по Малиновому оврагу в момент добирался до площади. Уходя, он прихватывал с собой либо бутылку водки, либо портвейна — что припасала Елена Александровна — и, к великой досаде Зинки, к вечеру возвращался пьяным.

Эта хорошо налаженная статья дохода Чижёнка закрылась совершенно неожиданно. В то утро Фунтикова привела к Полубояриновым техника-смотрителя — инженера Ломова и плотника Судакова. В доме начался истинный переполох: заскрипели половицы, застучали двери и в коридоре сошлись, как на митинг, все жильцы. Даже Елена Александровна вышла, накинув цветной

халатик. И только Чижёнок остался в кровати, как в капкане.

Больше всех шумела Зинка:

— Это что за разбой при белом дне? Как это так? Общий коридор отобрать?! Знаете, как это называется? Конфис-кация! Кто вам дал право?

— Товарищи, все сделано по закону,— успокаивала Фунтикова.

— Это не закон, а кон-фис-кация!

— Вы что это называете конфискацией? Основной закон? — повысила голос Фунтикова.

— Что вы нам суете под нос свой закон! — не сдавалась Зинка.

— Он не мой, а наш общий!

— Знаем мы, какой он общий...

— Вы на что это намекаете? Да я вас могу привлечь за это.

— Мы сами вас привлечем. Пришли тут распоряжаться...

Павел Семенович скромненько стоял в дверях, которые нужно было переносить на новое место, и придирчиво осматривал обшарпанные стены коридора — через каких-нибудь полтора часа они станут не общими, а его личными, их сначала надо купоросить, шпаклевать и только потом уж красить. Мария Ивановна стояла за его спиной, напряженно слушая перепалку Зинки с Фунтиковой, готовая в любую минуту ринуться в атаку. Старуха Урожайкина слушала с удовольствием, празднично скрестив руки на груди, и на ее помолодевшем лице сияла задорная усмешка: «Неплохо ругаются, неплохо. Но я бы лучше смогла...»

— Конечно, интересы коллектива прежде всего, но вы с нами даже не посоветовались,— неожиданно поддержала Зинку Елена Александровна.

— Товарищи, это решение исполкома и обсуждению не подлежит. Хватит,— сказала Фунтикова и ушла.

За ней удалился и техник-смотритель — инженер Ломов. Остался один плотник Судаков, он неторопливо очинил карандаш топором и сказал:

— Известное дело. Представитель был? Был. Спорить не о чем. Расходись по домам.

— Ну, нет! Мы тоже законы знаем,— сказала Зинка.— Они у нас еще попляшут.

Она наскоро снарядила младшего Саньку в садик

(старший уже в школу бегает) и, сердито хлопнув дверью, ушла. Чижёнок, поднявшись на локте, провожал ее взглядом с чужой кровати:

— Интересно, куда она помотала?

— На работу,— отозвалась Елена Александровна из-за ширмы.

— Ну, нет. Зинка так быстро на работу не ходит. Это она чтой-то задумала. Теперь она всю округу с жалобами обойдет. От нее и чертям станет тошно.

— А ты куда пойдешь, Воля?

— Я куда пойду? В окно сейчас не сунешься — в момент вся округа соберется. Скажут, с целью воровства. А в коридоре Судаков с Павлом Семеновичем орудуют. Мое дело залечь и не шевелиться.

Но отлежаться Чижёнку не удалось. Сдав младшего Саньку в детсад, Зинка пошла на площадь рассказать все мужу, посоветоваться: куда писать жалобу насчет коридора. Но, увы! На площади она не нашла его. И ведро, и грабли, и метла — все торчало в акации, дорожки не подметены, Чижёнок как сквозь землю провалился. «Где-то промышляет с утра пораньше,— подумала она.— Опять пьяным придет». И вдруг Зинка вспомнила, что в попыхах она, уходя, не заперла дверь еще и на второй замок, от которого ключей у Чижёнка не было. «Ввалится пьяным, дьявол, найдет мою зарплату — всю по ветру пустит...»

Торопливо подходя к дому, она увидела в растворенном окне у Елены Александровны нечто знакомое... Пригляделась. Ну да! На спинке стула висели штаны Чижёнка. Она их узнала по брючному ремню. Старый черкесский ремень с серебряными бляшками — подарок Зинкин. Еще папашин ремешок... На нем когда-то висюльки длинные в виде кинжальчиков были. Подпоясывал папаша черную сатиновую рубашку этим ремешком только по праздникам. Серебряные кинжальчики Чижёнок отодрал и где-то пропил. А ремнем брюки подпоясывал. И вот этот ремень, вздетый в брюках, свешивался со спинки стула в самом окне Елены Александровны.

Зинка подошла к окну и тихонько влезла на подоконник.

В комнате за столом сидел в одних трусах Чижёнок и пил чай с булкой. Елена Александровна ушла на работу. Кровать была заправлена, кружевным покрывалом убрана — все честь честью. И только штаны Чижёнка да

спутанные в редких пушинках волосы на голове выдавали сокровенную тайну грехопадения его.

— Ты чего здесь делаешь?

Булка, густо намазанная сливочным маслом да еще вишневым вареньем сверх того, так и застыла на полпути ко рту Чижёнка. Он и сообразить не успел, что ответить, как голова его, покорная выработанной привычке самосохранения, стала погружаться в плечи. Наконец он обернулся...

Все было наяву — Зинка сидела на подоконнике с зеленеющими от злости глазами.

— Я тебя спрашиваю или нет? Обормот!

— Тихо ты... Соседи услышат,— хрипло выдавил из себя наконец Чижёнок.

— А ты что думаешь? Свои полюбовные дела хочешь в тайне сохранить? — загремела Зинка.

— Тише, дура!

Чижёнок, видя, как Зинка влезла в окно, опасливо стал отступать к порогу.

— Какой я тебе полюбовник? Я же залез сюда... Поживиться! Ну!

— А штаны зачем снял? Чтобы вареньем не испачкаться? Так, что ли?!

— Дак я ж, это... Соломонов костюм примерял. Хотел переодеться.

— Где же он, костюм-то?

— В гардеробе... Тесноватый оказался.

— Ах ты, бесстыжая рожа! Хоть бы покраснел...— Зинка добралась до стола и схватила электрический чайник, пускавший пары.— Сейчас я тебя пристыжу кипятком-то.

— Стой, дура!..

Чижёнок так хватил задом дверь, что вышиб английский замок и в одних трусах сиганул в Малиновый овраг. Вслед за ним вылетел в двери и чайник; он стукнулся о стенку, и в одно мгновение в коридоре стало темно и душно — все утонуло в густых клубах пара.

— Что случилось? — Павел Семенович бросился в комнату Елены Александровны.

У дверного косяка стояла Зинка и плакала:

— Дура я, дура... В тюрьму передачи ему носила, как порядочному... Я думала, что он простой вор... А он полюбо-овник...

ГЛАВА IV

Все несчастья выпали из-за проклятой двери, думала Елена Александровна. Не случись раннего переполоха — Чижёнок преспокойно ушел бы от нее и все было бы шито-крыто. А теперь ходи и объясняй всем, что она с Чижёнком ни в каком сношении не участвовала. Мало ли к кому он лазает в окна. А если и залез к вдове, так что ж? Обязательно про любовные связи намекать? И чтобы не подумали, что она обиделась на Зинку, которая закатила ей в тот же день скандал прямо в коридоре, Елена Александровна подписалась под Зинкиной жалобой насчет незаконной переноски двери Полубояриновых.

К радости Павла Семеновича, под этим заявлением не подписалась старуха Урожайкина. «Как вы деретесь, так и разберетесь»,— сказала она. И все-таки Павел Семенович сильно забеспокоился: а вдруг сработает жалоба и заставят перенести дверь на прежнее место? Смотря к кому попадет она: если к Павлинову, тот подмахнет, наложит резолюцию... Отомстит Павлу Семеновичу.

С председателем райисполкома Павлиновым у него была давнишняя размолвка — взглядами не сошлись насчет исторического прошлого Рожнова, а также современного процветания его.

Однажды Павлинов читал у них лекцию про «культурную революцию» в Китае. Павел Семенович задал вопрос: «Какой в Китае социализм?» — «Оппортунистический»,— ответил Павлинов. «Но ведь оппортунизм есть отрицание социализма. Какой же он социализм?» — «А такой и социализм, что состоит из одних перегибов. Хорошо, поговорим после лекции...»

Они остались вдвоем в операционной, которая одновременно была и читальней, и приемным покоем, и местом собраний. Павлинов облокотился на толстую стопку газетной подшивки и долго разглядывал Павла Семеновича — выдержку делал. Но Павел Семенович сидел спокойно, не ерзал на стуле и даже не глядел себе под ноги. Павлинов наконец изрек:

— Значит, вы ничего так и не поняли.

— А что я должен понять?

— А то, что вы занимаетесь компроментацией и дискредитацией...

— Кого?

— Не кого, а чего. Вы сознательно принижаете наши достижения.

— Чем я их принижаю?

— Необдуманными высказываниями. И не только... У нас есть сведения о вашей деятельности. И я давно хотел с вами поговорить. Вы писали насчет железной дороги жалобу в Москву?

— Писал.

— Что же вы писали?

— А то, что чиновники из Московского совнархоза закрыли железную дорогу через Мещеру.

— А ежели она невыгодна?

— Как это невыгодна? Эта дорога соединяла две области. Проведена была в девяносто втором голодном году. Торопились, потому и проложили узкую колею. Хлеб от нас возили, а из Мещеры лес. И теперь она невыгодна стала? Чепуха! Закрыли потому, что моста через реку нет.

— Ну что вы смыслите в этом? Вы же зубной техник!

— А то я смыслю, Московскому совнархозу наплевать на нашу область.

— Из чего вы сделали такой вывод? Исходя из частного определения насчет дороги? Так, что ли?

— Не только... Когда-то была у нас порода коров — «красная мещерская». Где она теперь? А свиней сколько было? Овец? Гусей... Утки!.. Конопля росла... даже в Рожнове на огородах. Птица с конопляного семени жиреет. А теперь ни конопли, ни птицы. Дуй кукурузу, потому что совнархоз велел. А он где? В Москве!.. Что и требовалось доказать.

— Повторяю, ваши рассуждения сплошная компрометация. Общие слова.

— Ах, общие! Давайте говорить подробно. Возьмем тех же свиней. Их цельными днями пасли. В каждом селе по триста, по пятьсот штук было в стаде. Питались они травой, разрывали ил, съедали различных ракушек, беззубок, водяную живность...

— Довольно! — не выдержал Павлинов.— Вы либо меня считаете за дурака, либо сами таковым прикидываетесь. Но предупреждаю: если и впредь будут поступать от вас подобные жалобы, примем санкции. Не те сведения собираете, товарищ Полубояринов.

С той поры Павел Семенович еще дважды сталкивался с Павлиновым. Года два спустя после размолвки он

написал проект: как надо использовать в Рожнове свободных домохозяек. Павел Семенович советовал заставить их варить патоку из картошки, потому что картошка пропадает. На этом проекте Павлинов начертал: «Осудить на исполкоме за компрометацию женщин». Полубояринова вызывали, целый час продержали стоя, под перекрестным допросом. Ушел красный, потный, но несдавшийся. И ухитрился-таки, лягнул Павлинова. В районной газете появилась заметка Павла Семеновича: «Обратите внимание!» В ней он писал: «Подрастающие сады Рожнова уже дают столько плодов, что их не сможет переработать консервный завод «Красный факел». Дело доходит до того, что одинокие пенсионерки запускают в свои сады общественного быка, который поедает опавшие яблоки. Поэтому надо привлечь местное население для варки повидла и патоки...» На что Павлинов якобы заметил: «Этому любителю сладкой жизни надо бы пилюлю горькую прописать, чтобы протрезвел...»

Вот почему Павел Семенович испытывал некоторое беспокойство насчет двери. Первым делом, думал он, надо разбить союз жалобщиков, то есть отколоть Елену Александровну от Зинки. Пока они жалуются вдвоем, они сильны, потому что представляют как бы коллектив. А с коллективом всяк считается. Иное дело, кабы в одиночку жаловались. Либо одна Зинка... Кто ее послушает?

И Павел Семенович решил вечеринку устроить да пригласить старуху Урожайкину с братом, плотником Судаковым, тем самым, который дверь переставлял. А Елену Александровну позвать как бы случайно, мол, праздник медработника и компания у нас позволяет. Собрались небором-сабором, народ все свой — соседушки... Она пойдет — теперь она вроде бы одинокая: Чижёнок посрамлен. А тут солидный человек — плотник Судаков. Одевается он чисто, во все полувоенное (у него сын подполковник). Сестра, старуха Урожайкина, лишнего в разговорах не позволяет себе. Держится строго. Так что клюнет Елена Александровна.

И Елена Александровна клюнула...

— Ах, Павел Семенович, я человек коллективный. Вас большинство. Как вы решили, так и будет.

Она вошла к Полубояриновым вся в розовом, как утренняя заря, на высокой груди колыхались волнистые рюши, коралловая нитка в два ряда обхватывала ее

белую шею, и перстенек с зеленым камешком врезался в пухлый палец.

— Мать Мария, как это нелюбезно с вашей стороны, что не познакомили меня до сих пор с братом,— пропела она, сперва поклонившись хозяйке.

— Он сам не маленький,— сказала старуха Урожайкина.

Плотник Судаков, одетый в защитный китель, сухонький, горбоносый, с оттопыренной нижней губой, подал широкую костистую руку и хмыкнул:

— К вам, Лена Лександровна, и подходить-то боязно.

— Почему?—брови ее взметнулись.

— Вы человек ответственный.

— С какой стороны?

— Да с любой. Вы и одеты, как генеральша. И сами из себя очень представительны, и должность занимаете хорошую.

— И вас не примешь за простого человека, Матвей Спиридонович,— просияла Елена Александровна.— В этом кителе да еще в профиль... Вы прямо полковник в отставке.

— Полковник, по которому плачет уполовник,— усмехнулась старуха Урожайкина.

— А что? Меня в трамвае одна девушка так и попросила: «Товарищ полковник, подвиньтесь, я сяду»,— сказал Судаков.

— Ну, соловья баснями не кормят. Вам что налить, беленького или красненького?—спросила хозяйка у Елены Александровны.

— Мне как всем.

Ее посадили рядом с Судаковым, налили полную стопку водки: она взяла ее двумя пальчиками и долго тянула, закрыв глаза.

— А что, с закрытыми глазами водка слаще?— спросил Павел Семенович.

— Просто не могу смотреть на нее,— ответила Елена Александровна, передергиваясь, как на морозе.

— И я не могу видеть ее, проклятую,— сказала хозяйка,— тоже зажмуркой пью.

— А иначе глаза вырвет,— отозвалась старуха Урожайкина.

— Бабы вы, бабы и есть,— Судаков усмехнулся и покачал головой.— На всякое серьезное дело у вас духу не хватает.

Сам он пил легко; ни один мускул не двигался на его лице, и если бы не судорожно трепетавший кадык на сухой шее, то можно было бы подумать, он ее и не глотает, водка сама льется в его утробу, как через просторный шланг.

— Говорят, вы поете хорошо, Матвей Спиридонович?—спросила Елена Александровна.

— Хорошо ли, плохо ли, но для вас спою,— решительно сказал Судаков.

— Для милого дружка хоть сережку из ушка,— ласково кивнул ему Павел Семенович.

Судаков сурово посмотрел на него, насупился и вдруг запел высоким легким голосом:

При бурной но-оченьки ненастной
Скрывался месяц в облаках...

Старуха Урожайкина враз посерьезнела и ждала нового куплета, глядя в пол; потом мотнула головой и с ходу влилась в песню, широко растягивая слова, играя переливами тоненьким чистым голосом, неведомо откуда взявшимся у этой плоскогрудой сумрачной старухи.

На ту-у-у зеле-е-о-о-ну-ю могилку
При-и-шла краса-а-а-вица в слезах...

В это время кто-то сильно постучал в дверь.

— В чем дело?—спросил Павел Семенович.

— Довольно! Отпелись...—раздался за дверью пьяный голос Чижёнка.—Расходись по одному! Бить не стану... Или дверь изрублю, ну?

Он вынул топор из-за пазухи и несколько раз с силой провел лезвием по обшивке. Раздался сочный хруст раздираемого дерматина.

— Ой, не пускайте его! Не пускайте. Он зарубит меня!—вскрикивала Елена Александровна и стала делать так руками, вывернув ладони наружу, словно отталкивалась от кого-то.

— Отойдите от двери, или я вызову милицию,— сказал Павел Семенович.

— А я говорю, расходись!—и опять удар в дверь и треск дерматина.

— Ну-к, я пойду успокою его,—сказал, вставая из-за стола, Судаков.

— Он зарубит вас, Матвей Спиридонович! — ухватила его за руку Елена Александровна.

— Эй, обормот! У тебя что, денег много? — спросила Мария Ивановна, подойдя к двери.

— Все что ни есть пущу в оборот. Но и вам жизни не дам. Расходись, говорю! — кричал Чижёнок.

Судаков все-таки открыл дверь и вышел.

— Ну, чего топором-то размахался?

Чижёнок от неожиданности отступил шага на два:

— Га! Счастливая влюбленная пара... А ежели я по шее тебя топором? А?!

— Я вот вырву топор-то да тебя по шее.

— Ну, попробуй! Вырви... Давай! — Чиженок подходил к Судакову, но топор держал за спиной.

— А ты попробуй вдарь?! Ну? — ярился и Судаков.

Так они с минуту стояли нос к носу, с брезгливой гримасой глядя друг на друга.

— Шшанок,— сказал Судаков.

— А ты кобель старый.

После чего дверь снова захлопнулась перед Чижёнком, и он с запоздалой яростью ударил в нее несколько раз топором.

— Ах, вот как! Ну теперь пеняй на себя.— Павел Семенович сорвался к телефону.

И пока позвякивало, раскручиваясь, телефонное кольцо, Чижёнок стоял за дверью тихо, слушал.

— Але? Милиция? Милиция? Мне дежурного! Что? А где он? Куда звонить? Ах, черт...— кипятился Павел Семенович.

И когда опять заверещало телефонное кольцо, в дверь забухало с новой силой:

— А я говорю, разойдись! Полюбовники, мать вашу...

ГЛАВА V

Дежурил по милиции в эту ночь участковый уполномоченный лейтенант Парфенов. С вечера к нему зашел пожарный инспектор капитан Стенин:

— Вась, приходи после ужина в пожарку — с бредежком полазаем по запруде. Ночь теплая.

— А где бредень взял?

— Дезертир принес.

— Сам-то он будет бродить?

— Ну! Мы с тобой в бредне-то запутаемся. Он у него что твой невод — одна мотня десять метров.

— Тогда приду.

Дезертир считался лучшим рыбаком на всю округу. Мастерству этому он обучался поневоле. Многие годы рыбалка по ночам была его главным доходом.

Сперва Дезертир пропал без вести. В сорок третьем году по нему уж и поминки справили. Потом объявился живым... через двадцать лет. Все эти годы просидел он в собственном подполе. Не так чтобы просидел — работал по ночам, дом ухетал, двор, сено косил, рыбачил... Детей нарожал. А уж напоследок, осмелев, стал ходить в отхожий промысел. Благо что паспортов у колхозников не было. Кем назовется — за того и сходит. Пристал к одной дальней тумской бригаде плотников, с ней и ходил по колхозам — дворы скотные строили, хранилища, избы... Жил он на хуторе Выкса. До войны там было всего десяток дворов, а к шестидесятому году один остался. «Как, Настасья Гунькина там и живет? — сокрушались бабы из дальних сел.— Лес кругом да луга. В озерах одни черти ночуют...» — «Она с чертями и снюхалась. Третьего ребенка в подоле от них принесла».

Выдал себя Дезертир сам. Умерла мать у него. Пока ее обмывали да отпевали, он все в подполе отсиживался. Но, когда понесли на кладбище, не выдержал. Бледный, без шапки, раздетый — время было осеннее, ветреное,— он шел за ее гробом, бормотал деревянным голосом: «Прости, мать родная! Простите, люди добрые!» И всю дорогу плакал.

С кладбища сам пошел в Рожнов, в милицию. Настасья вопила по нем пуще, чем по умершей... «Хоть бы на поминки вернулся! Посидел бы с детьми напоследок»,— упрашивала его Настасья. Но он был безответен.

В милиции дежурил как раз участковый Парфенов.

— Берите меня... Я дезертир.

Гунькин так и пришел без шапки, раздетый, с размазанными потеками слез по щекам.

— Какой дезертир? Откуда? — спрашивал его молодой лейтенант.— С трудового фронта, что ли? С целины?

— Нет, с настоящего... с германского.

— Да ты что, друг, пьяный, что ли?

Пока посылали бумаги в высокие сферы, пока ждали указаний, как быть с этим дезертиром, куда его девать, Гунькин с топором да рубанком всю милицию обстроил:

и полы перебрал, и двери выправил, и переплеты оконные сменил. И даже начальнику квартиру успел отремонтировать.

— А он деловой, этот дезертир,— сказал начальник.— Только в глаза не смотрит и мычит, как немой. Если помилуют, надо бы трудоустроить его.

Помилование пришло через два месяца. И участковый уполномоченный Парфенов водил его в райкомхоз:

— Отбился человек от жизни... Надо бы посодействовать насчет работы. А так он ничего, смирный. Работать умеет...

Приняли. Милиция авторитетом пользуется. Переехал Гунькин в Рожнов, построил себе пятистенок, разукрасил его резными наличниками и зажил не хуже иных прочих. Про его историю вскоре все позабыли, только и осталось одно прозвище — Дезертир, которое и к ребятишкам перешло. Но кто в Рожнове живет без прозвища? Поди раскопай — отчего так прозывают. Да вот, пожалуй, привычка скверная осталась — плохо спал по ночам Дезертир. Но и тут оборачивалось не без пользы — рыбачил.

Еще с вечера принес он в пожарку свой бредень, сам связал из капроновых ниток цвета лягушачьей икры, чтобы рыбий глаз сбить. Капитан Стенин опробовал его на прочность: двумя пальцами захватил ячейки и натянул их до глубокой рези в теле:

— Крепкий!

— Повеситься можно — нитка выдержит,— ответил Дезертир.— Она в химическом составе пропитана.

— Это что за состав?

— В готовом виде существует. Вроде дубильного порошка.

— А у нас батя сроду шкуры женской мочой выделывал,— сказал капитан.

— Женская моча мягкость придает,— согласился Дезертир.— И гнилушки тоже... А химия, она органичность съедает. Любой запах отобьет, хоть скотский, хоть псиный.

Когда пришел лейтенант Парфенов, Стенин и ему дал испробовать бредень на прочность.

— Больно мелкая ячея,— неожиданно сказал Парфенов.— Эдак мы всех головастиков выловим.

— А тебе не все равно? — спросил Стенин.

— Вроде бы неудобно. По закону охраны ячея дозволяется пятнадцать на пятнадцать.

— А тебе что? Ты его писал, этот закон?

— Вроде бы неудобно. На той неделе мы с егерем отобрали бредень у бреховских как раз за мелкую ячею.

— Дак егерь сам и ловит этим бреднем,— рассмеялся Стенин.

— Понятно. Чего ж ему без дела валяться?

Лейтенант Парфенов был сух и деловит, и на лице его лежала постоянная озабоченность — так я сделал или не так? А капитан Стенин лицо имел круглое, довольное и беззаботное: «Ну, чего ты думаешь? Плюнь! Как ни сделаешь — все будет хорошо»,— написано было на его лице. А у Дезертира лицо было темное, плоское, и ничего на нем сроду не писалось и не читалось. Пока спорили насчет ячеи капитан с лейтенантом, он сидел на пороге и спокойно курил.

Пошли они на запруду затемно; капитан Стенин нес пустое ведро, а Парфенов с Дезертиром бредень. Возле пруда паслись две лошади, да хоронилась от собак у самого берега утиная стая. Увидев людей, утки дружно закрякали и поплыли прочь от берега, а лошади поочередно подымали головы, настороженно глядели, замерев, как истуканы, и, фыркая, снова пускались щипать траву.

— Чьи это лошади? — спросил Парфенов.

— А зачем тебе? — отозвался Стенин.

— Да придут поглядеть за ними и нас увидят. Неудобно.

— Ты чего, Шинкарева боишься? Он сам по ночам ловит.

— Дак он хозяин,— сказал Парфенов.

— Директор совхоза — лицо общественное. И рыба тоже есть общественное достояние,— уверенно рассуждал Стенин.— А перед обществом мы все равны. Стало быть, если директору можно ловить рыбу по ночам, то и нам не возбраняется.

— Так-то оно так. Но увидят — неудобно.

— А твое дело сторона. Я старший по званию, я и отвечу.

Размотали бредень, подивились его длине.

— А мотня-то, мотня какая! — восторгался Стенин.— В ней и рыбу-то не найдешь, как блоху в ширинке у старого деда.

— Попалась бы... Небось прищучим,— сказал Дезертир.

Лейтенант стал снимать китель и брюки.

— А ты чего штаны снимаешь? Холодно,— сказал Стенин.

— Дак я ж на дежурстве. А вдруг кто вызовет?

— Куда тебя вызовут?

— Мало ли куда... Неудобно в мокрых штанах бежать.

— Неудобно только с пустым карманом в пивную заходить...

Дезертир взялся за водило и решительно пошел на глубину, пошел прямо в чем был: в рубахе, в брюках, сапогах.

— О, видал, какой водолаз! Правильно! Давай на заброд — тебя рыба не боится. От тебя вроде бы тиной пахнет,— командовал Стенин.— А ты, Вася, от берега заходи. В случае чего телефон принесут из пожарки — я тебе трубку протяну.

— Гляди не накаркай.— Парфенов остался в исподней рубахе и кальсонах, форменные брюки и китель аккуратно сложил, как в казарме по отбою, да еще фуражкой прикрыл их. А пистолет и планшетку отдал Стенину.

Только они погрузились в воду, как из пожарки прибежал дежурный пожарник:

— Товарищ лейтенант, вас срочно к телефону!

— Что такое? Кто зовет? — спросил Стенин.

— Полубояринов, зубной техник...

— Ах, этот писатель-утопист! Чего ему, жалобу не знает на кого подать? Или новый проект строчит — как из лягушек патоку варить?

— Говорит, у них Чижёнок скандалит...

— Подумаешь! Словом стекла не вышибешь,— изрек Стенин.— Скажи ему — за язык милиция еще не привлекает. А ты давай, давай! Тяни! — крикнул он распрямившемуся было из воды Парфенову.— Постой! — остановил Стенин пожарника.— А откуда Полубояринов знает, что Парфенов у нас?

— Сторож сказал... Ну?

— А ты?

— Что я?

— Ты поди пояснил — рыбу ловит?

— Дак он спрашивает...

— Дурак! Ступай. Гунькин, держи водило ниже! Прижимай его ко дну! — крикнул он, обернувшись к рыбакам.

— И так уж подбородок на воде,— ответил Дезертир, отплевываясь.

— Окунай и голову, все равно в баню редко ходишь.
— Вода вонючая.
— Вода не дерьмо, не прилепится.
Первый заброд оказался удачным: в необъятной мотне, облепленной ослизкой ряской, затрепетали упругие карпы.
— Гунькин, заноси от воды-то! Поджимай мотню! — кричал и суетился с ведром Стенин.— Вась, слышишь? Встряхни сетку-то! А то ни черта не видно в этой слизи...
Парфенов и Дезертир кинули водила и, бросившись на колени, азартно хватали, прижимали ладонями к земле прохладных скользких рыбин.
— Вот это лапти, вот это ошметки,— приговаривал Стенин и тоже елозил на корточках, хватал трепетавших, белевших во тьме карпов.
Когда рыба была уложена в ведро, а бредень очищен от ряски и занесен для нового заброда, прибежал опять пожарник:
— Товарищ лейтенант, звонят! Просят вас и грозятся...
— Ну и что? А ты зачем пришел? Тебе что, делать нечего? — набросился на пожарника Стенин.
— Надо бы сходить... Неудобно,— сказал Парфенов.— Вдруг там что-нибудь случилось?
— Да что там случится? Ты что, не знаешь этого склочника? Давай заходи по второму заброду.
— Нет, надо все ж таки брюки надевать...
— Еще чего! А рыбалку бросить, да? Сходи в кальсонах, отматери его по телефону и — назад...
— Ну, ладно...
Парфенов так и пошел в мокрых кальсонах и в исподней рубахе к телефону.
— Что случилось? — строго спросил он в трубку.
— А кто со мной разговаривает? — донеслось с другого конца.
— Ну я, участковый Парфенов.
— Товарищ участковый уполномоченный, вы там рыбку в пруде ловите, а здесь смертоубийство готовится.
— Какое смертоубийство?
— С топором в руках... Чижёнок ломится ко мне в дверь, то есть к Полубояринову.
— Как ломится?
— Ну так... Топором грозится.
— А что, дверь попортил?

— Всю дерматиновую обшивку изрезал.

— А дверное полотно не изрубил?

— Нет... Только, говорит, выломлю дверь и головы порублю.

— Ну, за слова не привлечешь. А за то, что дерматин порезал, наутро оштрафуем. Так и передайте ему. А если дверное полотно изрубит, посадим на пятнадцать суток...

— Дак вы заберите его!

— Пока еще не имею права.

— А тогда поздно будет.

— Товарищ Полубояринов, не торопите события и не подстегивайте милицию. Мы сами знаем, что надо...

Когда лейтенант Парфенов вернулся на берег пруда, капитан Стенин уже раздувал костер, а Дезертир в одних кальсонах чистил рыбу. На кольях у костра были напялены его штаны и рубаха.

ГЛАВА VI

Рано утром Павел Семенович подал жалобу начальнику милиции: «В ночь с 19 августа на 20 наш сосед Чижёнок, будучи выпивши, при подстрекательстве своей жены, стал с угрозами посредством топора ломиться в нашу квартиру. Это продолжалось с 22 часов до трех часов ночи, пока он не уснул в коридоре.

Мы неоднократно вызывали по телефону с квартиры милицию, но ответственный дежурный тов. Парфенов не пожелал оказать помощь — вел себя как безответственный...»

Начальник милиции Абрамов вызвал капитана Стенина и приказал ему разобраться. Но Стенин сначала сходил к Парфенову договориться:

— Что сказать, Вась? Был ты в пожарке или не был?

— Не знаю, что и сказать,— ответил Парфенов.

— Скажи, что сторож вызывал. В совхозный сад... Мол, нападение было.

— Дак его предупредить надо, сторожа-то. А то вдруг спросят? Как-то неудобно.

— Пошли к нему в сад... Вот и предупредим, договоримся. И опохмелиться надо. Не то у меня с утра голова трещит. Кстати, с тебя положено. Ты же проштрафился.

Прихватили поллитру и пошли в совхозный сад.

Сад был большой, с конца на конец кричать — не

докричишься. С двух сторон стоял высокий забор из колючей проволоки, что твоя военная преграда. А со стороны реки и Малинового оврага ограда была старая, дырявая. Лазили в сад все кому не лень. Сторож дед Иван по прозвищу Мурей жил в шалаше на высоком речном откосе с черным мохнатым кобелем Полканом. Когда ночью Полкан подымал тревогу, Мурей высовывал из шалаша ружье и палил в небо: «Бах-бах!» Если Полкан умолкал, дед ложился спать. Спал он, можно сказать, и днем и ночью. «Сон — дело божеское,— говаривал дед Иван,— только во сне человек не грешит». Был он добрый и приветливый — всех, кто ни заходил днем, угощал яблоками и медом.

— Чего ж ты ночью стреляешь, а днем привечаешь? — спрашивали его.

— Ночей я на службе, а днем сам по себе.

— Дед, это ты за казенный счет доброту проявляешь,— скажет иной ревнитель общественного добра.

А дед ему:

— Все мы казенные. Ешь, пока живой, а умрешь — самого тебя съедят.

Днем ходило в сад великое множество охотников до выпивки — благо что закуска даровая и природа располагала. Отчего же не выпить? Красота и спокойствие. Днем даже Полкан не лаял, лежал возле шалаша и хлопал на пришельцев сонными глазами.

Стенин и Парфенов не застали в шалаше деда Ивана; в изголовье стоял кованый сундук с посудой и харчем, над ним висело ружье, ватола полосатая валялась, шинель вместо одеяла и подушка... А на постели лежал Полкан и сумрачно хлопал глазами.

— А где хозяин? — спросил Стенин, заглядывая в шалаш.

— Р-р-р-ры...

— Ишь ты, какой заносчивый,— сказал Стенин, пятясь на карачках.— Давай покричим.

— Дед Ива-а-а-н! — заорали они в два горла.— А-а-ан!

Тишина.

— Вроде бы от Пескаревки дымком потягивает,— сказал Стенин, глядя в дальний конец сада, пропадавший в распадке.

— Вроде бы,— согласился Парфенов.

— Пошли туда!

Деда Ивана нашли они на берегу речушки Пескарев-

ки, впадавшей в Прокошу. Он сидел у костра вместе с самым главным виновником — Чижёнком. Заметив блюстителей порядка, Чижёнок поспешно встал и начал быстро подбирать что-то белое возле костра. Это нечто белое оказалось куриными перьями, а в котелке варилась курица.

— Понятно,— сказал Стенин, заглядывая в котелок.— Божий промысел налажен.

Дед Иван спокойно покуривал, глядя в костер, а Чижёнок, сжав в кулаке перья, заложил руки за спину и воровато поглядывал на начальство.

— Ну, чего уставился? — сказал ему Стенин.— Иль долго не виделись в наших номерах?

— Нет, я еще не соскучился,— ухмыльнулся Чижёнок.

— Ты что там ночью натворил? — строго спросил его Парфенов.

— Я? Я спал, ничего не помню.

— А кто дерматин на дверях порезал?

— На каких дверях?

— У Полубояриновых.

— Не знаю.

— А как сюда курица попала, ты, наверное, тоже не знаешь? — спросил Стенин.

— А может быть, это петух? — сказал Чижёнок.

— Видал? Он еще шутит,— обернулся Стенин к Парфенову.

— А вот я на него протокол составлю и на пятнадцать суток посажу,— сказал Парфенов.

— Было бы за что...

— Разберемся. Найдем на тебя статью. А теперь ступай домой и сиди жди,— приказал Стенин.

— Кого мне ждать?

— Обстоятельства выяснять будем... В присутствии свидетелей,— сказал Парфенов.— Остальных предупреди, чтоб никуда не уходили.

Чижёнок поглядел с тоской на курицу, потянул ноздрями воздух и, тяжело волоча ноги, пошел прочь.

— На дармовщину-то все охочи,— проворчал он.

— А ты поговори у меня! — крикнул ему вслед Стенин.

Домой пришел Чижёнок и злой и голодный.

Возле водозаборной колонки стояли с ведрами старуха Урожайкина и Елена Александровна и о чем-то тараторили. Но, увидев Чижёнка, сразу умолкли.

— Ну, что пригорюнились, девицы красные? — спросил он, подходя к ним кошачьей походкой.— Вы же в два голоса пели... Дуетом!

— Ступай, ступай своей дорогой,— сказала Елена Александровна.

— Что ж ты меня на чай не приглашаешь? Или варенье кончилось?

— Много вас, любителей сладкого.

— Ага... Много, значит? Выходит, я из иных-протчих? Нечаянно попал к тебе, да?

— А может, и с целью,— усмехнулась Елена Александровна.

— Это с какой же целью? Уж не воровства ли?

— Тебе лучше знать. Ты же специалист по этому делу.

— А ты знаешь, что за клевету бьют и плакать не велят?

— Только попробуй... Тронь попробуй!

— А вот и попробую.

Чижёнок с маху ударил ее по уху.

— Ой-ой! Мать Мария, Мать Мария! — закричала Елена Александровна.

Но Мать Мария разом отвернулась к колонке и загремела ведрами.

— Злодей, злодей! — Елена Александровна схватилась за ухо и побежала домой.— Я сейчас же соберусь и в милицию! — кричала она из комнаты.— Тебе найдут там местечко.

— Нет, врешь! Я тебе сам гауптвахту устрою...

Чижёнок бросился домой, взял молоток и пару шестидюймовых гвоздей.

— Ты меня в окно зазывала? Да! — кричал он в коридоре.— Вот теперь сама попрыгай через окошко.

Хакая, с оттяжкой он стал молотить по гвоздям, заколачивая ими дверь Елены Александровны.

— На помощь! Ка-ра-ул! Сосед, помоги! — кричала она и стучала кулаками в стенку к Полубояриновым.

Но там ни одна половица не скрипнула.

— Павел Семенович, Павел Семенович, помогите-е!

Ни отзвука, ни шороха...

— Ах, будьте вы прокляты! Это все из-за вас... Из-за вашей двери. Я на всех напишу. На всех!

Чижёнок, заколотив дверь, постоял несколько минут с

молотком — не выйдет ли Полубояринов? Потом крикнул:

— Кто сунется к двери, молотком башку расшибу! — и ушел.

Елена Александровна заметалась по комнате, заламывая руки и восклицая:

— Это насилие над судьбой человека. Нет, я лучше умру, но не сдамся.

Она растворила окно и посмотрела вниз, как в колодец, наваливаясь грудью на подоконник. Никогда еще ей не казалась земля столь пугающе далекой. Под самыми окнами, словно часовой, прохаживался петух; он наклонял голову набок и глядел на нее круглым быстрым глазом, будто подмаргивая ей: не бойся, мол, сигай ко мне!

Елена Александровна прикинула — до земли ей не достать, если даже спуститься на руках и стать на цыпочки. Но до выступа фундамента она, пожалуй, дотянется... А там и спрыгнуть можно.

Она села на подоконник, свесила ноги — нет, далеко. Обернулась, грузно легла на живот и стала потихонечку спускаться вниз. Но вдруг она почувствовала, что юбка и комбинация ползут куда-то вверх к подбородку. Только тут она заметила, что зацепилась подолом за пробой; попробовала подтянуться на руках — не вышло. Поболтала ногами — далеко ли до фундамента? Не достала... Юбка врезалась ей в ляжки и натянулась, как барабан, стукни — забубнит. Елена Александровна будто надсела, надавила задом, юбка с треском разорвалась, и она облегченно почувствовала — летит.

Удара вроде бы и не было; Елена Александровна вскочила и с криком повалилась наземь — коленку будто прострелило.

Сначала приехала «скорая помощь» — Павел Семенович вызвал по телефону. Но Елена Александровна наотрез отказалась ехать в больницу, пока представитель милиции не составит акта на месте преступления. Наконец появился Парфенов и, словно поджидая его, откуда-то вынырнула Зинка, и даже Павел Семенович вышел на крыльцо.

— Во-первых, он меня ударил по уху,— начала свое показание Елена Александровна представителю закона.

— А я тебе еще и по другому заеду! — крикнула Зинка, продираясь сквозь толпу зевак.

— Попрошу соблюдать порядок,— сказал Парфенов.

— А ты меня не проси! — кричала Зинка.— Ты вон кого проси! Ее!

Елена Александровна лежала на носилках, как та Клеопатра на софе — облокотясь, чуть запрокинув голову и прикрыв глаза.

— Она мужа моего спаивала... В постель к себе зазывала.— Зинка распахнула кофту, руками размахивала, как в драку лезла.— А у меня двое детей. Это как расценить?

— Тише, гражданка! Разберемся... Спокойно.

— Нет, товарищ участковый уполномоченный, спокойствия не будет! — торжественно, как с трибуны, произнес с крыльца Павел Семенович.— Вы ночью вместо дежурства рыбку ловили?

— Что такое?

— А то самое... Нам доподлинно известно. Вместо того чтобы откликнуться на призыв честных граждан, обуздать злостного хулигана, вы, товарищ Парфенов, личное удовольствие справляли. Вот к чему это попустительство привело... К увечью!

— Да перестаньте чепуху молоть!

— Нет уж, теперь-то я не перестану. Все инстанции пройду, но каждый получит по заслугам, свое. У нас демократия! — торжественно уперев палец в небо, Павел Семенович ушел.

Парфенов только головой покачал и начал составлять протокол.

ГЛАВА VII

На открытие охотничьего сезона собрался весь цвет районного охотсоюза. Для сбора, как всегда, выбрали Липовую гору — место сухое, открытое, с пчельником в липовой роще, на берегу озера Долгого, где в камышовых зарослях до самой осени хранились утиные выводки.

Директор совхоза, высокий, пухлогрудый Шинкарев, приехал на «газике» и привез ведро яиц. Пожарный инспектор капитан Стенин и участковый уполномоченный Парфенов прикатили на мотоцикле с ружьем и малопулькой — для стрельбы по дальней сидячей утке, если она к берегу не станет подходить. Павлинов прихватил с собой бредень Дезертира, который принес

ему капитан Стенин. Он выехал на «Волге» вместе с редактором районной газеты Федулеевым. Проезжая через Тимофеевку, последнее село к лугам, они решили завернуть на колхозный птичник. «Там еще убьем утку или нет — вопрос с закорюкой. А домашние, они вернее...»

За Тимофеевкой, уже на лугах, перед самым птичником они увязли прямо на мосточке. Вернее, в осушительном канале, через который было брошено четыре бревна, омываемые со всех сторон мутной водицей. Сели прочно, всем брюхом — и колес по ступицу не видать. Бросили машину, бросили бредень, всякую домашнюю снедь, взяли только ружья да по две поллитровки и топали по лугам аж до самого вечера.

На Липовую гору поднялись уже затемно. Возле пчельника вовсю полыхал костер и охотнички восседали на корточках и потирали руки.

— Сейчас я их оглоушу,— сказал Павлинов.

Он снял ружье и шандарахнул по верхушкам деревьев сразу из двух стволов: «Бум-бах!»

Моментально вскочили люди, бросились с лаем собаки и захлопали крыльями, загалдели, сорвавшись с деревьев в небо, грачи.

— Что за шум, а драки нету? — заорал, выходя на освещенную поляну, Павлинов.

— Тьфу ты, мать твоя тетенька! — хлопнул себя по ляжкам Шинкарев.

— Ты чего, Семен, чертей пугаешь? — сказал Стенин.

— Салютую, мужики! Охотничий сезон открывается... Сесть на свои места,— гоготал Павлинов.

— Надо пощупать — все ли места сухие? Никто не обмочился с перепугу? — сказал от котла егерь в фуфайке; его, несмотря на молодость, все звали почтительно Николай Иванычем.

— А где бредень? Где утки? — спросил Стенин.

— Бреднем шофер на канале лягушек ловит, а пекинские утки в газету улетели. Вот у кого спроси, у редактора,— Павлинов хлопнул по плечу Федулеева и загоготал громче всех.

— В таком случае вы нам не родня, а мы вам не товарищи,— сказал Шинкарев.

— Ах, так! Да мы вас гранатами закидаем. Р-р-разойдись! — Павлинов выхватил два поллитра, поднял их кверху донцами и страшно выкатил глаза.

Федулеев вынул тоже два поллитра:

— Ну, как, принимаете?

— Дак с такой оснасткой не токмо в компанию, в рай можно проситься,— сказал капитан Стенин.

— Э-э, постой, мужики! А что вы варите? — Павлинов заглянул в котел и пошевелил ноздрями.

— Архиерейскую,— сказал Николай Иванович.

— Из чего? Из лягушек, что ли?

— А мы егерских подсадных уток ощипали,— ответил Стенин, и опять все загоготали.

— А рыба откуда?

— Из озера.

— Да вы ее чем, кальсонами, что ли, вытащили?

— Парфенов щук настрелял из малопульки.

— А может, из пистолета?

— Пистолет — оружие уставное. Не положено,— отозвался Парфенов, молчаливо стоявший в стороне.

— А ты чего такой снулый, как судак в болоте? — обернулся к нему Павлинов.— У тебя не вид, а компрометация охотничьего сезона.

— Ему выговор влепили,— сказал Стенин,— Полубояринов донос на него настрочил.

— Это который? Зубодер, что ли? — спросил Павлинов.

— А кто же.

— Энтот настрочит,— сказал Федулеев.— Он меня забомбил своими заметками. То черепицу почему не делают? Раньше делали — теперь нет. Пригласим, говорит, спецов из ГДР. Они знают толк в черепице...

— Ага. Выпиши ему из Америки клизму, а мы вставим,— сказал егерь.

— Уголь у нас перестали копать — опять заметка,— продолжал Федулеев, переждав хохот.— Он, мол, самый дешевый. У нас он в воде, а вон в Донбассе, говорит, с газом.

— Нанюхался газу-то от Марии Ивановны и очумел,— сказал Стенин.

— Сунул бы я ему вот это под нос и спросил: чем пахнет? — ввернул опять егерь, показывая кулак.

— Газ, мол, взрывается, а вода даже не горит,— рассказывал Федулеев.— И в Англии тоже, говорит, вода. Там копают уголь, а в нашей области нет. Почему? Я ему: Павел Семенович, это не в нашей компетенции. Мы же районная газета! А он мне — ты увиливаешь.

— Это все дискредитация и компроментация,— сказал Павлинов, закуривая.

— Нет, вы послушайте,— зарокотал Шинкарев.— Он меня учил, как удобрения доставать. В озерах у нас, говорит, илу много под названием сапропель. Его раньше земство со дна черпало, как нечистоты из уборных. А вы, говорит, брезгуете.

— Окунуть бы его самого в этот сапропель да за ноги подержать — вся бы дурь вышла,— сказал от котла егерь, схлебывая с ложки горячую уху.

— А за что Парфенова наказали? — спросил Павлинов.

— Там у них лабуда вышла. Соседи подрались из-за коридора. А Парфенов виноватый, что вовремя не разнял,— сказал Стенин.

— Стеганул бы ты его через газету,— обернулся Павлинов к Федулееву.— Склочник, мол, спокойно работать не дает.

— Сложно... У меня жена его работает главбухом.

— Подумаешь, какая шишка,— усмехнулся Шинкарев.

— Как-то неудобно,— произнес Парфенов.— Ведь он инвалид.

— Чего?! — спросил егерь.— Подумаешь, хромой. Да еще без костыля ходит. Он поболе нас с тобой заколачивает.

— Ты на мотоцикле ездишь, и то на служебном. А он на личном автомобиле,— поднял палец Шинкарев.

— Постой, а на него вроде бы жалобу подали соседи, что он незаконно отхватил часть общего коридора,— сказал Стенин Павлинову.— Вот и прикажи ему перенести дверь обратно.

— В том-то и беда, что по закону. Дура Фунтикова успела провести через исполком это решение.

— Катька, что ль?

— Она. На старости лет за инвалидами ухлестывает.

— Сладкую жизнь с Овсовым вспоминает.

— Га-га-га!

— Уха готова!

— Мужики, хватит трепаться! За дело. Где кружки? Федя, Коля, позовите-ка пасечника! Пусть меду сюда тащит. Да ложек деревянных... А то железными рот обожжешь.

На другой день пополудни Федулеев вызвал к себе в кабинет сотрудника газеты Сморчкова и сунул ему жалобу, подписанную Зинкой и Еленой Александровной.

«Мы, нижеподписавшиеся, просим обуздать Полубояринова, поскольку он захватил общую территорию коридора путем переноски двери на полтора метра...»

— Но тут нет резолюции товарища Павлинова. А ведь жалоба ему адресована,— сказал Сморчков, кончив читать жалобу.

Федулеев, красный, одутловатый от вчерашней охоты, помотал головой и сделал губами эдакое «р-р-р», будто его только что стошнило, потом сердито, с недоумением поглядел на Сморчкова:

— А я тебе что, не авторитет? Понимаешь, склочника привести к порядку надо?!

— Дак я не против,— заморгал своими светлыми ресницами сотрудник редакции.

— Ну?! Сходишь к нему и осторожно, издалека, вроде бы с сочувствием расспроси его. И пошире окинь, пообъемнее! Чем недоволен? На кого претензии имеет? И тому подобное... А потом в захвате общей территории обвини. Ткни его в полтора квадратных метра. Мордой об пол. Понятно?

— Сообразим.

Витя Сморчков был человеком творческим, исполнительным. Его посылали на задание, когда нужно было из воровства, мошенничества или мордобойства извлечь высокую мораль насчет служения обществу... И с этой высоты горьким укором, призывом к совести, разуму поставить в строй паршивую овцу, отбившуюся от стада.

Сухонький, тихий, весь в коричневых конопатинках и в желтом пушке, очкастый и уши лопухами со спины, как у тушканчика, он сам вызывал к себе сострадание. «О чем тебе рассказывать, очкарик?» — спросит умиротворенно иной напроказивший бедолага. «А вы мне про себя, про свое прошлое. Случаем, не обижали ли вас?» Кого же не обижали на Руси? И кому не хочется поплакать в жилетку? Витя Сморчков охал, переживал, возмущался... Словом, настраивался на волну, а потом уж извлекал мораль.

Павел Семенович встретил Витю, как родного брата.

— Не обижали?

— Ну, что вы? Как без этого? Было, было...

Мария Ивановна как своему сотруднику — все-таки она главбух в редакции — поставила ему наливочки вишневой, грибочков маринованных:

— Кушайте! Не побрезгайте... И кто же вас надоумил зайти?—хлопотала она вокруг Вити.— Вы свой человек — перед вами как на духу. Вот она, видите, дверь? На полтора метра перенесли. Дымоход мешал. А главное, Чижёнок одолевал.

Но Витя мало интересовался дверью. Он все на обиды напирал. Покопайтесь в памяти, вспомните! Павел Семенович вспомнил, что в каком-то сорок восьмом или девятом году его снять хотели. Сначала зубной кабинет перевели на хозрасчет, а потом добавили еще одного техника. А у него, Павла Семеновича, весь инструмент для себя приспособлен.

— Видите, я ж об одной ноге, да и рука левая не того — пальцы не гнутся. Вот я и перевел все оборудование на одну руку и ногу. А тут приказ: в две смены работать. Кому ж здоровому со мной захочется работать? Нашелся один умник из областного здравотдела — мы, говорит, на поток зубную технику должны поставить, а этот Полубояринов всю нашу сменную работу разбивает. Не можем мы отдать ему технику в частную собственность. На этом основании меня взяли да уволили. Но ЦК профсоюза медработников восстановил меня и за прогул приказал оплатить. Да я вам покажу выписку из решения. Хотите?

— Не надо! Верю, верю...— Витя приложил руки к груди и улыбнулся так сладко, словно ложку меду проглотил.— Я вот насчет вашего увечья интересуюсь: это что ж, от первой мировой войны или от второй?

— Ну что вы? В первую мировую я еще пацаном был,— сказал Павел Семенович.— В двадцатом году играл на дворе. Мне попалась ржавая граната. Вот она меня и оскоблила.

— Ах, какое несчастье! — Витя покачал головой и что-то записал в блокноте.

Потом он осмотрел комнату и кухню, спросил: работает ли голубой огонь, то есть газ? Не течет ли где? И площадь какая? Дерматиновую обшивку на двери пальцем потрогал и сосчитал, сколько порезов на ней.

— Жалобы есть какие? Или, может, претензии? — спросил под конец.

Отозвалась Мария Ивановна:

— Теперь, слава богу, нет. Милиционера наказали. Чижёнок сидит — пятнадцать суток дали.

— А вы больше ничего не писали? — обернулся он к Павлу Семеновичу.

Павел Семенович задумался:

— Писал я насчет торфоразработок в газету «Известия».

— Так, так... Это интересно!

— Наша область имеет богатейшие залежи торфа. До четырех метров достигает толщина пласта. И никто его не разрабатывает. А электроэнергией снабжают нас от Шатуры. Это ли не головотяпство?

— Кто же, по-вашему, виноват?

— Московский совнархоз и его планирование.

— Но ведь его уже нет. Он ликвидирован.

— Это не важно. Люди-то остались.

— Пра-авильно, — сказал Витя.

Расставались долго; Павел Семенович тряс Витину руку, а Мария Ивановна уговаривала:

— Вечерком заглянули бы как-нибудь. Вот осенью сын приедет с Бертой.

— Спасибо! Непременно воспользуюсь, — отвечал Витя.

Под конец Павел Семенович совсем расчувствовался, он обнял Сморчкова за плечи и пошел выдавать ему свои проекты:

— У меня есть идея! Давайте напишем вместе статью — как оживить город Рожнов? Перевести сюда из Московской области обувную или трикотажную фабрику? Вдохнуть в него пролетарскую струю. А? Да, вы знаете, на Пупковом болоте грязи лечебные! Построить бы грязелечебницу да гостиницу. Курорт в средней полосе? Это тебе не юг... Какая экономия на одних только поездках? И молодежь вся на месте останется... А то про фосфориты напишем? Розовые! Их свиньи раньше носами разрывали... Дайте мне денег сто тысяч и одну цилиндрическую мельницу. И чтоб я сам хозяин был. То есть кого хочу нанимаю и плачу сколько хочу. Через месяц суперфосфат выдам!

— Откуда вы все это берете? Какие мысли! — одобрил Витя.

— Исключительно от скуки... От нечего делать. В кабинете шесть часов отстою, и девать себя некуда. Энциклопедию читаю, Брокгауза и Ефрона.

— Где ж вы ее достаете?

— У доктора Долбежова. Вот у кого голова-то! Он

знает все старые границы нашей губернии. Говорит, по три миллиона пудов одного сена вывозили с наших лугов только в Москву. Царские конюшни Петербурга на нашем сене жили. А теперь вот распахали, говорит, луга — а есть чего?

— Он что, сено ест, ваш доктор? — усмехнулся Сморчков.

— Это он к примеру. Так что вы не подумайте насчет иного прочего. Живем-то мы ноне хорошо...— рассыпчато, бисерком подхохотнул Павел Семенович.

Когда Витя Сморчков ушел, Мария Ивановна проворчала:

— Язык тебе мало оторвать. Ну чего ты ему насчет сена понес?

— А что? Он свой человек.

— Свой-то свой, но не забывайся. Он все ж таки сотрудник. Да не простой, а печатного органа.

ГЛАВА VIII

Статья в газете появилась через три дня. Мария Ивановна влетела в кабинет к Павлу Семеновичу и ткнула ему в нос сложенной газетой.

— Что я тебе говорила, пустобрех? На, читай! Нашел перед кем душу изливать,— она села в зубоврачебное кресло и схватилась за виски.— Что теперь делать? Что делать?

Павел Семенович надел очки, развернул газету «Красный Рожнов». Пальцы его слегка подрагивали. «Война за квадратный метр»,— прочел он название большой заметки и сразу понял, это про него.

«От супругов Полубояриновых потоком идут жалобы и письма: то их обижают, то они чем-то недовольны...»

У Павла Семеновича запершило в горле; он взял стакан с водой, стоявший возле плевательницы на зубоврачебном кресле, и, отпив несколько глотков, сунул стакан на металлическую розетку, но не попал. Стакан грохнулся на пол. Мария Ивановна дернулась и обругала Павла Семеновича. Тот и бровью не повел. Он мельком пробежал начало статьи, где описывалась суть дела: как, с какой целью, каким методом Павел Семенович перенес дверь в коридор и захватил общую территорию. Что пострадали от этого невинные люди и что Фунтикова, к

сожалению, пошла на поводу частнособственнических интересов Полубояриновых и сама ввела в заблуждение исполком депутатов трудящихся.

«Но кто же они, эти недовольные своим положением граждане Полубояриновы?» — спрашивал автор, и тут Павел Семенович понял, что начинается самое главное.

«Хозяин квартиры на особом положении, он инвалид. И инвалид рассчитывает на заслуженное внимание общества. Были войны — были и ранения. Но Павлу Семеновичу, увы, не пришлось повоевать. Когда-то еще мальчиком, играя во дворе, он нашел ржавую гранату, стал разбирать ее... Произошел взрыв, и Павел Семенович стал калекой. Ну, что же? И такие инвалиды окружены у нас заботой. Товарищи относились к нему с участием, государство выплачивает ему пенсию — двадцать три рубля (после того как он стаж набрал).

Полубояринов понял это по-своему. Ему не по душе пришлось, что в зубной кабинет к нему прислали молодого специалиста, и он всяческими путями стал его выживать. Я, мол, инвалид, и условия мне нужны особые. Но, к его немалому удивлению, случилась осечка — молодого специалиста поддержали, а Полубояринова уволили.

Вскоре он еще раз убедился, что в социалистическом обществе не дадут пропасть человеку, не оставят его один на один со своей бедой. Из области, куда он послал жалобу, позвонили в больницу и, обратите внимание, не потребовали, ибо для этого не было никаких оснований, а попросили принять Полубояринова на работу. И его приняли.

Ненадолго он притих. Но вскоре опять принялся за старое. Прикидываясь неким правдолюбцем, Полубояринов строчит письма во все инстанции со своими бредовыми проектами и тем самым треплет государственным людям нервы. То ему, видите ли, мост понадобился через реку, то захотелось торф копать, то у нас луга не там распаханы, то он грязи лечебные открыл в Пупковом болоте. И всех обвиняет в том, что мы якобы не используем ресурсы. Послушаешь товарища Полубояринова, и можно подумать, что мы живем где-нибудь в отсталой Африке. А ведь у самого Полубояринова в квартиру проведен «голубой огонь», то есть газ. Более того, входная дверь по его первому требованию и вопреки существующему положению была обита дерматином за счет домоуправления. Будто и мелочь, а говорит о многом.

Не пора ли товарищу Полубояринову открыть глаза на нашу действительность и поглядеть воочию вокруг себя. Вы же, т. Полубояринов, обливаете все грязью... Что же касается вашего общественного лица и ваших целей, то они вполне понятны каждому, после того как вы захватили полтора квадратных метра чужой жилплощади. Виктор Сморчков».

— Подлец! — сказал Павел Семенович, засовывая газету в карман.

— А ты дурак! Его же Федулеев к нам подослал. С целью!

— Откуда ты знаешь?

— Вона, секрет какой. Это он мне за приемник отомстил.

Надо сказать, что Федулеев три года назад отдыхал на Рижском взморье и купил там «Спидолу» за счет редакции. Но приемник оставил у себя. Этим летом он принес в редакцию паспорт и сказал, что приемник испортился, спишите, мол, его. Создали комиссию, акт составили, расписались. Федулеев утвердил его и передал Марии Ивановне. «Спишите с баланса».— «Не могу, срок не вышел».— «Он разбился».— «Извиняюсь, но акт на разбивку надо составлять отдельно. И разбитый приемник приложите...» Федулеев тяжко засопел. «Что ж я вам, черепки хранить буду?» — «Дак ведь порядок установлен».— «А мое указание для вас не порядок?» Мария Ивановна в тот раз уступила, но Федулеев долгое время был с ней сух и неразговорчив.

— И Федулеев твой подлец,— сказал Павел Семенович.

— Он и мотоцикл хочет присвоить таким же макаром. Но, будь спокоен, этот номер у него не пройдет.

— Плевать мне на ваш мотоцикл! Мне оправдаться надо, иначе жизни не будет.

— А я о чем говорю? — Мария Ивановна вскочила с кресла.— Иди сейчас же в местком к себе и проси, чтоб опровержение дали.

Председателем больничного месткома был старый доктор Долбежов. Он принимал больных в амбулатории.

— Николай Илларионович, помогите! Меня оклеветали,— сказал, входя в кабинет доктора, Павел Семенович.

— Вота, вота, нашел чему дивиться,— забубнил глуховатым баском Долбежов.— Собака лает — ветер уносит.

— Меня не просто так, а через газету.

— Эка невидаль твоя газета. Где она?

Павел Семенович отчеркнул карандашом то место, где было написано про его увольнение из больницы. Долбежов прочел:

— Ничего особенного. Обыкновенная брехня.

— Брехня-то на мою личность, Николай Илларионович.

— Э-э, голубчик! Мало ли что вынесли наши личности. А это сущие пустяки.

— Ну, этого я не ожидал от вас! — Павел Семенович как-то оторопело глядел на старого доктора.— Вы не хотите мне помочь?

— Чем я могу вам помочь? — с огорчением сказал доктор.

— Как чем? Пойдем к редактору, скажем, что это ложь. Потребуем опровержения.

— И вы полагаете, нас послушают?

— Мы докажем! Документы с собой возьмем. Ну, я прошу вас, Николай Илларионович!

Доктор как-то грустно улыбнулся, снял халат, надел серый полотняный пиджачок с мятыми лацканами, натянул старомодный белый картуз с высоким околышем, палку суковатую взял.

— Пошли!

Они прихватили с собой старую выписку из решения ЦК профсоюза медработников о восстановлении Полубояринова на работе и двинулись в редакцию. Доктор шел насупившись — козырек на глаза, палку ставил твердо, прямой, как аршин проглотил. Сбоку, чуть поодаль, вихлял плечами, припадая на левую ногу, Павел Семенович и говорил, говорил без умолку:

— Тут главное дело не в том, большая обида или малая. Спуску давать нельзя, вот в чем принцип. Ежели ты видишь несправедливость и миришься в душе своей, ты как бы в роли некоего соучастника находишься. Это вроде греха: не страшен грех, совершенный перед богом, а страшно, когда не замечают его. Грешить греши, да раскаивайся. Ведь дурной пример заразителен. Иной начнет дубье ломать и вот похваляется перед честным народом: «Сторонись, не то голоса лишу!» Тут бы сгрудиться всем, цап-царап его, милака! Да на видное местечко, за ушко, за ушко: «А ну-ка, держи ответ перед народом. Почто превышаешь?» Но не тут-то было... Он за дубину, а мы в кусты. Иной любитель, глядя на эту

разгульную картину, возьмет дубину еще потяжельше. «Ты так их глушишь,а я эдак умею. Еще похлеще тебя...» А мы возле подворотни да под забором про закон толкуем — превышают, мол. Эх, наро-од!

Когда Федулееву доложила секретарша, что в приемную Колтун привел доктора (Колтуном Павла Семеновича прозывали), тот сердито крикнул, чтобы за дверью слышали:

— Я «скорую помощь» не вызывал. У нас все здоровы.

Но принять принял.

Он сидел за столом и будто бы читал свежую полосу, склонив свою крупную лысеющую голову. В таком положении он и встретил их — не в силах оторваться, чтоб почуяли, уж до чего важным делом занят был. Доктор Долбежов и Павел Семенович стояли у двери, ждали.

— По какому поводу? — спросил наконец Федулеев и повел бровью; мутный серый глаз его округлился, второй, прикрытый сонным веком, все еще косился на газету. Федулеев гордился, что может смотреть эдак вразлет.

Долбежов держал картуз в полусогнутой руке, словно каску:

— У нас не минутная просьба,— доктор не хотел говорить от порога.

— К сожалению, я занят,— все еще не соглашался Федулеев.

— Мы сможем подождать,— смиренно, но твердо стоял на своем доктор.

Второй глаз Федулеева тоже приоткрылся и уперся в доктора:

— Хорошо, садитесь.

Федулеев указал на стандартный диван с высокой спинкой, обтянутый черным дерматином. Они сели. Долбежов поставил палку промеж колен, картуз на нее повесил. Павел Семенович как-то осел головой в плечи и — спина дугой, будто из него пружину вынули.

— Ну, я вас слушаю,— сказал Федулеев.

— Мы пришли выразить свой протест по поводу заметки, опубликованной в сегодняшнем номере вашей газеты,— отчеканивая каждое слово, начал доктор.

— Личные протесты не принимаются,— оборвал его Федулеев.

— Заметка называется: «Война за квадратный метр» и касается личности работника нашей больницы Полубояринова.

— А вам лично какое до этого дело? — пытался опять сбить его Федулеев.

— Там, по крайней мере, в одном пункте допущено грубое искажение истины. Вот оно, отчеркнуто карандашом,— доктор положил газету перед Федулеевым.

Тот одним глазом покосился на газету, но читать не стал.

— Речь идет о сознательном искажении фактов, то есть клевете. Вот вам выписка из постановления профсоюза медработников, опровергающая эту ложь,— доктор вынул выписку и положил ее перед Федулеевым.— На этом основании вы должны дать опровержение.

Доктор обе руки наложил на картуз, висевший на палке, и, вскинув острый подбородок, умолк.

Федулеев повертел в руках эту выписку, как китайскую грамоту, и отложил на конец стола:

— Разберемся! Я только не понимаю, что нужно вам лично? Почему вы вмешиваетесь в это дело? — спросил он доктора. На Павла Семеновича даже не глядел.

— Я председатель месткома больницы. Считайте мое заявление не личным, а от коллектива.

— Коллектива? Кто же это утвердил вам коллектив для расследования фактов печати?

— Мы уж как-нибудь сами назначим и утвердим.

— Сами? Ну так и занимайтесь своей больницей. А печать — дело общественное. Газета — районный орган. Так вот, в райкоме есть бюро. Обратитесь туда. Если нужно, соберут и утвердят такую комиссию. Но включат вас туда или нет, не знаю.

— Это все, что вы сможете нам сказать? — доктор встал.

— Вопрос исчерпан,— Федулеев погрузился в свою газету; голова и плечи — все объемно, внушительно: шеи, как ненужной детали, совсем нет.

Доктор напялил картуз по самые уши и, грохая палкой, пошел вон.

ГЛАВА IX

На другой день Павел Семенович с Марией Ивановной поехали в область. Поехали на ночь глядя, чтобы утром быть в облисполкоме, а к вечеру обернуться в Рожнов. Автобусом добрались до Стародубова, чтобы

пересесть на поезд местного значения, который прозывался «Малашкой». Приходил он в Вышгород утром — удобно и за ночлег платить не надо. И билет на «Малашку» стоил вдвое дешевле, чем на обычный пассажирский поезд.

Каждый раз, когда они попадали в Стародубово, на большую дорогу, они испытывали странное чувство облегчения и потерянности. Будто их раньше на приколе держали, как лошадей; и вот сорвались они на свободу, зашли бог знает куда — и радостно вроде бы, и что делать не знают.

Поначалу любовались, как всегда, кирпичными корпусами старого конезавода, высокими резными башнями по углам, зубчатым карнизом, затейливо сплющенными фигурными оконцами, острыми гранеными шпилями... Ну, что за диво! Дворец, да и только... И зачем тому барину понадобилось возводить такие хоромы для лошадей? Чудак. Санаторий бы здесь открыть.

Ужинали в высокой бревенчатой чайной. Народ за столиками гудел,— больше все шофера в черных замасленных пиджачках да фуфайках, пили только перцовую — от нее не пахнет. Два мотоциклиста с белыми шлемами на коленях, в коротеньких курточках под черную кожу угощали за столиком красным вином кудрявых девиц; те слушали их, прыскали в сторону, потом откидывались на стуле и заливались звонким смехом. А мотоциклисты в такие минуты все перемигивались.

«Дуры вы, дуры! — хотелось сказать Марии Ивановне.— Или вы не видите, что они замышляют?»

— А не выпить ли нам по маленькой? — спросил Павел Семенович, тоже поглядывавший на этих развеселых девиц.

Мария Ивановна аж вздрогнула:

— С каких это доходов? И что за веселье приспичило?

— Эх, Маша! Однова живем. Как говорится — проверяй жизнь радостью. Ежели ты прав, тебе должно быть радостно. Вот веришь или нет, а мне сейчас радостно!

— Его на смех, дурака, подняли, а он радуется.

— Да не в этом дело... Я своего добиваюсь, вот что главное-то. Пока я отстаиваю свою правду, я уважаю себя.

— Вот завтра приедем к начальству, получишь по морде и радуйся.

— Опять двадцать пять! Ну и получу, а дальше что?

— Утрешься, и больше ничего,— сказала Мария Ивановна с какой-то злорадной усмешкой.

— А уверенность моя пошатнется? Нет! Укрепится только... Пойду дальше, выше! Пусть, пусть бьют... Но кто будет прав? Вот в чем закорюка.

— Кому нужна твоя правота?

— Да мне же самому.

— Ну и дурак.

— Нет, Маша, ты меня должна понять, должна. Правде нужно, чтобы в нее верили.

Павел Семенович поймал за руку официантку и попросил чекушку водки.

Мария Ивановна сперва отнекивалась пить: «Кабы изжога не замучила?» А выпив стопку, раскраснелась и повеселела:

— Ты какой-то бесчувственный. Его бьют, а он говорит: мало. Недаром тебя Колтуном прозвали.

— Подумаешь, беда какая! Но главное, Маша, главное! Ничего они из меня не выбьют. На своем стоял и стоять буду.— Павел Семенович широко размахнулся и погрозил кому-то пальцем.

— Пошли на волю, а то тарелки побьешь.— Мария Ивановна взяла его под руку, и они заковыляли к дверям.

Вечер был теплый, тихий, с тем ранним дремотно-синим туманом, который загодя до полного заката повисает над землей только ранней осенью. Небо было еще светлым, но деревья уже потемнели. Посреди старинного изреженного парка, на самом юру, в окружении четырех искалеченных лип стояла церквушка с пятью куполами без крестов, крытыми черным рубероидом. Оттуда доносился торопливый и тупой перестук мукомольного двигателя да гортанный галдеж галочьей стаи, летавшей над липами.

— Пойдем-ка, мать, полюбуемся на красоту божью,— сказал Павел Семенович.

— Там любоваться-то нечем. Все уж давно растащено.

— На травке посидим, молодость вспомним. Все равно идти некуда. До поезда еще далеко.

— Так-то оно так,— вроде бы и соглашалась Мария Ивановна.

— Вот и хорошо. Пошли, мать!— Он обнял ее за плечи.

— А может быть, в Дом культуры сходим? Там, говорят, картинная галерея открылась,— сказала Мария Ивановна в некоторой нерешительности.

— Лучше этой картины не нарисуешь.— Павел Семенович указал рукой на заброшенный парк.— В клубе народ, а тут мы одни. Устал я, Маша.

— Ну, пойдем, пойдем...— Мария Ивановна обняла за талию обмякшего Павла Семеновича и повела его по старой выщербленной аллее.

Они сели возле церкви на потемневшую от времени и дождей лавочку заломанного чахлого куста сирени. Перед ними широким распадком протянулся до самой речки пустырь. Когда-то здесь были пруды с водопадами, лодками... Посреди каждого пруда возвышался остров с беседкой в цветущей кипени сирени да жасмина.

Мария Ивановна вспомнила, как она в тридцатом году, тогда еще комсомолка, приезжала сюда на кустовой слет активистов-избачей. «Даешь темп коллективизации!», «Вырвем жало у кулака!» — кричали они и подымали кверху руки. А потом катались на этих прудах в лодках и пели. Им надели красные нарукавные повязки и кормили в столовой по талонам... Как давно это было!

Павел Семенович курил и покашливал. Потом, загасив о подошву папироску, сказал:

— Я вот о чем подумал: живем мы вроде понарошке. В игру какую-то играем. И все ждем чего-то другого. Будто она, эта разумная жизнь, за дверью стоит. Вот-вот постучится и войдет.

— Ждешь-пождешь, да с тем и подохнешь,— сказала Мария Ивановна.— Видать, наша суета и есть жизнь. Другой, Паша, наверно, не бывает.

Подошел от мукомолки сторож, древний старичок в опрятном сереньком пиджачке и в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы:

— Покурить, извиняюсь, у вас не найдется?

Павел Семенович вынул пачку «Беломорканала». Старичок закурил, присел на лавочку.

— Дальние? — спросил он.

— Из Рожнова,— ответил Павел Семенович.

— По делу или к родственникам отдохнуть?

— В область едем. «Малашку» ждем. А тут места знакомые. Сидим вот, пруды вспоминаем,— сказал Павел Семенович.

— Да что вы помните!

— Мы-то? — оживилась Мария Ивановна.— Даже острова помним. На котором острове сирень росла, на котором жасмин.

— Было, было,— закивал старичок.— Да что пруды?! Фанталы били. Белые лебеди плавали... Какие же были аллеи! Перекрещенные и так, и эдак. И кирпичом выстланы. На ребро клали кирпич-то.

— А вы что, работали в саду?— спросила Мария Ивановна.

— Всякое случалось,— уклончиво ответил старичок.— Сад был бога-атый. Дерева все заграничные посажены. Вот, бывало, начнет снег выпадать — они и зацветут.

— Зачем же они в такую пору зацветали? — спросил Павел Семенович.— Цвет померзнет.

— На то они и заграничные. Им своя задача дадена от земли. А по нашей природе несовпадение, значит. Но поскольку диковинка — ценность имеет.

— Вы, случаем, не здесь живете? — спросил Павел Семенович.

— Здесь, при церкви, то есть при мукомолке. А что?

— Попить захотелось.

— Пойдемте.

Старичок провел их к тыльной стороне церкви, где к беломраморному высокому полукружью прилепилась кирпичная сторожка о двух окнах. Они вошли в нее; там, в глубине, оказалась еще и железная кованая дверь, ведущая в церковь. Старичок отворил ее и нырнул за высокий тесаный порог.

— Идите сюда! — позвал он, как из колодца.

Они вошли в темную сводчатую комнату.

— Это кадильня,— сказал старичок.— А сюда батюшка в ялтарь ходил,— указал он на мраморную лестницу, сворачивавшую винтом за округлую мощную колонну. На лестнице стоял у него бачок с водой и кружка.— Пейте на здоровье!

Вода была холодная до ломоты в зубах.

— У вас здесь прямо как в погребе,— сказала Мария Ивановна.

— Я зимой живу в пристройке. «Буржуйку» ставлю там.

Стук мукомольного движка доносился сюда совсем глухо, как из подпола.

— И стены и перегородки толстые. Смотри-ка, в

одном конце работают, в другом не слыхать. Ну и церковь! — сказала Мария Ивановна.

— На века ставилась! Верите или нет, с одних кумполов взяли пятнадцать пудов золота. А теперь вот крыша течет, — сказал старичок.

Они просидели на пороге сторожки до самой темноты. Старичок все рассказывал и головой качал:

— А вот тут стояло дерево — азовские орехи по кулаку на нем росли. Вон там клуб был. У-у! Замечательный. Со всех держав приезжали сюда смотреть. Такой постройки мы, говорят, боле нигде не видали.

— Куда ж он делся?

— Хрестьяне растащили. Да что там клуб! Все яблони в коллефтивизацию перепилили, скамейки поломали... Ограды железные с могил и те порастащили.

— А барин откуда все это взял? — с неожиданной ненавистью спросила Мария Ивановна. — Тоже награбил!

— Известно, — согласился старичок. — Но вы на это еще взгляните: ведь его самого не потревожили. Он поженился на учительнице и работал до самой коллефтивизации. А жена настоящая от него отшатнулась.

— Где же он работал при советской власти? — спросила Мария Ивановна, которую все более завлекала судьба этого необычного барина.

— В Пронске. Он там построил прогимназию и еще до революции ездил туда учить. Охотник был до этого дела. Он ведь при Думе состоял. Однова сказал там. «Зачем нам столько земли? Давайте ее раздадим по хрестьянам». Баре так рассердились на него, что отлили ему чугунную шляпу и калоши.

— Чудно, — усмехнулась Мария Ивановна. — Что ж он, выходит, твой барин-то, революционером был?

— А кто его знает! Мужичонко он был гундосенький, немудрящий, тощой. Вот главный управляющий был у него мужчина видный. На что вам, говорит, все это строить? Вы на одни процента́ проживете. А он ему: а люди на что жить будут?

— Ха! Он что ж, о крестьянах заботился? — спросила опять с недоверием и злостью Мария Ивановна.

— Известно. А то о ком же? Ежели у вас, к примеру, лошадь пала, то справку принеси ему из волости — он тебе денег на лошадь дасть. Вот ковда революция случилась и запрос сделали: как с ним быть, при этой

волости оставить его или уничтожить, то все селения дали на него одобрение.

— Я чего-то не пойму никак. Вы довольны, что революция произошла, или нет?—в упор спросила Мария Ивановна.

— Ты в себе, Марья?—сказал Павел Семенович как бы с испугом.

— Отчего ж недоволен,— невозмутимо ответил старичок.— Тут нам землю дали. Мы в двадцатых годах зажили куды с добром. Вот меня считали раньше лодырем? А как мне землю дали, я их же обгонять стал.

— Подожди ты, не горячись!—Павел Семенович тронул за плечо Марию Ивановну и к старику:—Вы мне вот что ответьте. Должен человек знать или нет, для чего он живет?

Блеклые, как стираная сарпинка, глазки старика оживились, заблестели:

— Раньше говорили: не спрашивай. Служи богу и обрящешь покой.

— А что есть бог? Вы-то как понимаете?

— Бог есть согласие жить по любви.

— Это верно!—Павел Семенович даже по коленке прихлопнул.— Именно все дело в согласии. Не то иной выдумает счастье и толкает тебе в рот его, как жвачку ребенку. На, пососи и ни о чем не проси! А если я не хочу такого счастья? Тогда что?

— Ну хватит тебе! Ты чего разошелся?!—Мария Ивановна сама стала одергивать Павла Семеновича.— Пойдем! Уже поздно.

— Так что тогда?—опять спросил Павел Семенович, вставая с крылечка.

— Господь поможет,—сказал старичок, прощаясь.

ГЛАВА X

Наутро им повезло—их приняли первыми.

Облисполком занимал старинное серое здание с высокими циркульными окнами. Говорят, что раньше здесь помещалась городская управа, а напротив, в теперешнем обкоме, губернская управа. Там, возле парадной двери, висела медная дощечка: «В этом здании работал великий русский писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин».

Когда бы ни проходил мимо этого здания Павел

Семенович, он непременно останавливался, смотрел на медную доску и всегда удивленно отмечал про себя:

«Вице-губернатор, генерал! А какую критику наводил?»

Он и теперь невольно задержался возле бывшей губернской управы и сказал:

— Видела, Марья, доску-то? Генералом был и то критиковал. А ты на меня орешь.

— Ну и дурак твой генерал! Чего ему не хватало?

— Дак разве критику для себя наводят?

— А для кого же?

— Для общества, голова! Чтобы всем хорошо жилось.

— Всем хорошо никогда не будет.

В это время из растворенной двери на них строго посмотрел постовой милиционер.

— Ну, пошли, пошли! Чего рот разинул?—Мария Ивановна потянула за рукав Павла Семеновича.—А то попадешь не в то место. Критик!

В вестибюле облисполкома тоже стоял милиционер, но чином поменьше и не такой строгий. Они остановились возле его тумбочки и стали рыться в карманах — паспорта искать. Постовой вежливо взял под козырек:

— Вам куда?

— К председателю или к любому заместителю.

— Пожалуйста, по лестнице на второй этаж.

Лестница была широкая, из белого мрамора с затейливыми балясинами в виде двух бутылок, приставленных друг к дружке донцами.

В большой приемной самого главного председателя им сказали, что Александра Тимофеевича нет и что он сегодня не принимает. Если хотят, то пусть обратятся к секретарю товарищу Лаптеву. Он разберется.

Секретарь облисполкома Лаптев оказался на редкость приветливым человеком; невысокий, плотный, с твердокаменной ладонью, но с лицом округлым, белым и мягким. Одет он был в серый костюм из плотной дорогой ткани, но уж сильно поношенный, застиранный на широких, как шинельные отвороты, лацканах. Он усадил Павла Семеновича и Марию Ивановну поближе к своему столу и все улыбался, словно на чай пригласил.

— Чем могу быть полезен?—спрашивал он, переводя ласковый взгляд с одного на другого.

— Дело-то у нас пустяковое,—сказала Мария Ивановна.

— Это как посмотреть,— перебил ее Павел Семенович.— Ежели со стороны оскорбления личности подойти, то здесь судом пахнет! — Павел Семенович вскинул голову, сердито поглядывая на Марию Ивановну.

— Да что случилось-то? — проявляя слегка нетерпеливость, спросил Лаптев.

— Меня оскорбили публично, в печати! Исказили факты... И не хотят давать опровержения.

— Да ты не с того начал. Помолчи! — остановила Мария Ивановна Павла Семеновича и обернулась к Лаптеву.— У нас дверь в общем коридоре... Отворялась наружу — внутрь притолока мешала. Возле нее спал пьяный сосед Чижёнок. Ну вот...

— Ничего не понимаю,— Лаптев затряс головой и развел руками.

— Да при чем тут дверь? — раздраженно сказал Павел Семенович.— Дверь мы перенесли правильно, по законному постановлению исполкома. Ну? И в статье никто этого не оспаривает. Речь идет об искажении фактов, об умышленной клевете.

— Дурак ты! — вспыхнула Мария Ивановна.— Завтра перенесут дверь на старое место и Берта приедет... Что будем делать?

— Товарищи, товарищи, давайте спокойно! — Лаптев поднял руки и растопырил пальцы.— Вещественные доказательства, документы при вас?

— Все, все имеется,— ответила Мария Ивановна.

— Кладите на стол, и все разберем по порядку.

Они положили выписку из постановления райисполкома о переноске двери, заверенную Фунтиковой, выписку из решения ЦК профсоюза медработников, потом газету «Красный Рожнов» с отчеркнутыми местами в заметке Вити Сморчкова.

Лаптев надел очки и наклонил свою лобастую голову. Выражение лица его стало меняться — щеки отвисли, нос сперва покраснел, а потом расцвел эдаким лиловым бутоном. Перед ними сидел старый и очень уставший человек.

— Все законно,— сказал он, посмотрев бумаги.— Дверь правильно перенесли. Никто не имеет права заставить вас переставить ее на прежнее место. В газете допущены искажения. Добивайтесь опровержения.

— Легко сказать, добивайтесь,— Павел Семенович за-

ерзал на стуле.— Мы сунулись было к редактору с нашим председателем месткома, а тот и не глядит.

— Хорошо, я позвоню Павлинову. Поезжайте домой.

Когда вышли на улицу, Павел Семенович удовлетворенно хмыкнул:

— Видала, Марья! Вот оно как все обернулось-то, а? Ну, теперь я этому Федулееву поднесу дулю под нос.

— Погоди хорохориться. Что еще Павлинов скажет?

— Да плевал я теперь на Павлинова.

Ехали обратно на скором поезде. В Стародубово угодили прямо к автобусу. Так что после обеда были уже дома.

— Убирайся тут, а я схожу к Павлинову, полюбуюсь на его самочувствие,— сказал в радостном нетерпении Павел Семенович.

Он помылся, побрился, свежую рубашку надел и пошел, как на банкет.

Павлинов встретил его без особого удивления и даже негодования. «Значит, звонил Лаптев. Накрутил хвостато»,— отметил Павел Семенович.

В кабинете, развалясь на диване, сидел капитан Стенин. Они с Павлиновым собирались съездить вечерком на охоту, уток попугать, и настроены были благодушно. Чернобровый, чубатый Павлинов, еще по-молодому крепкий, загорелый, с закатанными рукавами белой рубашки, с распахнутым воротником (пиджак его висел на стуле), был похож на инструктора по физкультуре.

— Вот и хорошо, что сами пришли,— сказал Павлинов, здороваясь с Павлом Семеновичем, но не подавая руки.— Значит, поняли. Садитесь! — указал он на стул.

— А что я должен понять? — спросил Павел Семенович, настораживаясь.

— А то, что вашим поведением возмущена общественность. Это нашло свое отражение и в прессе. Надо кончать с этими кляузами. И дверь перенесите на старое место.

— То есть как?! — опешил Павел Семенович.

— А вот так. И соседи перестанут жалобы писать, и пресса успокоится. И нечего вам разъезжать по области. Сами виноваты.

— Во-первых, в прессе опубликована клевета на нас,— Павел Семенович от неожиданного оборота слегка заикался,— з-за которую товарищи Сморчков и Федулеев должны отвечать. Не меня, а их выступление надо

считать кляузным. В подтверждение моих показаний вот вам выписка ЦК профсоюза медработников, заверенная товарищем Долбежовым.— Павел Семенович положил бумагу прямо перед Павлиновым да еще ладонью прихлопнул по ней.

— Вы мне не суйте ваши медицинские бумажки. Если нужно будет, мы самого Долбежова вызовем и спросим: с какой целью он пытается покрывать всяких очернителей? — Павлинов отшвырнул бумажку так, что она полетела со стола.

— Это я очернитель? — так же сердито спросил Павел Семенович, подымая свою выписку.

— А то кто же? Стенин, что ли? — усмехнулся Павлинов.

Капитан Стенин захрустел пружинами и тоже улыбнулся.

— Вам известно мнение товарища Лаптева, секретаря облисполкома? — еще строже спросил Павел Семенович, вскидывая голову.

— Ну-ну, удиви! — опять усмехнулся Павлинов.

— Товарищ Лаптев заверил, что решение исполкома насчет двери правильное... И что...

— А я говорю, Фунтикова ввела исполком в заблуждение,— перебил его Павлинов.

— И что газета исказила факты. И Федулеев должен опубликовать опровержение. Да вы знаете об этом сами, но только прикрываетесь передо мной некоей игрой,— повысил голос Павел Семенович.

— Это вы у нас мастер до всяких антиобщественных игр! — загремел Павлинов.— Кто подсовывает дурацкие проекты? Я, что ли? Пораспустились!..— Павлинов встал, громыхнул стулом и с минуту молча ходил вдоль стола, остывая. Потом сказал спокойно: — А что касается Лаптева, то он мне звонил и сказал только одно: пусть Полубояринов подает в суд на Сморчкова, если он считает себя правым. Вот и выполняй это.

— Я пришел не в суд, а к вам, чтобы вы наказали виновных. Ведь не суд разрешил мне дверь перенести.

— Опять двадцать пять! — Павлинов сел за стол и стал терпеливо втолковывать Полубояринову: — Поймите же, вы недостойно себя ведете. Вы рассылаете во все инстанции непроверенную информацию, подрываете порядок. Вы ввели в заблуждение Фунтикову, а та исполком. Вы тем самым воспользовались и захватили себе

полкоридора. Общественного! Вы, люди широко живущие, имеете комнату и кухню — целую отдельную квартиру на двух человек... В то время как другие живут тесно и даже в подвалах. Вместо того чтобы осознать это, вы повально всех вините, требуете наказаний... Чуть ли не суда! Нескромно, товарищ Полубояринов.

— Спасибо за такое наставление. Но лучше бы вы не мне лекцию прочли, а себе о своем вообще некрасивом поведении. Как вы, переезжая к нам в Рожнов из Стародубова, захватили у рабочих консервного завода квартиру из трех комнат в пятьдесят три квадратных метра. Со всеми удобствами!.. И все это на семью в четыре человека. Да мало того, вы не сдали квартиру в Стародубове. Поселили в ней своих родственников.

Павлинов поглядел на Стенина и густо покраснел:

— Видали? Ревизор из народного контроля нашелся...

— Да о чем с ним говорить? — отозвался Стенин.— Его самого привлекать надо за клевету...

— Я могу доказать,— ринулся к Стенину Павел Семенович.

— Ну, хватит! Поговорили...— властно сказал Павлинов.— Видно, ты не из тех, которым на пользу наставления. Скажем по-другому: вот вам недельный срок — и чтобы дверь в коридоре была поставлена на место. Понятно?

— Нет, не понятно. Дверь останется там, куда ее перенес горисполком.

— Тогда я сам пойду к вам. Вон возьму милиционера,— кивнул он в сторону Стенина.— И поломаю вашу дверь.

— Попробуйте...

— Семен Ермолаевич, я вам не одного милиционера, а двух выделю,— сказал Стенин.— Чтоб они подержали его. Не то еще и сопротивление окажет.

— От него все можно ожидать. Он и за топор схватится,— криво усмехнулся Павлинов.

— Я хочу знать — на каком основании вы будете дверь ломать? — спросил Павел Семенович.

— А на таком! — Павлинов поглядел на Стенина.— На основании правил пожарной безопасности. Вы стеснили общие проходы.

— Наоборот! У меня притолока раньше угрожала пожаром. Вот, поглядите. У меня чертеж есть,— Павел Семенович достал из кармана еще одну бумажку.

Но Павлинов только рукой повел, так, от себя, как сбрасывают со стола мусор:

— Все твои документы липа. Я и смотреть их не стану. Даю тебе недельный срок: не перенесешь дверь — пеняй на себя.

— И не подумаю.

— Ступай!

ГЛАВА XI

Павел Семенович, весь избитый красными пятнами, пришел от Павлинова и бросил в лицо Марии Ивановне:

— Можешь радоваться: опровержения не будет! Все они заодно... И ты вместе с ними.

Мария Ивановна решилась: раз Федулеев пошел на нее в открытую, то и ей не пристало прятаться за сутулую спину своего благоверного.

— Ты чего орешь? — развернула она плечи, и гневом задышало ее лицо от мужнего оскорбления.— Я тебе кто?

— Сотрудник Сморчкова, вот кто...

— Сам ты сморчок. За правду постоять не сумеешь? Так погляди, как поступают взрослые люди.

Она надела свою черную выходную шляпу, похожую на валенок, взяла черный зонт с костяным набалдашником и, несмотря на позднее время, пошла в редакцию.

Федулеев сидел в своем кабинете и вычитывал полосу; кроме него да секретарши Ирочки, в редакции никого. «Жаль, что нет сотрудников,— подумала Мария Ивановна.— Его хахуля не в счет. А без свидетелей что за скандал?»

Она презирала секретаршу за то, что в давнее время — еще года четыре назад — поймала ее с поличным в кассе горводснаба. Мария Ивановна работала тогда инспектором райфо. Ирочка воровала квитанции, подделывала их и получала чистые денежки. Ее осудили по статье 92 (часть вторая) за присвоение государственных средств. Но в ту пору в газетах писали насчет перевоспитания... И взяли Ирочку на поруки...

Ирочка встретила Марию Ивановну с издевательской вежливостью, как провинившуюся школьницу:

— Ваш рабочий день уже кончился. Или вы позабыли чего?

— Тебя позабыла спросить: работать мне или отдыхать.

Мария Ивановна с ходу пошла к редакторской двери, обитой черным дерматином.

— Петр Иванович очень занят! — Ирочка с кошачьей проворностью подскочила к двери.

— А я что, дурака пришла валять? Прочь с дороги!

Но не тут-то было. Ирочка прислонилась спиной к двери и продолжала вежливый разговор:

— Вы же не посторонний человек, Мария Ивановна. Вам известно, что Петр Иванович в эти часы вычитывает газету. Зачем же отвлекаете?

— А я говорю, отойди от двери! У меня дело поважнее — закон пришла выверить.

Дверь наконец открылась изнутри. Федулеев стоял у порога удоволенный:

— Представителям закона здесь всегда рады. Прошу, Мария Ивановна! — даже лысую голову чуть наклонил, а лицо так и готово лопнуть от смеха.

Ирочка приняла такую же почтительную шутовскую позу и сказала нараспев, в тон редактору:

— Пож-жалуйста! Только зонтик оставьте. У нас в кабинете не течет.

— А сколько это вас в кабинете? — съязвила и Мария Ивановна.

— Да вы и впрямь как ревизор,— усмехнулся Федулеев.— С каким мандатом?

— С государственным как бухгалтер... Да еще с партийным как коммунист. С вас довольно?

— Ба-альшой вы человек,— сказал Федулеев.

Мария Ивановна прошла в кабинет, села в кресло, а зонтик положила на редакторский стол.

Ирочка оставила дверь растворенной, удалилась к своему маленькому столику с пишущей машинкой, а Федулеев стал прохаживаться по кабинету.

— Может быть, вы все-таки закроете дверь и выслушаете меня? — сказала Мария Ивановна.

— Говорите, говорите. Здесь у нас секретов не бывает. Мы публичная печать. Живем открыто,— весело отозвался Федулеев.

— Ладно, публичная так публичная. Вы опровержение давать будете?

— Мария Ивановна, вы меня удивляете. Вы сколько у нас работаете? Третий год? Скажите, давали мы хоть раз опровержение? Никогда,— отчеканил Федулеев.— Потому что мы — печать. А в печати факты помещаются только

проверенные. Вы когда-нибудь читали опровержение?

— Вы мне печать в нос не суйте. Я знаю, какая правда у нас в редакции.

— На что вы намекаете?

— На то самое... Вы нарушаете постановление правительства.

— Какое?

— Декрет СНК СССР от двадцать первого декабря тысяча девятьсот двадцать второго года, параграф второй. Вы его читали?

— Ну?

— Вот тебе и ну... По этому декрету запрещается держать на работе в качестве подчиненных прямых родственников. А у вас не кто-нибудь из прямых родственников, а собственная жена работает. Да еще не имеет на то образования. Вот она, ваша правда.

Федулеев оглянулся на Ирочку и остановился:

— Образование у нее в пределах педучилища.

— Это как в пределах? По коридорам прошлась, а в классы не пустили?

Федулеев печально вздохнул и сел за стол.

— Мария Ивановна, третий год вы у нас работаете и ни разу даже не упомянули о таком серьезном декрете. Скажу вам честно, я не юрист и не знал о существовании такого декрета. И более того, сожалею, что мой ответственный финансовый работник не информировал меня об этом. Я допускаю, что вы совершили такой промах неумышленно. Наверно, память вас подвела. Да ведь и неудивительно — возраст у вас преклонный. Пора вам, Мария Ивановна, уходить на пенсию. Давно пора.

— Я подожду, пока ваша жена уйдет отсюда.

— Ждать не придется, Мария Ивановна... коллектив редакции не потерпит. Вы же знаете, как это делается: сперва один выговор, потом другой. А там приказ об увольнении, и точка. Ну, зачем вам доводить дело до точки?

— У меня, слава богу, ни одного выговора не бывало.

— Есть уже один, есть,— Федулеев только руками развел и с таким огорчением на лице, будто сам и страдал больше всех от этого выговора.— Ирина, принесите книгу приказов!

И не успела Мария Ивановна дух перевести, как перед ее носом уже лежала книга редакционных приказов, раскрытая на нужной странице.

Приказ № 44
по редакции «Красный Рожнов»

от 27 августа

Ввиду невыхода на работу 27 августа сего года бухгалтера редакции Полубояриновой М. И. без уважительных на то причин этот день считать прогулом и не оплачивать, а за невыход на работу **объявить выговор.**

Редактор газеты «Красный Рожнов»

Федулеев.

«Так вот оно что! — сообразила Мария Ивановна.— Вот почему они так нагло со мной любезничали».

— Это ложь! Фальсификация! — Мария Ивановна хлопнула рукой по раскрытой книге, словно муху убила.

— Книга приказов тут ни при чем. Ведите себя культурно.— Ирочка взяла книгу и выскользнула из кабинета.

— Какая же фальсификация? — спросил Федулеев.

— Злостная! Я ездила в облисполком жаловаться на вашу клевету. Я заходила в управление по печати — месячный отчет выверяла... А вы мне прогул?

— В область ездят в командировку, не так ли? — строго спрашивал Федулеев.

— Командировочные я ей не выписывала,— отозвалась из своего предбанника Ирочка.

— Правильно,— кивнул головой Федулеев,— потому что я и приказа не отдавал считать вас в командировке. Да вы и не отпрашивались у меня. Так ведь, Мария Ивановна?

— Дак я же с отчетом ездила!

— Ну и что? Отчет не исключение из правил.

— Да не впервой же я так ездила.

— Не знаю... Может быть, вы и раньше ездили жаловаться... Но я этого не знаю,— Федулеев оставался невозмутимым.

— Это же произвол! — все еще не сдавалась Мария Ивановна.

— Какой произвол? Я просто довожу до вашего сведения: один выговор вы получили и второй на подходе.

— Да вы что, издеваетесь? Или в представление играете? Это что еще за второй выговор?!

— Он пока только в проекте... Появится он или

нет — все зависит от вас. Сегодня, кажется, двадцать седьмое число? А когда авторский гонорар внештатным корреспондентам перечисляется? В третьей декаде месяца, так?

— Это при наличии денег. А когда их нет, мы перечисляем в начале следующего месяца.

— У нас есть деньги на расчетном счете.

— Всего семьдесят пять рублей, а гонорара надо перевести сто девяносто.

Федулеев опять печально усмехнулся:

— Свою зарплату вы получаете дважды в месяц... Аванс берете. А вот авторам выслать по частям считаете за труд. Инструкцию нарушаете. Нехорошо.

— Дак мы ж каждый месяц так делали!..

— Вот и худо, что так делали. За задержку гонорара получите взыскание.

— Вы просто мерзавец и негодяй! — Мария Ивановна схватила зонтик, стукнула им об пол и встала.— Но имейте в виду, в райкоме союза вам не удастся меня ошельмовать. Я член бюро!

— Вы усугубляете свое дело,— Федулеев и голоса не повысил.— Зачем вы оскорбили меня? Да еще в присутствии председателя месткома,— он кивнул в сторону Ирочки.— Прежде чем выносить ваше дело на райком союза, мы здесь решим, на месткоме... Я говорю из сочувствия к вам: подавайте заявление. Уходите добровольно.

— Разбойники! Вы что ж, хотите чтоб я в гроб добровольно легла?

— Зачем же? Живите на здоровье. Пенсия у вас будет вполне приличной.

— Спокойной жизни захотелось, да? Не выйдет. Сама жить не буду, но и вам не дам.

— Вольному воля.

ГЛАВА XII

На другой день Павлинов позвонил Федулееву:

— Ну, как там ваша собственница? Не прихватила еще к своему кабинету лишних полтора метра?

— Замышляет новую кампанию с книгой жалоб и предложений,— весело ответил Федулеев.

— Куда же она собирается жаловаться?

— В Москву отпрашивается.

— Ах, вон как! Ну, ты ее домой отправь. Скажи, что комиссия придет из райисполкома.

— Кто к ней собирается?

— Я сам пойду. Прихвачу с собой Стенина и проведу беседу на тему: не суйся, Матрена, в божий рай, когда хвост подмочен.

— Попробуй. Я тоже пытался вчера вразумить ее: не шуми, говорю, бабуся, когда тебя мешком накрыли.

— А она что?

— Я, говорит, сама вас подолом накрою.

Павлинов помолчал...

— Распущенность, понимаешь. А ты что?

— Предложил ей уйти на пенсию,— хохотнул Федулеев.

— Правильно! А она?

— Отбрыкивается.

— Не хочет по-доброму? Сунь ей два выговора...

— Это мы уж сообразили. Но она рассчитывает на поддержку в райкомсоюзе.

— А зачем тебе с союзом связываться? Проводи ее через собрание. Учти, решение собрания юридическому обжалованию не подлежит.

— Правильно!

— Ну, так посылай ее домой...

Павлинов с капитаном Стениным пожаловали к обеду. Мария Ивановна и Павел Семенович сидели на кухне, ждали. Не обедалось. Мария Ивановна разлила было суп по тарелкам, каждый схлебнул по ложке, да и задумался, как на поминках. И суп остыл.

Когда застучали в двери, они словно очнулись — Павел Семенович побежал, вихляя плечами, отпирать двери, а Мария Ивановна выплеснула из тарелок суп обратно в кастрюлю.

Увидев мокрые тарелки на столе, Павлинов усмехнулся:

— К обеду угодили... значит, кому-то из нас с вами повезет.

— Может, к столу присядете?.. У нас и выпить найдется,— сказала Мария Ивановна, как-то жалко улыбаясь.

— Ну, мы к вам не гулять пришли,— ответил Павлинов, решительно отметая всякое беспринципное примирение.— И вообще я бы вам не советовал занимать-

ся такими дешевыми методами компроментации власти.

— Кого мы компрометируем? — огрызнулся Павел Семенович.— Это вы начали завлекать любезностью.

— Поговорили, и будет,— остановил его Павлинов.— Стенин, приступай к осмотру двери на предмет пожарной безопасности.

Капитан Стенин сперва отмерил четвертями по стене от кухонного дымохода до дверной притолоки, потом растворил дверь, поковырял пальцем изрезанную дерматиновую обшивку, шагами измерил оставшийся коридорный закуток и сказал Павлинову:

— Общая коридорная площадь уменьшилась на полтора квадратных метра.

— Ну? — спросил Павлинов.

— Значит, во время пожара эвакуация будет стеснена,— заключил капитан.

— Ну вот,— удовлетворенно заключил Павлинов.

— Как же так? — спросила Мария Ивановна.— Или во время пожара будут бежать не на улицу, а к нам?

— Вот именно! — обрадовался Павел Семенович этому доводу.— Ведь наша дверь стоит не по пути соседям на улицу!

— А ежели у вас пожар случится? — огорошил их вопросом Стенин.

— Дак за свой пожар мы сами ответим,— сказала Мария Ивановна.

— Извиняюсь, за любой пожар отвечаем прежде всего мы, район! И за вас в том числе,— вступился Павлинов.

— А почему же вы не отвечали, когда дверь стояла у дымохода? Или вы на это глаза закрывали? — спросила Мария Ивановна.

— Дымоход заштукатурен. Не в нем дело. Тут у вас получился закуток, в котором вы держите баллоны с газом,— сказал Стенин.

— А если это ложь?

— У нас есть сведения...

— А если это ложь? — повторил Павел Семенович.

— А чем вы докажете, что это ложь? — спросил Стенин.

— Как чем? Где вы видите баллон? Ну? Здесь же нет его.

— Ну и что? — сказал Павлинов.— Вы его убрали, потому что ждали нас.

— Это не доказательство пожарной опасности,— сказал Павел Семенович.

— Ах, вам этого мало! — сказал Стенин.— Хорошо, пойдем дальше.

Он прошел в кухню и величественным жестом указал на посудную полку и хлебный шкаф, висевшие на стене над кухонной плитой:

— А это что?

— Как что? Кухонная полка,— сказала Мария Ивановна.

— Я спрашиваю в противопожарном отношении.

— Дак полка, она полка и есть.

— Нет, извиняюсь... Во-первых, она деревянная, во-вторых, висит над газовой плитой. Может воспламениться.

— От чего?

— От газа.

— До нее не только что газом, рукой не дотянешься,— сказала Мария Ивановна.

— А это не важно. Раз не положено, значит, не положено. Полку и шкаф перевесить на другую стенку либо обить их жестью. Даю сроку два дня, иначе оштрафую. Так... пойдем дальше. Покажите мне газовый ящик!

Они вышли вчетвером из дома.

— Вон он,— указал Павел Семенович на длинный и черный ящик, словно гроб, приставленный к кирпичному цоколю.

— А почему он не обит жестью? — спросил капитан Стенин, с удивлением глядя на Павлинова.

— Дак у всех в Рожнове такие. Все ящики Дезертир сбивал,— ответил Павел Семенович.

— Я не Дезертира спрашиваю, а вас! — строго сказал Стенин.— Почему ящик не обит жестью?

— А вон у соседей обиты? Поглядите, ну!

— Вы не кивайте на соседей. Дойдет и до них очередь. Я хочу выяснить: вы сознательно уклоняетесь от выполнения правил пожарной безопасности или нет?

— Интересно, в чем же выражается моя сознательность? — спросил Павел Семенович.

— А в том, что вы ссылаетесь то на Дезертира, то на соседей. Если бы не знали, вы бы так просто и сказали — виноват.

— Да в чем же я виноват?

— Не прикидывайтесь невменяемым,— сказал Павлинов.

— А вы мне не угрожайте! — повысил голос Павел Семенович.

— Тише, товарищ Полубояринов, тише! Пока вам говорят вежливо: замените деревянный ящик на железный,— сказал Стенин, постукивая по доскам.— Этим ящиком пользоваться нельзя. Я запрещаю. Даю вам сроку два дня.

— Это произвол! — крикнула Мария Ивановна.

— Какой произвол? Мы акт составим, сами распишемся и вам дадим расписаться. Все по науке. Можете обжаловать,— сказал Стенин.— Но газ отключим... временно.

— Может быть, вы и квартиру нашу закроете? — нервно усмехнулся Павел Семенович.

— А это что у вас? — спросил Стенин, указывая на деревянную пристройку к дровяному сараю.

— Гараж.

— Деревянный гараж, и рядом с домом? — удивленно обернулся Стенин к Павлинову.— Ну, знаете ли!

— Кто вам разрешил здесь строить деревянный гараж? — строго спросил Павлинов.

— Как кто? Горисполком,— Павел Семенович глядел в недоумении то на Павлинова, то на Стенина.

— Я вам такого разрешения не выдавал,— сказал Павлинов.

— Это еще до вас было... Десять лет тому назад.

— Покажите право на застройку!

— Да где же я его теперь возьму? Это ж когда было? — Павел Семенович покрылся потом, руки его мелко подрагивали, он быстро озирался по сторонам, словно хотел дать стрекача.

— Дело серьезное. Если вы не представите документальное подтверждение, гараж снесем, а вас накажем,— сказал Павлинов.

— Нам Халдеев разрешил,— вступилась Мария Ивановна.— Он, слава богу, жив и живет напротив нас. Зайдем к нему и выясним.

Павлинов весь перекосился и так посмотрел на Марию Ивановну, словно ему жареную лягушку предложили:

— Да вы что? Законное постановление хотите подменить словесным показанием? Ну, Полубояринова!

Кто вас только и на работе держит? А ведь вы бухгалтер!

— А что я бухгалтер?

— Вы так вот и подшиваете словесные показания в книгу отчетов? — Павлинов обернулся к Стенину и удивленно поднял брови.

Капитан Стенин засмеялся:

— Просто она нас за дурачков принимает.

— Это вы из нас делаете дураков. Не выйдет!

— Ну, поговорили,— властно сказал Павлинов.— А теперь получите приказ: в недельный срок незаконно построенный гараж снести.

— А куда я машину дену? — спросил Павел Семенович.

— Получите в горисполкоме право на застройку законным путем.

— Ну, дайте мне разрешение! Вы же председатель. Вам все подчиняются.

— У меня есть, между прочим, приемные часы. Запишитесь на прием в порядке живой очереди. Но предварительно могу сказать вам: под строительство гаражей у нас отведено место за городом, возле Пупкова болота.

— Дак я же инвалид! Я и буду прыгать на одной ноге до Пупкова болота.

— Это нас не касается.

— Мне же машину профсоюз медработников бесплатно дал. Для инвалида машина — это ноги! А вы гараж у меня отбираете?

— Я вам даю недельный срок,— холодно ответил Павлинов.

— А я, извиняюсь, должен обследовать этот гараж,— сказал Стенин.— Можно ли еще им пользоваться неделю-то.

— Вот именно,— согласился Павлинов.— А ну-ка, откройте!

Павел Семенович долго путался в карманах — ключ никак не мог найти.

— Дак он же открытый... Гараж-то,— сказала Мария Ивановна.

— Да, да. Я только что приехал с работы. Ключ-то в замке, замок там, в пробое,— деревянно пробормотал Павел Семенович, и все пошли осматривать гараж.

Ворота, словно чуя свою скорую гибель, визгливо заскрипели.

— Хозяин! Ворота смазать не может,— усмехнулся Павлинов.

— Это он с целью,— сказал Стенин.— Средство от воров: кто вздумает машину угнать, сразу всю улицу разбудит. Ну, вот вам, глядите! — Стенин указал на масляную тряпку, валявшуюся возле брезента.— Масляный предмет рядом с материалом — грубейшее нарушение правил. А вот еще! Открытая банка с маслом возле деревянной стенки. Нет уж, извиняюсь, здесь надо акт составлять.

Стенин полез в планшетку и вынул актовую книгу.

— Так с чего начнем? — он приложился было писать на планшетке, опершись на кузов машины, и вдруг обрадованно воспрянул: — Да вы только поглядите, поглядите на проводку! «Лапша» набита прямо на доски. Ни изоляторов, ни прокладки огнеупорной! Да это же просто бикфордов шнур на пороховой бочке,— тыкал он в электропроводку.

— Она же у меня не подключена,— сказал Павел Семенович.— Света у меня в гараже нет.

— А откуда мы знаем? Может быть, ты его только что отключил? Перед нашим приходом! А? Нет, за такое дело надо штрафовать,— Стенин опять обернулся к Павлинову.

— И я так думаю,— кивнул тот.

Пока капитан Стенин составлял акт, Павел Семенович убирал банку с маслом, тряпки, брезент; все это он совал в смотровую яму, обделанную бетоном, и виновато бормотал:

— Надо же, как все обернулось. Они всегда лежали у меня в смотровой яме... бетонной! Это я с работы заспешил, не успел прибраться.

— Ну, чего ты хлопочешь? Иль не видишь — они с целью пришли,— сказала Мария Ивановна.

— Правильно. Напрасно беспокоитесь,— согласился Павлинов.— Гаражом пользоваться все равно не разрешим.

— Вот, подпишите,— Стенин протянул акт Павлу Семеновичу.

— Я ни в чем не виноват и подписывать не стану.

— Если вы подпишете акт, то заплатите штраф и получите недельный срок на пользование гаражом. Если акт не подпишете, мы сейчас же опечатаем гараж вместе с машиной.— Стенин вынул коробочку с печатью,— печать

была на цепочке, да еще с брелоком в виде эмалированной мартышки; и пока Павел Семенович вытирал масляные руки, Стенин поигрывал брелоком с печатью.

Все притихли. Наконец Павел Семенович вынул ручку и поставил подпись там, где сделал ногтем отметку Стенин. После этого он ни на кого не смотрел, будто ему стыдно стало, поспешно открыл капот и уткнулся в мотор.

Когда Павлинов со Стениным ушли, Мария Ивановна окликнула его:

— Ну, чего ты там копаешься? Пошли обедать!

Павел Семенович не отозвался. Мария Ивановна зашла от капота и увидела, как у него подрагивают плечи.

— Да что ты, господь с тобой? Что ты, Павлуша? Разве так можно? Вот погоди, мы в Москву съездим. Найдем на них управу...

Она обняла его одной рукой за плечи, а второй, как маленькому, прижимала голову к своей груди.

— Мне, Маша, то обидно, что я своей рукой подписал их фальшивую бумажку. Выдержки не хватило,— всхлипывал Павел Семенович.

ГЛАВА XIII

И приснился Павлу Семеновичу чудный сон: будто бы попал он на прием к самому главному богу Саваофу.

Подошел он к тому зданию, где висит дощечка медная с надписью про писателя Салтыкова-Щедрина. Не успел толком постоять, надпись разглядеть, как толстые двери с бронзовыми ручками сами растворяются перед Павлом Семеновичем и милиционер (тот самый, что на них с Марьей строго посмотрел в первый наезд) теперь сам зазывает его, фуражку снял и кланяется через порог — заходите, мол, Павел Семенович. Давно вас поджидает сам хозяин.

Ладно. Вошел Павел Семенович, а перед ним вырос секретарь Лаптев, своей твердокаменной ладонью берет Павла Семеновича под локоток и ведет по широкой беломраморной лестнице, застланной красным ковром. Поднимаются они на второй этаж, а там народу, народу — пушкой не пробьешь. И все сидят чинно вдоль стен и ждут своей очереди. И тишина, как в церкви. Только что службы нету. А посреди большой залы стол, сидит за ним тот самый старичок, сторож с мукомольни из

Стародубова. Как увидел он Павла Семеновича, так сразу вскочил и — к нему. Берет его под второй локоток и говорит:

— Пожалуйста, Павел Семенович, вас ждет Сам.

— Это с какой стати?

— Он же без очереди!

— Запишите его в список на общем основании! — закричали, заволновались посетители.

— Товарищи, товарищи! Нельзя его на общем основании,— сказал старичок.— Все ж таки у него сноха бывшая гражданка ГДР. Не шумите. Не то она сама придет — хуже будет.

— Почему? — спросил кто-то детским голоском.

— Потому как мы — особь статья, а граждане ГДР — особь статья. Всех мешать в одну кучу нельзя. Давление может произойти от непонимания языков.

И сразу все затихли, а дверь в другую залу сама растворилась, в проеме нет никого — глухая темнота. Павлу Семеновичу жутко стало, он даже остановился.

— Ступай, ступай... Господь поможет,— сказал старичок и затворил за ним дверь.

И вроде бы свет вспыхнул. Эта зала была еще больше той, в которой сидели посетители. И стол стоял посредине длинный-предлинный, под зеленым сукном, обставленный со всех сторон стульями. А в самом конце сидел в дубовом кресле сам бог, очень похожий на писателя Салтыкова-Щедрина, с бородой и с лысиной; сидел, строго смотрел на Павла Семеновича и даже не моргал. Павел Семенович совсем оробел, и ноги у него сделались ватными, поглядел было по сторонам на стулья, но приглашения сесть не получил, а сам сесть побоялся.

— Ты зачем пришел? — спросил его бог голосом доктора Долбежова.

— Хочу вас спросить: должен человек знать или нет, для чего он живет?

— Тайна сия великая есть...— ответил бог опять голосом Долбежова.— А зачем тебе знать это?

— Чтобы поступить по совести,— ответил Павел Семенович.— Допустим, меня обидели. Что мне делать? Отомстить обидчику? Но тогда придется плюнуть на общественную обязанность, потому что мстительность отнимет у меня все силы и время.

— А для чего тебе дадены сила и время? — спросил бог.

— Чтобы людям пользу делать,— ответил Павел Семенович.

— Как же ты делаешь эту пользу? — грозно спросил бог голосом Долбежова, поднял верхнюю губу и ткнул себе пальцем в зубы.— Ты ставил мне коронку? А она стерлась всего за два года.

— Николай Илларионович, это ж я без цели! Золото оказалось квелым. Прости меня,— и Павел Семенович повалился на колени.

— Врешь! Золото было червонное, девяносто шестой пробы... Ты слишком тонкую пластинку раскатал. Сэкономил! Кого ты хочешь обмануть?

— Грешен, Николай Илларионович... Прости! Не для себя я, не из корысти. Берте щербину залатал. Ей из плохого золота коронку не поставишь.

— Ну, ежели для иностранки сэкономил, тогда встань. Значит, не для себя, для ближнего своего старался.

Павел Семенович удивился, что и тут имя Берты сработало. Скажи ты, какая сила во всяком иностранном слове имеется. И осмелел:

— Так для чего же человек живет? Для того, чтобы пользу делать, или добиваться своего, то есть правду отстаивать? — спросил он.

— Не спрашивай. Служи богу и обрящешь покой,— торжественно ответил бог.

— А что есть бог?

— У тебя что, глаза на лоб повылазили? Ослеп ты, что ли? — сказал бог голосом Марии Ивановны, и Павел Семенович в страхе очнулся.

Мария Ивановна спала рядом, и не было у нее ни бороды, ни лысины.

Павел Семенович растолкал ее и пересказал весь свой чудный сон.

— А сон-то в руку, Павлуша. Надо стучаться, идти до самой верховной власти. И дело выиграем, и покой обрящем.

— Дак ведь легко сказать — до верховной власти. А сколько сил положим? Сколько времени уйдет... Эдак и работу запустишь.

— Наплевать. А иначе досада заест.

И пришлось Павлу Семеновичу на время от общего дела отступить и взяться за личную линию. Забросил он свои научные проекты насчет торфа, патоки, сапропеля, бурого угля и даже про черепичных специалистов из ГДР

позабыл; а пошел он по инстанциям искать свою узкую, голую правду, в глубине души досадуя на это временное уклонение от борьбы за всеобщее счастье.

И понесло его, и закружило...

— Это как езда в санях в зимнюю пору,— признавался Павел Семенович впоследствии,— когда ехать не знаешь куда, дорога заметена, кругом тебя все кипит, вертится, в лицо плюет, будто тысяча чертей балует, а тебя несет куда-то во тьму, и ты ничего не видишь, окромя лошадиного зада, и слезть не в силах.

Так он и мчался в этой отчаянной погоне с яростью изголодавшегося человека утолить свою жажду, насытиться — лично доказать свою правоту.

Из жалобы Павла Семеновича в высокие инстанции:

«В прошлом году в августе месяце мы обратились в домоуправление с просьбой перенести входную дверь в нашей квартире с тем, чтобы она открывалась внутрь квартиры для удобства и в противопожарном отношении.

Горисполком разрешил перенести дверь. В соответствии с этим ремстройучасток по заявке домоуправления перенес дверь на один метр с разделкой от дымохода на 35 см и плюс прокладка войлока.

Однако проживающая рядом с нами гражданка Чижёнок категорически стала возражать, ссылаясь на то, что ей негде ставить ведро с углем и золой, класть дрова, тряпки, летом керосинку (около нашей двери). Ширина коридора полтора метра, длина после переноски двери семь метров.

В связи с этим гражданка Чижёнок стала писать жалобы и письма в советские и партийные органы, от которых требовала переставить дверь на старое место.

Вместо того чтобы призвать ее к порядку, председатель Рожновского райисполкома тов. Павлинов по непонятным для нас причинам стал на ее сторону и принялся выискивать пути и способы к тому, чтобы заставить нас перенести дверь на старое место (опасное в пожарном отношении).

Притом Павлинов угрожал нам судом, милицией и заявил: что если бы у него было свободное от работы время, то сам пришел бы руководить взломом двери.

Я, как инвалид, имею автомашину, которая находилась до августа прошлого года в деревянном гараже,

построенном мною с разрешения горисполкома в 1958 году. В ответ на наш отказ перенести дверь Павлинов приказал пожарному инспектору опечатать гараж, запретить им пользоваться, а затем потребовал от начальника городской пожарной команды разобрать мой гараж. Для постройки нового кирпичного гаража Павлинов выделил мне место на Пупковом болоте, за городской чертой. Спрашивается, как же мне, инвалиду, на одной ноге прыгать туда? Может, мне летать? Но где достать крылья?

Вот такой ультиматум поставил перед нами Павлинов. Хочешь, смейся, а хочешь, плачь.

С 29 августа по 1 сентября 196... года мы с женой находились в Москве, искали защиту у прокурора. И вот в это самое время, узнав, что мы уехали жаловаться, Павлинов приказал взломать дверь в нашей квартире и поставить ее на старое место.

Таким образом, было совершено уголовное преступление — нарушение статьи 128 закона.

Решения суда и санкции прокурора на взлом двери не было.

Между прочим, ставим вас в известность, что управдом Фунтикова по приказанию того же Павлинова подавала до этого на нас в суд, чтобы приказать нам перенести дверь на старое место. Но суд вернул ей дело, так как судья выяснил, что она сама же, то есть Фунтикова, переносила нашу дверь.

Впоследствии она объяснила нам факт взлома двери так: вызвали, говорит, нас в горисполком, сидим ждем. Вот тебе приходит туда Павлинов, расселся в кабинете и сказал: «До тех пор буду здесь сидеть, пока дверь у этих захватчиков не сломаешь. Не то выгоню с работы».

Мне, говорит Фунтикова, тоже нужен кусок хлеба. Взяла я с собой Судакова и Дезертира (это наши плотники из райкомхоза) и пошла ломать. Вот и все, из чего исходит совесть нашего домоуправа. А остальные взломщики чем лучше ее? Но все они теперь молчат.

Молчит и лейтенант милиции Парфенов — блюститель порядка и покоя, который тоже ходил ломать. А вот когда пришла пора подписывать акт о хищении вещей и денег, он малодушно сбежал. Я, говорит, человек бывалый и опытный в таких делах. И сам не подпишу, и другим не советую.

А ведь у нас в квартире кроме наших вещей находят-

ся вещи сына и снохи, бывшей гражданки ГДР. Они до сих пор живут за границей в командировке, и мы еще не знаем, что у них в целости, а чего недостает.

31 августа, вечером позвонили нам в Москву знакомые и якобы сказали, что наша квартира взломана, а дверь перенесена на старое место. Мы немедленно позвонили в Рожнов, в домоуправление Фунтиковой: правда или нет, что взломана без нас дверь? Она подтвердила это и сказала, что Павлинов приказал и они взломали.

На другой день, то есть первого сентября, мы поехали в областную прокуратуру на прием. Рассказали там, что в наше отсутствие в квартире взломали дверь и перенесли на другое место. Принимавший нас служащий сказал, что этого не может быть. Поезжайте, мол, на место и выясните суть дела. А уж если такое и в самом деле случилось, то обратитесь к властям на месте.

Потом мы пошли в областную газету «Зареченская правда» и рассказали все заведующему отделом писем трудящихся тов. Сыроежкину. Он возмутился на этот факт безобразия и не поверил нам. Мы поинтересовались: как насчет нашего письма в ответ на клеветническую заметку в «Красном Рожнове»? Кроме письма мы послали еще справку месткома больницы, где сообщалось, что в заметке помещена неправда. Тов. Сыроежкин сказал, что Федулееву позвонили и рекомендовали ему извиниться в личной беседе. На что мы выразили свое несогласие: раз уж оскорбили нас публично, то пусть в газете и заявят публично — кто прав, а кто виноват.

Тов. Сыроежкин ответил: «Выступать мы в своей газете против Федулеева не будем. Если вы недовольны его поведением, то можете подавать в суд». И потом подчеркнул: «Но тогда учтите — он может опять выступить против вас в газете».

Второго сентября вечером приехали мы в Рожнов. Не заходя домой, пошли ночевать в гостиницу, а утром обратились с жалобой к прокурору Пыляеву. По его распоряжению была создана комиссия, чтобы впустить нас в квартиру. В эту комиссию вписали всех лиц, которые взламывали дверь. Но ушло три часа времени на то, чтобы заставить этих людей собраться к месту происшествия, то есть преступления.

Особенно не хотели идти управдом Фунтикова и милиционер — лейтенант Парфенов.

Начальник милиции Абрамов долго спорил с прокуро-

ром Пыляевым и согласился послать Парфенова только после письменного распоряжения из прокуратуры. А вот ломать дверь Абрамов послал Парфенова, не спрашивая санкции прокурора.

Пока собиралась комиссия, нам в горисполкоме сняли копию акта насчет взлома дверей и заверили ее круглой печатью. Вот кто присутствовал при взломе двери:

1. Управдом Фунтикова,
2. Техник-смотритель — инженер Ломов,
3. Квартиросъемщик Чижёнок Зинаида,
4. Участковый уполномоченный Парфенов,
5. Плотник Гунькин (он же Дезертир).

Примечание: одновременно Фунтикова сказала нам, что плотников было двое, но в акте почему-то записан один и подпись одна.

Впускали нас в квартиру только вчетвером. Плотник Гунькин (он же Дезертир) по пути следования к нашему дому незаметно исчез.

Придя с комиссией к квартире, мы обнаружили, что дверь поставлена на старое место в перевернутом виде, то есть кверху ногами, и к тому же комнатной стороной в коридор (см. приложенное фото). Петли прибиты снаружи, как ремешки в собачьей конуре, да и то по одному, по два шурупчика на петлю. Их можно легко вывернуть и входить в квартиру, не открывая замка.

Из фотографии видно, что дверь двустворчатая. Французский замок уже теперь роли не играл, поскольку был снаружи, да и дверь открывалась в другую сторону и шпингалеты, защелки оказались снаружи. Зато уж из квартиры дверь нельзя было открыть без ключа. Второй замок, висячий (велосипедный), был повешен на две петли, и каждая петля пришпилена одним шурупом, которые легко вынимались невооруженной рукой. Эти петли были вырваны из двери во время взлома ее, а после того как дверь перевернули, петли поставили в старые гнезда и воткнули в них по шурупу вроде бы на смех.

Даже при таком, «запертом» состоянии дверь свободно раскрывалась на 10 сантиметров — в эту щель вся квартира видна. Смотри, выбирай, что хочешь, и входи свободно.

Маленькое добавление: когда переносили дверь на старое место, без лишней надобности поломали притолоку у дверей, перегородку при входе на кухню и настенную полку.

Когда вошли в квартиру, то мы сразу же обнаружили:

1) Нет двух крашеных тесин, которые я приготовил, чтобы сделать новую полку взамен запрещенной над газовой плитой пожарным инспектором.

Между прочим, лейтенант Парфенов удивленно сказал: «Куда они делись? Я хорошо помню, что они стояли на кухне, когда мы дверь переносили».

2) В кармане жакета, висевшего в раздевальном шкафу на кухне, не оказалось 90 рублей. Эти деньги были приготовлены женой для поездки в Москву и по ошибке остались в жакете (другой жакет надела). Мы спохватились только в Стародубове. Ехать домой — обидно. Мы заняли 50 рублей у племянницы жены Костиковой Светланы Евсеевны. Она сможет подтвердить.

3) Не оказалось китайского свитера, шерстяного, темно-коричневого цвета.

4) Исчез отрез темно-синего бостона длиной три с половиной метра.

Примечание: эти вещи лежали в самодельном шифоньере в спальне.

Может быть, нет и еще каких-то вещей из принадлежащего добра сыну. Но выяснить нам это до сих пор не удалось, повторяем, они находятся за границей (живут в длительной командировке).

Члены комиссии составлять акт на эти безобразия не стали, якобы мотивируя тем, что устали. Составили акт мы с женой. Но члены комиссии подписывать его не стали. Парфенов сказал тогда свою знаменитую фразу: «Я человек бывалый и опытный в таких делах. Акт не подпишу и вам не советую. Вот если они про вещи не станут писать, тогда поглядим...»

В тот же день я позвонил районному прокурору. Тов. Пыляев сказал: «Ну, что ж, силом их не заставишь подписывать. Подпишите один и сделайте оговорку, что они от подписи отказались. И немедленно сделайте заявление начальнику милиции о пропаже вещей и денег. Не забудьте просьбу написать, чтобы привлекли виновных».

Мы тут же написали заявление и подали их в милицию и в прокуратуру. Да, нам еще в областной прокуратуре посоветовали: пригласите общественность с места работы. Пригласили. К нам пришли рентгенотехник больницы Орлов и медсестра Глухова. Тов. Орлов

даже сфотографировал дверь, замки, петли, да еще в разных вариантах. Вспышку магния использовал... Вот кто проявил настоящую заботу о нас.

А члены комиссии, почуяв недоброе, разбежались. Правда, лейтенант Парфенов привел с собой плотника Гунькина и приказал ему сделать дверь по-настоящему (чтобы следы замести). Но мы плотника к работе не допустили, сказав: «До прихода оперуполномоченного и составления им протокола к дверям прикасаться не позволим».

Так нам по телефону советовал поступить работник областной прокуратуры. Он добавил еще: «Будут не только фотографировать, но, возможно, снимать и отпечатки пальцев».

5 сентября подали в милицию второе заявление, просили ускорить осмотр двери оперуполномоченным, так как ее надо отремонтировать, чтобы закрывать и уходить на работу. А то нам пришлось поочередно дежурить в квартире, отчего у жены моей произошло осложнение на работе и ей пришлось уйти на пенсию по старости.

Это второе заявление было отдано заместителю начальника милиции тов. Помозову при свидетелях: сотрудниках больницы Глуховой и Орлове. Тов. Помозов очень недовольно сказал:

«Меньше надо разъезжать и скрываться от властей. А то, видите ли, понадеялись на замки. Оставили бы кого-нибудь за себя, и кражи не было бы. Нечего на замки надеяться».

Но я возразил, что надеялся не только на замки, но и на милицию и не предполагал, что есть такие начальники, которые способны посылать своих подчиненных ломать двери в квартиру, не имея на то права.

На что Помозов ответил: «Кто посылал, тот и найдет право».

Наше заявление со своей резолюцией он отослал оперуполномоченному Жуликову, у которого уже третий день лежало наше первое заявление.

Наконец-то прибыл тов. Жуликов к нам, то есть на место происшествия, 15 сентября с Ломовым, с двумя понятыми и милицейским фотографом. Тов. Ломов в присутствии понятых подтвердил, что дверные замки и петли находятся в таком же состоянии, в котором были оставлены 29 августа, то есть в день взлома. Было также

установлено, что в квартиру можно легко войти, не ломая дверей.

Надо бы акт составлять, но тов. Жуликов сказал, что потом оформит и, когда надо, пригласит нас на подпись.

Фотограф начал фотографировать дверь. Но странно — осветительной аппаратуры у него не было, а в нашем коридоре сумеречно и даже лампочки нет. Они, видимо, считали нас за простачков и решили разыграть перед нами инсценировку расследования. То есть чтобы мы после их «фотографирования» сейчас же приступили к ремонту двери и заметали следы их преступления.

Я тогда повернулся к жене и сказал во всеуслышание:

«Маша, эти оперативные работники, наверное, никогда не фотографировали в темноте. Принеси им наши снимки, пусть сличат».

Мария Ивановна принесла снимки Орлова, и я передал их тов. Жуликову. Он недовольно заметил: «Больно много берете на себя. У нас пленка высокой чувствительности». Но снимки мои взял с собой.

Через час в тот же день приходил плотник Гунькин, но дверь переделывать мы не разрешили. Так мы и жили при раскрытых дверях еще две недели. Наконец второго октября майор Жуликов пригласил меня на подпись акта. Он, может быть, и еще протянул бы, но мы ему звонили каждый день по шесть раз — с утра Мария Ивановна, а после обеда я.

А еще через день приехал из областной прокуратуры Савушкин. При снятии с нас допроса Савушкин уделял внимание только тому, кто и как переставлял дверь, а тот факт, что дверь взломали и что пропали вещи из квартиры, он как бы отметал от себя.

Тогда мы сказали ему: «Очень странно! Почему это вы все преступление разбиваете на два отдельных дела — на переноску двери, причем игнорируете, что она была взломана, и на кражу вещей?» Он ответил мне: «Взломом двери и кражей вещей пусть занимается милиция. А наше дело выяснить — по закону вы перенесли дверь или нет?» — «Как же так? Ведь дверь ломали и переносили одни и те же люди. И кража произошла по их вине. Пусть они и заплатят за это сполна».

Мы сказали ему, что если он не впишет в допрос

насчет пропажи вещей, то протокол мы подписывать не станем. Он нехотя вписал показания насчет пропажи вещей и денег, и то в самом конце.

Через три дня начальник милиции Абрамов уведомил нас об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу взлома двери и кражи и выдал нам на руки постановление, подписанное Жуликовым.

Это постановление, утвержденное самим Абрамовым, проливает свет на блюстителей порядка, то есть они заинтересованы не в том, чтобы привлечь к ответственности своего же сотрудника, а в том, чтобы заметать следы. В нем, например, сказано, что дверь была заперта на два замка и в квартиру попасть нельзя. Но ведь сам Жуликов, не трогая замков, открывал при нас дверь! И Ломов проделал это в присутствии понятых. Зачем же писать такую чепуху?

Или вот еще одна запятая в этом постановлении: «Свидетели — соседи по коридору подтверждают, что никто из посторонних лиц в отсутствие Полубояриновых к ним в квартиру не входил».

Очень интересно! Один из этих свидетелей — Чижёнок в декабре того же года украл из совхозного магазина кусок панбархата и пропил его. Это было обнаружено той же милицией. Но чем дело кончилось, не знаем.

Да и вообще насчет соседей это выдумка: когда был у нас тов. Жуликов с понятыми, никаких соседей он и в глаза не видал.

Мы обращались к прокурору Рожновского района с просьбой отменить это постановление. Но тов. Пыляев отказал нам.

С той поры куда мы только ни посылали жалобы, но все они возвращаются к нам же ни с чем. Тов. Пыляев сказал нам: «Так оно и будет тянуться. Мы не в силах вести это дело и не знаем, для чего из областной прокуратуры пересылают к нам ваши жалобы. Ведь пока Павлинов не будет наказан, а это может сделать только областной прокурор, никаких сдвигов по вашему делу не будет».

«А разве другие не виноваты?» — спросили мы.

Он ответил: «Конечно, и другие виноваты, но Павлинов их изнасиловал на это дело».

Потом он признался чистосердечно: я, говорит, сам удивлен — вы в своих жалобах пишете о взломе двери и

краже вещей, а они вам отписывают о ремонте и переноске дверей. Это они делают с целью.

С той поры много месяцев ведем мы такую бесполезную переписку. И конца ей не видать.

К сему *П. Полубояринов*».

ГЛАВА XIV

И грянул гром... В одно прекрасное утро Полубояриновым принесли с курьером сразу два конверта — один из милиции, второй из прокуратуры.

В одном документе значилось:

«29 августа 196... года комиссия из Рожновского горисполкома в присутствии участкового уполномоченного Парфенова в момент Вашего отсутствия произвела перестановку входной двери Вашей квартиры.

Присутствие т. Парфенова не вызывалось никакой необходимостью, за что он мною наказан в дисциплинарном порядке.

Нач. Рожновского ГОМ
подполковник милиции *Абрамов*».

— Слыхала, Марья? Один получил по шее,— радостно воскликнул Павел Семенович.

— Читай дальше! — сердито приказала Мария Ивановна.

В другом документе младший советник юстиции Пыляев писал:

«...Вам уже сообщалось устно, что непосредственный виновник в нарушении неприкосновенности Вашего жилища, участковый уполномоченный Парфенов привлечен к ответственности...»

— Когда же это сообщалось нам? — поднял в удивлении глаза Павел Семенович.

— Тебе говорят, читай! — грозно повторила жена.

— Дак что, и спросить нельзя? — обиделся Павел Семенович и продолжал читать:

«Домоуправ Фунтикова Е. Т., допустившая проникновение в Вашу квартиру комиссии, также привлечена к дисциплинарной ответственности по постановлению прокурора».

— Ага, и эта достукалась,— сказал Павел Семенович.

— Ну уж нет, голубчики! От меня так дешево не

отделаетесь. Пока не накажут Федулеева и Павлинова, я и сама сна лишусь и другим не дам. Поехали в облисполком! Сейчас же.

— Чего мы там не видали?

— Дурак! Значит, туда ответ пришел на жалобу. Иначе она бы не сработала сразу в двух заведениях. Поехали! Пусть нам дадут решение Верховного Совета на руки. Тогда поглядим, кто запляшет камаринскую, а кто «Вдоль по Питерской...».

Мария Ивановна оказалась права, хотя получить решение Верховного Совета на руки ей и не удалось.

В приемной самого председателя исполкома областного Совета они спросили молодую интересную девушку:

— Александр Тимофеевич у себя или нет?

— А по какому вопросу?—спросила в свою очередь девушка.

— Мы посылали жалобу в Верховный Совет, и нам доподлинно известно, что ответ на нее находится здесь,— твердо сказала Мария Ивановна.

— А как ваша фамилия?—очень вежливо и как бы с испугом спросила девушка.

— Мы Полубояриновы из Рожнова.

— Минуточку!—девушка выпорхнула из-за стола и скрылась за дверью не самого Александра Тимофеевича, а в кабинете напротив, на дверях которого была дощечка с надписью «Заместитель председателя И. В. Акулинов». Через минуту вышел Акулинов.

— Что вы хотите?

— Во-первых, ознакомьте меня с ответом Президиума Верховного Совета на мою жалобу; во-вторых, очень прошу, чтоб меня принял сам Александр Тимофеевич, то есть председатель.

Акулинов хоть и был человеком в годах, но будто бы тоже чего-то стеснялся:

— Александра Тимофеевича нет в кабинете, поэтому прошу проследовать ко мне. Лёся!—сказал он секретарше.— Принесите мне нужную папку.

Лёся принесла нужную папку, Акулинов раскрыл ее, немного полистал и спросил:

— Откуда вы, товарищ Полубояринов, достали номера телефонов в отдел ЦК? И почему надоедаете им с какой-то дверью?—спрашивал строго, но сам улыбался.

— Номера телефонов в нашей стране являются не секретом, и странно, товарищ Акулинов, что вам это

неизвестно! — ответил Павел Семенович.— А звонил я не из-за двери, а потому, что полгода не разбирали мои жалобы, где затронуты мной очень важные вопросы, то есть нарушение закона об уголовном преступлении, об издевательствах, глумлении, совершенных так называемыми членами партии, которые занимают даже ответственные посты.

— Я вас предупреждаю, выражайтесь осторожнее,— сказал Акулинов. Он уже не улыбался.

— А то что будет? — спросила Мария Ивановна.

— Я просто сообщу куда следует.

— Интересно, а куда же это следует сообщать? — усмехнулся Павел Семенович.

— Вы зачем пришли? Жалобу разбирать или чернить многих ответработников?

— Дайте мне прочесть решение,— сказала Мария Ивановна.

— Решения нет. Есть письмо, адресованное исполкому.

— Дайте прочесть это письмо.

— Не имею права. Это всего лишь внутренняя переписка.

— В таком случае пусть примет нас Александр Тимофеевич.

— Говорят вам, он очень занят и в отъезде!

Акулинов, отвечая на эти вопросы, поглядывал в папку — прочтет один-два пункта, что-то скажет, потом опять глаза косит туда.

Мария Ивановна подтолкнула Павла Семеновича, тот смекнул, в чем дело, и давай по стульям передвигаться к столу.

— Поскольку жалоба наша, и ответ положено читать нам, а не кому-нибудь,— говорил Павел Семенович, передвигаясь по стульям.

— Неужели с вас недостаточно, что их наказали? — спросил Акулинов, оторвавшись от чтения.

— Кого их?

— Ну, Парфенова и Фунтикову.

— Дак нас вон как наказали! Жена работы лишилась,— говорил Павел Семенович, опираясь локтями уже на стол и пытаясь заглянуть в папку.— А сколько вещей пропало!

Акулинов закрыл перед носом Павла Семеновича папку и сказал:

— Нам часто говорят о пропажах куда более ценных. Даже о золотых часах. Да не всему надо верить.

— Дак мы же не имеем цели воспользоваться случаем,— ответила Мария Ивановна.— Мы не написали, что у нас пропало 200 рублей. Сколько пропало, столько и пропало. Пусть Павлинов заплатит нам из своего кармана.

— Интересно вы смотрите на чужой карман,— сказал Акулинов.

— А как смотрят на наш карман? Залезли да вынули. Сколько хотели...

— Я вам советую обратить внимание на такой факт — из-за какой-то двери вы можете потерять здоровье,— с укором поглядел Акулинов на них.— И не надо писать жалобы выше своей головы.

На что Павел Семенович с достоинством ответил:

— Я знаю только одно — любой произвол, малейшее нарушение социалистической законности у нас недопустимы. Никому не позволено нарушать закон.

— Между прочим, ставлю вас в известность,— ответил Акулинов,— горисполком может вынести решение о переноске двери вашей квартиры и без приглашения вас на заседание...

Павел Семенович опять встал, опираясь руками о стол:

— Это что, закон такой? Или в ответе так написано?

— Успокойтесь, пожалуйста. Это мое личное мнение.

— Мнений может быть много, а закон один. Я деньги на поезда тратил, время, здоровье... не ради какого-то мнения, а чтобы закон найти!..— распалялся Павел Семенович, стуча кулаком по столу.

Мария Ивановна встала и тоже закричала:

— Павел, успокойся! Слышишь? Добром говорю!

Павел Семенович даже и не поглядел на нее:

— Хорошо! Если вы считаете, что горисполком за моей спиной может вынести решение и взломать двери в моей квартире, напишите мне это на вашем бланке. И чтоб с личной росписью!

— Закон такой письменно подтвердить не могу, но от слов своих не отказываюсь,— ответил Акулинов, тоже весь красный, словно ошпаренный.

— Да видал я ваши слова в гробу, в белых тапочках...

— Замолчи ты наконец, чертова фистулька! — крикнула еще громче Мария Ивановна и от нервности тоже покрылась пятнами.

Тут вошел в кабинет незнакомый товарищ и, увидев, как покрасневшая Мария Ивановна, размахивая руками, грозилась на стол, где сидел такой же красный Акулинов, сказал строго:

— Вы, гражданочка, не рисуйтесь своими картинками истерик. Здесь вам не базар, а официальное учреждение. Нас ничем не удивишь. Много я их видывал...

— Не надо, гражданин, так грубить пожилому человеку. У нее голова седая, нервы больные, повышенное кровяное давление,— распекал вошедшего Павел Семенович.— Она оперирована по поводу разрыва сетчатки глаза.

— А вы чего стоите не на своем месте? — набросился на него вошедший.— Развалился тут на столе начальника. Выйди сейчас же оттуда! И сядь где положено... Вон там! — указал на стул у порога.

— Иван, ты что, опупел, что ли? — сказал ему Акулинов.— Он же инвалид.

— Ну и что? Посади его на шею. Он еще и ножки свесит.

— Может, мне штаны задрать? Показать, что одна нога короче? Я опираюсь на стол по стечению несчастных обстоятельств...

В это время загремели стулья, и Мария Ивановна навзничь повалилась на пол.

— Воды! — крикнул Павел Семенович.

— Воды скорее. Воды! — закричал и Акулинов, выбегая из-за стола.— Иван, пойди вон!

— Ну да, у них нервы, понимаешь, а у нас веревки, канаты...— ворчал Иван, уходя.— Посидел бы на моем месте. Небось запел бы другим голосом...

Вбежала Лёся с графином воды.

Павел Семенович стал лить воду Марии Ивановне на виски и на грудь. Она сперва глубоко вздохнула, словно спросонья, и Павел Семенович, боясь, как бы она не заругалась в забытьи, опередил ее:

— Маша, а вот товарищ Акулинов сейчас нам прочтет все решение. Ты вставай потихоньку, вставай!..

Мария Ивановна открыла глаза, с удивлением поглядела на Лёсю, на графин с водой и все поняла. Прикрыв одной рукой расстегнутый ворот, другую подала Павлу Семеновичу:

— Ну-ка, помоги мне!

Павел Семенович приподнял ее, и она встала.

В кабинете Акулинова не было, а на его месте сидел

знакомый им секретарь исполкома Лаптев и любезно приглашал к столу:

— Мария Ивановна, Павел Семенович, давайте сюда, к столу поближе...

В руках у него была все та же папка. Он раскрыл ее и сказал:

— Товарищ Акулинов не в курсе. Надо было ко мне зайти. Дело в том, что по вашей жалобе принято решение пленума исполкома,— он поднял бумагу.— Вот, пожалуйста, выписка из постановления пленума. Хотите, я вам зачту ее? Так, так, значит, по поводу разбора жалобы,— бормотал он, поводя глазами.— Вот здесь, смотрите! Пленум решил: «Первое: отметить, что т. Полубояринов правильно обратился с заявлением об улучшении жилищных условий. Так, второе: отметить, что домоуправ т. Фунтикова неправильно, самолично сделала ремонт, не спросив соседей, чем нарушила закон и принцип народной демократии. Третье: работники домоуправления и иные лица в отношении перестановки дверей действовали в исполнение решения горисполкома, то есть правильно. Уголовно наказуемого деяния нет. Так. Пленум постановил. Первое: осудить неправильное действие работников домоуправления, которые не обеспечили охрану квартиры Полубояринова. Второе: принять к сведению заявление горисполкома, что Фунтикова и Ломов наказаны. Третье: принять к сведению заявление прокурора Пыляева, что участковый уполномоченный Парфенов наказан. Четвертое: редактору газеты «Красный Рожнов» Федулееву извиниться перед Полубояриновыми в приемлемой форме. И пятое: поставить вопрос перед облисполкомом о привлечении т. Павлинова, когда он приедет с учебы». Вот так... Тут моя подпись. По подлинному верно: Лаптев. Пожалуйста,— он подал Полубояриновым выписку.

— А как же насчет пропажи? — спросила Мария Ивановна.— Кто за нее заплатит?

— Есть и на этот счет решение...— Лаптев достал из папки еще бумагу.— Вот постановление областного прокурора: вычесть из зарплаты Павлинова в течение одного года триста восемьдесят девять рублей в пользу гражданина Полубояринова Павла Семеновича. Решение окончательное, обжалованию не подлежит.

— Что ж, выходит, он деньгами отделался? — недовольно спросила Мария Ивановна.

— Товарищи, насчет привлечения в дисциплинарном порядке вы не беспокойтесь. Как только вернется, так получит что следует.

— А как же насчет опровержения в печати?— спросил Павел Семенович.— Извинения редакции то есть.

— Есть и на этот счет бумага. Вот, пожалуйста.

Лаптев положил на стол еще один листок, и Павел Семенович с Марией Ивановной прочли:

«Тов. Полубояринов!

Как выяснилось, редакция газеты «Красный Рожнов» была введена в заблуждение, публикуя материал по поводу Ваших жалоб. Автор корреспонденции односторонне подошел к этому вопросу, не придал значения тому, что в райисполкоме к рассмотрению Ваших жалоб проявлялось невнимательное отношение.

В связи с этим к автору корреспонденции Сморчкову приняты соответствующие меры. Редакция приносит Вам извинения за ошибочно опубликованный материал. Что же касается публикации в газете опровержения, на котором Вы настаиваете, то оно будет расцениваться нами как новый материал на решенную тему. Мы считаем такую публикацию нецелесообразной, так как в данном случае пришлось бы снова публично возвращаться ко всей неприглядной истории Вашей тяжбы с соседями.

С уважением
редактор *Федулеев*».

ЭПИЛОГ

Прошлым летом я побывал в Рожнове. Заходил к Павлу Семеновичу. Он постарел, сгорбился — ходит с палочкой. «Москвич» его стоит под окном и зимой и летом, накрытый брезентом. Павел Семенович никуда уже не ездит — незачем: сам он теперь на пенсии, а Мария Ивановна с весны уехала к сыну нянчить внучат.

На месте гаража стоит открытый с боков навес, под ним поленница дров и аккуратный штабель из торфяных брикетов.

— Видал, торф с Пупкова болота,— сказал мне Павел Семенович.— Сколько я писал про это! Торф у нас под

боком, берите, не ленитесь... Не послушались. А теперь вот сами дошли до сознания.

И мост через Прокошу, к радости Павла Семеновича, наконец-то строят. Даже дорогу асфальтированную ведут к Рожнову, а щебень возят из Касимовского карьера кружным путем, на баржах: сначала по Оке, потом Прокошей до Сухого переката, там сгружают на берег — дальше на машинах пятнадцать километров по лугам... если сухо. А в дожди на луга и не сунешься — дороги разбиты. Павел Семенович и тут не выдержал, написал проект: «Насчет использования каменного карьера на Лысой горе под г. Рожновом». И отослал его в обком. Проект вернулся в Рожновский райком с резолюцией: «Разобраться на месте».

— Первый секретарь вызвал меня. Молодой человек, обходительный,— рассказывал Павел Семенович.— Я ему: щебенку за полтораста верст возим, а возле дороги под Рожновом целая каменная гора. Весь Рожнов из нее построен. Ставь дробилку и молоти. Тут щебня на дорогу-то хватит аж до глухой Сибири.

— А он что?

— Согласен, говорит, Павел Семенович. Но учтите такую, говорит, позицию — дорога-то республиканского значения, карьер местный. На него плана нет. А у нас самих ни денег, ни оборудования. Да ведь и не больно возьмут они нашу щебенку: у них по смете проходит касимовская.

Про историю с дверью у Павла Семеновича заведено целое дело: все жалобы и ответы на них, фотографии, акты — все аккуратно подшито и пронумеровано; хранятся почтовые квитанции, железнодорожные билеты, автобусные и даже квитанции телефонных разговоров, связанных с разбором жалоб. На каждом ответе на жалобу рукой Павла Семеновича и красными чернилами либо размашисто начертана резолюция — «согласен», либо бисерным почерком нанизано возражение. Например, на ответе Федулеева Павел Семенович написал: «Возражаю. Добиться публичного опровержения, и притом в газете».

Последнюю жалобу он написал в соседнюю область, где теперь работает Павлинов. «Какое наказание получил Павлинов за проявление волюнтаризма, т. е. хулиганства, в г. Рожнове?»

На эту жалобу ответа пока нет.

1970

Мужики и бабы

РОМАН

Памяти родителей моих
Марии Васильевны и Андрея Ивановича
посвящаю
Автор

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.

Пушкин

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...

Лермонтов

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

У Андрея Ивановича Бородина накануне Вознесения угнали кобылу. Никто не мог сказать, когда это в точности произошло. Кони паслись вольно в табунах уже недели две. Отгоняли их на дальние заливные луга сразу после сева, и до самой Троицы отдыхали кони, нагуливались так, что дичали. Бывало, пригонят их из лугов — они ушами прядают, а тело лоснится, инда яблоки проступают на крупе. За эти долгие недели только единожды пригоняли их на день, на два: проса́ ломать.

Раскалывались проса на девятый, а то и на десятый день после посева, да и то ежели в теплой воде семена мыты. Ходили смотрели — как они набутили? Ежели белые корешки показались, уж тут не моргай — ломай без оглядки, паши да боронуй, чтобы дружнее взялись да ровнее, раньше травы взошли. Не то прозеваешь — пустит «ухо» просо, то есть росток поверху, тогда пиши пропало. Замучаются бабы на прополке.

Вот и приспело — на самое Вознесение ломать проса́. Ушли мужики за лошадьми в ночь: пятнадцать верст до тихановских лугов за час не отмахаешь. А там еще табуны найти надо. Они тоже на месте не стоят. Ищи их, свищи. Луга-то растянулись вдоль Прокоши до самой Оки верст на тридцать, да в верховья верст на полтораста, аж до Дикого поля, да в ширину верст на пять, а то и на десять, да еще за рекой не менее десяти верст, считай до Брёхова. Есть где погулять...

Тихановские табуны паслись под Липовой горой возле озера Падского. Там, как рассказывают старики, Стенька Разин стоял с отрядом на самой горе, а в том озере затопил баржу с персидским золотом. Озеро это

будто бы в старину соединялось с рекой, и в нем нашли медный якорь, который перелили потом в колокол.

У подола горы, на лесной опушке держал пчельник дед Ваня Демин, по прозвищу «Мрач». Он со своим пчельником кочевал по лугам, как цыган с табором. Посадят его с первесны на телегу, мешок сухарей кинут ему, гороху да пшена, а на другие подводы улья поставят... И прощевай дед Иван до самой сенокосной поры. Ныне на Липовое везут, в прошлом году на Черемуховое отвозили, а на будущий год куда-нибудь в Мотки забросят. Когда дед Иван бегал еще, побойчее был, сам глядел за мельницей,— он и пчельник держал поближе к селу, сразу за выгоном, чтоб мельница на виду была. Бывало, только ветер разыграется, тучи нагонит — он уже бежит через выгон и орет на все Большие Бочаги: «Федо-от, станови мельницу — мрач идет! Федо-от, ай не слышишь? Мамушка моя, туды ее в тютельку мать... Федо-от! Мрач идет...» Так и прозвали его Мрачем. К нему-то и завернул на зорьке Бородин.

Старик стоял возле плетневого омшаника и долго из-под ладони всматривался в ходока.

— Никак, Андрей Иванович! — оживился наконец дед Ваня.— Откуда тебя вынесло? Мамушка моя, туды ее в тютельку мать... Да ты мокрый по самую ширинку. Ай с лешаками в прятки играл?

Андрей Иванович приподнял кепку, поздоровался:

— Ивану Дементьевичу мое почтение.

Старик подал руку, заботливо заглядывая гостю в лицо:

— Ты чего такой смурной? Ай беда стряслась?

Андрей Иванович сел у костра, кинул с плеча оброть, достал кисет, скрутил цигарку, протянул табак старику.

— Да ты и в самом деле смурной! — удивился старик.— Я ж не курю!

Бородин отрешенно сунул кисет в карман:

— Как знаешь...

Дед Ваня достал свою табакерку берестяную, захватанную до лоска, с ременной пупочкой на крышке; поглядывая на раннего гостя, на его темные мокрые онучи, на разбухшие и сильно врезавшиеся в них оборы, на маслено-желтые от росы головашки лаптей, подумал: «Э-э, брат, много ты на заре искрестил лугов-то». Вталкивая щепоть табаку в ноздри, изрек:

— Ноги ты не жалеешь, Андрей Иванович. Они, чай,

не казенные. Вон лошадей сколько ходит... Бери любую и катай.

— Угу... так и сделали,— отозвался Андрей Иванович, прикуривая от головешки.— Взяли и укатали. Кобылу у меня угнали.

— Какую кобылу? Не рыжую ли?!

— Ее,— выдыхнул Андрей Иванович.

— Ах, мамушка моя, туды ее в тютельку мать! А-ап-чхи! Чхи!.. Кхе-хе! — старик затрясся в кашле и замахал руками.

У старика рыхлый, распухший от нюхательного табака красный нос; когда он кашлял и чихал, пыхтя и надуваясь, как кузнечный мех, нос его становился лиловым, похожим на вареную свеклу. Под конец своей понюшки старик прослезился... Потом высморкался в подол суровой рубахи, выругался и спросил:

— Кто те сказал, что кобылу угнали?

— Кто мне сказал? С вечера пришли за лошадьми проса́ ломать... Ну, мужики разобрали своих да уехали. А я целую ночь ходил... Все табуны обошел — нет кобылы...

— А жеребята?

— Жеребята в табуне... И третьяк, и стриган, и Белобокая... Все там.

— Может, и кобыла найдется?

— Нет... Кобылу угнали. Сама она от жеребят не уйдет.— Андрей Иванович бросил окурок, оправил привычным движением правой руки пышные черные усы и задумался, глядя в костер.

— Ну чего ты отчаялся? И на Белобокой пахать можно. Гони, ломай проса-то,— сказал старик.

— Плевать мне теперь на просо! Я этого гада сперва сломаю,— Андрей Иванович скрипнул зубами, и его глубоко посаженные темные глаза нехорошо заблестели.— Я с ними посчитаюсь! — он пристукнул кулаком по коленке.

— А ты что, знаешь его?

— Я узнаю...— он в упор, с вызовом поглядел на старика.— Вася Белоногий не навещал тебя, случаем?

— Да что ты, Андрей Иванович, не гневи бога! — Дед Ваня засуетился, стал оправлять костер, подкидывать в огонь обгоревшие чурки.— Он уж с двадцать второго года не промышляет лошадьми. Как только власть окрепла, так и он отшатнулся!

— Власть окрепла!.. Знаем, почему он отшатнулся. В Желудевке приятеля его сожгли, а Белоногий деру дал...

— Не греши, Андрей Иванович,— упрашивал старик.— Это Митьку Савина хотели в костер-то бросить. А Васю не трогали. Он с теми конокрадами не якшался. В ту пору он больше по амбарам промышлял. Яблоки у попа увез... Это было... А теперь он при деле. В селькове[1] сидит. И чтоб лошадь у тебя угнать? Ты ж ему не чужой.

— Дак он у тебя, у родного дяди, амбар обчистил! — взорвался опять Бородин.

— И это было,— склонил лысую голову дед Ваня.— Но учти такую прокламацию... Это ж при старом режиме было! А теперь он в селькове сидит, инвентарем снабжает...

— Не знаю, кого он там снабжает. Но что воры ему все известны наперечет, в этом я уверен.

— Это очень даже способно,— закивал дед Ваня.— Насщет того, кто украл, он, черт, сквозь землю видит. Это ж промзель. Я что тебе посоветую: заобротай Белобокую и поезжай к Васе в Агишево. Авось он поможет тебе. У него сама милиция останавливается. Истинный бог, правда!

— К Васе — не к Васе, а ехать искать надо,— примирительно сказал Андрей Иванович.

— Во-во! — подхватил старик.— До Агишева двадцать верст. И все лугами... просквозишь всю плесу. Может, чего и отыщешь. Земля слухом полнится.

— Пожалуй, и в самом деле к Васе поеду.

— Имянно, имянно! А я тебе логун меду нацежу — воронка́. Отвезешь Васе. Выпьете... Авось и сойдетесь с ним. Поезжай, поезжай...

2

Рыжая кобыла, прозванная Веселкой, была и опорой и отрадой Андрея Ивановича. Высокая, подтянутая как струна, за холку схватишь — звенит. Грива светлая, волнистая, как шелковая,— из рук течет. Что твой оренбургский платок... Хоть накрывайся ей. Ноги сухие, золотистые, а бабки белые... Как в носочках. Храп тонкий, сквозной, на солнце алеет, будто кровь кипит... На лбу

[1] СельККОВ — сельское крестьянское кооперативное общество взаимопомощи.

звездочка белая, по крупу кофейные яблоки лоснятся, словно атласные... Красавица! Десять жеребят принесла и телом не спа́ла. Берег ее Андрей Иванович и в работе и в гоньбе. Каждого подрастающего жеребенка-третьяка передерживал на год,— объезжал и впрягал в работу. Продавал только на пятом году, когда новый третьяк лошадью становился, а там стриган подпирал, сосун большим вымахивал... И так в зиму по четыре головы лошадей одних пускал. Жеребята не работники, одна видимость лошадей, но едоки хорошие. И сено крупное есть не станут, им что помельче дай. «Лучше бы двух коров пустили»,— говорила Надежда. «Тебе и от одной молока девать некуда»,— возражал Андрей Иванович. «От коровы и масло и мясо... А что за польза от этих стригунов? Только сено в навоз перегоняют»,— горячилась Надежда. «Не ты его косила, а я... Чего ж ты переживаешь?» — невозмутимо отвечал Андрей Иванович. «Да ты прикинь — сколько сена съест твой жеребенок за три года! И что ты получишь за него? Где выгода?» — «Не одной выгодой жив человек...» — «Я знаю, что тебе втемяшилось... Породу разводишь?» — «Развожу».— «А где она, твоя порода? Вон Зорьку в Прудки продал — ее обезвечили, она пузо по земле таскает. Набата в Брёхове запалили, говорят, водовозом стал...» — «Я за других не ответчик, а своих в обиду не дам».— «Ну возьми, растопырься над ними... Ухажер кобылий».

И вот угнали Веселку... Украли гордость его и славу... Четырнадцать лет исполнилось кобыле, а ей и десяти не давали — в работе огонь, на ходу от рысака не отстанет. А характер, какой характер! Вырастала она в мировую войну, братья Бородины были на фронте, дома оставались одни бабы. Вот и хватила она волю при них, за три года нагулялась печь-печью. Мужика увидит — храпит и копытом бьет. Не подходи! Не кобыла — атаман. Объезжала ее Надежда... Два раза телега со шкворня слетала, передки в щепки разбивала, и с обрывками вожжей да с обломками оглоблей прибегала кобыла домой, забивалась в хлев и храпела, прядала ушами, как тигра. Только Надежда и входила к ней. «Веселка, Веселка!.. Стой, милая, стой!» Рукой ее по холке треплет. Та ноздри раздувает, глазом мечет, как бешеная, но стоит.

«Ну и Надежда, ну и оторвяга!..— удивлялась свекровь.— Она слово знает. Вот безбожница! Вот бочажи-

на...» Бочажиной прозвали в семье Надежду оттого, что она взята была из села Большие Бочаги. По ночам в отчий дом бегала (днем работала)... Бегала через лес да мимо кладбища... И не боялась. Оттого и безбожница. А Веселку она не наговором брала — кормила ее сызмальства. Потому и давалась ей кобыла. И объездила ее Надежда, и с сохой да пашней познакомила. К делу приобщила. Но и Веселка иные привилегии за собой оставила: во-первых, не бери меня под уздцы. Ты — под уздцы, а я в дубошки[1]. И — берегись моя телега все четыре колеса! Расшибу! Пахать — пашет и боронить — боронит; но ежели кто из соседей поехал нá полдни домой, то и ее уволь... Все, кончено! Отработала. Стеганешь — поперек поля пойдет, все борозды перетопчет. Уж на что отец Надеждин, Василий Трофимович, силен — не мужик, а колода свилистая, и тот плюнул. Приехал к ним в Тиханово на помощь. Ну и пахал на Веселке... Кто-то из соседей домой подался, она и увидела. И пошла крестить вдоль и поперек. Всю картину ему выписала, затаскала мужика. Черт, говорит, а не кобыла.

Когда в семнадцатом году под осень был призыв лошадей на войну, свекровь с радостью отправила Веселку на комиссию: авось возьмут. Кобыла видная. За такие стати казна хорошие деньги платила.

Надежда гоняла ее в Пугасово. А потом рассказывала: «Комиссия была на площади, перед волостным управлением. Стол вынесли перед крыльцом... За столом всё военные: полковники всякие да подполковники... Все в полетах, шнурки плетеные через плечо пропущены. Усатые, бородатые... А вокруг солдаты. Ну, народу, народу — пушкой не пробьешь. Вот записали нас в очередь с лошадьми. Выкликают и меня. Я веду ее через площадь. А кобыла моя все в дубошки. Она столько народу и не видала. Как даст свечку! Завьется — вон куда! А я повод за конец взяла. Куда ты, думаю, денешься? А эти военные со всех сторон кричат: «Возьмите лошадь у женщины! Она убьет ее!» Подбегают два солдата: «А ну-ка, гражданочка, уступи ее нам!» Не надо, говорю, не трогайте, от греха! Хуже будет. «Вот глупая,— говорит солдат.— Это тебе боязно. А мы ее в момент обломаем. Сейчас я ей покажу кальеру два креста».— «Смотри, кабы она тебе самому не показала эту кальеру». Вот он закинул ей

---

[1] В дубошки — здесь: на дыбки.

повод на холку и — прыг на нее. Эх, она как взовьется, как даст вертугана... Он кубарем с нее хлоп. А лошадь моя по кругу. «Держите ее, держите!» — кричат. Не трогайте, говорю, ежели хотите комиссию над ней справить. Ну, поймала ее, успокоила... Подвела к столу — к ней с меркой, а она в дубошки. «Да что она у тебя, или не объезжена?» Для кого объезжена, говорю, а для кого нет. «Ну ладно, говорит главный. Запишите, что годна, а брать будем через год. Молода еще».

А через год и война кончилась. Одна кончилась, другая начиналась.

Вернулся домой Андрей Иванович в марте восемнадцатого года. Как увидел кобылу, так и со двора не уходил до самых сумерек. Все оглаживал ее, чистил, хвост расплетал, гриву... Песни мурлыкал. И она приняла его. Видать, хозяина почуяла. Так ведь он голосом любую лошадь уведет... Не только лошадь — сосунок за ним, как за маткой, бежит. Дух, что ли, от него особый исходит.

Однажды шурин Андрея Ивановича на Веселке рысака обгонял. Ездил Андрей Иванович с Надеждой в Большие Бочаги к теще на масленицу. Шурин был в отпуске, приехал с Казанского затона — пароходы там зимовали. Он второй год как ходил командиром парохода на Волге, а до этого первым помощником на Каспии плавал. С Каспия не больно приедешь — зимовки не было. Ну и давно не видались. Шурин, Петр Васильевич, детина саженного росту, носатый, губастый, с маленькими светлыми усиками, хорошо подстриженный, с белой тугой шеей, столбом выпирающей из темно-синего кителя, который сидел на нем так плотно, что под мышкой щипцами не ухватишь. Собрал Петр Васильевич за столом всю родню — водку разливал прямо из четверти и все приговаривал: «Это только запой, а выпивка впереди». Ну, загуляли и решили в Прудки прокатиться, к тетке Дарье съездить. Поехали на двух подводах. Филипп Селиванович, дядя Надеждин, рысака запряг — санки беговые с железными подрезами, копылы гнутые, выносные... Куда там! Ни один раскат не страшен. По воздуху пусти такие санки и то не опрокинутся... Молодых — Андрея Ивановича и Надежду — посадили в санки, полостью медвежьей прикрыли от ископыти, Филипп Селиванович на облучок сел, бороду белую размахнул по мерлушковому воротнику, вожжи ременные с серебряными бляшками разобрал... «Гоп, гоп! Где мои гогицы?» —

Он не выговаривал букву «л», и его за спиной звали «Голицами». А Петро завалился в сани да бабу Грушу посадил, прозванную за свой внушительный объем «Царицей», да тетку Марфуньку, жену Филиппа Селивановича, и поехали!

Туда все шло чинно-благородно: рысак шел впереди, позвякивая воркунами на хомуте. Веселка легко поспевала, вынося грудь на задник и нависая мордой над санками. В Прудках выпили как следует, возвращались в сумерках. Полем песни пели... Лошади разгорячились. Въехали в Бочаги — народ стеной стоит вдоль дороги — поглазеть вывалили. Дорога накатанная да длинная — больше трех верст, и все селом,— по сторонам гикают, хлопают, бьют в рукавицы. Рысак забеспокоился, закачал корпусом, выметывая в стороны ноги, прося ходу... Филипп Селиванович заерзал на облучке, поднял высоко руки и вдруг резко подался вперед, легко отпуская до вольного провиса вожжи. Да как крикнет: «На, ешь их, маленькай! Гоп, гоп! Где мои гогицы?!» Рысак радостно взметнулся, высоко закинул морду и, бешено оскалив зубы, пошел так мощно, что ископыть, словно удары пихтелей, забарабанила в головашки санок. Но через минуту Андрей Иванович услышал другой сильный и частый топот; ему показалось вначале, что стучит где-то под ним. «Уж не санки ли расползаются?» — успел подумать он и оглянулся: сбоку от него, почти на уровне его глаз ходенём ходила мощная мускулистая конская грудь. Он не видел ни ног, ни головы лошади — только эту прущую вперед, ходившую как мельничный жернов конскую грудь. Потом придвинулись головашки саней — Петро стоял во весь рост в черной шинели, тулуп валялся в ногах его; он был бледен, без фуражки, с перекошенным от ярости лицом и кричал во все горло: «Врешь, Селиванович! Обуховых не обгонишь...» И даже Царица в санях что-то кричала, размахивая сорванным с головы розовым капором: «Эй, залетные!..» Так и оторвались сани, ушли вперед...

Праздник на этом обгоне кончился... Филипп Селиванович два года не ходил к Обуховым, хотя жили они напротив. Вот как раньше гордость блюли...

Андрей Иванович ехал по лугам на Белобокой и вспоминал эту далекую и такую близкую жизнь, где радости и горе делились пополам с лошадью... И она под

стать ему, хозяину, умела и постоять за себя, и с честью выйти из любого переплета. И продавали ее... Андрея Ивановича мобилизовали на гражданскую войну. В зиму бабы опять остались одни. Надежда со свекровью поехали в лес за дровами на двух подводах. Напилили, в сани уложили, утянули возы — все честь честью. Выезжать на дорогу стали. Впереди оказалась Веселка, а старая кобыла в глубине. И вперед ее не выведешь — пеньки мешают. А Веселка первой не идет. Заупрямилась, и все тут. Надо бы подождать, но свекровь сама горячая: «Черта лысого ей...» Позвала лесника: «Выведи, родимый, лошадь, а я тебе табачку дам». Тот подошел взять ее под уздцы. Надежда его остановила: «Не бери ее под уздцы».— «А что ты понимаешь? Твое дело коровьи сиськи тянуть...» Ну и взял он ее под уздцы. Она как взвилась да как ахнула его копытом. И плечо вышибла.

Продали ее под Касимов. Она с поля уходила. Борону оставит новому хозяину, а сама с постромками да с вальком Оку переплывала; за пятьдесят верст дом находила. Через нее и хозяин тот погиб. Приезжал он накануне половодья в девятнадцатом году в Большие Бочаги за хлебом. Ехал лугами, по насту. По дороге нельзя: в селах отряды стояли — торговля хлебом была запрещена. А накануне договорился с Надеждой — приедет ночью, прямо на мельницу к Деминым. Дед Ваня встретил его за селом, продал два мешка муки на керенки. Ночь была темная... тот заблудился в лугах и выехал на Желудевку, а там отряд. Жердь повесили поперек дороги. Часовой с винтовкой: стой! Чего везешь? Откуда? Продотрядчик и взял ее под уздцы. Она как махнула... У того винтовка в сторону полетела. Сам кубарем. Хозяин шевельнул вожжами: «Эй, царя возила!» Жердь она грудью поломала и понеслась. А хозяин-то еще обернулся, снял шапку и помахал часовому. Возьми, утрись... Поминай как звали. Ну, тот приложился и стукнул его вдогонку. Мертвого привезла домой... Сама дрожит, вся в пене. Хозяина похоронили, а ее — возьмите и возьмите назад. Так и пришлось деньги возвращать...

3

На Богоявленском перевозе держали общественный паром. Перевозчик, Иван Веселый, бывший при нем с незапамятных времен, кажется, знал всякого проезжего и

прохожего... Босой, распоясанный, в солдатской замызганной гимнастерке, он вьюном вертелся возле каждой подводы и кроме своего заслуженного пятачка с прохожего да гривенника с повозки, мог ненароком прихватить горшок с воза, связку лаптей, а если возница разиня, то и кадку свистнет или мешок с овсом... Брал не задумываясь: нужно ему или нет. Брал смеха ради... Кадку пускал по воде, костер в ней раскладывал. Плывет по реке — дымит. А он орет с берега: «Пароход идет, пароход!» Ребята с лугов на поглядку сбегались. «Ну, пузо грецкое,— скажет пацану.— Раздавишь животом горшок — лапти дам». Лапти, да еще в лугах,— штука важная. Кому не хочется так вот запросто получить лапти? Лягут ребятишки животами на горшки, надуваются до красноты и катаются по лугу. А Иван Веселый сидит в кругу и командует: «Эй ты, поросенок! Куда носом запахал? Сурно держи выше. Ну! А ты чего ногами сучишь? Это тебе не в постели у мамки брыкаться!»

Андрей Иванович застал его у костра — тот кипятил на треноге большой медный чайник и переругивался через реку с татарами.

— Абдул, башка брить будем? — спрашивал Иван Веселый.

— Тыбе не псё равно? — отвечал высоким голосом жилистый, голый по пояс, бритый татарин.— Тыбе лохматый... собакам псё равно.

Он забивал колья, и когда кричал, то размахивал топором и делал свирепое лицо. Двое других, в белых рубахах и в черных тюбетейках, молча пилили жерди на тырлы.

— Абдул, волос у тебя жесткий... Поди, бритва не берет? — миролюбиво спрашивал Иван.

— Тыбе не псё равно?

— Дак чудак-человек!.. Помочь тебе хочу. Я средство знаю, чтоб волос обмяк. Иди ко мне! Дерьмом коровьим голову вымажу. Отмя-акнет!

— Донгус баллас! — высоко, гортанно, как крик потревоженного гусака, несется с того берега.— Свинья с поросятам!

Андрей Иванович спрыгнул с Белобокой и, привязывая повод за куст, сказал Ивану Веселому:

— Брось дурачиться!

Тот кивнул ему, хитро подмигнув, и опять обернулся к татарам:

— Абдул! Давай муллу на свинью сменяем! Ведь наш поп вашему мулле хреном по скуле. Он у вас теперь пога-анай!

— Собакам! Донгус баллас!..— кричат оттуда уже в три голоса.

— Всех расшевелил! — довольно осклабился Иван Веселый.— Садись! Чай пить будем.

— Некогда мне, Иван, чаи распивать. Ты не видел, лошадей тут, случаем, не прогоняли на днях?

Иван сбил на затылок свою замызганную кепчонку, растворил широкую щучью пасть:

— Г-ге! Ты, Андрей Иванович, никак, на допрос меня вызвал? Чего ж не скомандуешь: встать, мол, такой-разэдакий!

— Да ну тебя, балабона!..— Андрей Иванович снял заплечный мешок, неосторожно стукнул его оземь. В мешке что-то утробно булькнуло.

— Не карасин везешь? — потянул воздух своим сплющенным, крючковатым носом Иван Веселый.— Налил бы кружечку? А то мне ночью без огня, Андрей Иванович, страшно; эти самые, шишиги, донимают... Сунешься в куст по нужде, а он тебя хвать за голое место. А рука-то у шишиги маленькая да холодная... Брры!

— Вот обормот! — Андрей Иванович усмехнулся.— Ну ладно... Давай кружки!

Иван Веселый поскоком слетал в землянку, достал жестяные кружки. Андрей Иванович налил по полной воронка. Выпили.

— Вот это самообложение! Дух захватывает и по кумполу бьет,— сказал Иван Веселый, заглядывая на опрокинутое донышко и ловя языком сорвавшуюся каплю.

— Меня вот стукнули так стукнули,— сказал Андрей Иванович.— Кобылу угнали... Рыжую... Вот я и спрашиваю: не прогоняли, случаем, перевозом? У нее грива светлая и звездочка на лбу.

— Я, Андрей Иванович, люблю звезды на небе считать. Они далеко... А какая и свалится — мимо пролетит. Ночью-то я один на перевозе. Стра-ашно. Налил бы еще кружечку воронка для поддержки штанов.

Андрей Иванович насупился, но налил еще кружку. Иван Веселый набрал полон рот, побурлил медовухой в горле и, выпячивая кадык, запрокинув лицо в небо, сказал:

— Я никого не видел и ничего не знаю... но, говорят, будто на Панском двое перегоняли через реку лошадей... У одного длинные волосы...

— Жадов?! — аж привскочил Андрей Иванович.

— Какой Жадов? — обалдело поглядел на него Иван Веселый.— Сказано — я никого не видал и ничего тебе не говорил.

От перевоза на Агишево дорога шла торная: народу и пешего и конного сновало по ней великое множество: Агишево село торговое, по четвергам базар собирался, татары лавки держали, скупали шерсть, овчины, продавали каракуль, аж из Средней Азии везли. Через Агишево проходил знаменитый богомольный тракт на Саров, через Муромские леса; не только сирые да убогие — царь с царицей, говорят, ходили по этому тракту пешком в Саров богу молиться.

Андрей Иванович свернул с дороги и поехал лугами. Заречная сторона была воровской вотчиной Жадова; здесь на дороге не ты его, а он тебя скорее высмотрит. Жадов в одиночку не промышляет, у него связи, сотоварищи. Против Ивана Жадова в открытую не пойдешь — вывернется, а то тебя же и под монастырь подведет. Неужто Жадов поднял на него руку?

Бородины и Жадовы жили на одном переулке напротив друг друга. Иван Бородин, государственный астраханский лоцман, еще в конце прошлого века взял с собой матросом Корнея Жадова, отца Ивана, и довел его до дела. Корней ходил боцманом сперва на Каспии, потом на Черном море. Там, в Одессе, и ребята его выросли, там и воровству обучались. Ванька Жадов появился в Тиханове уже матерым вором; коренастый, короткошеий, с длинными, оплечь, темно-русыми волосами, с бойкими зелеными глазами, он быстро прославился в округе под кличкой «Матрос». Короткий морской бушлат да брюки клеш не снимал он ни зимой ни летом. Из Пугасова, со станции, ехал на тройке цугом; возле церкви тройку отпустил, хорошо расплатился. И без багажа в длинной шубе,— видно, с чужого плеча — полы по мартовским навозным лужам волочились — мех кипенно-белый, козий, верх драп-кастор блестит, воротник шалевый, бобровый! А под шубой бушлат, брюки клеш и грудь нараспашку... Идет по селу и в лужи деньги медные бросает. А пацаны за ним так и вьются, как грачи за сохой: деньги — в драку, нарасхват. А Жадов идет и посмеивается. В

Тиханове жил мирно, но пропадал месяцами. Говорили, у него в Кадоме да в Торпилове притоны были. Говорили, будто он тихановских мужиков по ночам с подводами выгонял на свои воровские набеги... Но открытых обвинений против него не было. А слухи есть слухи.

Андрей Иванович теперь ехал с надеждой к Васе Белоногому — тот не любил Жадова. Вася был вор — забавник, артист, заводила и гуляка. Однажды в праздник на Дёминой мельнице он выиграл в карты у Жадова ту знаменитую шубу и тут же пустил ее на пропой. Мужиков много собралось. Трактирщик Огарев дал за нее три четверти водки и живого барана пригнал. Вася говорит: «Барана не трогать. Дарю его тому, кто внесет на мельницу враз два мешка ржи». Перед мельницей подводы стояли. Федот, сын деда Вани, за живого барана пупок надорвать готов; подошел к сеням, взвалил два мешка на хребтину, пошел враскорячку, в землю глядя... Дошел до помоста, ногу занес на ступеньку — и мешки разъехались. Смеются мужики: «Федот, ты их чересседельником свяжи да сядь на них верхом! Авось въедешь».

Вася поглядывает на Жадова, тот на него, и как-то утробно по-жеребячьи похохатывают. Вот Жадов подходит к саням, берет по мешку под мышки, как поросят,— и пошел, только ступеньки заскрипели. Бросил их к жернову, обернулся — красный весь: «Вот как носят мешки-то!» — «Нет, не так,— сказал Вася. Вразвалочку подошел к саням, сграбастал своими ручищами мешки за чуприну и понес их на весу, перед собой, как щенков.— Вот как их носят!»

Ехал Андрей Иванович по лугам, по вольному разнотравью, минуя округлые липовые рощицы, огибая длинные извилистые озера-старицы, обросшие еще по-весеннему кружевным, в сережках, салатного цвета ракитником, да иссиня-темными стенками податливого на ветру, шелестящего камыша. И с каждого холма открывалось ему неохватное пространство, зовущее через эти светлые пологие увалы к дальнему лесному горизонту, где мягко и синё, откуда веет дремотным небесным покоем. И так далеки были эти леса, так зыбки их очертания, что, казалось, три года скачи туда — не доскачешь.

Андрей Иванович ехал неторопко, опустив поводья. Травостой был густой, упругий и довольно высокий —

даже на холмах лошадиная бабка в траве скрывалась, а в лощине, где тимофеевка и костер уже выходили в трубку, трава доставала лошади почти до брюха. Да и пора уж — в Вознесение галка в озимях прячется. «Природа свое берет,— думал Андрей Иванович.— Вон как в низинах расплескалась купальница — прямо золотое половодье. Значит, к теплу, и небо было густой синевы, по-летнему убранное разрозненными, крепко сбитыми грудастыми облаками».

А сколько птицы здесь, сколько живности!.. Над заболоченными низинами кружились чибисы; завидя конного, они ревниво, издали, встречали его, суматошно, с пронзительным криком. «Чьи вы? Чьи вы?» — носились вокруг и дергались на лету, будто обрывали какие-то невидимые нитки. Утки хоронились в камышах и только мягко, шипуче как-то и не крякали, а шваркали: «Шваррк-шваррк...» Изредка от озерной береговой кромки отрывались пестрые кулики-перевозчики и с громким торопливым криком: «Перевези! Перевези! Перевези!..» — стремительно улетали низко над водой. А от бочажин, зарастающих непролазным тальником да осокой, далеко на всю округу заливались соловьи, да жирно, утробно квакали лягушки: «Кuввак-ка-как! Кuввак-ка-как!», да отрешенно, загадочно и тоскливо на одной ноте кричали бычки: «Бу-у! Бу-у! Бу-у!» Будто кто-то задувал там, в болоте, в пустую огромную бутылку и прислушивался: «Бу-у! Бу-у!»

Любил Андрей Иванович луга. Это где еще на свете имеется такой же вот божий дар? Чтоб не пахать и не сеять, а время подойдет — выехать всем миром, как на праздник, в эти мягкие гривы да друг перед дружкой, играючи косой, одному за неделю намахать духовитого сена на всю зиму скотине... Двадцать пять! Тридцать возов! И каждый воз, что сарай,— навьют, дерева не достанешь. Если и ниспослана русскому мужику благодать божья, то вот она, здесь, перед ним, расстилается во все стороны — глазом не охватишь.

В Агишево въехал он в проулок со стороны мечети. Как раз напротив жил Вася Белоногий со своей Юзей, квартиру снимал. При въезде в село Андрею Ивановичу встретились три тройки, они взялись легко, точно птицы снялись от мечети, и со звоном, с гиканьем, с пронзительными переливами татарской гармошки понеслись из села; кони в лентах, тарантасы черные, хорошей ковки...

Невеста в белом платье, в цветах, провожатые в пестрых, ярких платках, в тюбетейках... Только их и видели... «Хоть и нехристи, а свадьбы справляют по-людски, красиво»,— подумал Андрей Иванович.

4

Вася Белоногий доводился троюродным братом Надежде Бородиной. Хоть и дальняя родня, но Белоногий заезжал к ним запросто; в базарный день, будучи в Тиханове, располагался у них как дома. Зачем на базар приезжал? А кто его знает. Ничего не продавал, не покупал... Но целый день по рядам ходил, говорил: оптовую торговлю ведет, от селькова. У Надежды не раз ее лекарства записывал: «Ты чем это мажешь голову ребенку?» — «Сера горючая, да купорос медный, да сливочное масло... Перетолкла да смешала... Вот и мазь».— «Помогает?» — «Как рукой снимает».— «Надо записать, Юзе пригодится». Юзя его фельдшером работала, татар лечила. Какие-то курсы окончила.

Привез он ее из Средней Азии в Большие Бочаги. А у него там жила прежняя жена, Катя, у Надеждиной матери оставил. «Крёстная, ты отправь Котёнка (это он Катю так звал). Я с ней жить не буду».— «Куда ж ее отправить?» — «Куда захочет. Вот ей деньги на дорогу».

Жил он беззаботно и легко, как ворон в чистом поле,— ни гнезда, ни детей. Ноне там поклевал, завтра туда полетел. В родном селе, в Больших Бочагах, появился он с этапом арестантов — бритый, в армяке. Гнали их откуда-то из Астрахани, в тюрьму по месту жительства. Признал его дед Ваня: «Племянничек, дорогой! Мамушка моя, туды ее в тютельку мать! Ай это ты?» — «Я, дядя. Возьми на поруки, я исправлюсь». Время было революционное — семнадцатый год. Каждому человеку верили. Взял дед Ваня племянничка. Да кому же другому брать? Отец Васи жил где-то в Средней Азии. От него ни слуху ни духу. Обули, одели Васю. Он до зимы жил у Деминых, на мельнице работал. А зимой по родителю, говорит, затосковал. «Везите меня на станцию! В Азию поеду». До Пугасова его не довезли. Доехали до Почкова — сам слез. Дальше, говорит, я доберусь своим ходом... И добрался...

Ночью приехал с дружками в Большие Бочаги и обчистил амбар у Деминых. И сундук, и хлеб... Все под

метелку увезли. Те утром хватились — амбар взломан. А на пороге рукавица Васина валяется. Из тюремного армяка сшитая: полы отрезали да сшили рукавицы. Он ее и оставил на память. Распороли рукавицу, приставили к армяку — как раз подошлась. Ах, стервец! Ах, оторвяжник!

Кинулись за ним в погоню, в Пугасово. Да разве его словишь?

Через три года он вернулся в Бочаги и сам рассказывал Деминым: «Вы сунулись, на меня иск предъявили... А я в это время в чайной на базаре сидел. Пришел милиционер и говорит: «Уматывай отсюда. Тебя ищут». Ну, я шапку в охапку, заулками да задами пробрался на станцию и — Митькой меня звали... Я был чист — зерно в Почкове мельнику продал, барахло в притон пугасовский свалили. А приставу шелковый отрез подарил, на рубаху... Чтоб не домогался...»

Сидит у них за столом, ест-пьет и над ними же измывается. «Эх, кабы сладил... так и вкатался бы в его нечесаную башку»,— ярился Федот про себя. Но вслух только фыркал, как кот, и не чокался с Васей. А дед Ваня угощал... «Пей, жулик! Мамушка моя, туды ее в тютельку мать. Ты меня обокрал, ты ж ко мне и за милостыней пришел. Сказано: что бог даст, того человек не отымет. Так-то, мамушка моя. Я не обеднял, да и ты не разбогател».

Нельзя сказать, чтобы Васю совесть прошибла и он изменил своей воровской привычке — брать, что лежит поближе, просто умнее с годами стал: зачем красть, когда само в руки дается?

В двадцать четвертом году в Гордееве создали две артели штукатуров и каменщиков, а Вася Белоногий подрядчиком нанялся к ним. Лучшего ходока да знатока всей округи и не найти. Он знал не только, что и кому построить надо, но и то, кто куда бежит, да что у кого лежит, и что с кого взять можно.

Однажды в Лугмозе проигрался; ехать домой — ни овса лошади в дорогу, ни харчу самому. Завернул в Починки, остановился у богатой избы. Вошел: мужик в поле, баба на дворе хлопочет. В годах хозяйка, плат по самые брови повязан и лицом темна да нелюдима. «Хозяйка,— говорит Вася,— я лекарь выездной. Роды в Лугмозе принимал. Ну, мне там и шепнули, будто у вас бабы есть — годами бьются, сохнут, а рожать не могут. У

меня средство есть верное... Помогает забрюхатеть».— «Что за средство?» — «Палочка наговоренная»,— показал он ей ореховую палку (в лесу вырезал).— Да порошок аптекарский». Он вынул из кармана кисет с табаком и повертел его перед глазами. Кисет цветной, шелковый, поди узнай, что там за порошок? У бабы инда глаза заблестели: «Есть у нас такие женки, есть, родимый. Позвать, что ли?» — «Погоди! Дай мне котелок или чайник медный. Да треногу, ну — козлы. Я в огороде у вас снадобье готовить буду. Ко мне не подходить... Я сам позову, когда нужно, или выйду. Пусть все бабы в избе сидят и ждут. Да, скажи им еще вот что: деньгами я не беру. Деньги плодовитость убивают. Пусть несут яйца, масло... Овес можно».

Баб набежало — полна изба. Он появился перед ними в лекарском облачении: на голову натянул белый носовой платок — узелками завязал углы — шапочка получилась, попону приладил спереди, что твой фартук! И рукава на рубахе засучил по локоть. В одной руке котелок с табачным отваром, в другой руке белая палочка. «Ну, подходите по одной... Буду принимать в чулане». Отвар наливал кому в пузырек, кому в банку или в кружку. А казанком указательного пальца отмерял палочку: «Тебе сколько лет?» — «Тридцать пять».— «Вот тебе три с половиной казанка. А тебе сколько?» — «Мне сорок».— «Так. Четыре казанка. Раздели на семь равных частей и отваривай палочку в самоваре. Пить семь дней подряд. А этот отвар в чай добавлять». Натащили ему и яиц, и масла, и овса... Весь котелок табачного отвара розлил... А палки не хватило. Так он половину кнутовища отхватил да изрезал бабам.

Через три года, будучи уполномоченным селькова, он ездил в Починки на пристань отгружать плуги и сеялки да заглянул к той хозяйке. Она признала его. «Ой, родимый, ведь помогло! — встретила его радостно.— Одна двойню родила, а другая на сорок третьем году разрешилась!»

Андрей Иванович застал Белоногого дома. Тот сидел за столом в тельнике, брился.

— Ого, вот это гость! Каким ветром тебя занесло? Ноне вроде бы не базар.— Вася широкими смелыми взмахами снял мыльную пену с лица, как утерся, и подал Андрею Ивановичу руку.— Да ты какой-то зеленый. Не заболел, случаем?

— Вторые сутки не сплю. Кобылу у меня угнали.— Андрей Иванович снял заплечный мешок и начал развязывать узел.

— Кто угнал? Откуда? — Вася подошел к рукомойнику и стал смывать лицо.

— С лугов угнали,— Андрей Иванович вынул из мешка логун с медовухой и поставил его на стол.— Вот, Иван Дементьевич воронка тебе прислал.

Вася с минуту глядел на логун с воронком, на Андрея Ивановича и молча вытирал шею, лицо и голову. У него все было обрито, кроме темных широких бровей: и лицо, и шея, и голова стали теперь красными по сравнению с темными узловатыми ручищами и косматой грудью, выпиравшей из тельника.

— Не пойму я что-то: с какой же стати ты ко мне пожаловал? — изрек наконец Вася.

Андрей Иванович снял кепку, по-хозяйски повесил ее на вешалку у двери, расчесал свои черные, без единой сединки, волнистые волосы, усы оправил перед висячим круглым зеркалом и прошел к столу:

— Проголодался я, Василий Артемьевич. Со вчерашнего обеда не жрамши.

— Сейчас я позову Юзю.— Белоногий отворил дверь и крикнул в сени: — Юзя! Зайди на минутку!

Во второй половине избы находился фельдшерский пункт.

— Сейчас состряпаем насчет поесть.

Вася надел черного сукна милицейскую гимнастерку, подпоясался кавказским ремешком с серебряными бляшками да с затейливыми висюльками вроде кинжальчиков. По избе прошелся — широченный, в высоких опойковых сапогах, в галифе... Командир! Остановился перед Андреем Ивановичем, на носках качнулся:

— Ну, давай начистоту. На меня думаешь или на моих приятелей?

— Кабы на тебя думал — не приехал бы. Посоветоваться к тебе... А проще сказать — за помощью.

— Это другой коленкор.— Вася тоже присел к столу.

Вошла Юзя, не то татарка, не то узбечка — маленькая, аккуратно затянутая в белый халатик, в белом чепце с красным крестиком, мелкие косы, как длинные ременные кнуты с красными лентами на концах, спадали на плечи и на спину, вся такая верткая, быстрая...

— Андрей Иванович в гости заезжал! А я с тобой

ничего не знал. Сейчас яичницу жарить будем. Сыр есть, колбасу есть...

Она захлопотала вокруг стола: подала тарелку соленых огурцов, желтых и крупных, как поросята, стопку пресных татарских лепешек из пшеничной муки, нарезала темной и сухой конской колбасы да сыру домашнего, плоского, как слоеный пирог, острого и соленого.

— Кушайте! Сейчас яичницу наварю.

Она разожгла керосинку, поставила сковородку на нее и упорхнула:

— Меня люди ждут.

Вася налил в стаканы медовуху:

— Ну, что там за воронок дядюшка намешал? — чокнулся стаканом.— Поехали!

Воронок был хоть и нагретым, но терпким, с хмельной горчинкой, с легким пощипыванием на губах, как настойная брага.

— Вот старый дятел! А неплохое хлёбово сотворил, а? — похвалил Вася.— Давай еще по одной дернем?!

Они выпили еще по стакану.

— Ну, что у тебя случилось? Говори подробней,— сказал Вася.

— Да какие подробности. Пошел в луга за кобылой — проса ломать. А кобылу — поминай как звали.

— Рыжую? — Вася вскинул голову.

— Ее.

— Хороший кусок кто-то у тебя отхватил.

— Может, и подавится этим куском. Я его и под землей найду! — вспыхнул Андрей Иванович и засверкал глазами.— И вырву этот кусок вместе с зубами.

Вася как бы с удивлением глянул на Бородина — мужик как мужик: благообразный, с холеными усами, с узким, иконописного овала лицом; вельветовая тужурка на нем, хоть и потертая, но еще аккуратная, щегольская, с накладными карманами и даже с серебряной цепочкой от часов. Лаптей не видно — под столом. Сверху глянешь — учитель... И вдруг такая темная животная ярость?

— Вот что она делает с человеком, эта частная собственность...— Вася покачал головой.— Правильно сказал Карла Маркс — эту частную собственность надо под корень рубить.

— А ты что, Маркса читал? — усмехнулся Андрей Иванович.

— Я Маркса не читал, но вполне с ним согласный.

— Ты-то чего подымаешь хвост на частную собственность? Не будет частной собственности — и твоим приятелям-ворам делать нечего! — задетый за живое, вспылил Андрей Иванович.

— Как так нечего? — удивился опять Вася.— Вор себе работы всегда найдет: частной собственности не будет, общественная появится. А эту самую общественную собственность красть удобнее: во-первых, она всегда под рукой, а во-вторых, ты ничем не рискуешь, никого не обижаешь и никакой к тебе злобы. Ну, попался... Так все по закону — получил статью и поезжай на отдых, на заслуженный. А частную тронешь — того и гляди пулю получишь еще до статьи. А сколько злобы. Нет, я против частной собственности... Надо с ней кончать.

— Ну тебя к лешему! Я было рот разинул — думал, ты что-то дельное скажешь. А ты с побасенками своими.

Вошла Юзя, протопала, как козочка, своими сапожками, поставила на стол жаровню с яичницей и вылетела.

Вася налил еще по стакану воронка. Выпили.

— Я тебе к чему эту уразу развел,— Вася лениво ковырнул вилкой яичницу, пожевал.— Прикроют наш сельков, наверно.

— Почему?

— Инвентарь не дают, счета позакрыли. Раньше мы одних сеялок по пять, по шесть десятков мужикам распродавали, по пять молотилок, по тридцать — сорок веялок... А плугов не считали. Каждый бери: кому за наличные, кому по векселю... А теперь баста! Никаких векселей. Единоличник — нет тебе ни хрена. Чуешь, куда дело клонит?

— Куда?

— В колхозы! Весь инвентарь туда попер... И вы скоро туда загремите.

— Э-э, нас уже десять лет колхозами пугают,— отмахнулся Андрей Иванович.— Да вон у нас в Тиханове есть две артели, кирпич бьют, дома строят, торгуют. Неплохо устроились.

— То артели, а то колхозы. Разница, голова! Ты читал о всеобщей коллективизации? Резолюцию Пятнадцатого съезда?

— Читал. Но там сказано — строго на добровольных началах. Так что все по закону: кто хочет, ступай в

колхоз, а нет — работай в своем хозяйстве. Надо обогащаться, на ноги страну подымать. Что говорили на Пятнадцатом съезде?

— Это, брат, не на Пятнадцатом съезде. Это года три-четыре назад. А теперь вон всю весну поливают в «Правде» твоих обогатителей. Просто их деревенская политика устарела. Вот тебе и обогащайтесь.

— Это все разговоры. Мало ли кого поливают. Решений пока нет, значит, все остается по-старому.

— Да пойми ты, голова два уха! — Вася подался грудью на стол и заговорил тише: — У меня тут ночевал друг, начальник милиции из Елатьмы. На оперативную выезжал. Воров ловили... Разговорились с ним. Он говорит, что осенью на пленуме решение принято о ликвидации кулаков как класса.

— А я не кулак. Мне-то что? — отмахнулся Андрей Иванович.

— Ты не кулак, а дурак...— оборвал его с досадой Вася.— Эта ликвидация, как поясняют, будет заодно с коллективизацией проводиться, понял? У них в районе три семьи уже раскулачили, правда, за укрытие хлебных излишков. А тем, кто показали насчет хлеба, двадцать пять процентов от конфискованного дали.

— В нашем районе такого веселья не слыхал.

— Лиха беда начало. Я тебе к чему это рассказываю? Зря ты убиваешься из-за лошади. Поверь мне, время подойдет — сам отведешь ее за милую душу.

— Спасибо на добром слове. Но я двадцать верст трюхал сюда не за утешением. Мне сказали, что кобылу мою угнали сюда. И даже кто угнал известно.

— Кто же?

— Иван Жадов.

— Жадов! Угнал у тебя?! Ах какой сукин сын! У соседа лошадь угнать!.. Мерзавец.— Вася поиграл своими разлапистыми бровями.— Иван — вор серьезный. Его трудно с поличным поймать.

— Ну, ты меня знаешь... Я в долгу не останусь.

— Дык ты что хочешь, чтоб я его и накрыл?

— Нет! — Андрей Иванович схватил Васю за руку и, тиская его горячими пальцами, торопливо заговорил: — Ты только место укажи... Найди его притон и лошадь... И мне скажешь... Я сам с ним посчитаюсь,— брови его свелись к переносице, глаза жарко заблестели.

Вася с грустью поглядел на него:

— А ты знаешь, Иван два нагана при себе носит? И спит с ними...

— Это хорошо... Я разбужу его. А там поглядим, кто кого... Мне и одного ствола хватит.

Вася откинулся к стенке, прищурил свои серые навыкате глаза, оценивающе глядел на сухого, поджарого, как борзая, Андрея Ивановича.

— Ну что ж, будь по-твоему,— наконец сказал Вася.— Слыхал я, что ты за стрелок, слыхал. Покажи-ка, сколько времени?

Андрей Иванович вынул в серебряном корпусе карманные часы «Павел Буре», открыл крышку.

— Ну-ка!—Вася взял часы, глянул на золотые стрелки; было половина одиннадцатого. Потом стал читать вслух затейливую надпись на полированной серебряной крышке:—«За глазомер. Андрею Бородину. Рядовому пятой роты, семьдесят второго Тульского пехотного полка...» В каком же году получил ты этот приз?

— В девятьсот десятом.

— Да... На двух войнах побывал... Сколько же человек ты уложил?

— Война не охота. Там не хвалятся—сколько уток настрелял,—сухо ответил Андрей Иванович, забирая часы.—Не обессудь, но часы отдать не могу. Память!

— Да об чем речь?.. Сойдемся,—скривился Вася.— Ладно... Помогу я тебе.

И они выпили за успех.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Надежда Бородина росла невезучей. В детстве болезни ее мучили: то корь, то скарлатина, то ревматизм... На самую масленицу опухло у нее горло. Говорить перестала—сипит и задыхается. Пришла баба Груша-Царица.

— Ну что с девкой делать, сестрица?—спрашивает ее мать Василиса.

Царица—баба решительная и на руку скорая:

— Да что? Давай-ка ей проткнем нарыв-то.

— Чем ты его проткнешь?

— Вота невидаль! Палец обвяжу полотном, в соль омакну, чтоб заразу съело, да и суну ей, в горло-то.

— Ну что ж. Иного выхода нет. Давай попробуем.

— А я вот тебе гостинец в рот положу. Только рот разевай пошире да глотай скорее, не то улетит,— ворковала девочке Царица.

Пока она обматывала чистой тряпицей свой толстенный палец, Надежда с бойким любопытством зыркала на нее глазенками: что, мол, за гостинец такой в этой обертке? Но когда баба Груша, умакнув палец в соль, сказала: «Теперь закрой глаза и разевай рот шире, не то гостинец в зубах застрянет и улетит»,— Надежда отчаянно замотала головой и засипела.

— А ты нишкни, дитятко, нишкни! Василиса, ну-к, разведи ей зубы-то! Та-ак... Счас я тебе сласть вложу, счас облизнешься... Та-ак... Ай-я-яй!—заорала вдруг басом Царица.— Пусти, дьяволенок! Палец откусишь... Палец-то! Ай-я-яй!

Она вырвала наконец изо рта у Надежки свой обмотанный палец и затрясла рукой, причитая:

— Волчонок ты, а не ребенок. Дура ты зубастая. Я ж тебе пособить от болезни, а ты кусаться... Вон, аж чернота появилась,— заглянула она под обмотку.— Я больше к ней в рот не полезу. Вези ее в больницу!

Повезли в больницу. Везде сугробы непролазные, раскаты на дороге. Ехать до земской больницы— двенадцать верст. Вот до Сергачева не доехали—сани под уклон пошли, а там, на дне оврага, раскат здоровенный. Лощадь понеслась, сани раскатились да в отбой— хлоп! Мать Василиса на вожжах удержалась, а Надежку вон куда выкинуло—голова в сугробе торчит, ноги поверху болтаются. Вытащила ее из сугроба, а у нее дрянь изо рта хлынула—прорвало нарыв от удара. Вот и вылечилась... Домой поехали.

В школе хорошо училась. Что читать, что писать, а уж басни Крылова декламировать: «Что волки жадны, всякий знает» или «Буря мглою небо кроет...»—лучше ее и не было. При самых важных посетителях выкликала ее учительница. Ни попа, ни инспектора—никого не боялась. А по закону божию не только все молитвы чеканила, Псалтырь бойко читала и на клиросе пела. Поп, отец Семен, говорил, бывало, Василисе:

— Ну, Алексевна, Надежку в Кусмор отвезу, в реальное училище. В пансион сдам. Быть ей учительницей...

Вот тебе, накануне окончания школы на Крещение ездил отец Семен с псаломщиком в соседнее село Борки на водосвятие. Ну и насвятились... Псаломщик уснул

прямо за столом у лавочника. Трясли его, трясли, так и бросили. А отец Семен поехал поздно... Поднялась метель, лошадь с дороги сбилась... Ушла аж в одоньи свистуновские, да всю ночь возле сарая простояла, в закутке. А отец Семен в санях спал. Наутро нашли его чуть живого... Так и помер.

Сорвалось у нее с училищем. Хотел отец ее забрать в Батум. Он там в боцманах ходил. Договорился устроить ее в коммерческую школу. Но тут в девятьсот пятом году революция случилась. Отец как в воду канул. Два года от него ни слуху ни духу. Приехал в девятьсот седьмом году зимой, накануне масленицы. Привезла его из Пугасова тройка, цугом запряженная. С колокольцами. Ну, бурлак приехал! В сумерках дело было... Вошел он в дом — шуба на нем черным сукном крыта, воротник серый, смушковый, шапка гоголем — под потолок.

— Ну, кого вам надо, золотца или молодца? — спросил от порога.

А бабка-упокойница с печки ему:

— Эх, дитятко, был бы молодец, а золотец найдется.

— Тогда принимайте,— он распахнул шубу, вынул четверть водки и поставил ее на стол.— Зовите,— говорит,— Филиппа Евдокимовича,— а потом жене: — Василиса, у тебя деньги мелкие есть?

— Есть, есть.

— Расплатись с извозчиком.

— Батюшки мои! — шепчет бабка.— У него и деньги-то одни крупные.

А потом стали багаж вносить... Все саквояжи да корзины — белые, хрустят с мороза. Двадцать четыре места насчитали.

— Ну, дитятко мое,— говорит бабка Надежке,— теперь не токмо что тебе, детям и внукам твоим носить не переносить. Добра-то, добра!..

А хозяин и не глядит на добро. Сели за стол вдвоем с Филиппом Евдокимычем, это муж Царицы, слесарь сормовский, да всю четверть и выпили. Уснул под утро... Стали открывать саквояжи да корзины... Ну, господи благослови! А там, что ни откроют,— одни книги. Да запрещенные! Он всю ячейную библиотеку вывез. Уж эти книги и в баню, и в застрехи, и на чердак... Совали их да прятали от греха подальше.

Так и «улыбнулось» Надежкино учение. На какие шиши учиться-то? Если у самого хозяина за извозчика

нечем расплатиться. Да и время ушло — впереди замужество.

Вроде бы и повезло ей с мужем: высокий да кудрявый и в обхождении легкий — не матерится, не пьянствует. Но вот беда — непоседливый. Не успели свадьбу сыграть, укатил на пароходы. И осталась она ни вдова, ни мужняя жена, да еще в чужой семье, многолюдной.

А на свадьбе счастливой была. Свадьбу играли — денег не жалели. Отец быка трехгодовалого зарезал. А Бородины хор певчих нанимали. Служба шла при всем свете — большое паникадило зажигали. Как ударили величальную — «Исайя, ликуй»,— свечи заморгали. Попов на дом приглашали. От церкви до дома целой процессией шли, что твой крестный ход: впереди священник в ризах с золотым крестом, за ним молодые, над их головами венцы шаферы несут, дьякон сбоку топает с певчими.

— Да ниспошлет господь блаженство человеку домовиту-у-у,— провозглашает священник поначалу скороговоркой, а в конец певуче-дребезжащим тенорком.

— А-асподь бла-а-аженство,— ухает басом дьякон, как из колодца, только пар изо рта клубами.

— Че-ло-ве-ку до-мо-ви-ту-у-у,— речитативом подхватывает хор, разливается на всю улицу.

Но священник не дает упасть, замереть последней ноте, и поспешно, наставительно звучит снова его надтреснутый тенорок:

— Иже изыди купно утро наяти делатели в виноград сво-о-ой!

Надежда не понимает, что значит «утро наяти делатели в виноград свой». Но ей хорошо, сердце обмирает от приобщения к какой-то высокой и непостижимой тайне.

А народ валом валит, и за молодыми хвостом тянется, и по сторонам стеной стоит. Надежда ловит быстрый шепот да пересуды:

— Щеки-то, будто свеклой натерты...

— Да у нее веки вроде припухлые. Плакала, что ли?

— Чего плакать? От радости, поди, скулит. Вон какого молодца окрутили!

— Говорят, она колдовского роду... Видишь, прищуркой смотрит...

— Бочажина... Все они из болота, все колдуны...

А уж гуляли-то, гуляли. Три дня дым стоял коромыслом. А на четвертый день собрались опохмелиться; пришла баба Стеня-Колобок, Митрия Бородина жена,

про нее говорили: что вдоль, что поперек; и загремела, как таратайка:

— Татьяна! Максим! Наталья! Чего нос повесили? Иль не знаете, что с похмелья делают? Вот вам лекарство! — хлоп на стол бутылку русско-горькой...

Максим поставил вторую:

— Эх, пила девица, кутила, у ней денег не хватило!

И понеслось по второму кругу:

— Зови Ереминых!

— Дядю Петру кликни!

— Евсея не забудьте!

— А Макаревну, Макаревну-то!

— Поехали в Бочаги!

Собрались на пяти подводах. А долго ли? Лошади на дворе стояли. Взяли водки три четверти, два каравая ситного да калачей — к Нуждецким в калашную сбегали да колбасы взяли у Пашки Долбача и понеслись.

Приезжают в Бочаги к Обуховым — целый обоз. Василиса выглянула в окно, так и обомлела:

— Ба-атюшки мои! Чем их поить да угощать?

Она как раз белье стирала после трехдневной гулянки.

— Не горюй, сваха! Не хлопочи! У нас все есть!

Четвертя на стол — грох! Колбасу, калачи ситные... Гору навалили.

Ну, хозяйка свинины нарезала, яичницу сотворила, огурцы, капуста... И давай гулять по второму кругу.

И-эх, прощай, радость, жизнь моя.
Знаю — едешь от меня...
Нам должно с тобой расстаться.
Ой, расстаться навсегда.

Ой, чтой-то сделалось, случилось
Да над тобой, хороший мой?
Глаза серые, веселые
На свет больше не глядят...

Да разуста твои прелестные
Про любовь не говорят...

За столом пели, пели...

— А ну, пошли по селу?!

— Дак четвертый день... Вроде бы неудобно?

— Неудобно днем вору воровать, так он ночью крадет. А мы что, воры, что ли? Пошли!

Вывалили всей кумпанией:

Эх, что кому до нас,
Когда праздник у нас?
Мы зароемся в соломушку —
Не на́йдут нас.

А было это на Седмицу сырную... Масленица! И впрямь праздник. Вот тебе, едут по селу горшечники. Две подводы — полные сани с горшками. А Степанида-Колобок да Макарьевна горшками в Тиханове торговали, оптом скупали их. Ну, им все горшечники знакомые. Вот Степанида подбегает к горшечнику:

— Тимофей, на сколь у тебя горшков-то в повозке?

— На четыре рубля.

— Беру все твои горшки.

— Мелёх, а у тебя на сколько?

— У меня на три рубля.

— Плачу за все! А ну, открывай возы! Снимай брезент! Бабы, мужики, навались, пока видно!

Она первой выхватила два горшка, подняла их над головой и — трах! Вдребезги.

— Бей горшки на глину!..

— За счастье новобрачных!

И давай пулять горшками. Поставят их вдоль дороги, как казанки в кону.

— А ну, сколько сшибешь одним махом?

— Какой у него мах? Он на ногах не стоит. Задницей, может, ишшо раздавит...

— Я не стою на ногах? Я?!

— Держите его, а то он морду об каланцы разобьет!

— Кому в морду? Мне? Да я вас...

— Что, кулак чешется? Ты вон об горшки его, об горшки...

— Расшибу!

Трррах! Трах-та-тах... Брр!

Так вот отгуляли свадьбу, и уехал он, как в песне той поется: «Нам должно с тобой расстаться». Два года на пароходах да четыре на войне... Она уж и забывать его стала.

— Ну что ж, в любви не повезло — в деле свое возьму.

Перед самой войной прислал он ей денег — сто семьдесят рублей. Она и пустила их в дело. За пятнадцать рублей место купила на тихановском базаре — поло́к деревянный. В Москву съездила за товаром. Два саквояжа

мелочи привезла: чулки, да блузки, да платки. Но больше все шарфы газовые, как развесила их на полки: голубые, да зеленые, да желтые. На ветру вьются, как воздушные шары,— того и гляди — улетят. Куда тут! Полбазара на поглядку сбежалось.

— Нет, она колдунья. Смотри, к ней толпой валят покупатели. Это их шишиги толкают. Ей-богу, правда! Вот бочажина!

Из галантереи — мелочь серебряная хорошо шла: брошки, перстеньки, сережки. Особенно крестики брали. Война! Ну и пугачи с пробками. Бывало, не успеет в Агишево путем въехать, как ее окружат татарчата:

— Пробкам есть?

— Есть, есть.

Тысячами продавала. Пальба по базару пойдет, как на охоте.

Свекровь видит — вольную взяла баба... Ну к ней:

— Деньги с выручки в семью!

— Нет, шалишь! Я и так за двух мужиков ургучу.

Митревна каждое лето брюхата (это сноха старшая). Она и в войну ухитрялась родить. К мужу ездила. Он на интендантских складах служил. А Настёнку, вторую сноху, чахотка бьет.

— Кто пашет, кто косит, кто стога мечет? Я! Так вам еще и деньги мои подай. Дудки! Дураков нет!

Надежда упряма, но свекровь хитра:

— Ладно, девка, торгуй, если оборот умеешь держать... Только возьми меня в пай!

— Давай!

Поехали они в Пугасово на двух подводах. Купили две бочки рыбы мороженой: судак, лещ, сазан. Свекровь встретила на станции тихановского трактирщика, напилась в чайной водочки:

— Ты, эта, девка, поезжай с Авдюшкой. А я тут шерсть пригляделa...— глаза черные, так и бегают. Ну цыганка! — Я, эта, с трактирщиком ладиться буду...

Какое там ладиться! Не успела Надежда лошадей покормить, как свекровь с трактирщиком в санках домой укатила.

Ну, поехали они с рыбой на ночь глядя. Дорога дальняя — тридцать верст, да раскат за раскатом... Авдей парень неуклюжий, сырой... Шестнадцать лет, а он лошадь запрячь путем не умеет. Вперед его пустишь — дорогу путает. Сзади оставишь — в ухабы заваливается,

постоянно останавливать приходится, бежать к нему, сани оправлять. Под Любишином загнал в такой раскат, что и сани опрокинулись, и лошадь из оглоблей вывернуло. Она к саням побежала, уперлась в бочку... Да разве ей поднять? В бочке пудов двадцать.

— Авдей! — кричит.— На вот веревку, держи концы! Я захлестну ее за головашки саней да бочку буду поддерживать. А ты привяжи за лошадь и выводи ее на дорогу.

Сопит... И что-то подозрительно долго привязать не может.

— Ты за что привязываешь веревку-то?

— За шею.

— Ты что, очумел, черт сопатый? Ты лошадь задушишь!

— А за чаво жа привязывать?

— За хомут, дурак! За гужи!..

Приехала домой за полночь, еле на ногах держится. А компаньонка ее уже на печи похрапывает. Наутро встали, свекровь за столом уж орудует. Самовар у нее кипит, пышек положила, кренделей. А сама глазами так и стрижет:

— Бабы, давайте чай пить, да за дровами езжайте!

— Я вчера наездилась,— сказала Надежда.— Спину так наломала, что не разогнусь.

— Ну что жа,— отозвалась Митревна.— Поедем мы с тобой, Авдюшка.

— Запряги им хоть лошадь,— проворчала свекровь.

Запрягла им лошадь Надежда честь честью, проводила. Вот тебе к обеду, смотрит в окно: батюшки мои! И лошадь в поводу ведут, и от дровней одни головашки тащатся.

— На пенек в лесу наехали... Ну и сани, того, расташшылись.

И пришлось Надежде со свекровью в ночь ехать, собирать и дрова и остатки от саней.

Прошел пост — и рыба испарилась. Когда ее продавали, где? Надежда и не видела. Ни рыбы, ни денег...

— Мама, а как же насчет выручки? — спросила Надежда.

— Какая вам выручка, черти полосатые? Вы пенсию получаете и ни копейки не даете!

Вы — это снохи. Митревна получала семь с полтиной — три на себя, как на солдатку, три на

подростка Авдея да полтора рубля на младшего сынишку; Надежда получала всего четыре с полтиной, мальчик жил у ее родителей, а Настасья — три рубля.

— Это на харч дают деньги. А вы их по карманам! — ворчит свекровь.

— Как на харч? Мы ж работаем. Все паи сами обрабатываем! Сколько ты овса продаешь? Сколько шерсти, масла? Две коровы у нас, двадцать овец? На варежки шерсти не даешь! Куда все это идет?

Ну, слово за слово... Распалились. А самовар кипел, завтракать собирались. Свекровь сорвала трубу с самовара, хлоп на него заглушку:

— Черти полосатые! Пенсию не даете — нет вам чаю! Где хотите, там и пейте.

И даже из избы ушла. Хлопнула в горнице дверью и заперлась.

— Вино пошла пить,— усмехнулась Настёнка.

У свекрови стоял в горнице большой сундук с расхожим добром, и там, в углу, подглядели снохи, была всегда бутылка водки и кусок копченой колбасы — закусить. И стаканчик стоял. А ключи у нее висели на поясе и хоронились в объемистых складках темной, в белую горошину юбки. Войдет в горницу Татьяна Малаховна, громыхнет крышка сундука, потом — трень-брень: это стаканчик с бутылкой встретится, и забулькает успокоительная влага...

— Ну и черт с ней! — сказала Настёнка.— Я домой пойду.

И Митревна засобиралась к своим:

— Что жа, что жа... Я-петь найду чаю...

Ушла. Ей всего через дорогу перейти — свои. Настёнка тоже тихановская. А что делать Надежде?

— Ладно, раз вы по домам, и я домой уйду. Но имейте в виду — я уж больше не вернусь. С меня хватит.

Собрала она в узел свои пожитки и через сад, задами, подалась в Бочаги.

Не выдержала свекровь, ударилась за ней, бежит по конопляникам:

— Надя-а! Надежда-а!

А Надежда идет себе и будто не слышит.

— Надя-а! Погоди-кать, погоди!

Остановилась та. Подбегает свекровь — дух еле переводя:

— Ты куда собралась-то, девка?

— Домой!
— Как домой? Твой дом здесь.
— Здесь я уже нажилась. Ухожу я от вас!
— Как уходишь? Весна подошла — сев на носу. А я что с ними насею?
— Да я вам что? И за сохой, и за бороной, и за кобылой вороной? А что коснется — и на варежки шерсти нет тебе...
— Да будет, девка, будет! Я, эта, шерсть вам всю развешу, всю как есть. Косцов найму, и стога смечут мужики. Ты уж давай домой... Ну, погорячились... Не в ноги ж тебе падать!..
— Сейчас я не могу, хоть запорите меня. Вот в Москву съезжу, там посмотрим.
Вернулась она через три дня из Москвы, а свекровь уже в Бочагах сидит, ее дожидает:
— Ты уж, эта, девка, товар-то можешь здесь оставить. А сами-то поедем. Вон и лошадь готова...
Приехали домой — принесла из кладовой мешок шерсти и снохам:
— Нате развешивайте!
— Бабы! — говорит Надежда.— Пока я здесь, берите. А то уеду — передумает и шерсть спрячет.
Так и отбилась от свекрови, завоевала себе вольный кредит. От свекрови отбилась — вот тебе свои родители подладились. Сперва отец:
— Давай я тебе помогу овес отвезти.
Ладно, дело стоящее. В Москве овес весной семнадцатого года был по 20 рублей за пуд, а в Тиханове — рубль двадцать копеек. Взяли они десять пудов. Насыпали корзину да два саквояжа. Привезли на станцию. В вагон садиться, а отец говорит:
— Куда с таким грузом? Опузыришься. Давай в багаж сдадим.
Принесли на весы. Весовщик взвесил и спрашивает:
— А что это у вас? (Зерно запрещалось возить.)
— Ну, что? Вещи!
— Уж больно тяжелые. Обождите, я сейчас! — И ушел за контролером.
Э-э, тут не зевай.
— А ну-ка, бери корзину! — говорит она отцу.
— Куда ее?
— В вагон тащи, куда ж еще?
В то время теплушки ходили, двери настежь, что твои

ворота. И проводников нет. Он схватил корзину, она — саквояж. И сунули их в первый же вагон. Надежда залезла, отодвинула вещи в угол и посадила на них женщину с девочкой. Второй саквояж отдала отцу и говорит:

— Ступай в конец поезда и растворись там.

Билеты у них на руках, все в порядке. А сама осталась на платформе, похаживает, со стороны наблюдает. Вот прибегает весовщик, с ним контролеры в красных фуражках.

— Где багаж?

А его и след простыл. Они в ближние вагоны сунулись, ходят, смотрят... Ну где найдешь? Клеймо на них, что ли?

В Москву приехали, отец и говорит:

— Ты как хочешь... Вещи сама выноси. Я и в Пугасове довольно натерпелся.

— Э-э, вот ты какой помощничек!

Взяла она носильщика, заплатила ему десятку.

— Куда тебе нести?

— На извозчика.

Принес на извозчика.

— Куда везти?

— Овес нужен?

— Нужен.

— Вези домой!

Сладились по двадцать рублей за пуд. Отец поехал с извозчиком, а Надежда к знакомым, тихановским москвичам. Те в кондитерской работали и сахар продавали по пятьдесят копеек за фунт. А в Тиханове его оптом брали по три рубля за фунт, а на развес и по четыре рубля и по пять. Три пуда взяла сахару, загрузила оба саквояжа, хлопочет с этим сахаром. А отец получил деньги за овес и ходит по Москве, посвистывает.

— Папаша, а где деньги?

— Какие деньги? Ты сахар продашь, вот тебе и деньги. А мне за овес... Вместе трудились...

— Вон ты какой тружельник!

На обратной дороге в Рязани контроль накрыл. Отец встал да на вокзал ушел. Надежда выставила свои саквояжи посреди вагона, а сама в уголок села. Один контролер перешагнул через саквояжи, второй споткнулся. Хвать за ручку — не поднять:

— Что тут, камни, что ли? Чьи вещи?

Молчание.

— Что там за вещи?—спрашивает начальник в военном.

— Да что-то подозрительно тяжелое. Где хозяин?

Нет хозяина.

— Забирай их, на вокзале проверим.

Тут Надежда из угла подает голос:

— Гражданин военный, мое дело постороннее, но только я вас предупреждаю—на них флотский матрос сидел. Он пошел обедать на вокзал. Просил поглядеть.

— Флотский?—военный почесал затылок и говорит:—Ладно, оставьте их.

Поехали!..

Так и возила она то сахар из Москвы, то из Нижнего купорос медный, да серу горючую—торговки на дубление овчин брали да на лекарства. Капитал сколотить мечтала да лавку открыть.

Не повезло, поздно надумала. Пришла вторая революция, и деньги лопнули. Тут лет пять торговали на хлеб. Куда его девать? Обожраться, что ли? Плюнула она на торговлю...

Вернулся муж с войны, отделились от семьи. Делились пять братьев—трое женатых да двое холостых. Кому избу, кому горницу, кому сруб на дом. Андрею Ивановичу выпал жребий на выдел: кобыла рыжая с упряжкой досталась, корова, три овцы, сарай молотильный да восемьдесят пудов хлеба. Одна овца успела объягниться до раздела. Свекровь забрала ягненка.

— Что ж ты его от матери отымаешь?—сказала Надежда.— Или не жалко?

А Зиновий, младший деверь, в ответ ей:

— Ты вон какого сына у матери отняла, и то не жалеешь.

Построились. Пошло хозяйство силу набирать... И опять захлопотала Надежда, размечталась: «Коров разведем, сепаратор купим. Масло на станцию возить будем... А там свиней достанем англицкой породы! Загудим... Кормов хватит. Земли-то на семь едоков нарезано. И лугов сколько! Золотое дно... Только старайся». Да, видать, впрягли их, лебедя да рака, в одну повозку... Один в облака рвется, другой задом пятится.

— Пустая твоя голова! Ну, что ты связался с лошадьми? Вон, Евгений Егорович на коровах-то молзавод открыл. А ты что от лошадей, навозную фабрику откроешь?

— И то дело,— буркнет хозяин, а дальше и слушать не хочет.

С великим трудом убедила она его продать Белобокую кобылу на базаре в Троицу.

— Нагуляется она на лугах-то, справной будет, и лошади пока в цене, а коровы дешевые. Белобокую продадим, а корову купим. Ведь пять человек детей. Щадно с молоком живем...

Ну, убедила... И тут не повезло. Кобылу рыжую угнали! Куда ж теперь Белобокую продавать? На нее вся опора.

2

Когда Надежде утром сказали, из лугов вернувшись, что кобылы нет, она так и присела. Целый день все из рук валилось. Еще думалось, теплилось: авось найдет лошадь, пригонит хозяин. Нет, приехал на Белобокой...

Приехал вечером, стадо уж домой пустили. Она с подойником во двор собиралась. Вышла на заднее крыльцо. Он лошадь привязывал к яслям. И не глядит. Хмурый. Да и с чего веселиться? Открыла она ворота в хлев — вот тебе, оттуда морда буланая рогастая: «У-у-у!» Бык мирской! С коровой пришел. Да кто его пустил в хлев-то? Пошел, черт! «О-о-о!» — заревел он еще грознее, замотал рогами и пошел на Надежду.

— Ах ты, морда нахальная! — она стукнула ему подойником по лбу и бросилась на заднее крыльцо.— Андрей, Андрей, скорее беги!..

Бык в лепешку смял подойник и двинулся к Андрею Ивановичу. Тот, бледный, пятился от растерянности задом к яслям, растопырив руки, заслоняя лошадь.

— Стукни его чем-нибудь! — крикнул он Надежде.— Я лошадь отвяжу... не то спорет.

Надежда кубарем скатилась с крыльца, схватила полено из клетки колотых дров, стоявшей тут же, и — хлясть его по ляжке. Бык мотнул хвостом, легко обернулся — и за ней.

— Ага, напорись на крыльцо, бес лобастый!

Надежда, раскрасневшаяся, вся взъерошенная, яростно глядела на быка сверху, с крыльца. Эх, кабы когти были, так и бросилась бы на него сверху, вцепилась бы ему в холку. Огреть бы чем, да под рукой нет ничего.

А разъяренный бык, обойдя крыльцо, увидел опять Андрея Ивановича. Тот уже успел сорвать обротъ с лошади, отогнал ее прочь, и теперь сам напрягся весь в полуприсяди и, азартно раздувая ноздри, крутил в воздухе обротью, как арканом. Бык, нагибая голову, пыхтя и нацеливаясь рогами, мелким шажком подкрадывался к нему. Обротъ, выпущенная Андреем Ивановичем, хрястнула удилами его по морде, и в то же мгновение бык, точно птица, пружинисто подброшенный, полетел на Андрея Ивановича. Тот отскочил за ясли. Бык поддел на рога верхнюю переслежину, опрокинул ясли и с треском раздавил их. Андрей Иванович перебежал к заднему крыльцу, встал у дровяной клетки и начал поленьями, словно городошными палками, молотить быка. Тот мычал высоким утробным ревом, наклонял голову, передним копытом рыл землю и бил себя хвостом по бокам. Лев: «У-у-у-у!»

Меж тем собирался народ. Время вечернее, теплое — на улице и млад и стар, кто скотину у колодца поит, кто собак гоняет, кто на завалинке сидит. А тут потеха с ревом, с топотом, с криками.

— Андрей Иванович! Ты его шелугой одень, шелугой.

— О черт! Это ж не мерин... Ты его шелугой — а он тебя рогом...

— Шелугой, ежели с крыльца... Сам ты черт-дьявол.

— Крыльцо не поветь. Откуда шелуга на крыльце возьмется? Откуда?

— А пошел бы ты к матери в подпол...

— Я, грю, плетью его... Плетью. Савелий Назаркин дома.

— Сбегай за Савелием!

А бык, разъяренный криком да поленьями, осипший от рева, бросился опять на Андрея Ивановича, споткнулся о ступеньку крыльца и, пропахав коленями две борозды, вскочил, мотая рогами, добежал до заднего плетня, забился в угол под кладовую и, обернувшись, наклонив голову, стал готовиться к новому броску.

— Ребята, камнями его! Лезь на кладовую.

Кладовая только еще строилась. Крыши не было — одни стенки да потолок, залитый бетоном. Федька Маклак, старший сын Андрея Ивановича, с приятелями Санькой Чувалом, Васькой Махимом да Натолием Сопатым в момент залезли на кладовую и сверху кирпичами метили быку в холку да в голову. Тот отряхивался

только от кирпичной пыли и глуше ревел да копал землю.

— Камень ему что присыпка, один чих вызывает.

— Плеть нужна, пле-еть...

Принесли плеть от пастуха Назаркина. Плеть витая, ременная, длинная... Пять саженей! Конец из силков сплетен, рассекает, как литая проволока. Ручка с кистями на конце... А тяжелая. Размахнешь, ударишь — хлопнет так, что твоя пушка ахнет. Э, рогатые! Берегись, которые на отлете...

Андрей Иванович, увидев плеть, спрыгнул с крыльца, выхватил ее у парнишки и пошел на быка:

— Ну, теперь ты у меня запляшешь...

Перед домом Бородиных поодаль от толпы стоял Марк Иванович Дранкин, по-уличному Маркел. На быка, на толпу любопытных он не обращал никакого внимания; стоял сам по себе возле известковой ямы, курил, обернувшись ко всей этой публике задом, Маркел человек важный, независимого нрава, а если и вышел на улицу, так уж не на быка поглядеть, а, скорее, себя показать.

— Маркел! — кричали ему из толпы.— Мотри, бык меж кладовой пролетом выскочит... Кабы не зацепил.

— Явал я вашего быка,— отвечал Маркел не оборачиваясь и плевал в известковую яму.

Он был мал ростом и говорил сиплым басом — для впечатления; сапоги носил с отворотами, голенища закатывал в несколько рядов — тоже для впечатления.

Андрей Иванович ударил быка с накатом и оттяжкой, тем страшным ударом, который со свистом рассекает воздух и оставляет лиловые бугры на бычьей коже.

Хх-ляп! — как палкой по воде шлепнули.

Бык ухнул, даванул задом плетень, потом ошалело метнулся в пролет между сенями и кладовой. Выскочил он на улицу прямехонько к яме; высоко задрав хвост, радостно мотнув головой, как гончая, увидевшая зайца, он весело полетел на Маркела.

— Маркел, оглянись! — заорали в толпе.— Бык, бы-ык!

Ну да, не на того напали... Маркел стоял невозмутимо, цедил свою цигарку и мрачно глядел вдаль.

Бык сшиб его, как городок, поставленный на попа; тот упал в яму — только брызги белые полетели. И нет Маркела...

— Маркел, ты жив?

— Посиди в яме, сейчас быка отгоним.

Но из ямы никто не отвечал.

— Чего он, утоп, что ли?

— Да он утоп! Ей-богу, правда...

— Бык запорол его... под лопатку кы-ык саданет.

— Да спасите человека, окаянные! — завопили бабы от завалинки.— Чего стоите?!

Бык победно обошел вокруг ямы, воинственно помотал рогами и двинулся было к толпе, но, увидев подоспевшего со двора Андрея Ивановича с плетью, свернул на дорогу.

Тут и появился Маркел... Ухватившись за край ямы, подпрыгнул, подтянулся и, озираясь по сторонам, опершись ладонями, вылез наружу... Он был весь белый, как мельник с помола.

— Ну, чаво уставились, туды вашу растуды?! — обругал он занемевшую толпу.— Ай извёски не видели? — Он сердито нахохлился и стал обирать свисшие сосульками усы, фыркал, словно кот, и брезгливо отряхивал с пальцев известковую кашу.

— Маркел, теперь лезь в печку на обжиг,— сказал Андрей Иванович.— Тогда помрешь — не сгниешь.

Толпа грохнула и закатилась заразительным смехом, смеялись и оттого, что смешно было глядеть на маленького сердитого человека, раздирающего белые усы, смеялись и потому, что кончилось все благополучно и что потеха удалась — и азарт выказали,и страху натерпелись...

А бык, подстегнутый взрывом хохота, обернулся, увидел на краю ямы Маркела и, озорно взбрыкивая, поскакал на него галопом.

Тут и Маркел показал себя... Как шар от удара увесистой клюшки, он катышом покатился по-над землей, отскакивая от каждого бугорка. Не к людям за помощью ринулся он, не под защиту бородинского двора... Первородный страх безотчетно погнал его домой... А жил он через двор от Бородиных. Улица широкая, дорога пыльная да ухабистая, Маркел так сильно и часто застучал по дороге, будто в четыре цепа замолотили. И ноги закидывал высоко-высоко, чуть пятками затылка не доставал. А в двух шагах от него скакал бык — рога наперевес, хвост трубой: «У-у-у! Запорю...»

— Маркел, Маркел! Не подгадь!

— Давай, давай! Догоня-ает!

— Вертуляй в сторону! Скоре-ей! Вертуляй!

Кричала вся улица.

Перед домом Маркела стояла телега. Это и спасло его — с разбегу он плюхнулся животом на телегу и кубарем перелетел через нее. Бык ударил рогами в наклестку и завяз...

А улица долго еще возбужденно гомонила о том, что не судьба Маркелу от быка погибнуть, что каждому на роду своя смерть написана и что нового мирского быка покупать надо, а этого сдать в колбасную Пашке Долбачу.

Расходились удоволенные, каждый на свое — девки с парнями на гулянку готовились, бабы коров доить, мужики скотину убирать. Впереди вечер, шумный праздничный вечер... Не грешно и нарядиться, выйти на улицу, на людей поглядеть да себя показать. Вознесение Христово...

— Нет, что ни говорите, а хорошо жить на миру! Не соскучишься...

И может, оттого отмяк нутром Андрей Иванович, уступил Надежде, договорились они на базаре в Троицу купить свинью или хотя бы породистого поросенка, а объезженного жеребенка-третьяка Набата он продаст.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Федька Маклак, плечистый, широкогрудый малый шестнадцати лет, кучерявый в отца, прямоносый, но с припухлыми обуховскими веками и мелкими темными конопушками на переносице, собирался в ночное нехотя. Надо же! Нынче Вознесение. Вечером сойдутся на Красную горку со всего конца ребята и девки. Две, а то и три гармошки придут. Бабы вывалят из домов, мужики... Круг раздастся, разомкнут, что на твоей базарной толкучке. Девки цыганочку оторвут с припевками. Танцы устроят. А то еще бороться кто выпрет... Позовет на круг: «А ну, на любака! Выходи, кому стоять надоело!..» Не хочешь на кругу веселиться — ступай к Микишке Хриплому. Там в карты режутся: в очко, в горба, в шубу... И вот тебе, поезжай от эдакого удовольствия в ночное, копти там возле костра. Федька заикнулся было:

— Папаня, может, месиво сделать кобыле? Постоит и дома одну ночку.

— Я те намешаю болтушкой по башке! — отец ныне

сердитый.— Она сегодня полсотни верст отмахала... Да завтра ей пахать целый день. Месиво... Пусть хорошенько попасется, а завтра овса ей дам.

Федька натянул на плечи старый зипун из грубого домотканого сукна да лапти обул по-легкому, без онуч, на одни шерстяные носки с мягкой войлочной подстилкой. Но в полотняную сумку, с лямкой через плечо, вместе с краюхой хлеба да бутылкой молока сунул свои модные широконосые штиблеты, а под зипун незаметно надел расшитую рубаху да плетеный шелковый поясок с кистями подпоясал. «Сбегу из ночного на игрища... От лощины до села не больше двух верст...»

Отец накинул на Белобокую ватолу, прихватил ее чересседельником, узел под брюхо свалил, чтоб не мешался. Подвел кобылу к завалинке, крикнул:

— Ты где там провалился? Или спать лег?

— Сичас, оборка вот запуталась,— Федька нарочито громко кряхтел и топал ногой.

Федька волынил... С порога летней избы он поглядывал в горницу, там, возле комода, перед большим висячим зеркалом в овальной резной раме стояла Зинка в нарядном голубом платье, облегавшем ее сильные загорелые икры,— на зажженной лампе она нагревала длинные щипцы, потом накручивала ими волосы на висках. Каждый раз, когда она захватывала и накручивала щипцами очередной клок волос, Федька видел в зеркало, как вздрагивали и кривились пухлые Зинкины губы. «А, чтоб тебя скосоротило!» — ругался он про себя. Федьке нужен был этот комод позарез, у которого стояла Зинка. Там, в верхнем ящике, под бельем мать спрятала кошелек с деньгами. Он еще днем подглядел и до самого теперешнего отъезда вертелся у комода. Без денег нынче ночью какое веселье! Но, как назло, мать до вечера шила на машинке возле этого проклятого комода, потом пришла со службы Маня, выпроводила Федьку из горницы, стала переодеваться. А теперь вот эта растрепа кудри завивала. Маня и Зинка доводились тетками Федьке, но были чуть старше его, вырастали вместе и оттого дрались с незапамятных времен.

— Торба, ты бы язык загнула щипцами, а то он у тебя как помело болтается,— задирал Зинку Федька.

— Маклак, возьми онучи, потри лицо... Может, веснушки сотрешь,— отругивалась та, не отрываясь от зеркала.

На улице послышался частый конский топот, Федька заглянул в раскрытую дверь и увидел сквозь коридорные стекла подъезжавшего Саньку Чувала: тот, высоко задирая локти и отвалясь на спину, круто осадил своего лысого мерина прямо под окнами и крикнул:

— Дядь Андрей, а где Федька?

— Ширинку в сенях ищет,— отозвался Андрей Иванович.

— Какую ширинку?

— От штанов.

— А может, он их задом наперед надел? — осклабился тот. На Чувале был черный отцовский картуз с лакированным козырьком да шевровые ботинки. И ни зипуна, ни овчины — один легкий пиджачок. Сразу видно — на игрища удерет с ночного. «Вот живет, ни от кого не прячется,— позавидовал Федька.— Куда хочет, туда и шлепает... А здесь не обманешь — от тоски загнешься...»

— Ты скоро там, Парфентий? — позвал опять Андрей Иванович.

— Да сичас... Вот лапоть подвяжу... Проушина лопнула,— Федька опять затопал ногой.

— Я вот пойду и тебя самого за уши вытащу,— пригрозил Андрей Иванович.

Федька лихорадочно соображал — как бы, чем бы выудить из горницы Зинку: что бы опрокинуть или сшибить? Он воровато озирался по сторонам, но ничего подходящего на бревенчатых стенах летней избы не находил: в переднем углу божница с иконами в серебряных да медных окладах. Сшибить одну? Да плевать ей на иконы... В другом углу посудная полка — тарелки, чашки, ложки, блюдца... И на посуду ей наплевать. Вдруг в растворенную дверь, в светлом, остекленном коридоре он увидел угловой столик, а на нем Зинкину пудру, зеркальце и духи «Букет моей бабушки». Он схватил моментально сандалию, валявшуюся под кроватью, и запустил ее в столик с громким криком:

— Брысь, окаянная!

Раздался грохот и звон разбитого стекла.

— Зинка, кошка духи твои разбила...

Зинка закричала как ошпаренная, бросила щипцы и выбежала в коридор. Федька одним прыжком, словно кот на мышь, достиг комода, открыл верхний ящик, поймал в

углу бумажник и на ощупь вынул одну бумажку. Оказалась трешницей; сунув ее в карман да сняв кепку со стены, он вприпрыжку мотанул на двор.

— Маклак конопатый! Это ты разбил духи, ты!.. Я вот скажу Андрею Ивановичу... Он тебе уши оборвет,— хлюпала и кричала из коридора вслед ему Зинка.

— Ага! Позови Симочку-милиционера. Он протокол составит и тебе сопли им подотрет.

Федька хлопнул задней дверью и поскоком спрыгнул с крыльца во двор:

— Вот он и я...

Андрей Иванович подозрительно оглядел его одежду: не задумал ли чего, чертов сын? Зипун и лапти — все на месте.

— А ты зачем кепку новую надел? Уж не решил ли на улицу удрать?

— В лаптях да в зипуне-то?

— Смотри, я проверю...

— Проверяй!

Федька залез на завалину, поймал кобылу за холку и прыгнул сперва ей на спину животом, потом уж на ходу закинул правую ногу, распрямился и разобрал поводья.

— Т-ой, дьявол! — одернул он запрядавшую сытую кобылу.

— Заезжай к Тырану! Захватишь его Буланца! — наказал Андрей Иванович.

— Ла-адно!

Федька передом, Санька за ним свернули к Тырановой избе. Тот жил через двор от Бородиных. Возле калитки их поджидал хозяин с Буланцом в поводу. Это был еще молодой дюжий мужик с кудлатой, вечно нечесанной головой. Говорили, что Тыран моет голову дважды в году — на Рождество и на Пасху. Еще он любил поспать, отчего и прозвище получил. На лугах, в покос, когда все люди на виду, его шалаш открывался последним. Мужики уж косы отобьют, а он только рядно с шалаша сдернет, высунет свою баранью голову в сенной трухе и спросит:

— Чего? Ай рассвело?

— Петька, поспи еще! Ты рано встал...

Ты рано — превратилось в Тыран. Так и прилипло прозвище. Буланца его, низкорослого меринка киргизской породы, Федька любил за чистую иноходь. Так идет, что не шелохнется, ставь стакан воды — не расплескает, а

иная лошадь и рысью за ним не поспевает. Федька чаще пересаживался на Буланца, а своих кобыл впристяжку брал. Но теперь он Буланца пристегнул; во-первых, ватолу отец крепко приторочил на Белобокую, чтобы отвязать — повозиться надо, а во-вторых, не лошадьми были заняты мысли его.

Пока Тыран привязывал за оброть к Белобокой Буланца, баба Проска, старая сухменная мать Тырана, вынесла из избы бутылку молока, заткнутую бумажным кляпом:

— На-ка, Федя, прихлебни молоцка. Ноцью небось набегаешься, проголодаешься к утру-то.

— Давай, пригодится.— Федька сунул и эту бутылку себе в сумку, где она с легким звяканьем встретилась с такой же домашней бутылкой молока.

— Ну, ходи веселей, манькай! — любовно хлопнул по шее своего Буланца Тыран и вдруг спохватился: — Да, погоди! Путо забыл, путо.

Он сбегал в сени, принес толстое, сплетенное из пеньковой веревки путо с огромным узлом на конце и повязал его на шею Буланцу:

— Ну, с богом, ребятки, с богом...

Не успели путем отъехать от Тырана, Чувал спросил, поравнявшись с Федькой:

— Чего на тебя Зинка орала? — Он был страсть как любопытен — поведет своим вислым, облупленным на солнце носом, словно принюхивается, а круглые совиные глаза его буравили каждого прохожего.

— Я у нее духи разбил,— ухмыльнулся Федька.

— Зачем?

— Да ну ее... Стоит перед зеркалом — кудри навивает, зараза, Сенечку Зенина ждет.

— А тебе что? Пусть гуляют. Все-таки учитель.

— Какой он учитель? Лапти обует — и пойдет по селам гармонь свою в лотерею разыгрывать... Шаромыжник он.

— Слушай, правда, что к вашей Мане Возвышаев ходит?

— Какой Возвышаев? — Федька свалил кепку на затылок.

— Не дури! Председатель РИКа... А Успенскому она будто от ворот поворот сделала?

— Я с начальством не якшаюсь,— Федька стеганул по лошадям и свернул в проулок.

Путь к лощине лежал через овраг по новому деревянному мосту, мимо кирпичного завода, дальше по горбине зеленеющих оржей, потом будет еще овраг с красными обрывистыми берегами, прозванный за отдаленность и глушь Волчьим, а потом уж лощина — низкая болотистая ендова, заросшая мелким кустарником и некошеной травой. В эту лощину и гоняли по весне лошадей в ночное.

Солнце уже скрылось за дальним увалом зеленеющих озимых, но небо еще полно было золотистого света, воздух недвижен и вязок, теплый, душный, с тем полынно-горьковатым сухим запахом пыли, который оставляет по себе уходящий жаркий летний день. В эту пору отчетливо слышны бывают все деревенские звуки: и дальний собачий брех, и заливистый петушиный крик, и глухое шлепанье копыт о пыльную дорогу.

Ребята пересекли овраг, гулко протопали по бревенчатому настилу моста, поднялись на бугор к кирпичному заводу.

— Из стариков кто-нибудь приедет? — спросил Федька Маклак.

— Обещал приехать дядя Максим...

— Жеребец, что ли?

— Ен самый...

— Значит, живем,— сказал Федька.— Есть на кого лошадей оставить... А то мелюзга сопатая волков испугается... Лошадей пораспустят...

— Дядя Максим просил дровец привезти. Говорит, кустарник весь прочистили, сушняка нет. А от сырья один дым да вонь. Давай на кирпичный завернем,— предложил Чувал.— Снимем с сарая несколько сухих примётин — вот и дрова.

— Ты что? Амвросимов здесь днюет и ночует. Еще из ружья вдарит за эту примётину.

— Плевать нам на Амвросимовых! Поехали к артельным сараям. Вон к тем, дальним.

— А там Ваня Чекмарь сторожит.

— Дома он сидит... Я проезжал мимо. Васютка кулеш варила, а он на завалинке матерился. Ты, говорит, окна соломой завалил? А я ему — она с крыши свалилась. У вас не изба, а сорочье гнездо.

Маклак и Чувал переглянулись и захохотали. Позавчера, возвращаясь с улицы, они надергали в защитке по охапке соломы и завалили оба окна Васюткиной избы.

Окна-то маленькие да на вершок от завалинки. Она и спала до Ванина прихода, думала — все еще ночь. Стадо проспала. Коза недоеной осталась... блеет, а та дрыхнет.

Кирпичный завод представлял из себя дюжины две приземистых сараев для сушки сырца, похожих на соломенные скирды, да десяток островерхих, крытых тесом печей обжига. С крайнего сарая ребята сняли по две примётины — сухие и длинные хворостины, изрубили их, у Чувала за поясом оказался топор, и галопом, конь о конь, поскакали прямо по ржам.

2

В лощине было полно лошадей и ребятни, правда, больше все подсоски, как зовет Чувал десятилетних школьников. Из больших парней приехал только Васька Махим. Ни Ковяка, ни Натолия Сопатого, ни Шурки Пышонкова, никого не было. Да и кто по своей охоте поедет на праздник в ночное? Зато приехал дядя Максим Селькин, прозванный за окладистую сивую бороду, за толстый нос и густую волосню, стриженную под горшок, Жеребцом. У него было большое рыхлое брюхо, свисавшее, как пустой кошель, почти до колен. «Дядь Максим, а на чем у тебя ширинка держится?» — «А я ее, ребятки, за пупок пристегиваю. Пупок у меня агромадный, грызь, стало быть...» У него был чалый мерин, с виду покорный, как сам хозяин, и такой же брюхатый и мосластый. И тем не менее ребятишки не брали его в ночное — Чалый никогда не наедался за ночь; на рассвете, когда все лошади понуро стояли, опустив голову и оттопырив нижнюю губу,— «читали газету», по выражению ребят,— Чалый продолжал со скрипом и хрупом щипать траву. Подойдешь к нему заобротать, а он тебя норовит зубами поймать за пузо. Ненасытная скотина! Так и ездил в ночное сам Максим Селькин.

Все ночевальщики уже сидели возле дымящегося костра, когда подъехали опоздавшие. В центре круга стоял на четвереньках Максим Селькин, похожий на гривастого льва, и, вытянув губы, шумно дул, как кузнечный мех, под кучку зеленых ветвей.

Маклак с Чувалом мигом спешились, кинули связки сухих дров, стали снимать оброти и стреноживать коней.

— Вот спасибо, робятки! Дровец привезли, уважили

старика,— распрямившись от костра, радостно говорил Селькин.— А я картохи прихватил... Напечем, едрит твою лапоть. Вот и нам праздник будет.

— У нас и выпить есть. Держи! — Маклак подал Селькину две бутылки молока.— После ужина спать захочешь... Так вот тебе ватола и зипун. Ложись и укрывайся.

— Ватола, она, робятки, влагу гонит,— говорил Селькин, принимая все это добро.— На ней не больно уснешь. Вот зипунишко — это хорошо. Эта подстилка сухая...

— Говори, что тебе принесть? — спросил Чувал Селькина.— Всем подсоскам конфет принесем. А тебе что?

— Мне бы шкалик, робятки. Вот и я пососал бы. Да где его ночью достанешь?

— Найдем! Водки не будет — самогонки принесем,— сказал Федька.

— Вот спасибо. А насчет лошадей не сумлевайтесь. В сохранности будут.

Маклак скинул лапти, быстро переобулся в штиблеты и зипуном их еще почистил, рубашку расшитую расправил, все складочки за спину разогнал, одну руку в бедро упер, вторую на затылок закинул и козырем прошелся вокруг костра:

— Ну, берегитесь, которые напудрены... Как, дядь Максим? Гип-гоп! — Он раза два нырнул вприсядку и картинно поклонился.

— Сключительно. Чистый ползунок,— сказал Селькин.— Мотри, только не подерись. Рубаху порвут невзначай. Отец узнает, что бегал из ночного... Он тебе задаст тогда ползунка.

— Пока! — сказал Чувал.— Ты, дядь Максим, спи. А вы, подсоски!.. Смотрите!.. Ежели кто из вас уснет, приду — всех на баран перетаскаю.

— Ты чего это, Санька, робят обижаешь? — сказал Селькин.

— Кого я обижаю?

— Ну как же, подсосками зовешь.

— Дак они все мне под сосок. Ну, подходи ростом мериться. Кто выше моего соска, извини-подвинься. Гы!

— Обормот! — сказал Селькин.— Ступайте уж от греха подальше.

— Махим, пошли с нами? — позвал Маклак рослого увальня.

— В лаптях, что ли? — пробасил тот.

— А ты скинь лапти-то,— сказал Чувал.— К селу по-

дойдем — в оврагах в тине вымажешь ноги. Пойдешь, как в шавровых ботинках. Заблестят.

— Да пошел ты...

Ребятишки прыскали и отворачивались, боясь обидеть кого-либо из старших неуместным смехом.

В село вернулись Маклак с Чувалом уже по-темному. Сразу за оврагом, на Красной горке шумела огромная толпа. Играли две гармони цыганочку, дробно стучали каблуки. Федька приостановился возле оврага, прислушиваясь: одна ханатыркала на басах, как разбитая берда,— это, ясное дело, Мишки Кочебанова гармонь, немецкого строя, а другая не в лад высоко взвизгивала, как свинья недорезанная. Да это ж ливенка Сенечки Зенина! Вот шаромыжник, на их конец притопал. Значит, и Зинка здесь вертится.

— Сань, сходи, глянь — Зинка там или нет? — попросил Федор Чувала.

Тот одним духом обернулся:

— Тама! Сенечка с Мишкой на лавочке сидят, а Зинка за ними, как часовой,— руки по швам и кулаки сжаты.

— Едрит твою лапоть, как говорит дядя Максим! Чего ж мне теперь делать?

— Пошли! Не заметит...

— Она не заметит... Вот что — дуй на круг, а я пойду к Никишке Хриплому.

— Как же это? Возьмем да разойдемся! А в лощину поодиночке, что ли, тащиться?

— Да нет, чудак-человек... Сенечка не заиграется, не бойся. Он похвастаться пришел... Поди, рубаху новую показать или белые штаны... Он скоро уйдет. А за ним и Зинка смоется. Тогда сбегаешь за мной и уж повеселимся.

— Ну, валяй! Только не проигрывайся... Обещали же конфет принести.

— За меня не беспокойся.

Друзья стукнули друг друга по рукам и разошлись.

У Никишки Хриплого, по фамилии — Пышенковых, собрались картежники не только ближние со своего конца, с Нахаловки, но и из села пришли, то есть с базарной площади, с Конной улицы, с Сенной. Посреди просторного кирпичного дома за столом, под висячей лампой сидело человек десять. Метали банк. Перед вислоусым, одутловатым, с пипочкой вместо носа сапожником Бандеем, похожим на моржа, скопилась кучка

серебра и медяков, и даже бумажки лежали. Бандей в огромной ладони, изрезанной темными рытвинами от дратвы, зажал колоду карт, как спичечный коробок, и, плюя на пальцы, вытягивал из нее карты.

— На, наберись! — гудел он сумрачно, подавая карты очередному метальщику.— Еще? На, наешься!

— Тьфу ты, дьявол тебя крестил! Перебор. Всего на одно очко...

— И я на одно перебрал.

— Это Бандей очки наводит. Как плюнет, так лишнее очко есть.

— Бандей, не пятнай карты! — сказала с печи хозяйка Нёшка Орёха.— Они совсем новенькие.

— Еще купишь,— отозвался Бандей.— Ты же получаешь по целковому с банка. Чего тебе еще?

— Где ты их купишь?! Никишка по весне привез из Растяпина две колоды... Дак одну уж исхлопали.

Сам хозяин, замоховевший по самые глаза густой рыжей щетиной, с белой круглой лысиной на макушке, как в тюбетейке, сидел скромненько тут же на лавке, на краю от стола.

— Еще привезет... Ему не впервой бегать за длинным рублем,— сказал Бандей так, будто хозяина тут и не было.

— Ковда он поедет, ковда? — затараторила Орёха.— У нас тоже хозяйство. Небось раньше Покрова не вырвешься.

— Твое хозяйство вон — в сусеке кирпичи да кот на печи. Чего вам убираться? — посмеивался Бандей.

— А то у тебя у одного хозяйство? Мотри вон, в карты спустишь свое хозяйство,— не сдавалась Орёха.

— Я нажил, я и проживу...

На вошедшего Федьку никто не обратил внимания. Да и трудно было разглядеть от стола — кто там вошел? Сизые клубы табачного дыма начисто глушили свет на сажень от лампы. Федька постоял у дверей, послушал эту перебранку, подождал для приличия: не спросят ли, зачем пришел? Не спросили. Потихоньку присел с краю, рядом с хозяином.

— Ну, сколько тут собралось? — спросил Бандей, разгребая денежную кучу.— Боле десятки?

— Да тут рублей пятнадцать будет.

— Давай сосчитаю! — услужливо потянулся к деньгам вертлявый узкоплечий шапошник Василий Осипович Чухонин, по прозвищу Биняк.

— Не играешь и не лезь! — одернул его Бандей.— Вот — посчитай волосья у себя в ноздре.

Все засмеялись, а Биняк вдруг выпучил глаза, надул щеки, растрепал и смахнул книзу свои пшеничные усы и стал до смешного похож на Бандея.

— Мишка, давай свяжем? — в тон Бандею утробно пробухал Биняк.

— Чего? — опешил тот.

— Волосья... У тебя в ноздре, а у меня в заднице.

Все так и грохнули — кто на стол повалился, кто на лавке катался, аж затылком пол доставая.

— Ну, ладно, стучу,— сказал Бандей, перетасовал колоду и роздал карты.

— Дак сколько у тебя в банке-то? — спросил Лысый, первый картежник и вор на всю Сенную улицу, протягивая ладонь со своей картой. Он сидел рядом с Бандеем, с него и начинался новый круг.

— Рублей пятнадцать будет. А может, больше. Пересчитать, что ли? — сказал Бандей.

— Иду ва-банк. А там сосчитаем.

Все притихли. Бандей насупился, поджал губы и еще раз посмотрел свою карту.

— Давай, давай! — кривой усмешкой подбадривал его Лысый, а сам побледнел и тревожно бросал желтые рысьи глаза то на Бандея, то на колоду карт, зажатую в огромной ручище.

— Ну, на...— выдавил наконец Бандей и подал ему карту.

Лысый хлопнул по ней второй ладонью, быстро поднес карту к глазам и начал тянуть — так медленно сдвигал нижнюю карту, приоткрывая ту, неизвестную, что вся лысина его покрылась мелкими бисеринками пота. Наконец он шумно выдыхнул, отложил карты и, набычившись, сдвинув брови до красноты на лбу, задумался, весь ушел в себя.

— Ну? — сухим голосом спросил Бандей.

— Кинь еще одну,— сказал Лысый.— Открой!

Бандей выкинул короля червей.

— Ваша не пляшет,— Лысый открыл все карты и развел руками,— очко!

— А ну-ка, ну-ка! — потянулся Бандей к картам.

— Туз, шестерка, король.

— Эх, дьявол! Сверх казны взял,— крикнул кто-то удивленно.

— Ведь не положено к казне прикупать,— сказал Биняк.

— Это банкомету не положено брать, понял?— окрысился Лысый.— Ты кому подсвистываешь, суслик?

— Ну, договаривай! Кому он подсвистывает?— распалялся Бандей.— Мне, что ли?

— Нет... не тебе... Вон Нёшке на печи.

— Ты Нёшку не трогай, она не вашего поля ягода,— сказал Бандей.

— А я кто, по-твоему? Кто я?—распалялся и Лысый, подаваясь грудью на стол.

— Нехто.

— Что значит нехто?

— Да будет вам!—просипел Никифор.— Вы ж играть пришли. А кто хочет скандалить—ступай на Красную горку.

Бандей с Лысым с минуту упорно и мрачно глядели друг на друга, по-бараньи наклоняя головы.

— Нёшка, кинь семечек на стол. Вишь, петухи нацелились... поклюют и разойдутся!—крикнул Биняк, и все захохотали.

Отмякли наконец и Лысый с Бандеем.

— Сколь в банке?—спросила Орёха с печи.— Может, поллитра полагается?

Пересчитали деньги, оказалось восемнадцать рублей с лишком. Целковый отдали Орёхе. Поскольку в банке было больше пятнадцати рублей, причиталось купить взявшему банк поллитру рыковки. Таков уговор.

— У меня последняя осталась,— предупредила Орёха, отдавая Лысому водку.

Кроме водки на печи у нее стояли два ящика с конфетами, да с жамками, да еще мешок с семечками. И безмен лежал. Отвесит, сколько желаешь.

— Оставь ее!—кивнул Бандей на водку.— Пить будем после игры.

— Почему это?—спросил Лысый.

— Потому! Распоряжается проигравший... по закону.

— Как хотите.— Лысый взял карты и открыл банк.

— Дай и мне карту!—попросил Федька.

Лысый с удивлением поглядел на него, словно впервые увидел:

— Что, Маклак, кобылу отыграть хочешь?

— А ты что, пожалел нашу кобылу?—огрызнулся Федька.

— Ишь ты, дьяволенок! Веселится еще... Отец, поди, портки зубами рвет с досады...

— Не беспокойся, по миру не пойдем, у тебя милостыню не попросим.

— А ну заткнись!

— Ты чего пристал к парню? — вступился Бандей.— Какое твое дело, кому играть, а кому нет? Просят карту — давай!

— У него, поди, денег-то пятиалтынный за щекой.

— Не твое дело... Дай! — властно напирал Бандей.

У Федьки с Лысым глухая вражда. На святках этой зимой в толпе ряженых выделялась дюжая баба в цветной поньке, в нагольной шубе и при маске. Баба пела сиплым дискантом срамные частушки и приставала к девкам. Угадывая под маской по широченным плечищам мужика, ребята держались в стороне, но когда «баба» облапила Тоньку Луговую и при всем честном народе стала тискать ее и целовать, Федька не выдержал — кочетом налетел на высокую «бабу» и щелкнул ее по затылку. «Баба» рявкнула, бросив Тоньку: «Задавлю!» — и, подняв руки, по-медвежьи кинулась на Маклака. Тот юркнул «бабе» под мышку, принял на бедро эту тушу и, рванув за ноги, пустил через себя на дорогу. «Баба» так и растянулась всем хлыстом — руки вперед, мордой в снег. Слетела с нее маска, шаль, и заблестела, залоснилась на снегу розовая лысина. «Да это Лысый!» — удивленно ахнули в толпе. Тот, матерясь на чем свет стоит, вскочил, сорвал с себя шубу: «Убью ошметка!» — и бросился с кулаками на Федьку. Их разняли. А улица еще долго удивлялась: «Вот так Федька! Ай да Маклак! Эдакого кабана завалил... Видать, в деда Евсея пошел». Евсей Бородин, правда, не доводился ему дедом, а всего лишь братом Федькину деду, но кулачник он был отменный. Первый на селе. Один стенку держал.

Федька получил карту — девятку червей... И когда дошла до него очередь, протянул ее к Лысому.

— Иду на рупь.

— Деньги на кон! — сказал Лысый.

— Вот скаред лыковый, мать твою...— выругался Бандей.— Ты карту давай!

— Деньги на кон! — заупрямился Лысый.

— На! — Федька выкинул измятую трешницу.

Лысый отсчитал ему два рубля и вытянул карту. Оказалось — десятка бубен.

— Наберись! — сказал Федька и затаился, ужав голову в плечи.

Лысый открыл своего валета, кинул к нему восьмерку и еще восьмерку:

— Восемнадцать!

— Мало каши ел,— торжествующе сказал Федька.— У меня девять очей,— и кинул свои девятку с десяткой.

— Ты чего карты загнул? — придирался опять к нему Лысый.

— Ты играть будешь или каныжить? — гаркнул Бандей и так хлопнул своей пятерней по столу, что зазвенели в кону деньги и фукнула, мигнув, висячая лампа.

— Я-то играю,— сказал примирительно Лысый.— А ты гремишь как немазаная телега.

— Сдавай!

Бандей все больше и больше горячился, ходил только ва-банк, проигрывался. На кону перевалило за двадцать рублей. Лысый простучал и сдал по последнему кругу.

— Иду ва-банк,— сказал Бандей, не глядя на свою карту.

— Деньги на кон,— сказал Лысый.

— Ты что, не веришь мне?

— Не верю.

— На, мать твою в живоглота! — он вынул из бокового кармана легкого пиджака несколько скомканных бумажек и кинул их на стол.

Биняк кинулся разглаживать бумажки. Пересчитали. Оказалось двенадцать рублей.

— Даю на двенадцать,— сказал Лысый, берясь за колоду.

— А я говорю, ва-банк! — сказал Бандей.

— Где остальные?

— Отдам. Давай на слово!

— На слово просят только у баб...

— Ах вот как! Ну, ладно.

Бандей откинулся на лавке, кряхтя стащил с себя хромовые сапоги, носком протер подошвы, так что свежие шпильки заблестели.

— Во, видал? Новые сапоги... Добавляю,— и поставил их на стол рядом с деньгами.

Лысый взял сапоги, повертел в руках:

— А может быть, они у тебя прелые?

— У меня прелые? Мои сапоги! Ах ты сучий сын! Я для себя их шил. Они двадцать четыре целковых стоят.

На, возьми зубами! Попробуй, оторви подошву с носа! Оторвешь — даром отдам сапоги.

— Да я что, волк, что ли?

— То-то и оно. Ты слаб в коленках. У тебя еще и зубы-то репные. Дай сюда! — он выхватил сапоги из рук Лысого.— Ребята, кто хочет счастья попытать? Ну, берись зубами! Не бойся... Оторвешь подошву — я ж и прибью. И сапоги отдам. Знай Мишку Косоглядова.— Это настоящая фамилия Бандея.

Сапоги мягкие, новенькие... Даже при тусклом свете блестят.

Вася Соса, здоровенный детина с длинным рябым лицом, сидевший напротив Бандея, алчно раздувая ноздри, ворочая белками, уставился на сапоги.

— Вася, ты чего смотришь, как кот на сметану? — крикнула с печи Нёшка.— Возьми их на зубок. Об твои зубы-то кулак расшибешь.

Вася, довольный, осклабился, обнажая желтые лопатистые, как у мерина, зубы.

— На, пробуй! — сунул ему сапог Бандей.

Вася взял, повертел его в руках, как мосол, приноравливаясь — с какого бока укусить.

— Бери за нос. С каблука и не пробуй!

Вася разинул пасть и сунул в нее головашку.

— Мотри союзку не прокуси, крокодил! — крикнул Бандей.— Товар испортишь.

— Дак ее с торца не возьмешь, подошву-то — чисто срезана, как зализанная,— сказал Соса.

— А ты поперек ее бери!

Наконец Вася изловчился, сдавил каменную подошву своими лошадиными зубами и зашелся аж до посинения, пытаясь вырвать изо рта головашку.

— Дай-кать я за голенища потяну! — кинулся к нему Чухонин.

— Я те потяну!..— замахнулся на того Бандей.— На голенище уговору не было.

Вася выбросил сапог на стол и сказал, отдуваясь:

— Нет, выскальзывает...

— То-то. Знайте, черти, Косоглядову работу,— торжествующе сказал Бандей Лысому, протягивая карту.— Значит, ва-банк, как договорились.

Лысый дал ему карту.

Тот быстро глянул и на ту, что лежала ранее, и на эту, бросил их и поморщился:

— А ну, еще.

И опять быстро заглянул, кинул и эту карту, как горячий блин, и только рукой махнул:

— Твои сапоги.

За столом суета и гул: кто сапоги разглядывал, кто деньги считал, а кто языком работал. Заговорили, загалдели все разом.

— Лысый, с такого банка литру мало поставить.

— А я и так литру ставлю.

— Дак нет же у меня водки-то больше,— сказала Нёшка с печи.— Кончилась.

— У тебя нет — у Колчачихи найдется. Не то к Ваньке Вожаку сбегайте.

— Лучше до Козявки сбегать. У нее самогонка и огурцы соленые.

— Нёшка, дай чашку под огурцы!

— А кто пойдет за самогонкой?

— Как кто? Младший. Вот, Маклак сбегает.

— Бандей, в чем домой пойдешь?

— Чуни мои наденет,— просипел Никифор.

— Дойду и босым. Чай, ноне не Крещенье.

Маклаку сунули железную тарелку под огурцы, денег дали на самогонку. Орёха взвесила ему два фунта «Раковой шейки». Набил он полные карманы конфетами и, радостный, вприпрыжку, помотал по селу к шинкарке Козявке.

— Стой, кто идет! — ринулся кто-то к нему из-за толстой придорожной ветлы.

Федька увернулся было, но споткнулся о колесник и растянулся в дорожной пыли. Тарелка с грохотом отлетела в сторону.

— Подвинься, я лягу! — хохотнул над ним голос Чувала.

— Осел вислоносый, сыч лупоглазый! Чтоб тебе кистенем ребра пересчитали,— ругался Федька, отряхиваясь от пыли.

— А я за тобой пошел... Гляжу — Маклак сам бежит навстречу. Я за ветлу... попужать хотел.

— По зубам бы тебя, лупоглазого...

Федька поднял тарелку — она была вся в пыли:

— Ну, где ее теперь мыть? Куда идти?

— Откуда она у тебя? Зачем? — спросил Чувал.

— Орёха дала... Лысый с Бандеем за огурцами послали к Козявке... Да за самогонкой.

— Лысый? А ну-ка, дай сюда! — Чувал взял пыльную тарелку, отвернулся к ветле и помочился.

— На, чистая! — протянул он через минуту тарелку.

— Да ты что?

— А что? Лысый с Бандеем все сожрут... за милую душу.

— И то правда. Лысому поделом,— согласился Федька.

И они пошли за огурцами и самогонкой к Козявке.

3

Федька с Санькой вернулись на Красную горку, когда уж народ схлынул. Ушли принаряженные бабы с мужиками, расползлась по домам досужая, любопытная и пронырливая мелюзга, разошлись парочки по заулкам да по выгону, остались одни неугомонные — десятка два парней и девчат, для которых еще понятие «улица» больше было связано с забавами и проделками, чем с шушуканьем да любовными утехами наедине.

Девчата сидели на одной скамье, ребята поодаль на другой. Мишка Кочебанов, отыграв свое, застегнул гармонь и положил ее в фанерный футляр, похожий на скворечню. Лузгали семечки, сосали конфеты, принесенные Маклаком, перебрехивались, как говорили в Тиханове.

— Ребята, а я знаю, у кого из девчат пятки немытые,— сказал Мишка Кочебанов.

Он был головаст, кривоног и носил прозвище Буржуй.

— У кого?

— У второй с краю.

На скамье девчата завозились, и Тонька Луговая заголосила на всю улицу:

— Буржуй головастый! Ты на себя погляди. Сроду за ушами не моешь.

— А ты откуда знаешь? На ухо ему шептала, что ли?

— К щеке прижималась...

— Коленкой, да? — кричали девчата.— Он ей по шейку и то не будет.

— Она приседала... Гы-гы! — неслось от ребят.

— Обормоты! Да если Тонька захочет, вы сами все станете перед ней на четвереньки.

— А еще она ничего не захочет? Га-га...

— Срамники окаянные! — подражая бабам, кричат девчата.— Вот на это вы только и способны.

— Цыц, сороки! Ребята, айда сало из них жать.

— Только попробуйте...

Федька и Чувал подбегают к девчачьей скамейке и начинают плечом теснить, сдавливать всю эту сидячую шеренгу. Девчата цепляются за скамью, визжат, отчаянно сопротивляются. К ребятам подбегают еще на подмогу и начинают толкать враскачку.

— Раз-два, взяли! Еще взяли...

Наконец сбитые со скамейки девчата кубарем, как снопы друг на дружку, валятся наземь. Потом с криком, по-воробьиному разлетаются во все стороны.

Федька нагнал Тоньку Луговую у самого плетня Кочебановых и с лета, как коршун, накрыл руками, сцепив их в замок на ее груди. Разгоряченной ладонью он почувствовал упругую Тонькину грудь и часто задышал ей в ухо.

— А ну пусти! — рвалась она и говорила глухо.— Пусти же!..

— Тонь, пошли отсюда!.. Пошли на пруд,— прошептал он.

Она застыла в минутном оцепенении, а он ждал и слушал, как жарко и гулко стучит в висках и отдает где-то под лопатку.

— Да ну же! — неожиданно рванулась она, уходя нырком вниз из его объятий, и пошла к скамейке, оправляя на себе кофточку.

Федька вернулся на толкучку каким-то яростно веселым, вертлявым, как бес. Что-то знакомое, легкое подымалось из него, распирало грудь и давило на горло; хотелось кого-нибудь щелкнуть по затылку и засвистеть, закружиться в лихом ползунке.

— Ребята, давайте сыграем в отгадай! — предложил он.

— Давайте!

Кто-то сбегал, вытянул сухой прут из кочебановского плетня, и вот уж дюжина увесистых ребячьих кулаков зацеплялась, полезла друг за дружкой по этому пруту вверх к кончику.

— Кто нижний, становись на кон!

Водить досталось Ваньке Ковяку. Плотный, приземистый паренек с белесыми бровями и красным, как из бани, лицом повернулся ко всем спиной, заслонил глаз

ладонью, а вторую ладонь высунул из-под мышки, растопырив на плече.

— Бей!

Буржуй ударил его снизу — ладонь наотмашь, как плетью.

— Бух!

Ковяк аж покачнулся.

— Отгадай! — дюжина кулаков с поднятыми кверху большими пальцами тянулась со всех сторон к лицу Ковяка, и ближе всех, нахальнее совал свой кулак Чувал.

— Он! — указал Ковяк на Чувала.

— Га-га-га! Попал пальцем в небо... Становись.

Ковяк опять отвернулся и выставил ладонь.

— Тонь! Ну-ка, сядь на минуту,— Федька подвел Тоньку к скамейке и усадил.

— Чего такое? — спрашивала она вроде бы с возмущением, но покорно села.

— Дай туфлю на минутку!

— Зачем?

— Не бойсь, не съем...— Федька одной рукой схватил за ее тонкую, сухую лодыжку и неожиданно помедлил, ощущая прохладную и гладкую, как обкатанный речной голыш, щиколотку.

— Ты чего? — спросила она.

— Сейчас! — он другой рукой стянул ее туфлю на полувысоком каблуке и отбежал к играющим.

Ковяк очередной раз отвернулся и ждал удара.

— Чшш! — Маклак отстранил ребят и замахнулся туфлей.

Девки прыснули и захихикали.

— Да скоро ли вы там? — спросил Ковяк.

Удар подошвой о ладонь получился такой звонкий и сильный, что с Ковяка слетела кепка. Тот обернулся разъяренный:

— Чем ударили? Ну?!

Вокруг него все покатывались со смеху, а больше всех кривлялся Маклак, помахивая Тонькиной туфлей...

— Ах ты, гад! Ты ботинком бить... Душу вымотаю! — Ковяк с лета хотел ударить в ухо Маклаку, да промахнулся и, не удержавшись на ногах, упал на траву.

— Ну, вдарь еще! — смеялся над ним Маклак, помогая встать.

Ванька сунул кулаком прямо в нахально смеющееся лицо. И опять промахнулся. Ловок, как бес, этот Маклак!

Тогда Ковяк, приподнявшись, поймал подол расшитой Федькиной рубахи и так рванул, что с треском швы на плечах разъехались.

— За что ж ты рубаху рвешь, гаврик?—завопил Маклак.

И в это время напротив, в избе бабы Насти Гредной, щелкнула задвижка волокового окна.

— Тихо, Телефон слушает!—цыкнул Чувал.

И все замерли, глядя на ту сторону улицы. В потемках в черном проеме окошка смутно серел, как бельмо на глазу, ситцевый плат бабы Насти. Настасья Гредная—баба вредная, говорили про нее на селе. И носила она новейшее прозвище «Телефон». Ни одна сельская новость не проходила мимо нее, перехватит, раздует, хвост привяжет и пустит по селу, как собаку на пяти ногах. Не гляди, что кривая, а видит сквозь землю. Высунет голову из своего волокового окошка да еще очко приставит к единственному глазу: «А? Чего там народ собрамшись?» Вот и притихли ребята, испугались, что завтра же обязательно по селу всем будет известно, кто с кем подрался да кто кого за ногу хватал...

— Погоди, счас я ее удоволю...—сказал Чувал и нырнул в перебежке к тому порядку улицы.

Он прокрался к ее соседу Корнею Климакову, снял потихоньку подтяжок с телеги, зашел с переулка к избе Гредной и как ахнет дубовым подтяжком в простенок, аж в окнах треныкнуло.

Баба Настя мигом скрылась, как сдуло ее, а из дому глухо, как из колодца, донесся голос Степана:

— Да что это за фулюганство! Иль топор брать, или в милицию итить. Иного выхода нет. Это не житье, а мученье.

— Ах ты, мерин саврасый!—возмущался прибежавший Чувал, тяжело дыша и ругаясь:—Выходит, мы ж и виноваты... Ну, погоди... Ребята, подь сюда!

Он отвел нескольких парней в сторону и, пригибаясь, полушепотом затараторил:

— Гли-ка, на заборе у них сохнут Степановы портки. Гредная их постирала. У Степана всего одни портки. Уж я знаю точно. Дак вот, когда Гредная их стирает, он спит, завернувшись в свиту. Я чего придумал? Давай Степановы портки затолкаем к ним в печную трубу. Утром проснутся—вот будет потеха.

С улицы разошлись поздно, уже на рассвете, когда

третьи петухи прокричали. Чувал с Маклаком подошли к избе Гредной, послушали, прислонившись ухом к стене. Тишина. Для безопасности заложили дверь на накладку, чтоб Степан на крыше их не застал. Маклак по углу залез на соломенную крышу. Чувал подал ему на шесте мокрые портки; тот этим же шестом и затолкал их в трубу. Вернулись в ночное довольные и веселые, хотя на Маклаке и была порвана рубаха. Спрячет, как-нибудь выкрутится.

Максим Селькин лежал у костра, приподняв свою гривастую голову. Остальные все спали вповалку.

— Ах, подсоски! — крикнул Чувал.— Мы им конфет принесли, а они спать? На баран их! Маклак, давай оброти! Вяжи их за ноги... Сейчас всех по росе перетаскаю.

— Не трогай их, робятки! — сказал Селькин.— У нас тут напересменку все налажено. Сперва я поспал, потом они... Таперика я за них караулю.

Федька выложил на ватолу конфеты.

— Ну, тогда и конфеты ешь за них,— сказал Чувал.

— У меня, робятки, зубов нету,— он прошамкал губами, потом с надеждой поглядел на пришедших.— А шкалик не прихватили для меня?

Чувал с Маклаком переглянулись.

— Мы взяли было шкалик,— сказал Чувал,— да на нас в Волчьем бандиты напали. Я этим шкаликом четверых уложил, а вон на Федьке рубаху изорвали.

— То-то я гляжу — рубаху попортили. Мотри, Федька, отец узнает, прибьет. Ох, робятки! Фулюганы вы все, фулюганы... Проголодались, поди? Вон картошка печеная. Поешьте.

Чувал с Маклаком набросились на картошку, а Селькин, оправляя костер, мечтательно сказал:

— Сон я видал чудной, робятки...

— Поди, со святыми угодниками водку пил,— прыснул Чувал.

— Не... Военный сон-то. Будто к нашему Тиханову немец подступил... Под самый овраг. И весь наш народ высыпал на Красную горку. Такая сила народу — пушкой не пробьешь. И все вооруженные: кто с вилами, кто с косой, кто с чем. И будто бы меня назначили главным полковником. Я беру кол и сажусь на Чалого. Ну, обращаюсь к народу, зовите попов! Пусть выносят иконы и херугвы... Пойдем супостата бить.

Вдруг с того конца лощины от низкой впадины, заслоненной чахлым кустарником, раздалось заливистое утробное ржание. Ребята вздрогнули, подняли головы:

— Чья это такая горластая, холера ей в бок! — выругался Федька.

— Это, робятки, мой Чалый. Это его голосок,— ласково сказал Селькин.

— Да он вроде бы немой у тебя,— сказал Чувал.

— Он зря не кричит... Когда наистся, тогда и голос подает. Стало быть, пора по домам. Будите робят.

— Постой, дядь Максим, а как же сон? — спросил Федька.— Немца-то отогнали от Тиханова?

— Отогнали.

— И далеко?

— Ажно до брёховского леса. Там пускай брёховские стараются.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Зиновий Тимофеевич Кадыков, председатель тихановской артели, неизвестно по каким делам был вызван в РИК. Исполком помещался на первом этаже огромного дома купца Каманина. Кадыков не бывал в этом доме более десяти лет. Когда-то, еще до революции, он был взят мальчиком в каманинские магазины, стоявшие рядом с этим домом.

Поначалу, в восемнадцатом году, и дом и магазины были конфискованы. Но так как в Тиханове в те поры даже волости не было, то занять такие помещения было нечем. Магазины снова сдали частникам в аренду, а дом незаметно перешел опять во владение семьи Каманиных. Константин Илларионович, сын купца, служил доктором в волостной больнице и был человеком уважаемым.

И магазины и дом возвышались над Тихановым, как дубы над мелколесьем. Дом, построенный земством в девяностых годах прошлого века, стоял под зеленой крышей, с ажурными железными коронами над печными трубами, с широким резным карнизом, с развернутыми во всю ошелеванную стену наличниками, похожими на диковинную кружевную вязь. А низ был кирпичный, с четкими рустами, с высоким цоколем, разделанным под шубу... Внизу, внутри дома, стены были обшиты мореным

дубом, а печи из белоснежного крупного кафеля... На втором этаже Кадыков никогда не бывал. Говорили, что полы там застланы паркетом. Мальчиков туда не пускали. Их место было в магазине да на складах на втором этаже над магазинами в широких и просторных помещениях, похожих на железнодорожные пакгаузы. Три магазина размещались в одном здании и помостом были обнесены, высоким, многоступенчатым, как паперть в церкви. Какая сила народу стекалась сюда в базарные дни... Теперь наверху, где были склады, разместилась милиция, а из трех магазинов работал только один — промкооперация, а два других, сданных лавочникам Волгореву и Зайцеву, были еще зимой закрыты.

Странные дела произошли за этот год, думал Кадыков. Иван Зайцев, наживший на торговле в Тиханове за тридцать лет целое состояние, закрыл оба своих магазина, продал двухэтажный дом под райзо и укатил куда-то в Казань. Волгорев тоже закрыл магазин и уехал в Нижний... Даже дом свой оставил на произвол судьбы. И Константин Илларионович Каманин почти даром отдал свой дом райисполкому. Правда, взамен ему привезли новый сруб из кондового леса пятистенного дома о двенадцати окнах. Константин Илларионович просил поставить новый дом рядом со старым или хотя бы напротив. Но ему не разрешили... Рядом нельзя, потому как РИК, да еще райком... А напротив площадь решили оставить чистой для демонстраций. Тогда Каманин уволился из больницы, забрал свою семью — жену с детьми, мать старую, вдовую сестру — и уехал в Касимов. А в каманинском доме второй месяц, как разместились главные учреждения вновь созданного района. И неожиданно Тиханово выделилось на всю округу, и потускнела перед ним слава бывшего волостного села Желудевки.

Да и так, само по себе изменилось село, поотстроилось за каких-нибудь последних семь-восемь лет — прямо не узнать. На месте осиновых да березовых потемневших от времени изб с соломенными крышами, придавленными корявыми дубовыми приметинами, появились красные кирпичные дома с высокими цоколями из белого тесаного камня; вместо земляных да глинобитных подвалов выросли кладовые с железными крышами; улицы камнем замостили, мосты перекинули через овраги. Вот они что делают, государственные кредиты, да кооперация, да вольные промыслы, артели, торговля... Купцы разоряют-

ся, а кооперация стоит. Ну да и то сказать — налоги подсекают под самый корень купеческие доходы. Зато мужикам воля,— стройся, ребята, работай, торгуй на всю катушку. Артель сколотили — все льготы ваши. И всякая поддержка тебе и от властей, и от банка, и от торговых заведений. Что значит кооперация... Милое дело.

Кадыков шел в райисполком в самом добром расположении духа. Зиновий Тимофеевич приятно удивился оттого, что в прихожей увидел старый каманинский ковер, плетеный в красную с желтым шашку, с длинными суровыми кистями по контуру. И диван стоял старый, тот самый, обшитый кожей, когда-то черной, но промызганной на сиденье до рыжины. А зеркала, высокого и узкого, в темной дубовой раме, стоявшего в углу возле вешалки, теперь не было. На диване сидела сторожиха — грузная Гликерия Борзунова, по прозвищу Банчиха, и вязала черный шерстяной чулок.

— Здравствуйте! — сказал Зиновий Тимофеевич, сам удивляясь — откуда вырвалось это вежливое словцо? Чтоб Гликерию величать, да еще на «вы»?

— Тебе куда? — спросила она, не отрываясь от чулка.

— В РИК вызывали.

— Обожди. Я счас...— Она сколола спицею вязку с клубком ниток и вышла.

— Ничего себе порядок,— усмехнулся Кадыков.

Он вспомнил, как здесь вот, на этом диване, сидели приказчики, поджидая дозволения от самого — пройти наверх, на доклад. Приглашала их Липа, тоненькая, беленькая горничная, носившая черные платья с высоким белым воротником. В нее влюбился младший сын Каманина, Костя, тогдашний студент Харьковского университета. В ногах у отца валялся, разрешения просил жениться. Но отец наотрез отказал. Тогда Костя ночью запряг рысака, посадил Липу и укатил в Пугасово. А оттуда — в Москву поездом. Год прожил с Липой, ребенка нажил и снова умолял отца... Не тут-то было. Тогда Костя подписал ей три векселя из своего наследного пая. Она приехала и вырвала у старика деньги. А Костя привез в жены из Харькова купеческую дочь — толстую необразованную хохлушку. Она конюха Ефима называла Юхвимом. И все приказчики смеялись.

Вошла Банчиха:

— Ступай! Тебя там Возвышаев ждет.

— А где он сидит?

— Тую комнату пройдешь... В ней, значит, управдел Митька Ботик. А дальше будет самого комната.

Возвышаев, председатель РИКа, встретил Кадыкова любезно — за руку поздоровался, в кожаное кресло усадил. Сам он сидел за обширным дубовым двухтумбовым столом, украшенным всякими резными мордами да фигурными наплывами. Они были хорошо знакомы еще по желудевскому волкому, а с открытием района в этой организационной суматохе встречались редко; всего дважды выступал у них в Тиханове Возвышаев — на пленуме сельсовета да на сельском сходе в трактире. Да еще в клубе виделись на районных совещаниях.

Возвышаев — мужчина осанистый, рослый, в защитного цвета френче с нашивными карманами, перехваченном широким командирским ремнем, в черных галифе, в шевровых сапогах бульдо с наколенниками, на высоких каблуках, начищенных до масленого блеска. И волосы у него блестят, припомажены, прилизаны, расчесаны так, что загогулиной на лоб приспущены. Лишь один плевый недостаток налицо — левый глаз немножечко, но все же косит.

— Рассказывай, Зиновий Тимофеевич, как дела в артели? — председатель откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.

— Чего про них рассказывать... Дела — они и есть дела. Их словами не меряют.

— Ну, это смотря по тому, какие слова. Есть слова поважнее любого дела.

— Что это за слова? — Кадыков сделал ударение в конце фразы по-пантюхински, чуть растягивая концевую гласную. Они, мол, подвывают, как смеялись в Тиханове над пантюхинскими.

— А те самые, которые определяют в политике линию главного направления.

— Да разве я против линии главного направления? — Кадыков вскинул острый подбородок, и его карие татарские глаза удивленно округлились.

— Не об этом речь... Ты скажи сперва — какая линия главного направления в текущий период для деревни? — Возвышаев правым глазом смотрел в упор на Кадыкова, а левым — куда-то в угол.

Кадыков невольно поглядел тоже туда, в угол; там стояла кафельная печь с начищенным бронзовым отдушником.

— Ну, какая линия? — Известно — строительство новой социалистической деревни,— уверенно ответил Кадыков.

— Попал пальцем в небо... Это задача во всемирном масштабе, понял? А в текущий период главная линия — ликвидация кулачества, как класса.

— Ну это само собой!

— Вот и расскажи, чем вы занимаетесь в артели?

— Как чем? Сейчас кирпич бьем, потому как самое время: яровые посеяли, лошади на лугах, навоз будем возить после Троицы... Сто тысяч уже обожгли... Думаем, до покоса еще тысяч сто отгрохать... А бригада каменщиков дома кладет. Капке заложили, а Косте Бердину заканчиваем. Под крышу подвели. Дальше нас не касается. Мы только кладем стены. По четыреста рублей за дом.

— Ты мне тут свой прейскурант не выкладывай. Меня не интересует, почем ты кирпич продаешь и за сколько дома кладешь. Я тебя вызвал, чтобы поговорить о классовом подходе. Все зажиточные элементы мы берем на строгий учет. И что же мы видим? Некоторые из этих элементов укрываются у тебя в артели. Персонально — Успенский и Алдонин.

— Какие же они элементы? — Кадыков вскинул опять подбородок.— Успенский счетоводом работает, подряды снимает, Алдонин на обжиге. Без него и печи не кладут, и чёлы не распечатают. Он лучшую хрущёвку выдает.

— Это что еще за хрущёвка?

— Известь комковая, негашеная... Первый сорт! Когда распускается — курицу в ней сварить можно. Однажды повезли мы ее в Свистуново на телегах, а брезента не взяли. Погода ясная. Вот тебе, до Прудков не доехали — облак налетел и хлынул дождь. Как она защелкает, задымит... Лошадей не видать. Скорей давай распрягать... Еле спасли лошадей. А телеги пожгли.

— Ты чего мне дым в глаза пускаешь? Тебе про Ивана, а ты про болвана. Я говорю — пригрелись у тебя кулаки. Давай вывод.

— Как пригрелись? Дак Успенский с Алдониным артель создавали.

— Во-во, еще интереснее! С какой же целью они ее создавали? С целью личного обогащения и маскировки. Понял? А сам ты страдаешь правым уклоном.

— Какой уклон?.. Что я, хромой, что ли?

— Бдительность у вас захромала.

— У нас все строго... на паях. Сам Успенский учет ведет. Какая ж здесь маскировка?

— Ничего ты не понял. Хорошо, давай подойдем с другого конца. Кто такой Успенский? Социальное происхождение?!

— Сын попа.

— О! Человек религиозного культа...

— Он же офицером был... Потом командиром в гражданскую... Военным столом волостным заведовал. Я еще козырял ему, когда со службы пришел.

— Вы ему и теперь козыряете. Нашли начальника... Бывший командир! Вот именно — бывший. Живет на широкую ногу в поповском доме... Рассматривать Успенского как скрытый элемент. От должности в артели освободить. Понял?

Кадыков помедлил и сказал:

— Понял. А как с Алдониным?

— Алдонин... Алдонин пусть пока работает, поскольку в руководстве участия не принимает. Но учтите — никаких поблажек.

— Он же с броненосца — не то «Потемкин», не то «Марат». У него лента за революционные заслуги есть.

— Лента в сундуке лежит, а на дворе у него молотильная машина.

— Инвентарь у нас не обобщен. Что ж такого?

— А то самое... Перерожденец он. В кулаки метит.

— На его машине всем артельщикам хлеб молотят. Что ж тут плохого?

— Плохо то, что ваша артель не форпост социализма в деревне, а скорее наоборот — арьергард! То есть вы плететесь в хвосте колхозного движения. Хвостизм! Вот возьми брошюру товарища Митрофанова.— Возвышаев достал из ящика письменного стола небольшую книжицу в бумажном переплете и подал Кадыкову: — Во, «Колхозное движение». Здесь все написано. Хотя данный автор хромает на правую ногу. Учти это. Читай и готовься к обобществлению всего имущества.

— В нашей артели это не пройдет — тяжелый народ.

— Там посмотрим. А Успенского надо уволить.

Возвышаев встал из-за стола, пожал Кадыкову руку и проводил его до двери.

2

Ничего себе гребля с пляской получилась, думал Зиновий Тимофеевич. Легко сказать — уволить Успенского... А с кредитами кто будет заниматься? Кто сведет счеты в магазине? Кто подряд вести будет? Кто заработок выдаст? На Успенском вся артель держится. Ну, что он, Кадыков? Только считается председателем... А так — вместе с мужиками бьет кирпич, стены кладет да за прилавком стоит...

В артели был свой магазин: торговали скобяными товарами да хомутами, дегтем. Товары давало государство в кредит из расчета десяти процентов годовых. Прибыльная торговля! Магазин их стоял возле Капкина пруда на краю базарной площади. Там, при магазине, и конторка их была, где вел дела Успенский.

Шел туда Кадыков и думал: кой леший толкнул его, человека из Пантюхина, связаться с тихановской артелью. Село торговое, народ здесь избалованный, хитрый... Эх, голова два уха! Сидел он преспокойно в милиции, тушил пожары да воров гонял... Дело нехитрое, а главное — все зависит от твоей ловкости да сообразительности. Увидел белый дым — значит, солома горит, а если дым черный — жилье. Бей в набат, собирай народ, кого с бочкой, кого с ломом или топором, лопатой. И командуй. Чего уж лучше! Так на́ тебе, скрутили его, обротали и в артель сунули. А он, дурак, еще и согласился... «Передний край социализма!..» Вот уйдет Успенский — и закукарекаешь на этом краю-то...

Мода на артели появилась в Тиханове года три-четыре назад после роспуска Скобликовской коммуны. Коммуну заложили еще в девятнадцатом году в имении помещика Скобликова. Помещика выселили из большого дома в пятистенный флигель, оставили ему пару лошадей, сбрую для них, двухлемешный плуг и прочий инвентарь на единоличное хозяйство, а в большом доме расселились коммунары, приехавшие с железной дороги не то из Потьмы, не то из Моршанска... да еще несколько касимовских речников с потопленных пароходов. Коммуну заложили с размахом: объединить всех тихановских мелких производителей под красное знамя общего труда. И название придумали коммуне подходящее: «Заря новой жизни». И по широкому карнизу помещичьего дома

натянули красный лозунг: «Да здравствует всеобщее счастье!»

Но тихановские мужики не торопились строиться в одну колонну с коммунарами и идти в поход ко всеобщему счастью. Местный острослов из Выселок Федот Иванович Клюев пустил по народу едкую присказку: «У них, в коммуне, порядок такой: кому на, кому нет». И за четыре года в коммуну вступили всего три человека: два тихановских кузнеца, Ларион Лудило да Левон Лепило, да еще молотобоец Серган с Выселок. Лудиле и Лепиле положили жалование от коммуны, в поле они не ходили — стучали молотками в своих кузнях, плуги да бороны чинили коммунарские, да еще подрабатывали на заказах со стороны. Чего ж им не жить? А Серган, кроме права стучать молотом по наковальне, получил еще постель с чистым бельем в барском доме. Ему, бобылю из древней избенки, жизнь на готовых харчах да еще сон в тепле — показались земным раем. Но рай для Сергана оказался недолговечным: начался нэп. Коммунары поразъехались: кто подался опять на железную дорогу, кто на речные затоны, а кто двинулся в Растяпин на строительство новых заводов. В помещичьем доме открыли волостную больницу.

Скобликова на этот раз переселили на конец Выселок — дом ему построили всем миром — пятистенный, с открытой террасой, с бревенчатым подворьем. «Не обессудь, Михаил Николав... Живи на здоровье». А бедный Серган ушел опять в свою слепую двухоконную избушку.

Вот от Скобликова да Сергана и пошли по Тиханову артельные замашки. Первым сколотил артель Скобликов; он вывез из поместья токарный станок — сам был хорошим токарем и с братьями-колесниками Клюевыми организовал первую тележную артель. Получили кредиты, железо, наряды на гнутье ободьев в госфондовских дубках под Брёховом. Куда с добром! Веселое время наступило. За Скобликовым сколотили артели братья Костылины, тимофеевские ведерники. И эти получили кредит, железо... и даже лавку свою открыли — скобяными товарами торговали. Братья Амвросимовы создали настоящий кирпичный завод под Выселками — две печи обжига на полтораста тысяч штук в год, пять сараев для выкладки сырца, глиномялку привезли из Москвы да известняк обжигали — выдавали первосортную

комковую хрущёвку. Работали почти круглый год — четыре брата с сынами: двухэтажные дома построили, дворы кирпичные под жестью... Мечтали кирпичной стеной обнести Выселки, как крепость... отгородиться от Тиханова. А тихановские тоже не дремали: молодые вальщики Андрей Колокольцев, по прозвищу Ельтого, да Иван Бородин вместе с молотобойцем Серганом пришли к Прокопу Алдонину, бывшему бакинскому слесарю:

— Ты воевал за коммунию?

— Воевал.

— Создавай артель.

— На какие шиши?

— А вот на какие... Мы вступили в потребкооператив. Получили две десятины на кирпичном. Пять ям отрыли. Глину бьем, аж лапти трещат. Три сарая заложили. И бревна и хворост привезли. Подключайся! Под печи обжига получим вексель. Вон, Амвросимовым, так тем дали деньги. Они даже в кооператив не вступали. А мы что, рыжие?

Прокоп Алдонин землю делил в восемнадцатом году. Его знали, ему верили. Он и деньги получил, и печи построил, и молотилку купил. А когда в артели перевалило за двадцать семей, пришел Успенский, бывший начальник волостного военного стола. Этот и бригаду каменщиков сколотил, и торговый оборот наладил.

Успенский сидел на табуретке посреди артельного магазина, а перед ним, прямо на крашеном прилавке, свесив сапожища, расселись двое мужиков: Федор Звонцов, подрядчик из Гордеева, да Иван Костылин, тимофеевский ведерник; курили, судачили насчет скорой Троицы. В Тиханове на Троицу и Духов день лошадей кропили, и по этому случаю устраивались скачки. У Звонцова и Костылина были рысаки, вот они и прикидывали: а не ударить ли по рукам? Не выехать ли в качалках на прогон, где обгонялись верховые? Дмитрий Иванович Успенский, пощипывая свою бородку клинышком — рыковскую, как говаривали в Тиханове, подзадоривал их:

— В базарный день Квашнин ко мне заезжал. Говорит, я бы выехал на прогон, да Костылин уклоняется. А я бы с ним, мол, потягался...

— Он уж тягался со мной однова,— Костылин лысый, с венчиком рыжих жиденьких волос, а усы густые, короткие, щеточкой. И нос навис сверху, давит на усы.— От

Тиханова до Любашина по большаку стебали. Я от него на два столба ушел.

— Ну и что? — не унимался Успенский и подмигивал подрядчику.— Сколько он тебе проиграл в тот раз?

— Я ставил тарантас, а он быка-полутора.

— Дак он того жеребца продал.

— С горя...

— Так теперь у него объездчик, Васька Сноп. И тот говорит: уклоняется Костылин, боится проиграть.

— Я-то хоть сейчас. Ты видел у него нового жеребца? — спросил Костылин у подрядчика.

— Орловский караковый,— отозвался тот, блеснув зубами из черной окладистой бороды.— По-моему, со сбоем.

— Ххе! — выдохнул радостно Костылин.— Орловский, да еще со сбоем... Куда ему супроть моего Русака?

— А я слыхал от Андрея Акимовича, что Квашнин на Рязанских бегах приз взял,— сказал Успенский.

— У Андрея Акимовича жеребец тоже со сбоем,— сказал подрядчик.

— Боб со сбоем?! — удивился Успенский.

— Ну, Боб...

— Он же на масленицу на целый корпус обошел твоего Маяка!

— У меня в простой сбруе был. Чересседельник ослаб...— гудел широкогрудый подрядчик.— Хомут на мослаки давил... Хлопал, что твои пехтели...

На вошедшего Кадыкова не обратили внимания Тот по-хозяйски прошел в контору и бросил на ходу:

— Дмитрий Иванович, зайди на минуту.

— Сейчас. Ну, вешать колокол на прогоне? Сбивать трибуну?

— Да я что, как другие...— отозвался Костылин.

— Андрей Акимыч приедет? — спросил подрядчик.

— И Андрей Акимыч, и Квашнин приедут.

— А из Высокого?

— Все приедут.

— А Черный Барин?

— Приедет.

— Тогда и мы приедем,— сказал подрядчик.

Успенский встал:

— Ну, по рукам!

Они хлопнули друг друга ладонями.

— И трибуну и колокол я беру на себя. О призах договоримся потом. Пока!

— Ну и потеху устроим на Духов день,— говорил возбужденно Успенский, входя в конторку.— Квашнина я еще на той неделе раздухарил. Он спит и видит себя первым. Отыграться перед Костылиным хочет. Ваську Снопа нанял. Тот говорит — я те поставлю жеребца на ноги. Я те, говорит, так выезжу, что строчить будет, как машина «Зингер». Гони, говорит, литру самогонки в день. Проиграет Квашнин свой хутор. Потеха!

— Погоди тешиться,— хмуро сказал Кадыков.— Сейчас я лавку закрою... Поговорить надо без свидетелей.

— А что случилось?

— С репой поехали...

Кадыков с лязгом закрыл изнутри железную кованую дверь на длинный крюк, толкнул сквозь растворенную форточку такую же тяжелую железную створку окна; она со скрежетом поехала наотмашь и глухо стукнулась о кирпичную стену. Окно было маленькое, под железной решеткой, стена толстая... Солнечный свет падал вкось и освещал только оконный откос. В лавке стало сумрачно.

— Что за конспирация? — усмехнулся Успенский, ходивший по пятам за Кадыковым.

Тот не ответил, сел за стол, закурил цигарку.

— Ты знаешь, что я подумал? — не унимался Успенский.— Из нашей лавки может получиться неплохая каталажка.

— Сколько тебе лет, Дмитрий Иванович? — спросил неожиданно Кадыков.

— Тридцать третий миновал. А что?

В черной сатиновой косоворотке, ладно облегавшей его статную сухую фигуру, перехваченный узким ремешком, в хромовых сапожках, подвижный и легкий, он выглядел бесшабашным парнем-гулякой, и даже светлая кудрявая бородка не старила его.

— Во! За тридцать перевалило, а ты все бегаешь на скачки, на бега... Холостой вон... Не по возрасту.

— Зиновий Тимофеевич, да ты, никак, мне нравоучение задумал прочитать? Вот не ожидал! Тебе самому-то сколько? Поди, не старше меня.

— Младше на пять лет. Не в том дело.

— Эге! Видишь, молод еще, молод наставления мне читать. Впрочем, я помню тебя еще мальчиком, в магазине у Каманиных. В войну, кажется... Я на побывку приезжал, студентом.

— И я тебя студентом помню. А как ты в офицеры попал?

— Ушел вольнопёром на фронт. Получил прапорщика, потом подпоручиком стал... Накануне последней революции. Да ты чего допрашиваешь? Что у тебя за дело?

Кадыков пыхнул дымом и, глядя в окошко, сказал отрешенно:

— Возвышаев меня вызывал.

— Возвышаев! Как же-с, знаю. В одном департаменте служили, в Желудевской волости. Я начальником военного стола, а он секретарем. По-старому говоря, писарем. Красивый почерк имеет. И сам аккуратный... Скоромного не пьет,— Успенский нервно усмехнулся.— И что же он соизволил сказать? Артель ему наша не нравится?

Кадыков сидел за столом на табуретке, а Успенский напротив на скамье, опираясь о стенку.

— Да ты чего в окно смотришь? А то и я начну в окно глядеть.

Кадыков мельком взглянул на него и выдавил:

— Уволить тебя приказал...

Успенский присвистнул:

— Причины?

— Социальное происхождение. Говорит, сын религиозного культа.

— Ага! А ты не сказал ему, случаем, что Добролюбов и Чернышевский тоже были из поповичей? И академик Павлов семинарию кончал...

Кадыков молча курил и глядел теперь в пол себе под ноги.

Успенский вдруг хлопнул себя рукой по лбу:

— Постой! А ты читал книжку Тодорского «Год — с винтовкой и плугом»?

— Нет, не читал.

— Между прочим, этот Тодорский тоже бывший офицер и сын попа. А ведь его Ленин часто цитировал, даже говорил, что беспартийный Тодорский лучше понимает смысл построения социализма, чем некоторые коммунисты. И особенно Ленин высоко оценил главу из этой книги насчет построения на кооперативных началах хромового завода и лесопилки с привлечением в дело бывших промышленников.

— Ну, ну? — поднял голову Кадыков.

— Там есть одно место, я прочту его тебе по памяти.

Ленин его цитировал. А написано там примерно вот что: это еще, мол, полдела — ударить эксплуататоров по рукам, доконать их. Главное — надо привлечь их в дело, заставить работать этих специалистов, помочь их же руками улучшить новую жизнь и укрепить Советское государство... Вот в чем гвоздь! Вот поэтому Ленин и говорит, что некоторые неразумные партийцы не токмо что старым специалистам, матери родной не доверяют строить социализм.

— Дак на то он и Ленин,— сказал Кадыков.— А вот придет к нам на чистку госаппарата Возвышаев, вычистит тебя с треском и на ту книжку не поглядит. И попробуй устройся тогда на работу. Тебе же лучше будет, ежели ты теперь сам уйдешь.

— Н-да, пожалуй, ты прав.— Успенский встал, прошелся по каморке.— Ну что ж, брат Зиновий. Пора и честь знать... Засиделся я тут у вас в счетоводах.

— Какой ты счетовод? Ты — председатель. Все дело на тебе. А я так, для видимости. Ты уйдешь — и артель развалится. И удержать тебя мы не в силах.

— Хороший ты мужик, Зиновий... Честный, а вот не понимаешь текущего момента, как сказал бы Возвышаев: руководящая основа должна быть чиста от чуждых элементов. А я и есть чуждый элемент.

— Чего?

— Изгой. Понял? Раньше, еще до крепостного права, был такой термин на Руси. Изгой! Ну, вроде безземельного крестьянина.

— Почему ж? У тебя есть земля. Надел имеешь по всем правилам.

— По всем правилам, говоришь? А по какому правилу уволили меня из волости? Я два года провоевал в гражданскую... Ротой командовал.

— Об чем разговор? Разве тебя кто винит?

— Вот именно. Кто меня винит? Ни-икто.— Успенский нервно хохотнул.— Меня всего лишь не допускают в руководящий сектор. Мне отводится так называемая среда обслуживания. Всяк сверчок знай свой шесток.— Он сел на скамью и запрокинул голову к стене.

Помолчали.

— Куда ж ты теперь пойдешь?— нетерпеливо спросил Кадыков.

— Не знаю, брат Зиновий... Признаться, мне и самому надоело возиться с землей, да с кирпичами, да с

подрядами. Все ж таки я в университете учился... Правда, не кончил — война помешала...

— Вон, в Степанове новую школу открывают... Второй ступени. Учителя, говорят, нужны...

— Тоже дело... Одно жаль — с Тихановом расставаться. На крючок я сел.

— Что за крюк?

— Есть, брат Зиновий, такая штука — потрогать ее не потрогаешь, а чуешь инда печенками...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Дмитрий Иванович Успенский был известен в Тиханове как человек необыкновенный, то есть чудак. Жил он бобылем, по деревенскому понятию тридцатилетний человек — не холостяк, а уже бобыль. Жил он весело, шумно, как говорится, на широкую ногу: играл в карты, пил в трактирах, принимал гостей.

А чего ему не пить? Жалованье от артели он получал хорошее, дом оставил отец просторный — на высоком фундаменте, из красного лесу, под железной крышей и стоял на краю села: удобно! Лишний кто заглянет — никто не увидит. И добра оставил отец полную кладовую, да еще двух коров симментальской породы, да серого мерина-битюга, хоть сто пудов клади — увезет. Эх, такое хозяйство да в хорошие бы руки! А этот и коров и мерина держал в людях на прокорме. Правда, деньги кой-какие шли ему, да все не впрок. И до нарядов был он не охоч, больше все простые рубашки носил да толстовки. Но сапоги любил. Этих был у него целый набор, по любой погоде: и тяжелые бахилы, что твои корабли, в любую грязь плыви — не потонешь, и хромовые посуху, и даже мягкие кавказские сапожки из желтого шевро, как шелковые, хоть в карман клади. Да ружья любил, да собак. Люди снисходительно извиняли его, говоря:

— А что ж вы хотите? У него корень сырой. Яблоко от яблони недалеко падает.

Намекали при этом на покойного отца, батюшку Ивана.

Тот по большим праздникам не только что за день, за два дня не мог села обойти. Начнет обход честь честью:

дьякона прихватит, псаломщика, богоносцев... А кончит в одиночестве, где-нибудь за гостевым столом, заснув на собственном локте.

— Питие есть грех первородный,— говорил, опамятовшись.— Еще князь Володимир сказал: издревле на Руси веселие — пити, не можем без этого жити. А он — наш первокреститель.

Так, бывало, и ходит по приходу: где нарукавники позабудет, где камилавку[1] потеряет. Отцу Ивану такой грех прощался, ибо его дело обрядное, а где торжество, там и веселье. Не поп за службой, а служба за попом ходит. Стало быть, проспится — свое наверстает. Попово от попа не уйдет.

А Дмитрий Иванович не поп. Ему откуда притечет? Ему самому взять надо, а у него руки худые. Тридцать лет, а рассудка нет — все светом дурит. Гляди, на старости лет и все отцово добро просвищет. Вот почему девицы самостоятельные из богатых семей не больно и пошли бы за него, а которых ветер гоняет, он и сам не возьмет. Так вот и жил бобылем. Жил припеваючи, пока не появилась в Тиханове Обухова Маша.

Он и раньше знавал ее, когда она работала в Гордеевской школе учительницей. Года три назад, будучи еще волостным военкомом, он заехал в лесную деревню Климушу, к своему приятелю Бабосову, тоже учителю. Время было осеннее, дождливое... Выпили... Куда идти?

— Пошли в Гордеево к Настасье Павловне Кашириной! У нее две учительницы квартируют.— Бабосов взял гитару на розовой ленте, через плечо надел, как двустволку: — Потопали!

Каширина жила на отлете от Гордеева, возле самой речки Петравки. Дом у нее большой, с открытой верандой на реку, вокруг сад фруктовый с липовой аллеей, с акациями, с пчельником. Поместье! Каширина держала раньше паточный завод на Петравке. Завод отобрали у нее еще в восемнадцатом году, а дом и сад оставили. Вроде бы сын у нее был, и занимал он большой пост где-то в Москве.

Успенский запомнил с того налета широкие крашеные половицы, жарко натопленную изразцовую печь, возле которой стоял граммофон с большой зеленой трубой и книги в шкафах. Книги... Многотомный Чехов в вишне-

[1] Камилавка — шапочка священника.

вом переплете, Писемский, Григорович, весь «Круг чтения» Толстого и целыми кипами «Нива» — за все годы и месяцы. Хозяйка статная, благообразная, в золотом пенсне, белый шерстяной плат на плечах, белые волосы... Вся точно простирана, точно только из-за аптечного прилавка появилась. Девицы принарядились, вышли в залу, как на праздник: меньшая ростом Варя Голопятова в синем платье с зелеными оборками по подолу, в высоких, почти до колена, часто шнурованных ботинках-румынках, такая кругленькая, пухленькая, обрадовалась Бабосову, защебетала:

— Коля, Коля, сходим в поле, поглядим, какая рожь!

— Поглядим,— говорил Бабосов.— Вот погоди, стемнеет — тогда посмотрим, где чего созрело.

А она раскраснелась, глаза блестят, от щечек огоньком пышет, хоть прикуривай.

Обухова держалась строго, деловито, подала сухую крепкую руку, представилась коротко:

— Маруся.

Успенского поразила ее яркая, какая-то необычная, неправильная красота: лицо удлиненное, бледное, с выдающимся подбородком и чуть впалыми щеками, нос прямой, длинный, со степными ноздрями, а глаза, как прорези на маске,— темные, глубокие под напуском припухлых век. От этого лица веяло силой и открытой самоуверенностью. Когда она заводила граммофон, свет, падавший вкось от зеленого абажура, пронизал ее легкое розовое платье, и на какое-то мгновение она показалась ему совершенно обнаженной: и полные крепкие плечи, и перехваченная поясом узкая талия, и мощные длинные ноги... У него аж в глазах потемнело. Танцевала она долго, неутомимо, и всегда ее правое плечо зарывалось, уходило вбок, точно в воду скользило, увлекая его за собой: так, вальсируя, они непременно оказывались в каком-либо углу.

— Ну, что же вы? — говорила она с досадой.— Или круг вам тесен?

— Не могу устоять,— отшучивался он.— Влечет меня неведомая сила.

Пили домашние наливки, густые и сладкие, как патока. Бабосов, весь красный, с длинными льняными волосами, запрокинув голову, важно насупил брови и, поводя носом, словно к чему-то принюхиваясь, запел под гитару:

Вот вспыхнуло у-утро, румянются во-о-оды...

Ему подпевала дрожащим голоском Варя, смешно выпятив нижнюю губу.

— А вы что не поете? — спросил Успенский Марию.

Ответила просто, без тени смущения:

— Не умею.

А потом вышли гулять, разошлись в темном саду парами. Успенского разобрало то ли от выпитого, то ли от близости к ней. Он стал велеречиво объясняться:

— Вообразите себе путника, долго идущего по сухой степи. Одежда на нем пропылилась, душа жаждет, истомленная одиночеством и зноем... И вот встречает он на пути свежий, никем не замутненный ручей. Оазис! Вы и есть оазис.— Он притянул ее за руку, пытаясь обнять.

— Не надо!

Она вырвала руку и быстро пошла на террасу. Он догнал ее у самых дверей и полез целоваться. Она так сильно оттолкнула его, что он стукнулся головой о стенку. Потом ушла в сени, захлопнув дверь перед самым его носом. Да еще сказала из сеней:

— Не приходите больше! О-азис...

Он ушел тотчас, не дожидаясь Бабосова. Потом дня три переживал и кривился: «Ч-черт! Как это меня угораздило в такую пошлую фразеологию? Подумал — глушь, провинция... Все сойдет».

Переживал скорее от уязвленного самолюбия, а не от того, что знакомство оборвалось.

— Бог дал — бог взял,— говаривал он в таких случаях.

И только этой зимой, когда Обухову перевели в Тиханово инструктором в райком комсомола, встретившись с ней в клубе, лицом в лицо, он почуял, как захолонуло у него в груди. Она подала ему руку, как старому знакомому, ничем не напоминая о той размолвке, и они мало-помалу сошлись, стали друзьями.

Теперь, узнав о своем увольнении от Кадыкова, он беспокоился только об одном — как встретит это известие Маша. Поймет ли она, что ему нечего больше делать в Тиханове? Он должен уехать. Куда? А вдруг она скажет: а ей что за дело? Жена она, что ли? Поезжай куда хочешь. На все четыре стороны. У меня, мол, своя жизнь и свои цели. Уж если по-серьезному разобраться, так что он ей за пара? Она — пропагандист, видное лицо в районе, будущий секретарь комсомола. А он — в лучшем

случае — учитель в глухомани. Пойдет ли она за ним? Куда? В дальнюю деревню, в дыру, из которой только что вылезла на свет божий?!

Так думал Дмитрий Иванович, идя вечером к Бородиным, где жила Маша Обухова.

2

У Бородиных было людно и светло по-праздничному: над столом в горнице висела лампа-«молния» под зеленым абажуром. Окна были растворены. Ночной свежий ветерок шевелил тюлевые занавески и белые коленкоровые шторки. За столом сидели и курили мужики. Хозяйка, Надежда Васильевна, и Маша прислуживали им. На Маше была белая кофточка и темно-синяя юбка, волосы перехвачены светлой газовой косынкой. Она смахивала на учительницу, ведущую урок. А Надежда Васильевна была в красном переднике и с таким же красным от огня лицом — она жарила яичницу на тагане и одновременно продувала сапогом самоварную трубу, отчего искры желтыми брызгами вылетали из нижней решетки самовара. Женщины суетились в летней избе, и Дмитрий Иванович заметил их первыми.

— Бог на помочь! — приветствовал он, переступая порог и слегка кланяясь.

— Милости просим,— отозвалась от самовара Надежда Васильевна.— Проходите в горницу к столу. Гостем будете.

Маша улыбнулась ему и сделала знак рукой — проходи, мол. Она ставила на эмалированный поднос тарелки с закусками, гремела вилками.

В горнице кроме хозяина, Андрея Ивановича, сидело четверо: председатель сельсовета Павел Митрофанович Кречев, здоровенный детина в защитной гимнастерке, стриженный под Керенского; секретарь его Левка Головастый, вертлявый недоросток с птичьей шеей и бабьим голоском; Федот Иванович Клюев, по прозвищу «Сова», про которого говорили: «Энтот на локте вздремнет и снова на добычу улетит»,— сидит смирненько, степенно, усы рыжие покручивает, но глаза не дремлют: хлоп, хлоп, как ставни на ветру; да еще Якуша Савкин, голое, словно облизанное коровой, калмыцкого склада лицо его вечно маячило на сходах и собраниях, поближе к председателю, потому как член актива, бедняцкий выдвиженец. Он и

теперь придвинулся поближе к Кречеву. Сам хозяин сидел с торца стола в синей косоворотке, подпоясанный лакированным ремешком. Курили всласть, с потрескиванием самокруток и шумно, вперебой разговаривали.

Хозяин подал Успенскому табурет, остальные только головой кивнули: подключайся, мол.

Разговор шел откровенный, потому как все собравшиеся были членами сельсовета. Речь держал Кречев, пересказывал свою стычку с Возвышаевым:

— У тебя, говорит, либеральное благодушие. Объявлена экспроприация, то есть наступление на кулачество. Где это объявлено? Покажи декрет. А Возвышаев мне в упор: «Ты читал решение ноябрьского Пленума?» Читал, говорю, что печатали. Но там экспроприации не видел. Может, ты мне покажешь? Он туда-сюда, верть-верть. А для чего, говорит, чистка партии и госаппарата объявлена? А я ему: при чем тут кулак? Это ж борьба с бюрократизмом. Эк, он аж со стула привскочил. Бюрократизм и кулак — родные братья, кричит. А ты, мол, страдаешь правым уклоном. Я с кулаками боролся и буду бороться. Но покажи мне, где написано насчет экспроприации? В каком декрете? Тут он мне и выдал: «Ты читал решение о создании совхозов-гигантов?» Читал, говорю. «Вот это и есть наступление на кулачество». Здорово живешь! Совхозы не ЧОНы, им не воевать, а хлеб растить. А он мне — ты потерял классовое чутье.— Кречев в недоумении разводил руками; из-под гимнастерки у него угловато выпирали плечи и локти, словно склепан был он наспех из нетесаных поленьев.

— А чего ему надо? — спросил Федот Иванович.

— Создать надо, говорит, всеобщий колхоз. А эти карликовые артели распустить. Они, мол, кулацкие... Ложные.

— Выходит, я в кулаки вышел? — Федот Иванович, вылупив и без того большие желтые глаза, уставился на Кречева; он создал тележную артель и уловил намек на собственную персону.

— Зачем зря говорить! Ты наемным трудом не пользовался,— сказал Якуша.

— Да нет... Конкретно никого не обвиняли. Говорили об усилении классовой борьбы,— отозвался и Кречев.

— Про это же оппозиция долдонила! — удивился Якуша.

— При чем тут оппозиция? — обернулся к нему Кречев.— Ее ж разгромили.

— А последыши ее вякают,— не сдавался Якуша.

— Чего ты мелешь! — одернул его Левка Головастый.— Ты же сам стоишь за усиление!

— Я за усиление рабочего класса в союзе с беднейшим крестьянством,— заученно отчеканил Якуша.

— Да ну тебя в болото,— махнул рукой Кречев.

— Это что ж за классовая борьба? Как в двадцатом году, что ли? — спросил Андрей Иванович.

— Ну вроде,— ответил Кречев.— Поскольку успехи наши налицо: деревня живет лучше, индустриализация пошла вверх. Темпы появились. Газеты читаешь? Ну, вот, социализм, значит, укрепился, а мы должны усилить контроль, бдительность.

— Почему? — спросил Федот Иванович.

— А я почем знаю,— ответил Кречев.— Такая, говорит, установка теперь. А может быть, сам выдумал. Всех, кто поднялся на ноги, говорит, надо брать на учет...

— А как же насчет лозунга «обогащайтесь»? — спросил Федот Иванович.

— Вона, чего вспомнил! Это когда было-то? Года три назад.

— Да разве за месяц разбогатеешь? Или что, год прошел — и заворачивай оглобли в другую сторону? — подавался грудью на стол Федот Иванович.

— А ничего. Как жили, так и будем жить,— пропищал Левка Головастый, и все засмеялись.

— Правильно, Лева! — Федот Иванович легким движением пальцев размахнул в разные стороны седеющую, аккуратно подстриженную бородку.

Маша принесла поднос с закусками, стала расставлять тарелки на столе: прикопченное, с розоватым оттенком свиное сало, толстая и красная, как недоваренное мясо, колбаса Пашки Долбача, бьющая на аршин чесноком, зеленый лук, крупно нарезанный хлеб и курники с картошкой...

Потом Надежда Васильевна поставила на конфорку посреди стола пылающую чугунную жаровню с яичницей, две поставки темной, как гречишный мед, браги, а водку Андрей Иванович достал откуда-то из-за комода.

— У вас тут прямо ураза,— усмехнулся Кречев и поглядел на Успенского.— Это что, к вашему приходу готовились?

— Павел Митрофанович, вы сегодня первым пожаловали,— сказала Маша.— Вы и есть виновник торжества.

— Он власть... Он чует, где пирогами пахнет,— также усмехаясь, поглядывал на Кречева Успенский.

— Будет вам тень на плетень наводить,— крикнула от порога Надежда Васильевна, она побежала за рюмками.— Угощение осталось от праздника. Андрей, скажи, какое веселье выпало нам на Вознесение.

— Они знают.— Андрей Иванович поставил две поллитровки на стол, откупорил пробки, залитые белым сургучом.— Вознеслась моя кобыла... А мы гостей собирались пригласить... Все ж таки праздник.

— А что слышно про кобылу? На кого думаете?— спросил Кречев.

— Думает знаешь кто...— Андрей Иванович стал разливать водку в граненые рюмки.— Ты вот говоришь— обострение классовой борьбы. А знаешь, как у нас поступали с конокрадами в такие годы обострения?

— Да вроде бы слыхал,— ответил Кречев.

— Живьем жгли!— с силой произнес Андрей Иванович.— А то на морозе холодной водой обливали. В сосульку превращали. Мне конокрадов не жалко. Им поделом. Но видеть обозленный, озверевший народ— упаси господь! Ну, поехали!

Все дружно подняли рюмки, чокнулись и выпили, крякая, точно с мороза, и закусывая.

— Ты, Павел Митрофанович, хотя и недальний, но все ж таки приезжий из города. Да и молодой еще, чтоб хорошо судить о двадцатом годе,— сказал Андрей Иванович, скручивая цигарку.

— Мне двадцать три года,— вскинул голову Кречев.

— Это не возраст,— усмехнулся Федот Иванович.

— Да вы что? Вон в гражданскую войну в восемнадцать лет полком командовали!

— Командовать одно дело, а жить— другое.— Андрей Иванович, попыхивая цигаркой, начал свой рассказ:— Вот слушайте. Повадились у нас в девятнадцатом году коней угонять. Сначала угоняли с лугов, как у меня теперь кобылу... А потом до того обнаглели, что крали с выгона. У моего тестя двух чистокровных жеребят угнали— Карего и Гаврика. Объезженных жеребят!.. По четвертому году пошло. Да ведь откуда угнали? С ночного. Шуряк мой уехал вечером на кобыле с двумя жеребятами, впристяжку. А утром возвращается один. Где лошади? Проспал, так твою разэтак?! Нет, не спали. Ночью, говорит, переполох был: лошади заржали и метнулись к костру. Мы, говорит, думали— волк. Ну,

пошли в обход. Согнали лошадей поближе к костру. Считаем... Нет Карего и Гаврика. Сели на лошадей — туда, сюда поскакали. Нет их, и след простыл. Ну, тесть волосы на себе рвал. Месяца два по всей округе ездил, все базары искрестил. Так и не нашел. Дальше — больше... С весны двадцатого года что, бывало, ни день, то оказия. Из Гордеева угнали, из Желудевки, из Прудков... У нас в Тиханове лошадей десять угнали! Жеребца у Малафеева, у Мишки Бандея рысачку... Была у него Лысая кобыла — картина. Да что там породистые? У Маркела мерина угнали. Шерстистый был, заморыш. И тем не побрезговали. Вот мужики и озверели: «Поймать мироедов!» А тут еще красноармейцы с войны возвращались, да подкинули жару: кто, говорят, поднял руку на трудового крестьянина, тот есть классовый враг. А с классовым врагом расправа известная — к ногтю! Мы теперь сами хозяева. Расправляться научились. Ну, ладно, стали ловить классовых врагов. Но как? В овраге день и ночь сидеть не станешь... Взяли на заметку мужиков, которые лошадьми торговали. Кономенов: Лысого, Салыгу, Страшного, Горелого... И потихоньку, назерком сопровождали их на базары да на ярмарки. И вот однажды в Агишеве на базаре у Лени Горелого опознали краденую лошадь. Народ собрался... Шум, гвалт. Милицию позвали. Стали протокол составлять: ты чей? Он испугался... И говорит — я чужой. С тех пор его и прозвали Чужим...

Все засмеялись и выпили еще по рюмке водки.

— Это кто? Синюхин, что ли? — спросил Кречев.

— Он самый,— ответил Федот Иванович.

— Дак его что, забрали тогда?

— Нет. Милиция свое дело сделала, протокол составила... Лошадь отобрали, вручили законному владельцу. Леня Чужой прикинулся обманутым. Ну, ступай. Впредь будь разумным... Не попадайся на обман. Ладно. Продал он кое-как с перепугу остальных лошадей, поехал домой... А там в лесу его свои ждали. Цоп за уздцы лошадь. Останавливайся! Приехал! Он бежать. Его за шиворот — топорик показали: кто привел тебе краденую лошадь? Говори! Или душа из тебя вон. Чужой видит — дело плохо. Это тебе не милиция. Соврешь — хуже будет. Куда от них денешься? Свои! Он и признался — Мишка Савин привел. С кем? Фамилии не знаю, а по имени — с Игнатом. Ну, те к Савину. Явились ночью. Стучат. Хозяин дома? Хозяйка спрашивает из сеней: «Кто такие?»

Ей тихонечко в дырку, через щеколду: свои, мол, от Игната. Лошадок привели. Она им так же шепотком: в Желудевку ступайте... Они у Никанора Портнягина. Третий двор с краю, от леса. Ребята прихватили с собой еще Мишку Бандея, Малафеева... Два ружья зарядили и впятером нагрянули в Желудевку к тому Портнягину. Сперва во двор заглянули — три лошади стоят. Потом постучали... Хозяина ложей оглоушили и связали. Савин убежал через задние ворота. А Игната живьем взяли. Сунули стволы в брюхо — не шевелись! не то кишки выпустим. Одна лошадь оказалась хозяйская, две — краденые. Откуда? Игнат молчит. А хозяин признался: я, говорит, ребята, с ними не якшался. Только на ночлег пустил. А лошадей они из Еремеевки пригнали. Послали в Еремеевку. К утру и хозяева явились. Признали своих лошадей. Игната тоже узнали. Касимовский шибай оказался... Ударили в набат — все села окрестные сбежались. Убить ирода! Живьем растерзать!

Привязали его к телеграфному столбу возле почты. Рубаху спустили с него, сапоги сняли, одни портки оставили, чтоб срам прикрыть. Граждане, говорит Бандей, давай судить по совести. Давайте судью выберем. А еремеевский мужик, который лошадь свою признал, зашел от столбца да как ахнет того конокрада калдаей от цепа по голове. Тот и язык высунул. Вот ему и закон! Тут все как с цепи сорвались: кто хворост несет, кто солому, кто спички чиркает и прямо к волосам конокраду подносит. Живьем сжечь! И не успели толком оглянуться, как уж костер запалили под конокрадом. Только охватило его огнем, он очнулся и закричал. А толпу этот крик лишь подстегнул: жги его, ирода! Повыше подложи! Сунь ему под ширинку, пусть покорчится. Да что вы делаете, окаянные? Столб телеграфный сожжете! Тогда копай яму! Живьем его в землю! Закопали. И яма-то неглубокая. Так верите — часа полтора еще земля шевелилась...

Андрей Иванович как-то сухо кашлянул и налил еще по рюмке. Выпивали и закусывали молча. Надежда Васильевна и Маша присели на деревянный диван, обтянутый черной клеенкой, и тоже молчали.

— И никто не заступился? — спросил наконец Кречев.

— Какое там заступиться! Я же говорю — все были как ошалелые. Игната зарыли — бросились к Портнягину. Тот: я не я и лошадь не моя. Нет, врешь! Не способствуй! Избили его до полусмерти. Бьют его, бьют —

отольют водой из колодца и опять лупцевать. У лошади его гриву остригли, хвост отрезали по самую сурепицу. Жену его остригли и по селу сквозь строй прогнали. Заплевали! А потом гаркнули: Савина вешать! Где Савин? Вся толпа хлынула в Тиханово. Дома его не нашли. Все стекла повыбивали. Плетень растащили, воротища со столбов сняли, расщепали и сожгли посреди села. А Савин в Волчьем овраге спрятался, в Красных горах. Переждал до ночи, а ночью прокрался в Тиханово да Леню Чужого поджег. На беду ветер сильный был. Ну, прямо ураган разыгрался. А изба Чужого была щепой покрыта. Так, веришь или нет, эту горящую щепу за версту несло. Загорелось сразу в нескольких местах — на трех, на четырех улицах. Половина Тиханова к утру сгорела. Полсела очистило, по конную площадь...

— Озлобление на бытовую тему,— усмехнулся Кречев.

— Не знаю, на какую тему. Но озлобление до добра не доводит.

— Ты прав, Андрей Иванович,— вступился Успенский, волнуясь.— Тут вся штука вот в чем: всякое озлобление портит народ. Расшатывает его нравственные устои... Одни вашу борьбу принимают чисто теоретически, по-конторски, так сказать; обсудили и пришили в дело. А другие возьмут как сигнал для сведения счетов. А там где насилие, там и зло. Вы сами не заметите, как изменитесь. И думаете, к лучшему?

— Не знаю, как другие, а я лично не собираюсь меняться от того, что кто-то с кем-то хочет счеты сводить,— сказал Кречев.— Революция тоже есть насилие. Но разве революция порождает зло?

— Революция — это другое,— отмахнулся Успенский.— Революция есть взрыв от действия насилия, то есть это контрдействие насилию. Я не против революции. Я ж говорю о том, что нельзя давать права одним, повторяю, сводить счеты с другими. Пора жить впритирку, приноравливаясь друг к другу. Терпеть друг друга... Хотя мы понимаем, что люди разные и думают по-разному. А жить обязаны вместе... Вместе, а не врозь! — закончил он возбужденно, на высокой ноте, метнул быстрый взгляд на Машу, потом потянулся к поставке и слегка подрагивающей рукой налил себе в стакан густой пенистой браги.

Маша потемневшими от возбуждения глазами прикованно смотрела на Успенского.

— Да, сказано: не живи как хочется, а как бог велит,— произнес назидательно Федот Иванович, пальцами в сторону разгоняя бороду.

— Да при чем тут бог?— возразил Кречев.— И никто вас не заставляет жить поневоле. Просто я вам рассказывал об усилении борьбы.

— И вся-то наша жизнь есть борьба!— продекламировал Якуша и хохотнул.— А насчет разных людей, это ты правильно сказанул, Дмитрий Иванович. В тот раз, когда Тиханово горело, одни мужики воду качали, в огонь лезли, а другие возле казенки [1] собрались и ждут— когда она загорится, чтобы водку растащить.

— А Вася Соса рубаху с себя снял, намочил ее да голову повязал. Теперь мне, говорит, ништо. И в горящую казенку нырнул. Дак ему пупок поджарило, инда шкура треснула,— сказал Левка Головастый, и все засмеялись.

— Вам, мужикам, лишь бы отравы этой нализаться. А там хоть сгори все синим пламенем,— подхватила свое Надежда Васильевна.— Вы за водкой и про власть забываете. Вам все едино.

— Ты, Надюша, не в ту сторону поехала,— возразила ей Маша.— Говорят о том, что стихию надо держать в рамках. Беда, если она расхлестнется.

— А водка не стихия? Это самая зловредная стихия. Хуже пожара. Через нее и воровство идет,— стояла на своем Надежда.— Возьми тех же конокрадов. Пьяницы они. Или вон Ганьшу. Через водку тоже пропадает. И воровкой стала от пьянства. Это у нас в Больших Богачах бедолага живет,— обернулась она к мужикам.— Ее тоже в двадцатом году, как того конокрада, понужали. Только ее не жгли, а морозили. Коров чужих доила, кур воровала, поросят, гусей... Что под руку попадет. Поймали ее на дворе у Аринцевых, раздели до исподней рубашки, привязали. А дело было постом, в аккурат на Вербной. Морозы еще держались крепкие. Народ сбежался... Что с ней делать? Хватились, а она пьяная. Протрезвить ее! Тащи воду из колодца! И начали ее поливать, прямо с головы, как утку. Но, правда, насильничания не было. Тут и милиционер стоял, в толпе, с наганом. Она отряхнется от воды и милиционеру: «Родимый, застрели

[1] Казенка— государственная лавка, торгующая водкой.

меня! Стреляй прямо в рот. О!» Разинет рот да к нему повернется. А он ей: «Пошла ты. Буду я с тобой связываться...» И муж ее, Семен, тут же ходит. Хоть вы, говорит, проучите ее. Ну, прямо сладу с ней никакого нет. Если она с утра ничего не сопрет, то ходит, как бурая Яга — лается на всех, горшками гремит, все кидает, бросает. Но ежели утащит чего да еще выпьет — прямо на пальцах носится...

— Мать, у тебя, поди, и самовар-то остыл,— прервал ее Андрей Иванович.

— Ой, я и забыла совсем! Заговорилась с вами.

Надежда Васильевна вихрем умчалась в летнюю избу и через минуту несла оттуда, окорячась, огромный, ярко начищенный самовар. Маша принесла две большие тарелки с нарезанным пшенником и желтыми драченами, покрытыми запеченной сливочной пенкой шоколадного цвета.

— Фу-ты ну-ты, лапти гнуты! — сказал Федот Иванович.— Вы что, на свадьбу, что ли, наготовили?

— Ешьте, ешьте, не пропадать же добру,— приговаривала Надежда Васильевна, расставляя чашки с блюдцами.— Это вы конокрадов благодарите, не то за праздник всё бы гости поели.

Якуша Ротастенький выпил целый ковш браги и, благодатно уставившись на драчены, только головой покачал:

— Да, Андрей Иванович... Ешь-пьешь ты сладко и спишь, как барин, на перине да на пуховиках... Кровать у тебя вон длинная да просторная... У меня ж, расшиби ее в доску! И кровать-то вся в два аршина. Днем гнешься от работы, а ночью от нужды. Дак я рядом с кроватью табуретку ставлю, на нее и кладу ноги. Иначе не распрямишься...

— А чего ты в артель не вступаешь? — спросил его Кречев.— Вот хоть к Федоту Ивановичу или к Успенскому?

— Успенский каменщиков набрал да штукатуров... Я ремеслу не обучен. А Федот Иванович жену родную в свою артель не пустит...

— А ты просился к нему? У Федота Ивановича дела много — летом кирпич бить, зимой — шерсть,— сказал Андрей Иванович.

— Как-то боязно... А вдруг шерстобитку поломаешь? Она, чай, денег стоит...— усмехнулся Якуша.

— Не то, Яков Васильевич, мы спим помалу и не на кровати, а на кожушке... Где усталость свалит,— усмехаясь, в тон ему ответил Федот Иванович,— а это нашему Кузе не по пузе. Тебе нужна такая артель, где бы работали за столом, и то языком.

— А кто за меня в поле работает? Ты, что ли?!

— А что ты берешь в поле-то?

— У меня всего четыре едока! — все больше раскалялся Якуша.

— У Ивана Климакова вон тоже четыре едока... А намолачивает вдвое больше твоего.

— У него навоза много.

— А ты свой навоз в прошлом году куда дел?..

— Да будет вам расходиться, мужики! — сказал Андрей Иванович.— Чего нам в чужие сусеки заглядывать? И делить нечего. Все уже поделено в восемнадцатом году,— он налил в рюмки водки.— Вот и давайте выпьем за это, значит. За Советскую власть! Поехали!

Гулко грохнула наружная дверь, и на пороге горницы вырос Федька Маклак.

— Эй, голубь! Давай к столу! — позвал его Кречев.— У нас тут еще осталось немного. Причастись!

— Я ему причащусь ковшом по лбу,— сердито сказал Андрей Иванович.— Он и без вина натворил делов.

— Чего я натворил? — хмуро спросил Маклак, но благоразумно ушел в летнюю избу.

— А где у тебя ребятня младшая? — спросил Кречев.

— В кладовой спят,— ответил Андрей Иванович.— Решетки открыты... Благодать.

— Что ж они натворили?

— Те чего натворят? Вон хлюст... Вдвоем с его атаманом,— он кивнул на Якушу,— сняли с забора мокрые портки Степана Гредного и затолкали их в печную трубу.

— Не может быть! — Кречев так и покатился, отваливаясь от стола, за ним и другие засмеялись.

— Они все могут,— словно ободренный смехом председателя, Якуша воспрянул, отвернулся всем корпусом от Федота Ивановича — послушай, мол, блоха,— и пошел работать на публику: — Вы Степана знаете? У него окромя портков да свиты никакой одежды нет. Когда ему баба портки стирает и вывешивает их ночью на забор, он ложится спать прямо в свите. Ладно. Переспал он в свите... Утром ему Настя и говорит: «Степан, порток твоих нет!» — «Куда они делись?» — «Не знаю. Только на

плетне их нет». Ну кому они нужны? Ты вспомни, говорит, куда их повесила, а я посплю еще малость. Ладно. Затопила Настя печь... Что такое? Дым в трубу не идет, а в избе по полу стелется. Ну, не продохнуть. Степан ползком через порог да на улицу. А тут уж человек пять ждут его не дождутся. Ты чего, спрашивают, ай костер посреди избы разложил? Сжечь село захотел? Что вы, говорит, православные? Милосердствуйте. Настя печь затопила, а дым в избу валит. Видать, кирпичом трубу завалило. Или ворона попала... А может, галки гнездо свили? Вы давно не топили печь-то? Стоят мужики, гадают. Подошел Иван Климаков и спрашивает: ты чего, Степен, в свите? Ай заболел? Взял его за пол да как размахнет свиту. Ба-атюшки мои! Он голый, как Иисус во Ердани. Хохочут. Затвори, говорят, ворота... не то последняя скотина Степанова на волю убежит. У него ведь ни курицы, ни кошки — одни вши да блошки. А Настя на мужиков: окаянные, над чем смеетесь. Поди, кто из вас припрятал Степановы портки. Нет, говорят, они проса́ ломать поехали на Чакушкиной кошке. Ну, регочут, известное дело. Кто-то принес пудовую гирю на веревке. Полезли на крышу. Кинули ее в трубу — она бух как кулаком по пузе. Еще кинут — бух опять. И ни с места. Что такое? Одни кричат — гнездо галчиное. Другие — помело Настино застряло. Наложи крест! Крест наложи на трубу. А может, домовой разлегся? Спроси, Степан, к худу или к добру? Наконец багор принесли. Вытащили с трудом. Портки Степановы оказались... Ну была потеха...

— А как же узнали, чья проделка? — спросил Кречев.

— Девки рассказали. К Андрею Ивановичу приходил Степан — давай штаны! Мои изорвали.

— Дал? — Кречев с удивлением поглядел на Андрея Ивановича.

— А куда ж деваться,— ответил тот.— Моя вина.

— Ну, дела,— покачал головой Кречев.

А Якуша распахнул свой серенький мятый пиджачок, подмигнул хозяйке:

— Эх, Васильевна! За твое угощение и мы тебя потешим. Где мои восьмнадцать лет? Андрей, песню!

— Какую? — спросил Андрей Иванович, подтягиваясь и расправляя плечи.

— Для начала нашу любимую... А там поглядим.

И легко, звонко запел, закинув голову, глядя в потолок с какой-то умиленной грустью, широко и вольно растягивая слова:

Укажи-и-и мне-е-е та-а-акую оби-и-итель,
Я тако-оо-ого угла-а-а не вида-а-ал.

Все сразу нахмурились, опершись локтями на стол, и, прикрыв глаза ладонями, ждали, как, жалуясь, истаивая, замирал высокий Якушин голос; и вдруг согласно и мощно, как по команде, подхватили, ахнули:

Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?

— Ну, затянули, как слепые,— сказала Надежда, проходя мимо Успенского.— Теперь до полночи простонут да прожалуются.

Успенский незаметно вышел. В летней избе возле кухонного стола стояла Маша, мыла тарелки. Он подошел и тихонько взял ее за локоть. Она обернулась к нему, улыбаясь.

— Мне с тобой поговорить давно бы надо,— сказал он.

— Ступай на волю. Я сейчас выйду,— сказала Маша.

3

Она повязала белую в горошину косынку и, отстукивая каблучками по деревянным ступеням, сбежала с крыльца. Он стоял возле приоконной березки, оглаживая теплую шелковистую бересту, стоял неподвижно, смотрел на белую косынку, на то, как она легким поскоком, покачивая плечами, летела к нему, и вдруг почувствовал, как ему захотелось плакать.

И в голове зашумело, замолотило в висках. «А брага-то хмельная»,— подумал мельком.

Маша подошла к нему, чуть потупясь, словно разглядывая перламутровые пуговицы на его застегнутом вороте, положила руку ему на плечо.

— Ну?.. Что?..— тихо спросила она.

Он тронул губами ее волосы и с удивлением почувствовал, что они влажные и прохладные.

— Не надо,— сказала она.— Могут ненароком посмотреть в окно.

— А ты боишься?

— Не надо здесь. Пойдем отсюда.

— Куда?

— Куда-нибудь. Пойдем хоть на одоньи.

— Пойдем! — он взял ее под руку.

— Здесь не надо, — она убрала руку.

— Ну хоть за руку-то можно тебя взять? — раздраженно спросил Успенский.

— Не обижайся, Митя. Я живу у родственников, надо считаться с этим.

— Да я им что, ворота дегтем мажу?

— И так разговоры идут. Мне на эти разговоры плевать. А Надежда злится; как-никак, мол, Андрей Иванович — человек уважаемый. Чего ж вы по селу бродите? Чай, не молодые, не семнадцатилетние. Надо вам посекретничать — вон, закрывайтесь в горнице и сидите сколько угодно.

— Лучше на двор нас загнать, в хлев, — засмеялся Успенский. — Уж там никто нас не увидит.

Он вдруг приостановился:

— Постой, а что ж она привечает Кречева да Возвышаева?

— Ну, с Возвышаевым мы по селу не бродим.

— Ага! Значит, вас это в горнице вполне устраивает.

Маша звонко рассмеялась:

— Ты, кажется, ревнуешь? Ой, какой ты глупый!.. Какой глупый, — она взяла его за руку. — Пошли!

Они свернули в заулок, долго шли вдоль высокого плетня.

Успенский опять приостановился:

— Нет, постой, постой! Ты все-таки скажи, какого черта они делают у вас?

— Ну ты ж видел сегодня.

— Кречева, что ли? Сегодня ладно... Они с пленума всей оравой пришли...

— А он один не ходит, — Маша прыснула. — Он стесняется... И для храбрости водит с собой Левку Головастого.

Смех ее звучал дразняще-загадочно, — то ли она потешается над ним, хочет раззадорить, то ли и в самом деле радуется, что все к ней льнут, обхаживают ее.

И против своей воли он продолжал говорить зло о Возвышаеве:

— Да он же деревянный... Он истукан с глазами! Как ты можешь с ним общаться?

— Истукан не будет тратиться на близких. Ты посмотри, как он живет. Был у него?

— Ты и в доме у него бывала? — отшатнулся Успенский.

— Успокойся. Я к нему не ходила. Секретарь нам рассказывал. Да вон бабка Банчиха, у которой он квартирует. Она все знает: и что он пьет, и что ест... А я, Митя, не могу прогнать человека из дома только за то, что обо мне могут нехорошо подумать. И потом, у них свои отношения с Андреем Ивановичем.

Он прильнул к ней, стал торопливо целовать ее плечи, шею, быстро приговаривая:

— Прости меня, Маша! Милая, добрая... Ты всех готова принять под одну крышу... Ты святая... Прости меня!

— Что с тобой, Митя? Ты сегодня какой-то сам не свой.

— Прости! Я и в самом деле становлюсь как сварливая баба.

— Пошли отсюда! Ты хотел, по-моему, мне что-то сказать?

Они вышли на выгон к большому пруду, обсаженному тополями.

В низине возле пруда паслись две лошади. Они подняли головы и, поводя ушами, долго смотрели на Успенского и Машу, словно хотели их спросить о чем-то и не решались. Закрякали невидимые утки и, шлепаясь в воду, поплыли от берега. Сквозь тополя дальнего берега просвечивала большая красная луна, и черная рябь ветвей ложилась на гладкую, тускло блестевшую, как луженый таз, воду.

Обочь от села на взгорье за выгоном кучно теснились островерхие сараи одоньев, словно сдвинутые шатрища уснувшего табора.

Они остановились на плотине, в том самом месте, где стояла когда-то красильня и жил синельщик — творец этого пруда, перегородивший речку Ольховку. Теперь там виднелся рваный остов каменного фундамента да под обрывом, по ложу бывшей речки струился чахлый, заросший болотной ряской ручеек.

— Ну? Что? — спросила она опять тихо и призывно, глядя ему в глаза, и, казалось, ждала не ответа, не слов, а чего-то более нужного и важного.

Он обнял ее за плечи, притянул к себе и целовал долго, слушая грудью, как бьется ее сердце, видел, как пугливо, уклончиво, куда-то в сторону смотрят ее темные

глаза. И ему теперь не хотелось говорить то, зачем он пришел сегодня. Ну что он мог ей сказать? Из артели еще не ушел, учителем поступит ли, и куда? На Возвышаева пожаловаться, что с работы гонит? Теперь только этого и не хватало.

— Знаешь, что я придумал, Маша? Пойдем к Сашке Скобликову. Давно у них не собирались. Они здорово обрадуются тебе. Старика повидаем... Побеседуем, попляшем, споем...

— Как хочешь. Пошли!

Они спустились вниз, прошли в обнимку пересохшим руслом бывшей Ольховки, вышли на обрывистый берег Пасмурки и в тени беспорядочно разбросанных ветел тихо брели до самых Выселок, где на отшибе возле Пасмурки стоял новый дом Скобликовых.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Иван Жадов с лесником Зареченского лесничества ночью добрались верхом до реки Прокоши напротив Пантюхинских рыбацких станов. Здесь они спешились, вытащили из прибрежных камышей речного затона припрятанный ботничок и спустили его на воду.

— Дальше пойду пешком,— сказал Жадов леснику.— А ты поезжай на Сенькин кордон. Приготовьтесь... Приеду послезавтра, к вечеру.

Ловко работая двухлопастным веслом, он переплыл реку, вытащил из воды ботник и спрятал его в густых ивняковых зарослях. Потом поднялся на прибрежный песчаный увал, заросший высоким, в колено, тяжелым зубчатым листом матошника, огляделся. Ночь стояла тихая, лунная, со светлыми небесами и темной, окутанной вечерним туманом землей.

В низинах в двух шагах ничего не видать. Зато по реке, на открытом лунному переблеску изгибистом плесе, видно было далеко. У самой излучины, под обрывистым берегом притулились черные развалистые рыбацкие лодки, а выше над ними маячила избушка с двускатным верхом.

Людей не видно и не слышно. Тишина. Только где-то недалеко от избушки редко и глухо брякал жестяной

бубенец, какие обычно привязывают на шею лошадям да коровам, когда пасут их в кустарниках.

Жадов постоял, послушал и двинулся к рыбацким станам вдоль берега. Возле избушки паслись стреноженные кони. Жадов осторожно прошел между двумя рядами деревянных вешал, на которых висели сети, и заглянул в растворенное окошко. На свежем пахучем сене прямо на полу, освещенном сквозь окно полной луной, спали два рыбака в сапогах, накрытые с головы брезентовым плащом.

В избе тонко и нудно звенели невидимые комары. Жадов с минуту потоптался у раскрытого окна, потом решительно пошел к пасущимся лошадям. Сняв с одной лошади путо, он связал его кольцом, оставив один конец свободным, потом снял с себя брючный ремень, привязал к кольцу с другой стороны — получилось нечто вроде простенькой оброти.

Эту сварганенную за минуту обротку надел на морду лошади, вскочил на нее и поехал.

По лугам добрался до села Малые Бочаги, обогнул их по опушке Мучинского леса, потом, не заезжая в Пантюхино, проехал вдоль Святого болота и по Красулину оврагу подъехал к самым тихановским садам. Здесь он спрыгнул с лошади, снял с нее веревочную обротку, размотал опять путо и повесил на шею лошади. Потом, хлыстнув по крупу, направил лошадь в ту сторону, откуда приехал. Лошадь резво побежала в овраг, фыркая и оглядываясь по сторонам, и скоро пропала в темноте. А Жадов коноплянниками дошел до своей усадьбы, перемахнул через плетень, пригибаясь под ветвями яблонь, прошел к боковому окну и трижды осторожно постучал в наличник. Через минуту отворилась задняя дверь, и хриплый спросонья голос брата Николая спросил:

— Ты, что ли, Иван?

— Ну кто же? Чего гавкаешь,— приглушенно сказал Иван, входя в сени.

— Ты чего так нежданно? — спросил Николай в доме.— Засыпались, что ли?

— Все в порядке,— ответил Иван.— Дельце одно обтяпать надо.

Николай хотел было зажечь лампу, но Иван остановил его:

— Не надо света. Что я тут — не должна знать ни одна тихановская собака. В тайнике постель есть?

— А как же. Перина на топчане. В коробье подушки с одеялом.

— Я туда спущусь. Просплю до завтрашней ночи. А потом исчезну.

— Как знаешь.

— Ничего не слыхать про Бородина? Милиция не шевелится? Насчет меня никаких толков нет?

— Вроде бы тихо. Андрей Иванович все Вознесение мотался где-то по лугам. Да с носом вернулся.

— Он был у Васи Белоногого.

— Кто тебе об этом сказал?—тревожно спросил Николай.

— Свои люди.—Иван прошелся по комнате, заскрипели половицы под его тяжкими шагами, остановился у окна, глядя на улицу, зло сказал:—Эта сука... новоявленный комиссар советский что-то замышляет против меня. Ну, да не на того напал. Я его сам потешу... Утру по сопатке.

— Ты на кого это? На Васю Белоногого?

— Он захотел посчитаться со мной.

— Во падла!

— Погоди, я его встречу на узенькой дорожке. А пока мы похохотаем над ним. Он на прошлой неделе наезжал в Большие Бочаги. Будто бы плуга возил. Останавливался у своих родственников. У Деминых. Он у них однова амбар обчистил. Они это знают. Вот я и послал в Большие Бочаги Лысого, посмотреть все на месте. Оттиски снять с их амбарного ключа.

— А разве Лысый вхож к Деминым?

— Дура! У Лысого рука в Бочагах. Ну? Те и сняли оттиски на мыле, а Лысый вчера привез. Я уж подобрал, подточил ключ. Вон он!—Иван вынул из кармана что-то темное и сунул в руки Николаю.—В точности.

— Эк, дьявол! Вот так ключ! Им укокать можно,— удивился Николай, перебрасывая с руки на руку большой увесистый ключ.

— Завтра ночью я обчищу у них амбар. Сделаю аккуратненько,—сказал Иван.—А Демины подумают на Васю Белоногого. И пойдет потеха.

— Почему это они подумают на Васю?

— Ну, во-первых, потому что он намедни ночевал у них, значит, ключ видел, мог подделать. Во-вторых, Лысый был в Агишеве на медпункте и тяпнул Юзину расшитую бисером тюбетейку. Васиной жены. Вот она!—

Он вынул из другого кармана сложенную вчетверо упругую тюбетейку и сунул в руки Николаю.— Эту тюбетейку я подкину в амбар к Деминым. Понял?

— Ловко! — Николай заливисто гоготнул, как жеребчик.— Постой! А Вася не видал случаем в Агишеве Лысого?

— Нет. А Юзя Лысого не знает.

— Здорово! Ты голову на плечах таскаешь, а не тыкву. Но, голова, на чем повезешь калым?

— На лошади.

— На моей, что ли?

— О, сундук! Найду, не твоя забота. Я все сказал... Пока. Остальное потом узнаешь. Я пошел спать. И до завтрашнего вечера меня нет. Понял? Где фонарь?

Николай на ощупь нашел в темноте висевший на стенке фонарь «летучая мышь» и подал его Ивану. Тот открыл подпольную дверь, спустился вниз и засветил там фонарь. Николай, свесив голову в проем, смотрел, как брат открыл потайную дверь за толстым угловым столбом и скрылся в тайнике.

Тайник, аккуратно обложенный кирпичом, как добрая кладовая, уходил под хлев, оттуда имел запасной выход в конце сада в терновых зарослях.

На другой день вечером, как только стемнело, Иван Жадов, сунув за пазуху литровку водки, бушлат нараспашку, пошел задами к Иллариону Сипунову, по прозвищу Сообразило, жившему через три двора. На стук в сени вышла Евдокия, за свою высоту и погибистость прозванная Верстой.

— Кто там? — глухо донесся ее голос.

— Это я, Дуня... Открой на час.

— Иван, что ли?

— Ну?

Она с минуту помедлила, как бы соображая — открывать или нет? Недовольно проворчала:

— Чего тебя нелегкая по ночам носит? Ларя спит.

— Я ему должок верну. На Пасху в карты проиграл...

Евдокия, шумно сопя, наконец открыла запирку.

— Вы уж вместе с курами на насест укладываетесь,— сказал Жадов, проходя в избу.

Ларион сидел на печи, свесив босые ноги. На нем была домотканая исподняя рубаха с расстегнутым воротом и темные штаны.

— Сообразило, слезай с печки! Давай к столу — есть

разговор.— Жадов прошел в передний угол, освещенный лампадой, поставил литровку на стол и сел под образа.

Увидев водку, хозяин проворно натянул подшитые валенки и, не мешкая, спрыгнул с печки.

— Ваня, да у нас и закусить-то нечем, окромя хлеба да лука, ничего нет,— сказала Евдокия.

— И не надо. Обойдемся. Дай стаканы!

Евдокия подала два граненых стакана, сама пить отказалась. Жадов налил Лариону полный стакан, себе половину:

— Пей, Сообразило!

Тот широко перекрестился, размахнул черные вислые усища и, алчно глядя на стакан, сдавленно произнес:

— Христос с тобой, Ваня!

Пил жадно, запрокинув голову, как пьют воду в жаркий полдень на молотьбе,— ходенем ходил острый кадык, дергалась кожа в провале под кобылкой, где висел на засаленной бечевке медный крестик; глубоко в утробе Лариона булькала водка.

— О-ох! — Он поставил стакан, отщипнул корочку хлеба от каравая, поданного хозяйкой, нюхал ее, а сам косил глаза на литровку, зажатую в руке у Жадова.

Тот перехватил его взгляд, налил еще стакан:

— Пей, Сообразило!

— Дак что ж, все я один... А ты? — робко спросил хозяин.

— И я выпью.

Жадов чокнулся стаканом... Выпили.

— Спаси тебя Христос, Ваня! — сказал Ларион.

— Нет, Сообразило. За христа-ради водку не дают. Собирайся!

— Куда это на ночь глядя? — всполошилась от печки хозяйка.

— А ты сиди! Не твое дело,— цыкнул на нее Жадов.

— Вота! Ты ж пришел карточный долг отдать...— не унималась та.

— Все отдам. Заплачу как следует. Собирайся.

— Куда? — спросил Ларион, все еще поглядывая на водку.

— За кудыкины горы... Водку допивать,— сказал Жадов, заткнул бутылку, сунул ее опять за пазуху и встал.— Пегий мерин у тебя дома?

— Вчерась только из лугов пригнал,— ответил Ларион уже с суетливой готовностью броситься исполнить

любое задание: ну как же?! В поездке выпить придется...

— Запрягай! Поедем, куда скажу. Не бойся. Хорошо заплачу. А ты, верста коломенская! — он повернулся к Евдокии.— Заруби себе на носу! Если кому скажешь, что я у вас был нынче ночью и что хозяин повез меня,— сожгу. Ты меня знаешь? — спросил грозно.

— Как не знать...— залепетала хозяйка.— Кому я скажу!.. Я, чай, зла себе не желаю.

— Ну, вот. Поехали!

Ларион быстро снял валенки, натянул сапоги, прихватил зипун, и они вышли.

2

Когда выехали на улицу, Иван накинул свитку на бушлат и поднял высокий стеганый воротник. На селе было тихо, пустынно. В окнах кое-где светились тусклые огоньки — люди большей частью уже спали. И только в конце Нахаловки, куда они ехали, на Красной горке, заливалась гармошка и звенели девичьи голоса.

— Сверни в заулок! Объедем мимо кирпичного завода,— приказал Жадов Лариону.

Тот шевельнул вожжами, и пегий мерин свернул в Маркелов заулок, ехали вдоль длинного плетня, потом спустились с горы, пробухали по новому бревенчатому мосту и взяли с дороги левее, вдоль обрывистого берега Пасмурки, мимо кирпичного завода, поднялись на высокое Брюхатово поле, где проходила столбовая дорога на Большие Бочаги. Крупный мерин тихо трюхал рысцой, опустив голову и помахивая хвостом, пустая телега шумно громыхала на жесткой полевой дороге, а где-то в задке высоко и надсадно зудела железка.

— Что у тебя за музыка в задке? — сдавленно спросил Жадов.

— Коса звенит, а что? — сказал Ларион.

— Это еще зачем?

— Коса-то? Как зачем? На обратном пути травы накошу, Сообразило...

— Тьфу, мать твою!..— Иван скверно выругался, пошарил в задке, нашел косу, обмотанную вместе с замком и разводным ключом портянкой, и выбросил ее из телеги.

— Тпрру! — Ларион натянул вожжи.

Мерин остановился. Ларион молча спрыгнул с телеги, поднял косу и, засовывая ее под свое сиденье, под мешки, ворчал:

— Ишь ты... Сообразило. Горазд! Чужим-то добром разбрасываться.

— Об нее порежешься, дура! Вернемся с дела — я тебе три косы дам.

— Заткни их себе в ж... свои косы-то. На моей косе два лебедя. Ей цены нет,— Ларион оправил мешковину над косой и влез на телегу.

— А ну-ка, дай вожжи! — Иван вырвал у Лариона вожжи, встал на колено и огрел мерина вдоль спины кнутом.

Тот подпрыгнул, вскинул голову и, проскакав немного наметом, перешел на крупную, машистую рысь.

— Куда ты гонишь? Чай, лошадь не казенная,— проворчал Ларион.

— Молчи! — цыкнул Иван.— Не то суну дулю под дых, и запоешь у меня другим голосом.

Когда перевалили крутобокий Волчий овраг и выехали на просторное попово поле, потянуло свежим ветерком, из-за горбины заречного Брёховского бугра поползли темные навалистые облака, похожие на растрепанные копны сена. Вскоре они закидали, заслонили луну, и на земле стало таинственнее и глуше, словно телега въехала в сырое ущелье. К Большим Бочагам подъехали в кромешной мгле.

Жадов остановил лошадь у крайней избы, кинул Лариону вожжи и, спрыгнув с телеги, подошел к окну и трижды стукнул тихонько в наличник. Из сеней моментально вынырнул малый в фуфайке и в кепке и со словами «Все готово!» прыгнул на телегу вместе с Жадовым, взял у Лариона вожжи и стал править.

Ехали безо всякой дороги, по задам, проваливались в какие-то ямы, поднимались на буераки, телегу кренило во все стороны, она то гулко грохала, то жалобно скрипела, разрывая душу Лариону.

— Скоро, что ль? — не вытерпел он.— Того и гляди, ось поломаем.

— Цыц! — прохрипел Иван, поймал его за шею и больно сдавил позвонки.— Башку оторву...

Наконец остановились возле высокого, на сваях, амбара. Жадов и бочаговский парень спрыгнули с телеги.

— Чего сидишь? — засипел Жадов на Лариона.— Слезай! Держи лошадь!

Ларион спрыгнул, взял мерина за повод.

— Где ключ? — спросил малый.

— Вот,— Жадов сунул ему ключ.

Тот подошел к двери, а Жадов рылся в телеге, шуршал соломой.

— Где у тебя мешки-то? — спросил шепотом у Лариона.

— Да где? Подо мной были...

Жадов нащупал наконец мешки, потянул их с телеги, из них вывалилась коса и загремела, ударившись о ступицу колеса. Парень как ужаленный отскочил от двери, а Жадов заскрежетал зубами, зашипел:

— Дура мокрошлепая... Башку тебе этой косой отрезать...

— Да кинь ее в лопухи,— сказал тихо парень.

— Чего? Чтоб по ней нас накрыли...— просипел Жадов.— Сообразило! Засунь ее себе в штаны. Если я еще наткнусь на нее, руки отсеку,— и парню: — Ключ подходит?

— Отпер уже.

— Где фонарь?

— У меня,— просипел парень.

Они скрылись в амбаре, притворив за собой дверь, и через минуту сквозь кошачий лаз в нижнем углу амбарной двери слабо замерцал желтый свет. Ларион положил косу опять в задок, под солому и, одинокий в этой ночной тишине, вдруг почувствовал страх. Ну что, если застанут их? Куда бежать? В какую сторону? Не видать ни черта... Дороги нет; погонишь — на первой же ямине из телеги выбросит. Кольями убьют. И лошадь с телегой отберут...

И хмель-то весь как рукой сняло. Он держал мерина за оброть и чувствовал, как бьет его ознобом, словно в лихорадке. Ажно зубы стучат и живот подводит...

Наконец погас в амбарной щели свет, скрипнула дверь, и на пороге вырос Жадов с двумя пухлыми мешками. Кинув их в телегу, крикнул приглушенно:

— Накрой соломой!

А сам опять в амбар. Появились вместе с тем парнем, неся еще три мешка.

— Дверь отворить? — спросил парень.

— Запри... Чем позже хватятся, тем лучше. Садись,

Сообразило! — сказал Жадов, укладывая в телегу и эти мешки, и, обернувшись, парню: — А ты выведи лошадь на дорогу.

Парень взял мерина под уздцы, Жадов с Ларионом взлезли на телегу и поехали.

— Куда править? — спросил Ларион, когда выехали в конец Больших Бочагов.

— Давай в Прудки!

— Но, Манькой, ходи помаленьку!

— Нет, не помаленьку, а езжай как следует,— приказал Жадов.— Не то опять возьму вожжи...

Не доезжая до Прудков, Жадов поймал левую вожжу и рывком потянул ее на себя, сворачивая мерина с ухабистой дороги.

— Чего такое? — спросил Ларион.

— Давай в объезд... Низом.

— Куда ж править?

— На Богоявленский перевоз.

Но до перевоза они не доехали. В Липовой роще, там, где кончается озеро Лука и начинается длинный пологий спуск к реке, их остановил негромкий протяжный свист, похожий на ленивый загадочный посвист ястреба. Жадов перехватил у Лариона вожжи и резко осадил лошадь. Из кустов вылез широкоплечий человек и, подойдя к телеге, заговорил голосом Лысого, соседа Лариона:

— Здорово, Сообразило! — потом засмеялся и ткнул его шутливо в бок.

Ларион от удивления язык проглотил.

— Ну, что? — спросил Жадов.

— Все в порядке,— сказал Лысый.

— Берите мешки! — приказал Жадов и спрыгнул с телеги.

Парень и Лысый взяли по мешку, а Жадов сразу два и, обернувшись к Лариону, сказал:

— А ты чего сидишь? Бери пятый мешок. Айда за нами.

Ларион тоже закинул на загорбину мягкий, но нетяжелый мешок, от которого резко несло нафталином, и несколько минут вместе со всеми продирался сперва липовым лесом, а потом ивняковыми зарослями. Наконец вышли на песчаную речную мель. Здесь приткнулась у косы здоровенная черная лодка. Они сложили мешки в лодку, и Лысый с Жадовым, кряхтя, врастопырку, отпя-

тив зады, стали сталкивать ее в воду. Потом одновременно прыгнули в нее и разобрали весла.

— Сообразило, поезжай на перевоз! — наказал из лодки Жадов. — А ты, Пашка, держись на телеге. Не то он вздумает еще по глупости удрать... Смотри у меня, Сообразило, не сболтни чего лишнего Ивану Веселому. Скажешь, мол, в Агишево едешь, поросят купить. Сегодня там базар.

— Ладно, скажу, — отозвался Ларион.

— За перевозом, на Овечьей плеши, возле дуба, свернешь направо. А дальше тебе Пашка дорогу укажет. Мы вас будем ждать на Куликовой косе. Поезжайте!

Жадов сел, зашлепали по воде весла, и широкая неуклюжая посудина стала медленно разворачиваться носом к тому берегу.

3

Сенькин кордон был самым дальним пристанищем Зареченского лесничества: здесь, на границе Ермиловского леса, на месте давних порубок выкорчевали десятин пять сухого лога уремы, засеяли их клевером да тимофеевкой, а на красном взъеме, в сосновом бору, срубили просторную избу с широким подворьем и сараем с поветью. Здесь когда-то были отгоны для породистых симментальских коров ермиловского лесничего, жили скотницы да лесной сторож и объездчик Сенька Кнут. Отсюда Саровский тракт круто брал влево, к невидимому берегу далекой Оки, шел южными отрогами нетронутых Муромских лесов, у которых, говорили, нет ни конца ни края. Дорога эта была на редкость глухой и скверной, доступной в иные слякотные дни разве что одним пешим богомольцам. С закрытием далекого Саровского монастыря забросили и эту дорогу; опустел со временем и обезлюдел Сенькин кордон, исчезли симментальские коровы, позарастали кустарником клеверища. Остался на кордоне один Сенька Кнут, теперь уж не объездчик при лесничем, а государственный служащий — лесник Зареченского лесничества.

Иван Жадов, года два тому назад устроившийся лесником, сразу приглядел для себя это местечко. Он снял для отвода глаз квартиру в Ермилове, но все операции свои проводил через Сенькин кордон, там и

«малина» его собиралась. Сенька Кнут, нелюдимый старый бобыль, был надежным сотоварищем: он мог отлучаться на целые недели — отгонять краденых лошадей в Муром или в Мордовию, отвозить барахло на толкучку в Нижний или в Растяпин — никто не хватится и не спросит: где Кнут? И в дележке был покладист, доли своей не брал: «На что мне деньги? Солить, что ли? Да и грех от них». Зато уж выпить любил: «Как выпию, наемся от пуза... Ляжу спать — ну, прямо дух замыкает».

Старший лесник Кочкин, тот самый, что отвозил Жадова до Пантюхинских рыбацких станов, привез утром из Ермилова на Сенькин кордон живого барана, передал Кнуту, чтобы тот к вечеру освежевал его да съездил бы в Елатьму, привез барышень. Сам Кочкин в делах Жадова никогда не участвовал, хотя косвенно помогал ему и брал всякие подарки. Сенька Кнут исполнил все в точности: запряг с утра в черный рессорный тарантас добрую рыжую кобылу, пригнанную Жадовым откуда-то совсем недавно, и одним духом отмахал тридцать верст туда и обратно по лесной ухабистой дороге, на счастье просохшей от жаркой сухой погоды. Барышни были ему знакомые, не впервой возил их: одна маленькая, широкобровая, с тугими черными косами, носившая, как цыганка, цветастые шали да пестрые платки, хвасталась — будто она племянница самой Марии Ивановны Поповой, бывшей елатомской миллионерши; другая полная, белая по имени Алена, с низким хрипловатым голосом и хмурым, словно спросонья лицом, постоянно одергивала меньшую: «Верка, не ври!» — «Что ты понимаешь в историческом прошлом! Сипит, как труба самоварная...» — огрызалась та. «А ты погремушка! Или нет — колотушка ночная...» — «Я женскую прогимназию окончила. И работаю в гимназии!» — «Ага! Библиотечным счетоводом». — «А ты трактирная подавала!» Так они обычно переругивались всю дорогу, но не злились друг на друга, а посмеивались, вроде бы комплиментами обменивались. А то возьмут Семена в оборот — у него было подозрительно голое морщинистое лицо.

— Кнут, а ты когда-нибудь влюблялся?

— Чаво?

— Почему не женишься?

— Устарел я, девки.

— Кнут, а это правда, будто у мужиков, которые боятся баб, отсыхает?

— Чаво?
— Поливалка...
— У меня, девки, ишо хватит на семейку.
— Воды, что ли?
— Ах вы забубенные!..
Они только покатываются.
К вечеру подъехал с Выксы компаньон Жадова по сбыту лошадей, крупный барышник, знаменитый на весь Муром Васька Жук. Носатый, черноволосый, в щегольских сапожках, в коричневой, с широким поясом блузе, с кожаной полевой сумкой через плечо, он был похож на районного представителя: Сенька Кнут, суетившийся возле вздернутой бараньей туши на подворье, даже струхнул малость, как увидел этого щеголя, подходившего к высокому заплоту.
— Ты чего, не узнаешь, что ли, старый пень?— крикнул Жук.
— А, маткин корень! Никак, ты, Василий Порфирьевич?—с готовностью подался к нему Семен, вытирая руки о штаны.
— А где Матрос?—спросил тот.
— Обещал к вечеру приехать.
— Лошади есть?
— Там, в хлеву.
Но лошадей ему не удалось поглядеть; распахнулась дверь, и на крыльцо выбежала Верка в одном сарафане с открытыми белыми плечами, косы вразлет, картинно раскинула руки и, слетев по ступенькам, кинулась ему на шею:
— Жук-летунец! Букашка черномазая... Я задушу тебя, заласкаю...— она целовала его и тараторила.
Он едва на ногах устоял. Потом обхватил ее за талию:
— Откуда ты, ягода-малина? Цела? Дай-ка я взгляну на тебя. Не откусили у тебя какой-нибудь бочок?
— Не беспокойся, ее не убудет от таких пустяков,— сказала в растворенное окно Алена.
— У-у, баба-яга! И ты здесь?—удивился Жук.— Вот это встреча! Да где же Матрос?
Жадов приехал поздно вечером. Уже истухал костер перед домом, разложенный Сенькой Кнутом, уже истомилась до черноты, перекипела в нутряном сале баранья печенка, подвешенная в чугунном котле на треноге, уже отставлена была в сторону, обложена до самой крышки горячими углями глубокая жаровня-гусятница, полная

шваркающими кусками жареного мяса, уже снят был с длинного и подвешен на короткий крючок, под самую подвязку треноги, огромный медный чайник, заваренный корнем шиповника да рублеными побегами черной смородины, уже успели сбегать да искупаться на дальнее лесное озеро Жук с Веркой, уже вздремнула Алена на разостланной байковой попоне в тени под сосной,— когда загромыхала по бугристым, свилистым кореньям лесной дороги тяжелая телега Сообразилы и пегий мерин, потемневший от пота, устало потрюхивая, показался на поляне. Жадов, в белой рубашке и черных брюках, завидев гостей, спрыгнул с телеги и, наказав Лариону ехать на двор, двинулся к костру.

— Хорош гусь! Позвал гостей, а сам в кусты,— встретил его Жук, посмеиваясь.

Рядом у костра сидела босая Верка, как бес вертела мокрой головой. И Жук был босой, в майке.

— Я вижу — вам тут было не до хозяев,— сказал Жадов и поглядел на бугор; там, под сосной, сидела Алена, обхватив оголенные кипенно-белые колени, ждала. Он сухо сглотнул слюну и для приличия потоптался возле костра.

— Иди, отопри ворота! Чего рот разинул? — приказал Семену.— Дай овса пегому.

— Дык-кыть ворота отперты.— Семен встал и лениво побрел ко двору, куда сворачивала телега.

Алена все ждала, глядела на Жадова исподлобья.

— Ну чего там колдуешь, баба-яга? — крикнул ей Жук.— Иль особое приглашение ждешь?

Она и не шелохнулось. Жадов коротко глянул на нее и опять сухо сглотнул, только кадык дернулся.

— Лошадей видел? — спросил он Жука.

Тот кивнул головой:

— Рыжая кобыла хороша. Трех сотен не жаль.

— Трех сотен...— Жадов только ухмыльнулся.— Ладно, столкуемся. Несите все в избу. Накрывайте столы. И окна закройте — не то комары заедят.

А сам пошел на бугор, туда, к Алене, как бык, нагнув голову, словно забодать ее хотел.

— Ну, здравствуй! — остановился перед ней, широкоскулый, приземистый, тяжело сопя, перекатывая под кожей бугристые желваки.

Она только сощурилась, и голубые глаза ее недобро потемнели, да складка легла надо лбом промеж бровей.

Убей — не встанет. Он глухо рыкнул, бессильно стиснул кулаки и сел рядом.

— Вот так! — сказала она, убирая руки с колен.— Подлец ты, Ванька, и трус.

Он опасливо метнул взгляд на костер — не слышат ли? Жук с Веркой возились с котлами и чайником — расстояние далекое, не слышат.

— Ты все-таки поосторожней,— сказал Иван.— Не то я ведь...

— А что? — вызывающе спросила Алена.

— Давану разок — язык высунешь.

— Ну-ка, давани! Давани!..

— Ладно,— он опустил голову.— Не мог я приехать.

— Зачем же трепался? Я ушла с работы... Вещи упаковала. Три дня на узлах сидела, как дура. А ты?..

— Что я? Не могу я в Ермилово тебя взять...

— Кого ж ты боишься?

— Никого я не боюсь... Мне просто пора сматываться отсюда. Хотя бы на время... Поняла?

— Вот и поедем вместе.

— Для этого деньги нужны... И немалые. Да место хорошее. Подготовленное!..

— Поедем в Орехово... Мой дядя устроит тебя по снабжению... И я на фабрику поступлю.

— Ты еще на стройку меня позови! — хохотнул Жадов.— В ударники... Темпы давать...

— Но я больше не хочу из-за тебя торчать в этом трактире. Понял? Больше ко мне не сунься. Я одна уеду.

— Да погоди ты горячку пороть. Что-нибудь придумаем.— Он взял ее за руку и потянул за собой в избу.— Пошли!

Гуляли долго с каким-то отчаянным остервенением,— две четверти водки выпили, пять бутылок красного, посуду побили, струны порвали на гитаре, наспорились, напелись до хрипоты и расползлись только на рассвете: кто зарылся в сено на повети, кто в сенях свалился, а кто и за столом уснул.

А начинали чинно: Жадов по-хозяйски сел с торца, по правую руку поставил четверть водки, по левую посадил Алену.

— Горько! — крикнул было Лысый, подобострастно ухмыляясь, заглядывая на Алену, порозовевшую под жарким светом висячей лампы, как сдобная булка.

— На, чмокни ее в горло и заткнись! — цыкнул на

него Жадов, подставляя четверть водки, и сердито осмотрел все застолье: — Сперва дело обговорить надо, а потом — вольному воля...

У запасливого Кнута все имелось на такой случай: и вилки с ножами, и тарелки, и маленькие стаканчики, и даже рюмки на тонкой ножке — для барышень. Но только лишь Кнут открыл жаровню с духовитым мясом, как Сообразило залез в нее всей пятерней.

— Азият! — стукнул его по черепу ложкой Кнут.— Здесь обчество сидит, а не базарные мужики.

Ларион виновато ощерил свой щербатый рот и только гыкнул, беря вилку.

Но когда Жадов стал разливать водку, он опять пожадничал — схватил посреди стола фарфоровую чашку и потянулся с ней к четверти, а свой маленький стаканчик накрыл рукавом.

— Сообразило, за этим столом все равные... Коммуна, понял? — изрек Жадов.— Вот и веди себя, равняясь по всем остальным членам. И не хапай, как единоличник. Не то руки оторву, согласно Уголовному кодексу РСФСР.

Все засмеялись.

— Да, кодекс у нас все серьезнее с каждым днем,— сказал помрачневший Жук.— Меня так обложили налогами, что каждая лошадиная голова не в карман, а из кармана тянет.

— А ты что их, по ведомости проводишь, головы-то? — спросил Жадов.

— Нет, Ваня... Даже с тобой дело иметь накладно стало.

— Вон как... Что ж ты задумал?

— Пока только одно скажу — закрываю лавочку.

Жадов присвистнул:

— Ну, поехали! Остальное по дороге доскажешь!

Выпили и девчата. Им налили нежинской рябины. С минуту воцарилось молчание — все шумно работали челюстями и сопели, как будто воз везли.

— Так берешь лошадей? — спросил опять Жадов.

— Беру всех трех,— ответил Жук.

— А барахло?

— Как обычно... Пускай Семен везет до Мурома, а там свезу куда следует. Что-либо есть ценное?

— Шуба на козьем меху, крытая драп-кастором, бекеша из кенгуру, пальто с бобровым воротником. Отрезы есть... сапоги... и так, по мелочам. Нахапал Мельник в

голодные годы будь здоров. Мы ему, значит, экспроприяцию устроили...

— Иван, ну чего ты нудишь, как на поминках! — крикнула через стол Верка, сидевшая рядом с Жуком.— Налей! Иль удачи тебе нет? Иль руки сохнут? Или вахлаки перевелись? Хватит на наш век...

— Правильно, Вера! Мы еще покидаем телят на холку.— Иван тряхнул своими длинными волосами и взялся за четверть.

— Кнут! Ставь граненые стаканы! Наливай по полному... Не то закисли, как вечорошнее молоко,— крикнула Верка.

— Ух ты, ягода-малина! Фу-ты ну-ты... А плясать будешь? — спросил Жук.

— Буду!

— Сенька, гитару! — крикнул Жук.

Семен снял со стены гитару на розовой ленте, достал граненые стаканы с деревянной открытой полки и, дунув в каждый, как в патрон, поставил их на стол.

— Хоть бы сполоснул, дикобраз нечесаный,— сказал Жук, принимая гитару.

— Чего их полоскать?.. Из них никто и не пил с самой купли. Кружками обходимся,— сказал Семен, усаживаясь на свое место.

— Чаво там стакан, лей в кружку! — потянулся к четверти Ларион с кружкой.

— Смотри, Сообразило, в колхоз тебя не примут,— засмеялся Жадов, но в кружку налил: — Пей, черт с тобой.

И все потянулись к Жадову — кто с кружкой, кто с чашкой, а Жук протянул тарелку.

— Плесни сюда! Ложкой хочу похлебать.

— А выхлебаешь?

— Выхлебаю!

— Ваня, налей мне в блюдце! Я вприкуску с сахаром хочу,— потянулась Верка.

— Наливайте во что хотите... Пейте! — Иван принес из сеней еще одну четверть и — грох ее на стол...

И пошла разливанная...

Загудело, закрутилось колесо.

Лысый налил всклень оловянный ковш, выпил его одним духом и, надев ковш на голову, пошел вприсядку вокруг стола, посвистывая и приговаривая: «Как зять тещу завел в рощу...» Верка держала пальчиками блюдце

и, шумно дуя, как на горячий чай, схлебывала глотками водку. Жук, отставив тарелку, из которой выхлебывал водку ложкой, взял гитару, закинул голову, мучительно свел размашистые черные брови, потянул воздух, как на первом утреннем морозе, и, громко хакнув,тряхнул гитарой и рассыпал высокие, томительные переборы цыганочки: «Эх раз, что ли! Да еще раз, что ли...»

— Верка, оторви да брось, чтобы доски загудели-запели!..

Та выкатилась из-за стола, как пущенная с карусельного круга, только дробь грохотом, да сарафан пузырем, да косы вразлет.

Жук бросил на стол гитару, поднял Верку на руки и, целуя, спрашивал:

— Ну, ягода-малина, проси чего хочешь! Все отдам, не пожалею...

— Подари мне рыжую кобылу,— сказала Верка, жарко играя глазами.— Купи у Ивана...

— Зачем она тебе?

— В гости ездить. Семен возить будет.

— Будь по-твоему.— Он опустил ее на пол и сказал Жадову: — Матрос, я покупаю рыжую кобылу и оставляю ее здесь... Для девчат.

— Чего? — Жадов выпучил зеленые жабьи глаза, встал из-за стола, подошел к Жуку, поймал его за отворот коричневой куртки и осадил, придвинул к себе.— Лучше меня хочешь быть? Не выйдет! Это я дарю девчатам рыжую кобылу. Кнут, слышишь? Беречь ее как зеницу ока. Во как... Гуляй, ребята, пока Жадов живой...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Зиновий Тимофеевич Кадыков решил собрать на совет весь актив артели и обговорить: что делать дальше, куда идти?

Собрались в той же конторке при магазине; на скамью вдоль стены сели все три зачинателя артели: Прокоп Алдонин, старчески сухой, но прямой и рослый мужик с аккуратно подстриженными треугольничком седеющими усами, Андрей Колокольцев, по прозвищу Ельтого, круг-

лолицый здоровяк с младенческим румянцем во все щеки, да Иван Бородин, по-уличному Ванятка, несмотря на возраст бойкий еще и черноусый.

Руководство артели расположилось вокруг стола: Кадыков в центре, по торцам Успенский и Клим Барабошка — он был и кассиром, и экспедитором, и за продавца оставался.

Кадыков поднялся.

— Дело вот какое: надо подбить бабки, посчитать — сколько и кому задолжали, какие прибыли и тому подобное. Заодно посоветоваться — наметить новое руководство, а старое переизбрать.

— Как то есть переизбрать?

— Какое еще новое руководство?

— Новый блин всегда жжется.

Загомонили на скамье.

— На этот счет прениев не требуется,— строго сказал Кадыков.

— Да ты чего это надумал, Зиновий Тимофеевич? — обалдело глядел на него Прокоп.— Чем мы тебе не угодили? Что ты, в самом деле, нас прогнать хочешь или сам уходишь?

— Обожди малость. Узнаешь все по порядку, кто кому угодить хочет, а кому надоело в угодничество играть! Давай, дорогой Дмитрий Иванович, выкладывай все наши счета.

Успенский раскрыл серую картонную папку и сказал, глядя поверху:

— А чего тут докладывать? Вы и сами все наперечет знаете. На июнь месяц изготовлено сто пятьдесят тысяч кирпича, да сто тысяч сырца лежит в сараях, ждет обжига. Две печи хрущёвки обожгли. Высаживать надо... Это по кирпичному заводу... Теперь каменщики. Капкин дом вывели под стропила, Кости Бердина дом сдали, Семену Луговому заложили фундамент — кирпич свезен на площадку. По кредитам задолженность погасили. Проценты за торговлю внесли. Магазин в полном порядке, можете проверить. Деньги на счету есть. Пусть бригадиры закрывают наряды. Рассчитаемся и с каменщиками и с кирпичниками.

— Дак чего у вас приспичило? — спросил опять Прокоп, беспокойно ерзая на скамейке.— Июнь еще почти весь впереди.

— На носу Троица, Духов день... Праздники,— нехотя

отозвался Кадыков.— А после Троицы навоз будем вывозить. Тогда не до кирпича и кладки.

— Дмитрий Иванович-то не возит навоз! — крикнул Прокоп раздраженно.— Он и посчитает все не торопясь... В аккурат расплатится.

— Дмитрий Иваныч от нас уходит,— раздельно, точно по слогам, отчеканил Кадыков.

— Куда уходит?

— Чего ж ты молчишь?

— За этим и собрал вас, чтобы сказать. Дмитрий Иванович сдает дела.

— Кому?

— Ня знаю,— по-пантюхински, упирая на «я», отрезал сердито Кадыков и нахохлился, словно кто-то его обидел.

Бородин и Ельтого выжидательно и удивленно глядели на старших, но те молчали. Прокоп метал прокурорские взоры то на Кадыкова, то на Успенского; но Кадыков, резко вскинув подбородок, рассматривал тесовый потолок, а Успенский, низко опустив голову, что-то чертил в папке.

— Э-э, как она, как ее... Притчина ухода? — спросил наконец Барабошка.

— Указания свыше не обсуждаются,— ответил уклончиво Кадыков.

Успенский слегка покраснел и, глядя вкось на Барабошку, пояснил:

— Я в ближайшее время поступаю учителем в Степановскую школу.

После этих слов Прокоп, все время державший голову поверху, как гусак, сразу осел, подавая вперед мосластые плечи.

— Вопросы имеются? — спросил Кадыков.

— Кого подготовили взамен? — спросил глухо Прокоп.

— Вот рекомендую Клима Борзунова, если он, конечно, согласится,— Кадыков мотнул головой, взглянул на Барабошку.

— Э-э, как она, как ее... Работенка не под силу. Не по голове то есть... Запутаю, мужики, все дебеты и кредиты... Сам черт не разберет, а сатана шею сломит. Право слов, мужики,— залотошил Барабошка.

Прокоп скривил щеку и вздохнул, потом с надеждой поглядел на Кадыкова:

— Может быть, ты возьмешь и бумажные дела? А, Зиновий Тимофеевич?

— Нет, мужики... Я тоже ведь ухожу,— отрезал Кадыков.

— Как? — Прокоп подался к столу и часто заморгал.

— Я не обучен с кредитами обращаться... Я человек служилый... То в армии, то в милиции. Пожары тушил, за преступниками бегал. Вот и пойду опять, пожалуй, туда же.

— А как же мы? Закрывай лавочку, да? — спросил Иван Бородин, обращаясь к своим приятелям Прокопу и Андрею.

— Ельтого, попросим в РИКе, может, пришлют кого с образованием,— сказал Колокольцев.

— По почте выпишут, что ли? — усмехнулся Прокоп.

— Найти все можно,— сказал Кадыков.— Было бы желание. Боюсь, что в РИКе вам не помогут, а скорее наоборот.

— Как то есть наоборот? — спросил Прокоп, все более удивляясь.

— А так. Не нравится ваша артель Возвышаеву. Вот кабы все обобществить — землю, инвентарь, скот... тогда другой оборот.

— Так была же в Выселках коммуна?

— Возвышаев повторить хочет,— сказал Кадыков.

— Нет, на это я не согласный,— решительно отрезал Прокоп и хлопнул себя по коленке.

— Ты погоди, Прокоп, погоди! — Ванятка положил свою ладонь на сжатый кулак Прокопа.— Раскатать избу куда как просто. Сложи ее попробуй заново! Ты забыл, как мы артель создавали? Сараи строили, печи?! Жилы из себя тянули. Последние гроши закладывали... Думали — оправдает, обернемся... разбогатеем... И теперь вот, когда дело пошло на лад, сами разбегаемся. Куда? Пошто?!

— Окстись, Христос с тобой. Кто, я разваливаю артель? Ты их вон спроси,— указал Прокоп на застолицу.— Куда они бегут? И пошто?!

— Мы на службе,— ответил Кадыков.— Нас отзовут, других поставят. Это вам решать — быть артели или не быть. Обобществляйте землю, инвентарь, и разговор кончен.

— Не для того я двенадцать лет хрип гнул, чтобы свалить все свои манатки в общую кучу,— крикнул Прокоп.

— Да кто тебя заставляет делать кучу малу? — подался к нему опять Ванятка.— Ведь бьем же вместе кирпич, дома вон строим. И ничего. Разбираемся, кто лучше кладет, тот и получает больше. Так и с землей приладимся, и с инвентарем.

— Приладимся! Один придет с сохой, другой — с блохой,— усмехнулся Прокоп.— Скажи уж проще: отдай, мол, нам свою молотилку, а сам ходи с цепами.

В отличие от худого и мосластого Прокопа, Ванятка был широк и плотен, с большой лысой головой, словно полированной на точильном станке. Взрывается он, как порох; цыганистые глаза его округлились, ноздри задрожали, голова пятнами покрылась:

— Скаред лыковый! Ты дождешься... У тебя ее все равно отберут.

— Кто это отберет? Да я башку ему отвинчу, как гайку. И брошу под забор.

— Мотри, разбросался...

— Эй вы, забубенные! Поменьше размахивайте кулаками! — крикнул Кадыков и постучал ладонью об стол.

— Да я к нему по-человечески,— ринулся к столу Ванятка.— О себе думай и других не забывай. Сколько семей кормит наша артель? А развалим ее из-за каких-то сеялок да молотилок. Уж ежели на то пошло,— обернулся опять к Прокопу,— оплатим мы твою молотилку.

— Оборы от лаптей продашь? — с усмешкой спросил Прокоп.

— Не оборами, а хлебом артельным за три-четыре года погасим.

— Ага, десять лет по кружке молока...

— Прокоп Иванович, подумай все-таки. В колхозе тоже жить можно,— сказал Кадыков.— В конце концов твою же молотилку артель и так использует.

— То я за ней гляжу, потому как хозяин, а то она у Барабошки под навесом валяться будет,— возразил Прокоп.— Ее ребятишки растащат из озорства.

— Э-э, как она, как ее, прошу без выпадов на оскорбление.

— Значит, кирпич можно бить сообща, а землю пахать нет? — обиженно спрашивал Ванятка.

— Кирпич, тьфу! — плюнул Прокоп.— Комок глины. И кладут его в станок. Лаптем шлепнул — и вся недолга. А земля — особь статья. Кажный клин свой характер

имеет. К земле приноравливаться надо. А вы наскоком хотели...

— Ельтого, Прокоп Иванович, не согласен — дело табак. Мужики за ним потянутся. Развалится артель наша,— сказал Колокольцев, с надеждой глядя на Кадыкова.

— Вот то-то и оно. За нос водить вас не хочу, мужики. Доложу Возвышаеву — все как есть. Захотят — найдут замену. Нет... На нет и суда нет. Значит, придется вам расстаться. По времени оно теперь и не страшно. Кладку кончаете... Кирпич успеете обжечь. А там полевые работы, луга, страда... И до самой осени. А магазин надо прикрыть. Паи раздать сможешь? — обернулся Кадыков к Успенскому.

— И паи раздам и жалованье выплачу,— ответил Успенский.— Надо бы с контрактами поторопиться, закончить работы до праздников. По скольку примерно каменщики заработали?

— Ельтого, посчитать все со всем, так, пожалуй, рублей по пятьдесят, а то и по шестьдесят выйдет.

— И кирпичники примерно по стольку,— отозвался Прокоп.

— Мать твою в клюшку подорожную! — выругался Ванятка и головой покачал.— Что ж мне теперь, опять в кузницу итить? Лепиле железку держать? Что вы, мужики? Неужто вот так возьмем да разойдемся?

— Зачем же так просто и насухо? — мягко улыбнулся Успенский.— Или мы нехристи? Окропим усы и бороды святой водицей.

Смешок получился жидкий, весь какой-то вымученный.

— Ладно, мужики. Неча раньше времени слюни распускать. Сегодня же доложу Возвышаеву. А там, если понадобится, и к секретарю райкома сходим.

2

Возвышаев принял Кадыкова после обеда.

— Ну, что у тебя загорелось?

Он сидел за своим массивным дубовым столом и нетерпеливо поглядывал в окошко,— там, возле зеленой железной ограды, за сиреневый куст был привязан

вороной риковский жеребец, запряженный в рессорный крылатый тарантас.

В задке на охапке свежескошенной травы сидел в белой расшитой рубахе навыпуск заведующий роно Чарноус, маленький подслеповатый мужичок, дремавший от жары, как кот на лежанке. Они с Возвышаевым собрались ехать в Степаново, принимать учебный корпус и кирпичные мастерские бывшего ремесленного училища под новую, пока что на бумаге созданную школу второй ступени. В кабинете Возвышаева было душно, как на солнцепеке, и Кадыков, прежде чем приступить к делу, сказал:

— Хоть бы окна открыли.

— Нельзя. Мухи отвлекают — не дают сосредоточиться. Расстегни ворот.— Возвышаев сам расстегнул френч, распахнул отвороты, так что показались узенькие синие подтяжки на белой коленкоровой рубашке.— Ну, что у тебя загорелось? — повторил свой вопрос.

— Гореть-то, пожалуй, нечему. Все уж давным-давно истлело.

— Как то есть нечему?

— Вот так... Решил уходить из вашей артели, если она является тормозом к общественному развитию.

Один глаз Возвышаева отвалил в сторону и зацепился за кафельную печь, второй из-под брови сизовато-черной дробинкой зрачка нацелился на Кадыкова:

— Во-первых, артель эта не моя. Не я создавал такую квашню для аппетита мелких собственников. А во-вторых...

— Но ты же меня посылал хлебать из этой квашни! — перебил его Кадыков.— Или, может, стоять с черпаком возле нее?

— Ты, дорогой товарищ, путаешь историческую обстановку. Это раньше, когда ты служил у купца Каманина, тебя единолично мог послать хозяин на выполнение своего задания. У нас же, как известно, такие вопросы решаются коллегиально, и ваше направление в артель решалось на волостном исполкоме.

— Вы мне политграмоту не читайте,— сердито вскинул подбородок Кадыков.— Я у купца Каманина эксплуатацией рабочего класса не занимался. Как раз наоборот — меня эксплуатировали за бесценок. И на исполкоме, где посылали меня в артель, председательствовали не кто-нибудь, а вы.

— Исполком посылал вас с определенной целью —

перестроить артель в общественном плане, то есть весь рабочий инвентарь, землю и так далее — все обобществить.

— А если, допустим, артельщики не хотят этого, тогда как?

— Тогда вы не справились с поставленной задачей. Это — во-первых... А во-вторых, вопрос о вашем пребывании на посту председателя не ставился. Мы требовали только одного — снять с руководящей работы некоего Успенского, как чуждого элемента.

— Успенский с работы ушел.

— А его обязанности возьмете вы.

— Я вам не бухгалтер...

— Это одна сторона вопроса,— продолжал Возвышаев, не слушая возражений.— А другая и главная ваша задача — за летний период создать первый настоящий колхоз в нашем районе...

— А я вам говорю — бухгалтером не стану работать. В кредитах я не разбираюсь, подряды не брал и подрядчиком не был. Это дело для меня новое.

— Создавать колхозы — для всех нас дело новое. Вот нам, коммунистам, его и осваивать. Так что спорить не о чем. Кстати, как у вас подписка на заем? Полностью охватили?

Кадыков поморгал глазами, точно спросонья, и выпятил губы.

— Ну чего молчишь? Язык проглотил? Я спрашиваю — подпиской на заем всех охватил?

— При расчете за весенние работы все подпишутся, кто еще не успел,— ответил хрипло Кадыков.

— Ну вот... Доложишь. А пока до свидания.— Возвышаев застегнул китель, встал и резко подал Кадыкову руку.

— Я к вам пришел не за тем, чтобы получить задание,— сказал Кадыков, не подавая руки,— я требую делопроизводителя... Иначе артель распадается.

— Это что за ультиматум? — раздраженно повысил голос Возвышаев.— Вы с кем разговариваете? У кого требуете?..

Скрипнув, растворилась дверь, и без стука вошел худой носатый человек в черных роговых очках. Кадыков узнал первого секретаря райкома Поспелова, недавно присланного к ним из округа.

На нем была коричневая толстовка под широким

командирским ремнем, темно-синие галифе и ярко начищенные сапоги, такие же, как у Возвышаева, только с заколенниками.

— Ты еще не уехал?—с ходу заговорил он с Возвышаевым.—Я забыл тебе сказать: звонили мне из Степановского селькова. Там у них лес заготовленный не принимают. Заезжай к ним, разберись. А вы кто такой?—строго спросил Кадыкова.

— Председатель тихановской артели,—ответил за Кадыкова Возвышаев.

— Здравствуйте!—Поспелов подал Кадыкову сухую узкую руку.

— А я как раз к вам собирался зайти,—сказал Кадыков, поздоровавшись.—Я бывший работник угрозыска. И товарищ Озимов снова приглашает меня на работу. Говорит, что с вами согласовывал.—Кадыков с вызовом поглядел теперь на Возвышаева—на-ка, мол, выкуси.

— Да, говорил,—подтвердил Поспелов.—Милиция у нас не укомплектована. Так вы за этим и пришли?

— За этим самым... Но товарищ Возвышаев приказывает мне стать делопроизводителем артели, поскольку нашего делопроизводителя он уволил.

— Почему?—глядя в глаза, спросил Поспелов Возвышаева.

— Как бывшего лишенца,—ответил тот.

— Ничего подобного! Это отец его был лишенцем, то есть попом,—сказал Кадыков.—Наш делопроизводитель был и бухгалтером и подрядчиком. Я за него не останусь, потому как не обучен ни тому, ни другому. Прошу меня отпустить по специальности, а в артель назначить вместо Успенского другого, более грамотного, знающего человека.

— А что, специалиста нет?—спросил Поспелов Возвышаева.

— Не в том дело... Эта артель, можно сказать, бельмо у нас на глазу... В свое время мы посылали туда коммуниста Кадыкова с целью обобществить все орудия труда, землю, скот и так далее. Но, к сожалению, Кадыков сам пошел на поводу мелких собственников, и артель стала убежищем зажиточных крестьян. Артель надо либо перестроить, либо распустить. В таком виде оставлять ее нельзя.

— Можно мне сказать?—Кадыков вскинул подбородок и поглядел на Поспелова.

— Давайте,— кивнул тот.

— Наша артель является объединением крестьян вокруг производственных задач, а именно: изготовление и обжиг кирпича, извести-хрущёвки, строительство кирпичных домов и налаживание товарооборота среди населения — и это есть равноправная форма коллективного движения, я сам читал в брошюре.

— Читал, да не понял,— сказал Возвышаев.— Развел тут про кирпичи да хрущёвку... Ты лучше скажи, какое хозяйство у вашего артельщика Алдонина? Молотилка у него, к примеру, есть?..

— Есть...

— Да еще всякие сеялки-веялки... А где он у тебя заседает? В совете артели, да?

— Заседает в совете. Зато он больше всех кирпичу набивает, да известь обжигает, да хлеб молотит. Его молотилкой половина артели пользуется...

— Вот так, за счет своего имущества кулаки авторитет себе в артели завоевывают,— криво усмехнулся Возвышаев.— И это называется коллективной формой отношений...

— Кулак в артели? — удивленно поглядел Поспелов на Кадыкова.

— Он не кулак! У него отродясь батраков не было,— горячился Кадыков.— Он бывший боец. Ленту именную с броненосца имеет.

— Пусть он ее повяжет на дышло своей жатки системы «Джон Дир»! — закричал наконец Возвышаев.— Вот когда вы уберете из артели подобных типов да обобщите все имущество, тогда мы пошлем вам делопроизводителя.

Кадыков опять выпятил губы и тихо, но твердо сказал Поспелову:

— Я отказываюсь работать в артели. Прошу меня уволить. Пойду на прежнюю работу.

Поспелов снял очки, осмотрел их, будто впервые видит, и сказал, глядя в пол:

— Людей надо уважать и ценить по заслугам. Работа наша сложная. Поэтому меньше амбиции, больше трезвости, спокойствия... Ну что ж? Придется на бюро выносить...

И непонятно было — кому он говорил? Возвышаеву, Кадыкову или самому себе.

3

До бюро дело не дошло — Возвышаев послал в тихановскую артель своего секретаря: «Проведи собрание — лично опроси, уточни: хотят они обобществления или не хотят».

Тот вернулся и доложил: «Не хотят!» — «Тогда нечего и огород городить», — сказал Возвышаев и начертил на заявлении Кадыкова — отпустить. А начальник милиции Озимов упросил Поспелова не тянуть с утверждением Кадыкова в новой должности, потому что у него на весь отдел уголовного розыска числился всего один человек.

«Ну что ж, в каждом деле должно быть спокойствие и согласованность, — сказал Поспелов. — Не возражаю».

И вот новый помощник опера Зиновий Кадыков поехал в Большие Бочаги расследовать кражу.

Кадыков хорошо знал и Деминых и Андрея Ивановича Бородина, у которого лошадь угнали. Знал, что они какие-то дальние родственники, и оттого, что кража случилась с малым промежутком у людей близких, Зиновий Тимофеевич полагал, что тут замешано одно и то же лицо. Накануне вечером он зашел к Андрею Ивановичу и, к своему удивлению, застал там Возвышаева. Тот сидел в своем неизменном френче за столом в горнице и распивал чаи. Кроме Андрея Ивановича, чаевничали хозяйка Надежда Васильевна и свояченица его — Мария Обухова, работавшая в райкоме комсомола.

Зиновия Тимофеевича пригласили к столу и спросили, что будет пить: чай со сливками или толокно? Кадыков замешкался:

— Извиняюсь, вопрос у меня пустяковый, могу и завтра утречком забежать.

— А мы все тут пустяками занимаемся, — сказала Надежда Васильевна. — Толокно сбиваем да языками мелем.

— Садись, не чванься, — пригласил дружелюбно Возвышаев. — Людей уважать надо.

Он был благодушен, улыбчив, сидел, развалясь на деревянном диванчике, и, глядя на его распаренное широкое лицо, можно было подумать, что хозяин здесь он самый, а не кто-нибудь иной.

Кадыкова усадили на табуретку, налили полную чашку чаю.

Возвышаев, как бы обращаясь к нему, повел прерванный разговор:

— Вот пусть Зиновий Тимофеевич нам ответит: когда человек имеет убеждение, может он устраивать не коммунальный, а личный комфорт или нет?

— Какое убеждение?—буркнул себе под нос Кадыков.

— То есть как это какое убеждение? Убеждение, значит, идейность. А идейность бывает только одна— передовая, прогрессивная, то есть коммунистическая.

— А что, убежденный человек или есть не хочет?— спросила Надежда Васильевна.

— Вопрос резонный!—подхватил Возвышаев.—Все, что касается поддержания сил и здоровья, а также опрятного внешнего вида, все это есть необходимая потребность. А тут комфорт, то есть самое причудливое излишество: всякие завитушки, финтифлюшки и прочие другие красивости.

— Так что ж выходит, Никанор Степанович, кисти на шали или кружева на кофте, к примеру, тоже излишество?—спросила, улыбаясь, Мария и повела рукой. Она сидела в белой кофточке с широкими рукавами, отороченными кружевом.

— Мария Васильевна, попрошу меня понять правильно,—Возвышаев от смущения упустил один глаз в сторону и густо покраснел.—Все женские наряды хоть и являются пережитком буржуазного прошлого, но покамест существуют. И я на них не покушаюсь, потому что вопрос женской формы одежды еще далеко не разработан.

— Ха-ха-ха!—закатилась Мария, запрокидывая голову.—А все-таки, Никанор Степанович, какую бы форму одежды предложили вы нам, работницам райкома комсомола?

— Темно-синие тужурки... Красиво и не марко,— услужливо улыбнулся ей Возвышаев.

— Под цвет ваших галифе?—спросила она, смешливо прищуриваясь.

И Возвышаев опять сделался пунцовым, затеребил пальцами по столу:

— Кроме шуток, мы ведь начали разговор про убежденность,—как-то боком обернулся Возвышаев к Кадыкову.

— Разговор бесполезный,— глухо пробурчал тот в ответ.

— Нет, извините! Речь идет о смысле жизни, то есть об уважении. Я вот за что уважаю Андрея Ивановича? За умеренность. Он не даст ходу и развитию частной собственности. Потому что имеет высший интерес — коней ро́стить для государства, Красной Армии и так далее. А твой друг Прокоп Алдонин натуральное богатство копит.

— Он не мой друг,— сказал Кадыков.

— Это я к примеру. Андрей Иванович вон даже книжки немецкие читает,— кивнул Возвышаев на этажерку, где в самом деле рядом с Евангелием, Уголовным кодексом РСФСР, толстым томом Бауэра, пухлым справочником по сельскому хозяйству да комплектом журнала «Сам себе агроном» стоял старый немецкий календарь и наставление по скотоводству.

— Пустяки! В плену полтора года пробыл, вот и языку научился,— Андрей Иванович только покручивает усы да посмеивается.

— Вот именно — пустяки! — Возвышаев выкинул указательный палец.— Да разве не мог бы Андрей Иванович накупить коров, завести сепаратор и устроить молзавод у себя на дому?

— У него голова не так затесана,— сказала Надежда Васильевна.

— А я говорю — мог бы, да не хочет. Потому что не в том смысл жизни.

— А в чем он? — спросила Мария, озорно поглядывая на Возвышаева.

— Строить всеобщее счастье.

— А как насчет личного?

— Если эта личность не стоит поперек пути всеобщего движения, то она имеет право на счастье.

— А что это за право? Вроде удостоверения? За чьей подписью?

Мария дурачилась, как школьница, весело поглядывала по сторонам, точно приглашая посмеяться за компанию, а Возвышаев краснел, отдувался и терпеливо пояснял:

— Не подумайте, Мария Васильевна, что люди, связанные служебным положением, не хотят строить личного счастья...

«Батюшки мои! — сообразил вдруг Кадыков.— Да ведь

этот бирюк ухажера изображает... и Бородина хвалит, и насмешки терпит, и краснеет... Кабы на меня не кинулся с досады».

Кадыков отодвинул выпитую чашку и сказал:

— Спасибо за угощение! Я побегу — нет времени.

— Да сидите! Куда торопиться на ночь глядя? — донеслось со всех сторон.

— Нет, нет, спасибо! — Кадыков встал.— Андрей Иванович, на минутку можно тебя?

— Пожалуйста!

Они вышли в летнюю избу, прикрыв за собою дверь.

— Дело в том, что мне поручено вести дело по вашей краже. Есть ли у тебя какие-нибудь подозрения?

Андрей Иванович, теребя ус, склонил голову.

— Пожалуй, нет,— сказал он после некоторого раздумья.

— Хорошо. Тебе Демины из Больших Бочагов кем доводятся?

— Да седьмая вода на киселе... Дальние родственники по жене.

— А ты слыхал, что у них амбар обокрали?

— Слыхал. Был у меня позавчера Федот Демин.

— Случайно?

— Нет... Говорил о краже...

— Зачем же приезжал? Просто поговорить?

— Не просто... Подозрение у них имеется на родственника, на Василия Демина. А я у него был как раз на той неделе. Он в Агишеве работает, уполномоченным в селькове.

— Значит, посоветоваться приезжал Федот Демин? И что ж ты ему сказал?

— Сказал, что не думаю на Василия Демина.

— Почему?

— Улика повторилась... Как-то странно. Лет десять назад Вася обокрал у Демина амбар и потерял свою рукавицу, а может, и подкинул, кто его знает. И теперь вот в амбаре нашли тюбетейку жены Васиной.

— Где эта тюбетейка?

— У Федота Демина.

— Ну, спасибо! — Кадыков тиснул руку Бородину и двинулся к дверям.

— Если чего нащупаешь насчет моей кобылы, скажи! — крикнул Андрей Иванович вдогонку.

— Непременно! — ответил Кадыков.

4

Кадыков поехал в Большие Бочаги верхом на милицейской лошади не верхней дорогой через сухое Брюхатово поле, а в объезд, низиной, через Пантюхино, мимо Святого болота на Мучинский дубовый лес, чтобы въехать в Большие Бочаги со стороны Прудков, от реки. Ему хотелось как бы окружить село, еще раз взглянуть на все торные и заглохшие дороги, на луговые, безлюдные пространства, попытаться прикинуть, определить — по каким распадкам да буеракам вернее всего, незаметнее уходить от людского дозора мимолетной воровской ватаге. Была у него еще задача — заехать в Пантюхино, оглядеть забитый родительский дом, подворье с амбаром — все ли на месте? Не растаскивают ли дотошные соседушки шелуги с повети или примётины с соломенной защитки. А то, гляди, и до тесовой амбарной крыши доберутся. Многие не любят обходить мимо заброшенной постройки. У кого плохо лежит, а у нас брюхо болит.

От Тиханова до Пантюхина идут три дороги; одна торная, столбовая, чуть прихватывает дальний песчаный конец села и у самой околицы сворачивает в луга, минуя Тимофеевку, а там бежит вдоль сумрачного ольховского леса к далекому Богоявленскому перевозу; вторая дорога идет низом вдоль каменистой речки Пасмурки, как бы в обхват Пантюхина с другого «грязевого» конца, а третья виляет по овсам да оржам прямо на церковь,— она самая короткая — версты полторы всего, но по ней снуют пешие да верховые, на телеге ж редко кто ездит, разве что пьяный базарник, нализавшись в трактире, встанет во весь рост на наклестки, натянет вожжи и пойдет чесать напропалую, баб да девок пугать: «Разойдись, кому жизнь дорога!» Перед самой церковью глубоченный овраг, где оставила поломанные колеса не одна забубенная отчаянная башка.

Кадыков поехал полевой стежкой; возле церкви спешился, привязал коня за длинную, отшлифованную руками до блеска коновязь, а сам прошел за церковную ограду в дальний угол, где под раскидистой березой была могила его отца. Нагнулся, очистил ладонью могильный камень от моха, оглядел надписи: отколов не было, буквы цельные, аккуратные, будто вчера только выбитые. Сверху под православным крестом славянской вязью стояла

дата рождения и смерти, имя и отчество отца, а сбоку еще им самим была выбита надпись: «Вы там в гостях, а я уж дома». Чудак был родитель — подрядился у попа Афанасия подправить иконостас, отремонтировать двери, окна, алтарь в храме за могильное место в церковной ограде да за памятник, высеченный из белого известняка. Памятник этот, а в нем было пудов двадцать, приволок домой и хранил на дворе до самой смерти. Да, странный был человек, и религиозный и бунтарь одновременно, думал Кадыков, стоя у могилы. Он вспомнил, как в семнадцатом году летом пантюхинские мужики воевали с уездной милицией. А зачинщиком был его отец.

Как раз накануне Троицы... Поехали они в Мучинскую дубовую рощу за молодняком. Отец передом. «Мужики,— говорит он,— поскольку царя нет, таперика распоряжаемся мы». Ну, заехали с краю, который поближе, и пошла щеповня... только роща загудела. Вот тебе является объездчик от управляющего хутором: «Пошто дубьё дерем? Кто старший?» — «Я»,— говорит Тимофей Кадыков. «Чье решение?» — «Наше... На сходе решили».— «Тогда, говорит, пойдемте к выборным и управляющему. Акт подпишем. Ему ведь тоже отчитываться надо. Лес-то помещичий». Управляющий Квашнин, а помещик Кривокопытов сидит далеко, где-то в Рязани. Его лес-то... «Ну да, был его...» Пойдем, подпишем. Пусть знает наших. Пошли с объездчиком Тимофей Кадыков да кум Епифаний Драный. Энтому не впервой, ходок бывалый по всем мужицким хлопотам. Его и драли не раз в волости за недоимки, отсюда и прозвище прилепилось. Пошли весело, ходко... Вот тебе, не прошло и часу — бежит Епифаний без фуражки, рубаха располосована, пупок наружу и орет: «Ребята, наших бьют». Ну, ринулись мужики на хутор, кто с топором, кто с дубьем... А там — тишина мертвая. Ворота на запоре, двери дубовые... Не дом — крепость. Стучат, грохают в окна, в двери. Ни звука. «Они в погреб его затащили! — кричит Епифаний.— Высаживай двери!» Подняли бревно от завалинки, раскачали — шарах в ворота! Они с крюков слетели. Ворвались на двор... Так и есть. Сидит в погребе Тимофей, связанный валяется, весь в синяках, и кляп во рту. Ах, туды вашу растуды!.. Скрутили, связали управляющего и двух скотников и давай им банки рубить: один шкуру на животе оттягивает, закручивает, а другой ребром шершавой ладони, что доской, по натянутой коже как шарах-

нет — «бух!». «А-ы-ы!» И лиловые, иссиня-кровавые потеки плывут, растекаются радужным переливом по вспухшей коже. Управляющий Квашнин — мужчина солидный, кожа белая, живот большой. Захватывали толстую брюшину его пятерней, били в две руки глухо, как в дежу с тестом. После трех банок он и голос потерял, только носом свистит да хрипом исходит.

Этих кинули посреди двора связанными, Тимофея поставили на ноги. Ну, как — своим ходом пойдешь? Пойду... И только тут заметили объездчика — он на повети хоронился. Они было бросились за ним. Он через забор сверху-то маханул — да в сад. А там лошадь у него привязана была. Пока мужики очухались, выбежали со двора, он уж по дороге зацокал... Только пыль столбом.

«Ну, мужики, таперика берегись,— сказал Тимофей.— Всей милицией явятся».— «Ня бойсь!.. Мы тебя не выдадим».

На другой день у пантюхинской околицы появился милицейский патруль — шесть верховых с винтовками через плечо. Мужики заставили околицу телегами, набросали на телеги бороны зубьями кверху и сами залегли, кто с дробовиком, кто с берданкой, а кто и с вилами да с косой. Баррикада!

— Выдайте зачинщика! — говорит старший наезда.— Не то отряд вызовем. Хуже будет.

А те из-за своей засады:

— Лес наш. Таперика мы сами хозяева. Подавайте в суд. Пускай рассудят по закону.

Так они потоптались возле околицы, а приступом взять побоялись — не осилят. Чего их всего-то? Горсточка... Колами и то зашибут. Ладно, поехали по конопляникам, вдоль задов... Ну, думают пантюхинские, наша взяла, струсили.

А те заметили щербину в огородных плетнях — заброшенную усадьбу Марфутки Погорелой — и сквозь эту брешь ворвались с гиканьем в село. Сорвали винтовки: «Расходись по домам! Стрелять будем!» Захлопали выстрелы, забрехали собаки, завизжали свиньи, бабы заголосили. Ну, прямо как на пожаре. Думали милиционеры — мужики, мол, дрогнут от такого внезапного удара с тыла, побросают свои дробовики да вилы и по домам разбегутся. Но не тут-то было... Пантюхинцы, услыхав выстрелы, как в штыковую бросились с обоих концов села с вилами наперевес. Ну, застрелили десяток,

другой... А их сотни... Ревущая, разъяренная, неудержимая лавина. Сомнет и в землю втопчет. Постреливая в воздух, не спуская глаз с наседающих мужиков, милиционеры заворачивали коней и один за другим, как застигнутые облавой волки, ныряли в спасительный проран Марфуткиной усадьбы. Победа пантюхинцам обошлась почти бескровно, если не считать убитой свиньи да раненого деда Михея Каланцева,— шальная пуля прошила стену избы и задела ему ягодицу. Он лежал на печи... Мужики смеялись: «Ничего, Михей Корнеевич... Главное, бок не задела — спать можно. А сиделка тебе ни к чему. Похлебать щей и на боку можно. На печь подадут. Еще лучше».

Но Тимофея Кадыкова все-таки взяли. Схватили его недели через две на тихановском базаре. Били при всем народе кнутами... Потом сорвали с него рубаху, связали руки и ноги и везли через все деревни по столбовой дороге в уездную тюрьму. Просидел он до глубокой зимы, пока власть не сменилась. Пришел больной, избитый... Покашлял месяца два да и помер.

Гулкий скрежет церковных железных дверей заставил Кадыкова очнуться.

Возле паперти собирался народ к заутрене — больше все молодайки в длинных полосатых поневах, в темных, в белую крапинку ситцевых платках, повязанных углом, по-старушечьи, да с белой перевязью широких рушников, приторочивших на весу перед грудью запеленатых младенцев. Судя по густо запыленным сапожкам да высоко шнурованным ботинкам-румынкам, можно было предположить, что пришли они издалека. И Кадыков вдруг вспомнил, что скоро Троица — самая пора исцеления больных младенцев.

Пантюхинская церковь, срубленная из вековых дубов, стоявших когда-то на этом пустынном бугре, заложена была две сотни лет назад в честь Сергия Радонежского. В церкви хранились чудотворные мощи отца Сергия, изображенные на литом медном складне. Этот складень на красной ленте со святыми мощами надевали на страдающего младенца. Служили молебен... И с той поры замечали — либо дело шло на поправку, либо младенец исходил, истаивал за каких-нибудь два-три дня. Так и называлось это грозное приобщение — жить или помереть.

Оттого и скорбны были материнские лики и в

просторных одеждах преобладали траурные цвета — белый[1] и черный.

Кадыкову пришлось самому против воли своей пережить мучительные часы ожидания этих чудодейственных молебнов. В молодые годы жена его, Нюра, по какой-то темной непонятной болезни лишилась молока, и на глазах увядали, чахли младенцы: на ножках и ручках сводило до сухой собачьей щурбы кожицу, раздувался и стекленел животик, хоть по столу катайся. С застывшим испугом в округленных сдавленных криком глазах, носила детишек Нюра под святые мощи. Не выживали. На второй день умерла Настенька, на третий — Ванечка... А тот затаенный испуг в округлых глазах, тусменно-желтый болезненный цвет лица да вяло опавшие скорбные губы так и остались у Нюры с той поры, как наклеенная маска. Так и жили Кадыковы без детей...

Расстроенный до слез этими скорбными воспоминаниями, Кадыков понуря голову вышел из церковной ограды и направился к коновязи.

— Здорово, казак! — окрикнул его кто-то.

Кадыков вздрогнул и оглянулся — по тропинке к церкви шел ветхий кривоногий псаломщик Степан Глазок и щурил радостно свое и без того морщинистое, как печеное яблоко, лицо.

— Гляжу на лошадь и думаю: откентелева такой молодец прискакал? И лошадь породистая, и седельце вроде в серебряном окладе... Ан, оказывается, наш... Малайкина Соска.

Пантюхинских прозвали Малайкиной Соской. Принесла молодайка младенца издалека под святые мощи да и заночевала возле церкви. А утром хватилась — нет соски. Вот она и спрашивает дьякона, отворявшего храм:

— Отец дьякон, ты по церкви слонялся — малайкину соску не видал?

— А что у тебя за соска?

— Семь картох да хлеба ломоть...

Так и пошла с той поры дразниловка:

— Эй, пантюхинские! Кто из вас малайкину соску съел?

А потом и прозвище прилепилось к каждому жителю села — Малайкина Соска.

---

[1] Раньше в России на помин надевали белые ширинки, платки и запоны.

Степан подошел, протянул сухую детскую ручонку, поздоровались.

— Прогуляться к нам ай по делу?—спросил Степан.

— На избу свою хочу взглянуть,—ответил Кадыков, развязывая повод коня.—Случаем, сени не растащили на растопку?

— А чего хитрого? И растащат. Бесплизорная изба что мертвец незахороненный, один смрад от нее. Поди, надоело по кватерам тихановским шататься?

— Надоело, Степа,—весело сказал Кадыков, вскидывая свое легкое подтянутое тело в седло и разбирая поводья.

— Эх, голубь заблудший! Тяни до своей голубятни, не то чужие сизари глаза выклюют...

«А что, и впрямь, пожалуй, надо в Пантюхино переезжать,—думал Кадыков, удаляясь от церкви. Работа у него теперь подвижная. Нынче здесь—завтра там. Утречком иной раз и пробежаться до милиции нетрудно. А то на лошадке—обещали закрепить за ним одну лошадь. Вот и будет держать ее на своем дворе.— Приволье в Пантюхине лучше тихановского. Нюра гусей опять разведет, овец... Двор просторный, а дом сухой да теплый... Чего уж лучше? Скажу-ка я Нюре. Вот обрадуется»,—совсем размечтался Кадыков. И, осмотрев свой высокий под тесовой крышей дом из красного лесу, найдя все в отличном состоянии, он решил твердо переехать в Пантюхино. А решив, завернул на пантюхинские луга, лежавшие между Святым болотом и Мучами. Трава стояла непрорезная—уж не проползет. «Мелкая, шелковистая, упругая под ветром—шерсть, а не трава!— радовался Кадыков.—Нет уж, дудки! Луговой надел в этом году он возьмет здесь, в Пантюхине. Хватит, пошатался по чужой стороне...»

Крупной, машистой рысью, в добром расположении духа он быстро доехал до Больших Бочагов и свернул к мельнице Деминых. Увидев его, Федот остановил жернова, отряхнулся от белого мучного налета и пригласил Кадыкова в рубленый пристрой, вроде боковушки. Здесь он молча достал из деревянного настенного шкафчика школьную тетрадь, сложенную вдвое, и кинул ее на голый дощатый стол.

— Тут все записано, что украли,—и пододвинул к столу табуретку.

Кадыков мельком взглянул на тетрадь:

— Я уже знаю... Мне начальник показывал вашу опись. Ты мне скажи насчет улики.

— Какой улики? — Федот медленно, словно жернов, повернул голову, выкатил белки.

— Где тюбетейка? — спросил строго Кадыков.

— А-а, вон что...— Федот мотнул, как мерин, головой.— Ни хрена не стоит эта тюбетейка.

— Почему?

— Ездил я вчера к Васе Белоногому сам.

— Ну и что?

— В ту самую ночь, когда обокрали мой амбар, Вася был на лесозаготовках. Он работает уполномоченным от селькова... Заготовляет дрова и шпалы. Сотня человек у него работает.

— Это еще ничего не говорит. Он мог ночью незаметно съездить, а утром вернуться.

— Не мог... Во-первых, это далеко, верст сорок, а то и все пятьдесят будет. Сотню верст в телеге за ночь не сделаешь по нашей дороге. А во-вторых, он был в ту ночь с председателем селькова. Они деньги привезли лесорубам, получку... Ну и выпивали вместе. Я все разузнал.

— А почему тюбетейку сразу не отдал начальнику угрозыска?

Федот вздохнул и поглядел на Кадыкова по-бычьи, исподлобья:

— Потому, мил человек, что он мой брат. Хотел знать наверняка. А потом заявил бы, будь спок.

— Вот народ... Нарушают инструкцию по уголовному розыску, да еще успокаивают. Понимаешь ты, голова два уха? За такое сокрытие улики я на самого тебя должен протокол составлять. Может быть, ты все дело нам запутал.

Федот и ухом не повел:

— А кто тебе сказал про тюбетейку?

— Это уж не твое дело... Расскажи подробней, что украдено, при каких обстоятельствах?

— А чего тут рассказывать. Вон все записано,— кивнул он на тетрадь.— Амбар стоит на выгоне — съездий, посмотри. А мне некогда, меня люди ждут. Извиняй.

И Федот толкнул ногой легкую скрипучую дверь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Поскольку в Тиханове базары собирались по воскресеньям, то на Троицу, как говаривали тихановцы, сам бог велел торговать.

Готовились к этому дню загодя — лавочники товары свои раздавали по лоточницам, накладут всякой всячины: и ленты, и кружева, и платки, и духи, и пудру, и брошки... Саквояж наложат — только бери. Запишут в тетрадку, распишись и ступай, торгуй на счастье. Выручка будет — расплатишься, а нет — до другого базара откладывай.

Трактирщики квас варят, пиво привозят. Да что там пиво! Вином церковным подвалы забивали — бочками накатывали. А уж русско-горькой все буфеты уставят, хоть казенку закрывай. Правда, за последние годы поубавилось частных магазинов в Тиханове, но полдюжины еще торговало, да два трактира устояло, один артель на паях держала, второй — Семен Дергун, худоногий касимовский летун; снимал он мирское здание, построенное еще накануне мировой войны.

Зато уж чайных открывалось в этот день по доходу: с утра глядишь — десять пары пускают, а под вечер — все пятнадцать насчитаешь. А чего хитрого? Самовары разожгли, столы накрыли да мальчика в белом фартуке в дверях поставили. Вот и половой: «Дяденька, чайку испить! Калачи ситные, кренделя сдобные! Сухарики молочные!..» Заходи, присаживайся, хоть в одиночку, хоть артелью-обозом. Места хватит, дома в Тиханове просторные. Вода дешевая — три копейки заварной чайник, а калачей ситных — из калашных да булочных натаскали. Их в Тиханове целых три — выбирай на вкус. А хочешь — и колбаски подадут хоть чайной, хоть копченой... Отрежут коляску — ломоть — в блюдце не умещается, так чесноком шибанет, что дух замыкает. А ежели ты, к примеру, из Агишева приехал и тебе больше по душе сухая конская, пожалуйста, изволь конской... Так просушена, что без ножа зубы обломаешь. Пашка Долбач для всех старался и татар не забыл.

И пошло с утра, повалило со всех концов в Тиханово великое множество пешего и конного люду: от кладбищенского конца мимо двух церквей вдоль железной в

крестиках ограды потянулись «залесные глухари» из Гордеева да Веретья, из Тупицына, из Лысухи, Шумахина, Краснова... Эти все в домотканом да в лаптях,— на мужиках суровые рубахи с расшитыми отложными воротниками, с жесткими стоячими гайтанами, с петухами по подолу; бабы в тройном облачении: снизу рубаха полотняная белая с красными ластвицами — широкими врезками под мышкой на пухлых вышитых рукавах; на рубаху надевается в ярких разноцветных полосах суконная юбка — понька, а поверх всего — белый запон — урезанный сзади по талии сарафан с кумачовым обкладом по вороту, с черной вышивкой и множеством блестящих стеклянных пуговиц до самого подола. Да еще пояс плетеный, шириной в три пальца с длинными яркими кистями, свисающими на правое бедро... А ноги у всех толстые, обутые по-зимнему в белые онучи да в лапти-семирники.

— Эй, Ниноцка! Заходи ноги погреть, на пецку посадим,— дразнили их тихановские.

Все залесные цокали и якали, но зато называли друг друга уважительно: Васецка, Манецка...

— Водохлебы! Самоварники! — кричали те в ответ.— Вы квасом стены конопатили!..

Залесные ходоки бойкие: один едет, трое идут. Возы у них громоздкие — не больно и усядешься: кадки да жбаны, самопряхи, ступы с пихтелями, пахтаницы, воробы, дуплянки, ложки и ковши, доньцы, гребни чесальные, веретёна... И поверх всего связки желтых хрустящих лаптей с медовым сытным запахом.

Обочь залесным, с другой стороны церковной ограды, от Лепилиной кузницы, стоявшей на бугре у въезда в село, вливался в Тиханово другой поток торговых гостей; эти все больше ехали от Пугасовского черноземья, от городской станции далекой железной дороги, ехали по большаку в тарантасах, в бричках, на широких ломовых дрогах, ехали и на рысаках, и на битюгах, и даже впристяжку, на паре... Везли рожь, муку, пшено и гречку, везли селедку в бочках и воблу сушеную в мешках, а то и навалом, тянули за телегами коров и телят, везли в кошелках гусей, индюшек, поросят, а в тележных задках, притрушенные свежескошенной травой, лежали связанные свиньи. Этот живой и темный поток с коровьим мычанием, с поросячьим визгом и звонким гусиным гагаканьем обгоняли торопливые крылатки пугасовских извозчиков; везли они китайцев с белыми корзинами,

с пухлыми кожаными саквояжами, набитыми пугачами и пробками, рожками и дудками, разноцветными фонариками, райскими птичками и пронзительно кричащими надувными чертиками: «Уйди! Уйди! Уйди! Уйди!»

— Ходя, соли надо? — роняли китайцам с возов.

— Шибако гулупый... тебе, цхо! — отвечали китайцы, обнажая крупные желтые зубы, и сердито плевали под колеса.

А навстречу этим юго-западным колоннам двигались в село с севера, с востока, с юга такие же бесконечные вереницы людей и повозок, словно по единой команде сходилось одно большое войско на шумный бивак, чтобы разобраться, построиться толком и разом, дружно ударить по врагу. Здесь были свои и драгуны, и уланы, и гусары — с высокомерием истинных аристократов поглядывали на залесную публику речники. Эти не поедут в домотканых рубахах да в лаптях на базар: мужики в фуражках с лакированными козырьками, в яловых сапогах, а то еще и в хромовых; да с галошами, в костюмах-тройках, а если нет жилетки, то пиджак нараспашку, чтобы брючные подтяжки видны были. Вот мы как, по-городскому! И бабы у них в шелковых платках, в сапожках да в ботиночках на высоком каблуке, юбки длинные, широченные, в складках — шумят, что твои кринолины. И скот гонят отменный, коровы гладкие, пестрые холмогоры да симменталы, до рогов не достанешь, не коровы — буйволицы. А что ж такого? Эти желудевские да тимофеевские по сто возов одного сена накашивают. Вот оно что значит луга-то под боком. Да и река прибыль дает — на пароходах ходят, лес сплавляют. И торговля не последнее дело. Оттого и нос воротят и кричат презрительно с высоких телег каким-нибудь пантюхинским пешеходам с заплечными корзинами:

— Эй, родима, чего несешь, кунача аль макача?

Мало-помалу эта разношерстная масса людей, напиравшая в село со всех концов, растекалась по улицам и площади, перемешивалась, занимала свои ряды, палатки, коновязи... И шумный пестрый российский базар принимал свои привычные очертания и формы: самая длинная, Сенная улица в зимнее время сплошь заставлялась возами с сеном в ряд по четыре (три рубля за воз, а в возу тридцать пудов), теперь, в весенне-летний сезон, станови-

лась конной — сюда сходились барышники и цыгане, коновалы и кузнецы, подрядчики и скотогоны; здесь шумно и долго ладились, хлопали по рукам и совали ладони через полу, тыкали коням в бока, дули в ноздри, заглядывали в зубы; а на соседней улице в Нахаловке шел такой же шумный и азартный торг скотом: «А ну дай руку? Ну, сунь палец... Чуешь, по сгиб ушел?.. Вот колодец так колодец!..», «А хвост какой? Возьми, говорю, хвост! На три казанка ниже колена! Это тебе не порода?» Зерном, мукой — и пшенной, и пшеничной, и ржаной — забиты две улицы, прилегающие к церкви.

Вся площадь центральная застроена татарскими дощатыми корпусами: здесь и краснорядцы с шелками да сукнами, с батистом, сатином, с коврами, с персидскими шалями; здесь и татары-скорняки да меховщики с каракулем черным и серым, с куньими да бобровыми воротниками, с красными женскими сапожками, с мягкой юфтью и блестящим хромом, с твердыми, громыхающими, как полированная кость, спиртовыми подошвами. А вокруг них в легких палатках на фанерных полках расположилась шумная ватага лоточниц, своей яркой и пестрой россыпью товаров уступающая разве что одним китайцам. А на окрайне площади, прямо на земле, на разостланных брезентах раскинули свои товары горшечники и бондари, жестянщики и сапожники; перед ними горы лаптей и драного лыка в связках, горшечные пирамиды, радужные переливы свистулек, петухов, глиняных барынь, расписных чайников, кадок, самопрях...

А там еще мясные и рыбные ряды, целиком забившие Сергачевский конец, да на улице Кукане два ряда — медовый да масляный. Мед сливной и сотовый: гречишный, липовый, цветочный. А в грузных серых торпищах тут же продавались семечки ведрами.

И горланили, соперничая, пантюхинские блинницы да пирожницы с тихановскими черепенниками: у одних корчаги со сметаной и чашки да тарелки с блинами, у других подносы с черепенниками.

— Родимый, бери блинка! Ешь, кунай в корчагу!

— А макать можно?

— Макай, макай...

— Так что продаешь, макача аль кунача?

— А мы черепенники! Теплые черепенники... Мягкие, воздушные...— кричали вперебой тихановские молодайки, поднося на большом противне принакрытые полотенцем,

дымящиеся, коричневые, похожие на маленькие куличи, ноздрястые черепенники, испеченные из гречневой муки. Рядом с черепенниками бутылка конопляного масла с натянутой на горлышке продырявленной соской. Прохожий бросает на противень пятачок, берет мягкий, пахнущий гречневой кашей черепенник, разламывает пополам и подставляет дымящиеся ноздрястые половины:

— Голуба, посикай-ка!

Молодка берет бутылку и брызгает маслом на черепенник, отсюда и прозвище:

— Эй, ты, посикайка, подь сюда! Черепенники парные?

— Ой, родимый, духом исходят... Только рот разевай.

А над всем этим людским гомоном и гвалтом, над поросячьим визгом и лошадиным ржанием, над ревом и мычанием, над петушиными криками, над тележным грохотом и скрипом колес величаво и густо плывут в вышине тяжелые и мерные удары большого церковного колокола: «Бам-м-м! Бам-м-м!» Это корноухий церковный звонарь Андрей Кукурай, принаряженный по случаю праздника в черный суконный костюм и хромовые сапоги с галошами, с высокой колокольни под зеленой крышей посылает прихожанам господний благовест, приглашая к обедне в раскрытый храм, где входные врата и двери, иконы и клирос увиты зелеными ветвями берез; а на паперти, на изразцовом церковном полу густо раструшена только что скошенная трава, отдающая горьковатым свежим запахом сырости.

Андрей Иванович Бородин вывел на Сенную улицу в конный ряд своего трехлетнего жеребенка Набата; ведет его под уздцы, шаги печатает прямехонько, точно половица под ним, а не дорога, сапожки хромовые, косоворотка сатиновая, прямой, как солдат на смотру, и жеребенок гарцует, ушами прядает. Картина! Темно-гнедой, с вороненым отливом по хребтине, грива стоит щеточкой, челка на лбу... Оброть с медными бляшками, с наглазниками, чтоб в сторонку не шарахался от каждого взмаха руки напористого барышника. Эй, православные, посторонись, которые глаза продают!

Не успел Андрей Иванович толком привязать жеребенка, как ринулся к нему бородатый хриплый цыган в белой рубахе и длинных черных шароварах, почти до каблуков свисавших над сапогами.

— Хозяин, давай минять? Твой молодой — мой молодой.

За цыганом вел мальчик круглого игреневого меринка.

— Хрен на хрен менять, только время терять,— ответил Андрей Иванович.

— Ай, хозяин!.. Пагади, не торопись. У тебя двугривенный в руке — я тебе целковый в карман кладу.

— Иди ты со своим целковым... Чертова деньга дерьмом выходит.

— Ай, хозяин! Ты пагляди, не копыта — камень. Гвоздь не лезет... Ковать не надо,— азартно хвалил за бабки своего мерина цыган.

— Эй, цыган, чавел! Не в те двери стучишься,— окликнул цыгана желудевский барышник, известный на всю округу по прозвищу Чирей.— Здесь именная фирма, понял? Здоров, Андрей Иванович,— протянул он руку Бородину и кивнул на жеребенка: — Объезженный?

— Да... Весной даже пахать пробовал.

— Как в телеге ходит? На галоп не сбивается?

— Рысь ровная... идет, как часы... Можно посмотреть.

— Понятно! — Чирей худой и суровый на вид, в белесой кепке, натянутой по самые рыжие брови, нагнулся и быстро ощупал ноги Набата, хлопнул по груди, схватил пальцами за храп и так сдавил его, что лошадь ощерилась...

— Ну, что ж,— сказал, окидывая взглядом жеребенка.— Коротковат малость, и зад вислый.

— А грудь какая? А ноги? — сказал Андрей Иванович.

— Грудь широкая. Сколько просишь?

— Для кого ладишься? Для приезжих или своих?

— Свояк просил. Лошадь стара стала, татарам на колбасу продал.

— А что сам не пришел? Хворый, что ли?

— Слушай, ты лошадь продаешь или милиционером работаешь?

— Я ее три года растил. Хочу знать — в какие руки попадет.

Чирей растопырил свои длинные пальцы с рыжими волосами:

— А что, мои руки дегтем мазаны?

— Так бы и говорил — через твои руки пойдет. А там что будет делать — камни возить или на кругу землю толочь — это тебя не касается.

Чирей осклабился, выказывая редкие желтые зубы:

— Ты чего? На поглядку под закрышу хочешь его поставить, да? Чтоб овес на дерьмо перегонял... Ну, сколько просишь?

— Две сотни,— хмуро ответил Андрей Иванович.

— Вон как! Ты что, и телегу со сбруей отдаешь в придачу?

— Ага. И кушак золотой на пупок. Скидывай ремень!

— Это кто здесь народ раздевает? При белом свете! — послышался за спиной Андрея Ивановича частый знакомый говорок. Он вздрогнул и обернулся. Ну да!.. Перед ним стоял Иван Жадов, руки скрестил на груди, глаза нагло выпучил и ухмылялся. А за ним — шаг назад, шаг в сторону, руки навытяжку, как ординарец за командиром, стоял в серой толстовке и в сапогах Лысый. На Иване белая рубашка с распахнутым воротником, треугольник тельняшки на груди и брюки клеш. Андрей Иванович тоже скрестил руки на груди и с вызовом оглядывал их.

— Нехорошо как-то мы стоим, не здороваемся... Не узнаешь, что ли? — спросил Жадов и обернулся к Лысому: — Вася, тебе не кажется, что этот фрайер, который скушать нас хочет, вроде бы жил на нашей улице?

— Он, видишь ли, с нашей Сенной переехал в Нахаловку, а там народ невоспитанный.

— Вон что! — мотнул головой Жадов.— Он с нашей улицей теперь знаться не хочет.

— Ваша улица та, по которой веревка плачет,— сказал Андрей Иванович.— А Сенную вы не трогайте.

— За оскорбление бьют и плакать не велят,— процедил сквозь зубы Жадов.

— Начинать? — Лысый сделал шаг вперед и нагнул голову.

Андрей Иванович ни с места, только ноздри заиграли да вздулись, заалели желваки на скулах.

— Вы чего, ребята? С ума спятили! — сказал Чирей.

— Заткнись! — цыкнул на него Жадов.

— Ты давай не фулигань! — заорал вдруг Чирей.— Не то мы тебе найдем место...

— Отойди! — надуваясь и багровея, сказал Жадов.

— Нет уж, это извини-подвинься. Я ладился, а вы подошли. Вы и отходите. Я первым подошел — и право мое! — горланил Чирей.

— У нас свои счеты, понял ты, паскуда мокрая! — давился словами Жадов.

Чирей раскинул губы раструбом, как мегафон:

— Плевать мне на твои счеты. Ты нам свои законы не устанавливай. Здесь базар, торговое место...

Эту скандальную вспышку, уже собравшую толпу зевак и грозившую разразиться потасовкой, погасил внезапно появившийся Федорок Селютан. Он ехал в санях по Сенной, стоял в валенках на головашках, держался за вожжи и орал на всю улицу:

В осстровах охотник целый день гуля-а-ет,
Если неуддача, сам себя ругга-а-ет...

Увидев скандальную заваруху возле Андрея Ивановича, он спрыгнул с головашек, растолкал толпу зевак и попер на Жадова:

— Ванька, ты на кого лезешь? На Андрея Ивановича? На охотника?! На друга моего?! Да я тебя съем и в окно выброшу.

А был Федорок хоть невысок, но в два обхвата и грудь имел каменную; в Лепилиной кузнице на спор ставили на грудь Федорку наковальню и десять подков выковывали.

— Он, гад, про меня слухи распускает,— вырывался из цепких объятий Федорка Жадов.— Он треплется, будто я кобылу его угнал.

— Конь-кобыла, команда была — значит, садись. Пошли! Садись ко мне в сани,— теснил Федорок Жадова.— Поедем горшки давить.

Так и увел... Не то уговором, не то силой, но обхватил Жадова за пояс, затолкал в сани, сам прыгнул на головашки и заорал на всю улицу:

В осстровах охотник целый день гуля-а-ет!..

На Федорке была длинная из полосатого тика рубаха, похожая на тюремный халат. Неделю назад он на спор въехал верхом на лошади в магазин сельпо; поднялся по бетонной лестнице на высокое крыльцо, потом проехал в дверь, чуть не ободрав голову и спину, и остановился прямо у прилавка. На этом прилавке ему отрезали тику на рубаху, что он выспорил. «А носить будешь?» — «Буду. Пусть привыкают к тюремному цвету. Все там будем»,— смеялся Федорок. И надел-таки тиковую рубаху и поехал

горшки давить. Горшечники не обижались на него, платил он аккуратно.

А с Жадовым Андрей Иванович встретился второй раз вечером в трактире.

2

В общественный трактир — высокий двухэтажный дом посреди площади — собирались под вечер все свои и приезжие конники: владельцы рысаков, объездчики и просто игроки и пьяницы. Андрей Иванович любил накануне бегов посидеть в трактире, послушать шумных толкачей, завязывающих в застольных компаниях отчаянные споры, которые заканчивались то азартными ставками на того или другого рысака, то всеобщей потасовкой. Толкачей, которые погорластей да позабористей, подговаривали потихоньку, подпаивали, а то и нанимали за тайную ставку участники бегов. Андрей Иванович не больно поддавался азарту толкачей, он сам понимал толк в рысаках, играл «по малой» и ставки делал перед самым запуском рысаков.

Когда он поднялся по винтовой чугунной лестнице на второй этаж, там уже стоял дым коромыслом: просторный зал с высоким потолком, с фигурным карнизом, с лепным кружалом над многосвечной пирамидальной люстрой потонул и растворился в табачном дыму; официанты в белых куртках с задранными над головой подносами выныривали, как из водяного царства, и снова растворялись; редко висевшие на стенах лампы выхватывали вокруг себя небольшой клок мутного пространства, и в этом таинственном полусвете сидевшие за столами казались заговорщиками с мрачными лицами. Пытались зажечь люстру — свечи гасли. Открывали все окна — никакого движения — природа застыла в тягостной душной истоме, ожидая грозу. Зато здесь, в пивном зале, бушевали словесные вихри и гром летал над головами.

Андрея Ивановича кто-то поймал за руку и потянул к столику. Он оглянулся.

— Ба-а! Дмитрий Иванович.

— Садитесь к нам! — сказал Успенский.

Ему пододвинули табурет, потеснились. Андрей Иванович присел к столику. Кроме Успенского он признал только одного Сашу Скобликова из Выселок, добродушного, медлительного малого с тяжелыми развалистыми

плечами да с бычьим загривком. Остальные двое были незнакомы Андрею Ивановичу. Он поздоровался общим кивком и поглядел на Успенского: кто, мол, такие?

— Это мой давний приятель Бабосов, учитель из Климуши,— указал тот на своего соседа, успевшего захмелеть.

Бабосов только хмыкнул и головой мотнул, но глядел себе под ноги; он вспотел и раскраснелся, как в лихорадке, бисеринки пота скатывались по его морщинистому лбу и зависали, подрагивая, на белесых взъерошенных бровях.

— А это Кузьмин Иван Степанович,— кивнул Успенский на хмурого чернявого мужика с высокой шевелюрой, в галстуке и темном костюме.— Бывший богомаз, бывший преподаватель по токарному делу в бывшем ремесленном училище. А теперь — учитель Степановской десятилетки. И я тоже... И он, и он,— Успенский по очереди обвел глазами своих застольников.— И этот богатырь и наследственный воитель,— ткнул в плечо Скобликова,— мы все — новые педагоги новой десятилетки. Все, брат. Рассчитался я с вашей артелью. Прошу любить и жаловать,— Успенский был заметно под хмельком и чуть подрагивающей рукой стал наливать водку Андрею Ивановичу.— Мы сегодня угощаем. У нас праздник.

— Я тоже могу угостить. И у меня удача,— сказал Андрей Иванович, принимая стопку.

— Что? Уже на облигации выиграл? — хмыкнул Бабосов.

— Николай, окстись! — сказал Успенский.— Андрей Иванович патриот. Он из своего кармана кладет в казну, а мы с тобой из казны тянем в свой карман.

— Дак каждый делает свое... как сказал Карел Гавричек Боровский. А, что? — Бабосов сердито оглядел приятелей.— Скажем, пан, открыто: крестьяне жито из дерьма, а мы дерьмо из жита.

— О! За это и выпьем,— поднял стопку Успенский и чокнулся с Андреем Ивановичем.

Все выпили.

— Так что у тебя за удача? — спросил Успенский.

— Жеребенка продал, третьяка.

— За сколько?

— За сто семьдесят пять рублей.

— Хорошие деньги. Играть на бегах будешь? — спросил Успенский.

— По маленькой,— улыбнулся Андрей Иванович.

— Во! Учись у них, у дуба, у березы... У крестьян то есть,— сказал Бабосов.— Он и удовольствие справит, и деньги сохранит. Поди, поросенка поставишь на приз-то?— спросил Андрея Ивановича.

— Я не голоштанник,— ответил тот, оправив усы.— Могу и в долг дать.

— О-о! Богатый у нас народ...— Бабосов с удивлением оглядел Андрея Ивановича мутным взором.— А ты подписался на второй заем индустриализации?

— Ну, чего прилип к человеку!— толкнул его Кузьмин.

Тот оглянулся, извинительно осклабился и вдруг загорланил:

Нам в десять лет Америку догнать и перегна-а-ать...
Давай же, пионерия, усердней шага-а-ать!
Ать, два — левой!

— Опупел ты, что ли?— рассердился Успенский.

— А что, не нравится песня? Наша трудовая песня не нравится, а?

— Тут где-то ходит милиционер Кулек,— сказал Успенский.— Он тебя за неуместное употребление передовой песни-лозунга посадит в холодную, к Рашкину в кладовую. Понял?

— Ах, Дмитрий Иванович, политичный вы человек... Значит, ваше служебное ухо раздражает мое патриотическое пение? А почему? Слова не те?

— Да перестань наконец!— ткнул опять Бабосова под ребро Кузьмин.

Тот поморщился и опустил голову на локоть.

— Какой расклад?— спросил Андрей Иванович.— На кого больше ставят?

— Поздно ты пришел. Тут такое творилось... И содом и умора,— усмехнулся Успенский, наливая в стопки.— Васька Сноп с толкачом Черного Барина подрались.

— А Сноп от кого?— спросил Андрей Иванович.

— От Квашнина. Жеребец новый... С конезавода привез. Говорят, чуть ли не из Дивова. Ну, Васька Сноп тут нагонял азарту. Второй приз, говорит, в Рязани взял. А ему этот толкач... Чей-то климушинский и сказал: он, мол, у вас мытный. Ему Васька промеж глаз как ахнет. Вот тебе, говорит, мыть не отмыть. Ну и синяк во всю переносицу. Тот, климушинский, как схватил Ваську за

ворот, так спустил с него рубаху. Сноп в одних штанах остался. Кулек отвел обоих в кладовую.

— А ты видел жеребца Квашнина?—спросил Андрей Иванович.

— Видел... Орловский, караковый... Статей безукоризненных. Идет чисто... Но каков он в деле? Черт его знает. Ставят на него хорошо.

— Поглядеть надо...—сказал Андрей Иванович.—Я больше русских люблю... Думаю, ставить на Костылина.

— А Боб? Орловский, но какому русскому уступает?

— Что Боб? Федор Акимович всего один раз и приезжал-то на нем. Да и то Костылина не было.

— Потому, говорят, и не было. Струсил твой Костылин.

— Ну вот, завтра поглядим... Сколько заездов будет?

— Четыре по четыре. Всего шестнадцать рысаков. Да заключительная четверка из победителей.

— Колокол, вышка поставлены?—спросил Андрей Иванович.

— Все на месте,—сказал Успенский.

— Да, веселые дела...—Андрей Иванович поднял стопку.

— Вот и мы пришли в самый раз повеселиться,—раздалось за спиной Бородина.

К столику незаметно подошли Жадов с Лысым. Все обернулись к ним, даже Бабосов поднял голову:

— Это чьи такие веселые?

— Сейчас узнаете,—сказал Жадов и схватил обеими руками за шею Андрея Ивановича.

Бородин выплеснул с силой водку в лицо Жадову. Тот захлебнулся от неожиданности и ослеп, машинально схватившись рукой за глаза. Андрей Иванович ударил снизу головой в подбородок Жадова, тот, взмахнув руками, отлетел к соседнему столику. Но, воспрянув, заревев, как бык, свирепо прыгнул на Бородина. Тот увернулся, и Жадов всем корпусом грохнулся об столик. Загремели, разлетелись со звоном бутылки и тарелки. Хрястнула отломанная ножка. Ухватив ее обеими руками, Жадов поднялся опять и, как дубиной, со свистом закрутил над головой.

— Убью!—завопил он, отыскивая глазами Бородина.

Но перед ним вырос, заслоняя свет от висячей лампы, Саша Скобликов:

— Брось ножку, или башку оторву!

— А-а! — захрипел Жадов. — И ты туда же. У-ух!

Скобликов нырнул к Жадову, ножка со свистом прочертила дугу над его головой, а на втором замахе Саша, как граблями, поймал левой пятерней руку Жадова, поднял ее кверху, заломил, а правой наотмашь, вкладывая всю силу своего могучего корпуса, ударил Жадова в открытое лицо. Тот отлетел к стенке, сбив висячую лампу. Где-то раздался тревожный свисток, и звонкий голос Кулька покрыл весь этот гвалт и грохот:

— Прекра-атить! Или всех пересажаю...

В полумраке Успенский поймал за руку Андрея Ивановича и потянул к выходу, приговаривая на лестнице:

— Пошли, пошли... Не то и в самом деле заберут... Бабосову на пользу — протрезвеет в кладовой. Сашке тоже не беда. Он молодой. Ему самое время по холодным сидеть. Славы больше. А нам позорно...

На улице было темно и тихо, накрапывал дождь. У Андрея Ивановича от возбуждения постукивали зубы. Успенский запрокинул лицо в небо и вдруг рассмеялся:

— Ну и потеха... Где ты научился так драться?

— Где же? На нашей улице. Помнишь, как стенка со стенкой сходились: «Мы на вашей половине много рыбы наловили»? Да, ведь ты поповский сын. Ты в наших потасовках не бывал.

— Пошли! А то их сейчас выводить начнут. И нас зацепят.

— Постой, а ты расплатился? Кто у тебя был официантом?

— Мишка Полкан. Расплачусь... Ну, до завтра... Встретимся на бегах.

3

От десятидворной Ухватовки, тихановского хутора, созданного в первые годы нэпа, тянулся версты на две непаханый широкий прогон, по которому гоняли стадо на прилесные пастбища Славные. Здесь же, на этом прогоне, устраивались по праздникам бега и скачки. Лучшего места для таких состязаний и не подберешь: ни выбоин, ни ухабов, ни колесников — все ровно затянуто плотной травой-муравой, лишь узенькие тропинки пробиты в ней, как по линейке; посмотришь от Ухватовки — тянутся они

до синего лесного горизонта, как веревки на прядильном станке у самого лешего.

Во всю длину с обеих сторон прогон обвалован, да еще канавы прорыты за валами; ни талые воды, ни дожди не страшны ему. А ширина — десять рысаков пускай в ряд, все поместятся.

На другой день с самого утра валом валит сюда разряженная публика — все больше мужики да молодежь, одни на лошадей поглядеть, другие себя показать. Ребятня верхом — красные да синие рубашонки пузырем дуются на спине, в конских гривах ленты вплетены, на лошадях ватолы разостланы, а то и одеяла, что твои чепраки! Гарцуют друг перед дружкой, то цугом пойдут, то в ряд разойдутся. Словно всякому показать хотят: «Берегись, кому жизнь дорога!»

Но вот все съехались в конец села, сгрудились бестолково у церковной ограды и долго, шумно, с матерком разбирались — каждый норовил попасть в головную часть, чтобы поскорее окропиться и ускакать снова на прогон.

Наконец разобрались в длинную, на полсела, вереницу и замерли.

От церкви на Красный бугор за ограду выносят стол, покрытый сверкающей, как риза, скатертью. На него кропильню ставят — серебряный сосуд с распятьем, воды святой наливают из хрустального графина. Потом выходят попы с хоругвями, за ними хор певчих, как грянут: «...Видохом свет истинный прияхом духа небесного»,— листья на деревьях замирают. А там уж заерзали в нетерпении целые эскадроны вихрастой конницы — глазенки горят, поводья натянуты... Кажется, только и ждут команды: «Поэскадронно, дистанция через одного линейного, рысью а-а-аррш!»

Наконец священник подходит к столу, окунает крест в святую воду и, обернувшись с молитвой к народу, широким вольным отмахом осеняет крестом свою паству и торжественно распевно произносит:

— Пресвятая Троица, помилуй нас, господи-и-и!

А хор в высоком и звучном полете далеко разливается окрест:

— Очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши...

И мало понимающие этот смысл, но присмиревшие от торжественного пения ребятишки и успокоенные кони

бесконечной вереницей потянутся мимо кропильного стола. А как только попадут на них брызги святой воды, воспрянут, словно пробужденные от сна, натянут поводья и с гиканьем понесутся по пыльной столбовой дороге мимо кладбища на широкий прогон.

Федька Маклак еще с утра договорился с Чувалом и Васькой Махимом — после кропления лошадей мотануть на Ухватовский пруд, где их должны поджидать ребята с Сергачевского конца. Накануне вечером на посиделках у Козявки Маклак бился об заклад, что обгонит Митьку Соколика. Постановили всем сходом: кто проиграет, пойдет к сельповскому магазину и сопрет из-под навеса рогожный куль вяленой воблы.

Махим с Чувалом попали на кропление почти в хвост колонны, и пока их Маклак ждал возле кладбища, с досадой заметил, как прокатили в качалках на резиновых колесах полдюжины рысаков по направлению к прогону.

— Эх вы, хлёбалы! — обругал он опоздавших приятелей.— С вами не на скачки ехать, а лягушек только пугать.

— Чего такое? — вытаращил глаза Чувал.

— Чего? Рысаки на прогон подались.

— Ну и что?

— Тебе-то все равно, а мне помешать могут.

— Кто?

— Нехто... Отец. Кто ж еще?

Маклак дернул поводьями, свистнул, и Белобокая почти с места взяла галопом.

На берегу Ухватовского пруда, возле одинокой задичавшей и обломанной яблони, оставшейся от большого барского сада, стояли их соперники. Их тоже было трое; Митька Соколик сидел на крупном мышастом мерине, почти на голову возвышаясь над Маклаком, хотя ростом они были ровные.

— Мотри, Маклак, держись дальше, а то мерин Соколиков копытом до твоей сопатки достанет,— смеялись сергачевские.

— Волк телка не боится,— отбрехивались нахаловские.

Ехали рысцой к прогону, держались кучно, переговаривались.

— Как будем обгоняться? На всю длину прогона? — спросил Соколик.

— Поглядим по месту,— солидно ответил Маклак.— Кабы рысаки не помешали.

— А мы вдоль вала... Кучнее пойдем. Много места не займем,— сказал Чувал.

— Тогда надо хвосты перевязать,— предложил Махим.— Не то обгонять станешь, соседняя лошадь мотнет хвостом,— глаза высечет.

— Это дельно,— согласился Соколик и первым спрыгнул с мерина.

Он был сухой, жилистый, какой-то прокопченный и скуластый, как татарин. За ним поспрыгивали и остальные.

— Мой папаня говорит: если чертей не боишься, завяжи хвост у лошади,— сказал Махим.

— Что ж, твоя лошадь хвостом крестится?— спросил Чувал.

— А как же,— ответил Махим.— Ты погляди, как она бьет хвостом: сперва направо, потом налево, а то вверх ударит по спине и вниз опустит, промеж ног махнет. Вот и получается крест.

— Ну, а если завяжешь?— спросил Маклак.

— Завязанный хвост крутится, как чертова мельница...

— Зачем же ты завязываешь?— спросил Соколик.

— Папаня говорит — завязанный хвост скорость прибавляет.

— Ну и мудер твой папаня,— улыбаясь, сказал Соколик.

Решили так: четыре лошади получают по одному очку, а две лошади спорщиков Маклака и Соколика по два каждая.

Значит, чья команда наберет больше очков, та и выигрывает. Проигравшие вечером идут за воблой.

На прогоне их остановили с красными повязками на рукавах кузнец Лепило и сапожник Бандей.

— Вы куда?— спросил Бандей.

— За кудыкины горы...— недовольно ответил Маклак.

— Ты, конопатый тырчок, говори толком. Не то стащу с лошади да уши нарву,— погрозил ему своим кулачищем Лепило.

— Что ж нам — обгоняться нельзя?— обиженно спросил Маклак.

— Раньше надо было думать. Видишь — рысаков пустили на разминку.

По прогону и в самом деле рыскало с полдюжины жеребцов, запряженных в легкие коляски; возле Ухватовки стояло еще несколько рысаков, окруженных большой толпой. Со всех концов к прогону подходил народ; тянулись и от Тиханова, и от невидимого Назарова, и даже от залесной Климуши.

Вдоль прогона на высоких травяных валах, тесня и толкая друг друга, стояли сплошные стенки людей, а там, вокруг далекой бревенчатой вышки с колоколом, народу было еще больше.

— Дядь Лень, мы вдоль вала проскочим... Можно?— спросил Чувал.

— Вы отсюда попрете, а какой-нибудь жеребец навстречу вам выпрет от вышки... Что будет? Ну? И себе башки посшибаете и другим оторвете,— сердито отчитывал им Лепило.

— Выходит — вам праздник, а нам — катись колбасой? Вы, значит, люди, а мы гаврики? — спрашивал Маклак.

— На скачки объявлен перерыв... Понял? — отрезал Лепило.

— А кто его устанавливал?

— Не ваше дело... У вас есть две ноздри, вот и посапывайте...

Ребята сникли и с затаенной тоской глядели на прогон.

— Вот что, огольцы,— пожалел их Бандей.— Дуйте вдоль вала гуськом... Но потихоньку... А там, за вышкой, еще много места. Становись от вышки и гоняй до самых ухватовских кустьев.

— Спасибо, дядь Миш!..

Ребята вытянулись гуськом и легкой рысцой покатили вдоль стенки народа. Возле самой вышки Маклак заметил в толпе отца; тот стоял рядом с Успенским и Марией и разговаривал с ними. Вдруг он обернулся и махнул Федьке рукой.

Делать нечего, надо останавливаться. Маклак подъехал к толпе, из которой вышел Андрей Иванович. Он был сердит:

— Ты чего это хвост перевязал кобыле? Ты что задумал, обормот?

— Ничего... Так я... Ехал по лужам... чтоб хвостом не пачкала.

— Ты у меня не вздумай обгоняться! Увижу — ремнем отстегаю при всех. Куда едете?

— Девок встречать... С березкой пойдут из леса.

— Слезай! Развяжи хвост...

Маклак, хмурясь, слез и торопливо стал развязывать хвост...

Когда он догнал приятелей, они уж взяли изготовку для скачек, поравнявшись в ряд.

— Стоп! — сказал Маклак, подъезжая. — Отец засек. Здесь все видно. Не пойдет...

— А где же? — спросил Соколик.

— Поехали на Славные, — предложил Чувал.

— Там кочки, — сказал Маклак.

— А вдоль березняка? К питомнику Черного Барина, — не сдавался Чувал.

— Это сойдет, — охотно согласился Маклак. — Поехали!

Они обогнули ухватовские кусты и по выбитому, как ток, закочкаренному пастбищу свернули к хутору Черного Барина, стоявшему на опушке березовой Линдеровой рощи.

Хутор состоял из двух домов да большого подворья на берегу пруда. Черный Барин жил здесь бирюком уже лет тридцать, а то и больше. Говорят, что раньше он был барским лесником и охранял эту самую Линдерову рощу. Почему лес назывался Линдеровым, когда он с незапамятных времен принадлежал помещику Свитко, а по-тихановски Святку, никто толком не знал. Старики сказывали, будто у этого Святка была горничная немка Линдерша в любовницах и будто он ее убил по ревности и приказал схоронить тайно в березовой роще. Где ее могила — никто не видел и не знает, но любители ходить за папоротником в Иванову ночь видели ее в лесу: «Вся в белом... Увяжется за кем — так и идет, за березками прячется и все плачет и плачет...» А другие говорят — будто в этом лесу давным-давно проезжего купца убили, по фамилии Линдер.

Как бы там ни было, но Линдерова роща считалась местом глухим и нечистым. «И как только здесь Черный Барин живет. Да меня ты золотом обсыпь, я и ночи одной не останусь здесь», — скажет иной суеверный человек, проходя мимо отдаленного хутора.

В сказках насчет горничной немки был намек на Анастасью Марковну, бывшую горничную того самого Святка, который выдал ее замуж при загадочных обстоятельствах за своего лесника Мокея Ивановича Тюрина,

то есть за Черного Барина, и подарил ей свой лесной хутор и пятнадцать десятин прилегающей к нему земли. Сразу после революции часть земли у Черного Барина отрезали, а так — из построек и скота — ничего не тронули. Он и на семи гектарах неплохо управлялся: скота много держал, клевер сеял, питомник фруктовый развел. Так и жил на отшибе Черный Барин. Правда, он давно уж не черный, а седой, и жену похоронил давно... А все еще Барин, хотя всей прислуги у него было — муругий хриплый Полкан да такой же престарелый брат Горбун.

Подъезжая к хутору, ребята заметили, что все двери и ворота были заперты и хриплый голос Полкана доносился откуда-то с подворья.

— Эй, ребя! А ведь Черный Барин-то на бегах...— сказал Маклак.— Я видел его рысака.

— Ну и что? У него Горбун здесь сторожит,— отозвался Соколик.

— Если б Горбун здесь был, зачем ему собаку запирать? — спросил Чувал.

— А чего вы хотите? — недовольно морщась, спросил Соколик.

— Как чего? Обгонимся — и айда в питомник,— ответил Маклак.

— Чего там делать? Яблоки, как горох... И вишня еще зеленая...

— А мед?

— Пчелы заедят.

— А мы леток заткнем, утащим улей в лес — там дымом выкурим,— сказал Чувал.

— Это можно,— согласился Соколик.

Они нетерпеливо выстраивались в рядок у пруда, чтобы скакать вдоль рощи до самого питомника. Соколик раза два срывался, уходя один, и, сконфуженный, возвращался.

— Если ты сфальшивишь, уйдешь первым, я тебя за рубаху стащу,— пригрозил Маклак.

Наконец сорвались с гиканьем и понеслись, настегивая прутьями лошадей. И все-таки Соколик успел почти на корпус оторваться — схимичил, сатана! Мерин его гулко бухал копытами, как будто кто-то стучал кулаком в бочку.

«Редко бьет и ноги больно задирает,— радостно подумал Федька,— счас я тебя укатаю». Он опустил поводья, давая ход кобыле, и почувствовал, как напрягается,

натягиваясь до мелкой дрожи, конская спина. Эй, залетная! Он лег на гриву, упоительно слушая частый дробный бег, видя, как его кобыла, вытянув морду, словно птица в полете, все ближе скрадывала мышастого мерина и вырвалась наконец вперед возле самой ограды питомника.

— Ну что, Чижик-Соколик?.. Кто кому доказал? — Маклак радостно похлопывал по шее разгоряченную кобылу.— Эх ты моя касаточка... Не подвела меня, красавица...

— В жисть тебе не обогнать бы... Мой Тренчик вчера только с извозу вернулся. Тятька в Меленки пшено возил,— оправдывался Соколик.— Но смотри, наша взяла!

Вдоль рощи последним поспевал Махим, а Чувал проиграл обоим сергачевским.

— Ты чего, ягоду собирал? — крикнул Маклак Махиму.

— Фуражку сорвало, вот и подзадержался,— сказал тот, подъезжая.

— А после не мог ее подобрать?

— Он боялся, кабы Линдерша ее не сперла,— сказал Соколик, и все засмеялись.

— Дак чего, вам за воблой-то итить? — спросил Соколик.

— Почему это нам? Очки поровну. Мой выигрыш стоит два очка.

— Ну, давай канаться! — Соколик выломал палку из забора и кинул ее в воздух.

Маклак поймал ее за середину, и пошли мерить кулаками... Верх оказался за Соколиком.

— Ладно, хрен с вами. Накормим вас воблой. А теперь в сад,— сказал Маклак.

Они спешились, привязали лошадей к частоколу и только двинулись вдоль забора, как их окликнул слабый грудной голос:

— Что, робятки, ай яблочка захотелось?

Горбун вышел из вишневых зарослей и ласково глядел на них, опираясь на падожок.

— Да мы это... испить захотели,— смущенно пробормотал Маклак.— Жарко... Обгонялись... Ну и притомились...

— Колодец-то во-он игде... Возле пруда. И ведерко там есть,— сказал Горбун.— Ступайте с богом. А за яблочками приезжайте на большой Спас. Тады и разговеемся. А

до Спаса грех яблоки есть, робятки... В них еще сок не устоялся, раньше времени сорвешь — только сгубишь. А яблоко-то богом дадено. Это райский плод.

Сконфуженные ребята поотвязали лошадей и подались восвояси, на прогон. Они поспели к заезду самой главной четверки. Еще издали, подъезжая к вышке с колоколом, вокруг которой застыла в мертвом ожидании огромная толпа, они услышали резкий нервный выкрик Успенского:

— Пошли!

Он стоял на вышке возле колокола и напряженно глядел в сторону Ухватовки, где приняли бег невидимые еще рысаки. И вот уже колыхнулась далекая стенка на валу, замахала руками, сорванными шапками, и многоголосый гул толпы, сперва отдаленный, невнятный, все более и более набирая силу, ураганом летел вдоль валов. Вот и рысаки показались: они шли по середине прогона грудь в грудь, высоко задрав головы, выпучив огненные глаза.

Крайним к вышке шел гнедой жеребец Костылина; сам хозяин, раскорячив ноги, сидел на качалке без кепки, со свирепым лицом, блестя на солнце лысиной. Дальше в ряд бежали похожие друг на друга, как белые двугривенные, два орловских в серых яблоках красавца: на одном сидел Федор Акимович, в черном картузе, с калининской бородкой, пароходчик из Малых Бочагов, а на втором, на квашнинском жеребце,— Васька Сноп в красной рубахе с рыжими, вразлет, волосами. Крайним с той стороны шел вороной в белых носочках рысак из Гордеева с чернобородым ездоком.

Под рев, свист, вопли, улюлюканье они неслись с такой неотвратимостью, как если б там, впереди, их ждало блаженство вечное или небесное царство... Перед самой вышкой Костылин все-таки вырвался, ушел на полкорпуса вперед...

Успенский ударил в колокол и, подняв руки, бросился вниз по лестнице. А внизу уже ликовала возбужденная толпа.

— Ну что, ну что я говорил, крой вас дугой?! — тормошил Андрей Иванович Успенского и Бабосова.— Чья правда, ну?

— Васька Сноп виноват. Я видел с вышки, как он теребил жеребца. Задергал его, стервец...

— Смерть найдет причину! Найдет...— возбужденно произносил Андрей Иванович.

Он радостно глядел вокруг себя и никого не видел. Даже на Федьку не обратил внимания. Видно было, рад, что выиграл.

— Андрей Иванович, на скачки останешься?— спросил его Успенский.

Теперь к ним подошли Сашка Скобликов с Марией, у Сашки под глазом был здоровенный синяк.

— Ну что ты? Какие теперь скачки? После таких бегов ваши скачки — мышиная возня...

— Тогда, может, с нами пойдешь?— сказал Успенский.— Мы вот к Скобликовым собрались...— кивнул на Сашу.— Пропустим по маленькой в честь Духова дня.

— Нет, ребята... Я и так пьяный... Вы уж гуляйте... Вы молодежь... А мне домой надо. Гости приедут. Я ведь не безродный.

4

У Скобликовых был накрыт праздничный стол: скатерть белая, голландского полотна, узором тканная, с красной каймой и длинными вишневыми кистями;салфетки к ней положены тоже белые в красную клетку с темнобордовой бахромой; бокалы и рюмки чистого хрусталя с королевской короной, потрешь ободок, чокнешься — звенят, как малиновые колокольчики. Серебро столовое положили с вензелями, фамильное... Слава богу, хоть столовое убранство да сохранилось.

Сам хозяин надел кофейный костюм в светлую полоску и красный тюльпан в петлицу продел.

Все у него было крупным: и нос, и уши, и вислый, как у мирского быка, подбородок, в плечах не обхватишь, раздался, как старый осокорь. Свои седые косматые брови он чуть тронул тушью, да еще кочетом прошелся перед зеркалом.

— Папка жених! — прыснула Анюта, дочь его, двадцатилетняя красавица с темными волосами, зачесанными назад и затянутыми до полированного блеска в огромный пучок. На ней было зеленое шумное платье, с белым кружевным передником, в котором она прислуживала за столом.

Даже Ефимовна, тоже крупная, как хозяин, старуха с темным усталым лицом, принарядилась в черное платье из плотного крепа с шитьем и мережкой на груди.

И только один Сашка оделся по-простецки — он был

без пиджака, в батистовой белой рубашке с откладным воротником и закатанными рукавами.

Он привел с собой Бабосова да Успенского с Марией, явились прямо с бегов.

— А-а, рысаки прикатили! — приветствовал их на пороге Михаил Николаевич.— Ну, кто кого объегорил?

— Вон кто виноват,— кивнул Саша на Успенского.— Знаток конских нравов.

— Проигрались?

— Васька Сноп подвел... Задергал, стервец, жеребца,— оправдывался Успенский.— У меня чутье верное: я еще на разминке видел — Квашнин маховитее.

— Эге... А мы, дураки, верили тебе,— с грустью сказал Саша.

— А вы что, играли скопом? — спросил Михаил Николаевич.

— Меня прошу исключить,— сказал Бабосов.— Я за компанию люблю только пить водку.

Он увидел выбегающую из кухни Анюту и бросился к ней:

— Она мила, скажу меж нами!..— продекламировал, ловя ее за локоть.

— Коля, не дури! У меня поднос.

Тот выхватил поднос с закусками и поспешно скаламбурил:

— Я хотел под ручку, а мне дали поднос.

Анюта с Машей расцеловались.

— Уж эти лошади... Мы вас ждали, чуть с голоду не померли,— надувая губы, говорила Анюта.

— И все это надо съесть? — спросила Мария, оглядывая полный стол закусок.

Тут и балык осетровый, и окорок, и темная корейка, и селедка-залом толщиною в руку, истекающая жиром красная рыба, и сыры...

— Еще индейка есть и сладкое,— сияла, как утреннее солнышко, улыбкою Анюта.

— И пить будем, и гулять будем,— кривлялся, притопывая вокруг стола, Бабосов.

— Дети, за стол! — басил старик.— Мать, занимай командную высоту!

— Мою команду теперь слушают только чугуны да горшки...

Пили шумно, с тостами да шутками... Засиделись до позднего вечера...

Собрались не столько в честь праздника, сколько по случаю Сашиного поступления на работу. Почти два года проболтался он безработным после окончания педагогического института. В ту начальную пору нэпа, когда он поступал еще в Петроградский педагогический институт, мандатная комиссия, не набравшись силы и опыта, вяло и невпопад опускала железный заслон перед носом таких вот, как он, «протчих элементов»; зато уж в двадцать восьмом году ему, сыну бывшего дворянина, с новым советским дипломом в кармане пришлось не один месяц обивать пороги биржи труда. «Ваша справка на местожительство?» — «Пожалуйста!» И справка и диплом — все честь честью. Раскроют, глянут — пожуют губами, а взгляд ускользающий: «Придется подождать... Ничего не поделаешь — безработица».

«Ах, отец, отец! И зачем тебе надо было усыновлять меня? — досадовал Саша в минуту душевной слабости.— Долго дремала твоя совесть... И не просыпалась бы. Стояло бы теперь у меня в нужной графе — сын крестьянки... Сирота. Совсем другое дело».

Надо сказать, что Ефимовна работала экономкой у Михаила Николаевича... И только в двадцать втором году женился он на ней официально и детей своих усыновил; ввел в наследство, так сказать, хотя никакого наследства уже не было.

Поболтавшись весну да лето по столицам нашим, Саша приехал домой и стал осваивать новое ремесло — точить колесные втулки да гнуть дубовые ободья. Благо силенка была, в батю уродился.

Старший Скобликов в свои семьдесят годов легко и просто таскал мешки с зерном, пахал, косил и метал стога. Рано ушедший в отставку в чине подполковника, он свыкся с крестьянской работой и не очень переживал потерю старого поместья. «Идешь мимо барского дома, а сердце, поди, кровью обливается?» — спрашивали его мужики. Только отмахивался: «Э-э, милый! Чем меньше углов, тем забота легче... Главное — руки, ноги есть, значит, жить можно».

Но за детей переживал... Анюта после окончания школы сидела дома, и Саша домой приехал... Редкие налеты его на уроки в какую-нибудь школу (ШКМ) или в ликбез отрады не давали. И вдруг вот оно! Стронулось, покатилась и наша поклажа...

И мы поехали. Взяли Сашу на пятые — седьмые

классы, историю преподавать. В новую школу второй ступени. Как же тут не радоваться старикам? Как же тут было не загулять?

— Ну, омочим усы в браге! За народное просвещение...— поминутно говаривал старик, поднимая рюмку и чокаясь ею...

Хотя пили они водку и, кроме графина с домашней вишневой наливкой, никакой браги на столе не было, но этот шутливо-торжественный тост вызывал шумное одобрение молодежи:

— Подымем стаканы!

— Содвинем их разом!

— Да здравствует Степановская десятилетка!

И только Ефимовна укоризненно качала головой:

— Пустомеля ты, Миша... Ни браги у тебя, ни усов... Когда ты успел нализаться?

— Ну, хорошо — браги нет... Ладно. А просвещение есть у нас или нет? — вытаращив глаза, спрашивал Бабосов.— Просвещение-то вы не будете отрицать, Мария Ефимовна?

— Перестань дурачиться,— толкал его в бок Успенский.

— Вот видите... Я подымаю вопрос о наших достижениях, а он меня под девятое ребро. Прошу зафиксировать...

— Коля, достижения наши налицо,— сказала Мария.— Те, кто о них спрашивает, значит, сомневается. А всех, которые сомневаются, бьют. Стало быть, ты получил по заслугам.

— Ладно, я колеблюсь. А он за что получил синяк? — указал Бабосов на Сашку.— Он же незыблем, аки гранит.

— Я пострадал за веру, царя и отечество,— обнажая крупные, ровные, как кукурузный початок, зубы, улыбался Саша.

Михаил Николаевич погрозил многозначительно ему пальцем.

— За богохульство дерут уши.

— Так нет же бога... Стало быть, и богохульства нет,— сказал Бабосов.

— А ты почем знаешь? — удивленно спросила Ефимовна.

— Доказываю от противного: говорят, бог есть высший закон... Гармония! Согласие?! Разум вселенной! Нет ни закона, ни гармонии... И разума не вижу. И какой, к

чертовой матери, разум в этой подлунной, когда все, точно очумелые, только и норовят друг друга за горло схватить. Если человек сотворен по образу и подобию божьему, то кто же сам творец, когда он равнодушно зрит на это земное душегубство?

— Это сатана людей мутит,— ответила Ефимовна.— При чем же тут бог?

— Святая простота! — Бабосов растопырил пальцы и потряс руками над головой.— Как у нас все разложено по полочкам для спокойствия и удобства. Вот человек в поте лица добывает хлеб свой. Красивая картина, это лежит на чистой полочке, под богом. Вот человек берет из кармана ближнего своего, да мало того — на шею сядет ему, да еще погоняет. Это нечисто, от сатаны... А если он сегодня добывает хлеб свой, а завтра берет дубину, ближнего своего из жилища гонит — это как, по-божески, по-сатанински?

— И все-таки верить нужно,— сказал твердо Михаил Николаевич.— Без веры нельзя.

— Да во что верить прикажете?

— Ну как во что? В торжество добра. В отечество, наконец.

— Ах, в отечество! — подхватил с каким-то радостным озлоблением Бабосов.— А точнее? В настоящее отечество? В будущее? Или в прошлое? Искать залог будущего расцвета в глубинах веков, так сказать? В историю верить, да?

— А что история? Чем она тебе не по нутру? — багровея, спросил Михаил Николаевич.

— Вся наша история — длинная цепь сказок, разыгранных обывателями города Глупова,— ответил Бабосов.

— Молодой человек, не извольте забываться! — Михаил Николаевич повысил голос и тяжко засопел.

— А то что будет? — Бабосов сощурился.

— Я укажу вам на дверь.

— Отец, это не аргумент в споре,— вступился Саша за Бабосова.

— Так мне продолжать или как? — спросил Бабосов.

— Как хотите,— хмуро ответил Михаил Николаевич и налил себе водки.

— Если про историю города Глупова, то лучше не надо,— ответил Успенский.

Бабосов с удивлением поглядел на него:

— А где же взять нам другую историю? Другой нет-с.

— Есть! Есть история... Да, изуродованная, да, искалеченная, но это великая история великого народа.

— Великая?! Пригласить на царство чужеземцев — володейте нами! Акция великой мудрости, да? Великого народа?! Двести лет гнуть спину под ярмом татар, посылая доносы друг на друга,— признак мудрости и величия? Ладно, бросим преданье старины глубокой и темную неразбериху междоусобиц. Возьмем деяния великих государей... Первый из них — Иван Грозный, душегубец, эпилептик, расточительный маньяк, безумно веривший в свою земную исключительность... Ради утверждения собственного величия жил в неслыханной роскоши, ободрал пол-России, вешал, казнил, голодом морил... Проиграл все войны, потерял приморские земли, вновь обретенную Сибирь. Второй последовал за ним — слабоумный, юродивый, годившийся разве что в церковные звонари. Третий великий государь... Он же первый свободно избранный царь на Руси. Кто ж он? Детоубийца, клятвопреступник, манипулянт . «Какая честь для нас, для всей Руси — вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Может, хватит для начала? Или дальше пойдем!..

— Коля, да ты прямо как наш лектор Ашихмин из окружкома,— воскликнула Мария.— У тебя талант... Тебе не математику преподавать... умы потрясать надо.

— Не умы, а воздух сотрясать. Старые песни новых ашихминых. Хорошо их распевать перед теми, кто плохо знает свое отечество,— сказал Успенский.

— Ну, допустим, Пушкина-то не отнесешь к плохим знатокам отечества,— усмехнулся Саша.

Эта реплика точно подхлестнула Успенского. Он встал, легко отодвинул стул и, чуть побледнев, как-то вкось метнул взгляд на Сашу и обернулся к Бабосову.

— Пушкин тут ни при чем. У Пушкина была своя задача — наказать гонителя своего, Александра Первого, с нечистой совестью заступившего на трон. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» Вот кредо Пушкина. Однако истинный Борис совсем другое дело. Во-первых, он такой же татарин, как я киргиз. Его дальний предок Чет пришел из татар служить на Русь. За двести с лишним лет до рождения Бориса. От Чета произошли, кроме Годуновых, и Сабуровы. Но никто их татарами не называл. И вряд ли Василий Шуйский мог бы попрекнуть Бориса, что он женат на дочери Малюты Скуратова. Ведь на

другой дочери Малюты был женат не кто-нибудь, а брат того же Василия Шуйского. Да и стыдного тут ничего не было: Скуратовы-Бельские были старинной боярской фамилии. Конечно, Малюта был опричником... Но ведь и все Шуйские служили в опричниках. Все. А вот Борис Годунов отказывался идти в погромы. Отказывался, хотя рисковал головой. А это что-то значило в те поры. Вот вам исторические факты о нравственном облике царя Бориса. Что же касается его царствования, оно не нуждается в особых доказательствах разумности царя: он восстановил разоренное хозяйство страны, вновь присоединил Сибирь, замирился с Литвой, отстроил Москву и прочая... Вот так, друг мой Коля Бабосов, нашу историю козлиным наскоком не возьмешь. Дело, в конце концов, не в Борисе Годунове и даже не в истории. Дело в той привычке, традиции — пинать русскую государственность, в той скверной замашке, которая сидит у нас в печенках почти сотню лет. Дело в интеллигентской моде охаивать свой народ, его веру, нравы только потому, что он живет не той жизнью, как нам того бы хотелось. И мы упрямо отрицаем его своеобычность, разрушаем веру в свою самостоятельность с такой исступленностью, что готовы скорее сами сорваться в пропасть, чем остановиться. И срываемся...— Успенский поймал за спинку отставленный стул, с грохотом придвинул его к столу, сел, скрестив руки на груди, и посмотрел на всех сердито, как будто бы все были настроены против него, Успенского.

— Откуда сие, Дмитрий Иванович? — восторгался Саша.

— Я готовился когда-то в историки... Мечтал стать приват-доцентом. А что касается истории первой русской смуты, тут у меня к ней особое пристрастие...

— Дайте я пожму вам руку! Честную руку русского патриота,— Михаил Николаевич протянул через стол свою массивную ладонь с узловатыми пальцами.

— Вы уж лучше троекратно облобызайтесь,— усмехнулся Бабосов.— Да на иконы перекреститесь. А то спойте «Боже царя храни».

— Коля, это нечестно! При чем тут царь, когда говорят об отечестве? — сказала молчавшая весь вечер Анюта, строго сведя брови.— Нехорошо плевать на своих предков. Совестно! Ты какой-то и не русский, татарин ты белобрысый.

Все засмеялись...

— Ну, конечно! Вы правы, мадемуазель. Я осмелился говорить о безумии национализма, толкающего народы на поклонение собственному образу. Кажется, это слова Владимира Соловьева? — с горькой усмешкой глянул Бабосов на Успенского.— Вроде бы вашего кумира.

— Правильно, Соловьева. Но Соловьев никогда не отрицал национализма, он только осуждал попытки противопоставить узкое понятие национализма служению высшей вселенской правде,— подхватил Успенский.

— То бишь не правде, а божеству,— поправил Бабосов.

— В данном случае это одно и то же. У Соловьева есть и такие слова: наш народ не пойдет за теми, кто называет его святым, с единственной целью помешать ему стать справедливым. И я не вел речи о патриотизме, превращенном в самохвальство. Я только хочу доказать, что наш народ много страдал, для того чтобы иметь право на уважение.

— Ну, конечно. Те, которые критикуют свою историю, народ не любят, те же, кто поют дифирамбы нашей благоглупости, патриоты. Салтыков-Щедрин смеялся над русской историей, следственно, он был циником, очернителем. Суворин защищал нашу историю от Щедрина, значит, он патриот.

— Ничего подобного! Салтыков никогда не высмеивал русскую историю; он бичевал глупость, лень, склонность к легкомыслию и лжи. Это совсем другое.

— В таком случае говорить нам не о чем,— Бабосов нахохлился, обиженно, по-детски надув губы.

— Я тоже так полагаю,— Успенский взял рюмку с водкой и, ни с кем не чокаясь, выпил, пристукнул ею об стол и сказал: — Пора и честь знать. Спасибо за угощение...

Он глянул на Марию и встал. Она поднялась за ним.

— Куда же вы? — захлопотала Ефимовна.— А самовар?.. У меня пудинг стоит...

— А гитара, а песни? — Саша снял со стены гитару и с лихим перебором прошелся по струнам:

Эх, раз, что ли, цыгане жили в поле!..
Цыганочка Оля несет обедать в поле...

— Нет, Саша... В другой раз,— заупрямился Успенский.— Я пойду.

— И я пойду,— хмуро сказал Бабосов.

— Я вам пойду! — Саша стал спиной к дверям и еще звонче запел, поводя гитарой и подергивая плечами:

Я с Егором под Угором
Простояла семь ночей
Не для ласки и любови —
Для развития речей...

— Анюта, ходи на круг! — крикнул он.— А там поглядим, у кого рыбья кровь! Их-хо-хо ды их-ха-ха! Чем я де́вица плоха...

Анюта словно выплыла из-за стола — руки в боки, подбородок на плечо, глаза под ресницами как зашторены, и пошла, будто стесняясь, по кругу, выбивая каблучками мелкую затяжную дробь, развернулась плавно перед Дмитрием Ивановичем, поклонилась в пояс и даже руку кинула почти до полу.

— Дмитрий Иванович!

— Митя! Ну что же ты? — тотчас раздалось из-за стола.

Он глядел исподлобья на удаляющуюся от него Анюту и снисходительно-отечески улыбался, но вот подмигнул Саше, важно размахнул бороду и сказал:

— Кхэ!

Потом скрестил руки на груди, поглядел налево да направо и пошел шутливым старческим поскоком на негнущихся ногах:

Деревенский мужичок
Вырос на морозе,
Летом ходит за сохой,
А зимой в извозе...

— Вот так-то... Ай да мы! — весело крикнул Саша, сам бросаясь на круг, и закидал коленки под самую гитару:

Ах, тульки, ритатульки,
Ритатулечки-таты...
Ходят кошки по дорожке,
Под забором ждут коты...

— Ах вы мои забубенные! Ах вы неистребимые!.. Молодцы!..— шумел Михаил Николаевич, пристукивая кулаком по столу.— Вот это по-нашему... Вот это по-русски. Наконец-то и у нас праздник... А то развели какую-то словесную плесень. Выпьем мировую!

Он налил рюмки и поглядел на Бабосова:

— А ты чего присмирел?

— А вот соображаю — с кого начинать надо...

— Чего начинать?

— Обниматься... Без объятий что за праздник. Не по-русски.

— Но, но! Не выезжай на панель, разбойник,— шутливо погрозил ему старик и сам засмеялся.

Все были довольны, что так легко и просто ушли от давешней размолвки, что стол полон всякого добра, а хозяйская рука не устала разливать да подносить вино:

— Пейте, ребята, пока живы. На том свете небось не поднесут.

Под вечер Успенский с Бабосовым уже сидели в обнимку и пели, мрачно свесив головы:

Скатерть белая залита вином,
Все гусары спят непробудным сном...

Когда Успенский с Марией встали уходить, поднялся Бабосов; с трудом удерживаясь на неверных ногах, он решительно произнес:

— И я с вами. Без Мити не могу.

— А ты куда это на ночь глядя? До Степанова почти десять верст... В овраге ночевать? — набросился на него Саша, взял и осадил его за плечи.— Тебе постлано на сеновале. Сиди.

Михаил Николаевич проводил Марию с Дмитрием Ивановичем через двор до самой калитки. В наружном дворе, сплошь заваленном новенькими колесами, расточенными белыми ступицами, штабелями темного гнутого обода и березовыми свилистыми чурбаками, Успенский спросил хозяина, кивая на эти древесные горы:

— Справляетесь?

— Освоился...

— Нужда заставит сопатого любить?

— Ну, это еще не нужда. Вон у Александра Илларионовича Каманина нужда так нужда...

— Какого Каманина? — спросил Успенский.

— Да сына купца... Бывшего уездного следователя.

— Ах вон кого! Он вроде где-то в Германии, говорят.

— Да... В пивной стоит... вышибалой. А мы-то еще живем,— невесело подтвердил Скобликов, прощаясь с Успенским.

Они пошли в Тиханово полем через зеленые оржи. Стояла вечерняя сухая жара с той вязкой глухой тишиной, которая расслабляет тело и навевает странное беспокойство и нетерпение.

— У меня сейчас такое чувство,— сказал Успенский,— будто, того и гляди, мешком нас накроют; так и хочется скинуть рубаху, штаны да сигануть с разбегу в холодную воду...

Мария засмеялась:

— В Сосновку захотелось... К русалкам?

— А что? Пойдем в Сосновку?! — он поймал ее за руку и притянул к себе.

Она уперлась ему локтями в грудь и долго пружинисто отталкивалась, запрокидывая лицо:

— Да ну тебя, ну! Видно же... Ты с ума сошел? — твердила она.— Вон из деревни заметят.

— Пойдем в Сосновку! Слышишь? Иначе я понесу тебя... Возьму вот и понесу, пусть все видят.

— Ладно, пойдем... Да пусти же.

Она вырвалась наконец и заботливо оправила кофту и юбку, заговорила с притворной обидой:

— Какой ты еще глупый... какой дурной.

Шли долго по мягким податливым оржам, оглаживая руками белесые колоски. В поле не видно ни пеших, ни конных, ни птиц в небе.

Они были одни во всем мире. Только солнце сквозь дымную завесу долго и слепо смотрело на них огромным тускловато-красным оком.

— Кто такой Бабосов? — спросила она.

— Вот те на! Ты же с ним раньше познакомилась, чем со мной.

— Я знала, что́ он, да не знаю кто.

— Да как тебе сказать... В народе про таких говорят — теткин сын. Мужик способный, знающий... Но с завихрением: все, мол, вы пресмыкающиеся, а я орел, потому и парю в одиночестве. Петербургское воспитание. Отец его был каким-то чиновником. Почтовым, что ли... Умер в двадцать первом году, в петроградский голод. Матери тоже нет... Так он и мотался в одиночестве... Состоял в каком-то кружке. Их накрыли... Вот он и бежал с глаз долой. В деревню подался, к тетке. Она дальняя родственница помещику Свитке. Здесь вот и осел в учителях. Говорит, в самый раз. Спокойно, и мухи не кусают. А чего он тебя заинтересовал?

— Так. Шалый он какой-то. Варю, подругу мою, обманул. Она так плакала...

В Сосновку пришли в сумерки. Чистая родниковая заводь, обросшая густым ракитником по берегам, лежала в глухом отроге на дне Волчьего оврага. По кустарнику возле заводи заструился сизым оперением вечерний сквозной туман.

— Ну, смелее вниз! Прыгай!..— Успенский первым спрыгнул в овраг, побежал размашисто по откосу, с трудом остановился у самой воды.

— Ну, прыгай! Чего же ты? — спрашивал он снизу, растворяя руки.— Не упадешь — я поймаю.

— Нет, Митя, нет! — крикнула она с отчаянием и силой.— Нет! — и побежала прочь.

Когда он вылез из оврага, она была уже далеко. Ее белая кофточка еще долго маячила на меркнущем горизонте.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

После Духова дня установилась затяжная зыбкая жара; чистое с утра, просторное небо мало-помалу блекло, серело, словно выцветало к полудню, а потом и вовсе покрывалось на горизонте малиново-сизой хмарью, сквозь которую закатное солнце выглядело непомерно большим и красным. Устойчивый юго-восточный ветерок приносил с полей вместе с волнами тягучего марева сухой горьковатый запах каменеющей земли.

«Теперь бы в самый раз пары парить,— думал Андрей Иванович,— но навоз еще не вывезен. Земля уходит, иссушается с каждым днем. А ничего не поделаешь, не выделишь свое поле из общего парового клина, не вспашешь один. По парам сейчас скотину гоняют. Тут такой шум подымут... заклюют. Кабы на отшибе был, на выделе, вроде Черного Барина...»

Андрей Иванович не то чтобы завидовал Черному Барину — жить на отшибе бирюком он не хотел, натура не выдержит одиночества. А вот хозяйство вести, землю обрабатывать так, чтобы не зависеть от мирского гужа да трехполки, это — другой оборот. Будь у него выдел, то есть все пять десятин вместе, он бы давно на манер

Черного Барина от трехполки отказался бы. Тот и под зябь навоз вывозит, и ранней весной, и даже зиму прихватывает. «Чистых» паров, под сорняками, у него и в помине нет: клевер чередует с озимыми, а то и люпин сеет под запах. По сто пятьдесят, а то и по двести пудов зерна снимает с десятины, а тут и до ста пятидесяти не дотянешь. Создали было у Святого болота опытный луговой участок, еще при волостном земотделе. Осушили болото, распахали... На одном участке тимофеевку посеяли, на другом люпин. И тимофеевка и люпин стеной вымахали. Участковый агроном собрал мужиков и спрашивает:

— Видали, что делает болото?

— Видали. Кто бы сказал — в жисть не поверили,— отвечают мужики.

Тимофеевка на семена пошла, крюками косили, как рожь.

А люпин, свежий, зеленый, ему бы еще расти да расти, агроном приказал запахать.

— Как запахать? Такой корм в землю? Да ему цены нет!

— Он сторицей обернется,— сказал агроном.— Здесь теперь место устойчивое, сухое... Посеем по запаханному озимые — уродится такая пшеница, что лошадь грудью не пробьет ее.

Ладно, посеяли озимые по люпину. Подошло лето, такая пшеница выстоялась, что перепел взлететь из нее не мог.

— Вот вам и выход, мужики,— говорил агроном.— Навоз вносите под зябь, а то ранней весной под яровые. А на парах люпин сейте и запахивайте... Верное дело!

На сходе отказались.

— Наши деды под зябь не пахали и нам не велели. Осень — для лошадей отгул. На лугах отава выросла дармовая, так пусть лошадки в зиму жирку запасут. На дворе-то не больно зажируешь.

— А люпин? — спрашивает агроном.

— И люпин не будем сеять. Ну-ка не уродится — лишние расходы понесем. А уродится — запахивать жалко. Да и скотину пасти негде.

«Оно, конечно, пары тоже подспорье,— думал Андрей Иванович,— особенно в сухое лето, когда подлесное пастбище Славное выбивает до молотильного тока. Но вот забота — как побыстрее навоз вывезти и пары спа-

рить. Раньше, при двух лошадях, он управлялся дней за десять, а теперь и полмесяца не хватит. Навозу на дворе накопилось горы — под самые сцепы. Больше сотни возов будет. Вот и считай по семь-восемь возов в день, а на дальние поля больше и не вывезешь, провозишься ден шестнадцать.

А там дня четыре парить, значит, до Петрова дня, то есть до лугов, только-только управиться».

Он проснулся ранехонько, еще стадо не прогоняли. Откинул тыльный стороной ладонь на соседнюю подушку — пусто, и подушка простыла... «Как кошка... Слезет с кровати, улизнет, и не услышишь,— подумал про жену. В летней избе, мягко обволакивая углы, плавал душный с ночи сумрак, лениво ползали по оконным стеклам мухи. Андрей Иванович натянул шерстяные носки, брюки, висевшие на спинке деревянной кровати, и, сунув ноги в растоптанные галоши, отворил заднюю дверь.

Солнце еще не встало, но на дворе все проснулось, ожило; по широкому подворью бродили куры и лениво, распевно лопотали: «Кра-ра-ра-ра...» У плетня суетился, разгребая землю, петух; приспуская крыло на ногу, сучил перьями, пританцовывал и тоже что-то лопотал сердито курам.

В ошмернике под горницей разноголосо, как бабы на «толкучке», гагакали гуси — наружу просились. А из дощатого, крытого соломой сарая доносился звонкий Надеждин голосок:

— Той, дьявол! Той, сатана рогатая!..

Потом гремел подойник, что-то ухало, сопело, чавкало в навозной жиже, и снова откровенное и звонкое выражение Надеждиных чувств:

— На, заткнись, окаянная твоя душа!

Андрей Иванович сообразил — опять Белёска не дается. Что случилось с коровой? Три дня уже ни с того ни с сего не дается доить, и шабаш. Ее и уговором пытались взять, и корочкой кормили — нет. Бьет и хвостом и ногами... Того и гляди, рогом зацепит. Пришлось ноги связывать и доить.

— Головушка горькая, не знаешь, что и подумать.

Царица приехала из Бочагов, поглядела и говорит:

— Здесь и думать нечего. Дело ясное — наговор.

— Куда ее теперь вести?

— Надо молебен отслужить Власию и Людесию.

Приглашали отца Афанасия, отслужил и двор окропил святой водой. Грешницу отдали. Не помогло.

Пришлось идти к деду Агафону, тихановскому пастуху, четок водки отнесла Надежда да еще угостить посулилась:

— Загляни, ради бога. Чо с ней стряслось?

— Ладно, ладно... зайду, перед выгоном стада.

Что за дед? Вроде бы и на ногах еле держится, и плети у него нет — все время с палкой ходит за стадом, а, поди, вот слушают его коровы и держатся кучно. Раз хотел Савка Клин перебить у него коровье стадо. Двух подпасков нанимал да сам бодрый. И цену запросил более сносную, чем дед Агафон. Отдали ему на сходе стадо и что ж? Замучился Савелий и сам и подпасков загонял. С ног сбились, а стадо разбегалось по домам. Так и пришлось звать опять деда Агафона. А Савелий телят своих отправился пасти.

Андрей Иванович спрыгнул с крыльца, хлопая галошами, протопал по булыжной дорожке и растворил ворота. Надежда загнала корову в угол и охаживала ее по бокам подойником.

— Ну, чего ты ее понужаешь без толку, атаман? — сказал с досадой Андрей Иванович.— Не видишь, что ли? Заболела корова.

— Дурью она мучается! Черт с ней, пусть топает недоенной в стадо. Небось почует к вечеру, как от хозяйки бегать. Разопрет ее Самарская плеса-то.— Надежда бросила на гвоздь подойник и пошла прочь, покачивая подолом подоткнутой юбки и сверкая белыми икрами.

Андрей Иванович взял за оглобли стоявшую на подворье телегу, вкатил ее в сарай и начал набрасывать вилами навоз. Он рассчитывал к приезду Федьки из ночного наложить первый воз и с ходу запрячь лошадь. Но ему помешали.

Сперва пришел дед Агафон; в посконной рубахе, в синих молескиновых штанах, заправленных под онучи, худой и малорослый, как подросток, он стукнул палкой в высокое окно Бородиных. Надежда впустила его во двор.

— Ну, что стряслось? — спросил он Андрея Ивановича, подавая сухую скрюченную ладонь.

— От рук отбилась корова,— кивнул на Белёску тот.

— За вымя не тронешь... Вся трёской трясется,— сказала Надежда от ворот.

Корова лежала в углу и покорно смотрела на людей,

жуя свою жвачку. Овцы метнулись от пришлого человека в отгороженный хлев и, столпившись у калитки, смотрели горящими от любопытства и страха фиолетовыми глазами.

Старичок мягко прошел к корове, присел перед ней на корточки:

— Что ты? Что?! Господь с тобой...

Та перестала жевать жвачку, повела ушами и шумно вздохнула.

— Ну вот... А я тебе гостинца принес,— разговаривая с ней, как с ребенком, Агафон достал из полотняной сумки ломоть ржаного хлеба, присыпанный крупной солью, протянул его Белёске:

— На-ка вот, съешь...

Корова взяла губами ломоть и стала есть, глядя на старика своими печальными глазами.

— Вот и гоже... Вот и Вася...

Старичок положил ребром ладони трижды крест на ее крестце и сказал:

— Ну, будя... Таперика вставай!

Корова покорно встала.

— Дой! — коротко сказал Агафон и отошел к воротам.

Надежда сняла со стены подойник, опасливо озираясь, подошла, села под корову. Стоит! Ухватилась за сосцы, брызнуло со звоном молоко в подойник. Стоит!! Затеребила, замассировала вымя обеими руками. Стоит!!

Андрей Иванович, обалдело глядевший на волшебное укрощение коровы, кинул на воз вилы да только и сказал Агафону:

— Бывает.

Через минуту в летней избе, налив по стопочке водки, он спрашивал старика:

— Чем же ты ее сумел взять? Хлебом, что ли? И что это за хлеб у тебя, наговоренный?

— Абнакнавенный,— отвечал старик, пряча ухмылку в жидкие, опавшие книзу монгольские усы.— Во, видишь? — он достал из той же сумки крошки и кинул в рот.— Кабы наговоренный был, я бы крошки не тронул, потому как наговор кого хочешь припечатает. Старый ты ай малый, наговор на всех силу притяжения имеет. Видишь наговоренную вещь или предмет какой — не замай, обходи.

— Ну отчего ж она послушала тебя? — допытывался Андрей Иванович.— Ай слово знаешь?

— Всякое слово от бога. Потому как еще в Писании сказано — допрежь всего было слово,— велеречиво отговаривался дед Агафон.— Стало быть, человеку не дадено повелевать словом. Человеку досталось одно обхождение, и больше ничего.

Дед Агафон ушел от Бородиных только вместе со стадом,— ушел удоволенный, блаженно жмурясь от выпитой водки, как кот на солнце. Только запряг Андрей Иванович пригнанную Федькой из ночного кобылу, как его окликнул другой гость:

— Отпрягай, приехали!

Андрей Иванович оглянулся и увидел входящего на подворье Кречева.

— Чего это тебя ни свет ни заря подняло?

— Нужда заставит петухом кукарекать,— ответил Кречев.

— Что у тебя за нужда?

— Поговорить надо.

— Х-хеть! — засмеялся Андрей Иванович.— А то днем некогда будет поговорить...

— Где тебя теперь словишь днем-то, жук навозный,— гудел с притворной сердитостью Кречев.— Небось улетишь в поля до самой темноты?

— Это уж точно, улечу,— согласился Андрей Иванович.

— Ну вот, пройдем в летнюю избу! У тебя там не осталось, случаем, на донышке? Вчера с участковым агрономом фондовую рожь отмеряли. Ну и намерялись...

— Ясно, что у тебя за сердечный разговор,— усмехнулся Андрей Иванович, проводя Кречева в избу.

— Да поговорить-то надо,— Кречев в летней избе кивнул на горничную дверь и спросил приглушенно: — Девчата спят?

— Мария и Зинка в кладовой. А в горнице ребятишки.

— Ясное дело,— облегченно вздохнул Кречев.— Я зачем к тебе пожаловал? Вчера с меня стружку снимал Возвышаев. Поскольку стопроцентной подпиской не охвачены. Не то, говорит, горе, что не охвачены, а то, что богатые увиливают. Ну и воткнул мне за Прокопа Алдонина и за Бандея.

Андрей Иванович налил Кречеву стопку, пододвинул оставшуюся от деда Агафона селедку и сказал:

— А я тут при чем?

— При том... Ты депутат и член сельсовета. Вот я тебе и даю боевое задание — сходи к Прокопу Алдонину, убеди его на заем подписаться.— Кречев лукаво хмыкнул и выпил.

Андрей Иванович забарабанил пальцами по столу, как бы молчаливо отклоняя эту несерьезную просьбу.

— Прокоп вроде бы в артели подписался? — сказал наконец Андрей Иванович.

— Увильнул! Когда артель распускали, удерживали на заем при расчете. А Прокоп бригадиром был, сам рассчитывал. Ну и увильнул. Успенский спохватился, да рукой махнул. Ему теперь этот Алдонин что японский бог. А мне он на шею сел.

— Дак что ж ты от меня хочешь?

— Ну что я хочу? Всю эту шантрапу, вроде Максима Селькина да Козявки, я и сам прижму. А Прокоп и Бандей меня не послушаются. Пойдем к ним вместе с тобой. Ты их посовестишь, убедить можешь.

— Их убедишь...

— Ну, я для них молод. И чужого поля ягода. На горло их не возьмешь. Силой не заставишь — подписка добровольная. Законы они знают. А ты человек авторитетный. Сам подписался один из первых. На тебя только и надежда.

Андрей Иванович потер лоб и сказал:

— Ладно... Сходим в обед.

— Вот спасибо! Плесни-ка мне еще со дна погуще! — Кречев протянул стопку.

Андрей Иванович налил. Кречев помедлил, выпячивая губы, косясь на стопку, сказал:

— Сход надо собрать... На предмет рубки кустарника. Гати гатить.

— Черт бы вас побрал с этими гатями! — взорвался Андрей Иванович.— Видишь, какая погода? Земля уходит.

— Приказ райисполкома,— пожал плечами Кречев.

— Что ж вы раньше штанами трясли?

— Не наша на то воля. Ну что ты волнуешься? Пошлешь на рубку хвороста малого, а сам будешь навоз возить.

— Не ко времени это. Не по-людски.

— Ну, мало ли что... Значит, до обеда.— Кречев выпил стопку и, не закусывая, тотчас вышел.

2

Прокоп Алдонин был скупым мужиком. Бывало, Матрена в печь дрова кладет, а он за спиной ее стоит и поленья считает, а то из печи вытаскивать начнет:

— Ты больно много кладешь. И так упреет.

У них хлеб сроду не упекался. Вынут ковриги, разрежут — ан в середке сырой.

— Ну и что... Я люблю хлеб с сыринкой, его много не съешь,— говорил Прокоп.

Мать его, баба Настя-Лиса, грубку зимой не топила. Дом большой, пятистенный, красного лесу, окна и на улицу и в проулок — не перечтешь, и все под занавесками тюлевыми... Крыльцо резное, под зеленой жестью. Куда с добром. А зима подойдет — горница не топлена и в избе хоть волков морозь. Баба Настя одна жила, хозяин механиком работал в Баку, и Прокоп там же, при отце.

— Одной-то мне зачем тепло? Яйца, что ли, насиживать?

Горницу она закрывала наглухо на всю зиму. Спала в печке. Положит подушку на шесток и свернется поволчьи, головой на выход. А греться днем ходила в кузницу к Лепиле. Придет, вся рожа в саже, усядется на чурбан:

— Левон, расскажи, что там в газетах пишут.

У Прокопа горница, правда, отапливалась — детей целая орава, семь штук. Но так отапливалась, что и сам Прокоп не прочь был заглянуть в морозные дни в кузницу к Лепиле — погреться. Впрочем, их связывала с Левоном общая любовь к слесарному да кузнечному ремеслу.

Когда распалась неожиданно артель, Прокоп переживал более всего за свой паровой двигатель, который он собирал по частям больше года — мечтал механическую глиномялку пустить. Ездил в Рязань, купил по дешевке старый мукомольный двигатель, из Гуся Железного привез поломанный мотор парового насоса, собирал воедино, прилаживал... А теперь куда девать все это добро? Артель оприходовать не успела, стало быть, оплатить не могли через банк. Продать ежели? Да кто купит такую непотребную машину? И надумал Прокоп — сходить к Лепиле, предложить ему на паях сделать паровую мельницу.

Лепилина кузница — высокий сруб с тесовым верхом,

стояла на самом юру при выезде из села, за церковью. Три дороги сходились здесь, как у былинного камня: одна вела на Гордеево, вторая — в лес мимо кладбища, а третья, накатанная столбовая, вела по черным землям в Пугасово, на юг, в хлебные места. Редкий тихановский мужик не сиживал возле этого ковального станка, не приводил сюда свое тягло. Да что мужик? Черти и те заезжали ковать лошадей к Лепиле. В самое смурное время — в двенадцать часов по ночам. Это каждый сопляк в Тиханове скажет. Правда, в Выселках вам скажут то же самое, но только про кузницу Лаврентия Лудило: приезжают на тройке — коренник в мыле, пристяжные постромки рвут. «Лавруша, подкуй лошадей!» А он выглянул в окно: «В такую пору? Что вы, Христос с вами!» Да знамение на себя наложил. Эх, у коней-то инда огонь изо рта паханул. «Ну, маленько ты вовремя спохватился,— говорят ездоки,— не то бы мы тебя самого подковали». Да только их и видели. Поверху пошли, по столбам — стаканчики считать...

Прокоп застал обоих кузнецов, Лепилу да Ивана Заику, за осмотром привезенной молотилки. Они сидели на чугунном кругу и стучали молотками. Молотобоец Серган и вновь принятый подручный Иван Бородин лежали в холодке под бревенчатой стеной и покусывали былинки.

Увидев Прокопа, Ванятка приподнялся на локте:

— Ну что, христосоваться пришел? Праздник тебе? Развалил артель и слоняешься. Доволен теперь?

— Это вам праздник, бездельникам,— огрызнулся Прокоп.— Вон валяетесь, как боровы в холодке у стенки.

— Смотри, Прокоп, встанем — хуже будет,— сказал Серган.

— А то ни што! Напугали.

— Э-э, Прокоп! Ты легок на помине. Давай-ка сюда, помоги...— позвал его Лепило.

— В чем дело? — спросил Прокоп.

— Да вот баклашки ломаются. Дурит машина, но где? Не поймем.

Прокоп оглядел круг, вставил в чугунное гнездо одно водило и сказал:

— А ну-ка, слезайте!

Те слезли с круга. Прокоп взялся за деревянное водило и тихонько повел его, раздался тяжелый размеренный скрежет.

— Как телега немазаная,— сказал Прокоп. Вел, вел, и вдруг резкий щелчок — грох!

— Стой! — скомандовал Прокоп сам себе, потом Лепиле: — Леонтий, давай зубило! Вот гляди... зуб стронутый на большом колесе. Выбивай его! Потом наклепаем...

— Гляди-ка, ты, Прокоп вроде бы и в логун не смотрел, а нашел,— сказал Лепило.

— Это он по з-з-звуку ап-ап-ап...— судорожно забился Иван Заика в тяжкой попытке выговорить нужное слово.

— Ладно, завтра доскажешь,— остановил его Лепило.

— Тьфу ты, Лепило, мать твою,— облегченно выругался Заика.

Работая, они вечно поругивались и подтрунивали друг над дружкой. Лепило был приземистый мужик медвежьего склада, лохматый, рукастый, с тяжелой загорбиной и мощной, в темных рытвинах шеей. Носил посконную рубаху до колен и с широким раструбом сапоги, как конные ведра. А Иван был высок и погибист, с длинной, как тыква, лысой головой. Ходил босым с закатанными выше колен портками.

— Иван, зачем портки засучил?

— Г-г-гвозди везде... З-з-зацепишь — п-ыарвешь еще.

— А кожу обдерешь?

— Зы-а-растет.

Выбивая зубилом «стронутый» зуб, Лепило донимал Ивана:

— Иван, а Иван? Ты бы хоть поблагодарил гостя,— он нам услугу оказал, зуб нашел больной, а мы сидим как немые.

— З-з-з...

— Хватит, он тебя понял.

— Тьфу, Лепило! Мать твою...

— Счас я ему розочку подарю,— отозвался от стенки Серган.

Он встал, выбрал из ящика длинный шестидюймовый гвоздь, сжал его за шляпку, как тисками, железной черной ладонью, а другой рукой, ухватив за конец, стал легко свивать в колечки: на бицепсах, на открытой груди его заиграли, затрепетали крупные мускулы.

— На,— подал он Прокопу скрученный розочкой гвоздь.

— Что ж ты добро портишь? — сказал Прокоп, кидая это Серганово изделие.— Был гвоздь, а теперь финтифлюшка.

— Виноват, ваше-вашество! — гаркнул Серган, выпучив глаза и вытягиваясь по швам.— Счас исправлюсь.

Он поднял розочку, стиснул опять гвоздевую шляпку в своей каленой ладони и, ухватив за конец, пыхтя и синея от натуги, вытянул гвоздь во всю длину.

— Ваша не пляшет,— осклабился Серган, поигрывая гвоздем.

На дальней церковной паперти проскрежетала отворенная железная дверь, в притвор выплыл в рясе с крестом отец Афанасий.

— Ой, погоди-ка! — Лепило кинул зубило и бросился в кузницу.

Через минуту он вышел, держа в длинных щипцах разогретую докрасна подкову:

— Серган, на-ка отнеси попу подарок.

— Чаво? — Серган обалдело глядел на того, не понимая.

— Сейчас поп двинется на кладбище, в часовню служить. А ты вон на тропинке, через дорогу, положь подкову. Он ее подымет, а мы поглядим.

— Гы-гы! — Серган ухватил щипцы с подковой и в два прыжка пересек дорогу, положил горячую подкову на тропинку и моментально вернулся.

— А теперь все в кузницу. Ну, ну, марш! — скомандовал Лепило.

Поддавшись какому-то безотчетному озорному искушению, они сгрудились все у раскрытых дверей, глядя на неспешно идущего по тропинке отца Афанасия. Даже Прокоп неожиданно для себя поддался игре: подымет подкову или мимо пройдет?

Отец Афанасий шел, глядя в землю.

— Ишь, какой настырный,— сказал Лепило.— Все под ноги глядит... Поди, клад ищет...

— Счас найдет.

Отец Афанасий увидел подкову, приостановился в минутном раздумье — брать или нет? Стоящей показалась подкова, нагнулся, поднял и тут же бросил ее.

— Ай-я-яй! — кричал он и тряс рукой.

А от кузницы в раскрытые двери в пять глоток:

— Гы-гы-гы!

— Что, батя, взял? А ведь подкова чужая!

— Опять твоя проделка, Леонтий? Эх, Лепило ты, Лепило... Греха не боишься.

Отец Афанасий заметил Алдонина.

— И ты здесь, Прокоп Иванович? — он покачал головой и скорбно произнес: — Не ожидал я от тебя... Вольно вам над стариком смеяться,— и пошел, тихий и сгорбленный.

Прокоп весь зарделся до корней волос, отошел к машине, сел на круг и насупился.

— Брось ты! Нашел из чего переживать,— подсел к нему Лепило.

— Нехорошо! Старика одними налогами гнут в дугу, а мы над чем смеемся? Да в его положении не то что подкову, говях с дороги подберешь.

— Нашел кого пожалеть,— сказал Лепило.— А то он хуже нас с тобой живет.

— Не в том дело. Мы на вольном промысле, сами себе хозяева. А он божий человек, за всех за нас ответ держит. Нехорошо в нашем возрасте да в положении. Я ведь не зубоскалить к тебе пришел. Я по делу.

— Что за дело?

— Ты мою машину для глиномялки видел?

— Сборную, что ли?

— Ну! Глиномялка теперь нужна, как в поле ветер, а машину приспособить можно.

— К чему?

— Мельницу паровую сделать.

— Мельницу?! А жернова? Нужен кремень, магний...

— Кремень у меня есть, а магний в Рязани купить можно. Жернова отолью — будь здоров. Оковать их для тебя — плевое дело.

— Дак ты что хочешь?

— С тобой на паях мельницу сладить...

— Не знаю,— тяжело выдавил Лепило.

— А чего тут не знать? Дело само в руки идет. Машина есть, привод сообразим. Я теперь свободный от всяких артелей. Железо есть. Кузница своя, ну? Что ж мы вдвоем ай мельницу не сладим?

— Об чем речь!.. Сообразим... Но сил хватит ли? Лес нужен и на постройку и на мельничный стан.

— Я уж приглядел и дубовых столбов для стана, и лежаков сосновых. Тесаных.

— Где?

— У Черного Барина.

— У него, поди, не укупишь.

— В долг отдаст...

— Ах ты, едрена-матрена. Завлекательно.— Лепило

почесал свой лохматый затылок и вдруг толкнул локтем Алдонина: — Смотри-ка!..— кивнул на дорогу.— Вроде к нам.

С дороги свернули к кузнице Кречев и Бородин. На Кречеве была неизменная гимнастерка хаки, с закатанными по локоть рукавами, Бородин шел в синей рубахе, без кепки.

Алдонин забеспокоился:

— Насчет мельницы при них ни слова.

— Ну, ясно дело. Вот денек, то поп, то председатель,— хмыкнул Лепило.

Кречев и Бородин чинно поздоровались, присели на водило.

— Чья молотилка? Твоя? — спросил Алдонина Кречев.

— Каченина,— ответил Прокоп.

— А ты чего здесь загораешь? Или новую артель сколачиваешь под названием «Чугунный лапоть»? — не скрывая раздражения, спрашивал Кречев.

— Я пока еще не подневольный,— огрызнулся Прокоп.— Хочу — дома на печи валяюсь, хочу — в кузнице семечки лузгаю.

— А у тебя кроме хотения совесть есть? — накалялся Кречев.

Андрей Иванович дернул его за рукав.

— Да ну его к...— отмахнулся Кречев.— Он ходит по селу, лясы точит, а мы топай за ним по жаре, уговаривай, как девку красную. Надоело!

— А чего вы за мной ходите? Я вам не должен.

— Ты не должен! У-у!.. Он еще смеется. А кто говорил на собрании, что подпишемся на заем при расчете с артелью? Я, что ли?

— Там много было говорунов,— ответил Прокоп.— Я их всех не упомнил.

— Так все они подписались. Все! А ты один увильнул.

— Я больше всех пострадал.

— Ты пострадал? Ври, да знай меру...

— Погоди, Павел Митрофанович,— осадил опять Кречева Андрей Иванович и к Алдонину: — Брось придуриваться, Прокоп. Ведь за тобой как за малым ребенком ходят, а у тебя все новые байки. Надоело же, пойми.

— Какие байки? Я мотор для артельной глиномялки покупал, а теперь он у меня на дворе валяется. Кто мне за него заплатит? — брал на горло и Прокоп.

— Черт-те что... Ну при чем тут мотор? — сказал Кречев.

— При том. Заем-то у вас какой? Индустриальный? Возьмите у меня мотор. Отдам по дешевке. Вот вам и будет заем от меня, индустриальный.— Прокоп глядел сердито и нахохленно, и не поймешь, то ли смеется, то ли всерьез предлагал свой мотор.

— Он мне зачем, твой мотор? Баб на собрании глушить? — спросил Кречев.

— И мне он не нужен. А я за него заплатил чистые денежки из своего кармана. Вот вам и заем.

— Слушай, не фокусничай... Добром говорю,— тоскливо сказал Кречев.

— Я фокусами не занимаюсь. Это вон Серган может вам кое-что показать.

— А это мы всегда пожалуйста! — Серган, все еще голый по пояс, вскочил от стены и с готовностью подошел к начальству.— Чего желаете? К примеру, кирпич попробовать на голове Сергана, а?

— Какой кирпич? — спросил отрешенно Кречев.

— А вот хоть этот,— Серган нагнулся, поднял здоровенный кирпич, валявшийся под деревянными водилами.— Кладем его на голову... Вот таким манером, и молотом аккуратно... Грох.

— Ты чего, пьяный, что ли?

Серган осклабился, морда чисто продувная — круглая, шириной в таз, блестит от копоти и пота, как сапог:

— Был пьяный, но только вчерась... А седни я с похмелья... Да вы не беспокойтесь, много не возьму, по полтиннику с рыла,— и, не давши опомниться, позвал младшего Бородина: — Ваня, рубаху и молот... Живо!

Иван одним духом приволок кувалду и валявшуюся под стеной Серганову черную рубаху. Серган покрыл рубахой голову, положил кирпич на затылок и нагнулся:

— Бей!

Иван ахнул изо всей силы кувалдой по кирпичу. Серган только отряхнулся от пыли, поднял две половины от разбитого кирпича, развел руками:

— Алямс! Ваша не пляшет.— Потом кинул кирпичные осколки, стянул кепку с Ивана и подошел к Кречеву: — Прошу оказать поддержку чистому пролетарию.

— Ну и циркач,— усмехнулся Кречев.— А ты не пробовал головой сваи забивать вместо бабы?

— Могу, но только чужой. Как насчет платы за представление?

Кречев покопался в кармане, достал целковый.

— На, заработал.

— Премного благодарен! Следующий,— подсунул кепку Андрею Ивановичу.

Тот кинул несколько серебрянных монет.

А Прокоп сказал:

— Бог подаст.

Серган покачал головой и скорбно произнес:

— Вот что значит несознательный элемент.

— Ладно, отойди,— сказал Сергану Лепило.

— Ну дык как насчет подписки, Прокоп Иванович?— спросил Бородин, после того как Серган удалился.

— А никак,— твердо ответил тот.

Кречев только зубами скрипнул.

— Мотри, мужик, с огнем играешь,— сказал Андрей Иванович.— Придется тебя на сходе обсуждать.

— А вы меня не пугайте. Подписка добровольная. Мы тоже законы знаем.

— Ну, твое дело — твой ответ.

3

Сход собирался вечером в верхнем зале общественного трактира. Любители погутарить сходились пораньше; не успели еще толком стадо прогнать по селу, как они лениво побрели, волоча ноги, точно притомленные кони на водопой. Толпились у входных дверей, курили, сплевывая на сухую, уплотненную до бетонного блеска базарными толкучками землю. Тут же ребята играли в выбитного, поставив на длинной черте крохотную кучку медяков, кидали тяжелые, надраенные до кирпичной красноты старинные гроши.

— Эй, Буржуй! Не заступай черту...

— А ты его грошем по сопатке.

— Но-но... Учи свою мать щи варить.

— Дак это я по теории мирового пролетариата...

— С буржуями обхождение известное.

— Заткнись, Кабан! А ежели тебя по сурну хряпнуть?

— А меня за что? Я ж не играю.

— Вот и стой да посапывай.

Ближе к дверям разговор иной:

— На Брюхатовом поле инда бель выступила.

— Следствия известная — сухменность.

— Навоз не успеешь растрясти, в момент прожаривает. Ветром, как щепу, гонит.

— Я его в кучах оставлю.

— Иван Корнев, говорят, вы с Тыраном плитняк подрядились возить?

— С Петряевой горы... Четвертак за воз.

— А в гору подыматься мысленно? Ась?

— Рожь возить выгодней... Намедни в Мелянки обозом ездили... По наему товарищества.

— Это с Колтуном, что ли?

— Ну... В Щербатовке остановились на постоялом дворе. Скинулись выпить. Вот тебе, сели за стол и сцепились. Дядя Вася Тарантас и говорит: «У меня сыны, мил моя барыня, офицерами вернулись. Один с именной саблей, а вы, мол, и в армии не служили».— «Как не служили? Ах ты, Тарантас, кривые ноги!» — «Расшибу!» Колтун как ахнул кулаком по столу, так чайник с самовара подпрыгнул и упал. Все и разбежались. А при расчете мириться стали. Колтун пыхтел, пыхтел, вынул из кошелки мешок с салом и говорит: «Ешьте, ребята, свинину...» Мы так и покатились.

— А я двенадцать целковых привез деду из той поездки. Он говорит: «Эх, теперь мы и сошники оттянем, и колеса купим, и дегтю». А я ему: «Деда, купи мне новую косу».

— Дождя не выпадет, и косить нечего.

— А в Веретье, говорят, был дождь, и в Степанове... Только нас обходит.

— Место у нас такое — притяжения нет.

— Яблок ноне много... Вот удержать бы их.

— Ветер сшибет.

— Ну не скажи... Ежели стихии не будет — устоит яблок.

— Э-э, как она... как ее, причина понятная.

— Дядь Андрей, как думаешь — дождь будет?

— Э-э, как она... как ее, наверно, будет, наверно, нет.

— Гы-гы-гык!

А народ все подходит, наваливает, прижимает передних к двери, подталкивает.

— Что у тебя за мослы? Как оглоблей пыряешь.

— Всю мякоть бабе отдал...

— Ты не гляди, что он кость. Но обширность большую имеет.

— Тесна рубаха-то?

— Да, щадна, щадна.

Кто-то из ребят, играющих в выбитного, заголосил петухом.

— Ребята, Кукурай плывет!

Через площадь к трактиру шел церковный звонарь Андрей Кукурай, шел как всегда неуклюже, кидая с носка на пятку негнущиеся ноги, точно пихтелями в ступе толок.

Он был подслеповат, глух, и оттого ребятишки вечно вились вокруг него стаей, как стрижи возле немощного коршуна, и донимали озорными выходками.

Вот и теперь, завидя его, они закружились, завьюнили, приговаривая:

Кукурай, Кукурай.
Скинь портки и загорай...

— Вота скаженные... Нету на вас угомона, прости господи...— ворчал себе под нос Кукурай и топал к трактиру.

Худой и верткий подросток, по прозвищу Колёпа, с засиненной от пороховой вспышки рожей, бросив свой грош у черты, на четвереньках поскакал на Кукурая и хрипло затявкал:

— Гав-гав-гав!

— Кто тут собак распустил? Пошла, окаянная! Позовитя ее, позовитя...

А от трактира несется дружный гогот:

— Гыр-гыр-гыр...

— Хо-хо-хо!

— Эх-хе! Вот это вызвездил...

Наконец появился председатель Кречев, он шел на манер командующего в окружении своего боевого штаба; слева семенил возле него и подобострастно закидывал кверху голову секретарь Левка, справа Бородин, с независимым видом, как будущий тесть, а по пятам табунились Якуша, Федот Иванович, Санек Курилка, Кабан и даже Тараканиха. Весь сельсовет в полном сборе. А ребятишки перекинулись от Кукурая к сельсоветчикам и, разинув рты, вытянулись за ними целой шеренгой.

— Куда попы, туда и клопы,— ухнул кто-то басовито у дверей.

И вся мужицкая орава загрохотала, встречая свое высокое начальство.

Поднимались по винтовой лестнице долго, грохали сапогами, гудели, как потревоженный улей.

На втором этаже четыре столика были составлены в большой стол — это для президиума; остальные были стасканы в кучу в передний угол. Рассаживались на табуретках, скамьях, на подоконниках или просто присаживались на корточки вдоль стен. А то стояли кучками и в дверях, и у стенок, и на лестничной площадке толпились, курили.

— Макар, ты чего на порог выпер? Тебе и так — плюнуть, не достанешь в задницу,— это опоздавший Биняк рвется в залу.

— А ты что, на Тараканиху поглядеть хочешь? — сипит Макар Сивый, загородивший, как бугай, весь проход.

— Он ей шепнуть не успел, под каким забором ждать будет,— бабьим голосом звенит Сенька Луговой.

— Эй, православные! Которые впереди... Молебен скоро начнут?

— Счас... Левка Головастый Евангелию раскрыл.

— Пропустите Василия Ольпова! Он гороху поел — выражаться хочет...

— Эй, ущемили, дьяволы!

— Ходи промеж ног, блоха.

А в президиуме Левка Головастый уже раскрыл во весь стол свою картонную папку с делами, вынул из кармана шкалик с чернилами, навострился писать. Кречев долго тряс над головой школьным звонком, а сам глядел в Левкину раскрытую папку, остальной президиум облепил стол со всех сторон, облокотились, подперев челюсти кулаками, как обед ждали.

Наконец шум затих. Кречев ухватил за кольцо звонок, оперся на стол:

— Сход объявляется открытым. Значит, по первому вопросу исполком сельсовета вынес такое решение: с завтрашнего дня приступить к рубке кустарника в Соколовской засеке. Возить будем через десять ден, после того как с навозом управимся. Возить, значит, в такие гати: к Волчьему оврагу по главной дороге на Богачи, к Святому болоту по дороге на Тимофеевку и на луга в конец озера Долгое. Какие вопросы имеются? Кто желает слово сказать? — Кречев крутит головой, словно вывинтить ее хочет из тесного ворота гимнастерки.

— Может, до осени отложим с гатями? — крикнул от

дверей Биняк, он все-таки и на этот раз обошел Макара Сивого.

— А в луга ехать тоже на осень отложим? — спросил его из президиума Федот Иванович.

— А что Биняку луга? У него мерин и на базаре прокормится.

— По чужим кошевкам...

— Гы-гык!

— Между прочим, озеро Долгое гатить зимой надо. А теперь туда не сунешься. В тине потонешь с головкой...— Вася Соса приподнялся во весь свой саженный рост и даже руки над головой поднял.

— Гатить Маркел будет,— сказал Андрей Иванович.— Ему известка и то нипочем. Море по колена.

— Га-га-га!

— Ты зачем в президим сел? Вякать? — крикнул Маркел от двери.— Мотри, сам не дотянусь, сапогом достану.

— Макар, посади его на ладонь, он разуется.

— Товарищи, давайте без выпадов на оскорбления!

— По скольку кубов хворосту на семью?

— Пять кубометров,— ответил Кречев и добавил: — Безлошадники и вдовы исключаются.

— Интересуюсь, как насчет маломощных хозяйств и престарелых лошадей? — спросил Максим Селькин.— Скостить то ись можно?

— При выдаче заданий будем учитывать,— ответил Кречев.

— Ладно, а как насчет дров? Решение будет ай нет? Где наши деляны? — спрашивали опять от дверей из толпы.

— При чем здесь дрова? — спросил Кречев.

Но зал уже гудел, растревоженный, как насест ударом палки.

— При том... Линдеров лес назаровским отдали... Лес Каманина Климуша вырезала.

— А нам опять в Веретье да Починки?

— Двадцать верст киселя хлебать...

— Дак мы хозяева иль работники?

— Тиш-ша! — Кречев опять схватил звонок и затрепал им над головой.

— Вопрос с дровами поднят несвоевременно, поскольку подобные дела решаются осенью в общем порядке. Все. Перехожу ко второму вопросу. Товарищи! Я не стану говорить насчет важности заема. На этот счет мы

провели два схода. И что же выяснилось? К нашему стыду, отдельные товарищи злоупотребляют доверием партии и всего народа. А именно? Не будем касаться некоторых бедняков и маломощных. С ними вопрос остается открытым. Но нельзя терпеть дальше увиливание зажиточных хозяйств. Возьмем того же Косоглядова и Алдонина. Сколько можно их уговаривать? Видимо, всему есть предел. Ежели они и дальше будут злостно упираться, применим оргвыводы. Косоглядов, встаньте! Поясните нам, почему вы отказываетесь от подписки?

Бандей встал с табуретки, поглядел исподлобья на Кречева:

— Ну, встал... Давно не видели меня?

Дремавшая все время Тараканиха качнулась, как будто ей под ребро ткнули, сердито вскинула на Бандея мутные глаза, колыхнула полным телом:

— Ты чего это спрашиваешь? Тебе что здесь — посиделки? Отвечай на поставленный вопрос!

— Что, очнулась? Черти, поди, приснились. За подол хватали?

Кто-то рассыпал реденький козлиный смешок.

Кречев ахнул ладонью об стол так, что Левка вскинул голову.

— Вы что, издевательство пускаете с чуждой позиции? Или хотите подорвать идею индустриализации? Не позволим! — Кречев замотал указательным пальцем. Все притихли.— Заявите здесь членораздельно — будете подписываться или нет? Под протокол. Понятно?

Наступила минута тягостного молчания, как на могиле. Бандей шумно подымал и опускал мощную грудь, раздувая ноздри.

— Ну? — спросил наконец Кречев.

— Буду.

— Когда? Запиши сроки! — кинул Левке.

— После базара... В понедельник.

— Так и запишем. Садись! Прокоп Алдонин!

Прокоп поднялся прямой и строгий, как апостол.

— Как вы поясните нам свое личное увиливание?

— Какое увиливание? Я вам не должен. Налоги уплатил сполна, квитанции имеются.

— Значит, подписка на заем вас не касается?

— Это дело добровольное.

— Значит, народ подобру подписывается, а вы не хотите?

— У каждого свое понятие.

— Вот вы и поясните нам свое понятие: отвергаете народный заем или нет? Отвечайте под запись!

Прокоп с удивлением поглядел на Левку, Левка на Прокопа.

— У меня таких замыслов нету, чтоб отвергать всенародный заем,— Прокоп пошел на попятную.

— Ты не юляй!—крикнул Якуша.— Скажи, на сколько подписываешься?

— А ты что? На базар пришел ладиться?— огрызнулся Прокоп.

— Не-е! Это ты нам базар устраиваешь,— сказал Кречев.— Развел канитель на целых полгода. Говори, на сколько подписываешься?

— Э, э, как ее, как она, он еще с Матреной не посоветовался,— крикнул Барабошка.

Кто-то сдержанно гыкнул.

— Развлечения и подсказки отменяются,— железным голосом изрек Кречев и опять Прокопу:—Ну? Мы ждем.

— На десять рублей,— выдавил нехотя наконец Прокоп.

— Ты что, нищий, что ли?—крикнул Якуша.— Это Ваня Чекмарь да Ванька Вожак на десятку подписались.

— Больше не могу,— Прокоп аж вспотел.

— Хорошо. Решим сходом, какую сумму внести Прокопу Алдонину,— сказал Кречев.

И сразу ожило все, полетело со всех сторон:

— Под хрип ему... под хрип выложить... Пусть почешется!

— Не то мы все дураки, а он умна-ай...

— Дык ён, мил моя барыня, многосемейнай!.. Снисхождение детишкам окажите...

— У него дети, а у нас поросята?

— Дать под хрип!

— Верна... Топчи его, чтоб татаре боялись...

— Но-но! С чьего голоса поешь?

— Я не канарейка, ухабот сопливый!

— А в рыло не хошь?

— Хватит вам! Кому там выйти захотелось, ну?— Кречев тянул подбородок, подымаясь над столом.

Стихли. Кречев обернулся к Прокопу:

— На сколько подписываешься? Последний раз спрашиваю.

— На тридцать рублей.— Прокоп тут же и очи потупил.

— Хрен с ним... Пиши! И срок ему проставь — завтра чтоб внесть. Учти, скаред Христов, если завтра не купишь облигации, запишем в двойном размере и на голосование поставим.

Прокоп сел.

— Теперь на разное. Поступило два вопроса: во-первых, несмотря на неоднократные предупреждения, Дарья Соломатина продолжает держать шинок; и во-вторых, жалоба Матвея Назаркина на сына Андрея Егоровича Четунова. Какие соображения будут?

— Обсудить.

— Ясно. Дарья Соломатина здесь?

— Нету...

— У нас за всех баб одна Тараканиха сразу рассчитается.

— Попрошу без выпадов на личное оскорбление. Кто хочет выступить?

— А чего тут выступать? Все и так знают — Козявка шинок держит.

— Записать в протокол... То исть осудить.

— Правильно. Предупреждение по всем законам.

— Рассыльному отнесть... Под расписку ей вручить.

— Ладно... Пиши! Теперь насчет жалобы. Зачесть,или Назаркин сам скажет? Назаркин?

— Ён самый.— Из разлива голов вынырнул, словно из воды, невысокий мужичок с рыжими бровями и, беспокойно бегая глазами, затараторил:

— Значит, позиция моя вот какая — за моей девкой бегает парень Андрей Егоровича, этот самый... Соколик. Я его предупреждал насчет последствий. Это говорю, не игрушки! Потому заставал их во всех местах. И девку порол. Никакого толку. Бегает, и шабаш. Андрей Егорыч мер не принимает. Чего ж мне остается делать? Ждать приплоду? А куда я с ним тады денусь? Этого Соколика не оженишь, потому как сопляк. Вот я и предлагаю — оштрафовать его для острастки других, то есть отца. Чтоб другим было неповадно.— Назаркин сел.

— Ясно. Какие будут еще предложения?

— Извиняюсь, я тоже сказать хочу,— поднялся Андрей Егорович, борода лисья с красным отливом, взгляд небесно-голубой в потолок: — К примеру, Васька Полкан... То ись Василий Сморчков, извиняюсь, держит

мирского быка. Этот самый бык ходит по дворам. Бывает, и приплод от него появляется. Дак ведь мы не берем штрафа с Полкана! Наоборот, мы еще ему приплачиваем. Может, за моего сына и мне чего приплатить надо?

Весь трактир от раскрытых дверей до стола президиума загрохотал, замотал головами, заохал:

— Хо-хо-хо-хо!

— Гы-гы-гы-гы-ык... Дьявол тебя возьми-то.

— Ах-ха-ха-ха!.. Ах!.. Ах!.. А-пчхи, чхи!

— О-о! О-о! О-о! Ох, держите... Уморил Соколик, уморил...

— Ну, хватит, хватит!

— Ох! Ох! Ох-хо-хо-хо! А-а-апчхи!

— Хватит!..— трясет звонком над головой Кречев.— Хватит!

Но слабый, дребезжащий звонок меди глохнет все в новых безудержных взрывах хохота.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Секретарь райкома комсомола Митрофан Тяпин вызвал к себе в кабинет Марию Обухову и Сенечку Зенина.

— Ребята,— сказал он, стоя за столом, как на трибуне,— нужна помощь в выявлении из укрытия кулаками излишков хлеба. Установка райкома, ясно?

— Ясно! — дружно ответили ребята, приподымаясь со своих стульев.

— Вы можете не вставать,— осадил их Митрофан и нахмурился, глядя куда-то себе на нос, да еще выдержку сделал, чтобы подчеркнуть важность момента... отмахнул полу пиджака, засунул правую руку в карман и для чего-то пошевелил там пальцами.— Задача следующая: Гордеевский узел отстает по сдаче излишков хлеба. Сторона лесная, глухомань... Причина якобы в отсутствии хлеба. Допустим... Но по нашим сведениям точно установлено — на прошедшем тихановском базаре хлеб оттуда был. Значит, по государственной цене излишков нет, а спекулировать на базаре — находятся. Отсюда вывод — излишки найти. Черт возьми, у них колхоз «Муравей» и тот излишки не сдал. Это ж развал! Задача

номер два: товарищи, повсюду идет компания по выявлению кулаков для того, чтобы их хозяйства подготовить к индивидуальному обложению... Ведь новый сельхозналог не за горами. А у нас выяснилась такая позорная картина: в некоторых селах кулак внезапно исчез. Например, в Гордееве и Веретье. Дважды заседал тамошний актив бедноты, и кулаков не выявили. Ты, Маша, как член партии, свяжись с местной комячейкой. Помоги им. Народ ты знаешь, работала там учительницей. А ты, Семен, жми на комсомолию. Документы вам подписаны, можете взять их.— Тяпин сел и зашастал рукой по столу, как слепой.— Да где они?

На столе лежали газеты, какой-то журнал, раскрытая конторская книга и серая кепка посреди бумаг. Митрофан приподнял кепку.

— Ах, вот куда я их положил! — Кепку кинул на стул, ухмыляясь, шмыгнул носом.— Мужик собрался в извоз, да шлею потерял. Получайте!

Мария и Сенечка взяли свои командировки.

— Дак нам куда, в Веретье или Гордеево? — спросил Сенечка.

— Валяйте на агрономический участок. В барский дом. Там найдутся комнаты. Да, товарищи... Чуть не забыл! В воскресенье, то есть послезавтра, День Конституции и Международный день промкооперации. Сходите в Новоселки, в колхоз «Муравей», и проведите беседу... Еще вот что — там работает тройка по чистке партии и аппарата. Помогите своей активностью... Все! С комприветом!

Тяпин тиснул своей каменной пятерней руки активистам и проводил их, поскрипывая хромовыми сапогами, до дверей.

На другой день, с утра пораньше, Мария пришла в риковские конюшни и разбудила конюха Боцана, спавшего в хомутной.

— Дядь Федь, царствие небесное проспишь! — ткнула его каблуком в мягкое место.

— А-а! — Боцан поднял с попоны нечесаную, в сенной трухе голову и удивленно захлопал глазами: — Откуда тебя принесло, мать твоя тетенька?

— Вставай! Лошадь нужна, в Гордеево ехать. Вот тебе записка от управдела.

Боцан с опухшим ото сна лицом держал в руках записку и говорил, почесываясь:

— По такой нужде ехать надо. Ждать немыслимо, дорога дальняя,— а сам ни с места.— Я тебе, Мария Васильевна, Зорьку запрягу. Она кобыла хоть и невидная, но выносливая, киргизских кровей.

— Ты бы лучше пошевеливался, чем сидя рассуждать.

— В нашем деле спешка ни к чему. Это тебе не за столом щи хлебать...

Боцан известен был на все Тиханово как непревзойденный едок, вместе с Филипком они кадку блинов съедали.

— Чего ж медлить? Дорога дальняя.

— То-то и оно, что дальняя,— продолжал рассуждать Боцан, приводя в порядок свою одежду после сна.— Тут надо все обдумать, взвесить... Это у вас, у теперешних, тяп-ляп да клетка. Запряги тебе, к примеру, Молодца... Он и тарантас расшибет, и вас в лесу оставит. Или запряги Ворона... До ночи не приедете. Его хоть бей, хоть пляши на нем, он и не трюхнет... только хвостом отмахивается. Для него мужское слово надо. А ты баба. Тебя он не послушает.

Наконец Боцан пошел в конюшню. Через минуту вывел оттуда в поводу небольшую серую кобылу, а в другой руке нес лагун с дегтем.

Сунув повод Марии в руку, конюх торопливо подошел к тарантасу.

— В такую дорогу, Мария Васильевна, нельзя без подмазки ехать, не то колеса сыграют тебе «Вдоль по Питерской».

Подмазывая колеса дегтем, он говорил:

— Зорька — кобыла смирная. Но есть в ней один изъян — ежели ты заснешь, она упрет вó ржи. А то в лес свернет, где трава погуще. Я однова ехал на ней из лугов, выпимши был с окончанием покоса. Ну и задремал... Проснулся — что такое? Куда ни посмотрю — черно, как в колодезе. Овраг не овраг, а вроде ущелья. Небо над головой в лоскут — все звездами утыкано, а по сторонам черные бугры. Пошевелился я, вроде руки-ноги целы, а шея болит, будто кожи на ней мяли. Встал. Гляжу, где телега моя валяется, где колеса... А Зорька на верхотуре травку щиплет, и две обломанные оглобли при ней. Огляделся я — мать честная! Оказывается, это Красулин овраг. Вон куда угодило! Ну как я там на дне очутился, убей не помню. Наверно, черти затащили.

Рассказывая, Боцан запряг лошадь. Потом хлопнул ее

по спине и, обращаясь к Марии и передавая ей вожжи, заключил:

— Поезжай, Мария Васильевна! В добрый путь! Телега легкая, лошадь хорошая... Скоро доедешь... Нет, постой!

Он пошел к зеленой копне, взял огромную охапку свежей травы и положил в тарантас:

— Вот эдак мягче будет. С богом!

Мария неловко взобралась на высокий тарантас, взяла неумело, как все женщины, вожжи обеими руками и сказала:

— Растворяй ворота!

Сенечка Зенин жил возле церкви, на выезде из села. Он поджидал Марию на лавочке у палисадника. Перед ним стоял высокий черный ящик с ремнем. Завидев Марию, Сенечка закинул ящик за спину и вышел на дорогу.

— Это что за чемодан?—спросила Мария, останавливая лошадь.— Сухари на дорогу?

— Там увидишь,— ответил Сенечка, ставя ящик посреди тарантаса.— Дай-ка вожжи!

Он взял у Марии вожжи, прыгнул в передок и крикнул весело:

— Эй, быстроногая, покажи движение!

Хлыстнул по крупу, замотал, задергал вожжами, и лошадь, косясь глазами на возницу и поводя ушами, побежала резвой рысью. Ящик заколыхался в тарантасе, загрохал, как ступа с пихтелем.

Мария поймала его за ремень, открыла крышку—там лежала гармонь.

— Эй, учитель! Ты зачем гармонь взял? Ай на посиделки едешь?

— А тебе не все равно?—Сенечка обернул свою смешливую рожу: глазки подслеповатые, нос вздернут шалашиком, ноздри открытые—заходи, кому охота.— Может, я тебе страданье хочу сыграть. Дорога дальняя,— и подмигнул ей.

— Балбес!—беззлобно выругалась Мария.— Тебе уже за двадцать, а ты все кобенишься... На посиделки ходишь, по вечерам страданья играешь. Не учитель ты, а старорежимный тип.

— Дак ведь каждому свое—я на посиделках страданье играю, а ты вон с поповым сынком гуляешь. С бывшим офицером то есть. Так что кто из нас старорежимный тип—это еще вопрос.

— Он в Красной Армии служил, целой ротой командовал.

— Мало ли кто где командовал,— тянул свое Сенечка.— Вон я в газете прочел: вычистили одного завклубом. Оказался деникинский генерал. А командовал рабочим клубом.

— При чем тут генерал?

— Это я к примеру...

— Ну и глупо.

Ругаться не хотелось... Утро было солнечное, прохладное, с тем легким бодрящим ветерком, который нагуливается на росных травах да остывших за ночь зеленях. Еще звенели жаворонки, лопотали перепела, еще пыль не подымалась с дороги из-под колес, еще солнце не грело, а ласкало, еще все было свежим, чистым, не затянутым душным и пыльным маревом жаркого летнего дня. В такие часы не езда по торной дороге, а любота. Телега на железном ходу бежала ходко, плавно, без грохота и дребезжания, только мягко поскрипывали, укачивая, рессоры да глухо шлепали по дорожной серой пыли лошадиные копыта. За кладбищем, до большака обогнали несколько подвод с навозом. На каждом возу, как пушка в небо, торчали вилы. Мужички учтиво снимали кепки, слегка наклоняя головы, Мария помахивала им рукой и с жадностью вдыхала сырой и терпкий запах навоза.

Когда пересекли большак и свернули на пустынную лесную дорогу, Сенечка сказал:

— Не понимаю чтой-то я наше руководство. Нерешительный народ.

— Как то есть нерешительный?

— Очень просто. Уж сколько месяцев кричат ограничить кулака, изолировать его... Наступление на кулачество развернутым фронтом... Где же он, этот фронт? Одни разговорчики! Мы вот зачем едем? Тоже уговаривать кой-кого. Надоело! Ежели фронт, дай мне наган и скажи: отобрать излишки у такого-то вредного элемента! Отберу и доставлю в срок, будьте уверочки.

— Ах ты, живодер сопатый! А ежели у тебя отобрать вот эту гармонь и в клуб ее сдать? Как ты запоешь?

— А у меня за что? Я ж не кулак.

— Разве с наганом в руке определяют — кто кулак, а кто дурак? Ты путем разберись — кто своим трудом живет, а кто захребетник. Наганом-то грозить всякий умеет.

— Я в том плане, что классовый подход требует решительных мер.

— Всему свое время. Был у нас и военный коммунизм. Слыхал?

— За кого ты меня принимаешь? Все ж таки я окончил девятилетку, да еще с педагогическим уклоном.

— Больно много в последнее время у нас всяких уклонов развелось.

— Вот именно... К примеру, от твоих разговоров правым уклончиком отдает.

— Ты эти провокации брось! А то на порог нашего дома не пущу. И Зинке скажу, чтоб она тебя в шею гнала.

— Нельзя, Мария Васильевна, личную жизнь чужого человека ставить в зависимости от своей общественной точки зрения. Это, извините, не марксистский подход. Что ж такого, что наши с вами взгляды расходятся. Почему Зинка должна отвечать за это? Только потому, что она ваша сестра? Но это и есть проявление чувства собственности в семейных отношениях. Отсюда один шаг к союзу с собственником вообще, то есть с кулаком.

— Нет, Сенечка, с тобой нельзя серьезно говорить. Ты форменный балбес и демагог.

— Вот видишь, и до оскорбления дошли А все только из-за того, что я высказался за решительные действия.

— Да прежде чем действовать, надо разобраться! — Мария стала горячиться.— Мы же не к песиголовцам едем, а к людям. Почему низовой актив не выдвинул кулаков на обложение? Ведь есть же все-таки какие-то причины?

— А мне плевать на эти причины! — повысил голос и Сенечка.— Спелись они... Причины? Вон излишки хлеба государству не сдают, а на базар везут. Здесь тоже причину искать надо, да? Рассусоливать? Нет. Спекуляция, и точка.

— Какая ж тут спекуляция? Разве они везут на базар чужой хлеб? Спекулянт тот, кто перепродает. А кто продает свой хлеб — не спекулянт, а хлебороб.

— Так почему ж он не продает его государству? Дешево платят, да?

— Дешево, Сенечка. Ты слыхал о «ножницах»? Так вот за последние годы цены на промышленные товары, на инвентарь поднялись вдвое, а заготовительные цены на хлеб остались те же... Правда,на базаре они выше. Вот

крестьянин и везет туда. Ему ведь бесплатно никто инвентарь не даст.

Сенечка обернулся и долго, пристально глядел на Марию.

— Ты чего, разыгрываешь меня, что ли?—спросил и криво, недоверчиво усмехнулся.

И Мария усмехнулась:

— Что, крыть нечем? А ведь такие слова тебе могут сказать и на сходе, и на активе. Ну, уполномоченный, вынимай свой наган...

— Иди ты к черту!—Сенечка отвернулся и стеганул лошадь.

Дальше до самого Гордеева ехали молча. Лошадь и впрямь оказалась выносливой—всю дорогу трусила без роздыха, и когда подъезжали к селу, на спине и на боках ее под шеей проступили темные полосы, а в пахах пена закурчавилась. Заехали к Кашириной. Лошадь привязали прямо возле веранды, отпустили чересседельник, кинули травы. Из дверей выплыла Настасья Павловна в длинном розовом халате:

— Марусенька! Душечка милая! Какими судьбами? Иди ко мне, касаточка моя...

Мария вбежала на веранду и кинулась в объятия к Настасье Павловне:

— Как вы тут поживаете?

— Слава богу, все хорошо... А ты смотри как изменилась! Похудела... Строже стала. Или костюм тебя старит? Не пойму что-то.

На Марии была серая жакетка и длинная прямая юбка.

— Должность обязывает, Настасья Павловна...— сказала вроде извинительно.— В платье несолидно в командировку ехать.

— Ну, ну... А это кто? Познакомь меня с молодым человеком.

— Секретарь Тихановской ячейки, учитель... Семен Васильевич,— представила Зенина Мария.

Сенечка крепко тиснул мягкую руку буржуазному элементу, так что Настасья Павловна скривилась.

— А Варя где?—спросила Мария.

— Спит еще... Вы так рано пожаловали. Дел, что ли, много?

— Да, дела у нас неотложные,— важно сказал Сенечка.

— Проходите в дом. Может, отдохнете с дороги? Я самовар поставлю.

— Извините, мне не до чаев...— сказал Сенечка и, обернувшись к Марии: — Часа через два зайду.

Потом спрыгнул с веранды, надел ящик с гармонью через плечо и ушел.

2

Чай пили на веранде; посреди стола шумел никелированный самовар, а вокруг него стояли плетенки с красными жамками, с молочными сухарями, с творожными ватрушками, да чаша с сотовым медом, да хрустальная сахарница с блестящими щипцами, да сливочник, да цветастый пузатый чайник. Настасья Павловна розовым пуфом возвышалась над столом, восседая на белой плетеной качалке. На Варе была из синего атласа кофта-японка с широким отвисающим, как мотня, рукавом, ее пухлая белая ручка выныривала из рукава за жамками, как ласка из темной норы,— схватит и снова спрячется.

А над верандой цвела вековая липа, ее тяжелые в темных медовых накрапах резные листья свисали над перилами, касаясь плеч Настасьи Павловны, их влажный тихий шорох сплетался с гудением пчел в монотонную покойную мелодию.

От близкой реки тянуло свежестью, горьковато-робко веяло от скошенной травы, и распирало грудь от душного пряного запаха меда.

— Ну, как тебе на новом месте? — поминутно спрашивала Настасья Павловна Марию.— Как в начальстве живется?

— Я ж вам сказала — никакая я не начальница,— отговаривалась Мария.— Я простой исполнитель, понимаете?

— Как то есть исполнитель? Судебный? Или вроде дежурного по классу, что ли? — улыбалась Настасья Павловна.

— Вот именно... каждый день отчитываюсь — кто чем занимался, а кто где набезобразил...

— И с доски стираешь,— смеялась Варя, обнажая ровные белые зубки.

— За всеми не успеешь... Район большой,— в тон ей сказала Мария.

— А сюда с каким заданием?—спросила Настасья Павловна.

— Излишки хлебные не сдают... Поэтому вот и прислали.

— Господи, какие у нас излишки? Гордеево не Тиханово, не Желудевка. Там места хлебные.

— Там-то сдали. План давно выполнили.

— Не понимаю, какой может быть план, когда речь идет об излишках?—Настасья Павловна от недоумения даже пенсне сняла.

— На излишки тоже спускают план,— сказала Мария.

— Ну, деточка моя, что ты говоришь? Излишки — значит лишнее. Был у человека хлеб. Он рассчитывал съесть столько-то. Не съел. Осталось лишнее. Как же на это лишнее можно сверху дать план?

— Ой, Настасья Павловна, тут мы с вами не сговоримся. Поймите, государству понадобился хлеб, оно дает задание областям, округам, районам — изыскать этот хлеб. То есть определить излишки, ну и попросить, чтобы их сдали.

— А их не сдают! — Варя опять засмеялась.

— Вот вы и узнайте — почему не сдают,— сказала Настасья Павловна.— Потом сообщите туда, наверх, не сдают, мол, по такой-то причине. Измените закупочные цены — и все сами повезут эти излишки без понужения. Ведь как все просто.

Варя опять залилась смехом, запрокидывая голову, а Мария, вся красная, заерзала на стуле.

— Поймите, Настасья Павловна, страна вступила на путь индустриализации. Нужны средства, колоссальные усилия всего народа. Каждая копейка должна быть на счету.

— Ну да, конечно... Золото с церквей сняли, драгоценности отвезли... А теперь усилия. Да кто ж против усилий? Речь идет о том, чтобы эти усилия распределять равномерно в обществе. Почему какой-нибудь там Орехов или Потапов должны отдать за бесценок сэкономленный хлеб? Вы же от своего жалования не отказываетесь во имя индустриализации,— Настасья Павловна тоже раскраснелась.

— Но я подписалась на заем!

— И они подписались...

— Ну хватит вам! — хлопнула Варя ручкой по столу.— Вон как обе распалились. Еще не хватает поругаться из-за пустяков.

— Это не пустяки,— сказала Мария.

— Согласна, согласна,— закивала Варя.— Но за чаем все-таки принято не политикой заниматься. Мы с тобой не виделись целую вечность... Подружка, называется... Приехала, подняла человека с постели ни свет ни заря — и развела канитель про усилия. Ты свои усилия напрягай знаешь где?..

— Я не пойму... Ты что, моим приездом недовольна? — перебила ее Мария.

— Ну, Манечка, милая, не будь букой, не сердись! — Варя прильнула к ней и сказала на ухо: — А мы с Колей помирились.

— С Бабосовым? Он был у тебя?

— Был, Маня, был... У-ух! — Варя зажмурилась и головой потрясла.

— Почти неделю здесь куролесили,— сказала Настасья Павловна. Минутное возбуждение сошло с нее, как с гуся вода, она сидела опять покойной и удоволенной.

— Мы с ним пожениться хотим,— доверительно шепнула Варя.

— В который раз? — усмехнулась Мария.

— Злюка, злюка! А я вот, пожалуй, возьму и не скажу тебе...

— Что еще за секрет?

— Этот секрет пол-Гордеева знает,— усмехнулась Настасья Павловна.— В Степаново собирается, к Бабосову.

— Ты к Бабосову? Насовсем?

— Ну не так чтоб насовсем... Пожить, приглядеться. Его в Степановскую десятилетку перевели. Да! — она хлопнула Марию по коленке.— И Успенский там же. Поселились они временно в бывших ремесленных мастерских. Школу приводят в порядок, получают имущество.

— Я слыхала,— сдержанно сказала Мария.

— Говорят, ты с Успенским того? — Варя пошевелила пальчиками.

— Перестань, глупости! — Мария снова пунцово зарделась.

— Ой, батюшки мои! — всплеснула руками Настасья Павловна.— Я ж совсем позабыла — у меня курица посажена на гнездо и корзинкой накрыта.— Она поспешно встала и ушла на двор.

— Ты надолго сюда? — спросила Варя.

— До понедельника.

— А ты бы смогла вернуться в Тиханово по Степановской дороге?

— Можно...

— Знаешь, что я надумала? Давай поедем завтра вечером. В Степанове заночуем. А утром двинешься в Тиханово. Там пустяки.

— Надо подумать...

— Манечка, милая, это ж такой момент. Представляешь, соберемся вместе! Я, ты, Коля, Дмитрий Иванович... Что будет! Что будет!

— У меня ж еще дела.

— Ах, их до смерти не переделаешь. Поедем! Маня, учти, второй молодости не бывает. Это врут про нее.

— Я ж не одна... Со мной этот балбес... Кстати, сколько времени? — глянула на часы.— Ого! Уже десятый час. Где он там запропастился? Пора бы уже и делом заняться.

Но вместо Сенечки появился председатель сельсовета Акимов Евдоким — квадратный широколицый мужик в черном пиджаке и флотской тельняшке.

— Вот, оказывается, кто к нам припожаловал,— гудел он, подминая скрипучие ступени.— Здравствуйте, Мария Васильевна! Рады вас видеть,— протягивал он свои короткие толстые ладони с затейливой татуировкой.

Появилась Настасья Павловна.

— К столу, пожалуйста, Евдоким Федосеич.

— Премного благодарны, Настасья Павловна. Я уже отчаевничал.— Акимов галантно обошел всех дам и притронулся своей корявой ладонью к мягким ручкам.

Сел, обращаясь к Обуховой:

— Вы по делу к нам или в гости?

— По делу, и лично к вам. Только было собралась идти.

— Вон как! А вы, случаем, не на пару приехали?

— Да. Со мной тут Зенин, секретарь Тихановской ячейки. Вы его видели?

Акимов усмехнулся и смущенно крутнул белесой головой:

— Не знаю, как и сказать,— поглядел на пол, потом спросил: — Вы знаете, где он?

— Где? — Мария почуяла что-то недоброе.

— В избе-читальне лотерею устроил.

— Какую лотерею?

— Гармонь продает... Разыгрывает то есть.

Вся застолица грохнула затяжным смехом, а Мария покрылась красными пятнами:

— Вы это серьезно?

— Да какие там шутки. Заходит ко мне участковый агроном и говорит: «Эй, ты, власть! Ты чего это цирковой балаган устроил в избе-читальне?» Какой балаган, спрашиваю. Форменный, говорит. Приехал из Тиханова какой-то тип, сперва по домам шастал, как поп, потом собрал ребят в избу-читальню и гармонь там разыгрывает. Я туда бежать. Разгоню, думаю, паршивцев. Влетаю — мне избач навстречу. Евдоким Федосеевич, говорит, не гневайся. Это уполномоченный из райкома. Кто его знает? Может, у него, говорит, форма агитации такая. Он, мол, приехал с Марией Васильевной Обуховой. Она сидит у Кашириной. Сходи, узнай — в чем дело.

— Боже мой, какой позор! — Мария встала.— Надо немедленно идти туда, остановить его.

— Хуже будет, Мария Васильевна,— сказал Акимов.— Поначалу я сам думал — разогнать, и все. А потом смикитил — это ж скандал на всю округу. Он ведь уполномоченный...

— А что же делать?

— Пойдем и переждем эту лотерею. Сделаем вид, что все нормально. А потом всыплем ему, когда народ разойдется.

— Пошли!

Еще поднимаясь от Петравки на высокий уличный бугор, где стояла изба-читальня, они услышали визгливый голос Сенькиной ливенки, доносившийся сквозь раскрытые окна.

Играли вальс «На сопках Маньчжурии».

— Качество проверяет,— сказал Акимов.

В читальне было битком набито парней. Сенечка сидел на столе, опершись ногами на скамью, и самозабвенно наяривал старинный вальс — нос кверху, глаза под лоб упустил и даже головой покачивал от удовольствия. На протиснувшуюся Марию и Акимова только глянул туманным взором и отвернулся. Играл при гробовом молчании, зная цену своему искусству. Рядом с ним лежала кепка, полная белыми лотерейными ярлыками.

Кончил играть, откашлялся, как модный тенор, и спросил публику:

— Ну как?

— Мехи сильные.

— Голосисто... В Веретье, поди, слыхать.
— А строй?
— Что строй! — сказал Сенечка. — Ты глухой, да? Я ж «На сопках Маньчжурии» не то что сыграл — выговорил. Не всякая хромка тебе так вот распишет.
— Чего там говорить, забористая гармонь.
— Да. Голоса выдержанные, — послышались одобрительные возгласы.
— А как насчет басов?
— Что басы?
— Вразнобой пусти!
— Пусть страданье сыграет!
— Какое — саратовское или сормовское?
— Давай сормовского.
Сенечка рванул мехи, и тотчас с первого колена влился в его разухабистую бурную мелодию легкий лукавый голосок:

Сормовской большой дорогой
Пробирался на Кавказ...

Второй куплет подхватил из другого угла невидимый яростный бас:

На базарном перекрестке
Продавала девка квас...

Первый голос игриво, насмешливо уводил за собой дальше:

Я спросил у ней напиться,
Она, дура, не дала.

Бас, очнувшись, ухнул зычно, как из бочки:

Я спросил у ней...

Но тут гармонь рявкнула и испустила дух.
— Все, — сказал Сенечка. — Дальше пойдет нецензурный мат. При женщинах запрещается.
Он оставил гармонь, поднял кепку, пошевелил сложенными ярлыками:
— Ну, все согласны тянуть? Никто не хочет взять назад деньги?
Молчание.
— Тогда приступим. Значит, двадцать девять номеров пустых, один выигрышный. Подходи по очереди.
Ребята стали подходить и вынимать билеты. Кто

разворачивал тут же и бросал, плюясь себе под ноги, кто отходил к порогу и там тихонько матерился. Наконец объявился счастливчик. Он поднял кулак и заржал:

— Га-га-га! Вот она, ласточка... попалась!

— А ну-ка, прошу! — сказал Сенечка, беря билетик.— Сейчас проверим, сейчас... Правильно, роспись моя. Так, ваша фамилия, имя и отчество.

Парень назвался. Сенечка записал его в блокнот и сказал:

— Вас вызовем через неделю по почте, открыткой на заключительный тур. Гармонь разыграете вчетвером, то есть победители четырех кустов. Все, товарищи! — И, обернувшись к избачу: — Попросите публику оставить помещение.

Когда ребята вышли, Мария, еле сдерживаясь, процедила:

— Ты что же делаешь, артист?

— Как это что? То самое, что обязан, и вам рекомендую так же выполнять свою задачу.

— Какую задачу? Балаганить, да? — сорвалась на крик Мария.

— Но, но... Давай потише. Пока ты чай распивала, я зажимщиков хлеба выявлял.

— Каких зажимщиков?

— Тех самых, что излишки не сдают.— Сенечка достал из кармана свернутый вчетверо тетрадный лист, развернул его и подал Акимову: — Это ваши люди? Читайте! Те, которые излишки не сдали.

Акимов пробежал список глазами:

— Они. Кто вам дал этот список?

— Секретарь сельсовета. Да, да, ваш секретарь. С этим списком я и ходил по дворам, вроде бы агитировал в лотерею сыграть на гармонь, а сам глядел, где рожь спрятана.

— Ее, что ж, под порогом прячут, рожь-то? — усмехнулся Акимов.

— А где ее прячут? Ну-ка скажи! В сусеках, что ли?

— Ну, не в сусеках... В бане, на сушилках...

— Ага, еще в чулане,— подсказал ехидно Сенечка.

— Можно и в чулане.

— А вы пойдете с комиссией и враз все отберете... Ждите, так вам и положат. Эх вы, горе-сыщики! — Сенечка покачал головой.— Ноне дураков нет. Уж если прячут, так надежно. Вот я и спрашиваю вас — где?

— В землю зарывают,— сказал избач.

— Чепуха! Это вам не осень и не зима. Сейчас в земле рожь прорастет. Теперь прячут в сухом месте, в подпечнике.

— Чего?— сказала Мария.

— Села баба на чело... Вот, в списке подчеркнуты три фамилии. У них под печкой хранится хлеб.

— Ты что, лазил туда?— спросил Акимов.

— Вот еще! Я гармонист. Пришел — гармонь показал, страданье сыграл. Ну а сам глазом чик! Если есть новые доски на подпечнике или свежие затесы — значит, хлеб спрятан там. Будьте уверочки. Сходим!

— Ты не ошибаешься?— спросила Мария.

— А если и ошибаюсь, ну и что? Мы ж приехали дело делать. Вскроем, составим акт...

— Ну что ж, сходим хоть к Орехову Павлу Афанасьевичу,— сказал Акимов.— Он ближе всех живет.

— Как? Идти ломать подпечник? У меня таких полномочий нет,— решительно возразила Мария.— Я не пойду. Свяжитесь с прокурором.

— Может, понятых позвать?— заколебался Акимов.

Мария пожала плечами:

— Мы можем только пригласить кого-то, вызвать на беседу или сходить поагитировать. Но обыск делать? Извините! У меня еще голова на плечах.

— Вот это и есть либеральные мерехлюндии,— сказал Сенечка.— Мое дело выяснить и доложить. А вы как хотите. Если отказываетесь акт составлять, тогда нам вместе делать нечего. Ну пойдем акт составлять?

— Нет,— сказала Мария.

— И я не стану,— сказал Акимов.

— Как хотите!— Сенечка закинул гармонь на спину и двинулся к дверям, у порога остановился:— Я пошел в Веретье. Буду работать один, как подсказывает мне совесть. Но учтите, на вашу бездеятельность и покрывательство напишу докладную.

3

— Н-да... Вот тебе и точка с запятой,— Акимов сел за стол и нахмурился.— Вот что, Тима, сходи-ка к Орехову, позови его сюда,— наказал он избачу.— Если хозяина нет, давай хозяйку. Надо разобраться.

— Я в момент,— худенький белобрысый избач, в лапоточках, синие штаны навыпуск, вихрем слетел с высокого крыльца и помотал вдоль уличного порядка, только голова замелькала.

— Садись, Мария Васильевна, в ногах правды нет. Какие у вас еще задания? Говорите.

Акимов вынул кисет, свернул цигарку, закурил, смахивая табачные крошки в ладонь.

— Задание наше известное, Аким Федосеевич,— Мария усмехнулась.— Говорят, у вас кулаки внезапно исчезли.

— А-а,— протянул Акимов.— Индивидуальных обложений нет. Известно.

— Ну и как же насчет кулаков?

— У нас был один Осичкин, да уехал в прошлом году. В его доме сейчас ветпункт. А чего ты спрашиваешь? Ты же сама знаешь. Не один год, чай, работала у нас в Гордееве?

— А Звонцов?

— Подрядчик, что ли?

— Ну?

— Он бросил штукатурные подряды. И бригада его распалась. Теперь он от селькова работает в лесу на заготовках. Жалованье получает. Какое же ему давать индивидуальное обложение? Что обкладывать? Хозяйство вы его знаете.

— А лошади?

— Дак у него теперь одна рабочая лошадь. Второй рысак. Разве что рысака обложить? Но вроде бы такого постановления нет.

— А Потаповы?

— Мельники? Братья Потаповы, конечно, народ крепкий. Но ведь работников они никогда не держали. Сами вдвоем справляются... Мельница у них на два постава, тебе известная. Доход комиссия определила еще в прошлом году... в три тысячи. Подоходный налог они платят исправно. А в хозяйстве у них всего по лошади да по корове. Как же их обкладывать? С какой стороны?

Акимов свел свои толстые обветренные губы трубочкой и начал пускать в потолок дым кольцами.

— Что же, выходит, претензии к вам напрасные?— спросила Мария.

Акимов подался грудью на стол и, глядя на нее

исподлобья грустными серыми глазами, сказал с оттенком горечи:

— Разве в нас дело? Я же не надувало мирской, не фальшивомонетчик. Я коммунист, четыре года на флоте отслужил и здесь тружусь примерно, хозяйство свое содержу в порядке, чужого ничего не беру. Почему ж мне не верите? И актив у нас мужики честные, что надо. Мы ж не дети — видим, кто и как живет. А вы нас подозреваете в укрывательстве, а?

Мария отвернулась от его пристального взора:

— Вы говорите так, будто я питаю к вам это самое недоверие. Не беспокойтесь, я по домам не пойду.

— Да пожалуйста. Мы ничего не скрываем.

— Евдоким Федосеевич, а почему колхоз «Муравей» излишки не сдал?

Акимов как-то по-детски хмыкнул:

— А он их на портки выменял.

— Как это?

— Да так. Вы сегодня вечером свободны?

— Разумеется.

— Пойдемте на агроучасток. Как раз сегодня разбирают председателя колхоза. Вот и познакомитесь с ним, от него все узнаете.

Вошел избач с худым и погибистым мужиком в лаптях и посконной рубахе, подпоясанной оборкой.

— Здравствуйте вам! — сказал вошедший, степенно сгибаясь и подавая заскорузлую большую руку.

— Садитесь, Павел Афанасьевич,— пригласил его Акимов на скамью.

Орехов сел, осторожно поглядывая то на Акимова, то на Марию. Выражение его постного в жидкой рыжей бороденке лица было таким, как будто бы его только что разбудили и он не поймет, где очутился.

— Павел Афанасьевич, вот представитель района интересуется, почему ты хлебные излишки не сдаешь?

— Дак ведь нету излишков-то.

— А говорят — под печкой у вас хранится хлеб? — сказал Акимов.

Орехов дернулся и захлопал глазами.

— Ну, чего молчишь?

— Я, эта, из амбара перенес в подпечник хлеб-от... Крысы там донимают.

— За тобой числится десять пудов излишков. Почему не сдаешь?

— У меня всего-то пудов десять будет. Вот с места не сойти, если вру. Еле до нового дотянуть. Ты ж знаешь, сколь у меня едоков-то.— У него дернулась верхняя губа и покраснели, заводянились глаза.— Евдоким Федосеевич,— выдавил хрипло,— не губи детей! Перенеси на осень. Сдам до зернышка. Вот тебе истинный бог — не вру,— и перекрестился.

— Чего ж ты молчал, когда излишки тебе начисляли? — спросил Акимов.

— Меня никто не спрашивал. Зачитали на сходе, и валяй по домам.

— Ну, что будем делать? — обернулся Акимов к Марии.— Акт составлять? Сам признался, что хлеб есть.

— Пусть идет домой,— ответила Мария.

— Премного вам благодарны,— Орехов поспешно вскочил, низко поклонился, и только его и видели.

— Теперь до дому будет бежать без роздыха,— усмехнулся Акимов, глядя в окно.— Других будем вызывать?

— Нет.— Мария встала.— Для меня картина ясная. Извините за хлопоты, Евдоким Федосеевич. Я похожу здесь по селу. В школу загляну. Старое вспомяну.

— Отдыхайте. Вечером приходите на чистку.

— Приду.

Часов в пять на агрономическом участке, в бывшей барской усадьбе возле Веретья открылось очередное заседание. На скамейках расселись человек пятьдесят местных крестьян. Окружная комиссия из трех человек — все в белых рубашках с расстегнутыми воротами — двое лысых, один с бритой головой — сидела за столом, лицом к публике. Намеченных для чистки выкликали строгим зычным голосом:

— Коммунист Сидоркин!

— Здесь! — отзывалось тотчас из зала, человек вскакивал, как на военной поверке — подбородок кверху, руки по швам, и шел к столу, становился с торца, так чтобы есть глазами начальство, а ухо держать к публике — вопросы сыпались не только из-за стола.

Когда Мария пришла на чистку, донимали этого бедолагу больше всего из зала. Он стоял красный и часто утирался рукавом синей рубахи.

— Вы, извиняюсь, коммунист. В бога не верите. А зачем крестины устроили? — спрашивал крупноголовый

старик, стриженый под горшок, и учтиво оборачивался к председателю комиссии: — Я правильно говорю?

— Правильно,— подтверждал тот басом.— Сидоркин, отвечайте!

— Товарищи, это ж не настоящие крестины. Ребенка в купель не кунали.

— А чем ты нам докажешь? — выкрикивал с передней скамейки Сенечка Зенин. Он был уже здесь.

— Ну спросите хоть крестную с крестным. Они подтвердят мое показание.

— Ах, значит, кум с кумой были? А что это, как не предмет религиозного культа? — торжествовал Сенечка.

— Но ведь крест не надевали,— отбивался Сидоркин.— При чем же тут религиозный культ? Чего вы на меня напраслину валите?

— Погоди, погоди,— остановил его бритый председатель.— А застóлица была? Выпивка то есть...

Сидоркин задышал как притомленная лошадь, утерся рукавом и согласно мотнул головой.

— Вот вам и доказательство,— сказал председатель.

— Разрешите мне! — потянул руку Сенечка.

Председатель дал знак рукой, Сенечка встал:

— Товарищи, вот вам двойное нутро одного и того же лица: на словах он — член партии, работник советской кооперации, а на деле — темный приспешник старинных церковных обрядов. Комиссия разберется, место ли такому человеку в кооперации и тем более в рядах партии. Между прочим, завтра праздник международной кооперации — смотр боевых сил ее членов. А что это за боевая единица, которая занимается пьянкой в честь крестин? Факты говорят сами за себя.— Сенечка сел.

— Хорошо выступил товарищ,— сказал председатель и поглядел в зал: — Еще желающие есть? Может, предложения будут?..

— Вы свободны.— Председатель кивнул Сидоркину.

Тот вышел.

— Кто там очередной? — спросил председатель соседа справа.

Такой же строгий, насупленный сосед указал темным толстым пальцем на список.

— Ага,— кивнул председатель и прочел: — Миронов Фома Константинович!

— Здесь!

Это был молодой рослый мужик лет тридцати, чисто выбритый, в отглаженном коричневом костюме и в галстуке. По всему было видно, что готовился он к этой чистке серьезно и тщательно.

— Расскажите нам вашу трудовую автобиографию,— попросил председатель.

Миронов вяло и долго рассказывал, где родился, кто отец с матерью, на ком женился и прочее. Его почти и не слушали, в зале шушукались, члены комиссии задумчиво и строго смотрели прямо перед собой, погруженные в свои мысли. Но только дела дошли до колхоза, все оживились.

— Кто вас надоумил создать колхоз?

— Ну, кто меня надоумил? Собрались как-то ко мне мужики с нашего поселка. Я им прочел решение Пятнадцатого партсъезда о коллективизации. А потом и говорю: давайте, мужики, попробуем и мы создать колхоз. Конечно, кто хочет. Было нас человек пятнадцать. Одни сразу отказались, другие говорят — надо с бабами посоветоваться, а шесть человек тут же записались у меня за столом. Еще двое к нам примкнули, с бабами посоветовались. Значит, на восемь хозяйств у нас оказалось семь лошадей. Двое вступило безлошадных, а у меня было две лошади. Договорились — лошадей всех свести ко мне на скотный двор, а коров своих я переставил в конюшню. Вот и создали колхоз... Попросили председателя Гордеевского сельсовета Акимова, чтобы нарезал нам пахотные поля в одном массиве. Ну, от Гордеевской дороги к болоту он выделил нам, колхозу... И сенокосы нарезал близкие, за полверсты от деревни, к лесу. Стали семена собирать. Оказалось — я, да братья Синюхины, да Санек Мелехин семена сохранили. А у других колхозников семян не было — за зиму все съели. Делать нечего, пришлось мне за других вносить. Рожь и овес у меня были... А вот проса на две десятины не хватило. Пришлось и семянное просо мне покупать. Жена ездила за просом в Козлов.

— А что в результате вышло? — спросил председатель комиссии.

— Обождите,— нелюбезно оборвал его Миронов и продолжал: — Весной, значит, провели сев. Совместно. У меня была сеялка. И все яровые мы посеяли только сеялкой. А пары еще и прокультивировали. Кто культивировал да бороновал пары, а кто сенокосы расчищал, дрова рубил. Бабы пололи проса. То есть артельно дела пошли. А наступил сенокос — пришли к выводу: детей

одних оставлять нельзя. Назначили домоседкой одну колхозницу Варвару Мелехину, снесли к ней детишек. А ей платили, как бы она ходила вместе с другими на сенокос или на жатву. Вот и результат появился. Первый год, то есть прошлый, был для нашего хозяйства успешный, мы получили с каждой десятины по сто пятнадцать пудов. И сеном себя обеспечили с избытком. В этом году в наш колхоз вступило еще два хозяйства.

— Вопросы имеются?—спросил председатель.

— Прошу!—Сенечка Зенин поднял руку и, получив разрешение, встал:—Вам были определены хлебные излишки. Почему вы их не сдали?

Миронов, переступив с ноги на ногу, оглянулся в зал, словно ища поддержки, и стал путано объяснять:

— Дело в том, что мы купили много инвентаря и двух лошадей. Всю выручку израсходовали.

— А налоги?—спросил председатель.

— Налоги полностью внесли. И хлебозаготовки выполнили одними из первых... Ну вот. Денег, значит, не было. А тут на общем собрании решили—купить мануфактуры, чтоб одеть колхозников во все одинаковое... Рязанское отделение Ивановтекстиль пошло нам навстречу—дало несколько кусков материала.

— А вы продали хлеб на базаре?—крикнул Сенечка.

— Значит, несколько кусков,—смущенно повторил Миронов.—Из одного куска красного сатина мы сшили колхозницам по платью и по красной косынке. А из черного материала—мужикам на брюки... Не знаю, что за материал. Ну, вроде «чертовой кожи». А еще из одного куска решили сшить детишкам парные костюмы, чтобы они выделялись чем-то среди других. Все ж таки колхозники.

— Ага, выделение за счет спекуляции!—крикнул опять Сенечка.—Хорош колхоз, ничего не скажешь.

В зале зашумели, а Миронов сказал:

— Я не спекулянт.

— Может, вы интересы государства выше собственных ставите?—спросил опять Сенечка.—Тогда поясните, почему вы государственные излишки пустили на женские наряды?

— Бабы ночью уговорили!

— Надышали... Гы-гык!

На красной шее Миронова веревками вздулись жилы. Он молчал.

Мария только теперь заметила в углу тесно сбившуюся, притихшую стайку женщин в красных платьях и в косыночках. Что-то резкое полоснуло ее по сердцу, и она крикнула, не помня себя:

— Прекратите издевательство!

Председатель забарабанил ладонью по столу.

— Товарищи, попрошу соблюдать спокойствие,— гася неожиданную вспышку, сказал он.— А вы, товарищ Миронов, свободны. Объявляется перерыв.

Все разом встали и двинулись на выход. Проходя мимо Марии, Сенечка выдавил сквозь поджатые губы:

— Поговорим в райкоме, товарищ Обухова.

— Нет! Нам с вами говорить не о чем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Тихим воскресным вечером Мария с Варей приехали в Степаново. Еще солнце стояло высоко и с дальнего заречного бугра от белой колокольни, возвышающейся над мягкими куполами вязов и лип, доносился густой и вязкий вечерний благовест. Народ, одетый по-воскресному — бабы в белых платочках и в длинных темных юбках, мужики в картузах и в хорошо начищенных хромовых сапогах,— тянулся извилистыми тропами по открытому пологому взъему к церкви. При въезде в село из окон земской больницы — трех длинных деревянных корпусов под зеленой крышей — отрешенно и долго глядели на них больные в синих облезлых халатах и в белых колпаках. В больничном сквере паслись телята и свиньи, расхаживали куры. Сельская улица встретила их разноголосым собачьим лаем, кружением возле телеги шустрых босоногих ребятишек:

— Тетенька, дай на телеге прокатиться!

— Отойди прочь, ну! — отгоняла их кнутом от задка Варя.— В колесо попадешь — ногу сломаешь.

Один из пареньков сделал ужасное лицо и схватился за голову:

— Тетенька, у тебя ось в колесе... Останови скорее!

— Стой, Маша, стой! С колесом что-то случилось,— испуганно крикнула Варя.

— Будет тебе, глупая,— обернулась та.— Над тобой же смеются.

— Не-е, тетенька... Правда, у вас ось в колесе...

— Вот я вам, мошенникам...

Бывшая ремесленная школа с красным двухэтажным учебным корпусом и приземистыми, длинными мастерскими стояла за селом на крутом берегу Петравки. Перед школой был широкий, заросший травой плац с высокой перекладиной, на которой висели два обрывка толстого каната и длинный шест, с турником и брусьями, с гигантскими шагами и с длинной коновязью возле самого палисадника. Мария привязала лошадь за коновязь, отпустила чересседельник, кинула травы. Варя сидела в тарантасе и растерянно глядела на пустынный плац, на запертую школу, на сиреневый палисадник. Нигде ни звука...

— Ты чего, передумала, что ли? — спросила Мария.

— Неужто опять обманул, подлец? — сказала Варя, передергивая нижней губой.— Он же обещал ждать вечером в школе.

— Может быть, где-то здесь? Надо поискать.

— Что он, иголка, искать его? — Варя, раздраженная, чуть не плача, спрыгнула с тарантаса.

Обошли все школьные подъезды — заперто, тихо, пустынно. Заглянули в мастерские, и там никого. Одно окно было занавешено газетами. Посмотрели с завалинки в верхнюю фрамугу — посреди комнаты стоял стол, на нем хлеб, колбаса, сыр, огурцы, бутылки вина и водки, на стульях в беспорядке висели рубашки, брюки, под койками валялись ботинки. А на койках, сваленные в кучи, лежали зеленые диагоналевые брюки и френчи с золотыми погонами. На кроватных спинках висели ременные портупеи... От этой загадочной комнаты, от незнакомых одежд, от запертой школы, от этой тишины, безлюдности веяло каким-то мистическим страхом.

— Что бы это значило? — спросила Варя.

— Не знаю... Вымерли все, что ли?

Они вышли на высокий каменистый берег Петравки. Далеко внизу кто-то плескался в широком темном омуте, доносились мужские голоса.

— Это они! — воспрянула Варя и заголосила, приставив руки трубочкой к губам: — Коля-а-а!

— А-а-а! — отозвалось эхо от дальнего пустынного берега. Потом снизу донесся голос Бабосова:

— Ого-го-о-о! Варюха, давай сюда! Кидайся в омут!

Варя, скинув туфельки, в одних носочках побежала вниз по каменистым уступам.

— Куда ты, сумасшедшая? — крикнула Мария.— Шею сломишь!

Варя и не оглянулась, неудержимо и быстро скатывалась все ниже и ниже, словно колобок. Белая кофта-разлетайка трепетала на ней, как на веревке в ветреный день. А от омута, из тальниковых зарослей вышел ей навстречу Бабосов в одних трусах.

Мария обошла обрывистый бугор по дальней тропинке и спустилась к речке. Возле тальниковой стенки, кроме Бабосова и Вари, она встретила Успенского и едва знакомого ей Костю Герасимова, степановского учителя, секретаря партийной ячейки. Это был носатый, здоровенный малый с красивым, но рябоватым лицом. Они с Успенским, оба сухие и жилистые, боролись на руках, подпрыгивая и кривляясь, точно дикари в пляске. Бабосов с Варей отошли за куст и, занавесившись ради смеха полотенцем, беззастенчиво целовались.

— Здорово, белогвардейцы! — крикнула, подходя, Мария.

— Чш-ш! — Успенский приставил палец к губам и оглянулся.— Откуда тебе известно?

Бабосов испуганно отпрянул от Вари и обалдело уставился на Марию.

— Кто вам сказал?

Растерянно, с недоумением на лице окаменел и Костя.

— Вы чего? — удивилась Мария, сама не понимая, в чем дело.

— Кто тебе сказал про белогвардейцев? — спросил опять Успенский.

— Никто не говорил.

— Откуда же ты знаешь про нашу операцию?

— Какую операцию?

— Ой, ребята, значит, вы что-то задумали? — сказала Варя.— А мы видели в вашей комнате офицерские мундиры.

— И только? — Бабосов вдруг рассмеялся и ткнул Успенского в бок.— Ну что, испугался, штабс-капитан?

— Может, все-таки поясните? — требовательно и с подозрением спросила Мария.

— Это дело начальства. Вон, пускай секретарь отчитывается,— сказал Успенский, кивая на Герасимова.

— Обыкновенная деловая операция, Мария Васильевна,— сказал Герасимов.— У нас на неделе предстоит чистка. Вот мы и решили провести ее за сегодняшнюю ночь.

— Каким образом?

— Маленькая служебная инсценировка... Я согласовал на бюро. Переодеваемся в офицерскую форму, делаем ночной обход и собираем всех коммунистов в школьную кладовую, под видом ареста. То есть инсценируем переворот Советской власти. Налет отряда Мамонтова. И все коммунисты искренно признаются — кто за Советскую власть, кто — против. Инсценировка моя...

— А здесь что-то есть! — хлопнул себя по лбу Бабосов.

— Коля, это ж гениально! — захлопала Варя в ладоши.— Клянусь, это настоящая чистка верности.

— И тебя посажу в кладовую, чтобы проверить — верна ты мне или нет?

— Остолоп!

— Ну, чего молчишь? — спросил Успенский Марию.— Не нравится?

— Соображаю...

— Медленно, как всегда.

— А ты любишь быстроту и натиск?

— По крайней мере, не бегаю по полям, как коза.

Они еще не встречались с того вечера, и Успенский заметно дулся на нее.

— Ну, чего ж мы стоим? — сказал Коля.— Приехали гости, значит, угощать надо.— Он поглядел на карманные часы, лежавшие на лопухе: — Ого! Скоро мой актив придет. Пошли!

Мария с Успенским поотстали.

— Ты как здесь очутилась? — спросил он.

— Из Гордеева Варю завезла. В командировку ездила.

— А я думал...— он запнулся.

— К тебе на свидание?

— Хотелось бы, — он поймал ее за руку повыше локтя.

— Ну-ну, Митя! — она кивнула на идущих впереди и отняла руку.

— Всего-то ты боишься,— вздохнул притворно.

— Где вы достали офицерскую форму?

— В клубе. На той неделе спектакль играли, кажется, пугасовские железнодорожники. Реквизит оставили пока. Вот Бабосов и сообразил. Давайте, говорит, неподдельную чистку проведем.

— А вам по шее не надают?

— Мне-то за что? Я беспартийный. Это Костя с товарищами. Говорят — лучше не придумаешь.

За столом, выпив вина да водки, вперебой стали рассказывать о школе.

— Я здесь вроде менялы — станки на парты обмениваю,— сказал Успенский.

— Ванька говорит — тебя завучем утвердят,— сказал Костя.

— Что за Ванька? — спросила Мария.

— О, да ты еще ничего не знаешь,— обрадовался Бабосов.— Кто директором нашим будет? А?

— Ну, кто?

— Ванька Козел.

— Леонард Давыдыч? — подхватила Варя.

— Ён самый!

— Боже мой! Да у него не то что диплома, свидетельства нет,— сказала Мария.

— Зато выдвиженец. А сие есть высшая аттестация! — поднял палец кверху Бабосов и, выпучив глаза, гаркнул: — А вы готовы выдвинуть из своей среды рабочих от станка в госаппарат?

Варя засмеялась:

— Коля, ну какие среди нас рабочие от станка?

— Неважно! Главное, чтоб была беспартийная прослойка.

— А химиком знаете кто будет? — спросил Костя. И сам же отвечал: — Самодуровский Ашдваэс.

— И Петька Рыжий с нами!

— И Богомаз!

— И князь Львов-Подтяжкин.

— А физиком кто?

— Из Москвы едет... Какой-то штрафник.

— Ого-го! — заржал Бабосов.— Что стоит в графе против его фамилии? А там стоит: выгнан за пьянку, грубость и... гонку самогона.

— Откуда он изгнан? — спросила Варя.

— Из университета,— ответил Бабосов.

— Из университета за гонку самогона? Чего ты мелешь? — сказала Мария.

— А что, не нравится? — Бабосов опять вытаращил глаза.— Бейте саботаж организованным контролем масс!

— Нет, ты неподражаем,— засмеялась Мария.— А я было уши развесила — что это за самогонщик к вам едет.

— Его общественная физиономия — за четыре года работы не был ни разу на собрании,— кривлялся Бабосов.— Его политическая активность?.. Товарищи, какая

может быть активность у протчего элемента? Только паразитическая. Значит, вычистить паразита с рабочего тела нашей науки.

— Извините, на педагогов чистка не объявлена,— сказал в тон ему Костя.— Давайте не искажать генеральную линию.

— Но есть лозунг: проверяй безработных умственного и конторского труда! Стало быть, мы его проверяем по этой линии — он пока еще безработный. Правильно я говорю? — спросил Бабосов.

— Правильно! — гаркнули все хором.

— А теперь выпьем за чистоту наших рядов и неуклонность направления! — произнес торжественно Бабосов.

Все выпили. Костя, тыча вилкой в нарезанные огурцы, сказал, качая головой:

— Ну и брехун ты, Коля.

В дверь без стука вошли два мужика и, увидев за столом женщин, замешкались у порога.

— В чем дело? — поднял голову Бабосов.

— Может быть, мы не ко времени?

— Нет, в самый раз. Проходите, ребята,— сказал Костя, вставая, и представил вошедших: — Это мои активисты: Василий Семиглазов,— указал на черноусого, черноглазого молодца в мятом, сереньком пиджачке,— а это Филя Перевощиков.

Второй был коренаст и насуплен,— густые рыжие волосы росли у него почти от самых бровей. Бабосов встал, поздоровался с ними первым и неожиданно серьезно спросил:

— А вы сдали свои облигации на хранение в сберкассу по призыву сормовских рабочих?

Вошедшие активисты опешили — высокий черноусый молодец извинительно улыбался, а второй, рыжий, сердито засопел и поглядел с вызовом на Герасимова: что это, мол, за катавасия?

— Перестань, Николай! — строго сказал Герасимов.— Садитесь, ребята. И потом, по призыву не сормовских рабочих, а товарища Баумана.

— Виноват. А вообще жалею, что этот патриотический почин сделали не мои земляки-путиловцы.

Активисты сели.

— Так,— сказал Бабосов, глядя на них.— Вы что пьете?

— Что подадут,— ответил Семиглазов и улыбнулся на этот раз заискивающе.

— Я пью только чистое белое,— ответил хмуро Перевощиков.

Бабосов налил им по стопке водки. Те было взяли их в руки.

— Одну минуту! — осадил их Бабосов.— Вы слесари, браковщики, самоходчики?

— Чего? — спросили разом оба.

— Перестань дурачиться, Николай! — сказал Костя.

— Извини, мой друг, я с ними отправляюсь, можно сказать, на боевое задание... Так должен я знать, что за братья по цеху идут со мной?

— Дак мы крестьяне,— ответил Семиглазов.

— Из соседнего села,— подтвердил Перевощиков.

— А-а, тогда выпьем за нерушимый союз!

Мало-помалу все втянулись в эту словесную чехарду, которую неутомимо изобретательно вел Бабосов.

— А мы еще не выпили за решительную перестройку культработы!

— Урра! Пьем за усиление пролетарского ядра!

— Почему только пролетарского? А где ядро крестьянское?

— Товарищи, товарищи! Чего нам считаться? Пьем вообще за ядро. Круглое, свинцовое... Бах!

— И мимо...

— А я пью только в яблочко...

— Под ложечку то есть. Уф! Дых запирает.

В сумерках стали разбирать офицерское обмундирование. А Бабосов произнес вдохновенную речь:

— Друзья и товарищи! Любое политическое мероприятие можно оказенить и низвести до скучной публичной процедуры, где на глазах у массы проводится формальный отчет. Вы же пошли по иному пути: на заседании своего бюро вы решили подойти к вопросу чистки творчески: вы избрали деятельную, смелую и необыкновенно оригинальную подготовку в форме инсценировки антисоветского налета. Этот вдохновенный прием поможет выявить истинное лицо, стойкость и преданность всех коммунистов вашей ячейки. Со своей стороны мы, как приглашенные вами специалисты по ненавистной офицерской касте, приложим все силы и старания к тому, чтобы приблизить эту операцию к неукоснительной реальности. Да не ускользнет от вашего бдительного взора

ни один лазутчик или малодушный приспособленец, пролезший обманом в боевые ряды пролетарского авангарда. За дело, товарищи!

Мужчины разобрали обмундирование и вышли в сени переодеваться.

— А что?—сказала Варя возбужденно.—А ведь, ей же богу, неплохо придумано. Решили на бюро... Все свои люди. По крайней мере, откровение будет полное.

Теперь и Марии эта затея стала казаться не такой уж нелепой. Она вспомнила вчерашнюю чистку в Веретье, хамскую Сенечкину демагогию, растерянного председателя колхоза, пристыженных колхозниц в красных сарафанах и подумала: здесь, по крайней мере, если кто и струсит, то узнают только свои. На людях краснеть не придется. Два-три учителя что и увидят—не в счет.

Через несколько минут вернулись в комнату все преображенные до неузнаваемости, все будто выросли на вершок, подтянулись, поздоровели и одновременно вроде старше стали.

— Ой, Костя, какой ты красивый!—ахнула Варя.— Прямо настоящий артист.

— А я?—спросил Бабосов.

— У тебя ворот, как хомут,—ответила Варя.—А ты, Дмитрий Иванович, просто фраер.

— Настоящая контра с бородой и вообще патентованный эксплуататор,—засмеялась Мария.

— Но, но! Полегче на поворотах!

— Ребята, это что ж выходит? Я главный организатор, и в чине всего лишь штабс-капитана? Не выйдет. Дайте мне подполковничьи погоны!—Бабосов потянулся к подоконнику за погонами с большой звездой.

— Сними с них звезды—будешь полковником,— усмехнулся Успенский.

— А мне, пожалуй, усы наклеить надо. Ведь меня все знают,—сказал Костя.

— Вон возьми в коробке,—указал на койку Бабосов.—Хоть бороду наклей.

— Перестань!—остановил его Успенский.—А то тебя в усах не узнают? Ты будешь завербованным белой разведкой, понял?

— Правильно!—подхватил Бабосов и отстегнул у активистов офицерские погоны:—Вы тоже завербованные. Но вам еще рано офицерские погоны, вот вам солдатские,—сунул из коробки им зеленые погоны.

— Погоди, а это что за кожанка? — спросил Костя, поднимая с койки кожаную куртку.

— Комиссарши,— ответил Бабосов.— Кажется, Любки Яровой.

— Дай сюда! — схватил ее Успенский и к столу: — Маша, ну-ка встань!

Мария встала, тот натянул на нее кожанку, застегнул на все пуговицы. Она оказалась впору.

— Мать честная! Дак ведь это ж Маруся-атаманша! — ахнул Бабосов.— Айда с нами!

— А я? — надула губки Варя.— Одна я здесь не останусь...

— Ладно, пойдешь с нами и ты,— согласился Бабосов.— Будешь держаться поодаль, случайного прохожего изображать.

Зажгли два фонаря «Летучая мышь». Проверили «оружие». Настоящий наган был только один, у Кости Герасимова, остальные бутафорские. Разбились на две партии: Бабосов с двумя активистами и с Варей пошли на заречную сторону.

— Смотрите, не заберите там членов бюро! — предупредил Костя активистов.— Они знают о нашей затее. Всю игру испортите.

— Ладно, командовать буду я,— сказал Бабосов.

— Значит, взять там четырех человек, привести сюда, запереть в кладовую,— повторил задание Костя.— Знаете, где они живут?

— Знаем,— сказали активисты.

— Ну, пошли...— Бабосов запел: — Из Франции два гренадера...

— Тише ты ори, гренадер! — одернул его Костя.

— А может, у меня прилив энтузиазма?

— Вот барбос!..

На улице, посвечивая во тьме фонарями «летучая мышь», разошлись в разные стороны: Бабосов со своей группой нырнул с берега вниз, к реке, а Герасимов, Успенский и Мария прошли вдоль деревенского порядка по направлению к больнице.

— Начнем с того конца,— сказал Костя,— чтобы не таскать с собой лишних людей.

Первый, к кому они зашли, был сельский уполномоченный по заготовкам Федот Бузаев, по прозвищу «Килограмм».

— Кто там? — отозвалась на стук из сеней хозяйка.

— Васюта, открывай! Герасимов.

— Что вас черти по ночам носят? — заворчала хозяйка.— Вот баламуты, прости господи. А то за день не успеете наговориться.

Она первой вошла в избу, не подозревая ничего дурного; за ней гуськом — конвойные. На пороге Герасимов споткнулся:

— Что у вас за порог? Прямо какой-то лошадиный барьер,— сказал недовольно.

— Вота, заметил родимый... А то ты не переступал его ни разу, да? — отозвалась хозяйка.— Пить надо поменьше. Залил глаза-то. Вот тебе и барьер.

— Но-но, поосторожней выражайся!

Герасимов, пригибая голову,— над порогом были полати — посветил на кровать, где из-под лоскутного одеяла высовывалась косматая голова Килограмма.

— Федот, вставай! — сказал Костя.— Собирайся!

— Чего? — Федот разинул пасть и звучно зевнул.

— С репой поехали. Говорят, собирайся! Кончилась Советская власть. Переворот. Ну?

— А! — Федот тревожно вскочил, скинув с груди одеяло, и захлопал глазами: — Какой переворот, товарищ Герасимов?

— Я тебе не товарищ, а господин. Офицеры пришли, отряд Мамонтова. Видишь, полковник! — указал на Успенского.

— Вижу, вижу,— согласно замотал головой Федот.— Я сейчас, сейчас... А ты, значит, этим самым, международным агентом был?

— Давай пошевеливайся! Не то я тебе покажу агента кулаком по сопатке.

— Сей минут,— заторопился Федот.

— Куда ж ты его от малых детей? — всхлипнула хозяйка.

— Не хнычь,— сказал Герасимов.— Никуда он не денется. Проверят его и отпустят.

— Насчет какой проверки то есть? — настороженно застыл Федот, прикрываясь штанами.

— Ты уполномоченный? — спросил Герасимов.

— Ну!

— Излишки выколачивал? А небось свой-то хлеб припрятал.

— Дак что, и новая власть требует излишки? — спросил Федот.— Тогда я сейчас, все вам покажу... И в

амбаре, и в чулане. Берите, что хотите, а меня только оставьте в покое.

— Собирайся! Ты коммунист? — спросил Костя.

— Ну какой я коммунист, товарищ Герасимов... Одна дурость моя, и больше ничего.

— Пошли, пошли, — подталкивал его на выход Герасимов. — Там разберемся.

— А ты не вздумай идти по дворам, — обернулся Успенский к хозяйке. — Солдаты сразу арестуют.

— Что же мне делать с малыми детьми? — опять всхлипнула хозяйка.

— Васюта, ты мне веришь или нет? — участливо положил ей на плечо руку Герасимов. — Это ж проверка, понятно? Допрос снимут и отпустят его. Ну кому нужен твой Килограмм? Не буди детей! К стаду вернется.

— Да, да... ты не бойсь, — говорил бодро Федот. — Я ж не то чтоб с целью обогащения старался. Брал по малости. Господа офицеры разберутся. Они народ образованный, не то что мы, дураки.

Когда они вышли из избы, Мария потянула за рукав Успенского, давая знак ему остановиться.

— Иди, мы сейчас догоним, — сказала она Герасимову, и когда тот с Килограммом отдалился, добавила: — В избе брать нельзя — детей перепугаем... Надо вызывать на улицу.

— Это верно... Шуму меньше, — согласился Успенский.

Очередного члена сельской ячейки вызывали на двор.

— Матвей, выйди на минуту! — упрашивал его Костя.

— Входи в избу, — послышалось из сеней.

— Нельзя... Партийная тайна.

— Тогда говори через дверь.

— Да ты что, очумел? О партийных делах орать на всю улицу?

— Ладно, сейчас выйду, — сдавался Матвей.

Таким манером вызвали и еще двух человек. На улице им освещали фонарем лицо и говорили строго:

— Ты арестован!

Потом подносили тот же фонарь к Успенскому — высокая фуражка с кокардой, золотые погоны, портупея и борода сражали беднягу, как удар грома; понуря голову, он устало опускал плечи и покорно шел за конвоем.

Привели к школьной кладовой, отперли железную дверь, скомандовали:

— Проходи по одному!

— Надолго нас?

— Утром вызовут... Живей, живей!

Лязгнула дверь, щелкнул нутряной замок:

— Счастливо ночевать!

Из кладовой что-то вполголоса проворчали.

— Поговорите у меня! — прикрикнул Костя.

И, отойдя от кладовой, зашептал Успенскому и Марии:

— Вот вам ключи от школы. Возьмите вино, что там осталось, и давайте в канцелярию. Вызывать будем туда. Кто экзамен выдержит, тому благодарность и стопку водки. А кто опозорится, тому порицание. А Килограмма увольнять надо. Вот проходимец.

— А ты куда? — спросил Успенский.

— Побегу за реку — что-то тех не слыхать. Чего они там валандаются? — Костя взял фонарь и помотал вдоль берега.

— Ну, атаманша, что скажешь? — спросил Успенский, беря за руки Марию и притягивая к себе.

— Никогда не думала, что так просто и уныло можно хватать людей,— сказала она с легкой дрожью в голосе.

— Ну, ну, не заигрывайся!

Он поцеловал ее в губы и, сняв фуражку, зарылся лицом в ее волосы.

— Митя, пойдем отсюда,— сказала она тихо.— Еще заметят из кладовой.

— Пошли!

Они шли быстро, втайне друг от друга думая, что идут в ту комнату только затем, чтобы взять вино и выйти на волю, на речной берег или в просторные, голые школьные классы, бродить бесцельно, бездумно взявшись за руки.

Когда он открыл дверь в комнату, пропустил ее вперед, она испуганно сказала:

— Как здесь темно! — и отшатнулась к нему.

Он одной рукой обнял ее, а другой, нащупав на дверном косяке крючок, накинул его в пробой.

— Что ты? Зачем? — спросила она шепотом, пытаясь найти рукой крючок и отпереть дверь.

— Не надо, Маша, не надо, милая! — умолял он ее и, схватив ее руку, стал целовать запястье, потом шею, волосы, щеки, приговаривая: — Я не могу без тебя, не могу... Милая.

Их губы встретились, и Машина рука повисла вдоль

бедра плетью. Услыхав, как он суетливо, путаясь, расстегивал пуговицы на куртке, она воспрянула:

— Не надо! Слышишь? Не надо...

Сопротивлялась упорно и долго, пока он не выбился из сил, не отошел от нее, сердито отвернувшись к окну.

Она гладила его по волосам, как маленького:

— Смешной и глупый...

— Ты меня совсем не любишь,— глухо отозвался он.— Или я не понимаю тебя.

— Я сама лягу. Только ты не трогай меня. Слышишь? Не трогай.

— Как хочешь...

Их разбудил частый и громкий стук в дверь. Успенский, очнувшись в серой предутренней мгле, увидел кожаную куртку и офицерский френч, валявшийся на полу, и дальше к окну на стуле целый ворох белого белья. Только потом он заметил спящую рядом с ним Марию. В дверь снова настойчиво постучали. Маша испуганно воспрянула. Успенский показал ей палец: «Чш-ш!» Потом спросил:

— Кто там?

— Дмитрий, открой! — крикнул Костя.

— Не могу... В чем дело?

— Ну так выйди скорее! Тревога.

Успенский встал с кровати и в одних трусах вышел в сени.

Через минуту он вернулся:

— Маша, вставай! Одевайся поскорее... У этого балбеса, у Бабосова, один человек сбежал.

— Какой человек? — не поняла Мария.

— Ну, арестованный. Вернее, его еще не успели арестовать. Он сиганул с кровати в окно. И в поле убежал в одних подштанниках. Кабы в район не утопал. Вот будет потеха...

2

На другой день, часов в десять поутру, Мария Обухова сидела в кабинете Тяпина, понуро свесив голову. Митрофан, засунув руки в карманы, ходил размашисто по кабинету, насупленно поглядывал своими круглыми медвежьими глазками себе под ноги. Его большая голова словно ощетинилась вздыбленным бобриком темных волос.

— Не понимаю, как можно шастать ночью по домам в офицерских погонах и таскать в каталажку людей. Да еще кого? Коммунистов! Не понимаю...— останавливался он перед Марией и крутил головой.— Ты хоть скажи толком, кому пришла на ум такая идея?

— На бюро ячейки обсуждали. Приняли сообща.

— По пьянке, что ли?

— Когда обсуждали, были трезвые.

— Не понимаю... Не понимаю!

— А чего тут не понимать, Митрофан Ефимович? Каждый день им звонят, спрашивают, требуют: вы готовитесь к чистке? Каким образом?! А вот. Письма печатают к женам да к родителям — кто хочет дом построить, кто перину купить.

— Эка беда, письма напечатали!

— Что значит беда? У нас есть закон, охраняющий тайну переписки.

— Ежели ты коммунист, у тебя не должно быть секретов от партии.

— Вот они так и рассуждали на бюро. Никаких секретов быть не должно. Раз идет чистка, выкладывай все наружу.

— А зачем прибегать к хитрости?

— Дак кто ж тебе так расскажет, что у него за душой?

Тяпин почесал затылок, поглядел на Марию и усмехнулся:

— Вообще-то, резон,— он сел за стол, плутовато прищурил один глаз и спросил: — А много у вас раскололось?

— В нашей группе один... сельский уполномоченный. А вторую группу и собрать не успели: арестованный сбежал. Они его в поле до утра искали.

Тяпин опять закрутил головой, засмеялся:

— Это ж надо! В одних подштанниках прибежал в Сергачево, к милиционеру Симе и стучит в окно: вставай, говорит, Советская власть кончилась, Колчак пришел! Какой Колчак? — спрашивает Сима.— Тихановский, что ли, Семен-хромой? Нет, говорит, настоящий, который с гражданской войны. Дурак, его ж расстреляли!

— Это ваше счастье, что Возвышаев в округе. Он бы вам показал Колчака с Деникиным,— сказал Тяпин иным тоном.— Поспелов шуметь не любит. Но Косте Герасимову это даром не пройдет. От ячейки его отстранят.

— А ему что. Он учитель.

— Ну, не скажи. Небось закатают строгача в личное

дело — и в учителях покрутится. Ладно, перейдем к делу. Что там у вас в Гордееве с Зениным приключилось?

— Он уже успел наябедничать?

— Что значит наябедничать? Он обязан доложить.

— Подлец он и демагог!

— Ну, меня ваши личные отношения не интересуют. Скажи, как дела с излишками? И сколько хозяйств выявили для индивидуального обложения?

— Тут в двух словах не скажешь.

— Скажи в трех.

— Таких хозяйств, чтобы подходили под индивидуальное обложение, в Гордееве нет.

— Так... Скажи проще — кулаков в Гордееве нет. Значит, ты разделяешь мнение тамошнего актива? На каком основании?

— Я говорила с председателем сельсовета Акимовым. На другой день, то есть в воскресенье, собирали актив. Обсуждали каждое хозяйство в отдельности. И потом, я сама знаю эти хозяйства... Лично.

— Я, может быть, не хуже твоего знаю их. Ну и что?

— Как что? Я все-таки отвечаю за свои слова.

— Кому нужен этот ответ? Ты получила задание? От райкома! Я тебя предупредил: бюро вынесло постановление — выявить кулаков в Гордееве. Поручило эту задачу нам, райкому комсомола. Выявить! Понятно? А ты мне об чем толкуешь?

— Ну а если их нет?

Тяпин навалился грудью на стол:

— Разговоры, что у нас не стало кулаков, — это попытка замазать классовую борьбу в деревне. Тебе, инструктору райкома, заворгу, не к лицу такие разговоры.

— Я не отрицаю наличия кулаков вообще в деревне. Я говорю только, что в Гордееве их нет.

— Так что ж прикажешь, за счет Гордеева довыявлять кулаков где-нибудь в Желудевке или в Тиханове? Ты что, маленькая? Есть определенный процент, установленный не нами... На ноябрьском Пленуме сказано — обкладывать налгом в индивидуальном порядке не менее двух и не более трех процентов всех хозяйств. Ясно и понятно. Рассуждать здесь нечего.

— Вот именно, не более трех процентов! — воскликнула Мария. — Это же специально, чтобы меру знали. Не то дай волю какому-нибудь Сенечке или Возвышаеву, так они тебе поголовно всех обложат.

— Ну, в чем дело? Давай выявлять эти два процента.

— Два процента это ж дается на округ, на район в целом. При чем же тут каждая деревня? В иной, может, пять процентов кулаков, а в другой ноль целых пять десятых.

— А ты об этом скажи где-нибудь у нас, на тихановском сходе. На вас, мол, мужики, пять процентов, а на гордеевских ноль целых хрен десятых.

— Митрофан Ефимович!

— Слушай, давай конкретно. У них же там этот самый подрядчик на рысаке...

— Звонцев, что ли? Он в селькове теперь работает. Хозяйство у него середняцкое.

— А мельники?

— И у тех по лошади и по корове, а мельница подоходным налогом обложена.

— Да ты что, не понимаешь? Кулака надо обложить в особом порядке, с учетом дохода от тех источников, которые у середняка не обкладываются.

— Да нет же кулаков у них.

— Ну черт с ними! Пусть назовут их богатой частью зажиточного слоя. Какая разница?

— А тогда зачем было меня посылать? Вызывайте сюда Акимова и прикажите ему — столько-то хозяйств выделить на индивидуальное обложение.

Тяпин покривился:

— Ты чего, смеешься, что ли? Вся налоговая политика так построена, что она представляет широчайшие права местным органам, то есть деревенскому активу, бедноте, сельсовету. А если райком начнет устанавливать налоги, это будет извращением. За такое дело нам по шее надают.

— Ну, вот и договорились. Я, как представитель райкома, утверждаю, что гордеевский актив поступил правильно.

— А то тебя за этим посылали,— проворчал Тяпин.— Что там с излишками? Зенин говорит, что он нашел излишки, но якобы вы с Акимовым отказались составлять акт.

— Я работник райкома, а не агент уголовного розыска,— сказала Мария с вызовом.— Я не стану лазить ни в подполы, ни в подпечники и выгребать оттуда хлеб.

— Это, Маша, называется чистоплюйством. Извини, но тут я тебя не понимаю.

— А ты сам полез бы в подпол?
— Если прикажут...
— Кто прикажет? Зенин?
— При чем тут Зенин?
— При том. Эти оборотистые Сенечки, как шишиги, снуют у нас за спиной и подталкивают нас к обрыву. Сунься туда в подпечник. А если что случится, кто будет отвечать? Зенин? Нет, в ответе будет руководитель райкома, а Сенечка за нашей спиной руки умоет.

Тяпин забарабанил по столу пальцами:

— Н-да... Между прочим, он на тебя докладную подал. Пишет, что работала там на стихию, что прикрывала от критики растратчика колхозного хлеба.

— На клевету этого типа готова ответить в любом месте.

— Придется на бюро разбирать.— Тяпин потер лоб и спросил без видимой связи: — Как там Андрей Иванович поживает?

— В субботу луга собирались делить. Я еще и дома-то не была.

— Кобыла не нашлась?

— Пока нет.

Тяпин состоял в родственной связи с Бородиными; брат Андрея Ивановича, Максим, был женат на тетке Тяпина, на Митревне, по-уличному прозванной Сметаной. Отец Тяпина погиб в мировую войну, а вырастил Митрофана Максим Иванович. Он увез его на Волгу, отдал в школу юнг с механическим уклоном, а потом взял к себе на пароход «Гоголь», где работал боцманом. На этом пароходе начинал свой трудовой путь с кочегара и Митрофан Тяпин. В зимний отпуск двадцать седьмого года Тяпин был избран в Желудевский волостной комитет как представитель рабочего класса, то есть выдвиженец. С той поры и потянулась его руководящая линия. Ему в значительной мере обязана была Мария своим переводом в райком.

— Ну что ж, Маша, ступай домой, отдыхай...— отпустил ее наконец Тяпин.— Прямо скажу, огорчила ты меня на этот раз.

— У меня иного выхода не было.

— Разберемся.

Прежде чем идти домой, Мария решила заглянуть на работу к Зинке и рассказать ей о Сенечке. Зинка работала в коопторге продавцом. Время близилось к обеду.

Когда Мария подошла к магазину, зеленая, окованная жестью дверь закрылась перед ее носом. Она заглянула в зарешеченное окно. В магазине еще толпились несколько человек, Зинка стояла за прилавком. Пока Мария заглядывала в окно, дверь отворилась, вышло три женщины, и снова невидимая рука закрыла дверь перед носом Марии.

— В чем дело? — крикнула она в притвор.— Пустите меня. Слышите? Мне нужен продавец.

— Закрыто на обед,— ответил из-за двери голос Сенечки.

— Мерзавец!

— Поосторожней выражайтесь.

Мария решила войти в магазин со двора, в складскую дверь. Но и эта дверь была заперта. Она долго и настойчиво стучала в нее кулаком. Наконец изнутри спросил спокойный и насмешливый голос Сенечки:

— Кого надо?

— Негодяй!

Мария бегом обогнула здание и вновь заглянула в окно. Зинка все еще стояла за прилавком, но народу уже не было. Мария сильно застучала в переплет. Зинка увидела ее, сделала удивленное лицо и побежала к выходной двери. Наконец-то массивная дверь со скрежетом распахнулась перед Марией. Она вошла с бледным от злости лицом и, оттолкнув рукой Зинку, с порога кинулась к Сенечке. Он стоял руки за спину и как ни в чем не бывало поглядывал в окно.

— Жалкий трус и доносчик! Я тебя презираю, как недостойного интригана,— крикнула, почти задыхаясь от ярости.

— Что случилось, Маша? В чем дело? — испуганно спросила Зинка.

— Ты не меня спрашивай. Ты вон кого спроси!.. Жениха своего.

Сенечка по-прежнему поглядывал в окно, кривя в насмешке свои тонкие бесцветные губы.

— Семен, что произошло?

— Старшая сестра гневается, что я не служу ей на задних лапах, а имею собственное мнение.

— Мнение, которое подшивают в дело, не собственное, а подложное.

— Моя комсомольская совесть...

— Велит тебе писать доносы? — перебила его Мария.

— Да что с вами, в конце концов? Может, поясните? — теряя терпение, крикнула Зинка.

— Выставь его за дверь! Мне надо поговорить с тобой,— сказала Мария.

— Маша! — Зинка умоляюще смотрела на нее, беспомощно опустив руки.

— Не трудитесь понапрасну, Мария Васильевна,— сказал Сенечка.— Я отсюда никуда без Зины не пойду.

— Не рано ли распоряжаешься ею? А ты чего молчишь, язык отнялся? — набросилась Мария на Зинку.— А может быть, ты с ним заодно? Спелись! Пойдешь с ним по амбарам шарить?

У Зинки задрожали губы, и редкие, как горошины, слезы покатились по щекам.

— За что вы его ненавидите? — всхлипнула она.— И Андрей Иванович, и ты, и Федька Маклак...

— За то, что он аферист... Он хуже Лысого, хуже Ваньки Жадова. Те хоть грабят по ночам. А этот днем войдет и без ножа зарежет.

— Вот как вас взвинтила моя непримиримость в идеях классовой борьбы.

— Классовой борьбы? Не ври! У тебя только одна идея — как бы погреть руки на чужом горе.

— Маша, так нельзя. Он ведь живой человек. Он одинокий...

— Может, его пожалеть надо? — усмехнулась Мария.— Ну, жалей. Ты у нас добрая... Только смотри, кабы он не укусил тебя.

— Я... я люблю его,— Зинка заплакала навзрыд и уткнулась Сенечке в плечо.

— Ну что, Мария Васильевна, убедились? Ваш старорежимный домострой не действует. Времена не те.— Сенечка глядел снисходительно и с выражением превосходства.

— Можешь утешать его, где угодно и сколько угодно. Меня это больше не касается. Но имей в виду: в нашем доме чтобы ноги его не было.— Мария откинула железный крюк и вышла из магазина.

3

Дома Мария застала Васю Белоногого и Зиновия Тимофеевича Кадыкова. Гости сидели в горнице за столом. На столе шумел самовар.

— А, сестричка-лисичка! — приветствовал ее Белоногий.— Ну, какого серого бирюка из лесу привела да приручила?

— И волков боюсь, и в лес не хожу,— отвечала Мария, здороваясь.

— Что так? Вроде бы Обуховы не из робкого десятка? — шумел Вася.

— Она у нас такая лиса, что к ней не токмо что волки, медведи прут на поклон,— сказала Надежда с оттенком гордости.— Отбою от них нет. А ты — в лес идти?

— Надя! — вспыхнула Мария.— Чего ты городишь?

— Ну, ну, застыдилась. Тоже мне — девка красная. Активист, называется,— проворчала Надежда.— Садись к столу. Проголодалась, поди.

Мария села рядом с Кадыковым. Тот чинно поздоровался за руку. На столе перед ним лежал раскрытый блокнот и карандаш.

— Маша, давай на мою сторону! — позвал ее Андрей Иванович.— Зиновию Тимофеевичу кое-что записать надо.

— Пожалуйста, пожалуйста! — Мария пересела.

— У нас тут беда стряслась,— сказала Надежда, пододвигая ей чашку и наливая чай.— Вчера вечером в Волчьем овраге свистуновского мужика убили. Ты, может, его знаешь? Он ветеринаром работал. Мы еще в двадцать третьем годе сватали у него старшую дочь за нашего Матвея.

— Не помню,— сказала Мария.

— Да где тебе помнить? Ты еще в гимназии училась. Красивая девка была.

— Кто, Маша? — усмехнулся Белоногий.

— Какая Маша! Дочь ветеринара.

— Что ж вы ее не сосватали?

— С таким женихом не больно развернешься,— сказала Надежда.— Вот тебе, собрались ехать на смотрины, свататься... А он и заявился в сапогах, в свитке, и кушаком подпоясан. Как извозчик. Ты куда, говорю, собрался — в извоз или на смотрины? А он мне — попа́ видно и в рогоже. Ну да, попа видно в рогоже, а дурака по роже. С той поры мы с ним и познакомились.

— С кем, с попом? — спросил Белоногий.

— С каким попом! С ветеринаром.— Надежда обернулась к Марии: — С нас тут допрос сымают.

— Ну, какой это допрос? — смутился Кадыков.

— Нет, нет, все правильно. Ты пиши,— ободрила его Надежда и опять Марии: — Я уж им рассказывала. Идем мы вчера из Бочагов. К нашим в гости ходили. Как раз к Брюхатову полю подходим. Не то чтоб сумерки, но солнце уже село. Андрей, говорю, давай прибавим шагу. Корова теперь ревет недоеная. Марии нет, а Зинка и за сиську путем ухватить не умеет. Пойдем скорее! Вот тебе — хлоп! — от оврага. Вроде бы кто тесом об тесо ударил. Андрей говорит, это выстрел, а я ему — какой выстрел? Пастух плетью хлопнул. Что теперь за пастух, говорит он. Стадо давно уж пустили. Так вот идем, рассуждаем. Подошли к оврагу. Смотрим — внизу, обочь тропинки, человек лежит. Ну, думаю, нализался. Еще Андрею сказала: вот она, ваша выпивка, до чего доводит. Ну ладно, спускаемся вниз, глядим... Да это же ветеринар убитый! Лежит лицом кверху, глаза закрыты, а из пробитого виска еще кровь пульсирует. Андрей, может, он еще живой? Тот взял его руку, пульс пощупал. Нет, говорит, мертвый.

— Кто же его застрелил? Что за мерзавцы? — спросила Мария у Кадыкова.

Тот только руками развел.

— Распутываем.

— Я думаю, здесь работает одна и та же рука,— сказал Вася Белоногий.— Узнаю почерк.

— Какая рука? Что ты имеешь в виду? — спросила Мария.

— И лошадь Андрея Ивановича, и амбар Деминых, и ветеринар убитый, и кое-что другое,— ответил Вася.

— А при чем тут ветеринар? Какое он имеет отношение к лошади да к амбару Деминых? — спросила Мария.

Вася погладил свой бритый затылок и сказал иронически:

— Некоторое... Уголовный розыск считает, что убийство совершено с целью ограбления. А по моим данным — с другой целью.

— Но твои данные к делу не подошьешь,— возразил Кадыков.— Пока это всего лишь предположение. Логическое рассуждение — и больше ничего.

— Логическое рассуждение, когда оно в книжке написано, есть игра воображения, то есть умственное занятие. Тут я с тобой согласен. Но если логическое рассуждение

построено на фактах жизни, это совсем другое дело,— веско возразил Вася Белоногий.

— Какие же вы факты жизни имеете в виду?— вскинул подбородок Кадыков.

— Во-первых, займемся исследованием вопроса — для чего ветеринар приехал на базар?

— Ну, для чего?

— Во-вторых, почему задержался так поздно и ушел один? — уклонился Белоногий от прямого ответа.— Я ночевал в Бочагах у Деминых. И когда утром узнал, что ветеринар убит, то подумал сразу — Жадов в Тиханове. Мы здесь все свои, а ты, Зиновий Тимофеевич, работник уголовного розыска. Поэтому будем говорить все, что думаем. Так вот я и подумал — Жадов здесь, в Тиханове. И не ошибся. Федька ваш подтвердил: видел, говорит, вчера Жадова на конопляниках.

— Не может быть,— сказал Кадыков.— Вчера вечером мы сразу после убийства послали к Жадовым подставное лицо, вроде бы случайно денег занять; сказали, что Ивана дома нет. Соседей спрашивали, и те подтвердили: Ивана нет и никто его не видел. И как ты докажешь, что убил именно Жадов?

— Я и не говорю, что убил Жадов. Я только думаю, что дело это одних и тех же рук.

— Почему?

— Имей терпение, Зиновий Тимофеевич. Уж если я сюда приехал за тридцать верст, то не чай пить.— Белоногий пододвинул чашку к самовару: — Налей-ка мне, Надюша, погорячей да послаще!

— Я ведь почти всю зиму и весну проработал на лесозаготовках. От Ермиловского селькова заготовляли шпалы и дрова,— начал издаля Белоногий.— Большая работа, скажу вам... На вывозке дров да шпал по четыреста подвод было, да лесорубов, да шпалотесов человек восемьсот. Пять лесных делян от пяти сел, да склад продовольствия и фуража, да дровяные склады. Всего не перечислишь. Словом, целая карусель. И доверенным лицом у меня по свистуновской деляне был как раз этот самый убитый ветеринар, Федор Афанасьевич Полетаев. И вот какая приключилась у нас с ним катавасия: на одном из его дальних дровяных складов «потерялись» две поленницы дров кубометров эдак на триста. По каким-то особым приметам он нашел свои дрова на складе у Жадова. Разыгрался скандал. Этот

кричит — мои дрова! А тот — не лезь! Мне их привезли возчики, я, мол, оприходовал и деньги выплатил. С возчиков и спрашивай. Ну где ты найдешь этих возчиков? Пошумели свистуновские, пошумели, так ни с чем и остались. Почти тысяча рублей уплыла у них с деляны в карман жадовских ребят. Вот вам один жизненный факт.

Вася вынул черный атласный кисет, свернул цигарку и затянулся всласть.

— А теперь слушайте другое. После посевной свистуновские мужики отправились на подчистку своей деляны. Срубали оставшиеся хвосты, то есть недорубленный лес. Надо сказать, что хорошо мужики старались; разбились попарно и за день нарубали хвостов по десять, а то и по двенадцать кубометров. Я им еще по паре сапог выписал в лесничестве за хорошую работу. Правда, начинали они с рассвета и работали до темна. Однажды рано утром ветеринар со своим напарником рубили хвосты в приречной деляне. Вдруг видят — прет какая-то подвода по заброшенной лесной дороге к реке. Чего ей там понадобилось? Ветеринар за ней следить назерком... Подвода к реке, он туда же... Видит из кустьев — на Куликовой косе лодка, и два мужика выгружают из нее тюки с добром. Он всмотрелся — и чуть не вскрикнул от радости. Один из них был Жадов. Ну, теперь ты у меня, милок, попляшешь, думает ветеринар. Теперь отольются тебе мои дровяные слезы. В тот же день он услыхал, что ограбили амбар Деминых, и решил, что это Жадов сработал.

— А что ж он нам не сообщил? — удивленно спросил Кадыков.

— Потому что он сам был не вешай ухо,— ответил Вася.— Этот ветеринар был дошлый мужик. Он решил выведать во что бы то ни стало, где Жадов хранит свое добро, и потом взять его за жабры.

— Откуда ты все это знаешь? — спросила удивленно Надежда.

Вася лукаво усмехнулся и выпустил пухлый клуб дыма:

— Его напарник был моим приятелем.

— И твой приятель следил за ветеринаром? — спросил Кадыков.

— Мой приятель следил за тем и за другим. Я сам хочу знать тайники Жадова, у нас с ним особые счеты.

— И что же узнал твой приятель? — спросил Кадыков.

— К сожалению, не самое главное... Но узнал, что ветеринар выследил, открыл это место. И предъявил Жадову счет. Тот принял его условие.

— Какое условие? — спросил Кадыков.

— Затребовал триста рублей чистыми, иначе — донос. Мне, говорит, чужое не надо. Отдай, мол, за мои дрова хоть треть.

— А что Жадов?

— Согласился отдать. С тем и пригласил его на базар в Тиханово.

— Все это очень может быть... Но я не вижу доказательств,— сказал Кадыков.

— Погоди... Появятся и доказательства. А теперь слушай дальше. Ветеринар приехал на базар якобы для того, чтобы продать кожаную тужурку. Допустим, он ее продал. Тужурка стоит от силы сорок рублей. А ветеринар в шинке у Нёшки Орёхи похвастался, вынимал из кармана целую пачку червонцев. Вон Федька вам может рассказать. Где он? Маклак! — закричал Белоногий.

— Лошадь на полдни угнал,— сказал Андрей Иванович.

— А кто еще видел ветеринара в шинке? — спросил Кадыков.

— Там много народу было, в карты играли. Это установить — пара пустяков. Труднее узнать другое — где был этот ветеринар целый день?

— Никто его на базаре не видел? — спросил Кадыков.

— Появился он только под вечер возле коопторга без куртки и пьяный. Песни играл. Потом зашел в шинок к Нёшке и еще добавил... Ну, а что было дальше — кто его встретил в овраге, с кем? Неизвестно. Одно я только хорошо знаю — он требовал денег за свое молчание. Ему дали эти деньги, и он замолчал навеки.

— Когда ты успел все это узнать? — спросил Андрей Иванович.

— С утра пораньше,— ответил Вася.

— Извини,— сказал Кадыков,— но твоего приятеля я должен вызвать на допрос.

— Повремени малость. Он слишком на виду,— сказал Вася.— Иначе всю операцию погубишь.

— Да что у вас за операция?

— Мы и лошадь Андрея Ивановича засекли...

— Кобылу? — аж привстал Андрей Иванович.

— Да, твою кобылу. На ней Жадов приезжал в

Елатьму. Но где он ее прячет, пока неизвестно. А брать Жадова надо только с поличным. Иначе вывернется. В Ермилове у него ничего нет. Он живет чисто. Дайте нам еще неделю срока... Мы вам пошлем сигнал и навалимся на него сообща.

— Ладно,— сказал Кадыков.— Подождем.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Накануне Петрова дня Тиханово пробуждалось в великих хлопотах и сборах; лишь только отогнали стадо, пропели пастушьи рожки, улеглась пыль на дорогах, как захлопали двери амбаров и кладовых, заскрипели половицы в чуланах да в подвальных погребах — бабы носились как шатоломные, собирали до кучи на разостланные брезенты чашки да ложки, корчаги с топленым маслом, копченые окорока, завернутые в чистые рогожи, головки сахара, сыра, мешочки с пшеном, солью, жестяные банки с чаем, корзины с картошкой, свежие огурцы, ковриги хлеба и наконец кадушечки со свежей бараниной, насухо пересыпанной солью, еще не успевшей пустить густой и прозрачный сок. Все лучшее, что накоплено за долгие зимние да весенние месяцы, что хранилось под семью замками,— все это пущено теперь в расход. В луга едем, на сенокос! А мужики с ребятами выкатывали телеги на открытые подворья, несли лагуны с дегтем, вынимали чеки, откатывали колеса и поочередно, оперев тележные оси на подставленную дугу, смазывали их густым и блескучим на солнце дегтем. Дорога дальняя, катитесь, милые, веселее! И не успеешь толком сообразить что к чему, как — смотришь — уже поставлены в тележный задок сундук с продуктами и кадка с мясом, засунуты косы, плотно обмотанные мешковиной, уложены грабли, вилы, треноги с котлом и чайником, топор, веревки — целый воз добра! Накрыли его брезентом, накинули ватолы да шубняки для подстилки. И вот она, родимая, без стука и скрипа выкатилась из ворот, готовая двинуться в древний путь, проложенный десятками поколений предков, на истовый, хмельной работный праздник сенокосной поры. Выедут со двора, остановятся посреди улицы, переглядываются, выжидают, покрикивают:

— Андрей Иванович, давай передом!

— Что вы, мужики? Кабы на рыжей кобыле. А у этой куриный шаг, заснем еще в дороге.

— Пётра, пускай своего Буланца!

— Велика честь, да лошадь мала.

— Пусть Иван Корнéв трогает. У него Пегий маховитее.

— За ним не поспеешь. Он весь обоз растянет.

— Давай, Пётра, выезжай. Окромя тебя некому.

— Как поедем, через Лавнинские или Шелочихой?

— Давай через Лавнинские... Или мы гати не гатили?

— Ну, тогда с богом, мужики!

— С богом, ребята! Трогай.

И пойдут, потянутся гужом один за другим по извилистой и пыльной дороге, и опустеет притихшая Нахаловка, самый молодой тихановский конец. Редкая семья не проводит своих кормильцев; на всей улице не двинутся с места только баба Васютка Чакушка со своим Чекмарем, да Гредная со Степаном, да Чемберлены — многодетная семья Вани Парфешина, в которой почему-то рождались только парни — кривоногие, голопузые забияки, вечные пастухи и подпаски.

Бородины отъехали втроем: Андрей Иванович, кроме Федора, взял с собой семилетнего Сережу, будущего дровосека и кашевара. На сенокос ехали пока одни мужики, редко кто брал с собой девчонку — чай кипятить да кашу варить. Бабы с девками потянутся на луга через неделю — сено согребать да стога метать. Тогда и гармони заиграют, гулянки вдоль реки начнутся. А пока только косьба до седьмого пота, да песни у костров, да веселые ребячьи проделки.

Сережа ехал впервые в луга. Не так чтобы в первый раз — брали его и за сеном и за хворостом, но то была обыкновенная езда — прокатишься, и больше ничего, а теперь он едет, чтобы жить в лугах, долго-долго. Он сидел посреди телеги на разостланной овчине и правил лошадью, то есть держал вожжи. Белобокая покорно шла за передней телегой, глядя в землю и помахивая темным хвостом. Отец с Федькой сидели по бокам телеги, по-взрослому, то есть свесив ноги над колесами, каждый носком дотрагивался до чеки. Сереже так садиться не разрешалось, чтобы нога в колесо не попала. Он был доволен сидеть и так — ноги под себя, потому что его разбудили рано, как большого, а сестрички его — Санька,

да Маруська, да Елька все еще спали в горнице, а когда проснутся, то будут реветь и проситься в луга. Но им скажут, «вам еще нельзя, вы маленькие, вас заедят в лугах комары». Сережа был доволен и потому, что все его приятели тоже поехали в луга: и Ванька Кочан, и Васька Курдюк, и Колька Колбаса, и Баран, и Сладенький — вся Нахаловка. Они уж сговорились искать в лугах перепелиные яйца и гонять дергачей.

Когда Сережа был маленьким, он всегда спрашивал — скоро ли подойдут луга? Теперь он знал, что до лугов будет Пантюхино, потом Мельница, потом Тимофеевка, потом еще Саверский пруд, а уж потом луга, да и то сперва чужие. Наши луга были под самой рекой Прокошей. А еще дальше, за рекой и за лесом стояли три осокоря; у среднего два сука росли ниже других и в стороны, как будто он руки растопырил, а два крайних дерева похожи были на чуть согбенных странников, остановившихся, чтобы послушать друг друга. Эти осокори появляются сразу, как только перевалишь Пантюхинский бугор, и потом все время будут стоять на одном месте: хоть целый день к ним ехай и никогда не доедешь. Отец говорил, что стоят они на Муромском тракте давным-давно, еще при царице Екатерине посажены были. Сережа знал, что тракт — это большая дорога, но не понимал, почему же там стоят три осокоря, когда в песне поется: «На муромской дорожке стояли три сосны...» Он сидел и щурился от яркого, но невысокого солнца, глядел на открытые с Пантюхинского бугра далекие деревни, затененные садами да ветлами, на одинокие белые колокольни, на синие сплошные леса, подымающиеся ярусами все выше и выше до самого неба, и на тех оторванных ото всего живого, заброшенных в небесное пространство трех осокорей-странников, которые все стоят на месте и думают, потому что не знают, куда им идти. Ему хорошо было так долго и лениво глядеть вдаль, вдыхать еще прохладный, отдающий пресным запахом дорожной пыли воздух, слушать, как заливаются невидимые в небе жаворонки, как погромыхивают колеса да бренчит пустое ведро, подвязанное к телеге Маркела, и думать о том, что его сестрички, поди, уж проснулись, узнали, что он уехал в луга, и ревут, размазывая слезы по щекам.

Вдруг отец выхватил у него вожжи и перекинул их Федьке.

— Осади лошадь! — крикнул он и спрыгнул с телеги. — Кабы на вилы не напоролась.

Отец в два прыжка нагнал впереди идущую подводу и крикнул:

— Маркел Иванович, вилы убери!

— Какие вилы? — отозвался тот, оглядываясь.

— В задке у тебя высунулись.

— Ах, мать твою перемать!.. — проворчал он недовольно и, увидев выдвинутые вилы, крикнул девочке-подростку: — Панка, ты куда смотришь? Аль глаза еще не продрала?

Он спрыгнул проворно, зашел с задка, выдернул вилы, уложил рогами вперед.

Между тем проехали первый перекресток, вправо пошла дорога на Пантюхино, обоз взял левее, вдоль села.

— А что, с Лавнинских на Кулму поедем? — спросил Андрей Иванович.

— Передние решили на Кулму, — ответил Маркел.

— А не потонем там в отрогах?

— Ну, такая сушь стояла.

— Здорово живешь! Уже больше недели, как дожди льют. А потом ведь — там вода донная.

— Кто-то ездил... Говорят, сухо.

— Ну, как знаете. — Андрей Иванович поотстал от Маркела и вспрыгнул на свою телегу.

— Папань, я все тебя хочу спросить: вон там на самом взъеме ямины остались, — Федька указал на Пантюхинский овраг. — Говорят, будто землянки там рыли...

— Говорят, — отозвался Андрей Иванович. — Там стоял дубовый лес, когда пригнали сюда пантюхинцев. И церковь из тех дубьев срублена.

— А почему их зовут погаными?

— А кто их знает. Будто их в карты проиграл какой-то князь. И пригнали их сюда из Литвы. Вот и прозвали погаными.

Когда проезжали мимо пантюхинской околицы, от села бросились к обозу с полдюжины разномастных лохматых, неопрятных собак и залаяли враз, как по команде, стараясь перебрехать друг друга и подпрыгнуть одна выше другой перед лошадиными мордами. Отстали так же дружно, как только последняя подвода миновала околицу, лениво и неохотно возвращаясь в село.

— И собачки-то у них дружные, как сами пантюхи, — сказал Федька.

— Живут бедно, оттого и дружные,— ответил Андрей Иванович.

Возле мельницы обочь дороги стали попадаться пантюхинские бабы; они шли в полосатых поневах и в ярких цветастых платках, повязанных низко на лоб по самые брови, чисто по-пантюхински. За спиной у них висели корзинки, накрытые мешковиной, на плечах грабли. У пантюхинских луга были под боком, за Святым болотом, оттого они и начинали покос дня на два — на три раньше тихановских. И теперь пантюхинские бабы шли с граблями уже рядки ворочать. И завязался обычный перебрех:

— Эй, красавицы! Кто из вас малайкину соску съел? — кричали им с телег.

— Черепенники! Тихановские водохлебы! — отвечали бабы.

— Акулька, что там булькат? Сивый мерин в квашню с... Квас-то у вас того... С довеском,— кричал и Федька Маклак.

— Сам ты довесок... Молоко ишшо на губах не обсохло, а туда же лезет.

— А ты сверни-ка со мной во-он в те конопли! Небось и про молоко забудешь...

Андрей Иванович ухмылялся и покручивал усы. Не замай — резвится малый, пора ему и характер проявлять.

Тимофеевка, большое чистое село с богатым выгоном, на котором вольно разлились озера с камышовыми зарослями да с желтыми кувшинками, что на твоих лугах, заметно отличалось от Пантюхина — дома здесь все кирпичные да побеленные, под железными зелеными крышами, в палисадниках сирень да мальвы, в окнах герань, тюлевые занавески, на крышах кони резные да петухи. Во всю улицу трава-мурава да ромашки, и не видно ни телят, ни свиней — вся скотина на широком выгоне; а здесь одни ребятишки гоняют железные обручи да старухи сидят на лавочках, чулки вяжут. Сережа и сам хорошо гонял обручи на длинной проволоке, изогнутой буквой «п», но теперь ему это занятие казалось скучным; он с восхищением глядел на кровельные коньки.

— Папань, а кто им петухов да коней на крышу поставил?

— Сами, сынок. Здесь народ мастеровой живет — все кузнецы да ведерники.

— А где же их кузницы?

— На выгоне.

— Дак на выгоне холстины сушат, а кузницы их задымят,— заметил Сережа.

— Ах ты мой стоумовый! — рассмеялся Андрей Иванович.— У них холстины на лугах стелют.

— А наши почему на выгоне?

— У нас луга далеко...

За Тимофеевкой на берегу Саверкина пруда стоял большой деревянный дом с мезонином, обшитый крашеным тесом. Бордовая краска местами облупилась, и дом теперь выглядел пегим, казалось, что его кто-то покрасил так из озорства. Вокруг него росли старые липы, усаженные грачиными гнездами, да заломанная сирень, да редко где торчали корявые раскоряченные ветлы.

— Папань, а правда, в этом доме барин Саверкин жил? — спросил Федька.

— Правда,— ответил Андрей Иванович.— Хороший был старичок, добрый. Бывалочи, едем из лугов с молоком, остановимся возле сада, крикнем: «Федор Корнев, дай яблочка!» Он выйдет на балкон, во-он с того этажа и скажет вниз: «Никодим, собери им, что упало». Сторож Никодим, такой же старичок сухонький, с подножком ходил, наберет корзину яблок: «Ешьтя, ребята!..» — Андрей Иванович помолчал и добавил: — Теперь здесь тимофеевский агроучасток.

— А где тот старичок живет? — спросил Сережа.

— Помер давно.— Андрей Иванович поглядел на старый облупленный дом и снова заговорил: — У Саверкина была племянница. На ней женился наш тихановский Сенька Каманин, родственник купца. А у Сеньки был в Желудевской волости свой человек в писарях. Вот Семен-то и подмулился к барину: откажи нам несколько десятин от своего поместья. Барин добрый был. Берите, говорит... Для племянницы мне ничего не жаль. Семен с этим желудевским писарем составили поддельное завещание — все поместье на Каманина отписали. А старичок сослепу подписал его. Вот проходит год, ему Каманин и говорит: хватит, мол, пожил ты в этом доме. Теперь убирайся. Как убирайся? А вот так, дом не твой. Саверкин в суд, а там ему эту бумагу под нос суют. Каманин был жох и в суде подкупил кого надо. Ну, Саверкин от горя взял да помер. А старуху, жену его, выгнали. Она все по кузницам ютилась. Так и померла под забором. А тут революция.

Взяли в оборот этого Каманина. Он бежать... Вот и опустел этот дом, и сад заломали...

Солнце меж тем забиралось все выше и выше, припекало все горячее, потянул ветерок, и над лошадью появились оводы; они подолгу вились над крупом, но почему-то садились то на шлею, то на седелок, и Федька ловким ударом кнута, хакая, сшибал их наземь. От Саверкина пруда дорога свернула в низину и потянулась вдоль ольхов — чахлого леска на краю Святого болота. Вместо жаворонков в небе заголосили первые луговые птицы чибисы, кружась над подводами, они дергались на лету и торопливо, пронзительно вскрикивали — не то плакали, не то спрашивали:

— Чьи вы? Чьи вы? Чьи вы?

— Мы тиха-а-ановские,— отвечал Сережа, запрокинув голову.

И дорожка пошла луговая — ни пыли, ни ухабов, колеса покатились по еле примятой траве мягко, как по перине. Даже ведро на Маркеловой телеге перестало греметь. Вспугнутые обозом, над ольхами иногда со свистом проносились утки и ныряли куда-то за кромку леса, где угадывалось большое, заросшее камышом да осокой болото.

— Папань, а что, правда или нет, будто в Святом болоте по ночам на Юрьев день свечка горит? — спросил Федька.

— Это правда,— ответил отец.— Там дружина рязанского князя Юрия чуть не утонула. Она гналась за татарским ханом Темиром и забрела в болото. Всю ночь выйти не могла. Чуть не потонула. Да слава богу, явился им на рассвете Николай Угодник. Он и сотворил чудо — хлябь болотную в твердь преобразил. Ну князь Юрий дружину-то и вывел. А в честь явления Николы Чудотворца на этой тверди церковь построил. А церковь взяла да провалилась.

— Почему? — спросил Сережа.

— Потому как твердь была чудотворной. А чудо, оно долго не держится,— ответил отец.

— Почему? — спросил опять Сережа.

— Значит, назначение у него такое — удивить и раствориться. Чудо, оно и есть чудо, штука недолговременная, вот с той поры и горит свечка по ночам.

— Папань, а догнал Юрий того хана Темира? — спросил Федька.

— Догнал... В Красулином овраге. Там и убил он татарина. Все его войско положил. С той поры Красулин овраг для всех татар — место поганое. Какой бы татарин ни ехал мимо того места — плюнет и отвернется.

Первое луговое препятствие — Лавнинские гати — проехали хорошо. Свежий хворост, связанный пучками в фашины, свободно держал на себе тяжелые телеги, одновременно пропуская сильный поток грунтовой воды. Гать была длинной, обнесенной поручнями из свежеотесанных слег.

— Какая сила хворосту была здесь,— сказал Федька.— Целые горы.

— Кречев говорил — будто двести возов ушло в гать,— отозвался Андрей Иванович.

— Ну да... Два шестака хворост рубили. Дворов полтораста. Папань, а почему село разбито на шестаки?

— Иначе луга не разделишь, запутаешься. Надо, чтоб у каждого хозяина был свой участок, хотя бы года на три. Он его и от кустарника почистит, и кочки срежет, и сорняки вырвет. А если все луга сплошняком пустить,— загаврают, потому как Иван будет надеяться на Петра, а Петр на Панфила. Так и пойдут валить друг на друга. Панфил, мол, не вышел на расчистку, а мне что, больше других надо?

— Папань, а вон в газетах пишут — колхозом работать веселее.

— Работать не плясать. Что за веселье?

Возле широких заболоченных отрогов озера Кулмы обоз сгрудился и остановился. Дороги дальше не было. Мужики поспрыгивали с телег, сошлись на берегу бочага, загомонили:

— Чья ж это умная голова завела нас?

— Дык сказали, что есть дорога,— чесал затылок Тыран.— Вон Климентий уверял...

— Где Барабошка?

— Э-э, как она, как ее, была дорога... Я осенью сено возил.

— То осень, а то лето... Голова два уха!

— Я думал — загатили...

— Думает боров на свинье, мил моя барыня.

— Что будем делать? Тыран, ты где? Проснулся?

— Ехать через Панские, мужики. Иной дороги нет...

— Вы что, пять верст в объезд киселя хлебать? Вожаки, мать вашу...

— Ну, поедем низом, вдоль бочагов.

— А бочаги с Долгим соединяются... Так и поедешь вдоль озер обратно в Тимофеевку?

Между тем Маркел, насупив брови, решительно распрягал своего высокого и мосластого вороного мерина.

— Ты чего, Маркел, ночевать здесь решил?

— Это вы будете ночевать здесь. А мне языком чесать некогда. Я поеду.

— Куда ж ты поедешь без телеги?

— На ту сторону. Сперва лошадь перегоню, а потом телегу перетащу на веревках. Захлестнете за оглобли да кинете мне конец...

— Померить надо. Небось глубоко.

— Чаво там мерить.

Маркел размотал лапти, снял портки и остался в одной рубахе, прикрывавшей срам.

— Панка, подымай подол! — крикнул дочке.— За мной пойдешь.

Сперва было повел мерина к воде в поводу. Потом передумал, подвел его к телеге, взял для чего-то деревянную хлебальную чашку с деревянными ложками, соль туда положил, сахар и влез с телеги на холку мерина. Взгромоздившись верхом, крикнул:

— Ну, чаво смотрите? Скидавай портки и айда за мной в бочаг. Но, ходися!

Маркел ударил голыми пятками по лошадиным бокам, мерин глубоко вздохнул и нехотя пошел к воде.

— Панка, за мной!

Панка подняла подол платья и двинулась за лошадью. Мерин возле берега остановился и, опустив голову, стал опасливо нюхать воду.

— Да ну же, дьявол сухостойный!

Маркел вытянул вдоль шеи мерина, тот отпрянул в сторону, споткнулся и упал коленями в воду. Маркел нырнул вниз, но пятками крепко держался за лошадиные бока, поэтому сползал медленно, рубаха на нем заголилась, обнажая все его сокровенное хозяйство. Мужики грохнули на берегу, хватаясь за животы и приседая. Мерин испуганно вскочил на ноги, отбежал сажени на три и спокойно стал щипать траву.

А Маркел вынырнул через минуту, как водяной,— все волосы, усы и борода в зеленой ряске. Испуганно тараща глаза, он озирался по сторонам, толком еще не сообра-

жая, что произошло. Перед самым носом его плавали ложки с чашкой.

— Маркел! — кричали ему с берега.— Похлебай из озера. Вода теперь, поди, сла-адкая.

Сердито отфыркиваясь, стоя по шейку в воде, он стал собирать ложки и кидать их в чашку.

2

Нахаловский шестак остановился на Хода́во. Полсотни округлых, крытых свежей травой шалашей растянулось вдоль высокого речного берега, повернутые входом от реки, чтобы по ночам не надувало сырости. И только один шалаш Маркела открыл свой зев прямо на реку,— плевал я на вашу сырость, как бы говорил он своим собратьям.

Перед шалашами в такой же длинный ряд выстроились телеги, подняв в небо связанные чересседельником оглобли, как спаренные орудийные стволы. Телеги пока не нужны были, их покрыли рядном, а под ними, как в амбарном закутке, сложили сбрую, картошку да пшено. На отлете у самого обрыва втыкали треноги, вешали на них прокопченные котлы да чайники, разводили костры, и полуденный озорной ветерок осаживал дымные столбы, рвал их в клочья и смахивал с берега в реку, как крошки со стола. А иные мужики, что попроворнее, уже оседлали скамеечки с железными бабками, стали отбивать на них косы; дробно затараторили молотки, зазвенели косы, и гулко, с оттяжкой, загахало, зачокало эхо где-то в кустарнике на дальнем заречном берегу. Началась открытая перед богом и людьми, колготная и размеренная, как на биваке, луговая жизнь.

Во-первых, эти протяжные, неумолимые побудки сизой ранью, когда еще солнце только угадывается за отдаленным и сумрачным лесным заслоном по живому переменчивому блеску светлеющей зари, когда над стоячей водой еще клубится, густеет молочная текучая вязь тумана, когда все спит и нежится, а тебе надо вставать с теплой постели, вылезать из уютного шалаша, на четвереньках, ладонями и коленями окунаться в холодную обжигающую росу.

— Ива-а-ан! Ты вылезешь или нет? Ай в оборах запутался?

— Онучи забыл снаружи... Они во-олглые.

— Надень носки!

— Иде они?

— Я те счас найду. Я те ткну носом-ту.

У другого шалаша кличут:

— Федор! Ты что, к подушке прикипел?

— Я эта... брусок потерял.

— Мой возьмешь... Вылезай!

— Сейчас...

И наступает мертвая тишина, которая взрывается сердитым окриком, переходящим в живописный протягновенный мат:

— Федор, едрит твою через реку переплюнуть... Ты вылезешь или нет? Не то за ноги вытащу.

Потом потягиваются, зевают долго, едят вяло, уходят с косами на плечах неверным заплетающимся шагом.

Зато на полдни бегут проворно, как лошади ко двору: ногами семенят, шеи вытянут, ноздри навыворот — загодя ловят сытный запах от костра, чтобы враз определить: поспело варево или не поспело.

А как хорош, как отраден этот полдневный отдых, как сытен обед с жестковатым и сочным мясом, с припахивающей дымком разваристой луговой кашей, с этим веселым многозвучным кузнечным перезвоном отбиваемых кос, с этим глубоким и сладким до одури послеобеденным сном на кожушке или ватоле между колес, под надежной тенью родимой телеги...

А эти дружные выходы всей семейной оравы, эти воинственные набеги от мала до велика на последний и решительный бросок — копны метать! Кто возить, кто подгребать, а кто на стога кидать: вилы трехрогие, что твои рогатины, черенки блестят — мозолями полированы, плечи вразлет, а силы не занимать... Ну-к тё! Вилы — копне в бок, черенок в землю, упрется мужичок, крякнет... И опля! Тама... Не токмо что охапку сена, медведя на стог закинет. А ветер злится, качает навильник, свистит, сено клоками рвет. Разметаю! Но не тут-то было. Знаем, откуда зайти и куда бросить: «Варюха, прижимай сено! Топчи!» А ветру подставит голые вилы, азартно усмехнется и крикнет: «На вот, напорись!»

А по вечерам, когда затихают травы и в грустном одиночестве понуро останавливаются посреди лугов потемневшие кусты, когда, отгомонив над рекой, налетавшись вдоволь, забиваются в свои бездонные норки-гнезда

и затихают до утра короткохвостые пегие береговушки, когда торопливее, пронзительнее полетят с речных песчаных отмелей настойчивые клики черноголовых куликов-перевозчиков, а в мягком густеющем мраке пугающей тенью прошелестят широкие совиные крылья,—у поздних дымных костров, позабыв про долгую знойную маету работного дня, рассядутся притомленные косари, еще недавно такие хмурые и постные, а теперь удоволенные, как удачливые охотники, и запоют, затоскуют о дальних краях да о бродяжной воле:

Бежа-а-а-ал бегле-э-эц большой дорого-ой
И заверну-у-ул в дрему-у-учий лес.

В первый же день Маркелу не повезло и на станах. Заняв мешочек соли у Бородиных, он завязал его узелком и передал Панке:

— Мотри, не потеряй у меня.

Панка отнесла его в шалаш и спрятала в надежном месте. Пока Маркел убирал сбрую да отбивал косу на бабке, пока отводил мерина на прикол, Панка варила ему обед, ломала через колено сухие тальниковые палки, оправляла костер, заслоняя ладонью глаза от дыма.

— Скоро ли там у тебя сварится?—спрашивал Маркел своим хриплым басом.

— Когда у людей, тогда и у меня,—бойко отвечала Панка.

— Плевал я на твоих людей! Мне с ними не косить.

Наконец Панка крикнула на радость Маркела:

— Тятя, мясо всплыло.

— А пашано?—спросил Маркел со скамеечки, на которой отбивал косу.

— Хлопьями пошло.

— Ну, тогда сымай! Не то размазню сваришь, собакам глаза замазывать, чтоб не брехали.

Панка сняла котел на землю. Маркел неторопливо подошел:

— Ну-ка, что ты наварила?—взял у нее ложку, зачерпнул варево и долго дул на него. Потом шумно схлебнул и выплюнул:

— Эх ты, разиня! А кто солить за тебя станет?

— Тять, я сейчас,—бросилась она к шалашу.

Но Маркел остановил ее:

— Не замай... Я сам посолю.

Двинулся вразвалочку с ложкой к шалашу.

— Тять, соль там, в сундучке.

Маркел скрылся в шалаше и долго не появлялся, гремя сундучком. Потом раздался оттуда протяжный, затейливый мат, и все те же злополучные ложки с деревянной чашкой дугой полетели с высокого берега в реку. За ними загремел, подпрыгивая на глинистых уступах, и сундучок. Потом полетели подушки, одеяло с ватолой... Наконец вылез из шалаша сам Маркел, пыхтя и матерясь, мрачнее тучи надвигался на Панку. Она попятилась от костра, озираясь по сторонам, выбирая — в каком направлении сигануть.

— Иде же твоя соль, а? — рявкнул Маркел.

— Тять, я забыла... Она...она... в застрехе.

— Ах в застрехе? Ну дак я тебя сейчас самою в застреху засуну.

Он бросился бежать за Панкой, но зацепил лаптем за хворостину, упал и свалил котел с варевом. Встал на четвереньки, замотал головой и завыл от ярости и досады. Каша растекалась по отаве, а кусок мяса дымился в золе.

— Гады, сволочи! — вставая, заорал на весь шестак, на всех, кто гоготал у своих костров.— Нате, жрите! — Он схватил мясо и запустил его в реку. Потом, пыхтя как паровоз, мрачно курил на скамеечке, глядя себе под ноги. Вдруг решительно встал, снял косу с тальникового куста, подвязал брусок к левой ноге и пошел на свой пай. Проходя мимо мерина, ударил его лаптем в брюхо. Тот поднял голову и с печальным недоумением долго смотрел вслед своему хозяину.

Мужики поймали в реке ложки с чашкой, собрали подушки, одеяло, сундучок — все сложили в кучу возле шалаша Маркела. Потом пришла из кустов Панка. Ее пригласили Бородины обедать.

Она была стриженая, с большой круглой головой и с оттопыренными ушами. Ела она торопливо и жадно. Сережа с удивлением глядел на то, как у нее шевелятся уши, и вспомнил частую ругань Маркела на Панку и тетю Фросю: «Работать у вас волос не шелохнется, а как жрать — так вся голова трясется».

Ему было очень жаль Панку, и он подумал, что когда вырастет большим, то ни за что не станет ругаться на своих детей.

К обедающим Бородиным подошел Якуша Ротастенький:

— Хлеб-соль, Андрей Иваныч!

— Едим, да свой, а ты так постой,— бойко отчеканил Федька.

— Ты у кого это выучился, у Маркела, что ли? — сердито одернул его отец.

— А это у него зубы прорезаются,— усмехнулся Якуша, присаживаясь на разостланный брезент.

— Давай, работай! — Андрей Иванович подал ему ложку и пододвинул чашку с мясным супом.

— Да я уж отстрелялся,— сказал Якуша, но ложку взял.— У вас вроде баранина?

— Свежая, не успела просолеть.

— А у меня еще прошлогодняя говядина. Так, веришь, ажно проржавела, зараза. Переламывается, как прелый ботинок.— Якушка обтер ложку и начал хлебать со всеми.

— Так что будем делать с улишками? — спросил он, когда выхлебали суп и накладывали кашу.

— Я свое мнение высказал. Как мужики? — отозвался Андрей Иванович.

— А кто мужики? Моя беднота вся за то, чтобы улишки продать. Есть которые и против — Алдонин да Барабошка с Тарантасом.

— А Бандей?

— Тому не токмо что улишки, тот паи пропьет. Алдонина уломать надо.

— Прокопу все мало,— сказал Андрей Иванович, подливая топленое масло в дымящуюся раскидистую кашу.— Конечно, лучше улишки продать. Делить их трудно... день провозишься, а времени нет.

— А я что говорю! — подхватил Якуша с радостью.— Не угодишь какому-нибудь Маркелу,— покосился на Панку,— косой порежет.

— Покупатели здесь?

— Ну! Гордеевские ждут. А там климуши на очереди. Можно и поладиться.

— Зачем же? Если гордеевские ждут, им отдать. У них лугов мало.

— Мы эта... договорились с ними,— Якуша запнулся.— Они ведро водки ставят. Вечером и привезут. А я уж все сообразил — бредешок наладил, рыбки, значит, вечерком зацепим и посидим.

— Тебе бы только посидеть,— проворчал Андрей Иванович.

— Все ж таки луговая кампания! Отметить надо.

— А не жирно будет — улишки за ведро водки?

— Дак они еще обоз выделят, сено за нас перевезут с заготпункта на Ватажку. Расписку с них возьмем.

— Ну, тогда дело.

— Вот и правильно! Правильно!! — Якуша даже привскочил от радости.

— Куда ж ты? А кашу?

— Нет, я в самом деле сыт. Побегу к мужикам. Проверnем это дело. Пошлем кого-нибудь за гордеевскими.— Якуша помотал вдоль шестака, только лапти засверкали.

— Ну, Федька, ешь быстрее, да пойдем. Не то проваландаешься здесь, нагрянут гордеевские — и вся нонешняя работа пойдет кобыле под хвост,— сказал Андрей Иванович.

— Папань, а что такое улишки? — спросил Сережа.

— Улишки, сынок, это остатки от паев. Когда паи делили, остались обрезы — возле болот, вокруг кустарников, в ложках. Одним словом, всякие неудобные сенокосы... Вот их и называют улишками.

— Ну как же можно обменять сенокос на водку?

— Хо-хо! — усмехнулся Андрей Иванович.— Вот вырастешь большим и узнаешь, как это делается.

После обеда отец приказал Сереже вымыть чашки с ложками, а сами с Федькой разобрали косы, взяли чайник с чаем и пошли куда-то на свой пай. Сначала они были видны все от макушки до лаптей, потом стали погружаться в траву — все глубже и глубже, как в воду заходили; трава шумела, волновалась, и было ее столько много — куда ни посмотришь, все трава и трава, даже кустарники в траве казались маленькими; а отец с Федькой все уменьшались да уменьшались, наконец от них остались одни черные кепки да косы, похожие на крылья серпочков. Потом и косы растворились, и кепки пропали. А по траве катились волны, как по настоящему озеру, и Сережа хотел еще немного постоять да подумать — почему это в траве пропадают люди? Не такая она уж и высокая. Но его потянула за рукав Панка и сказала:

— Хватит глаза пялить попусту. Надо чашки с ложками мыть.

3

Луговые паи на Ходаво принадлежали тихановцам с незапамятных времен. Здесь вокруг озера Выксала лежали места низкие, потные — даже в июле в дождливое лето чавкали в отаве конские копыта. А уж травы вымахивали по брюхо лошадиное, густоты непрорезной, и состава хорошего — все костер, да тимофеевка, да вязиль с синенькими цветочками, да белые и розовые кашки. Свалишь рядок, что твоя рожь — горой высится. Солнце не пробивает, если рядок не обернешь — и не просохнет. А сено мелкое, как шерсть, духовитое, хоть в чай заваривай. Оттого и зарились на Ходаво до революции помещики, а после — в год передела земель — желудевские подкатились: наш конец и карта наша! Ходаво к нам ближе, берите взамен Лавнинские. Мы — волостные, нам виднее! Но шалишь... Не на тех напали. Тихановские в топоры: «За Ходаво головы снесем!» Стеной встали. Желудевским и волком не помог: а что? Власть новая — замах-то был, упора не хватало. Отстояли Ходаво тихановцы, да еще из помещичьих лугов — Краснова и Мотки прихватили. И там хорошие сена были, но перед Ходавом жидковаты.

Хотя луга делились,— нарезали паи до революции по душам, а после — по едокам — раз в пять, а то и в шесть лет,— случалось, что иные места попадали в одни и те же руки по два и по три раза. Этот приозерный пай, примыкавший к Липовой рощице, уже побывал и раньше за Бородиными. Впервые Андрей Иванович косил здесь еще до действительной службы в далекое и грозное лето девятьсот шестого года. Тогда впервые взбунтовались мужики, пошли косить помещичьи луга за Выксалой на Черемуховое. Здесь вот, возле Липовой рощи, их встретил полицейский разъезд — два урядника и следователь Александр Илларионович Каманин.

— Стой! — кричит.— Лошадьми стопчем. Кто зачинщик?

— Ну я...— вышел вперед Ванятка Бородин, сын дяди Евсея.— Луга наши. И катитесь отселева колбасой, пока целы.

— Ты кто такой? — спрашивал Каманин.

— Я здешний. А вы чьи такие залетные?

— Взять его! — скомандовал Каманин.

— Но, но, потише! — Ванятка снял косу с плеча.— Мужики, не выдавай!..

— Вы разберитесь, Александр Ларионыч. Слезай с коня-то — и поговорим,— загомонили мужики.

— Вы что, бунтовать? Перестреляю! — Каманин взялся за кобуру.— Бросай косы!

И все, как по команде, кинули косы наземь. Один Ванятка остался с косой наперевес; раздувая ноздри, поглядывал то на полицейских, то на мужиков. Он пятился к роще, как затравленный волк.

— Взять его! — крикнул опять Каманин.

— Ага... Возьмешь хрен в руку. Догони сперва...— Ванятка кинул косу и дал стрекача, аж лапти засверкали. Пока те выхватили наганы и открыли стрельбу, он уж в кустарниках трещал, как медведь. Они было в рощу на лошадях. Но куда? Там пеший и то не каждый продерется сквозь заросли лутошки да свилистого дубнячка. Они рощу мнут, стреляют да матерятся, а Ванятка спрятался в камышах возле озера, поглядывает на них оттуда да посмеивается: Так ни с чем и уехали.

Да что там один беглец! В восемнадцатом году в этих кустах да камышовых зарослях дезертиры прятались целыми взводами. Первый тихановский набор разбежался с вокзала. До Пугасова их догнали честь честью, в теплушки посадили... Вот тебе, начальство разошлось с перрона, а поезд не трогается. Тихановские открыли свою теплушку:

— Ребята, соседи бегут!

— А вы чего рот разинули?

— Гайда!

И посыпались новобранцы из теплушек, как горох из дырявого торпища. Мешки с продуктами оставляли в вагоне, ежели сцапают на вокзале, скажем: «Это мы так... До ветру... Прогуляться, одним словом». Из тихановских один Митя-Пытя остался, все мешки с продуктами собирал и в кучу складывал.

— Бяжитя, ребята, бяжитя... Мне сытнее ехать... Вернусь с войны — рассчитаемся.

Но с войны Митя-Пытя не вернулся...

Андрей Иванович хорошо помнил и то лето. Как раз их шалаши стояли на берегу озера Выксалы. Вон там, за Липовой рощей. Ночью, только легли, еще толком заснуть не успели, кто-то откинул брезентовое закрывало и по-собачьи вполз в шалаш на четвереньках.

— Чего надо? — Андрей Иванович тревожно поднял голову.— Закрывай брезент, мать твою!.. Комары налетят.

— Это я, Андрей... Не шуми,— засипел в темноте знакомый голос.

— Кто это? — подняли головы и Николай с Зиновием, братья Андрея Ивановича.

— Я, Матвей Обухов...

— Откуда тебя принесло? — Андрей Иванович аж привстал. Это был его шурин.

— Тихо ты... Кабы кто не услыхал,— сипел тот.— Пожрать у вас не осталось чего? Сутки не жрамши.

— Есть. И каша осталась и мясо. Николай, где котел? — спросил Андрей Иванович.

— На козлах.

— Пошли к костру...— сказал Андрей Иванович.

— Да тихо вы! — опять приглушенно сказал Матвей.— Я же дезертир...

— Эх ты, мать твоя тетенька! — сказал Андрей Иванович.— И в самом деле... Тебя ж третьего дня как в армию проводили. Николай, зажги фонарь!

Зажгли «летучую мышь». Матвей Обухов, непривычно обритый, отчего казавшийся глазастым и большеухим, громко чавкая, торопливо глотал холодную кашу. Зиновий, молодой тогда еще, шестнадцатилетний подросток, глазел-глазел на него да изрек:

— Не совестно в дезертирах бегать?

— А мне что, больше всех надо? — ответил Матвей.— Куда ребята — туда и я. Я же не Митя-Пытя.

С этими дезертирами в то лето мороки было... Не успеет отряд в волость приехать, как оттуда уже верховые скачут:

— Ребята, отряд появился. Завтра на луга поедет вас ловить.

Ну, те неделю по ночам работают да горланят, людям добрым спать не дают, а днем в кустах отсыпаются. Пойди, найди их. Да и кто пойдет показывать отряду? На ком две головы? Так до самого снега и скрывались в лугах. А потом этих дезертиров по селам ловили. Однажды Матвея отряд застал дома. Его успели положить в изголовье, поперек кровати, да подушками накрыли, а ребятишек на подушки. Ничего. Отлежался.

Андрей Иванович обошел весь пай, от рощи в длину шагами промерил. Уж мерено-перемерено ежегодно и по многу раз, и все-таки не удержался — замахал-замерил, не шаги, а сажени. Сто шестьдесят шагов! Из тютельки в тютельку. И трава добрая. Смечешь стог — на десяти

подводах не увезешь, прикинул Андрей Иванович. А меньше тридцати пудов на сани он не навивает. Да на Красновом у него пай, да в Мотках. Возов двадцать пять — тридцать притянет до дому. Жить можно. Перезимуем.

Он зашел от Липовой рощи на взгорок, снял косу с плеча, кепку кинул в траву и, обернувшись на восток, стал молиться, высоко за лоб закидывая троеперстие. Федька стоял за его спиной понурив голову. Он знал, что здесь, на этом самом взлобке, умер Митрий Бородин.

Лет десять тому прошло. Этот пай в те поры был за Митрием Бородиным, дядей Андрея Ивановича. Горячий был в работе мужик. Сам и косил, и согребал со своей Степанидой, и стог метал. Посадит ее на стог и мечет. Один навильник кинет — сразу полкопны. Иной раз помогали ему метать племянники: и Андрей Иванович, и Николай, и Зиновий.

— Ты, тетя, не пускай его на метку. Пусть дядя Митрий закладывает. А ты покличь нас. Мы придем — смечем.

В тот день Степанида утром рано приехала из Тиханова. Выехала еще в ночь... Лошадь путем не покормила. Ей бы отдохнуть да покормить лошадь. А дядя Митрий свое:

— Когда теперь ее кормить? Давай копна возить. Потом наистся.

Возил, возил копны — лошадь сдавать стала. Он вместо лошади впряжется да на себе тащит. Потом мужики пришли стог метать. И он с ними.

— Отдохни, дядя Митрий!

— Опосля, ребятки. Вот приметины привяжем, тогда и отдохнем.

Так и дометали к вечеру. Стог что твой дуб развесистый — поглядишь на макушку — кепка свалится. Сам залез на стог, приметины привязал. Потом слез, посерел весь и говорит:

— Ну, ребята, я отработался...

Фуфайка у него была. Он ею чайник накрывал. Взял он эту фуфайку, расстелил, встал на колени, помолился богу и помер. Степанида везла его в телеге домой и всю дорогу вопила.

— Ну, с богом, сынок! Начнем, пожалуй, — сказал Андрей Иванович, беря косу и поднимая кепку.

— Откуда пойдем, папань?

— От Качениной ямы.

После Митрия этот пай перешел к Ваньке Качене. Тот его изрядно запустил: от озера тальниковые заросли полезли, от рощи лутошка пошла да дубнячок. Андрей Иванович в позапрошлом году расчистил пай — десять возов хворосту нарубил... траву подсевал. На Каченю не пенял... Каченю можно было понять: сына у него здесь убило. Парнишке лет пятнадцать. Под копной сидел в грозу. А молния ударила прямо в копну. Когда раскидали сено, в земле пять дыр, как будто пятерней кто тиснул. Мужики хотели поглядеть — что за стрелы гром пускает? Копали долго... Так и не нашли ничего. Оттого и Каченина яма осталась...

Андрей Иванович зашел в дальний угол пая от рощи, где стоял у него дубовый столбик, врытый еще три года назад, и сказал:

— Начнем отсюда... Ряды погоним к озеру.

— Папань, пусти меня передом,— попросил Федор.

Андрей Иванович уклончиво нагнулся, вынул из липового туеска, притороченного к левой ноге, смолянку[1], так, нехотя, скорее для порядка, провел ею несколько раз по источенному жалу косы... Коса-то была отбита и наточена что надо. Просто Андрей Иванович медлил — не хотелось ему сразу отвечать... Любо ему слышать было Федькины слова: «Пусти передом!» Любо. Дождался наконец помощника... Парень хоть и растет сорвиголова, но в работе молодец. И плечи надежные, и грудь колоколом, стукни — зазвенит. А пускать передом рано. Запалишь в работе, сорвешь, как необъезженного третьяка.

И Андрей Иванович, поставив косу на окосье, затачивая носок, сказал, глядя поверху:

— Не лезь, Федор, в пекло поперед батьки. Обожди, находишься еще и передом.

Косить было легко и сподручно, и ладилось, как всякое дело на свежие силы; ветер дул сильно и ровно к озеру, трава металась, никла по ходу, выгибая стебли, откидываясь для свободного хода косы. «Возь-зьму! Возь-зьму! Возь-зьму!» — чудился Андрею Ивановичу жадный выкрик в каждом взмахе, в каждом скольжении косы; то зароется по самый черный ободок в дрогнувшую сочную

[1] Смолянка — длинная дощечка, с нанесенной с обеих сторон точильной смесью, для заточки кос.

зелень, то вынырнет из прокоса, прочертит мимолетную сверкающую дугу и снова в податливую и зыбкую травяную стихию: «Возь-зьму! Возь-зьму! Возь-зьму!» И нет больше ни рощи, ни озера, ни неба над головой — все улетучилось, растворилось в этой податливой многоцветной путанице травы, в этом торопливом, азартном полете и визжании косы.

Весь первый прокос до самого озера Андрей Иванович прошел без единой заточки, без роздыха, и как бы опомнившись, с удивлением заметил в двух шагах за собой Федора. «Неужели не отстал? Ай да парень! Вот это смолит...» Первый радостный порыв сменился горьким упреком и досадой на собственное легкомыслие: Федор тяжело дышал, лицом был красен, как из бани, пот капал с бровей и с кончика носа, синяя рубаха на спине и груди потемнела... «Экий я мерин норовистый,— подумал Андрей Иванович.— Закусил удила и попер... Чуть парня не угробил, а еще передом не хотел пускать! Экий мерин бесчувственный, право слово...» Но вслух похвалил:

— Что ты делаешь, Федор? Ты меня прямо запалил. Чуть пятки не порезал.

Федор откинул косу и, вытирая ладонью пот со лба, самодовольно, во всю физиономию заулыбался, а у самого грудь ходенем ходила.

— Уж нет, Федор... Ты как хочешь. А я так не могу. Знаешь: тише едешь — дальше будешь. Верное дело, говорю.

— Как хочешь,— милостиво согласился Федор.— Давай потише.

Андрей Иванович удивился еще, заметив на соседнем паю Тарантаса. Когда тот пришел? Когда успел размахаться? Вот как прет. Того и гляди, их нагонит. Этот Тарантас был, пожалуй, лучшим косцом на все Тиханово. На спор за день, правда, от зари до зари, десятину выкашивал... Невысокий, но широченный, как спиленный кряж, ноги кривые, ручищи до колен — не знал в работе он ни угомона, ни устали. Пойдет косить,— машет и машет, что твоя ветряная мельница. Пока ветер дует, и я, говорит, верчусь. А возраст серьезный — за шестьдесят перевалило. Но в бороде — ни седины, волосня еще густая да нечесаная, что ни один гребень не возьмет.

— Егор Терентьевич, бог на помочь! — крикнул Андрей Иванович.

— Спасибо, мил моя барыня. Тебя вроде бы огольцы

наши ищут — Якуша с кумпанией. Им выпить хочется, а не на что. Подсоби им улишки продать. Ты, говорят, щедрый на общественное добро. Сбегай, мил моя барыня.

— Ноги жалко. Кабы ты меня на тарантасе прокатил,— отбрехивался Андрей Иванович.

— Ага. Садись на свой и гоняй пешой. Дешевле обойдется,— гоготал Тарантас.

На втором прокосе он нагнал Андрея Ивановича и стал уходить вперед. Бородин было загорелся, пошел на равных, но, вспомнив о Федоре, поутих... «Вот тебе и старик,— думал Андрей Иванович.— К такому деду попадешься в руки — натерпишься муки. И коса у него хорошая. Не коса, а змея! С тремя лебедями, да еще с загогулиной наподобие хомута — знаменитая отметина австрийской марки». И у Андрея Ивановича коса была добрая — осташковская литовка с тремя ершами. Зиновий из Твери привез ее. Да шурин Матвей подпортил: взял покосить и пятку ей порвал. Правда, Лепило запаял ее медью, да все не как целая. С отбивки еще держится, а на третьем, на четвертом прокосе начинает садиться, приходится чаще затачивать.

— Андрей Иванович, цепляйся мне за портки! Сулóй [1] поедем, мил моя барышня! — крикнул Тарантас.

— У меня свой напарник.

— Энтот стриган? — кивнул Тарантас на Федора.— Ён только в ногах путается. Пусти его травку пощипать. А мы вдвоем боле накосим.

— Ах ты, Тарантас кривоногий! — выругался Федька.— Ну, обожди. Ужо ты у меня покосишь!

Андрей Иванович пропустил мимо ушей эту Федькину угрозу и потом очень пожалел.

4

Вечером, не успел еще толком остыть Федор от косьбы, как подлетел к их шалашу Чувал, выкатил белки:

— Ты чего ж, ай передумал? Бредень готов, ребята в сборе...

Федор рубил сушняк, Сережка подкладывал полешки в костер под высоко вздернутый чайник и котел. Андрей Иванович сидел поодаль на скамеечке, отбивал косу.

---

[1] Сулой — вдвоем на одном седле.

— Папань, дак я пойду?—нерешительно спросил Федор.

Андрей Иванович будто бы не расслышал, продолжал тюкать молотком по косе.

— Дядь Андрей, гордеевские водку привезли. Пять четвертей!—стараясь разжалобить за Федьку, сказал Чувал, подумав, добавил:—У нас в шалаше стоит водка-то.

— Не попробовал еще?—спросил Андрей Иванович.

Чувал дернул носом:

— Отец говорит, без закуски нельзя—сопьемся... Послали нас за рыбой.

— А где она, рыба-то?

Чувал осклабился:

— В затоне плавает. Счас мы ее захомутаем.

— Дак нам итить?—спросил опять Федор.

— Ступай! Но смотри у меня—как только стемнеет, чтоб в шалаше был. Понял?

— Об чем речь!

Федька с Чувалом спустились с крутого берега к самой речной кромке и гулко зашлепали лаптями по влажной глинистой тропинке, вспугивая пестрых береговушек, которые выпархивали из норок отвесного берега, как пчелы из улья, и несметной крикливой стаей носились над тихой рекой.

Возле затона их встретила целая орава мужиков и ребят. Они вертелись возле развернутого бредня, перекорялись—кому идти в загон пугать рыбу, то есть снимать портки и лезть в самую середину затона, шлепать палками по воде, кому идти в заброд—тоже без порток и по шейку, а кому тянуть от берега. Говорили хором, шумели, как галки на колокольне. Портки снимать на ночь глядя никому не хотелось, а идти с водилом от берега мог всего один человек.

— Стой, мужики! Здесь вам не митинг и не сход,— крикнул Якуша по праву хозяина бредня.— Чего орете? Дело голосом не сдвинешь. Это вам не улишки продавать. Вася!—позвал он длинного Сосу.— Тебе не токмо что затон, река до пупка будет. Скидавай портки, становись в заброд. Эй, вы, оголтыши!—сказал ребятам.— Марш в загон. А я от берега пойду, потому как бредень мой и колхоз рыбацкий я созвал. Значит, слушай мою команду.

Бандей и Биняк остались на берегу с ведрами под живую рыбу, покрикивали:

— Буржуй, портянку пожуй... Плыви на ту сторону!
— Я чаво там не видал?
— Рыбу гони... Во-он от тех камышов.
— Я ее туда не пускал.
— Ах ты дармоед... Ксплуататор.
— А ты, Бандей, слопал дюжину лаптей.
— А ведром по шее не хочешь?
— Попробуй тронь...

Якуша меж тем занес водило, поторапливал своего нерасторопного напарника:

— Ты скинешь портки или нет? Соса спеленатая!

— Ты, Ротастенький, не вякай. Не то съезжу по кумполу, зазвенишь у меня по-другому.— Соса сидел сгорбившись — лапти никак не скинет, сопит, запутавшись в оборах. Якуша перекинулся на ребят:

— А вы чего сопли распустили? Тоже в лаптях запутались? Кому говорят? Марш в воду! Гони рыбу с конца, а мы от горловины пойдем...

Ребята наконец оголились и, стыдливо прикрывая ладошкой срам, двинулись, как гусята, один за другим к воде.

— Чувал, ну-к обернись! — крикнул Биняк.

— Чаво? — тот обернулся, чуть пригнувшись и прикрываясь рукой.

— Ты эта, парень... твою штуку рукой не прикроешь. Ты бы фуражку надел на нее.

Все грохнули и на берегу, и которые в воду зашли.

— Да ну тебя...— Чувал с разбегу бултыхнулся в затон.

— Якуша, а парень-то у тебя с довеском,— не унимался Биняк.— Держи его про запас на случай, ежели мяса не хватит.

— Ох-хо-хо-хо!
— Ги-ки-ки-ки-ки...
— Хек-хек-хек... Дьявол тебя возьми-то.

— Кусок у него добрый... Ты по стольку в котел не кладешь,— добавил Биняк.

Вася Соса плюнул на свои оборы и покатился по берегу, стуча локтями обземь:

— Брось, Осьпов, брось! Ей-богу, живот подводит.

— Ну, пойдем, что ли ча! — крикнул опять Якуша, берясь за водило.— Не то водка прокиснет.

Соса наконец встал, скинул с себя все до исподников и полез в воду, сводя лопатки и подымая плечи.

— Опускай водило, мерин сивый! — крикнул Бандей.— Что ты его задрал кверху, как ружье? Иль стрелять надумал?

— Дай окунуться... Холодно,— лязгая зубами, ответил Соса.

Наконец бредень опущен; Соса, отплевываясь и фыркая, как лошадь, зачертил подбородком по воде. Якуша шел вдоль берега и тыкал водилом в воду, как вилами в сено. Вода доходила ему всего лишь до колена.

— Эй, Ротастенький! Ты бы лучше послал за себя заместителя по активу — Тараканиху: все ж таки она в юбке,— посоветовал ему Биняк.— Глядишь, и подол не замочила бы.

— Что, за подол хочешь подержаться? Вон ухвати кобылу за хвост,— отбрехивался Якуша.

Рыбу пугали боталами — двумя широкими жестяными раструбами, насаженными на шесты.

— Чувал, пугани от того куста! — кричал с берега Бандей.— Бей в корень!

Чувал заносил над головой ботало и резко швырял его под куст:

«Угук-гух! Угук-гух!» — утробно вырывалось из-под куста, и далеко за рекой отдавалось размеренно и гулко: «Ух... Ух...» Как будто там кто-то погружался в холодную воду.

— Маклак, ударь по камышам,— кричал Бандей.

«Угук-гух! Угук-гух!» — неслось от камышовых зарослей, и снова таинственно замирало где-то за рекой: «Ух... Ух...»

Чем ближе подходили ребята с верховьев затона, тем шумнее становилось возле бредня, суетливее на берегу.

— Кончай заброд, Вася! — кричал Биняк.— Заходи к берегу. А ты подсекай, Якуша...

— Я те подсеку,— отвечал Якуша, матерился и плевал в воду.— Ты лучше пугни от берега, не то рыба в прогал уйдет.

Биняк грохал донцем ведра о воду, но стоял на своем:

— Гли-ко, дьяволы! Рыба скопления не любит, разворот даст. Уй-дет! Ей-богу, уйдет...

— Куда она денется? Бредень-то с мотней,— ухал басом Бандей.

— Мотня, что твоя ширинка, расстегнется — не заметишь, как весь запас вывалится.

— Пожалуй, пора! — пускает пузыри Вася.— Не то глыбь пошла, кабы низом, под бредень, рыба-то не выметнулась.

— Давай, заходи к берегу! — сдался наконец Якуша и сам стал «подсекать», то есть кренить водило, подтягивать край бредня к самому урезу воды.

Улов оказался добрый: когда схлынула потоком вода с берега, в длинной, облепленной ряской мотне забились широкие, как лапоть, медно-красные караси, затрепетали радужным оперением брюхатые и гладкие лини, скользкие, плотные, сизовато-зеленого отлива, точно дикие селезни; лениво извиваясь, тыкали во все стороны расплюснутыми широкими мордами сомы; и прядала, путаясь в сети, пятнистая щука длиной с оглоблю.

Набежали ребята с гиканьем, хохотом, стали хватать рыбу, греметь ведрами.

— Чувал, а Чувал? Успокой ты щуку!

— Чем?

— Вот дурень! Ахни ее по голове своей кувалдой.

— Тьфу ты, пустобрех! Прилипнет как банный лист.

— Дак у него свой молоток отстучал. Он теперь только глядя на чужие и радуется.

— Гы-гы... Мысленно.

— Эге. Воображая то есть.

Рыбой набили оба ведра, да еще несли в руках отдельно щуку и сома. Завидя такую добрую кладь, мужики стали сходиться к Якушиному шалашу, откуда заманчиво поблескивали горлышками обернутые в мокрую мешковину четвертя с водкой. Первым пожаловал к ловцам Максим Селькин:

— Я, мужики, дровец нарублю.— А сам все ощупывал карасей, мял их, чмокал губами.— Жирныя...

— А сырую съел бы? — спросил Якуша.

— Нашто?

— Ежели б вареной не дали.

— Съел бы,— покорно вздохнув, сказал Селькин.

Потом пришел Федорок Селютин в длинной, до колен, тиковой рубахе, босой. Этот заботливо оглядел и потрогал четвертя с водкой. Изрек:

— Якуша, надо мешковину смочить заново. Водка теплая.

— А может, в реку снести четвертя? — предложил Бандей.

На него зашикали:

— Ты что, в уме? Берега крутые... А ну-ка да споткнешься с четвертями?

— Можно в обход, от затона...

— А там крутит... Унесет четвертя...

— Они же не плавают!

— Говорят, бутылки океан переплывают.

— Дак то ж пустые.

— Неважно. И водку унесет.

— Куда ее унесет?

— В омут. Закрутит — и поминай как звали.

— Чтобы четвертя с водкой унесло? Ни в жисть не поверю.

— А ты знаешь, в Каменский омут Черный Барин мешок проса уронил. Слыхал, где выплыл?

— И где?

— В Оке, под Касимовом. Мешок по таблу узнали, печати то есть.

— Дак то ж под Каменкой, пропасть!

— Может быть, и здесь такая ж пропасть. Ты ж туда не лазил, в воду! А хочешь четвертя поставить.

Петька Тыран пришел в валенках. Его позвали чистить рыбу.

— Не-е, мужики... не могу. У меня обувь не соответствует.

— А водку пить она соответствует?

— Дак я ж Кольцов! — бил он себя в грудь.

Все лето по вечерам носил он валенки, а зимой часто в сапогах ходил. Его спрашивали:

— Отчего в жару валенки надеваешь, Петька?

Он отвечал:

— Валенки летом дешевле, оттого и ношу их летом.

А называл себя Кольцовым потому, что любил декламировать его стихи:

> Что, дремучий лес,
> Призадумался?
> Думой темною
> Запечалился...

— Петька, лучше спой.

— Это можно.

Тыран оборачивался к реке, расставлял ноги пошире, точно в лодке плыл, и, закидывая свою кудлатую голову,

безвольно опустив руки, самозабвенно, прикрыв глаза, широко и свободно затягивал песню, знакомую всем до малого словца, до последнего вздоха:

На кленовой скамье-е, перед бледной луной,
А мы праздной порою сидели;
Солове-е-ей распевал над ея голо-во-о-о-о-ой,
Липы нежно листвою шуме-е-е-ли.

Пока мужики готовили пирушку, ребята носились возле шалашей, затевая одну проделку за другой. На отшибе подальше от реки стоял кое-как сляпанный шалаш Кузьмы Назаркина, бывшего волостного урядника, к старости сильно погрузневшего, бестолкового и неповоротливого мужика. Он сидел у своего костра и ел кашу. Чувал подполз по высокой траве и крякнул ему в спину, точно как дергач.

— Ну, черт горластый! — проворчал Кузьма.— Чего тебе надо? Пошел вон! — и бросил в траву головешку из костра.

Чувал переполз на другое место и, только Кузьма взял ложку, крякнул ему в спину еще звонче. Кузьма опять оставил кашу, вытянул головешку из костра и запустил ее в траву, взял котелок с кашей, перешел на другое место. Но только принялся за кашу, как снова за его спиной раздалось навязчивое: «Кррр-я-як».

— Кузьма Иванович! — кричали с берега мужики.— Дай каши дергачу! Не жадничай...

— Птица тожеть есть хочет.

— У нас ноне равноправия...

— Не жадничай... Это тебе не при старом режиме... Гы, гы.

Кузьма бросил наземь котелок и, переваливаясь, как старый гусь, пошлепал в шалаш.

Меж тем Федька Маклак облюбовал Кукурая; тот собирался ехать в Тиханово и запрягал в телегу такого же подслеповатого, как сам Кукурай, серого мерина. Телега от Кукураева шалаша стояла далеко, и пока Кукурай сходил в шалаш за хомутом, Маклак обернул мерина в оглоблях, поставив его мордой к телеге, задом на выход из оглоблей. Кукурай, смутно видя мерина, занес хомут над ним и опустил его прямо на круп.

Мерин выдул животом воздух, а Кукурай бодро прикрикнул на него:

— Но-о! Рассапелся!.. Проснись, ненаглянай!

Мужики, сидевшие у костра, так грохнули, что даже мерин поднял голову, а Кукурай выпустил хомут из рук.

— Андрей! — кричали ему.— Поищи у него под хвостом голову-то.

— Он ее промеж ног спрятал.

— Атаманы, грабители! Что я вам сделал? — чуть не плача спрашивал Кукурай.

— А мы что тебе сделали? Телегу увезли?!

— Ты ж сам на задницу хомут надевал...

— Звонарь бестолковый, звонарь и есть.

Когда поспела рыба, ее вытащили на деревянные тарелки, нарезали большими кусками и посолили крупной солью. Уху черпали кружками, водку запивали ухой, потом уж заедали рыбой. Без малого сорок мужиков чинно расселись в кружок и в напряженном молчании ожидали свою порцию водки; каждый пришел либо с кружкой, либо с ковшом, но наливали всем одну и ту же мерку.

Якуша держал очередную четверть за бока, как гусыню, и, наклоняя, лил в свою алюминиевую кружечку, размером с чайный стакан.

Пили не чокаясь,— вольют ему порцию, он глянет на нее, жадно потянет ноздрями воздух и, нахмурившись, словно недовольный, решительно опрокинет в рот. «Эх, кабы вторую вослед пропустить!» — «А что, соседу не надо? Он у тебя рыжий, что ли?»

Собрались на круг всем шестаком, только Кузя Назаркин не пришел — обиделся за дерчага, да Тарантас надулся, что его улишки в общий котел пошли: «Вам только волю дай — не токмо что улишки, загоны пропьете».

— Мужики, чего ж мы под сурдинку пьем? — спросил Якуша Ротастенький.— Хоть бы гармошку-то растянули.

— А где Буржуй?

— С ребятами.

— Обиделись они: рыбу, говорят, гоняли, а выпить не дают.

— Рано ишшо. Пусть сопли научатся подтирать.

— Буржую-то можно. Все ж таки — гармонист.

— Бурж-у-у-уй!

Он выкатился откуда-то из травы, по-собачьи отряхнулся, встал — голова большая, ноги короткие — с готовностью таращит глаза, руки по швам:

— Чего надо?

— Выпить хочешь?

Только головой мотнул. Подали кружку — осушил единым духом.

— Ого, этот без приманки берет.

— Шелешпер.

— А закусить хочешь?

— Мы уже рыбки поели,— сказал Буржуй.

— Молодец! Впрок закусывает.

— Ты чего в траве лежал?

— За Тарантасом смотрел.

— Зачем?

— Так.

— Где же он, Тарантас?

— На реку пошел, котел моет.

— Эй, мужики! Хватит ему экзамены устраивать. Неси гармонь, играть будешь.

— Я ее дома оставил.

— Как оставил?

— Дак девок нет пока. Вот приедут гребсти — тогда и гармонь привезу.

— Ах ты, забубенный! Зачем же водку пил?

— Впрок. Потом отыграю,— Буржуй ухмыльнулся и дал стрекача.

— Чухонин, сыграй на своей нижней губной барыню, а мы спляшем,— сказал Бандей.

— Дай воздуху набрать.— Биняк напыжился до красноты, встал на карачки и вдруг отчетливо заиграл на своем нижнем инструменте барыню:

Тра-та-та-ти
    тра-та-та,
Та-ра-ра-ра
    ти-ри-ри...

А Селютан с Бандеем тотчас сорвались в пляс,— пошли вприсядку вокруг котла с ухой, присвистывая и приговаривая:

Между ног — чугунок,
Сзади — сковородка...
Ой, вали, вали, вали!
Закусали кумары,
Кумары да мушки,
Не боюсь Ванюшки...

— Тяни, Осьпов! Тяни! Крой дальше!!

— Дальше она у меня слов не знает,— сказал Биняк.

— Биняк, а сорок раз подряд дернуть можешь?
— Могу.
— В любое время дня и ночи?
— Могу.
— Если разбудить... И сразу чтобы сорок раз подряд?
— Могу.
— Спорим на стан колес!
— Ого-го! Дай разбить руки!

К Андрею Ивановичу подошел Тарантас с косой в руках и взял его за плечо:

— Отойдем в сторонку!
— В чем дело? — спросил Бородин.
— Ты погляди, что твой щенок сделал! — тыкал он пальцем в косу.— Он мне всю жалу заворотил.
— Чем?
— Пятаком медным по косе поводил. Вот что наделал твой атаман. Мне за такую косу свинью давали. А он, стервец, пятаком по жалу. Это как расценить?
— Погоди, я сейчас...— Андрей Иванович бросился к своему шалашу.

Но Федьки там не было.

Андрей Иванович побежал к затону. Кто-то свистнул от реки, и трое ребят: Буржуй, Федька и Чувал — вылезли на берег.

— А ну, подойди сюда! — крикнул Андрей Иванович Федьке.

Тот увидел стоящего в отдалении Тарантаса с косой, мигом смекнул, в чем дело, и легким поскоком побежал к затону.

— Стой, сукин сын! Догоню — запорю! — заревел Бородин и бросился за сыном.

Федька, знавший весь затон вдоль и поперек, добежал до брода и, разбрызгивая воду, кинулся на ту сторону. Легко, по-козлиному выскочил на песчаную гору и побежал к реке. Когда Андрей Иванович, увязая в песке лаптями, с трудом перевалил через гору, Федька снимал уже портки на речном берегу. Лапти с оборами валялись на песке. Завидев отца, Федька скатал штаны с рубахой и, огребаясь одной рукой, в другой держа над головой этот узелок, поплыл через реку.

Андрей Иванович погрозил ему кулаком:

— Ну, погоди! Вернешься — я тебя распишу этими оборами.

Он забрал лапти и подался восвояси. Возле шалаша

увидел чужую лошадь под седлом, удивился: что еще за поздний гость? Откуда? Зачем??

Андрей Иванович невольно прибавил шагу. За шалашом на скамеечке для отбивания кос сидел в полной форме, при нагане, Зиновий Тимофеевич Кадыков. Фуражка со звездой лежала на чурбаке. Поднялся навстречу, поздоровались.

— Завтра в ночь будем ловить возможного вора твоей лошади,— сказал Кадыков.— Ты мог бы понадобиться. И лошадь опознать... итак, к делу.

— Спасибо. Я непременно поеду. Куда?

— Сперва в Ермилово, а потом в лес.

— Но мне надо домой съездить. Жену сюда послать,— потом замялся.— Ружье можно с собой взять?

— Бери, пригодится. Нас всего трое из милиции, а их — неизвестно.

— Ничего, справимся.

— Давай! Я буду ждать тебя до обеда в Ермилове у Герасима Лыкова. Там спросишь.

— Приеду вовремя.

— Ну, пока,— Кадыков пожал ему руку и прыгнул в седло.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Андрей Иванович, наказав Петьке Тырану приглядывать за Сережкой, еще засветло выехал верхом домой. Лошадь, успевшая нагуляться за день и отдохнуть, легко и резво бежала по высокой траве, подгоняемая комариным зудом. Бородин скакал напрямки, не считаясь ни с болотами, ни с бочагами, бродов не искал — разбрызгивал лаптями воду на переездах; замочил не только штаны, но даже попону, которую подостлал на холку лошади. Думал только об одном — наконец-то посчитаемся, сойдемся в открытую... Только бы не помешали, не спугнули субчиков-голубчиков; а уж там повеселимся, поглядим, чья возьмет. Кто эти воры, Кадыков не сказал; но Андрей Иванович думал теперь только о Жадове, и лупоглазая, длинноволосая физиономия Ваньки маячила перед его мстительным взором, застя собой белый свет, и яростное чувство накатывало волнами из груди, перехватывало горло и жарко било в голову.

Очнулся он от этого наваждения только под Пантюхином, когда выехал к Святому болоту. Сперва увидел длинный загон картофельной ботвы, темным клином врезавшийся в широкий луговой разлив уже скошенной травы,— по сочной и шелковистой, салатного цвета отаве вразброс стояли желтовато-бурые копны, присаженные дождем, дальше, к лесу — нетронутая стенка высокого канареечника, синяя снизу и рыжая, от цветущих метелок, почти ржавая сверху, с яркими фиолетовыми вкраплинами одиноких цветов плакун-травы.

Облака на закате лилово-синие, размытые, словно расплавленные, и сквозь них багровела, касаясь земли, огромная горбушка солнца. Торопливо и настойчиво, как заведенный, бил перепел, мягко трещали кузнечики, да где-то за канареечником, возле ольхов, одиноко и пронзительно плакал чибис.

Наконец Андрей Иванович выехал на дорогу, черную, хорошо накатанную и пружинистую, какие бывают только на сухих торфяниках. Перед ним долго бежала, перепархивая время от времени, пестрая трясогузочка с желтоватой грудкой.

— Цвить! — крикнет звонко и радостно и бежит, бежит, словно вперегонки играет.

Когда взлетает, хвост, белый по краям, раскрывается как веер.

Ах вы, пташки беззаботные! Все бы вам чирикать да веселиться, подумал Андрей Иванович. И нет вам дела до нашей суеты да злобы.

В Тиханово въехал он уже затемно.

Дома застал он настоящий бабий переполох: Надежда, Мария и приехавшая из Бочагов на помощь в сенокосную пору баба Груша-Царица встретили Андрея Ивановича пулеметной трескотней:

— Дожили, докатились... Нечего сказать! — кричала Надежда.— Ушла самоходкой... На все село опозорила! Иди сейчас же за ней! Хоть за волосы, но притащи ее, паскудницу.

— Кого тащить? Откуда?

— Торба наша... Торба выскочила замуж,— потрясала руками над головой Мария, словно в каждой руке у нее было по погремушке, но они не гремели, и Мария от удивления делала ужасное лицо.— Хорошенькое замужество! Она подол себе застирать не умеет.

— Эка невидаль, подол? С грязным походит. Не в том

дело... Из какого он рода? Вот что важно,— гудела Царица, сидя на табуретке посреди летней избы неподвижно, как идол на пьедестале.— Говорят, он, этот Сенька, из приюта. Как он туда попал? Откентелева? А может, он воровского роду? Мотрите, запустите собачье семя в родню, сами брехать обучитесь...

— И смотреть нечего... Взять ее, дуру шелопутную, за косы притащить,— настаивала на своем Надежда.

— Кто ушел? Куда? Может, поясните мне толком,— сказал Андрей Иванович, все еще стоявший возле порога.

— Ну, Зинка ушла. Господи, вот еще балбес непонятливый нашелся,— хлопнула руками по бедрам Надежда.— В полдень я корову ходила доить в стадо, Маша у себя в конторе задержалась. Она пришла домой, собрала свои манатки — и айда через сад. Там, за градьбой, ее Сенька ждал. Опозорила нас, потаскуха окаянная. Иди за ней. Хоть упрашивай, хоть силой, но веди ее назад. А там поговорим.

— Что она, телка, что ли? — сказал Андрей Иванович, все еще думая про свое.

— Бирюк ты, бирюк лопоухий. И лошадь у тебя из-под носа увели, и родню поганят, и гляди — еще самого из дому прогонят. А ты и будешь хлопать белками да ширинкой трясти. Слышишь, иди за ней! Не доводи до греха.

Надежда застучала ладонью об стол.

— С ума ты сошла, баба. Она ж не дите малое. Все ж таки она совершеннолетняя. Это где ж такие порядки заведены, чтоб взрослых людей на веревке водить? Или вы позабыли, что у нас Советская власть? То есть свобода действий...

— Во, во! — обрадованно подхватила Надежда.— Это ваша свобода действий доведет до того, что мужики с бабами под заборами валяться начнут.

— Да иди ты! — отмахнулся Андрей Иванович, проходя в горницу.— Мне не до ваших глупостей.

— Погоди, Андрей Иванович! — сдержанным тоном сказала Мария.

— Ну? — он оправил усы и вздохнул.

— Дело не в том, чтоб вести кого-то на веревочке. Но узнать, что за человек стал мужем нашей Зинаиды, при каких обстоятельствах они сошлись. Не шутка ли здесь. Не обман ли одной более опытной стороны? Я знаю этого субъекта. Он на все способен. И вообще, брак ли это?

Замужество ли? Насколько мне известно, они даже не расписались. Все это необходимо выяснить. И обязан это сделать ты, Андрей Иванович, как глава семьи.

Андрей Иванович только головой мотнул:

— Попал из кулька в рогожку... Заполошные! Вы даже не спросили, зачем я здесь оказался? Мне ехать надо в Ермилово. Лошадь, кажется, нашлась.

— Успеешь,— сказала Надежда.— Если нашлась, то никуда она не денется. А здесь не лошадь — живой человек.

— Андрей Иванович, ты у нас надежда и отрада всего рода нашего. Ты и судия и заступник. Разберись толком, рассуди по совести. А вдруг она не по своей воле? — сказала Царица.

— Как не по своей воле?

— А вот так. Наговором взяли. Как нашу Марфуньку за Филиппа выдали. Она девка видная была, красивая, а он так, ощурок, от горшка два вершка. Гоп-гоп, где мои гогицы! Зато дед его Тереха был колдун. Пришли к ним зимой вальщики, валенки валять. А Тереха им и говорит: «И для нас валяйте и на невесту».— «Как же мы будем валять на невесту, если не знаем, кто она?» — спрашивают вальщики. А он им: «Вон, глядите, девка за водой пошла. Вот на нее и валяйте». А те смеются: «Эта, мол, Марфунька Обухова. Станет она связываться с твоим Филиппком».— «Станет»,— говорит Тереха. И добился своего. Придет, бывало, к нам и все к матери: «Сватья, выдай девку к нам!» А мать ему: «Какая я тебе сватья! Ступай с богом». А он все к Марфуньке норовит подсесть. «Терентий,— говорит ему Марфа,— ты человек меченый. Не трогай девку!» — «Да я что? Я так, все ха-ха да хе-хе». А один раз Марфунька пряла на скамье, он к ней все-таки подсел, в ухо ей дунул и в плечо толкнул. И что ж вы думаете? Ушла девка... Вот и я говорю — сходи разберись. Может, он сам меченый? Или подсылал кого? Теперь не прежние времена, за такое дело можно и привлечь куда следует.

Андрей Иванович скривился в усмешке:

— Ладно, подойдет время, выясним — колдун он или моргун.

— Ты не отмахивайся! — крикнула от стола Надежда.— Отвечай прямо: пойдешь или нет? А то сами сходим. Хуже будет.

— Хорошо, схожу,— сдался он.— А вы соберите мне

поесть да в сумку положите чего-нибудь... С собой, на дорогу.

Сенечка Зенин жил возле церкви у Ильи Евдокимовича Свистунова, бухгалтера из райфо. Свистунов был человек хозяйственный, жил в пятистенном доме, детей не имел.

Зенину сдавали горницу с отдельным входом и готовым столом: молоко, яйца, жирные щи. По праздникам блины, драчены и брага. И за все это Зенин платил по рублю в сутки. Хозяйка, кривобокая Матрена, отзывалась о постояльце уважительно: не пьет, не курит. Одно плохо — иконы вынес из горницы.

Андрей Иванович застал Сенечку и Зинку дома; они сидели за столом и пили чай с конфетами, шумно втягивали воду с блюдцев и громко причмокивали языком.

Нельзя сказать, чтобы их смутил приход позднего гостя, Зинка даже обрадовалась, заулыбалась, но покраснела, как недозрелая вишня.

— Садись с нами чай пить, дядь Андрей!

А Сенечка чинно подал табурет, сам сел напротив, скрестил руки на груди и запрокинул свои открытые шалашиком ноздри.

— Тебе налить, дядь Андрей? — повторила еще раз Зинка.

На столе стоял самовар, розовые жамки и конфеты «Раковая шейка».

— Спасибо, не хочу,— отказался Андрей Иванович.

— Поскольку я понимаю, вы пришли на предмет серьезного разговора насчет нашего бракосочетания,— степенно заявил Сенечка.

— Какой уж там серьезный разговор! Разговоры ведутся до женитьбы...— Андрей Иванович запнулся,— как принято у добрых людей. Хочу узнать: поженились вы или как?

Зинка опять покраснела и уткнулась в чашку.

— Если вы имеете в виду церковный обряд, связанный с религиозным дурманом, то такой женитьбы здесь не было и не будет. Все остальное налицо... Как видите,— Сенечка широким жестом показал на стол и потом на кровать.

Андрей Иванович посмотрел на убранную постель и узнал свое пикейное покрывало и большую пуховую подушку с вышитыми Надеждой вензелями НБ. Вторая

подушка была поменьше и, видимо, принадлежала Зенину.

— Ну, кровать это еще не женитьба,— усмехнулся Андрей Иванович.— А как насчет регистрации?

— Женитьба есть добровольный союз двух равноправных членов общества. По нашим понятиям, товарищ Бородин, любовь есть главная связь свободного брака. Все же остальные церковные и бумажные формальности только оскверняют истинное чувство. Как видите, мы за новые отношения людей, не зараженных буржуазными предрассудками отживающего мира. Но вы не беспокойтесь, мы распишемся.

— А посоветоваться с родными, поблагодарить хотя бы за приданое,— кивнул он на кровать,— это что, тоже предрассудок? А по-воровски убежать из дома? С узлом через заборы лазить? Это что, новый обряд? Примерная свобода действий? Где же вы такое вычитали? В каком уставе?

— К сожалению, мы столкнулись с упорным нежеланием родственников считаться с нашим чувством, то есть со стремлением навязать свою волю, почерпнутую из домостроя. И все только потому, что наши представления на классовую структуру и формы борьбы не сходятся.

— Какие формы? Какая борьба? Кто с вами не сходится?— строго спросил Андрей Иванович.

— Вам лучше знать,— уклончиво ответил Зенин.

— А ты чего молчишь?— набросился было Андрей Иванович на Зинку.— Что произошло? Ты почему сбежала?

— Я... я больше не могу,— Зинка хлюпнула носом.— Маша с Сенечкой поругались. Она не пускала его к нам. У них по... политические разногласия.

Андрей Иванович с трудом удержался от неуместного смеха и сказал строго:

— Ну ладно, у них политические разногласия. А у нас с тобой что за политика? Почему ж ты со мной не поговорила, что выходишь замуж? С Надеждой не посоветовалась? Мы тебя вроде в сундук не запирали и на привязи не держали. Зачем же тайком убегать из дома? Зачем обижать людей?

Зинка только всхлипывала и заливалась слезами.

— Товарищ Бородин, оставьте этот прокурорский тон. Вы не судья, а мы не подсудимые,— сказал Сенечка сухо.— Зина здесь ни при чем. Это я настоял на такой форме наших с вами отношений.

— Какая форма отношений! Просто сбежали, как воришки, и приютились в чужом углу. Жили бы у нас. Чай, не стеснили бы. У нас и горница вроде бы попросторнее.

— А если мне у вас не нравится? Если обстановка вашей жизни мне не по душе?

— Чем же тебя не устраивает наша обстановка? — искренне удивился Андрей Иванович.

— К примеру, своим уклоном к частному накоплению. Три лошади, двадцать овец, два дома, кладовая... Не много ли держите в одних руках при нашем всеобщем стремлении к равенству?

— Ты что ж, за то, чтобы всем жить в чужих домах и спать на чужих подушках? — накалялся Андрей Иванович.— Как до двадцать второго года, да?

— До двадцать второго года был коммунизм, а теперь торгашество, погоня за наживой...— кричал, багровея, и Сенечка.— Не для этого устанавливали Советскую власть.

— А ты ее устанавливал? Ты в те годы под стол пешком ходил. А я и четыре моих брата всю гражданскую ворочали. И землю делили. Поровну, без обиды. Бери, старайся, работай...

— Я просто считаю по теории классовой борьбы — каждая собственность калечит отношения между людьми. Поэтому я и забрал свою жену из вашего частнособственнического гнезда... Где, между прочим, вы меня все ненавидели.

— Подлец! — Андрей Иванович встал и стиснул кулаки.— Если бы не моя племянница, я бы тебе голову намылил за такие слова.

Сенечка тоже встал:

— Спасибо за откровенность. Но мы еще как-нибудь встретимся. Посмотрим еще — кто кого намылит, а кто и утрется.

— Ну что ж, поглядим.

Андрей Иванович вышел и сильно хлопнул дверью.

2

У Васи Белоногого в Ермилове был свой человек, некий Герасим Лыков. Работал он в Ермиловском сельпо, а в лесную кампанию был у Васи весовщиком на продовольственном складе.

Этот Лыков однажды в Елатьме увидел Жадова на рыжей кобыле, но не мог допытаться — куда уехал Жадов и где прячет кобылу. После убийства ветеринара Белоногий наказал Лыкову:

— Герасим, душа из тебя вон... Но с Жадова все эти дни глаз не спускай. Чего заметишь — дай мне знать.

И Лыков заметил... Как-то на ночь глядя заехал к Жадову Сенька Кнут на той самой рыжей кобыле, запряженной в тарантас. Не успев толком покормить лошадь, они тотчас уехали в лес. Подался за ними охлябью и Лыков.

Часа три рысил он по темным лесным дорогам за отдаленно грохотавшим тарантасом, пока не выехал на открытую поляну к Сенькину кордону. Здесь он спешился, привязал в лесу лошадь, а сам, хоронясь за соснами, назерком подошел к подворью.

Со двора доносились незнакомые голоса и лошадиное фырканье. Потом хлопнула сенная дверь, проскрипели под тяжкими шагами ступени, и раздался частый жадовский говорок:

— Вы долго тут будете возиться? Лошадь распрячь не умеете!

— Да не видать ни хрена. Сбрую вот собрать надо, отнести в хомутную,— ответил кто-то недовольно, ухая басом как из колодца.

— Зачем? Оставьте все в тарантасе,— сказал Жадов,— завтра утром я на рыжей уеду в Елатьму. А вы давайте на Воронке в Ермилово. Заберете там все мои пожитки.

— А как же насчет барана?

— Барана привезешь послезавтра, понял? — сказал опять Жадов.— Я заночую в Елатьме. Вернусь послезавтра к вечеру. Вот тогда и отходную сыграем.

— Один приедешь? Или как? — спросил кто-то третий жидким голоском.

— А тебе не все равно?

— Дак на сколько человек жарить?

— Жарь на всех, чтоб себя не обделить,— сказал Жадов, и все засмеялись.

— Ну, пошли в избу! Не то ждать не будем.

Через минуту хлопнула дверь, и все стихло.

Рано утром Лыков был уже в Агишеве. А в тот же день, пополудни, Вася Белоногий поймал в тихановской милиции Кадыкова и выпалил ему прямо в коридоре:

— Жадов уволился из лесничества. Послезавтра уезжает. Брать его надо в ночь перед отъездом. Он соберет приятелей на Сенькином кордоне, и лошадь Бородина будет там, и вещи краденые, как я полагаю. А может быть, и вся шайка окажется в сборе. Дорогу мы знаем. С завязанными глазами доведу.

Кадыков выпросил у начальника милиции Озимова двух милиционеров: Кулька и Симу; под вечер отправил их вместе с Белоногим в Ермилово, а сам завернул на луга — позвать Бородина.

Меж тем Иван Жадов, ничего не подозревая и ни о чем не догадываясь, гулял в Елатьме «последний нонешний денечек». Он приехал налегке и с деньгами. Сенька Кнут удачно продал на базаре в Дощатом пару лошадей да барахло деминское переправил в Муром, за что Жук выдал ему полтыщи задатку. Да еще от лесничества, при расчете, капнуло две сотни за «беспризорные» штабеля дров.

Словом, Жадов был богат и весел. Он надел свою лучшую темно-синюю фланель — суконную блузу и шелковую тельняшку в голубую мелкую полоску. Нагладился так, что рубчики с блузки сливались с рубцами на брюках, стояли как завороженные... стрелками! А клеша наглухо прикрывали носочки начищенных ботинок. Оделся, хоть в строй становись, на парад.

Алена снимала квартиру на речном съезде, недалеко от пристани. Высокий сосновый пятистенок под железной крышей, на каменном фундаменте был хорошо знаком Жадову. Он круто осадил возле тесовых ворот кобылу, привязал повод за большое бронзовое кольцо, ввинченное в дубовый столб, и легко взбежал на высокое крыльцо. Дверь ему отворила не хозяйка, а сама Алена. Вместо приветствия она сердито отчитывала его:

— Ты что, с ума спятил? Зачем лошадь сюда пригнал? Или забыл — где постоялый двор?

Он грубо стиснул ее за оголенные плечи и полез целоваться. На ней был розовый сарафан без кофты с широким вырезом на груди, из которого соблазнительно выпирали белые полушария.

— Вва! — азартно выдохнул он и запахал носом ей в грудь.

— Да пошел же! — она с такой силой оттолкнула его, что он стукнулся плечом о притолоку.

— Эх-ва! Пожалей косяк,— осклабился Жадов и снова поймал ее за плечи.— Ну, куда ты от меня денешься, пташка-канареечка? — и вдруг заголосил, выпучив глаза:

От наказанья-а-а весь мир содрогнется-а-а,
Ужаснется и сам сатана-а-а.

— Вот ты и есть сатана. Я что тебе говорила?

— Что? — мотнул он головой.

И Алена теперь заметила, что был он под хмельком.

— Не ездий ко мне больше! Ты меня обманул! Я из-за тебя с работы ушла, понял?

— А если и я из-за тебя ушел с работы? Тогда что? А?!

— Врешь. Покажи документы?

— Отворяй ворота! Вот лошадь распрягу... А там уж покажу тебе белый свет в уголке, который потемнее.

— Ты не дури. Хозяин не велит принимать чужих лошадей.

— А хрен с ним. Все равно завтра наверняка уедем отсюда.

— Куда?

— Куда хочешь. На все четыре стороны.

— А не врешь? — спросила так, что голос дрогнул и брови разошлись, разгладилось лицо, и даже улыбка заиграла на краешках губ.

— Отворяй! Иль не чуешь? За тобой приехал... Вот соберемся в дорогу, купим чего надо, гульнем и завтра уедем насовсем. И-эх! Нас не выдадут черные кони.— Жадов рассыпал ботинками чечетку.— Отворяй ворота!

— Сейчас хозяйке доложусь, а ты лошадь отвязывай.— Она, как девчонка, засеменила по длинному коридору к избяной двери.

Когда Жадов, оставив телегу на подворье, вводил в конюшню лошадь, Алена кинулась ему помогать:

— Я тебе сенца принесу.

— Кто же будет теперь старое сено жевать?

— А у нас сенцо свежее.

— Где?

— На повети.

Алена проворно полезла по стремянке на поветь. Ее широкий подол сарафана распахнулся, как колокол, и сверху, из-под этого колокола, ударили по глазам Жадова, как световые столбы, мощные белые ноги.

— Подожди меня там! — крикнул Жадов.

— Чего?

— Мне надо тебе что-то сказать.

Он быстро привязал лошадь у кормушки и, пыхтя, как бык у месива, раздувая ноздри, полез на поветь.

— Чего ты? — спросила она с удивлением, глядя на его разгоряченное алчное лицо.

Он, как давеча, стиснул ее за плечи и повалил на сено.

— Господи! Вот ненормальный,— бормотала она, не сопротивляясь.— Увидят же! Что подумают хозяева?

— Ум-м!.. Ффах! — Он тряс головой, мычал и фыркал, распаляясь все больше, как кузнечный горн. И ему было наплевать на всех, кто его увидит, и на все, что о нем подумают.

...Потом долго лежали, притомленные, молчаливые, отрывисто и глубоко дыша, словно лошади после пробежки.

— Значит, завтра уедем? — наконец спросила она.

— Уедем. Сперва на Сенькин кордон. Там ночку отгуляем, простимся с друзьями... И гайда!

— Куда же? В Муром? К Жуку?

— Нет. Жук раскололся.

— Как? Посадили?

— Хуже — он пошел работать в потребкооперацию.— Жадов помолчал, отрешенно глядя вверх, на самый конек.— Обложили его индивидуалкой... Полторы тысячи рубликов приписали. Он и скис.

— А где взять такие деньги? — сочувственно спросила Алена.

— Не в деньгах дело. Деньги — навоз. Где люди обитают — там и деньги накапливаются. Деньги брать он умел... Не в том закорюка.

— И куда ж мы теперь? — затаенно спросила Жадова Алена.

— Двинемся на Пугасово... Продадим там лошадь, а дальше по железке на Орехово. К дяде твоему в гости... Подарков накупим. Надо порадовать человека, заодно и посмотреть — на что он способен. Устроишься на фабрику. А я по задворкам похожу, понюхаю — чем пахнет. Говорят, в Шатуре сейчас весело: народу много. Там ведь недалеко... Поглядим.

После обеда, когда схлынула жара, пошли в торговые ряды. Подымались долго по извилистому пыльному съезду, отороченному короткими толстыми столбами.

— Погоди, дай дух перевести! — часто останавливалась Алена и опиралась на торец аккуратно зачищенного гладкого столба.

— Садись мне на холку — вывезу,— смеялся Жадов и подставлял свой загорелый бычий загорбок.

На площади, над старыми белыми корпусами бывших земских да уездных управ, над высоким крепостным валом носились стрижи и ласточки. В отдалении у самого речного обрыва, застя собой полнеба, стоял громоздкий белый куб уездной тюрьмы с плоской и ржавой крышей, с черными квадратными дырами вместо окон, заплетенными узловатыми, такими же ржавыми, как крыша, решетками.

Над длинной кирпичной стеной уныло маячила одинокая дощатая вышка с часовым в черной фуражке; он смотрел на площадь, опершись на поручни, и зевал. Рядом стояла, прислоненной к столбу, его винтовка с примкнутым штыком.

— А что, Ванька? Давай перейдем площадь, постучимся в ворота. Небось пропустят. Куда еще ехать? Ведь все равно этих ворот не минуешь.

Жадов побледнел и нервно передернул пересохшими губами:

— Дура! Такими словами не шутят.

В торговых рядах под белокаменной аркадой, на исшорканных изразцовых полах было прохладно и глухо, как в подвале. Народу было мало — день будний, к тому же сенокосная пора...

— Ну, чего тебе надо? Выбирай! — говорил Жадов, водя ее вдоль прилавков.

Она взяла темно-синий бостоновый костюм — мечта всех елатомских модниц, подобрала к нему белую батистовую кофточку с шитьем и черные лакированные туфли на высоком каблуке.

— Я теперь как из песни,— радовалась Алена.

— Чего? — не понял Жадов.

— Слыхал песню:

Я одену тебя в темно-синий костюм
И куплю тебе шляпу большую...

— А-а! Сейчас мы сообразим насчет шляпы. Выбирай, пока не передумал,— подталкивал ее Жадов к прилавку с платками и сам удовоenно хмыкал: — Ну, что? Глаза разбежались? Или дух перехватывает?

Из яркого набора ситцевых и сатиновых платков, газовых, атласных, шерстяных, одноцветных — синих и красных, малиновых и небесно-голубых, канареечных, вишневых и черных в крупных разноцветных бутонах свисал один королевский персидский плат, весь перевитый тонкой набивной вязью вихревого рисунка, охваченный шафрановым жаром пылающей расцветки, с длинными черными кистями.

И такой громадный, что не только голову покрыть, кровать двуспальную застелешь. Алена остановилась перед ним как завороженная.

— Понравился? — спросил Жадов.

Она только вздохнула.

— Сколько стоит эта штука? — спросил он продавца, перегнувшись через прилавок и схватив за конец свисающий плат.

— Платок персидский,— строго сказал продавец.— Просьба руками не трогать.

— Сколько стоит, говорю? — грубо окрикнул его Жадов.

— Пойдем, Иван! Пойдем,— сказала Алена, беря Жадова за руку.

— Отойди! — выдернул он руку и опять продавцу: — Ты что, язык проглотил?

— Двести сорок рублей,— ответил тот, чинно поджимая губы.

— Заверни платок! — Жадов вынул из кармана флотских брюк толстую пачку червонцев и, отсчитав нужную сумму, небрежно бросил на прилавок.— Сморчок! Знай, с кем дело имеешь.

А вечером, прихватив с собой Верку, они пошли в трактир. В трактире было пиво, и потому за столиками и возле буфета толкалось много народу. Алена сходила к «самому», который сидел за дощатой перегородкой, выкрашенной в голубой цвет. Через минуту вынесла оттуда круглый столик и поставила его в углу за высоким лопушистым фикусом в кадке. Не успели гости рассесться за столиком, как появился сам хозяин — лысый толстяк в белой куртке с покорным услужливым лицом, скорее похожий на полового, чем на владельца трактира. Извинительно улыбаясь, глядел только на Жадова, как кролик на удава, лепетал:

— Есть свежая стерлядка, судачок, грибки маринованные, тоже свежие...

— Сперва говори, что есть выпить! — сказал Жадов.

— Выпивка у нас известная: значит, рыковка, в розлив и под сургучом, для барышень — кагор и сетское, в бочках.

— Давай бутылку рыковки и графин сетского,— приказал Жадов.— А на закуску — всего самого лучшего, по тарелке. И пива поставку.

— Сейчас принесут!

Хозяин скрылся за дощатой дверью, и тотчас же вынырнул оттуда проворный официант с черными усиками и в такой же белой куртке, он одним махом накрыл на столик белую скатерть и, торопливо оглаживая складки, воровато поглядывал на Алену.

— Очень приятная компания,— изрек наконец.— Уезжаете?

— Тебе чего? — сказал недовольно Жадов.— На свидание пришел или байки рассказывать?

— Поскольку вместе служили...— стушевался тот.— Простое любопытство то есть...

— Не в меру любопытных бьют и плакать не велят. Неси, чего приказано!

— Сей минут,— официанта как ветром сдуло.

Алена прыснула:

— Сейчас на кухне устроит переполох. Повара будут в окошко выглядывать. Вот посмотрите... Все решили, что я брошенная. Мы уж с Веркой в Растяпин собрались податься.

— Ты хоть меня не приплетай,— недовольно отозвалась Верка, покусывая ноготь.— Веселись, потешайся, но меня оставь в покое.

— Ты что сегодня кривишься — или муху съела?

— А мне что, на одной ножке скакать, оттого что ты устроилась?

— Вот ненормальная.

Между тем из раздаточного окна стали выглядывать распаренные физиономии в белых колпаках.

Алена хлопнула в ладоши и засмеялась:

— Ну, что я говорила, что?!

Жадов тоже засмеялся, махнул рукой поварам и крикнул:

— Подходите к столу, водки дам!

Официант принес на подносе отварную стерлядь, жареного судака, нарезанного крупными кусками, белые грибы, колбасу и сыр.

— Ну, девки! — сказал Жадов, наливая им вина.— Давайте помянем наши елатомские малины. Привольная была жизнь, веселая. Дай бог нам в другом месте так пожить.

Алена выпила большую граненую рюмку и опрокинула ее донцем кверху.

— Кто как, а я всем довольная: и на прошлое не в обиде и на будущее в надежде.

— Надеялся волк на кобылу,— сказала хмуро Верка. Она чуть пригубила и отставила на край стола рюмку с вином.

— Ты какая-то ноне прокислая,— сказал Жадов.— Все пузыри губами пускаешь.

— Ее Жук подвел, а мы виноваты,— хохотнула Алена.

— Уж больно ты веселая нонче,— поглядела на нее пристально Верка.— Не рано ль пташечка запела, каб те кошечка не съела.

— Типун тебе на язык! — сказал Жадов.

К ним подсел пожилой и небритый человек с землистым лицом в грязной рубашке, но при галстуке:

— Честь имею представиться,— с трудом пошевелил он языком.— Знаменитого Московского Художественного театра артист Ап... Аптекин.

— Будет тебе представляться, Гаврило,— сказала Алена.— Ты что, или не узнал меня?

— А, пардон! — он поглядел на нее мутными серыми глазами, наморщив высокий лысеющий лоб.— Аленушка-сестриченька? Ты? А это кто? — кивнул на Жадова.— Братец Иванушка или серый волк?

— Хозяина за столом не расспрашивают,— сказал Жадов.— У хозяина просят, что надо. Это что за артист? — спросил Алену.

— Какой он артист! Бывший стряпчий Томилин. Спился. Теперь по деревням ходит да от мужиков жалобы пишет в ЦИК. Они и поят его...

— Простите, мадам... А прежде я был артистом Ап... Аптекиным. С Михал Михалычем Тархановым начинали, да-с. Разрешите за доблестный русский народный флот, красу и гордость революции, осушить бокал из этого жбана? — указал на поставку с пивом.

— Ты артист? — спросил Жадов.

— Так точно.

— Ну вот сперва спой. А мы послушаем.

— Что прикажете?

— Валяй, чего знаешь.

— Судя по вашему требовательному вкусу и красивому воротнику, вам непременно придется по душе песнь о самопряхе, пошедшей за гвардейским командиром в высший свет.

Жадову понравилось замысловатое и вежливое изречение этого мятого пьяницы.

Он кивнул:

— Давай.

Томилин запел слабым хрипловатым голосом:

В ни-изенькой све-е-телке а-а-гоне-е-ек гари-и-ит.

А потом прислонил к губам раструбом кулак и пропищал, как из рожка, высокие ноты.

— Отчего ж ты кулак приставляешь? — спросил Жадов.— Или голосу нет?

— Голос у меня есть, только воздуху не хватает,— ответил Томилин.

— Ладно. Выпей вот,— Жадов налил ему стакан пива.— Накачай в себя воздуху и ступай к другим столам.

Когда Томилин отошел, Жадов попросил Верку:

— Спела бы ты по-настоящему. А то у нас не веселье, а тоска зеленая.

— Нет уж, миленькие дружки мои. У меня тоже, как у Томилина, воздуху не хватает. Видать, я его весь израсходовала раньше. Счастливо вам погулять.— Верка встала и быстро вышла.

— Завидует нам — вот и бесится,— сказала Алена.

— Н-да... Что-то не клеится у нас сегодня. Не совсем весело.

— А я счастлива. Может быть, первый раз в жизни. Налей мне, Иван!

3

Кулек и Сима заночевали в Агишеве у Васи Белоного и приехали в Ермилово только к десяти утра. Там, у Лыкова, их поджидали Кадыков и Бородин.

— Вы какого дьявола? К теще на блины поехали или выполнять оперативное задание? — набросился на милиционеров Кадыков.

— Погодь, погодь,— забормотал Кулек.— Оператив-

ные сроки мы не нарушали. Сказано: к вечеру выехать на кордон. Вот мы и заявились.

— А мне чего делать до вечера? Сидеть и в потолок плевать? Или по воску гадать — где вы? В бочаге уходились или с похмелья дрыхнете? — заорал Кадыков.— Мне ж надо с местной милицией согласовать. Помощь запросить, если вас, обормотов, нету. Не одному ж мне в облаву лезть!

— Да понимаешь, месяц как раз народился. Ну и у татар была ураза,— вступился Вася Белоногий за милиционеров.— Соседи пригласили в гости. Одному мне неудобно идти. И отказываться нехорошо: все ж таки для здешних татар я — советский служащий. А милиционеры, само собой, представители власти. Почет и уважение. Вот мы и задержались на этой уразе.

— У вас там ураза, а мне здесь хоть камаринского пляши... Мать вашу перемать,— длинно выругался Кадыков.

— А где Лыков? — спросил Белоногий.

— Еще ночью ушел на кордон в засаду,— ответил Кадыков.— Сидите здесь... И до пяти часов без моего разрешения никуда не выходить. Даже до ветру. Понятно?!

— Понятно, об чем речь,— ответил разом за всех Вася.

— А я пойду в милицию. Предупредить надо. Не то и они выедут. В потемках еще перестреляем друг друга, в лесу-то.

— А хозяйка далеко? — спросил Вася.

— На огороде.

— Ччерт, хоть кваску попросить. Не то голова трещит и гремит, как пустая бочка, пущенная с горы.

— Не вздумайте тут у меня выпивку устроить! — строго предупредил Кадыков.

— Ну, что ты? Кваску хлебнем — и в самый раз.

Но не успел Кадыков путем от дома отойти, как Вася Белоногий сбегал на огород и послал хозяйку за водкой:

— Настюха, дуй в казенку! Чтоб одна нога здесь — другая там. И квасу там... целое ведро!

— Что вам, голову мыть, квасом-то?

— Огонь заливать будем... унутренний.

— Вон, спустись в погреб. Там с квасом целая кадка стоит. Хоть уходитесь в ней,— сказала хозяйка.

Вася Белоногий принес с огорода целый подол зеле-

ных в пупырышках огурцов да квасу глиняный кувшин. Из печки вынул чугун гороху.

— Ну, ребята, не знаю, как в лесу, а здесь мы вот наедимся и немного погодя такой огонь откроем, что, пожалуй, стекла не выдержат.

Милиционеры были ребята молодые, и Вася Белоногий все подтрунивал над ними:

— Вы как насчет ориентировки? Ночью в лесу работали?

— Нет. А что? — спрашивал Кулек.

— Сейчас узнаем. Как у вас ремни, туго затянуты?

— По-армейски,— бодро отвечал Кулек.— Сколько раз пряжку перекрутишь, столько нарядов вне очереди. На, покрути! Попробуй! — он подставлял брюхо и надувался до красноты.

— Да нет, не эти... Брючные ремни.— Вася задрал у него подол гимнастерки.— Вон, видишь, у тебя даже ремня брючного нет, а в лес собрался.

— У него задница толстая, небось не спадут штаны-то,— сказал Бородин.

— Так-то оно так, а все же это не порядок,— озабоченно заметил Вася Белоногий.

— А в чем дело-то? — спросил опять Кулек.

— Перед Сенькиным кордоном дорога просматривается, значит, свернем в низину, а там болото. Но как болото преодолевается в ночное время?

— Ну как? Брод надо знать. Выбираем направление по створу — и держись прямо,— бодро отвечал Кулек.

— Какой же створ ты увидишь ночью? Да еще в лесном болоте?

— А как же переходить? — таращил глаза Кулек.

— А вот как: затягивают потуже брючные ремни, а сквозь ширинку надувают в штаны воздух. На манер поплавка. И ты идешь по болоту, как в непотопляемом спасательном круге.

— От дает! — закатывался Кулек, как гусак, закидывая голову.

Сима сдержанно улыбался. И по своим повадкам и внешне они сильно разнились. Кулек был горластый, высокий, с покатыми узкими плечами и толстым задом. Когда он восседал на лошади в своем буденновском шлеме со шлыком на макушке, то и в самом деле сильно смахивал на опрокинутый бумажный кулек. На всякие беспорядки кидался, как воробей на мякину, шумел,

размахивал руками, готовый сам ввязаться в драку. Сима, напротив, был аккуратен, держался на расстоянии, точно боялся, что его помнут: «Прошу пройти за мной в отделение милиции». Настоящее имя его Степан Субботин, он был из Сергачева.

В Тиханово пришел в зятья, женился на Капкиной дочери Симе, на такой же тихой, как сам, и незаметной девице с приятными мелкими чертами лица. Оттого и прозвали его Симой. И хотя от Капки он ушел и опять поселился в Сергачеве, но прозвище так и осталось за ним.

Хозяйка принесла две бутылки водки и неловко сунула сдачу Васе в карман.

— А это что такое?—поймал он ее за руку.—Ба! Вещественное доказательство...

Он затолкал ей в карман эти деньги и сказал:

— Запомни, я тебя никуда не посылал, и ты никуда не ходила.

Затем свернул белую сургучную обливку, раскупорил бутылки и всю водку разлил по кружкам и ковшам:

— Выпием не глядя и позабудем.

Водку выпили залпом и запили квасом. Потом принялись за огурцы и горох.

— Первым делом, ребятки, надо подзаправиться,— рассуждал Вася за едой.—Потому как в лес идем. А в лесу, да еще ночью, главное дело—не падать духом, то есть чтобы дух всегда при тебе держался. Пусть эти волки и медведи издаля чуют—с кем они дело имеют.

— Ну, нашим ребятам волки и медведи нипочем,— подхватил Андрей Иванович.—Они по-темному ходили на зверя пострашнее.

— На кого это?—удивился Вася.

— На песиголовца.

— Да не может быть!

— Ей-богу, правда. Да не где-нибудь на задворках, а прямо в селе его брали.

— От дают!—закатывался Кулек.

А Сима улыбался.

— Да где же это? Когда?—спрашивал Вася.

— В марте месяце, когда шинки громили. Наперекосы от меня живет Андрей-слепой с вожаком Иваном. Может, слыхал?

— Милостыню который собирает?

— Ну! Он не только побирается, но и шинок держит.

И вот однажды, на ночь глядя, Кулек и Сима решили его накрыть с водкой, с поличным то есть, как мы теперь Жадова.

— Но-но, говори, да не пробалтывайся! — одернул его Вася Белоногий и оглянулся.

Хозяйки в избе не было. Вася встал, поглядел в окошко и только после того как убедился, что хозяйка в огороде, вернулся к столу.

— Так вот, значит, нагрянули они на ночь глядя к Андрею-слепому с обыском. А того предупредили. Он собрал в мешок всю свою водку с самогонкой пополам и говорит вожаку: «Иван, лезь на чердак и заройся в мякину, там, за боровом. Мотри, мешок под собой держи». Ну, ладно. Эти пришли с обыском, а вожак на чердаке сопит. Поглядели они на полках да под лавками — все пусто. В избе просторно, хоть на телеге катайся — ничего не заденешь. Вышли в сени, Кулек и говорит Симе: «Ты на чердак лезь, а я в подпол спущусь». Полез на чердак Сима — там темно и пусто. Но вроде бы кто-то посапывает. Он с дрожью в голосе: «Кто тут?» Молчание. Что за черт, думает, домовой, что ли, шутит? Протянул руку за боровом пошарить и наткнулся на щетину вожака. Тот голову сроду не моет и не чешет, а волосья у него — что у того полкана, напороться об них можно. «Кто здесь?» А вожак с перепугу слова сказать не может, только зубами стучит. Тут наш Сима как заорет: «Песиголовец!» Да с чердака топором — чуть голову не сломал.

— А я в подполе был. Кы-ык он грохнется об пол. Я думаю: что такое? Или ступа упала? — осклабился Кулек.

Сима только сладенько улыбался и блаженно покачивал головой.

Когда Кадыков пришел из милиции, его боевые соратники вповалку валялись на полу, подстелив под головы хозяйские шубняки и фуфайки. На всю избу гремел затяжной богатырский храп. Зиновий Тимофеевич потолкал в мягкое место сапогом одного за другим — всех подряд, но никто даже не промычал.

— Хряки вы, хряки и есть.

Плюнул, выругался и полез на поветь спать, наказав хозяйке разбудить его в четыре часа пополудни.

Между тем Герасим Лыков лежал на лесном холме недалеко от Сенькина кордона, кормил комаров и матерился от бессилия. Местечко он выбрал удобное — отсюда, из-под могучей поваленной сосны, хорошо про-

сматривались обе дороги, ведущие к кордону. И Сенькин запасник виден был — небольшая бревенчатая избушка, стоявшая на склоне озера на месте бывших тырлов.

Какой лес мощный, какая сила прет из земли, думал Герасим, глядя на молодую зачащенную урему, идущую сразу от озера и до самого извилистого русла Чертанки, мелкого притока Оки.

Всего двенадцать лет назад, на его памяти еще, здесь были такие клеверища и сеяные травы, что падай с разбегу — не ушибешься. Как в перину хлястнешься и уснешь без подушки. А теперь такая чертова прорва поперла — все заросло, и плюнуть негде: ольха, береза, осина, рябинник, чернотал, да еще хмелем перевито все и буйным вьюнком с горькой волчьей ягодой. Вот что поджидает всю нашу землю матушку-кормилицу. Чуть прозевал, и глядишь — вместо ели да сосны паршивая ольха, а вместо клевера — ядовитые бусинки волчьей ягоды.

Нет, не за страх и преданность перед Васей Белоногим лежал здесь по-медвежьи Герасим и кормил своей кровью комаров; его мучила и жгла лютая ненависть ко всякому ворью, к этому людскому черноталу, глушащему, по его разумению, добрые побеги. Если им дать волю, запсеем, сами в ворье превратимся, из горла будем рвать друг у друга последний кусок. Вот до чего дойдем, если не дать им окорот.

Он лежал и радовался, что удачное местечко выбрал, что всех он видит, как архангел Гавриил, только меча разящего нету у него. Не то бы он всем этим живоглотам башки посносил, не дожидаясь милиции. Он видел, как привез из Ермилова Сенька Кнут жадовские пожитки, потом — как приехали лесник Кочкин с каким-то лысым мужиком, привезли живого барана; видел, как ходил дважды Сенька в избушку на бывших тырлах и подолгу там оставался; потом в эту избушку ходил тот приезжий, лысый, и тоже долго не выходил оттуда. «Чего они там делают? — думал Герасим.— Клад у них там, что ли?» Ему хотелось переползти туда, заглянуть, но он боялся выдать себя. Они с меня здесь с живого шкуру спустят, и никто не увидит и не услышит.

Главное, ему надо было выследить Жадова, узнать — с кем он приедет? И на чем? Если на рыжей кобыле, то сыматься ему немедленно и бежать по ермиловской дороге навстречу милицейскому разъезду.

Жадов приехал только под вечер, когда спала жара и на озере закрякали, захлопали крыльями дикие утки, выплывшие на кормежку из камышей. В тарантасе вместе с Жадовым сидела наряженная девица с целой копной белых волос.

В упряжке была рыжая кобыла, в яблоках, та самая, которую видел он в Елатьме.

Герасим вылез из своего укрытия, пробрался частым ельником до дороги и побежал без оглядки в Ермилово. Когда он собирался ночью в засаду, Кадыков предложил ему ехать на лошади.

— А где я ее спрячу?—возразил он.— Во-первых, ее кумары заедят. И потом, она заиржать может—выдаст меня с головой.

И какая лошадь смогла выдержать эту засаду? Медведь и то бы не улежал, посмеивался Лыков и трюхал по дороге. Был он невысок, плотен, с мощными неугомонными ногами. Бегал хорошо. Бегать наперегонки—было его слабостью. В каком бы обозе ни шел, с кем бы ни повстречался на попутной дороге, обязательно предложит:

— Давай наперегонки! Вот до того столба чесанем? Ударим по рукам, на кисет? А?!

С воза спрыгнет, лошадь остановит, а побежит перегоняться. Лишь бы охотник нашелся. Да об заклад бы побились. А там, хоть на что—на кисет, на кепку, на рукавицы... Ну, чесанем? Во-он до того столба!

С милицейским разъездом встретился он в трех верстах от кордона. Его окликнул Кулек из-за толстой сосны.

— Стой! Ваши документы?—и высунул ухмыляющуюся рожу.

— А где Кадыков?—спросил Герасим.

— Вон там, все в чаще хоронятся.

Из густого подлеска—зарослей черемухи да жимолости вышел Кадыков, за ним остальные гуськом. У Бородина и Белоногого за плечами торчали ружья.

— Ну, что там, на кордоне? Рассказывай!—приказал Кадыков.

— Все в сборе, то есть пять человек: четверо мужиков и одна девка,—торопливо доложил Герасим.

— Жадов приехал?

— Только что... то есть, когда я убег. На рыжей кобыле, с девкой.

— Кто убег с девкой, ты?

— Какой я? Жадов, говорю.

— Перестань! — цыкнул на Белоногого Кадыков и Герасиму: — А еще кто?

— Значит, Сенька Кнут, лесник Кочкин и какой-то лысый... так, среднего роста.

— Понятно, — сказал Кадыков. — Чего делают?

— Барана привезли. Варят перед домом. Кто у костра сидит, кто на тырлы ушел, в избушку возле озера.

— Тьфу, дьявол! Заметят издаля — могут разбежаться, — сказал Белоногий.

— Догоним! Куда они денутся? Чай, не зайцы, — возразил Бородин.

Кадыков пожевал губами, почесал подбородок:

— Надо двигаться. Не то вдруг возьмут да разъедутся.

— Куда они разъедутся? Лишь бы не спугнуть. Их теперь от казана с мясом на веревках не утащишь. Подождем немного: соберутся они все у стола, выпьют как следует... Тогда им море по колено. Вот мы и нагрянем в гости. Всех сразу и возьмем, кучей, — говорил Вася.

— Ладно, поехали! А там поглядим, что делать. По коням!

— А мне куда? — спросил Герасим.

— За нами пойдешь, пешой. Мы потихоньку поедем.

Дальше поехали с такой осторожностью, словно под ногами были кочки и болота. Впереди, припадая на луку, вытягивая шею, ехал Кадыков с таким выражением лица, будто к чему-то принюхивался и никак не мог определить — чем это пахнет? За ним, мерно покачиваясь, поглядывая в разные стороны, ехали остальные. Замыкал эту настороженную кавалькаду всадников топотавший в широких разношенных лаптях Герасим Лыков; его неопределенного цвета выгоревшая куртка потемнела на спине от пота и болталась понизу, как помятый мешок.

В лесу было торжественно и тихо, сосны на песчаных гривах стояли строго и прямо, как свечи, чуть тронутые сверху багряным отсветом закатного солнца; а из темных лесных падей, понизу, у выпирающих горбатых корневищ текли и путались в переплетении мягких ветвей жимолости и лещины сизые языки вечернего тумана. Невнятно, издалека, как с того света, доносился одинокий и сдавленный крик дятла-желны:

«Уа-ак! Уа-ак! Уа-ак!» Словно безнадежно и устало плакал потерявшийся ребенок.

К Сенькину кордону подошли еще засветло. Лошадей оставили в придорожных лесных зарослях.

— Герасим, останешься здесь,— приказал Кадыков Лыкову.— И что бы ни случилось — ни шагу от них, понял? Если кто кинется к лошадям с кордона, кричи нам.

— Сморчков, а ты давай низом,— обернулся он к Кульку.— Чеши той чащей, к озеру. Там есть избушка — бывшие тырлы. Так я говорю? — спросил Белоногого.

— Так точно! — упредил Васю Герасим Лыков.— Избушка на тырлах.

— Вот эту самую избушку обследуй. И заляжешь там. В случае чего — сигналь выстрелом.

Подождав, пока Кулек, по-медвежьи ломая валежник, скрылся в чаще, Кадыков спросил:

— Собаки есть на кордоне?

— Нет собак,— ответил Герасим.

— Странно, лесной кордон — и нет собак,— сказал Бородин.

— А это — верный признак воровской малины,— пояснил Вася Белоногий.— Там, где собираются волки, собакам делать нечего. Еще не вовремя шум подымут.

— Ну, ребята, с богом... пошли!

К дому зашли со стороны сарая, чтобы из окон не увидели. Перед заплотом догорал костер; на треноге висел, пуская пары, прокопченный чайник. Второй крючок болтался пустым, значит, котел с мясом сняли.

Кадыков, прижимаясь к стенке сарая, а потом к высокому бревенчатому заплоту, быстро продвигался к дому. За ним, растянувшись, топали остальные. На крыльцо поднялись все вместе и толкнули дверь. Было заперто. Кадыков забарабанил щеколдой. Изнутри послышался скрип растворяемой избяной двери, хлябанье жидких сенных половиц. Наконец раздался отрывистый голос Жадова:

— Кто здесь?

— Отворяй! — сказал Кадыков.

— У нас все дома.

— А я говорю — отвори дверь! Милиция, понял?

Молчание... Кадыков и Вася Белоногий дружно налегли на дверь, она затрещала и затряслась.

— Открывай, слышишь!! Или высадим дверь...

Вдруг в сенях гулко грохнул выстрел, как будто в пустое ведро выстрелили.

— Кто сунется в дом — на пороге уложу! — крикнул из сеней Жадов.

— Брось дурить! — сказал Кадыков.— Добровольно не сдадитесь — выкурим, как пчел.

В сенях еще раз стрельнули, на этот раз в дверь — пуля пробила доску и, зудя как шмель, улетела в лес.

Все шарахнулись от двери, попрыгали с крыльца под надежную бревенчатую стенку заплота.

— Бородин, давай вдоль сарая на задворки! Там станешь за сосной... И замри! — шипел Кадыков.— Гляди, кабы кто вдоль сарая не ушел.

— А ты, Василий! — обернулся он к Белоногому.— Ползи вдоль завалинки под окнами, за угол. Возьмешь под надзор тыльную сторону. А мы вместе с Субботиным будем стрелять по окнам. Никуда они не денутся. Ну, марш!

Бородин и Белоногий поползли на свои места, а Кадыков наудалую выстрелил из нагана в ближнее окно. Раздался звон осыпающегося стекла. Изнутри не ответили.

Кадыков вытащил из-под крыльца слегу и сказал Субботину:

— Шуруй в разбитое окно слегой... сбоку! А я под прицел возьму. Авось кто-нибудь высунется.

Субботин схватил слегу и бросился на крыльцо.

— Куда ты, дура? — остановил его Кадыков.— Я ж говорю — сбоку! Сбоку надо.

Вдруг издаля, от невидимого озера, куда был послан Кулек, раздался выстрел.

— Субботин, кинь жердь! Ползи под окнами,— сказал Кадыков.— Ползи! Я буду начеку. Прикрою, ежели что. Главное, давай на тырлы, к Сморчкову. У него нужда...

Андрей Иванович тем временем стоял за шершавой теплой сосной, навалясь на нее плечом и опустив ружье стволами книзу. Он напряженно глядел на отдаленную избу, на бревенчатый заплот, под которым лежал Кадыков, на тыльную сторону сарая с соломенной крышей. Вот грохнул отдаленный выстрел — Кулек, должно быть, сигнал подал. Прополз вдоль завалины Сима и растворился в высокой траве.

Все опять затихло. Андрей Иванович начал было подумывать — а не пойти ли ему до Кадыкова, не подска-

зать ли: пора, мол, выкуривать их. Что ж мы, так и будем всю ночь стеречь? Много чести! Ежели они сами стрелять начали, так какого хрена медлить? Поджечь это воровское гнездо.

Он не заметил, не услыхал, как Жадов с поветей прокопал соломенную крышу, как вылез оттуда на сарай...

Они увидели друг друга одновременно: Жадов глядел на него с крыши сарая, Бородин — из-за сосны. Глядели в недоумении, минутной растерянности. Жадов был во флотской блузке с синим воротником, в левой руке он держал, опустив к бедру, наган, правой рукой из-за пазухи вынимал другой наган. Стояли, как дуэлянты, возле своих барьеров и смотрели друг на друга...

Первым выстрелил Жадов из правого нагана; пуля вжикнула возле самой щеки Андрея Ивановича и щелкнула в сосну. Потом выстрелил Бородин, стрелял навскидку, как по набегающему медведю; Жадов как-то неловко шагнул вниз по крыше, подогнув колени, выронил оба нагана и, не хоронясь, ударился с маху лицом об солому, потом покатился, раскидывая руки, и глухо шлепнулся наземь, как мешок с песком. Андрей Иванович успел заметить, как быстро расплывалось темное пятно на полосатой тельняшке, на воротнике, на груди Жадова.

Тотчас же с грохотом растворилась дверь, и на крыльцо выскочила в белой кофточке с непокрытой головой Алена.

— Стой! Ни с места! — крикнул на нее Кадыков.

Но она, вытаращив глаза, подняв кверху руки, точно полоумная, со словами: «Где Иван?» — бросилась на зады. Увидев под сараем лежащего с запрокинутым лицом Жадова, она с пронзительным воплем: «Убили, злодеи!.. Проклятые изверги!» — бросилась, накрыла его своим телом и забилась в бессвязном вопле, заводила, затрясла головой.

Кадыков, пытавшийся было поднять Алену, увидев, как на крыльцо вышли Сенька Кнут, Кочкин и Лысый с поднятыми руками, подбежал к ним.

— Где остальные?

— Все тут,— ответил Кнут.

— А кто на тырлах? Кто там стрелял?

— Наверное, ваши храбрецы... Лягушку за разбойника приняли,— изрек Лысый.

— Молчать! — заорал на него Кадыков.— Отойти в

сторону! И без моей команды никуда не двигаться. Поняли? Бородин, обыщите избу и двор!

Андрей Иванович, осторожно ступая, поводя в стороны стволами заряженного ружья, прошел в избу,— там было пусто, лишь на столе в жаровне дымилось еще горячее мясо да стояла четверть водки. Во дворе он увидел свою Веселку; она была привязана возле тарантаса и ела свежескошенную траву.

— Веселка, Веселка!— позвал он ее.

Она подняла голову, фыркнула и вдруг, раздувая ноздри, поводя ушами, тихо утробно заржала.

— Узнала! Эх, мать твоя тетенька!..

Бородин приставил ружье к забору, подошел к лошади и трясущимися руками стал развязывать повод. Затянутый узел сыромятного ремня никак не поддавался. Бородин нагнулся к облучку, за который была привязана лошадь, попытался зубом захватить узел, но не мог— зубы плясали и щелкали как на морозе и судорожно сводило губы. Он кинул повод, махнул рукой и, всхлипнув, уткнулся лицом в лошадиную гриву.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Сенечка Зенин понимал, что Мария набросилась на него, заручившись поддержкой Тяпина. Идти к тому вторично было бесполезно: Тяпин не любил его, да и Сенечка не больно ломал перед ним шапку. В районе были козыри и повыше. Так что, если идти на поклон, то уж не к Тяпину. Подумаешь— гусь с горы. Давно ли вылез из двухоконной избушки, а теперь морду воротит.

За каких-нибудь три года уже здесь, в Тиханове, при Сенечке, Тяпин превратился из Митьки-Сверчка в Митрофана Ефимовича. В ту пору Сенечка начинал свою первую учительскую зиму. Вместе с гармошкой-хромкой он привез в фанерном бауле шевровые сапожки, зеленый змеистый галстук в косую красную полоску да пупырчатую кепку-восьмиклинку. Думал— королем пойдет по Тиханову. Кудри завил у парикмахера. А его в клубе на смех подняли: «Эй, баран с гармонией, сыграй вальс «Кошачьи слезы»!»

Он играл назло: «Ты, Настасья, ты, Настасья, отворика ворота...»— и делал неприличные жесты. Его дважды

побили. В отместку он перестал ходить на вечеринки, играл только на свадьбах за деньги. Его окрестили шаромыжником. Тогда он продал гармонь и купил ксилофон. На престольный праздник покров день он поставил ксилофон перед школой, недалеко от церкви, а в самый разгар службы ударил молоточками по ксилофону и запел антирелигиозные частушки: «Долой, долой монахов! Долой, долой попов!..»

Сбежалось полсела зевак на эту диковину, ребятишки полезли на забор, столбы не выдержали, ограда рухнула и зашибла двух человек. Их отвезли в больницу, а Сенечку прозвали членовредителем. Где бы он ни появился, на него указывали рукой и говорили: «Ты думаешь это учитель? Это членовредитель...»

И над кепкой его пупырчатой смеялись: «Ребята, вон гриб мухомор на двух ногах торчит». Зимой здесь кепок не носили. У фартовых ребят были пуховые шляпы, а то и бобровая шапка на ином. Но всех перефасонил в ту зиму механик из казанского затона Митька-Сверчок. Он ходил с непокрытой головой, в зеленой бекеше, отороченной кенгуровым мехом, и в белом кашне навыпуск — один конец спереди свисал до самого пупа, другой сзади. Как выяснилось потом, он только представлялся механиком, а на самом деле был всего лишь помощником механика, но бегали за ним тихановские ребята, что за твоим капитаном. Что за чудо! И жил он на самом краю Тиханова в подслеповатой семиаршинной избушке, и мать его прозывали в насмешку Красивой за отечное, чугунного цвета лицо. Пересказывали, как она вместе со своей сестрой Сметаной на пересменках носила в Степановскую больницу горшком на себе отца, Кузю-Сверчка, деда Тяпина. «Махонький был Кузя-то, одна и слава, что голова большая. Я вам, говорит, девки, голову-то на плечо положу, а ноги у меня усохли... и все остальное. Там и тащить нечего. Лошади в лугах были. А он жаром исходит... Что делать? Понесли на себе... Сметана до Сергачева на закорках несла, а Красивая — дальше, до самого Степанова. И назад принесли. Дотемна управились...»

По всем расчетам, над Митькой-Сверчком должны бы смеяться. А его завеличали — Митрофан Ефимович! Сперва в ячейку избрали секретарем, потом продвинули в волость... А теперь он в районе голова всему комсомолу. Сенечка так себе объяснял это загадочное возвышение

Тяпина: есть люди, которым тяготение к отдаленным мыслям и внутреннему переустройству не знакомо. Они ухватывают только то, что им говорят, но пропускают мимо ушей — что подразумевается. У них один лозунг — навались, пока видно! А что делать в темноте — не знают. Этот Митрофан умел крикнуть: «Ребята, дороги мостить!» И сам в гати лез с хворостом. Его и заметили, продвинули. Ну и что? Дороги-то мостить и дурак сумеет. А ты попробуй определи — где выбоины будут? Ничего, Митрофан Ефимович, поглядим еще, кто на крутых поворотах вперед уедет, а кто и в канаву свалится.

Он дождался возвращения из округа Возвышаева и утречком, пораньше, смиренно поджидал его на просиженном диване возле Банчихи. Никанор Степанович громко поздоровался с Сенечкой:

— Привет передовой комсомолии! Ну, комса, по какому вопросу?

— Вопрос, Никанор Степанович, всеобщий,— о классовой борьбе и ее отклонениях.

Сенечка, с одной стороны, как бы с почтением наклонил голову, с другой стороны, нахмурился, придавая лицу своему выражение озабоченное и скорбное. Возвышаев тоже нахмурился и, в широком отмахе указав ладонью на дверь, решительно произнес:

— Прошу проследовать!

В кабинете Сенечка вынул из бокового кармана двойной тетрадный листок, аккуратно обернутый газетой, и протянул его Возвышаеву:

— Это копия моего донесения на имя бюро. Отчет о поездке в Гордеево и Веретье. Я хочу, чтобы вы познакомились с ним заранее.

— Гм,— Возвышаев со значением посмотрел на Сенечку, но листок взял и прочел.

— Очень правильно сделали! — Возвышаев не пояснил — что правильно? То, что он сделал там, в Гордееве, или то, что передал ему копию донесения. Но лицом подобрел, пригласил Сенечку сесть в кожаное кресло и даже улыбнулся.

Сенечка хоть и присел в кресло, но на самый краешек, да еще подавшись туловищем к Возвышаеву, как бы подчеркивая всем существом своим, что не беседовать на равных он пришел сюда, а выслушать дельный совет, в любую минуту может встать и двинуться в том направлении, куда ему укажут.

— Мы живем в такое время, когда нас призывают к действию, а некоторые товарищи упираются обеими руками и ногами, как парнокопытные животные.

— Не только упираются, дорогой товарищ,— с чувством отозвался Возвышаев.— Более того, толкают нас в сторону и под уклон. А этот уклон называется правым.

— На стихию работают,— со вздохом подтвердил Сенечка.

Возвышаев встал, крупно зашагал по комнате и, глядя себе под ноги, сердито рассуждал:

— Советская власть дала нам всеобщее право жить в братском равенстве и отвечать друг за друга. Поэтому все эти подоходные налоги, индивидуальные обложения есть повестка на приглашение — стать в строй. Идти не к личному обогащению, а всеобщему.

— Правильно, Никанор Степанович! У нас не мирное прозябание, а культурная революция, как сказал поэт.

— Хорошо мыслишь, комса, хорошо! Побольше бы нам таких горячих сторонников.

— А вы действуйте смелее. Пора ударить по кулаку и по всей этой зажиточной сволочи.

— Но, но, не забывайтесь. На все есть установленные сроки и свои приказы. Раз приказа нет, сиди и жди. Но готовиться к этому нужно.

Возвышаев сел за стол и как-то неожиданно спросил:

— Вы член партии?

— Кандидат.

— Тоже неплохо. С каким стажем?

— Да уж на второй год перевалил.

— Пора в члены переходить... Инициативные товарищи нам нужны. Местная низовая партячейка, прямо скажем, плетется в хвосте событий...— Возвышаев одним глазом смерил Сенечку, другим уперся в его донесение, лежащее на столе.— А что, не засиделись ли вы на комсомольской работе?

— Так ведь наше дело известное — где бы ты ни находился, а держи четкую пролетарскую линию в повседневной работе,— уклончиво ответил Сенечка.

— Верно! А если сказать конкрекно,— на последнем слове Возвышаев словно споткнулся, и Сенечка уловил это «конкрекно»,— то теперешняя пролетарская линия заключается в том, чтобы ни одно кулацкое хозяйство не ускользнуло от индивидуального обложения.

— Действовать конкрекно,— повторил Сенечка,—

значит привлечь бедноту к выявлению кулацких хозяйств. Так я вас понимаю?

— Именно! Вы который год у нас в Тиханове?

— Четвертый пошел.

— Срок подходящий. Местное население, надеюсь, знаете?

— Как не знать! Я ведь учитель — вроде попа по дворам хожу...

— Ну да, в целях, так сказать, культурного переворота... революции то есть. Родственники есть?

— Какие у меня родственники? Я же ведь из детдома.

— Да, да... я припоминаю... Мы вас в школу определяли... Еще в волости. Значит, вы безродный?

— Безродный.

— Это хорошо. Объективная мера действия и никаких материальных оснований.— Возвышаев глянул на Сенечкино донесение, прочел в конце его подпись и в скобках полное имя-отчество.— Вот так, Семен Васильевич... А как вы на это посмотрите, если мы предложим вам поработать секретарем местной партячейки?

— Но секретарем работает Кадыков. Как-то неловко,— Сенечка приподнял плечи и широко развел руками.

— Он уходит... В Пантюхино переезжает.

— Ну, если он уходит, тогда другой оборот.— Внутри у Сенечки все ликовало, но он смиренно глядел себе под ноги и тихо шевелил носками.

— Там выберут тебя или нет... Я надеюсь, конечно, что выберут.

— Никанор Степанович, я всегда готов...

— Обожди, не перебивай! Обстановку готовить надо теперь. Среду прояснять. С массой работать. А то получится вон как на гордеевском активе. Собрались выявить кандидатуры на индивидуальное обложение, а проголосовали против.

— Ну, в Тиханове этот номер не пройдет,— Сенечка шумно вздохнул и покрутил головой.

— Это легко сказать... В сельских учетных комиссиях есть зажиточные элементы. И они пользуются влиянием в народе.

— В таком случае их не надо привлекать,— спокойно возразил Сенечка.

— Они же члены комиссий, голова два уха! Как ты их не привлечешь? Сначала их исключить надо.

— Да не членов комиссии,— мягко пояснил Сенеч-

ка.— Сами комиссии не нужно привлекать. Да, да. Комиссии в полном составе.

— Как? Без комсода начислять хлебопоставки и обложения?

— Ну и что? Поручить это активу бедноты да партячейке. Проще будет.

Возвышаев с удивлением поглядел на Сенечку, словно впервые видел его,— тот сидел, коленки вместе, носки врозь, по команде смирно, и тоже глядел на Возвышаева с детским простодушием — чему тут удивляться-то? — будто спрашивал он.— Это ж ясно само собой. Вот как дважды два — четыре.

— Я согласен. А теперь слушайте меня: встретьтесь с активистами из бедноты с глазу на глаз... Кандидатов сами подберите. И потолкуйте с ними. Подготовьте их насчет выявления хозяйств к индивидуальному обложению. Вы меня поняли?

Сенечка кивнул головой:

— То есть прикинуть, кого именно, и неплохо бы список составить. Я имею в виду обложенцев.

— Именно, именно,— подтвердил Возвышаев.

Сенечка вышел из РИКа окрыленным. Ну, что вы теперь скажете, Андрей Иванович и Митрофан Ефимович? Да, Зенин — Сенечка! Да, он в лаптях гармонь носил менять. Да, его били и в передний угол не сажали! Он что же — глупее вас?

Он зашел в магазин, отозвал из-за прилавка Зинку и шепнул ей на ухо:

— Есть предложение устроить нынче вечером уразуалямс. Так что не заговаривайся тут...

— Сеня, милый! Я — одна нога здесь, другая — там.

Сенечка сбегал к Левке Головастому в сельсовет, переписал всех лишенцев — держателей патента на заведения и торговлю, да от себя еще двух добавил. И получилось шестнадцать человек. Вот вам и кандидаты на обложение. Потом спросил: по скольку излишков сена начисляли в прошлом году? «И по десять пудов и по двадцать,— отвечал Левка,— это смотря по едокам».— «Так как налог у нас прогрессивный, излишки тоже должны начисляться в геометрической прогрессии»,— изрек Сенечка. Левка не понял, что такое «геометрическая прогрессия», но согласно кивнул головой: «Это уж само собой».

Пригласил Сенечка к себе в гости Якушу Ротастенько-

го и Ванятку Бородина. Выбрал их в собеседники Сенечка не случайно,— Якуша был не просто бедняком-активистом, но еще и членом сельсовета, а Ванятка на все Тиханово славится своей честностью и прямотой. Недаром фондовый хлеб и семена для сортоучастка Кречев доверил хранить в первую очередь Ванятке. К тому же он был партийный, умел не только повеселить народ, но и вдарить словом, как свинчаткой. Да и Зинка хорошо знала его и доверяла. На этот счет у Сенечки было особое соображение.

Он купил литровку рыковки, да килограмм копченой селедки, да у Пашки Долбача штуку колбасы, сам нажарил картошки на тагане, отварил яйца и даже самовар поставил.

Зинка прибежала домой возбужденной от любопытства и спросила, не успев дверь за собой притворить:

— Сень, куда тебя повысили?

— На кудыкины горы. Ты бы еще с улицы крикнула.

— А что, это секрет?

— Нет, ступай скажи Матрене Кривобокой. Она семи кобелям на хвост навяжет.

— Ну вот, у тебя всегда одно и то же: секреты и намеки.— Зинка сняла красную шелковую косыночку, взбила рукой навитые железными щипцами мелкие кудряшки, прошла к столу.— А между прочим, от жены секретов не бывает.

Она потянулась к нему целоваться.

Но Сенечка подал ей белую скатерть (из Зинкиной корзины достал) и приказал:

— Накрывай!

Потом, нарезая в тарелки колбасу и селедку, сказал нравоучительно:

— И когда ты, Зина, бросишь эти мещанские замашки и понятия? Уходишь на работу — целоваться лезешь, с работы приходишь — тебе вынь да положь, где был, отчитайся — что без тебя делал, с кем виделся? А как же? Я, мол, жена... А между прочим, жена есть понятие старорежимное. Это понятие сковывает свободные отношения в равноправной любви. Дружба превыше любого брачного союза. А если мы друзья, то и веди себя с достоинством — никогда не выпытывай, а располагай к себе доверие.

— Ну ладно, ладно! — Зинка потупилась, разгоняя рукой складки на скатерти.— Я знаю — ты образованный,

умный, и взгляды у тебя передовые, и живешь правильно. Ну, так научи! Ты же обещал меня учить, когда уговаривал пожениться...— Она подняла голову и смотрела на него с легкой растерянностью.

Сенечка улыбнулся:

— Ну, ну... Не обижайся,— подошел и поцеловал ее в губы.

Зинка обхватила его за шею, шумно вздохнула:

— Тебя не поймешь, то целоваться не велишь, то сам лезешь.

— Это я любовь твою испытываю.

— Глупый! Чего меня испытывать. Кабы я не любила, не пошла бы самоходкой.

— Опять ты это гадкое словцо...

— Да ну тебя. Возьму вот сейчас и задушу!

— Эй-эй! Тише! Ты и в самом деле задушишь,— Сенечка попытался выскользнуть из мощных Зинкиных объятий.

— Не пущу! Говори, ну!—она все сильнее прижималась к нему разгоряченным телом.

— Да постой же! Люди придут, а мы тут с тобой черт-те чем занимаемся,— рассердился Сенечка.— Сядь!

Зинка нехотя присела, глядела на него в ожидании, как ребенок, у которого на время отняли любимую игрушку.

Сенечка оправил рубаху, плеснул в стакан водки, выпил и понюхал хлеб:

— Меня Возвышаев вызывал.

— Ну?

— Просил меня взять партячейку... Секретарем поработать.

— Согласился?—она приподнялась на локте.

— Сказал, что посоветуюсь с женой.

— Вот глупый! Чего тут советоваться?

— Есть одно соображение...

— Ты в самом деле решил со мной посоветоваться?— она поднялась с табуретки.

— А ты как думала?

— Сенечка, милый! А я такая дура... Ведь я подумала...—она опять кинулась к нему.

— Но, но! Давай на расстоянии. Садись! Что ж ты подумала? Что я тебя ни во что ставлю?

— Не обижайся... Но мне казалось, что ты в политику меня никогда не пустишь.

— А я вот хочу пригласить тебя на заседание бедняцкого актива.

— А что я должна делать?

— Выступить. Ты в дь хочешь быть моим другом. А друзья познаются в борьбе. Мы живем в такое время, когда борьба есть любовь и жизнь. И даже в песне поется: «И вся-то наша жизнь есть борьба».

— А что я должна сказать на активе?

— Надо показать пример высокой сознательности. На этом активе будут обкладывать кулаков налогом. А все прочие середняки должны внести излишки... Я надела не имею. А твой земельный пай остался у Бородиных. Вот и скажи, что сдаешь свое сено, как излишки, государству. Мы это запишем и потребуем с Бородина.

— Но ведь я жила у них... Они кормили меня.

— Что значит кормили? Ты не иждивенец, а полноправный рабочий человек. Да если разобраться, они попросту эксплуатировали тебя. Кто с ребятишками нянчился? Ты! Кто белье полоскал на пруду? Ты! Кто картошку копать? Ты! Сено согребать? Опять ты! А в гимназию отдавали небось не тебя, а Марию. Она, видите ли, талант. А у тебя, мол, способностей не хватило? Выдумки! Клевета!!

Зинка закрылась рукавом и всхлипнула.

А Сенечка еще на носках приподнялся, пальцем покрутил, и голос его звенел высоко и гневно:

— Каждый хозяин что-нибудь да придумает, лишь бы удержать возле себя работника. Почему они все против твоего замужества? Да потому, что от них работник уходил забитый и безропотный. И сестрица твоя хороша. Вместо того чтобы раскрыть глаза человеку на мир свободной, счастливой и новой жизни, она умышленно удерживала тебя в путах домашних предрассудков. И это называется комсомольский вожак? Пособник домостроевщины, вот кто она такая.

— Надюша тоже хороша,— сказала Зинка, вытирая рукавом глаза.— Обещала мне подарить куний воротник на шубу, но подарила Маше на шапку. А мне сунули смушковый, серый. И козий мех пошел Маше. Небось Машу к проруби белье полоскать не посылали. Как что, так: Зиночка, милая, сходи, выстирай. И картошку ворочать она не станет, и в луга не поедет. Все Зинка да Зинка.

— И ты еще с ними церемонишься! Да я бы весь пай забрал.

— Как ты его заберешь? Это ж земля!

— Земля государству перейдет. А сено отдай! Хлеб, зерно — все отдай! Солому, полову, мякину и ту забрал бы. Так что нечего церемониться, выступишь.

— Ты прав, конечно. Но все-таки я не могу... Встать эдак вот и сказать: Андрей Иванович, отдай мое сено?

— Темный ты человек, Зина. Это ж проформа. Бородин все равно обязан сдать излишки. И никуда он не отвертится. А в данном случае ты сама проявляешь инициативу. Отдаешь свое сено. И Бородину легче будет расстаться с такими излишками.

— А сколько сена?

— Сто пятьдесят пудов.

— Так много? Это ж на целую корову хватит.

— А что ж ты думаешь, крохи сдавать государству? Пойми ты — актив должен определить, кому сколько сдавать. И что же получится, если члены актива чужих будут обкладывать, а своих щадить, под крылышко брать. Это ж будет самая что ни на есть позорная старорежимная семейственность. В том и заключается передовой комсомольский настрой, чтобы судить всех по совести, то есть свою рубашку первой отдать.

— Нас могут неправильно понять. Осудить...

— А что делать, Зина? Будем терпеть. Но сама рассуди — каково будет мне, будущему секретарю, на первом же активе выгородить, освободить от обложения своего родственника. Да какими же глазами я буду смотреть на людей? Что они скажут мне? Ты хочешь, чтобы я был секретарем, то есть борцом переднего края? Хочешь или нет?

— Хочу.

— Ну тогда выбирай что-нибудь одно: или высокая принципиальность чистой идейности, или заскорузлая выгода родственных отношений.

— Ладно, я согласна с тобой. Только на этом активе выступай сам, говори за меня.

— Дай пожму твою честную, принципиальную руку! А теперь собирай на стол.

— Кто хоть к нам придет?

— Якуша Савкин и Ванятка Бородин.

2

Ванятка Бородин родился в семье, не обремененной хозяйскими заботами. Отец его, Евсей Нечесаный, в отличие от своих братьев — Ивана, да Петра, да Митрия, в погоне за богатством не топтал волжских берегов, не тянул бурлацкой лямки, не бегал по скрипучим сходням Нижегородской да Астраханской пристаней с тяжкими тюками за спиной и в Каспии не хлебал горькой штормовой похлебки; его Баку — спячка на боку, как говаривали про него братья. Не любил Евсей хлопотливой и бойкой жизни на стороне: «Чего я там не видал? — отвечал братьям, соблазнявшим его прелестями вольной жизни.— Мне и тут неплохо».

И в самом деле, жилось ему неплохо: лошадь и корова водились постоянно, сбруя, хоть и наполовину веревочная, была, землю ковырял не спеша. Зато уж погутарить на сходе ли, на базаре или на кулачную выйти, в стенку... тут пятерых отставь, а одного Евсея приставь. И откуда бойкость бралась у него, сила да увертливость? Увидит драку — с воза спрыгнет, соху в борозде оставит и убежит, ввяжется непременно: либо растащит дерущихся, либо сам подерется. Бывало, ребятишки сопливые только грохнут в наличник: «Дядь Евсей, наших бьют!» — за обедом сидит — так ложку бросит, в момент полушубок накинет, рукавицы на руки и помотает: «Игде они? Кому тут жизнь надоела?»

А так смирный был, скотину какую ни на есть пальцем не тронет. Сядет на край телеги, плетется, бывало, в хвосте обоза: «Но, ходися! Но, глядися!» Все мечтал о чем-то. В извоз ли собирается — навертывает онучи на ноги, уж ногу одну в лапоть сунет, оборой захлестнет и вдруг остановится, свесив нечесаную голову, задумается, позабыв про лапти и оборы. «Евсей, ты что, ай уснул?» — крикнет Паранька. «А что тебе?» — «Как что, мерин снулый! Вон люди добрые уже на улицу выезжают. А у тебя и лошадь не запряжена!» — «Поспею. Куда они денутся!» Однажды поехал просо волочить. День был воскресный, на улицах народ праздный. А он ведет себе лошадь в поводу, по обыкновению свесив голову. Возле колодца, на краю села лошадь потянулась пить. Евсей охотно подвел ее, попоил, повел дальше. Борона задела за колоду, постромки были у него веревочные, да еще на узлах. Лошадь дернула, постромки оборвались, борона у колодца осталась, а он

пошел себе в поле. Ребята эту борону затащили ему на крышу. Не обиделся. «Вота, глупые... Пыжились, подымали на такую высоту. Чай, надорваться могли...»

Эта странная смесь дерзкой взрывной силы и одновременно незлобивости да вялой мечтательности была присуща всем Бородиным. Награжден был ей в избытке и единственный сын Евсея.

Ванятка Бородин женился поздно; не повезло ему с действительной службой: кто всего три года, а он пять с лишним лет отбарабанил на Черноморском флоте. Не успел толком оглядеться со службы, как забрили его на войну. А после мировой еще два года гражданской хлебнул.

Вернулся в двадцатом году,— у Евсея и крыша соломенная прохудилась. Отощал совсем старик — годы брали свое.

— Ванька, женись первым делом. Износились мы совсем — вон работник-то наш в борозде падает,— кивала на отца Паранька.— Да и я слепну, нитки в иголку не вздену. Латать портки некому.

— Жениться-то женись, да на ком? — рассуждал Евсей.— Кто теперь в наши хоромы пойдет? От нужды ежели какая...

— Глупые вы люди,— сказал Ванятка.— По теперешним временам все богатство вот где хоронится,— хлопнул себя по лбу.— Говорю вам: кого ни сватайте, а у меня будет в шляпах ходить.

Просватали за него Саньку Рыжую; она хоть носатая да конопатая, но девка справная — одна у матери. И мать ее, Настёна Монахова, портнихой была. Не последний человек в селе. А тетка — кидай выше! — в монашках числилась. Свахой ходила Степанида Колобок, а провожаткой — Надежда Бородина. Ей Санька Рыжая доводилась дальней родственницей — монашка была племянницей бабе Груше-Царице. Надежда и к венцу наряжала Саньку Рыжую: платье белое шерстяное, уваль[1], цветы поверху, букет на груди приколола да еще венок надела, перед алтарем стелили плат белый, на который становились жених с невестой; одежду невестину в церкви держала — шаль и накидку, день был ветреный. И домой их проводила и за стол посадила. А стол-то, стол

---

[1] Уваль (*простореч.*) — вуаль.

Бородины собирали всей коммунией: тут и мясо жареное, и колбаса, и котлеты, и курники, и печенье, а сладкое из свеклы сотворили (сахару не было), варенье из яблок да вишенья наварили — не отличишь,— где он, твой сахар? Поставь его рядом, ты и не глянешь на него!

Поп, отец Иван, отслужил молебен, родителей поздравил, да как глянул на стол: «Ого, говорит, вот это стол! Здесь купца Иголкина посадить не грех. Это что ж у вас за стряпуха, что за мастерица такая?» Есть у нас, мол, старуха-повитуха, сказали бы, да боимся сглазить. А старики-то все провожатке подмигивают... Это ее затея, ее рукомесло... Кажется, всем провожатка угодила: и накормила и спать молодых уложила — постель им разбирала.

А наутро пришла к Евсеевым, с ней никто ни слова,— все отворачиваются и промеж себя шепчутся. Оказывается, молодые заболели. А монашка, приехавшая на свадьбу из Нижнего, успела уж в Сергачево сбегать к ворожее. Та ей и сказала: провожатка виновата. Она! Кто же еще? Известное дело — с нечистой силой путалась, бочажина! Погодите... Это ее печенья да варенья всем нам боком выйдут. Еще неизвестно, что за сласти она туда намешала. А пантюхинская юродивая, прозорливая Наташенька, глядя на провожатку, так и сказала:

— Как увижу неверующего, так у меня глаз задергается, задергается... Нет ли у вас святой водицы? Лицо окропить.

— Кипятком бы тебе брызнуть в бесстыжую рожу-то,— ответила в сердцах Надежда.

— Надежда, ты в нашем доме божьего человека не трогай,— простонала Парань:ка.— Нам и так бог милости не дает. Не то и совсем все прахом пойдет.

Тут и заговорила матросская совесть у Ванятки, он ахнул кулаком об стол, так что вилки с ножами брызнули в стороны:

— Вы что, мать вашу перемать? Человек для вас всю душу выложил, а вы плевать на него! Вон отсюда, кулугурки длиннохвостые! — и вытащил из-за стола монашку с юродивой.

Всю застолицу как ветром сдуло. И свадьба на этом кончилась. А Надежде Ванятка сказал:

— Надя, век твоей доброты не забуду. И жену заставлю уважать тебя. И детям накажу... Мое слово — олово.

И подался матрос Бородин после женитьбы в Донбасс, на шахты. За шляпами поехал, как смеялись в Тиханове. Три года от него не было ни слуху ни духу. На четвертый год приехал партийным в черной фуражке с молоточками. Как снял фуражку, а у него макушка голая.

— Иван, где тебя так вылизали? Или там, под землей, с чертом «картошку копал»?

«Копать картошку» у тихановских драчунов значило — дергать клочья волос.

— Я-то накопал... Вы попробуйте. Моя картошка денег стоит... Не чета вашей, в мундере.

И в самом деле, деньги у него оказались. В скором времени построил он себе новый дом из красного лесу и даже лошадь молодую прикупил. Но, видать, место худое было. Сгорел его дом. И сгорел-то по-чудному. С утра загорелось... Воскресный день был. Уже базар собирался. Люди к заутрене пошли. Ванятка лошадь пригнал с выгона, привязал к плетню, а сам собирался в лес за хворостом. Санька у окна сидела, что-то шила. Вот тебе — народ бежит мимо окон, и все к ним в проулок.

— Спроси-ка, что за оказия,— сказал жене Ванятка.

— Шумят чего-то. Выйди, погляди,— отозвалась та.

Он вышел в сени-то, как дверь раскроет, его жаром так и обдало. Мать ты моя горькая! Горим! Вся крыша на сарае занялась, и огненные языки аж на подворье кидаются. Ванятка вспомнил, что в хлеву у него поросенок остался.

Он растворил ворота — да туда. А поросенок от него. Стой, скотина неразумная... Поджаришься раньше времени. Ну, гонялся за ним, гонялся, аж рубаха на самом затлела. Плюнул, выскочил наружу, а тут уж дом горит. Крыша соломенная была, под глинку покрыли. Она подсохла...

С треском загорелась. Искры шапкой поднялись. Толком и вытащить ничего не успели. Стропила рухнули, и все пнем село. Весь его капитал шахтерский дымом вышел. Кто поджег?

Одни говорили, будто базарников видели под защиткой, от проулка — выпивали да закуривали. Другие намекали — ребятишки, мол, играли на проулке в выбитного, и кто-нибудь залез в защитку покурить. А то и случайный прохожий мог обронить незатушенный окурок. Место бойкое — проулок, шастают люди взад и вперед. Пойди там, разберись.

И переехал Ванятка на новое место в конец села. Авось там повезет. Получил страховку. Собрал кое-как сруб из осиновых бревен, крышу соломенную. А что на страховку сотворишь? Сам окна и двери вязал. Сени из плетня сплел. Двор из жердей... Нагородил чурку на палку. Да и то в долги залез по уши. Вот и мотал соплей на кулак — то в извоз подряжался, то к Лепиле ходил в молотобойцы. Да какие это заработки! На хорошую выпивку и то не хватит. И земли всего четыре едока. А много ли возьмешь с четырех едоков? В город ехать — не подымешься — двое детей, сам четвертый. Оставить их здесь — жить на два дома выгоды нет. Куда ни кинь — все клин.

Вот тут и подвернулась ему счастливая мысль насчет артели. Андрей с Прокопом подхватили, и пошло дело. Три с лишним года — забота с плеч. Ванятка и сам оделся-обулся, и семью одел, и сбрую новую справил, и даже сад рассадил. Мечтал о новом кирпичном доме. Вот тебе, домечтался. Лопнула их артель. Как в песне поется: «...да не долго была благодать». Эх мужики-мужики, все жадность ваша да зарасть мешает жить сообща да в согласии. Одному молотилку жалко, другому жатку, третьему кобылу... А того не понимают, ежели все сложить вместе да по-хозяйски оборот наладить, выгодней дело пойдет.

Как-то в кузницу зашел Андрей Колокольцев. Вспомнили артельное житье-бытье, размечтались... И надумали по осени колхоз сотворить. «Собирайтесь все до кучи, ребята,— сказал Серган.— Я вам каждый день представленье давать буду: кирпичи бить на голове».— «А я вам коров подкую,— сказал Лепило.— Лошадей-то у вас мало — беднота». Ну, посидели, посмеялись да разошлись.

С тайной надеждой шел он к Андрею Ивановичу: поймет он его или нет? Авось отзовется? Авось поддержит? И еще толкала его в спину одна необходимость: узнал он от Сенечки, что на активе впишут Андрею Ивановичу сто пятьдесят пудов излишков сена. И потребует не кто-нибудь, а сама Зинка. Ванятка инда ус прикусил, а потом целый день ворочалась в голове его, словно жернов, каменная мысль — свинья я или не свинья? Помню добро или не помню? Помню! Пошел-таки вечером к Андрею Ивановичу предупредить. А там уж пусть соображает.

Размечтался по дороге. Хорошо бы зажили все одним

колхозом: ни тебе налогов, ни излишков. И добрых людей тревожить не надо.

Все равны, как перед богом. Отвел бы он скотину на общий двор — ни тебе забот, ни хлопот. Уж как-нибудь вдвоем-то с женой заработали они бы и денег и хлеба. Семья маленькая — любота...

У Андрея Ивановича застал он милиционера Симу. Они сидели за бутылкой водки. Самовар на столе сипел, Надежда с Царицей пили чай.

— Чай да сахары! — приветствовал хозяев от порога Ванятка.

— Прямо к столу угодил. Быть тебе богатым... Садись, Иван Евсев! — пригласил его хозяин, пододвигая к столу табуретку,— мы тут со Степаном Никитичем (это про Симу) возвращение кобылы отмечаем. Пей! — Андрей Иванович налил и Ванятке.

Выпили.

— А я ноне приезжаю из лугов, смотрю — лошадь на дворе, под седлом. Вона, гость из Ермилова,— рассказывал Андрей Иванович, кивая на Симу.

— Как из Ермилова? Вроде бы он сергачевский? — спросил Ванятка.

— Неделю дома не был,— ответил Сима.— Дело все разбирали.

— А, с Жадовым! — догадался Ванятка.— Слыхали.

— Не только с Жадовым. Там целая компания.

— А что Жадов?

— Что Жадов. Зарыли,— ответил Сима.

Ванятка мельком взглянул на Андрея Ивановича и ничего не сказал.

— Вот приехал передать Андрею Ивановичу, чтоб съездил в Ермилово, протоколы подписал. С Жадовым кончено. А Лысого забреют как миленького. Получит и он по заслугам.

— Велики ли заслуги? — спросил Ванятка.

— Они ж с Иваном свистуновского ветеринара ухлопали. Их видели в Волчьем овраге братья Мойёровы из Выселок. Ну и доказали. Лысый крутился, вертелся... Суток четверо все отпирался. Но запутался совсем... И признался. Иван, говорит, стрелял, а я на бугру стоял.

— Этот живодер отстрелялся,— зло сказал Ванятка, играя желваками.— Многих он отправил на тот свет...

— Сказано, чем ты меряешь, тем и тебе откидается,— со вздохом заметила Царица.

Андрей Иванович сидел насупленно, чувствовалось, что разговор ему этот не по душе. Ванятка, заметив сноп, прислоненный к стенке, спросил Надежду:

— У вас ноне вроде бы зажинки?

— Да. Ходили пополудни с бабой Грушей. Рожь спелая. Завтра начнем жать.

Ванятка подошел к снопу, сорвал несколько колосьев, потер их в ладонях, взял на зуб осыпавшиеся спелые зерна.

— Зерно сухое, и налив хороший. Завтра и мы двинемся с Санькой. Я уж крюк[1] наладил.

— Говорят, вы с Андреем Колокольцевым опять артель надумали собрать?—спросил Андрей Иванович.

— Не артель, а колхоз. Вот по осени уберемся и думаем сообразить такое дело. Кое-кто из мужиков согласен.

— Ага... Поди, Якуша?

— Он.

— А Ваню Парфешина еще не пригласили? Степана Гредного, Чекмаря,— посмеивался Андрей Иванович.

— Я к тебе не в шутку, а всурьез,— обиделся Ванятка.— Мы тут прикинули промеж себя — вроде бы получается. С властями посоветовались — одобряют, помочь обещают. Вот я и пришел с тобой посоветоваться. Ты мужик авторитетный, тебя слушают.

— Ну что ж, поговорим всурьез.— Андрей Иванович скрутил «козью ножку», закурил.— Значит, земля общая, скот вместе собрать, инвентарь... И работать сообща. Так я вас понимаю?

— Ну так.

— Мудрость невелика. Ладно, я пойду в колхоз... Но ты мне сперва организуй хозяйство, построй дворы, мастерские, машины закупи да дело покажи. Видел я в плену у немцев один колхоз. Коллективершафт называется. Да у них не токмо что люди обучены каждый своему делу — коровы и те сами себе водопой устраивают. Подходит к корыту, а там сосок от трубы выставлен. Она надавливает на него — и вода течет. Пей сколько надо. Чуешь? Капли воды лишней не пропадет. Вот это колхоз. Все участвуют на паях. Прибыль — которую часть по себе делят, которую в дело пускают: на строительство или

[1] Крюк — коса, приспособленная для скашивания ржи.

машины покупают. Все идет вкруговую. А мы что сотворим?

— Ну вот, нашел чего в пример ставить — буржуйское хозяйство. Мы по-крестьянски, по-пролетарски, плечо к плечу станем, да друг перед дружкой так пойдем чесать, что будь здоров. Догоним и тех буржуев. Или ты не веришь, что мы супротив них сработаем?

— Веришь не веришь... Не в том дело. Ладно, тебя я знаю. Мужик ты горячий, работать с тобой можно. Но как только я подумаю, что поеду в поле на мосластом мерине Маркела, а на моей кобыле поедет Маркел и будет лупить ее промеж ушей чем попадя, так у меня ажно коленки дрожат.

— Он не токмо что бьет, кусает лошадь, черт зловредный,— сказала Надежда.— Намедни ко́пна возил, мерин притомился, стал. Он его бил, бил — ни с места. Тогда он ухватился за холку и зубами его за шею: гав, гав! Ну, чистый кобель. Да нешто можно ему доверять чужую лошадь, когда он свою грызет?

— Опять двадцать пять. Я про колхоз, а они про Маркела да про лошадь. Кто у вас к кому приставлен? Ты к лошади или лошадь к тебе? Ежели хозяин ты, а не лошадь, так и рассуждай по-хозяйски. Что лошадь? Одна сработается, вторая появится. А здесь речь идет о жизни! Объединимся — машины появятся. Государство даст. Ни тебе налогов и обложений. Не бойся, что лошадь угонят или корова сдохнет. Все общее, и никаких забот. То есть ходи в поле, работай, старайся за все хозяйство.

— Конечно, у тебя какие заботы?— всего двое детей. А у меня их вон целая орава. Ты мне скажи, будет ваш колхоз выдавать хлеб по едокам?

— Это на общих основаниях... Кто сколько заработает. По справедливости.

— То-то и оно. Советская власть поступила мудро — она каждому народившемуся человеку выделяет пай земли. Все равны перед богом или, как теперь говорят, перед обществом. А вы что хотите сделать? И мою землю — восемь едоков, и землю Степана Гредного — два едока, объединить решили. Работать мы с ним будем в одинаковых условиях, да еще на моем тягле. У него нет ни хрена. И платить нам будут примерно одинаково: что я спашу на этой лошади, то и он примерно спашет на ней же. Но Степану со Степанидой на двоих делить заработок, а мне на семерых тот же заработок. Где же у вас

справедливость? Значит, вы хотите создать такой колхоз, который будет на пользу бездетным и во вред многодетным. Это не по-советски, это, мужики, не по-ленински.

— Ну, это можно обговорить... Соберутся колхозники и решат.

— Так вы сначала соберитесь и решите. А мы поглядим. Никуда мы не денемся... Вон у меня самого целый колхоз подрастает. Чего им делать в одном хозяйстве? Настанет время — все они к вам пойдут. Так что старайтесь на здоровье, начинайте,— и он обернулся к Симе:— Я все хотел у тебя спросить: в кого это стрелял Кулек там, в избушке возле озера? Ну, когда засада была?

— А-а? Это когда я бросился к нему на помощь?— Сима ухмыльнулся и покачал головой.— Прибегаю к избушке,— а он лежит на бугре в кустах. «В кого стрелял?»— спрашиваю. Он глазами на меня хлоп-хлоп, а глаза-то осоловелые, красные. Раненый, что ли, думаю. «В тебя попали?» — «Нет, говорит, я стрельнул. Черный какой-то, здоровый... Сиганул из дверей прямо у камыши. Я вослед ему пальнул. Поищи там. Может, где валяется». Я бросился в камыши — никого. Вода да кочки. Ну, чего лежишь, говорю. Пошли в избу! А он мне — ты, мол, осторожней. Там прячется кто-то. Только что стучал в избе. Скамейку, наверно, повалил. Кабы кто сидел там, говорю, давно бы нас из окна ухлопал. Пошли! Встал мой Кулек на четвереньки, а на ноги подняться не может. Руками шарит по траве, как будто гривенник потерял. Вон ты, брат, какой воитель! Поднял я его, на ноги поставил, а от него самогонкой, как из пивной бутылки.

— Где он успел нализаться?— спросил Андрей Иванович.

Надежда и Царица засмеялись.

— Нешто за вами уследишь,— сказала Надежда.— Вы на причастии и то успеете нарюниться.

— Вот и я его спрашиваю: где ты нарезался? А он мне: я только, мол, попробовал... крепкая, зараза, как спирт. Вошли мы в избушку, и вся картина прояснилась: в углу стоит в плетенке бутыль с самогоном, а посреди пола валяется копченый окорок с оборванной веревкой. И следы когтей на окороке. «Ты дверь-то, наверное, не затворил?» — спрашиваю. «Не помню, говорит, я окорок не трогал, только из бутылки хлебнул малость и залег». Ну, ясное дело: вошел в избушку кот, с лавки прыгнул на висевший у потолка окорок, веревка оборвалась, кот

испугался грохота и выбежал в дверь. А Кулек пальнул спьяну в кота. «Ты в кота, говорю, стрелял-то». А он свое тянет: «Ннеет. Энтот был здоровый и черный... А может, повержилось?»

— А что? Могло и повержиться,— отстраняя выпитое блюдце, сказала Царица.— Ничего хитрого нет.

— А я в тот раз и смотреть ни на кого не хотел,— сказал Андрей Иванович.— Так-то мне тошно сделалось. Сел на кобылу и только крикнул Кадыкову: в лугах буду, ежели на допрос вызывать. Он мне рукой махнул — давай, мол.

— Ох-хо-хо, время баламутное,— вздохнула Царица и продолжала свое:— Как по такому времени и не вержиться. Вон, намедни ехал дед Пеля из лугов мимо старого бочаговского кладбища. Припозднился... Время клонилось к полночи. И вот тебе на самом бугру за канавой стоят два вола. И вроде бы ярмом связаны. Стоят к нему мордой. Рога здоровенные! Ну как мимо них проедешь? Запорют! Остановил лошадь. Он стоит, и они стоят. Откуда, думает, здесь два быка? Ежели один мирской Демин? А другой откудова? И чего они стоят рядом? Да они и на быков не похожи. У наших рога толстые и короткие, а у энтих длинные, тонкие и ажно кверху загнутые. Ну в точности такие волы стоят, на которых татаре и дончаки к нам на базары арбузы привозят. Но ни арбы, ни упряжки... Стоят, не шевелятся. Да с нами крестная сила!— подумал дед Пеля. «Ну-ка я крест наложу». Окстился! Стоят. Тогда он молитву читать «Живые в помощь»: «Господи, заступник мой еси, прибежище мое...» Как дошел до слов: «да не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей, во тьме приходящей...» — они и растаяли. Правда, говорит, вроде бы земля тронулась, колебнулась чуток и будто вздох какой послышался. Стеганул, говорит, я лошадь — и до самых Бочагов зубами стучал.

— Да у него и зубов-то, поди, нету,— возразил Андрей Иванович.— Ему уже за сто десять лет, пожалуй, перевалило.

— Что ты, Андрей Иванович! Новые поросли. Как за сто лет перевалило, так белеть во рту стало.

— Это он, поди, десна сжевал до костей,— сказала Надежда.

И все засмеялись.

— А может быть, это клад был? — сказал Ванятка.

— Все может быть,— подтвердил Андрей Иванович.— Там старая Крымка проходит. По той дороге татаре с юга на Владимир ходили. Добра-то поувозили не перечесть. Может, какой мурза или хан второпях, при налете русских и зарыл у дороги клад. Да и позабыл, поди, место. А то и самого мурзу́ убили и конников его посекли. Все может быть.

— Если клад, то ба-альшой,— оживленно блестя глазами, сказал Ванятка.— На телеге не увезешь.

— Какой клад? Будет вам небылицы городить,— сказал Сима.

— Чего?— недовольно спросил Ванятка.— Ты знаешь, как дядь Егор Курилкин клад откапывал? Ну?

— Не знаю.

— Вот и помалкивай. У Екатерининского моста, под самым Любишином ему вот так же в полночь показался бык. Он его кнутовищем по холке! Бык и рассыпался. Вроде бы что-то блеснуло при луне, как бы углубление на том месте. Лопата при нем оказалась. Пока он в задке лопату искал, пока лошадь остановил, к перилам привязал... Подошел — все ровно. Нет никакого углубления. Он перекрестился, поплевал на ладони и давай копать. Он копает, а под ним что-то позвякивает и земля вроде бы осаживается, со вздохом таким... Все ух да ух! Ну, как вон снег с тесовой крыши по весне оползает. Он уж по шейку зарылся. Вот тебе, едет тройка вороных. Тпру! «Ты чего здесь копаешь?— спрашивает с облучка.— Не сумел взять словом, лопатой не возьмешь!» И так, говорит, замахнулся на меня, вроде бы не кнутом, а саблей. И я, говорит, сознание потерял. Очнулся на рассвете: лежу в овраге под мостом, и где моя телега, где колеса валяются, а лошадь траву щиплет.

— Поди, по пьянке угодил под мост,— усмехнулся Сима.

— Почему?— спросил Андрей Иванович.— Это клад не дался в руки. Могло и хуже кончиться.

— А я вам говорю — слово знать надо, чтобы клад взять,— настаивал Ванятка.

— А нам весной дался в руки один клад,— сказала со смехом Надежда.— Расскажи, Андрей, как ты багром зацепил его в колодце?

— Ну тебя!

— Что за клад?— недоверчиво спросил его Ванятка.

— Да-а...— махнул рукой Андрей Иванович.— Шин-

карей трясли по весне. Вот Слепой с Вожаком и надумали в колодце богатства свои схоронить. А у меня, как на грех, ведро оторвалось. Опустил я багор, щупаю... Что-то вроде зацепил. Потащу — мешок какой-то. Тяжелый! Чуть над водой приподыму — он плюх опять в воду. Мешковина рвется. Что за чудо? Изловчился я, зацепил за узел. Вытащил. Развязал мешок — а там одни медяки: пятачки да семишники. Ну, ясно, чей клад. После обеда, смотрю,— Вожак бежит с багром. Уж он буркал, буркал возле колодца... до самого вечера. А вечером ко мне приходит: «Андрей Иваныч, ты, говорят, ведро ловил багром?» — «Ловил, говорю».— «А ты еще ничего не поймал?» — «Поймал деньги в мешке».— «Это наши деньги».— «А я их в милицию отнес, говорю. Мне сказали, если хозяин найдется, сообщите нам. Так что идем в милицию». Эх, как он задом от меня шибанул в дверь и наутек. «Не наши деньги, кричит, не наши!» Так и пришлось мне самому тащить к ним этот мешок с медяками. Да еще дверь не открывают. Не берут. Вот так клад!

Все дружно рассмеялись, а Царица мотнула головой и сказала:

— Нет, мужики... хотите верьте, хотите нет, а деду Пеле знамение было. Потому как он у нас самый старый на селе, ему и сподобилось. Быть туче каменной и мору великому, говорит дед Пеля. Кабы война не разразилась?

— Упаси бог,— сказала Надежда.

— Говорят, что Чемберлен нам какой-то все время грозит.

— Вота спохватилась, милая,— отозвался Андрей Иванович.— Чемберлен отгрозил свое. Теперь в Англии правит Макдональд.

— А хрен редьки не слаще,— сказал с уверенностью Ванятка.

На кровати в горнице кто-то заворочался и хриплым голосом попросил:

— Пить подайте.

— Вроде больной у вас? — спросил Ванятка.

— Сережа заболел,— Надежда встала, пошла в летнюю избу, загремела кружкой о ведро.

— Дак в больницу надо,— сказал Сима.

— Мы с ним только сеодни из лугов приехали,— сказал Андрей Иванович.

— А что ваша больница! — вступилась Царица.—

Трубку деревянную приставят к брюху и слушают. Болезнь не кошка, когтями не царапает, ее не услышишь. Она дух человеческий поражает. Ее изгонять надо. Я вот послала Федьку за водой из-под трех шумов. Наговорю водицы, окроплю Сереженьку — и вся лихоманка пройдет.

— Ну, мне пора... Совсем засиделся,— Сима встал и начал прощаться.— Спасибо за угощение! В Сергачеве будете — милости просим к нам.

— Сами заходите почаще! — отозвалась Надежда от кровати.— Когда на базар заедете... Когда и просто по пути.

— Спасибо, спасибо! — Сима вышел.

— Андрей Иванович, что-то мне тут не курится. Вон Сережка больной,— сказал Ванятка, подмигивая хозяину.— Давай на вольном воздухе потянем.

— Пойдем, потянем.

Они вышли на подворье, уселись на завалинке, закурили.

— Актив у нас готовится,— вроде бы между прочим начал Ванятка.

— Какой теперь актив? Страда только лишь начинается.

— Будем выдвигать на индивидуальное обложение. Список уже подработан. Вчера мне Зенин показывал. Говорит — согласован в РИКе.

— Сколько человек? — без видимого интереса спросил Андрей Иванович.

— Шестнадцать душ.

— Многовато. Кто именно?

— Шесть лавочников. Молзаводчики. Шерстобитчик Фрол Романов. Колбасник. Калашники. Трактирщик и Скобликов.

— А чего Скобликова обкладывать? За то, что ободья гнет своими руками? За это?

— Ну, ты сам знаешь за что... Все-таки из бывших.

— Н-да, жаль Скобликова.

— Ему все равно этой кутерьмы не миновать. Месяц раньше, месяц позже. Какая разница?

— Помногу обкладывают?

— Кого по пятьсот рублей, а кого и на тыщу.

— Да-а...

— Ну, это еще по-божески. Вон в Тимофеевке Костылина на полторы тыщи обложили. И то, говорят, платит.

— У того лавка богатая... Мастерские.
— Я ведь тебя предупредить пришел...
— О чем? — резко вскинул голову Андрей Иванович.
— Кроме этих обложений, будут излишки начислять по сену. Это пойдет по списку середняков. И такой список тоже составляется.
— Постой, излишки начисляем мы, комсод и сельсовет... Вы не имеете права.
— Зенин говорит — будто бедноте передают такое право.
— По скольку же начисляют сена?
— Кому по тридцать пудов, кому по сорок. А тебе сто пятьдесят пудов записали.
— Кто записал? На каком основании?
— Говорю тебе, пока это прикидывают лишь в узком кругу. Основание нашли. Зинка от вас ушла? Ушла. Вот она и сделает заявление на активе — свой пай по сену отдает государству. За твой счет, конечно. И с тебя его вычтут, будь спокоен.
— Да разве ж на ее паю столько накосишь? Это ж четверть всего сена! Они что, обалдели? — взорвался Андрей Иванович.
— Тише, ты не на собрании. В своем они уме или нет, я их не проверял.
— А Якуша был там... на этом самом вашем узком кругу?
— Был.
— Он что, тоже согласен?
— Говорит, раз член семьи за — у него возражений нет.
— Друг называется... Ну, погоди же! Не на того напали.
— Смотри, меня не выдавай. А то сам знаешь — по головке за такое не погладят.
— Ну, ну, давайте, старайтесь... Мать вашу...
— Ты чего на меня-то?
Андрей Иванович обернулся к нему, недовольно запыхтел:
— А ты что скажешь там, на активе?
— Что я скажу? Моя сказка ничего не изменит. А все ж таки хоть и двоюродным, но братом тебе довожусь. Сам понимаешь, как на это смотрят. Если Зенин выступит, да еще от имени жены потребует сена, то его могут

поддержать. Так что учти. Свяжитесь как-нибудь с Зинкой, уговорите ее.

— Ну что ж, спасибо на добром слове. Но эта вошь на мне зубы поломает.— Андрей Иванович кинул окурок и растер его сапогом.

Проводив Ванятку, поднялся в летнюю избу хмурый и злой.

За столом сидел Федька.

— А ты чего тут сидишь?—спросил Андрей Иванович.

— Воды принес,— кивнул тот на поставку, стоявшую на столе.— Как наказывали — из-под трех шумов! Сперва зачерпнул возле плотины синельщика, потом на перепаде в Пасмурке, за Выселками, а за третьим шумом аж на Сосновку бегал.

Не слушая его, Андрей Иванович прошел в горницу и остановился на пороге: в переднем углу горела лампада, перед иконами, упав на колени, горой громоздилась Царица, наговаривала воду, налитую в обливную чашку.

— Стану я, раба божия Аграфена, благословясь, перекрестясь, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота в восточную сторону, в восточной стороне есть окиян-море, на том окиян-море есть остров, на острове том есть святая православная церковь; в церкви той стоит стол-престол, на престоле том стоит божья матерь. Подойду я, раба божия Аграфена, поближе, поклонюсь пониже; поклонюсь, помолюсь, попрошу ее милости: сними с раба божия Сережи все скорби и болезни, уроки и призорья...

И вдруг этот торопливый бубнящий говорок оборвал детский сухой голос:

— Пить, баба! Пить...

Андрей Иванович почувствовал, как мягкая теплая волна хлынула из груди и застряла, забилась где-то в горле.

Он торопливо вышел в сени, сбежал по ступенькам скрипучего крыльца на подворье и, запрокинув лицо в темное наволочное небо, уловил холодные крапинки бесшумного дождя.

— Этот надолго зарядит... обложной,— вслух подумал Андрей Иванович и, вытащив из-под лапаса скатанный брезент, начал накрывать им телегу, на которой лежало вязанки две примятого свежего сена, только что привезенного из лугов.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

В конце июля перед жатвой в кабинете секретаря райкома собралось бюро в узком составе. Председательствовал сам Поспелов, протокол записывал завотделом агитации Паринов, хмурый неразговорчивый человек с отечным лицом и высокими залысинами. Кроме них за торцовым столом уселись еще трое: Возвышаев, Озимов и Тяпин.

Приглашенные на бюро остались в приемной, ждали поочередного вызова.

Для отчета вызвали двух председателей сельских Советов — Тихановского и Гордеевского. Первым слушали Кречева.

— Моя работа строится двояким образом: значит, первым делом аппарат и, во-вторых, я сам,— начал свой отчет Кречев, заглядывая изредка в школьную тетрадь, перегнутую пополам.— Весенний сев мы провели под знаком реформации сельского хозяйства, то есть устраивали читки и беседы для деревенского актива, для малограмотного читателя и для женской части населения отдельно... Кроме того, были организованы красные обозы по вывозке излишнего зерна, дров для школы и райисполкома, хворосту для гатей и так далее. Всего провели мы десять подобных кампаний, да плюс к тому работа по самообложению, да еще подворный обход. В результате рост посевных площадей увеличен на семь процентов за счет освоения болот и кочкарника, урожайность запланировано повысить тоже на семь процентов. Выполнен план по контрактации. На наше село спущено триста га сортового сплошняка под шатиловские овсы. Обмен семян проведен вовремя. Получено на село за отчетный период семьдесят плужков, восемьдесят железных борон, две диски, три сеялки, две тысячи рублей лошадиного кредита. Число беспортошных хозяйств уменьшилось. Полагаем к концу пятилетки от бедняцких хозяйств освободиться полностью.

— Каким образом?—перебив Кречева, спросил Поспелов.

— Частично за счет отъезда на стройки.

— А если ему не на что уезжать? — спросил Возвышаев.

— Поможем.

— Чем?

— Надо за счет самообложения создать фонд и выделять из него подъемные.

— Утопия,— сказал Поспелов и сложил свои сухие губы бантиком, словно поел чего-то сладкого.

Массивный Озимов заворочался, будто спросонья, так что стул под ним заскрипел.

— А что? Это любопытно! Значит, товарищеская взаимопомощь. А если он ваши деньги проездит и назад вернется?

Кречев огладил пятерней свой ежик и чуть заметно усмехнулся:

— Если насовсем уезжает, не возвратится. Дом свой продаст, а стало быть, и надел сдаст. Куда же он теперь вернется?

— Выходит, вы ему вроде бы теперь полную откупную даете?

— Пока еще не даем. Думаем наладить вскорости такое дело.

— Развел ты здесь канитель с буржуазной подкладкой,— сказал раздраженно Возвышаев.— А если эти безлошадные не захотят уезжать? Что ж ты их, силом будешь выпихивать?

— Зачем же выпихивать? Пусть остаются как есть все в селе.

— Но они же беднота, их подымать надо, понял?

— Ну и что? Ремеслу обучать будем, в промысловые артели вовлекать.

— Вот вам коммунист-сращенец и коммунист-примиренец в одном и том же лице,— выкинул широкую ладонь Возвышаев в сторону Кречева.— Могут, к примеру, в вашу кулацкую артель на Выселках принять неграмотного пастуха?

— Отчего же нет? Правда, артель эта не кулацкая, а профессиональная. Надо подучить того пастуха, подождать, пока он ремесло освоит...

— А если мы не хотим ждать?—повысил голос Возвышаев.— Если наша задача направлена ко всеобщему уравнению труда и жизни?

— А я разве против?—спросил в свою очередь Кречев.

— Ты не против, но и не за. Есть такая фраза— промежуточная индифферентность, то есть ни то ни

се — ни богу свечка, ни черту кочерга. Чего ты нам развел тут оппортунистическую теорию постепенного выравнивания бедноты? Всю бедноту можно враз выровнять только всеобщей коллективизацией. Создать один колхоз на все Тиханово. Понял? И самообложения никакого не будет. Некого обкладывать — все станет общим. И это есть единственно правильная политика на сегодняшний период.

— Но пока еще нет такого колхоза. Есть только промысловые артели.

— Значит, создадим.

— Но какая ж моя конкретная задача? Какую линию нынче проводить?

— Поменьше рассуждать. Хлебозаготовками заниматься надо — вот твоя задача.

— Зачем же тогда вызвали меня с отчетом? — Кречев ткнул в свою погнутую тетрадь.— Или он никому не нужен?

Неожиданная перепалка вырастала в откровенный скандал.

— Никанор Степанович, может, вопросы потом зададим? — осадил раскрасневшегося Возвышаева Озимов.— Будем слушать или как?

— Да, товарищи, прежде всего спокойствие,— опомнился Поспелов и постучал карандашом.— Давайте не терять делового настроя. На повестке дня стоит отчет товарища Кречева. Вот и давайте послушаем его. А там примем оргвыводы. Пожалуйста, товарищ Кречев, расскажите нам теперь о вашей личной работе. Как складывается ваш, так сказать, бюджет времени? Какие помехи встречаются? Какая помощь нужна и так далее, чтобы перестроить работу по-боевому?

— Ну, как я работаю? — переспросил Кречев.— В восемь часов иду в сельсовет... Меня уж поджидают крестьяне; вопросы всякие: тут тебе и сельхозналог, и самообложение, и страховка, и о лесе спрашивают, и о семенном фонде, а то споры земельные, с разводами, с семейными разделами — все ко мне. И дай ты каждому или справку или разъяснение. Иное утро пропустишь человек шестьдесят. А в полдни — собрание: сегодня комсомол, завтра середняцкий актив, потом беднота, потом комиссии содействия по хлебозаготовкам, там пленум сельсовета, а то еще красноармейские жены. А сельсходы! Энти так выматывают силы, что на карачках выползаешь. После

обеда занимаешься канцелярией — отвечаешь на запросы из района, ведешь всякую арифметику: сводки заполняешь, заказы даешь, всякие обложения выписываешь. Народу много, а ты один — иной раз по три часа пишешь. А тут партийцы собираются на заседание. Идешь к ним — надо. Да еще много времени тратишь на беседы с товарищами из округа: то из коопхлеба, то из союзхлеба, то женотдел, то комсомол, то из окрфинотдела, окрторготдела и тому подобное. Вот он — мой бюджет времени. За отчетный период, за пять месяцев то есть, провел тридцать групповых собраний, концевых двадцать четыре, чисто бабьих двадцать пять, сходов — три. Индивидуальная обработка не в счет. Спрашивается — какие помехи встречаются? К примеру, подбил я на контрактационный сплошняк полтораста хозяйств, затвердил за ними по десятине шатиловского овса, выдали им аванс под будущий урожай... И вот тебе, приходит в сельсовет телефонограмма: «...в изменение контрактационных условий, преподанных от четвертого сего мая...» Какие же теперь могут быть изменения условий? Овес посеян, аванс выдан. Нет! Изволь теперь изменить закупочную цену, понизить то есть. Ну как, с какими глазами идти теперь к мужикам? Я ж их уговаривал, договор подписали. И все, выходит, кобелю под хвост? Кто же на другой год мне поверит?

— Не о том речь, товарищ Кречев! — сказал Возвышаев, глядя в стол перед собой.— Ты нас не агитируй насчет своей занятости. Мы не меньше твоего заняты. И не попрекай нас ценами на контрактацию. Не мы их устанавливали, не мы и менять будем. Ты лучше скажи, как на сегодня и на ближайшее время думаешь план хлебозаготовок выполнять?

— Каждому хозяйству, как вы знаете, задание доведено.

— А излишки?

— Излишки на общих правах. Вот уберемся, сдадим основные поставки, потом соберем общее собрание и примем на нем контрольные цифры насчет излишков. Потом комсод, то есть комиссия по содействию, определит, сколько каждое хозяйство сможет продать хлебных излишков. У нас даже пастухи сдают излишки. Дед Гафон на целых десять пудов записался в прошлом году сразу же.

— И когда же вы сдали прошлогодние излишки? — спросил Тяпин.

— В мае месяце,— с запинкой, не совсем твердо ответил Кречев.

— Этого года?—спросил Поспелов.

— Да.

— И вы думаете—мы будем ждать до следующего мая месяца?—спросил Возвышаев.

Кречев даже вспотел от напряжения:

— Осенью сдадим.

— Нет, не осенью, а летом!—прихлопнул Возвышаев об стол.— Кстати, сеноуборку кончили?

— Заканчиваем...

— А где излишки по сену?

Кречев сухо сглотнул, будто ему что-то мешало говорить, но промолчал.

— У них комсод еще богу не помолился,— хохотнул Возвышаев.

— Ну да, гром не грянет—мужик не перекрестится,— отозвался насмешливо Тяпин.

— Товарищи, товарищи, давайте по-деловому!— застучал Поспелов карандашом.— Сперва с хлебозаготовками решим. Вы сможете взять на себя обязательство— сократить сроки хлебозаготовок? Ну, рассчитаться, допустим, к первому сентября?

— Сможем.

— Вот и отлично. Запиши ему, Иван Парфеныч!— обратился Поспелов к Паринову.— Сдать хлебозаготовки к первому сентября.

Паринов только крякнул и строже наморщил желтый лоб.

— Так!—удовлетворенно сказал Поспелов, снял очки и разглядывал их на отдалении.— Теперь второй вопрос: значит, по просьбе рабочих Балтийского завода выпущен третий заем индустриализации. В какие сроки вы обязуетесь охватить все население подпиской?

— В сжатые,— выдохнул Кречев.

— Э, нет! Слово «сжатые» еще ничего не говорит. Сроки, товарищ дорогой! Назовите сроки?!

— К зиме подпишем.

— Ага, на Святки! Когда все ряжеными выйдут на улицу... Кто откажется—и рожи не видать,— усмехнулся Возвышаев.— А еще лучше на масленицу, на бегах. Он, знай, чешет наперегонки, а ты ему на запятки встань и упрашивай: подпишись, пожалуйста, дорогой товарищ, на заем!

— Да, да,— согласно закивал Поспелов.— К зиме — срок несерьезный. Вот как вы смотрите, чтоб к Октябрьским праздникам охватить все население стопроцентной подпиской?

— Постараемся!

— Отлично! Иван Парфеныч, запишите им срок — седьмое ноября. Наконец третий вопрос: как у вас обстоят дела с индивидуальными обложениями?

— Все, которые имеют заведения, то есть, к примеру, молзавод, трактир, колбасную или калачную, булочную,— все обложены.

— На сколько обложен бывший помещик Скобликов? — спросил Возвышаев.

— У него же нет заведения,— Кречев пожал плечами.— Он работает в артели, хозяйство у него середняцкое — лошадь да корова. За что ж его обкладывать?

— А вы знаете, на сколько они продают телег? — спросил Возвышаев.

— У них в артели учет налажен. Там фининспектор бывает, знает.

— А кто ведет этот учет? Сами ж они и ведут. Где гарантия, что они Советской власти не втирают очки? — спросил опять Возвышаев.

— Да я вам что, милиционер? — взорвался Кречев.— Мне некогда ловить их с поличным.

— Это мы видим, что вам некогда,— согласился Возвышаев.— У меня есть предложение.

— Пожалуйста,— сказал Поспелов.— Иван Парфеныч, запиши!

— Вопрос об индивидуальных обложениях передать на совместное заседание партячейки с беднотой. Это первое. Второе — распределение хлебных излишков, а также излишков насчет сена у комсода изъять и передать полномочия по этому вопросу бедноте и партячейке. Надо переходить на более решительные позиции. Давайте по-новому работать.

— Вы согласны? — бросив строгий взгляд, спросил Поспелов Кречева.

— А мне не все равно, что с комсодом заседать, что с беднотой.

— В таком случае дадим ему недельный срок,— продолжал Возвышаев.— Пусть определит излишки и по сену и по хлебу.

— Иван Парфеныч, запиши! И последнее, товарищ

Кречев, секретарь вашей ячейки Кадыков подал заявление об уходе в связи с переездом его в Пантюхино. На повестку дня ставится вопрос — кого рекомендовать вам в секретари партячейки? — сказал Поспелов.

— Милентий Кузьмич, я полагаю, что этот вопрос мы разберем и без председателя сельсовета,— с легкой иронией заметил Возвышаев.— К тому же товарищ Кречев устал... Вон как вспотел, будто с молотьбы. Может, отпустим его?

— Я не возражаю,— согласился Поспелов.— Как вы, товарищи члены бюро?

— У меня к нему больше вопросов нет,— сказал Озимов.

— А у меня есть. Вы чистку проходили, товарищ Кречев? — спросил Тяпин.

— Нет еще.

— Тогда ответьте на вопрос, какие основные задачи второго года пятилетки?

— Рост промышленности на тридцать два процента, рост производительности труда на двадцать три процента. Значит, снижение себестоимости...

— Правильно! А еще? Можно сказать, главный вопрос!

— Насчет капиталовложений на строительство?

— Это, конечно, самый основной вопрос. Ну, а главный?

— Не знаю! — по-бычьи недовольно и шумно засопел Кречев.

— Ну как же? — раздосадованно махнул рукой Тяпин и ладонью кверху.— Ну, ну? Добиться решительного перелома в борьбе за качество продукции. Вот оно яблочко, в которое стрелять надо. Кстати, работой Осоавиахима охвачены призывные возраста?

— Охвачены. Ходим стрелять по мишеням в Волчий овраг.

— Ну и последнее: как ответил рабочий класс на провокацию китайских наймитов на КВЖД?

— Внес три четверти миллиарда на индустриализацию страны.

— Молодец! Ступайте и постарайтесь ответить на происки китайских наймитов организованной хлебосдачей.

— Ну как, товарищи, отпускаем Кадыкова из Тиха-

новской партячейки? — спросил Поспелов после ухода Кречева.

— Ячейка от его ухода не пострадает,— усмехнулся Возвышаев.

— А в чем дело? Почему он уезжает из Тиханова? — спросил Тяпин.

— На квартире жить надоело,— ответил Озимов.— А в Пантюхине у него собственный дом.

— Он же на работе здесь, в милиции?

— Ну и что? Полторы версты не расстояние.

— А кого в секретари на место Кадыкова? — спрашивал Тяпин.

— Есть кандидатура,— ответил Поспелов.— Никанор Степанович, пожалуйста...

Возвышаев встал:

— Мы тут прикинули с Милентием Кузьмичом и решили отрекомендовать в секретари Тихановской партячейки товарища Зенина.

— Сенечку? — удивленно вскинул голову Тяпин.

— Кто это такой? — спросил Озимов, глядя исподлобья.

— Семен Васильевич Зенин, секретарь Тихановской комсомольской ячейки, учитель местной школы,— пояснил Возвышаев.— Он уже успел зарекомендовать себя идейно стойким борцом за дело рабочего класса. У него развита прирожденная ненависть к частнособственническим инстинктам. Умеет выявлять скрытый кулацкий элемент. Безжалостен в борьбе... И вообще — человек хорошей трудовой автобиографии, он из детдома. Комментарии, как говорится, излишни. Грамотный, даже образованный. Девятилетку кончил. Одним словом, подходит по всем статьям.

Возвышаев сел.

— А то, что он самокруткой женился и расписываться не хочет, по этой статье он тоже подходит? — спросил Тяпин.

— Не торопитесь, товарищ Тяпин. Задайте этот вопрос самому Зенину,— сказал Возвышаев.— Я думаю — он достойно ответит тебе.

— Поглядим.

— Ну что ж, зовите этого Зенина... И в самом деле, поглядеть надо, что за орел,— с готовностью предложил Озимов.

— Но дело в том, что Зенина мы вызвали совместно с

председателем Гордеевского сельсовета и работником райкома комсомола Обуховой, в связи с хлебными излишками,— сказал Поспелов.

— Ну и что? Зовите вкупе, секретов у нас нет.— Озимов глядел то на одного, то на другого, как бы спрашивая: «Чего тут церемониться? Пропустим всех сразу, и вся недолга».

— Иван Парфеныч, зовите! — кивнул Поспелов Паринову.

Тот осторожной мягкой походкой, поскрипывая сапожками, вытягивая шею, как заговорщик, пошел в приемную.

Опережая Паринова, первым вошел в кабинет Акимов, поздоровавшись кивком с начальством, он решительно протопал в передний угол и сел на стул, не ожидая приглашения.

На нем была белая косоворотка с расстегнутым воротом, на груди синела полосатая тельняшка; плотный, с каменным скуластым лицом, он закинул ногу на ногу и сцепил на колене пальцы так, что они побелели. По нему видно было, что пришел он разговаривать серьезно.

Мария, войдя в кабинет, сразу нырнула в сторону и присела возле самой двери. А Сенечка Зенин шел к столу, улыбаясь почтительно и робко, наклоняя голову, будто кланялся всем сразу и каждому члену бюро в отдельности. А руки, сжав калачиком, нес перед грудью, готовый в любую минуту выкинуть и правую и левую, кто какую попросит. Но здороваться не пришлось, руки ему никто не подавал, а только Возвышаев показал на крайний стул у торцового стола.

Зенин тотчас присел, пригибая голову, и этим сразу как бы отдалился от своих товарищей, оставшихся возле стены.

— Так, товарищи,— начал Поспелов, надев очки и глядя в бумажку перед собой.— Значит, поступила докладная от товарища Зенина, в которой сообщается, что во время своей командировки он, то есть Зенин, установил злостных укрывателей хлебных излишков в селе Гордееве в количестве шести человек. Однако председатель сельсовета Акимов и уполномоченный от райкома комсомола Обухова отказались конфисковать указанные излишки, тем самым проявили акт укрывательства кулацки настроенных элементов.— Поспелов поднял голову, обернулся, поглядел на Акимова и Обухову, спросил:— Было такое обстоятельство?

— Не было,— ответил Акимов твердо и строго поглядел на членов бюро.

— Вот те раз! — как-то обрадованно подхватил Сенечка и ласково поглядел на Поспелова.— Я им составил список — шесть человек... Поименно. И указал даже, где у каждого хлеб хранится, а именно в подпечнике. Ну, как же?

— Было такое? — требовательно спросил Поспелов Акимова.

— В точности... Список он составил и насчет подпечника сказал.

— Чего ж еще надо? — радостно спросил Сенечка.

— А то, что я не прокурор и не начальник милиции. И ходить по дворам, шарить да еще ломать печи и подпечники — не имею права. Мало ли кто мне на кого укажет.

— Формальная придирка и уклонение от существа дела,— раздраженно заметил Возвышаев.

— А по моему соображению, резонное,— неожиданно поддержал Акимова Тяпин.— Как вы полагаете, Федор Константинович? — спросил он Озимова.

— Что тут полагать? Есть закон — чтобы провести обыск, а тем более конфисковать имущество, надо получить санкцию от прокурора,— отозвался тот.

— Странное заявление,— сказал Возвышаев.— Вся политика налогов прежде всего есть козырь в руках местных органов. Все права им дадены. Старайся! Покажи свою преданность и смекалку. В частности, сельсовет имеет право наложить штраф до пятикратного размера стоимости хлеба с применением, в случае необходимости, продажи с торгов имущества неплательщика, причем — двадцать пять процентов взысканных сумм идет в местный фонд кооперирования бедноты. Вот что такое налоговая политика!

Озимов слушал, выдавливая на груди свой массивный складчатый подбородок, наклонив лобастую бритую голову, удивленно глядел на Возвышаева, помолчал, а потом изрек:

— Занимайтесь себе на здоровье налоговой политикой, обкладывайте, требуйте, убеждайте... Но если идете делать обыск, ломать печь или амбар, то прихватите с собой понятых да работника милиции. Не забудьте взять разрешение у прокурора. А еще, для начала, потрудитесь установить, что хлеб прячут именно там, куда идете. Иначе конфуз выйдет.

— Разрешите мне! — Сенечка даже руку выкинул, не так чтобы высоко, а робко, у самого плечика.

— Да, пожалуйста, — кивнул ему Поспелов.

— Мне, например, известно, что некий укрыватель по фамилии Орехов признался, что хлеб он прячет именно в подпечнике. И тем не менее товарищи Акимов и Обухова категорически отказались отбирать у него излишки. Это может подтвердить гордеевский избач. Или вон товарищ Обухова...

Все обернулись к двери и поглядели на Марию; она выпрямилась, быстро глянула на Акимова, и глубокий вырез на ее груди заалел, как пионерский галстук на белой кофточке.

— Я сказала, и теперь могу это повторить,— ответила Мария без колебаний.— Я ездила в Гордеево как представитель райкома комсомола. Следствие я не вела и ходить по избам с обыском не собиралась.

— Очень жаль, Мария Васильевна, что закрываете лицо на политическую сторону этого вопроса,— сказал Возвышаев.— Это не по-партийному.

— Партия учит нас, Никанор Степанович, любой вопрос рассматривать со всех сторон. И главное — не превышать своих полномочий. Ни в коем случае не нарушать законов.

— Вас никто не призывает нарушать закон,— проворчал Возвышаев, недовольно и резко отваливая глазом в сторону.

— Если не призываете, то по крайней мере подталкиваете.

— А вы что можете сказать по этому поводу? — спросил Акимова Поспелов.

— Я председатель сельсовета,— сказал, багровея, Акимов.— Если вы мне не верите, то ставьте на мое место этого самого избача или кого другого, который будет шарить в печке да на полатях.

— Ну зачем так обострять, товарищ Акимов? — Поспелов опять снял очки, внимательно их рассмотрел и завертел их в пальцах.

— У меня вопрос к председателю сельсовета.— Возвышаев, не дожидаясь разрешения Поспелова, спросил: — Как вы полагаете выполнить план по сдаче хлебных излишков?

— Мы один план по излишкам выполнили. А это уж второй план, и дали нам его не кто-нибудь, а вы.

— Что значит я? У меня не частная лавочка,— вспылил Возвышаев.— Заседал райисполком, распределял по селам задание округа... Лично мне эти излишки не нужны. Хлеб закупает под сохранную расписку райторготдел.

— Дак один раз обкладывали... Зачем же обкладывать второй раз?—крикнул Акимов.— Неужели сразу нельзя определить?

— Подобные выступления коммунистов против двухкратного и трехкратного обложения кулака льют воду не на нашу мельницу. Они, видите ли, за уравнительность... А где классовый подход?—Возвышаев встал и откинул одну полу френча, засунув руку в карман.— На то и введен новый сельхозналог, как удар по кулаку, как задача—выявить богатую часть населения в количестве большем, чем это было выявлено в прошлом году. Понимаете, товарищ Акимов?

— А если нет лишнего зерна?

— Ну да, по вашему представлению нет, а мельница гордеевская завалена зерном. Это как следует истолковать?—усмехнулся Возвышаев.— Как игру в жмурки? Вон в Веретье тоже говорили—нет излишков. А ведь нашли!

— Дак они в соседнем районе купили зерно и сдали,— сказал Акимов.— А теперь этими квитанциями открещиваются от самообложения.

Озимов и Тяпин засмеялись, а Возвышаев бросил им с упреком:

— Между прочим, смешного тут ничего нет,— и сел.

— Товарищ Акимов, но ведь из каждого положения нужно искать выход. Какой же выход вы нам подсказываете?—спросил Поспелов.

— Выход только один—дождаться нового урожая. Тогда и сдадим старые хлебные излишки,— ответил тот.— Но только давайте договоримся—новые излишки определять один раз в году, а не пять раз.

— Небось сам садишься есть каждый день, и по три раза,— проворчал Возвышаев.— А рабочий класс одним днем хочешь накормить на целый год?

— Рабочих-то мы накормим, а вот те, которые считать не умеют, пусть теперь зубами звонче щелкают,— ответил Акимов.

— Товарищи, без перепалки,— скривился Поспелов.— Итак, давайте установим сроки. Когда вы сдадите старые излишки?

— К первому сентября,— запинаясь, неуверенно ответил Акимов.

— Вот и хорошо. Иван Парфеныч! Запиши! А как насчет индивидуальных обложений?

— От обложений мы не отказываемся. Но установите сперва строжайший порядок, кого и как обкладывать по закону.

— Хорошо, мы тебе установим порядок обложения,— сказал Возвышаев.— Вот после уборочной назначим к вам комиссию. Я сам поеду. Разберемся...

— Пожалуйста!

— Иван Парфеныч, запиши! Итак, вопросов больше нет? На сегодня вы можете быть свободны, товарищи.

Акимов и Сенечка с Марией не спеша встали и тихонько вышли.

— Ну что, будем рекомендовать в секретари Тихановской партячейки Зенина? — спросил Поспелов.— Помоему, он производит очень хорошее впечатление — старательный. У него, как говорится, глаза на самом затылке — все замечает.

— Чего ж хорошего? — мрачно спросил Озимов, засопел и тяжело, по-медвежьи заворочался на стуле, так что его кожаная коричневая куртка захрустела, как несмазанные сапоги.— Он, видать, из блинохватов. За ним за самим глаз нужен. Сопрет еще чего-нибудь. Глаза подслеповатые, а бегают будь здоров. Это ж надо? Разломай ему подпечник! Не нравится он мне, подозрительный тип.

— Ну, это несерьезно,— возразил Поспелов.

— Спереть, может, и не сопрет, но глаз за ним нужен,— сказал Тяпин.— Он какой-то шалый. Прошлой весной чего выкинул? За школой стадо пасли, а он на перемене выскочил быка дразнить. Ну, бык за ним погнался. Он залез на ветлу. Бык под ним землю роет, а он на него сверху по-собачьи лает. Всю школу собрал. А то по селу пойдет с гармоньей, за ним девки гужом: «Сыграй, Сеня, сыграй, милый, страданьице с переливом!» Нет, рано его на самостоятельную. Пусть еще подрастет.

— Товарищи, я вас не понимаю! — встал из-за стола Возвышаев.— Товарищ Зенин пролетарий, можно сказать, из пролетариев — сирота! В детдоме освоил рабочие профессии — умеет плотничать и штукатурить. Давайте вспомним резолюцию ЦК по докладу Самарского окружкома, пункт второй: решительно изменять состав дере-

венских парторганизаций за счет вовлечения бедноты и представителей рабочего класса. Чего же еще надо? Я требую ставить на голосование! — Возвышаев сел.

— Других предложений нет? — спросил Поспелов.— Ставим на голосование. Кто за то, чтобы рекомендовать товарища Зенина секретарем Тихановской партячейки?

Руки почти разом подняли Возвышаев, Поспелов и Паринов.

— Кто против? Так... Тяпин и Озимов. Иван Парфеныч, запиши! Значит, большинством голосов товарища Зенина рекомендуем...— и облегченно:— Ну, кажется, все?

— Да, уж пора. Засиделись.— Озимов достал из брючного кармана часы:— Вот, девятый час.

— Как все? — переспросил удивленно Возвышаев.— А разбор налетчиков?

— Каких еще налетчиков? — недовольно буркнул Озимов.

— Степановских белогвардейцев.

Озимов поморщился, его усы бабочкой под Демьяна Бедного дернулись, как привязанные на нитке:

— Бросьте вы эту самодеятельность! Подумаешь — учителя по пьянке комедию разыгрывали.

— Ну, знаете, товарищ Озимов?! Напялить погоны, ходить по селу да еще людей добрых пугать — ничего себе забава! — таращил глаза Возвышаев.

Но Озимов уже завелся против Возвышаева и теперь попер на него медведем:

— Ты забыл, как в третьем годе вы перепились в желудевском волкоме, переоделись в баб и поехали на степановские станы девок щупать?..

— Я там не был!

— Ты не был, зато твои заместители да помощники были. Ты же не вызывал их на бюро?

— По-твоему, все равно, что в баб нарядиться, что в белогвардейцев? Да?!

— Подумаешь, в белогвардейцев! На сцене вон в царей переодеваются, и Советская власть от этого нисколько не страдает.

— То на сцене, а то по дворам ходить! — кричал Возвышаев.

— Да уймись ты, никто тебя не боится. Ну, потешились ребята, хватили через край. Сунули им за это по выговору. Чего ж еще? Зачем дело лепить? Или мы сами

молодыми не были? Какое преступление? Четверо в кладовой два часа просидели, пятый сбежал да милиционера насмешил? Вот и все. Нечего там штанами трясти.

— Но мы же вызвали Герасимова,— сказал Поспелов.

— Ничего, так отпустим. Небось не обидится... Хватит, сегодня и так наговорились,— Озимов решительно хлопнул ладонью по столу.

— Да. Пожалуй, и в самом деле пора кончать.— Поспелов тоже поглядел на часы.

— А я решительно возражаю,— повысив голос, сказал Возвышаев.

— Хорошо, будем голосовать. Кто за то, чтобы дело Герасимова считать законченным? То есть оставить в силе ранее вынесенный выговор? — Руки подняли Озимов, Тяпин и Поспелов.— Сам видишь, Никанор Степанович, ты в меньшинстве,— обернулся к нему Поспелов.

— Вот это и есть либеральная терпимость, против которой мы и собрались сегодня выступить. Но ничего... Мы еще повоюем с этой либеральной терпимостью,— Возвышаев вышел первым.

2

Костя Герасимов упросил Марию подождать его в палисаднике, возле райкома:

— Вместе пойдем к Успенскому. Там уже все в сборе. Варьку пропивать будем. Они с Бабосовым решили пожениться.

— В который раз? — усмехнулась Мария.

— А тебе не все равно? Подожди! Успенский наказал — без тебя не приходить. Он завтра переезжает в Степаново.

— Знаю.

— Вот и отлично! Без тебя все равно не начнут, а без меня могут всю водку выпить,— дурашливо скривился.— Умоляю, подожди! Может, я последний раз гуляю. Не то выгонят на бюро — в бродяги подамся,— продекламировал:

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа рассветную гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

— Ладно, не хнычь загодя. Подожду.

Не успела Мария присесть на лавочку под сиренью, как вылетел из дверей Герасимов и, возбужденно сияя, выпалил на ходу:

— Индульгенцию получил! Прежний приговор оставлен в силе. Господа присяжные, пересмотра не будет и не ждите!

— Благодари Тяпина. Его забота. Иначе с тебя Возвышаев шкуру бы спустил.

— Откуда ты знаешь? И кто я Тяпину? Что ему Гекуба?

— Ну, допустим, Гекуба ему человек не посторонний. Если бы стали драть тебя, то и мне несдобровать. А я — тяпинский кадр. Что ж это? Выходит, кадры у него не совсем те?!

— Маша, ты наша икона-спасительница. Тебя в угол ставить надо.

— Хамло!

— Да нет... Я для того, чтобы молиться на тебя.

— У Бабосова выучился, что ли?

— Пошли! А то кабы они без нас ненароком не нарезались.

По дороге Костя рассказывал:

— Приехал к нам тот доцент-физик.

— Какой доцент?

— Ну, из Московского университета. Помнишь, Бабосов рассказывал?

— А-а, самогонщик?!

— Он самый. Математиком оказался.

— За что ж его вычистили?

— Черт его знает. Говорит — индусским ёгам поклонялись: на голове стояли. Одним словом, буржуазные замашки.

— Ёги считаются аскетами. Или как там? Вроде бедняков, что ли. При чем же тут эти буржуазные замашки?

— Ну, ты даешь! Это же не наша, не пролетарская беднота. Это беднота от скудости буржуазной науки,— и загоготал.

— Ты сам заразился от Бабосова замашками мелкобуржуазного злопыхателя.

— Мы с Колей приходим в школу познакомиться с новеньким,— он занял комнату в бывших мастерских, рядом с Успенским,— стучим... Войдите! Отворяем дверь.

Никого. И вдруг над нами с потолка этакий писклявый голосок: «Здравствуйте!» Мы как чесанем назад. А он сверху: га-га-га! Смотрим — висит вниз головой, зацепившись коленями за перекладину в самом углу. В первый же вечер успел шведскую стенку себе соорудить. Спрыгнул, ходит вокруг меня, глазами косит и фыркает, как кот. «Вы чего, Роман Вильгельмович?» — спрашивает его Бабосов. А он положил голову набок, рожу скривил сладенько и пропищал: «Так это-о, я любуюсь, как слажена у него фигура». У меня то есть. «Естественно,— говорит Бабосов,— в крестьянской семье вырос, на хороших харчах».— «Это понятно,— хмыкнул тот.— А вот теперь бы побороться?» Что ж, говорю, давайте поборемся.

— И поборолись? — улыбнулась Мария.

— Поборолись... Этот хохлацкий немец, хоть и говорит писклявым бабьим голосом, но здоровяк что надо, я тебе доложу...

— Кто ж одолел?

— Никто. Потоптались, как лошадки, заложив головы на плечи друг другу, посопели, пофыркали... Правда, пытался он раза два взять меня подкатом, но я отбрасывал его ногу. Доволен... Руку мне пожал, раскланялся. Замечательно, говорит. Чудной!

Их ждали на веранде: все уже сидели за столом, а Варя хозяйничала в сенях возле керосинки — яичницу жарила. На столе навалом и в тарелках лежали красные помидоры, огурцы, зеленый лук, ветчина и колбаса. Бутылки с вином и с водкой стояли нераскупоренные.

— Ага, что я говорил? Без тебя не начнут,— заголосил Костя от дверей, пропуская Марию вперед.— Доблестные рыцари ордена ножа и вилки приветствуют первую даму почтительным ожиданием. Ура!

— Она первая, а я, выходит, вторая? Коля, вызови его на поединок! Пропори его вилкой и на тарелку его,— кричала из сеней Варя.

— А кто его есть будет? Он теперь того... подмоченной репутации,— сказал Бабосов.

— Но-но, не забывайся.

— Ты лучше скажи, как вас встречать? Во здравие или за упокой? — спросил Успенский.

— Пойте осанну ей, пресвятой Марии! — торжественно глаголил Костя, указуя пальцем на Машу.— Она спасла меня своим незримым присутствием.

За столом кроме Успенского и Бабосова сидели Кузь-

мин, Саша Скобликов с Анютой и новый учитель, темноволосый, с хрящеватым сплющенным носом и резко означенными глазными яблоками; на нем был серенький костюм и белая расстегнутая рубашка. Он встал навстречу Маше и представился:

— Роман Вильгельмович Юхно,— потом скорчил рожу и губы вытянул трубочкой:— Так это-о вы ходили в кожаной тужурке в ночной маскерад?

— Вроде бы,— смутилась Мария.

— Замечательно!— он прыснул, залился визгливым смешком и, приставив ладони к вискам, покачал головой.

Варя вышла из сеней с полной жаровней шваркающей яичницы, с возбужденным красным лицом и в длинном белом платье.

— А где фата?— спросила Мария, целуя ее.

— Фата есть предмет роскоши,— ответил с улыбкой Бабосов.— А наш лозунг — энтузиазм и лохмотья.

Юхно взвизгнул и радостно погрозил пальцем:

— Так это-о вы удивительный мастер выворачивать слова наизнанку.

— Это бывает... когда у человека мозги набекрень,— хмуро сказал Кузьмин. Он сидел, как всегда, строгий, в темном костюме, весь застегнутый и затянутый галстуком.

— Ты, Иван Степаныч, злой, потому что призрак,— изрек Бабосов.— Ты как английский крестьянин.

— Чего?

— Всем известно, что английских крестьян сожрали овцы, а они живут. Так вот и ты — живешь, бывший богомаз, хотя все знают, что богомазов у нас нет. Они давно исчезли.

— Перестань, Бабосов!— сказал Успенский, разливая вино.— Ты свое отговорил. Теперь слушай, что тебе скажут, да исполняй вовремя... Я предлагаю выпить за счастье Вари и Николая, которых мы с вами знали и любили по отдельности, теперь мы будем не меньше любить их как нечто целое, единое и неделимое во веки веков.

— Аминь!

— Ура! Дурак.

— Так это-о горько, кажется?..

— Горька-а-а!.. Горька-а-а!

Варя встала на цыпочки, потянулась губами к Бабосову.

— Черта с два!— Бабосов дурашливо скривился, за-

слоняясь ладонью.— Я не позволю наш новый передовой свадебный обряд опозорить этим пошлым старорежимным поцелуем. Хочу сказать речь!

— Браво!

— Крой дальше!

— Чудно роль ведешь...

Бабосов вытянул руки по швам, надулся, как мужик перед фотоаппаратом, и пошел чеканить:

— Вступая в новый, социалистический, равноправный брак, мы — Варвара и Николай Бабосовы — обязуемся: первое — сочетать личную заинтересованность с энтузиазмом; второе — на рельсах нэпа усилить борьбу с капиталистическими элементами и пережитками в семье; третье — используем все рычаги в борьбе за новые кадры; и, наконец, четвертое, и последнее,— будем работать без порывов и вспышек, по соцзаказу.

— Ха-ха-ха! — Костя согнулся в дугу, и вино расплескалось.

Успенский застыл с поднятой рюмкой как истукан, но так заливался, что слезы выступили. А Юхно взвизгивал, прыскал, махал руками — все что-то хотел сказать, но с трудом выдавливал только два слова:

— Так это-о... так это-о-о-о...

— Вот скоморох,— гоготнул и Саша.— Ему язык отрежут, так он животом рассмешит.

А Бабосов с Варей обменялись рюмками, выпили вино и церемонно расцеловались.

— Вот вам уступка вашим рюриковским устоям,— сказал Бабосов.

— Коля, ты беспринципный человек,— сказала Мария.— На словах ты перековался на пролетарский лад, а нутро у тебя так и осталось сладострастное мелкобуржуазное.

— Нутро есть материальная оболочка, а содержание человека — суть его взгляды. А взгляды же у меня только передовые.

— Вот балабон,— хохотнул Саша.

Кузьмин помрачнел, повернулся зачем-то в сторону и неожиданно изрек:

— Нехорошо все это.

— Что нехорошо? — спросил Бабосов.— С женой моей целоваться?

— Дурачимся тут, кривляемся, как обезьяны. И я заодно с вами, дурак старый. А ведь женитьба не

обезьянский обряд. Женитьба — дело божеское. Нехорошо. Не к добру все это.

— Ну, знаете!.. Не хватало нам еще в церковь идти,— сказал недовольно Бабосов.

— Иван Степанович! — удивленно подался к Кузьмину Успенский.— Что с вами? Люди женятся, а вы с пророчеством, да еще мрачным.

— Ах, извините! Я не то хотел сказать, то есть не по отношению к Бабосовым. Им-то я желаю ото всей души многие лета счастья и согласия. Я это сказал, имея в виду другое... Бога мы позабыли... Вот что плохо.

— Ну-у! — протянул Костя.— Приехали! Что ж, давайте займемся еще богоискательством. Этого нам только не хватает.

— Бога не ищут,— сказал Кузьмин.— Он в поле не рыскает, бог не заяц.

— А что есть бог? — спросил Саша.

— Бог есть стремление понять друг друга, чтобы жить в согласии,— уверенно и с какой-то легкостью ответил Кузьмин.

— Но как же тогда объяснить основное положение Евангелия? — спросил Юхно.— «Оставь мать свою, друга своего и ступай за мной!» Что же это, слова бога или дьявола? Так это-о, растолкуйте, пожалуйста, мне,— и губы вытянул трубочкой, готовый вот-вот взорваться от хохота.

Кузьмин покраснел, отвечал путано:

— Дело в том, что учение Христа основывается на чистой и святой вере. И если ты принял эту веру, то она должна быть для тебя превыше всего...

— Ну да... Так это-о, пошел за Христом и бросил мать и друга,— все-таки хохотнул сдержанно Юхно.— А как же тогда ваше стремление понять ближнего, чтобы жить в согласии?

— Одно другому не противоречит,— буркнул Кузьмин в тарелку.

— Ну да! Подставь вместо бога дьявола, и все сойдет,— сказал Бабосов.— Словом, от перестановки мест слагаемых сумма не изменится.

Все засмеялись.

— Нехорошо балаганить, всуе памятуя бога,— упрямо сдвигая брови, сказал Кузьмин.

— Не кто иной, как ты сам и начал об этом,— сказал Бабосов.

— Кузьмин сказал истину: одно другому не противоречит,— повысил голос Успенский, вступив наконец в разговор.

— Так это-о, любопытно! Значит, Христос был добрый, отрывая сына от матери?

— Христос не хотел слепого подчинения,— ответил Успенский.— Проповедуя любовь между людьми как основной закон жизни, он требовал, чтобы человек возвысился до бога. То есть способен был любовь к ближнему ставить выше родственных связей и сердечной привязанности. Когда на искушении в пустыне дьявол спросил его: «Ты сын божий, ты все можешь... Вон камни лежат. Обрати их в хлебы, накорми жаждущих, и они пойдут за тобой». Но Христос ответил: «Не хлебом единым жив человек». То есть мне не нужны идущие за мной ради куска хлеба, и вообще ради материальных благ. Такой человек, если был развратен, развратным и останется, куда бы я его ни привел. Нет, ты сначала дорасти до меня, переродись, порви путы эгоизма, тогда иди за мной, тогда мы сможем построить общество справедливости. А дьявол дает жирный кусок пирога и говорит... топай за мной. Я тебе скажу, что делать. И ты будешь делать то, что я скажу. А нет — я отберу у тебя кусок пирога, и ты сдохнешь с голоду. Потому что был свиньей, свиньей и остался. Но веди себя смирно, по-человечески.

Юхно восторженно глянул зачем-то вверх, выкинул палец:

— Так это-о, замечательно толкуете! Эдакий тихановский златоуст. Не обижайтесь, но такого примитивно-точного толкования я еще не слыхал,— и прыснул, довольный собой.

— Но я не понимаю, какое отношение имеет этот разговор к нашей вечеринке? — сказал Бабосов.— Кажется, мы собрались сюда сегодня вовсе не затем, чтобы Евангелие читать...

— Некоторое отношение имеет.— Кузьмин мельком глянул на Варю и снова хмуро уставился к себе в тарелку.— Мы, мужики, народ компанейский, нам лишь бы до рюмок дотянуться, а там, что день, что ночь, нам все равно. А женщины устойчивее, они и порядок соблюдают лучше, и к жизни относятся строже. И ждут они большего и надеются на лучшее. Через них мы связаны не только с семьей, но и с традициями, с религией, стариной, историей. Вот и сегодня пришел я

сюда, увидел Варю в белом платье, как она хлопотала по дому, как стол накрывала, как смотрела на всех с затаенным ожиданием такой радости... Вот, мол, оно придет сейчас, настанет озарение — и все вы ахнете. У девочек бывает такое выражение перед причастием... А мы ее чем причастили?

— Иван Степанович, да вы что? — крикнула Анюта.— Что вы делаете? Поглядите на Варю.

— Ничего, это ничего,— всхлипывала Варя, утирая платочком слезы.— Это пройдет. Я, должно быть, утомилась... Мало спала...

— Нет, нет! Это оттого, что мало выпила,— крикнул Герасимов.— Мы сейчас, пожалуй, повторим по полной, по полной...

— Выше голову, Варя!

— А я говорю,— выше бокалы!

— Бабосов, горька-а-а!

— Вам горько, а мне солоно...

— Бабосов, не увиливай! Горько-о-о!

Меж тем смеркалось. Успенский вдруг поднялся из-за стола:

— Сейчас свечи принесу.

— Сиди! Я, пожалуй, быстрее тебя сбегаю,— сказала Мария.

Она сидела с краю, возле Вари, встала и быстро ушла в дом.

— Они там в буфете. В нижнем ящике! — крикнул в раскрытую дверь Успенский. Но Мария не появлялась, из дома долго доносилось хлопанье дверок и скрип выдвигаемых ящиков.

— Уверенно рвет ящики,— сказал Саша, усмехаясь.

— Как свои,— добавил Герасимов.

— Кабы стекла не побила. Пойду посвечу ей.— Успенский встал и погремел спичками.

— Смотрите не столкнитесь там ненароком в потемках-то!

— Берегите лбы!

— И губы...

— Ха-ха-ха!

Мария стояла возле буфета — все дверцы были открыты, все ящики выдвинуты.

— Где же твои свечи?

— Сейчас покажу.— Он подошел к комоду, выдвинул верхний ящик и достал пачку свечей.

— Это ты называешь буфетом? — насмешливо спросила, указывая на комод.

— Глупая! — Он поцеловал ее.— Мне нужно с тобой поговорить. Ступай, зажги свечи и выходи в сад. Я подожду тебя.

Мария вынесла бронзовый подсвечник с тремя стеариновыми свечками.

— Да будет свет, да сгинет тьма!

— Да здравствует солнце!

— Да здравствует разум!

— Да здравствуют жены!

— Нет, братцы, надо что-нибудь одно — либо разум, либо жены...

— Жены хороши только чужие.

— И разум...

— Ха-ха-ха!

Мария незаметно вышла в сени, оттуда в сад. Успенский поджидал ее на скамейке, что стояла под яблоней. Поймал ее за руки, притянул к себе прямо на колени и обнял.

— Молодец, что вышла.

— И это ты называешь разговором?

— Мне в самом деле с тобой поговорить обязательно надо.

— Поговори.

— Я давно собирался. Я хотел тебе сказать... Но ты не смейся.

— Я и не смеюсь.

— Я хочу жениться на тебе... Считай это моим предложением.— Он опять притянул ее, поцеловал и зарылся лицом в волосы. Он любил ее густые, прохладные волосы и часто делал так. Она молчала, и ему сделалось тревожно.

— Почему ты молчишь? Ты не согласна?

— Как же мы станем жить? После уроков в Тиханово будешь бегать? А утром — в Степаново? Десять верст не шутка. На уроки опоздаешь. Да и смешно — бегающий муж.

— Переходи в Степаново, учителем. Это не гордеевская дыра. Приятное общество, все свои люди, друзья...

— Но я не хочу уходить со своей работы.

— Ты что, веришь в карьеру? — Он теперь откинулся, и даже в темноте заметно было, как иронически кривились, вздрагивали его губы.

— О карьере я не мечтаю, Митя,— сказала она невесело.— Я хочу быть честным человеком.

— Кто ж тебе мешает? Поступай в педагоги. Чего уж честнее? Учишь ребятишек уму-разуму и ни на что не претендуешь.

— И все-таки уходить мне сейчас с работы было бы нечестным поступком.

— Не понимаю. Ты что, такой незаменимый человек?

— В том-то и дело, что заменимый. И даже очень заменимый... Свято место пусто не бывает. Я только что с бюро, как тебе известно. Некий Сенечка Зенин хотел выгрести зерно из-под печки гордеевского мужика. А мы с председателем не дали. У того мужика пять человек детей. Вот за это нас и разбирали. Одни старались понять, другие — осудить. В том числе и Возвышаев, который ради голого принципа не только с какого-то мужика, с себя штаны сымет. Так вот, если я уйду, Тяпин уйдет, Озимов... останутся одни возвышаевы да зенины. И тогда не только худо будет гордеевскому мужику Орехову, но и всем, и нам с тобой в том числе.

— Ну спасибо тебе, наша опора и заслон.

— Не смейся, Митя. В том, что я говорю, мало веселого. Мы все видим, как эти сенечки да никаноры из кожи лезут вон, чтобы проползти любым способом, ухватиться за штурвал, подняться на капитанский мостик, чтобы повыше быть, позаметнее, с одной целью — отомстить всему миру за свою ничтожность. Ведь ты же сам мне говорил насчет Возвышаева. Ты! И что же? Вместо того чтобы хватать их за руки, а если надо, зубами держать — мы отваливаем в сторону.

— Позволь, позволь!..

— Я же знаю! Прости, я не тебя имела в виду. Ты не трус и не малодушный. Ну ладно, тебе мешает происхождение... А мне что? Дед мой николаевский солдат, двадцать пять лет отечество штыком подпирал. Отец — боцман, в первой революции дружинником был, три года в бегах скрывался, до самой амнистии. Дядю, сормовского слесаря, пять раз в тюрьму увозили... Так почему ж мне равнодушно взирать на то, как всякие сенечки плюют на идеалы моих предков? Или во мне кровь рыбья?

— Пойми ты, Маруся, дело не в коварстве оборотистых сенечек, дело в принципах. Ну что можно ожидать хорошего от общества, в котором ввели обратный счет

сословных привилегий: ты — сын пастуха, следственно, ты подходишь по всем статьям — ступай вперед. Ты сын священника, следственно, негоден, отойди в сторону.

— Это не принцип. Это извращение. Это временно... Недоразумение, и больше ничего. Но если мы будем хвататься за такие недоразумения и сами отваливать в сторону, тогда нечего пенять на принципы и винить сенечек да возвышаевых. Мы сами виноваты.

— И ты уверена, что вы сотворите добро?

— Уверена.

— Ну что ж, тогда оставайся.— Он строго и холодно поцеловал ее.— Пойдем к столу. И позабудь, зачем я вызывал тебя.

Сентябрь 1972 г.— июнь 1973 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

МУЖИКИ И БАБЫ

Роман

Можаев Б. А.

М 74 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 3. Повести; Мужики и бабы: Роман. Кн 1.— М.: Худож. лит., 1990.— 623 с.

ISBN 5-280-01049-9 (Т. 3)

ISBN 5-280-00793-5

В том вошли созданные писателем в 1964—1970 гг. повести «Живой», «История села Брёхова...», «Полтора квадратных метра», а также первая книга романа-хроники «Мужики и бабы», посвященного историческим событиям переломного характера в жизни русской деревни.

М $\frac{4702010201-044}{028(01)-90}$ подписное

ББК 84Р7

Борис Андреевич

МОЖАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ III

Редактор В. Бармин

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор О. Ярославцева

Корректоры Н. Пехтерева, О. Левина

ИБ № 5749

Сдано в набор 18.04.89. Подписано в печать 06.12.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 34,65. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3515. Заказ № 2060. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, Москва, ГСП, Б-78, Ново-Басманная 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28